

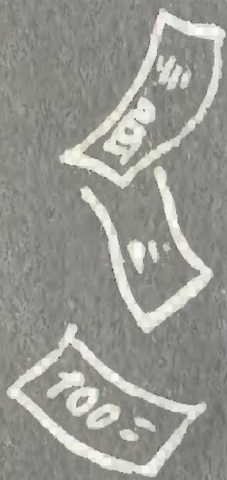
БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ



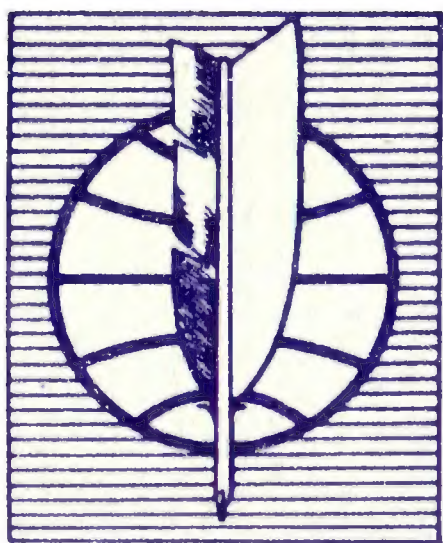
ПОВЕСТИ
И РАССКАЗЫ
СОВРЕМЕННЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
СОВРЕМЕННЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ









БИБЛИОТЕКА
МИРОВОЙ
ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ
ДЕТЕЙ



ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
СОВРЕМЕННЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ
ПИСАТЕЛЕЙ

МОСКВА
„ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА“

1983

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ
«БИБЛИОТЕКИ МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ ДЛЯ ДЕТЕЙ»

Алексеев С. П.	Думбадзе Н. В.	Мотяшов И. П.
Алексин А. Г.	Коржев Г. М.	Мустай Карим
Барабаш Ю. Я.	Леонов Л. М.	Новожилова Э. Г.
Благой Д. Д.	Лихачев Д. С.	Пешеходова Г. К.
Верейский О. Г.	Ломунов К. Н.	Прилежаева М. П.
Виноградов А. А.	Марков Г. М.	Свиридов Н. В.
Гамзатов Расул	Межелайтис Э. Б.	Столетов В. Н.
Гончар Олесь	Миршакар Мирсайд	Стукалин Б. И.
Дехтерев Б. А.	Михалков С. В.	Танк Максим
		Шолохов М. А.

*

*Составление
и вступительная статья*
И. С. ЧЕРНЯВСКОЙ

Оформление серии
Б. А. ДЕХТЕРЕВА

*Оформление тома
и иллюстрации*
В. Б. ТРУБКОВИЧА

П 4803020000—504
М101(03)83 Подп. изд.

Состав, вступительная статья, комментарии. Оформление. Иллюстрации.
Произведения, отмеченные в содержании звездочкой.
© ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА», 1983 г.

ПРАВДА ИСКУССТВА

Любой человек, наделенный хоть капелькой воображения, глядя на карту мира, представляет себе удивительное разнообразие стран и народов на нашей планете. Но, пожалуй, никогда так жадно не впитывается волшебство необычного, как в отрочестве. Наслаждение, испытываемое от чтения книг, где описываются песчаные пустыни Африки, джунгли тропических стран, ледяные просторы Арктики или необъятные океанские пространства, наверное, присуще многим, однако новизна ощущений не повторяется с такой силой, когда человек становится взрослым.

Узнать о том, какие люди населяют ту или иную страну, какие там природные условия, в каком году произошло то или иное историческое событие, конечно, можно и из научных книг. Эти точные знания очень нужны. Но только в художественном произведении можно почувствовать национальный дух народа, потому что в романах, повестях, рассказах мы знакомимся с конкретными судьбами людей, живущих именно в этом городе, деревне, стране. Мы узнаем об их каждодневной жизни, привычках, обычаях, законах, о радостях и печалях, об их труде, развлечениях, мыслях и чувствах. Незнакомые прежде люди становятся нам близки, мы начинаем понимать их и, более того, мысленно переносясь туда, где они живут, вступаем с ними в личные отношения — любим, одобряем или порицаем их поступки, спорим с ними... И все это потому, что писатель раскрыл нам самое сокро-

венное в судьбах и характерах своих героев. И не случайно порой кажется, что эти герои существуют на самом деле, что жили, например, на берегах Миссисипи Том Сойер и его друг Гек Финн, ну, может быть, их звали по-другому...

Без такого близкого знакомства с людьми, населяющими разные страны, невозможно воспитать в себе чувство интернационализма.

* * *

У каждого человека бывают разные периоды в жизни. В один период нам нравится читать сказки с волшебными превращениями и всемогущими героями. В другой мы хотим услышать только правдивые истории о жизни наших современников или исторических личностей, чтобы составить себе представление о возможностях человека вообще и сравнить их черты характера со своими собственными, то есть мысленно определить: а на что способен я? Опыт одного человека часто бывает невелик, а книги передают нам опыт многих и многих людей и поколений. Поэтому нам хочется узнать, в какие переделки попадал тот или иной герой книги, в каких условиях он жил, как вел себя и почему поступал именно так.

А если писатель пишет о вымышленных героях, то можно ли ему верить, правду ли он нам рассказывает?

Наверное, в Америке много мальчиков, которые хотят осмыслить окружающий их мир, мальчиков добрых и озорных, понимающих, что есть иные ценности, кроме умения делать деньги, ищущих справедливости в коварном и жестоком мире бизнеса. Но вероятнее всего, они не точно такие, как Гомер Маколей — герой американского писателя Уильяма Сарояна в рассказе «Древняя история». Сароян вложил в своего героя частичку себя, своей души, своего миропонимания. Он создал своего героя, наградил его определенными чертами характера, отправил его в жизнь. И герой уже живет по законам своего характера, поступает так, как диктуют ему его нравственные принципы, его возраст, обстоятельства... Писатель уже не властен над ним, он не может заставить его действовать вопреки его натуре. Если же писатель попытается все же заставить героя действовать по своему приказу, мы сразу заметим и скажем, что герой надуманный, и закроем книгу, не поверив в то, что нам рассказали правду.

Но в чем же тогда правда искусства, если речь идет о вымысле и о герое, рожденном в воображении писателя? Да в том, что даже в самом фантастическом романе писатель рассказывает о нашей истинной, земной, повседневной жизни и главным образом о

жизни своей страны, радости и несчастья которой становятся радостью и несчастьем самого писателя. Иначе зачем бы ему браться за перо.

Вот, например, фантастическая повесть австрийской писательницы Кристины Нёстлингер «Долой огуречного короля!». На первый взгляд здесь наряду с вполне реальными людьми, живущими в реальном мире, действуют существа вовсе не реальные, а, скорее, сказочные. Это Огурцарь и его бывшие подданные куми-орцы. Но писательница выбирает такой способ изображения не для того, чтобы перенести нас в волшебную страну. Напротив, действие происходит в современной Австрии, и обращается она к самым насущным проблемам этой страны, где в течение многих лет господствовал фашизм. И не случайно один из героев повести Огурцарь, бежавший из подвала, жаждет навязать людям старый порядок.

Вот так, даже в этой истории с элементами фантастики мы встречаемся с реальным миром, который изображается писателем со всеми его сложностями, семейными, политическими и нравственными противоречиями.

Сочетания реального и фантастического мы встретим и в повести немецкого (ФРГ) писателя Джеймса Крюса «Тим Талер, или Проданный смех». Создание исключительной ситуации, которая возникает благодаря фантастическому персонажу барону Тречу, помогает автору не только выявить самые болезненные проблемы своего общества, но и дать возможность герою осознать их, найти нравственные силы для личной позиции, для борьбы за человечность, за справедливость, хотя борьба эта была нелегкой. Если вдуматься, то мотивы поведения Тима Талера, обстоятельства его жизни вполне реальны, писатель только преобразил их силой своей фантазии.

Словом, каждый большой писатель создает «второй мир», или «вторую реальность», как называют ее литературоведы. Она немного отличается от той реальности, которая окружает нас, тем, что становится ярче, острее, конфликтнее. Если бы писатель просто фотографически описывал события и все, что с нами происходит, не умел отбирать факты, осмысливать их, дорисовывать в собственном воображении, нам было бы неинтересно читать книгу.

Писатель раздвигает рамки наших представлений о жизни, обращает наше внимание на то, мимо чего мы проходим, делает все значимым, выпуклым. Одновременно он помогает нам включить и наше воображение, перенестись в созданный им мир, дорисовать картины там, где он наметил пунктирные линии. Он заставляет нас волноваться, перевоплощаться, страдать и радоваться вместе с рожденными им героями, созданными из плоти и

крови, словом, жить в «новой реальности» так же, как живет в ней сам писатель.

Жизнь людей, с которыми мы встречаемся на страницах книг, чем-то схожа с нашей, но во многом отличается от того, к чему мы привыкли. Схожи чаще всего общечеловеческие чувства — любовь к дому, родине, близким людям, возмущение несправедливостью, стыд за скверный поступок, да всего и не перечислить, ведь человек сложное существо, и нужно пройти трудную школу жизни, обладать сильной волей, чтобы научиться усмирять в себе неблагоприятные качества, которые могут быть и у хороших в целом людей.

Все талантливые писатели, которые хотят сделать мир лучше, помогают своими произведениями пробудить в людях добрые стороны души. Такие писатели есть у каждого народа.

Но одновременно писатели помогают нам узнать национальные особенности своего народа, представить его прошлое или настоящее. Порой какой-то случай, эпизод позволяет нам понять то, чего мы никогда не испытали и даже представления не имели, что такое явление вообще может существовать на свете. Вот, например, в рассказе индийского писателя Премчанда «Игра в чижик» есть такие строки: «Самый большой недостаток английских игр — это то, что принадлежности к ним слишком дороги. Не истратив по крайней мере сотни рупий, вы не можете назвать себя игроком. То ли дело игра в чижик — превосходное развлечение, не требующее ни пайсы. Английские игры предназначены для тех, у кого много денег. Зачем забивать головы детям бедняков этими развлечениями?»

И сразу становятся понятными взаимоотношения богатых английских колонизаторов и нищего индийского населения в то время, когда Индия еще не завоевала себе независимость. Но мало этого, — автор жалеет, что, став взрослыми, люди теряют ощущение равенства, в силу вступают кастовые различия, то есть такие отношения, с которыми мы в нашей жизни никогда не встречались. Общаться с человеком, принадлежащим к низшей касте, считалось позором. И становится стыдно за то, что унижают мужчину, женщину или ребенка лишь потому, что он родился в семье, допустим, из касты неприкасаемых и потому обречен занимать низкое положение в обществе. Когда узнаешь о таких сторонах жизни, хочется сейчас же, немедленно изменить этот порядок, восстановить справедливость.

Всякое искусство отличается от обычной информации тем, что оно заставляет нас п е р е ж и т ь изображаемые события. Ведь как часто мы читаем в газетах, слышим по радио, например, слово «безработица», знаем его значение, но по-настоящему почувствовать, что испытывает человек, оказавшийся без работы, не пере-

жив этого, мы не можем. Но вот в рассказе «Стакан молока» чилийского писателя Мануэля Рохаса, встречаясь с героем — вашим сверстником, очутившимся в таком положении, мы не умозрительно воспринимаем его судьбу. Через сопереживание герою читатель испытывает и чувство отчаяния, и надежду, и благодарность женщине за ее доброту...

Писатели рассказывают о разных сторонах действительности, для того чтобы те, кто сегодня стоит на пороге юности, завтра сумели лучше устроить жизнь на нашей планете. Чтобы в мире не было войн, голода, безработицы, не было бедных и богатых. Чтобы люди, принадлежащие к разным народностям, разные по цвету кожи, привычкам, традициям, научились понимать друг друга. А кроме того, писатели готовят юное поколение к большой и далеко не легкой жизни, в которой трудности и препятствия преодолеваются не так-то легко, слава не сваливается с неба, а богатство не приносит человеку подлинного счастья.

О том, что такое счастье, люди задумывались с тех пор, как существует человечество. Великие мудрецы прошлых веков написали много книг, так называемых «утопий», в которых пытались решить, как сделать счастливым человечество. Но и в наше время счастье понимается по-разному. В капиталистическом мире выше всего ценится богатство, а мерилом счастья считается возможность «купить еще одну вещь». Но погоня только за личным материальным благополучием не приносит счастья людям. Джеймс Крюс в предисловии к повести «Тим Талер, или Проданный смех» написал: «К настоящим богатствам, таким, как счастье, мир, человечность, деньги никакого отношения не имеют». И мы знаем, какое одиночество и отчаяние испытал Тим, когда продал за деньги свой смех, как трудно ему было вернуть это подлинное сокровище!

Хорошо, когда в отрочестве человек понимает ложность буржуазного идеала. Сохранить человечность в условиях «делового мира» не так-то легко. Канадский писатель Морли Каллагэн в рассказе «Деловое предложение» сталкивает два понятия — счастье и богатство. Двенадцатилетний мальчик Люк, оставшись без родителей, переезжает к дяде. Отец Люка хотел, чтобы мальчик был похож на состоятельного, практичного и благоразумного дядю Генри. И что же произошло? Дядя, заботящийся о своем капитале, окончательно утратил чувство жалости и сострадания, он ко всему относился лишь с одной меркой — приносит это ему пользу или нет. Люк довольно быстро понял разницу между счастьем и богатством и решил для себя — нужно «защищать все, что ему дорого, от практичных людей».

Писатели социалистических стран стремятся раскрыть иное представление о счастье. Не случайно на страницах повестей

и рассказов писателей социалистических стран мы гораздо чаще встречаемся со счастливыми героями, даже если в их жизни бывают неудачи, огорчения и серьезные препятствия. Счастлив учитель-пенсионер, занимающийся виноградарством из любви к этому делу, в рассказе венгерского писателя Шандора Татаи. Счастлив герой рассказа монгольского писателя Тудэва, познающий радость открытия мира. Даже герои юмористических рассказов Г. Хольц-Баумерта (ГДР) или О. Панку-Яш (Румыния), переживающие свои ребячьи огорчения, — очень счастливые мальчишки.

Итак, писатели разных стран заставляют нас задуматься о серьезных жизненных и философских вопросах. Порой они раскрывают человеческие драмы, а иногда озорно и весело умеют посмотреть на мир. Они ставят в смешное положение напыщенных лжегероев, с юмором показывают проделки школьников и от души смеются над глупыми предрассудками или нелепым поведением взрослых и детей.

Смех — великая целительная сила. Даже наши неудачи или, казалось бы, отчаянное положение становятся не такими страшными и обиды не такими горькими, если суметь отнестись к ним с юмором. Конечно, гораздо легче посмеяться над другим, чем над собой, но тот, кто умеет посмеяться (хотя бы не вслух) и над своими недостатками, безусловно, умный и незаурядный человек.

Смех, как в зеркале, показывает нам то, что мы не всегда замечаем в себе. Именно так мы смеемся, когда читаем рассказ Г. Хольц-Баумерта «За что меня прозвали «Альфонс — ложная тревога». Этот Альфонс, приехав в деревню, все время хотел совершить героический поступок, в надежде, что о нем, может быть, напишут в стенгазете, — оно и естественно, каждому хочется прославиться! Увы, Альфонсу не повезло. Этот незадачливый герой совсем не знал, чем занимаются в деревне...

Бывает, что смех, веселье, остроумная шутка сопутствуют самым серьезным событиям. В повести югославского писателя Д. Маловича «Рыжий кот» речь ведется о трудной судьбе бедняков, об их борьбе, о коммунистах, которые хотят добиться лучшей жизни для рабочих. Это повесть о героизме, о прекрасной мечте и о жестокой действительности. Но вся повесть искрится юмором, который помогает героям переносить невзгоды.

Героизм всегда привлекает нас потому, что в нем выражается сила человеческого духа. В момент совершения подвига человек думает не о себе, а о том, как помочь людям. Герой словно забывает об опасности, о том, что рискует жизнью, в нем пробуждаются лучшие человеческие качества — чувство долга и любви. Так, мальчик Андре в рассказе словацкого писателя Рудо Морица идет навстречу мчащемуся поезду, чтобы спасти своего товарища.

Герой рассказа «Отрочество» Питера Абрахамса (ЮАР) проявляет огромное мужество, отстаивая право на человеческое достоинство в государстве, где негритянское население унижено и бесправно. Отец Драгана в повести «Рыжий кот» Д. Маловича до конца остается верен своим убеждениям, идет за них на смерть.

В разных обстоятельствах люди разного возраста совершают героические поступки не для своей славы, не для того, чтобы любой ценой показать свою храбрость или чтобы прослыть героем, а потому, что именно так нужно поступить, чтобы принести благо людям.

* * *

В художественном произведении мы ищем и находим ответы на многие мучающие нас вопросы. И писатель в процессе творчества сам напряженно ищет на них ответ. Иногда писатель ставит своих героев в сложнейшие жизненные обстоятельства, создает такие условия, которые требуют от героев решения серьезных проблем, но сам писатель еще не знает, как их надо решать. Тогда он ограничивается только постановкой проблемы, а мы, читатели, будем размышлять вместе с героями книг, соглашаться или не соглашаться с ними и думать, как бы поступили мы. Случается, что автор умышленно прибегает к такому приему, чтобы заставить читателя думать, не давать ему готовых рецептов на все случаи жизни, а научить самостоятельно находить правильное решение.

А как узнать, что твое решение правильно? Это не простой вопрос. Обычно в таких случаях человек должен соизмерять свои поступки не только с эгоистическими желаниями, личной выгодой, но и с тем, как его поступки скажутся на судьбах других людей, общества.

Вот Мишка из рассказа венгерского писателя Шандора Татаи «Мишка находит свою дорогу». Он совсем не хотел учиться, а любил удить рыбу, сидеть на озере, улизнув от скучных обязанностей. Ему надоедали нравоучения взрослых: надо учить уроки, надо подумать о будущем... Зачем об этом думать? И так все ясно. Он пойдет на завод и станет слесарем-механиком. И Мишка считал, что принял правильное решение.

О том, что нужно уметь и знать слесарю-механику, Мишка и представления не имел. Просто думал: вот здорово уметь чинить машины! Но оказывается, заводу нужны знающие и трудолюбивые работники и с тройками туда не принимают. Приходится бедному Мишке на каникулах ходить к учителю-пенсионеру заниматься венгерским языком и историей. Мишка был очень недово-

лен. Зачем, рассуждал он, механику изучать историю, а по-венгерски будто он не разговаривает каждый день, ведь это его родной язык! И вообще, зачем это люди выдумали, что обязательно надо работать?

Однако этим летом Мишка, к своему удивлению, самостоятельно определил, кем он будет. Он и не заметил, как это произошло. Причем решил заниматься виноградарством, которое его сроду не интересовало. И ничего привлекательного в работе отца-виноградара он прежде не находил.

Что же заставило Мишку так измениться? Именно об этом рассказывает писатель, наблюдая за повседневной жизнью героя.

Видеть и понимать все помыслы, все движения человеческой души — чрезвычайно увлекательное занятие. Познавая другого, познаешь и себя. Часто нам только кажется, что себя мы хорошо знаем, на самом же деле труднее всего познать себя. То, что мы сами о себе думаем, какими себя представляем, далеко не всегда совпадает с представлениями о нас других людей.

В забавном рассказе хорошо известного вам итальянского писателя Джанни Родари «Транзисторная кукла» папа и мама думали о себе, что они люди вполне правильные, они точно знали, как жить, как надо воспитывать девочку. «...Девочки должны играть в куклы. Научиться быть примерными матерями и домашними хозяйками, которые умеют расставлять тарелки и чашки, стирать белье и чистить обувь всей семье». Так общепринято.

А вот дядя Энрики, чудака и фантазера, оценивал ее родителей несколько иначе, а общепринятые нормы для него вовсе не были непререкаемыми. Он считал родителей Энрики людьми недалекими, находящимися в плену распространенных мещанских норм поведения. Поэтому дядя, чтобы показать племяннице другие цели в ее будущем, превращает куклу в озорную девчонку, которая хочет быть физиком-атомщиком, машинистом, врачом-педиатром или водопроводчиком.

В этом рассказе Дж. Родари высмеял мещанскую самоуверенность, ограниченность, однозначное восприятие мира, когда все общепринятое не подвергается сомнениям. Пока что родители Энрики отделались легким шоком, ведь кукла в конце концов снова стала говорить кукольным голосом и делать все, что ей полагается. Но бывают ситуации куда более сложные, когда неправильная оценка своих поступков приводит к серьезным последствиям. Об этом написана повесть чешского писателя Йозефа Племы «Будильник».

Й. Плева — заслуженный писатель. Такое звание дается в Чехословакии писателям за их мастерство, за всю их деятельность в

отечественной литературе. Плева — автор многих книг для детей, и начал он писать задолго до того, как Чехословакия стала социалистическим государством. Возможно, многие из вас знакомы с его отличной повестью «Маленький Бобеш». В «Будильнике» главные действующие лица — мальчики: Лойзик и Франтик. И все, что с ними происходит, результат неправильной оценки своих поступков. Они не думают о возможных последствиях и лишь тогда осознают смысл совершенного ими, когда исправить ничего нельзя. А поскольку действие происходит во время войны, то каждый на первый взгляд не такой уж страшный проступок может обернуться трагическими последствиями.

Хорошо, что взрослый мудрый человек понял все, что пережили и передумали мальчики, когда осознали, что они натворили. Но далеко не всегда в отношениях взрослых и детей встречается такое понимание.

Многие детские и не детские писатели размышляют о взаимоотношениях взрослых и детей. К детству, как особой поре неповторимой жизни, обращались такие известные писатели, как Марк Твен, Лев Толстой, Чарлз Диккенс, да, пожалуй, и не найдешь писателя, который в художественном произведении, в дневниковых записях, в воспоминаниях не писал бы о детстве. Об этой поре созданы и многие произведения для детей.

Возникает такое парадоксальное явление: взрослый переносится в детство, как в невозвратимую прекрасную страну, а дети хотят как можно скорее стать взрослыми. Чаще всего дети думают, что взрослому все можно. Понятие «взрослый» связано с представлением об абсолютной свободе. Но оказывается, взрослость — это прежде всего необходимость исполнять свой долг, преодолевать усталость, это одержимость своей работой и множество обязательств.

Счастливы отцы и дети, которые помогают друг другу понять свои проблемы, как это происходит с Зунгом — героем рассказа вьетнамского писателя Май Нгы. Рассказ так и называется — «Взрослый». Но бывают и другие отношения между взрослыми и детьми, когда возникает отчуждение. Иногда удается его преодолеть, а порой отчуждение перерастает в горькую обиду у ребенка.

Английский писатель Джеймс Олдридж в известной повести «Последний дюйм» (по которой был снят фильм) как раз показывает сложные семейные отношения, отчужденность отца и сына. Не было у них тепла и понимания до той поры, пока не произошел трагический случай. Отец-летчик сильно ранил руку и не может вести самолет. И вот мальчик по указаниям отца самостоятельно поднимает машину в воздух и сажает ее на аэродром. Совместно пережитая смертельная опасность сближает их, теперь они лучше

понимают друг друга, так как узнали, кто чего стоит, увидели лучшие стороны характеров, нашли точки соприкосновения.

Сближение взрослых и детей происходит не обязательно в результате драматических событий. Это случается и в будничной, повседневной жизни, как в повести Бенно Плудры «Лют Матен и Белая ракушка». Конфликт возникает потому, что взрослые не принимают всерьез заботы и стремления ребенка, подсмеиваются над ним, вместо того чтобы помочь. Для Люта такое отношение — невыносимая обида. Подобное чувство почти каждый испытал на себе, особенно когда был маленьким. В таких случаях ребенок или подросток стремится доказать, что он уже вырос из коротких штанов и может вести себя как взрослый, словом, начинает самоутверждаться. Чем обернется такое самоутверждение, не всегда можно предвидеть. Иногда ребенок или подросток совершает осмысленный поступок, заставляющий взрослых уважительно отнестись к его интересам и стремлениям. Порой поступки бывают безрассудными и, если вовремя не вмешаются взрослые, могут кончиться довольно плачевно, как случилось с Лютом Матеном.

Возможен и другой исход, когда конфликты никак не решаются, каждый остается на своей позиции, и тогда наступает отчуждение. Взрослые и дети живут под одной крышей, разговаривают, занимаются своими делами, но нет у них духовной близости, хотя они по-своему и привязаны друг к другу и даже любят друг друга.

Об этом рассказывает австралийский писатель Вэнс Палмер и аргентинский писатель Альваро Юнке.

В первом случае мальчику во что бы то ни стало надо доказать матери, что с ним уже нельзя обращаться как с маленьким, что он способен быть самостоятельным, вести себя как взрослый человек. Герой рассказа — Лео — считает, что деловой мир взрослых и то, чем занимается его отец, скучные вещи, а личные проблемы матери и вовсе пустяковые. Его привлекают сильные, романтические личности. Первый шаг, который он совершает, чтобы доказать самому себе и маме, что он уже способен кое на что, не принес ему радости. Хотя он и поймал самостоятельно большую рыбу и очень горд этим, мама не оценила его мужества. Она заметила только, что он испачкал рубашку. Равнодушие мамы глубоко ранит мальчика. В этот момент он чувствует себя непонятым, отгороженным от мира взрослых, близких ему людей — родителей.

Несколько иначе рассматривает взаимоотношения взрослых и детей Альваро Юнке. Мир, который рисует он, — это чаще всего мир нищеты, где дети оказываются одинокими по другой причине: взрослым некогда вникать в их чувства и побуждения. Отцы и ма-

тери озабочены лишь тем, как заработать деньги и прокормить семью. У них не хватает ни сил, ни времени на то, чтобы интересоваться занятиями и пристрастиями детей. И хотя в сущности они добрые и хорошие люди, сама нищая жизнь обрекает их на некоторую суровость. Юнке часто показывает бесправие детей — ну кто будет считаться с мнением двенадцатилетних парнишек!

Один из героев его рассказов — Мартин — вместе с другими ребятами из сострадания к котенку, забытому в запертой квартире, открывает дверь своим ключом и спасает почти умирающее от голода и жажды животное. Мартину рукоплещут, его чуть ли не носят на руках даже прохожие. Но вот возвращается хозяин квартиры — пьяница портной — и заявляет полицейскому, что у него пропала пачка сигарет из дома. И никто, никто из взрослых не верит Мартину, что он ничего не украл, а почему-то верят пьянчужке, который, возможно, просто не помнит, была ли у него эта злополучная пачка. Мартина чуть не посадили в тюрьму. Мальчику горько сознавать, что он не может доказать свою правоту, но еще горше, что родители не поверили в благородство его побуждений.

Может быть, прав знаменитый писатель и педагог Януш Корчак, утверждая, что взрослым только тогда бывает трудно воспитывать детей, когда они забывают собственное детство и не в состоянии понять поступки детей изнутри, став на их точку зрения.

* * *

Вы, вероятно, заметили, что в рассказах М. Каллагэна, А. Юнке и других авторов нравственный облик героя раскрывается через отношение к животным. Это своеобразный критерий доброты, особенно когда речь идет либо о бескорыстной любви, либо о сострадании к существу, от которого нет непосредственной пользы. Люк спасает слепую и дряхлую собаку, Мартин — умирающего от жажды котенка... Чувство ответственности за беззащитного, стремление помочь слабому — качества, достойные уважения.

Проблема «человек и природа» чрезвычайно современна и рассматривается в литературе с самых разных сторон: это и охрана окружающей среды, и значение природы в жизни человека, и воспитание ответственности за свои поступки, за будущее человечества.

О животных, об их отношениях с людьми написано очень много книг: озаренные великой любовью ко всему живому на земле рассказы Э. Сетон-Томпсона, повести канадского индей-

ца Серой Совы, книги Дж. Кервуда, Джека Лондона, рассказы М. Пришвина и, конечно же, светлый печальный рассказ А. Чехова, «Каштанка». И это только малая часть огромной анималистической литературы. А в наше время, когда целые виды животных исчезают, и названия их заносятся в «Красную книгу», многие и многие писатели обращаются к нам с призывом бережно относиться к природе: беречь деревья, птиц, животных, научиться понимать их и помогать им выжить.

Но чтобы понимать, надо многое хорошо знать. Способностью проникнуть в мир животных обладает тот, кто их любит, изучает и постоянно общается с ними. Польский писатель Ян Грабовский наделен этим даром, как какой-нибудь сказочный герой. Иногда даже кажется, что он рассказывает невероятные вещи, а на самом деле он просто отлично знает и любит самых обыкновенных собак, кошек, воробьев... Он с полным правом может разговаривать от их имени, описывать, что они думают, чувствуют, как в каких случаях поступают... И животные в его повестях «насквозь видят» человека, знают, кто как к ним относится, чего можно ждать от девочки Кристины, или от самого автора, который выступает в рассказах под собственным именем, или от тетки Катерины, на вид суровой женщины, но тоже очень любящей многочисленных питомцев Грабовского.

Очевидно, не только у детей, но и у взрослых есть потребность в общении с животным, взрослым тоже необходима привязанность к нашим добрым друзьям, которых мы начинаем любить и понимать только при тесном общении с ними. Грабовский так и пишет: «С животными надо поступать так же честно, как и с людьми. Не дай бог обмануть! Животное перестанет вам доверять. А разве можно жить в дружбе с тем, кто не питает к вам доверия?»

Главное в таланте Грабовского — доброта, которая сквозит во всем: в интонации, в добродушном юморе (много смешных историй он рассказывает), в том, что почти все обитатели его дома найденыши. То собака, которая была брошена на кладбище, то белка, замерзшая в снегу, то маленький котенок, промокший под дождем. Всех их подбирает, выхаживает, воспитывает и бесконечно любит Грабовский, даже если они доставляют ему неприятности. Писатель, посмеиваясь, сетует, что мебель в его доме всегда была обгрызена, растерзана, но какое это имеет значение, ведь надо же обо что-то точить кошкам быстро растущие когти, а собакам зубы.

Но потому обитатели дома Грабовского и относятся к нему с полным доверием, что он добр. Потому птицы, кошки, собаки, лошади, ослики и даже ручной волк раскрывают ему секреты своего поведения, предлагают дружбу и готовы за него в огонь и в воду.

Наверное, даже те люди, которые не любят животных или равнодушны к ним, прочитав книги Грабовского, сделаются добрее и, может быть, не будут выкидывать кошку на мороз за то, что она поточила когти о диванную подушку, или не скажут: «Убери своего щенка куда хочешь, чтобы духу его тут не было!», если щенок немножечко погрызет ножку у табуретки.

Столь же добрая, но совсем по-иному написанная повесть о щенке «Дашенька, или История щенячьей жизни» принадлежит перу Карела Чапека — классика чешской литературы. Просто невозможно без улыбки читать о самых обычных вещах — первых шагах Дашеньки, ее проказах, ее нраве. А в сказках, которые автор рассказывает щенку, чтобы тот сидел смирно перед фотоаппаратом, Чапек дает волю неистощимой фантазии и юмору, который сквозит в каждом слове. Писатель рассыпает прямо-таки фейерверки словесной игры, только нужно читать внимательно, подмечая все оттенки и тонкости языка, и вы получите огромное наслаждение.

В книге, которую вы держите в руках, есть и другие рассказы о животном мире, например японской писательницы Томико Инуи «Дрозды». Правда, там речь идет не столько о самих птицах, сколько об отношении человека к природе, но и этот разговор очень важен. К сожалению, находятся еще люди, которые не думают о том, какой мир они оставят будущим поколениям, о том, что человек не может существовать без природы, где все взаимосвязано, уравновешено и каждое живое существо оказывается необходимым.

Это сложная цепочка, и современные ученые занимаются изучением такой взаимосвязи. Пишут об этом книги и детские писатели, и путешественники, и директора зоопарков — словом, все те, кто занимается проблемой «человек и природа», ведь человек тоже часть природы. В этих книгах авторы стремятся убедить читателей, что нельзя из-за сиюминутных интересов или из-за ложных представлений и полного незнания законов природы беззастенчиво уничтожать все живое на земле.

В рассказе «Дрозды» как раз и повествуется о борьбе за сохранение природы и о тех людях, которые ее уничтожают.

* * *

Рассказы и повести, опубликованные в данном томе, написаны в разные годы, и события в них освещают разные периоды в жизни той или иной страны. Например, в «Рыжем коте» Д. Маловича, «Как мой старик обзавелся упаковочным прессом» Э. Колдуэлла, в «Тиме Талере» Дж. Крюса действие происходит в 30—40-е годы

нашего столетия, когда разразился мировой экономический кризис. А в повести «Будильник» Й. Плевы события разворачиваются во время второй мировой войны. Большинство остальных повестей и рассказов посвящены сегодняшнему дню, особенно те из них, которые принадлежат перу писателей социалистических стран. Подробнее о каждом писателе, представленном в данном томе, вы можете узнать из комментариев, помещенных в конце книги.

Надеемся, что, получив в руки этот том «Библиотеки мировой литературы для детей», наши читатели испытают радость: где весело посмеются, а где задумаются, попытаются понять, чем живут люди, населяющие земной шар, а может быть, среди многих героев повестей и рассказов выберут тех, на кого им хотелось бы быть похожими.

И. Ч е р н я в с к а я

П О В Е С Т И





Йозеф Плева

БУДИЛЬНИК

I

После тихого весеннего дождя из-за туч выползло горячее солнышко. Недалеко от реки Свратки, в предместье города Брно, между низкими домиками рабочих играли мальчики. Из вязкой глины они сооружали дома, ставили их в ряд, так что получались улицы, а затем и целый город «Брно». Потом подбегали к горке гравия и, набрав камешков, с громким жужжанием мчались обратно, изображая «спитфайеры» и «фокке-вульфы». На «Брно» сыпался град бомб. В один миг от «Брно» не оставалось ничего, только бесформенная кучка грязи, нашпигованной гравием.

После каждого налета бомбардировщиков мальчики снова строили город и снова разрушали его.

Игра повторялась сегодня пять раз, пока Лойзик Кубишта и Франтик Смекал не сказали, что больше не будут играть, и не побежали к речке отмывать руки от грязи. Они бежали узкой улочкой между двумя садовыми оградами, когда вдруг неподалеку

раздался пронзительный звонок. Лойзик и Франтишек даже отскочили и прижались к забору.

— О, как я испугался! — воскликнул Лойзик.

— Я тоже. Думал, меня вот-вот велосипед задавит.

Возле них остановил свой самокат Иржик Мразка.

— Покажи, Ирка. — И Лойзик стал рассматривать звонок на самокате. — Гляди-ка, Франтик, какой у Ирки звонок отличный... Лучше, чем у велосипеда. Где ты такой достал?

— Дядя мне сделал...

— Будет врать! Такой звонок дома не сделаешь!

— Нет, в самом деле сделал, а угадайте, из чего?

— Из чего?.. Снял со старого велосипеда, наверно...

— Разве ты не видишь, какой это звонок? Такого большого звонка ни на одном велосипеде нет.

— Конечно, вижу. А откуда ты его взял?

— Ниоткуда я его не взял... Дядя его смонтировал из звонка от нашего старого будильника.

— Из звонка будильника?!

— Ну да, будильника.

— Вот это здорово!.. Ну а как он его собрал? — заинтересовался Лойзик.

— Смотри, это звонок от будильника, а рычажок дядя сам сделал, внутри есть еще два колесика, они тоже из будильника. Одно побольше, другое поменьше, потом кусок стальной пружины — видишь, такая синеватая, закрученная...

— Вот эта тоненькая синяя пластинка?..

— Ага, из нее и сделана пружина в звонке.

— Подумай, Франтик, как здорово! А какой звук!

— Попробуй, как пружинит.

— Вот это да! Потому-то он и звонит так громко, что в нем пружина.

— Послушай, Ирка, — подумав, спросил его Лойзик, — а согласится твой дядя и мне такой звонок смастерить, если я ему принесу эти штуки из будильника?

— Может, и согласится, я его спрошу. У вас дома есть старый будильник?

— Нет... То есть да, у дедушки, кажется, есть испорченный. Ты спроси своего дядю, ладно, Ирка?..

— Спрошу, конечно, спрошу. Только мне, ребята, пора. Меня в лавку послали, маме срочно понадобились дрожжи...

Иржик поехал, а ребята еще долго слышали, как он трезвонит.

— Вот это звонок! Знаешь, Франтик, я тоже такой хочу...

— Звонок хорош... Где бы только достать будильник?..

Лойзик с Франтиком вымыли руки в речке и уселись на берегу. Лойзик задумчиво глядел на течение реки, по которому плыл

какой-то сучок. А Франтик пытался прутком изменить его направление. Для него сейчас это был не просто сучок, а подводная лодка, которая должна была потопить немецкий крейсер.

— Послушай, Франтик,— таинственно зашептал Лойза, хотя кругом не было ни души,— поклянись, что об этом никто не узнает...

— Чего ты шепчешь, ведь мы тут одни.

— Это будет теперь наша общая тайна, надо держать язык за зубами.

— Что-нибудь о ребятах?

— Нет, не о ребятах. Но то, что я тебе скажу, очень важно и должно остаться между нами навеки. Только сперва поклянись, что будешь нем как могила...

Франтик перестал смотреть на «подводную лодку» и подвинулся поближе к Лойзику.

— Не морочь мне голову, а говори, что знаешь...

— Ты сперва дай клятву, что никогда никому не скажешь, а потом узнаешь...

— Ну конечно, не скажу, мы с тобой товарищи.

— Этого мало. Протяни мне правую руку и скажи: «Честное слово».

— Как я могу дать честное слово, когда не знаю, что ты скажешь?

— Ну, если тебе так трудно дать наперед честное слово, то я тебе вообще ничего не скажу. Значит, ты можешь проговориться...

— Ладно, Лойзик, честное слово! Буду молчать. Вот моя рука.

— Только смотри никому не проболтайся! — Лойзик взял правую руку Франты и встал, чтобы придать обряду большую торжественность.

— Честное слово,— произнес Франтик,— обещаю тебе, что никому не проболтаюсь. Давай скорей, выкладывай...

— Франтик! Мы оба достанем такие звонки, как у Ирки...

— А как? Ты что-нибудь придумал?

— Вот именно. Мне пришла в голову отличная идея! Если нам повезет, ребята просто ахнут!

— А где эти звонки?..

— Это как раз самая большая тайна, и она должна навсегда остаться между нами.

— Раз я тебе поклялся, так говори, а не тяни резину...

— Ну ладно, пойдем со мной...

— Куда?

— Увидишь.

— Ты хоть скажи, куда мы идем?!

— Пошли, на месте узнаешь все остальное. Это не так-то легко

сделать, но так как нас теперь двое, то, может, и удастся.

Франтик больше ни о чем не спрашивал, а последовал за Лойзиком. Они поднялись на горку, прошли четыре пригородные улицы с низкими одноэтажными домиками, потом свернули на пятую. Улица шла в гору еще шагов пять — десять, дома здесь стояли только по левой стороне, а в самом конце ее — огороженный низеньким забором желтый домик с узким палисадником перед окнами. В доме жил истопник брненского оружейного завода пан Докоупил. У дома Докоупила кончалась улица, а дальше шла полевая дорога к ближнему лесу.

Когда мальчики подошли к дому, Лойзик схватил Франту за рукав и зашептал:

— Нам повезло, у них открыты окна.

Франтишек ничего не понимал.

— Иди сюда, Франтик, заберемся на насыпь, заглянем в комнату.

Напротив дома, где уже не было никаких построек, спускалась к дороге высокая насыпь.

— Знаешь, Франтик, отойдем подальше. Вроде бы мы просто гуляем, а потом по насыпи вернемся обратно.

Мальчики влезли на насыпь, возвышавшуюся в двадцати шагах от дома, прошлись, вернулись обратно и остановились прямо против дома.

— Так, а теперь, Франтик, будь начеку. Мы не можем долго смотреть в комнату: вдруг нас заметят! У одного из окон на комод должен стоять будильник, он там всегда стоял. Кажется, от окна направо, ага, у того, которое смотрит на нас. Гляди внимательно...

Через открытые окна была видна почти вся комната. В глубине ее у стены стояли кровати с высоко взбитыми перинами, в середине стол, а напротив, рядом с окном, — комод. Мальчики видели только часть верхней доски, покрытой белой салфеткой. В комнате никого не было, во всяком случае, они никого не заметили.

— Видишь? — Лойзик схватил Франту за руку.

— Где?

— Ну, сразу у первого окна, на комод...

— Ага, уже вижу. У него два звонка!

— В том-то и дело, что два звонка.

— Хорошо, а как...

— Пан Докоупил знаком с моим папой. Ты же знаешь, что папа мобилизован на оружейный завод, а пан Докоупил там работает истопником... Пошли, кто-то вошел в комнату. Наверно, старая пани Докоупилова...

Ребята побежали к лесу.

— Ты думаешь, он продаст будильник?

— погоди, добежим до леса, сядем, и я тебе скажу, что я придумал. Знаешь, что мне пришло в голову, когда мы сидели у реки?.. — Лойзик замолчал — наверное, он собирался с мыслями, как бы это все объяснить Франтику, чтобы сразу заинтересовать его своим планом. — Мы будильник у Докоупила купим, но так, чтобы он не знал, что мы его купили. Понимаешь?

— Нет, не понимаю... Как это? Купить так, чтобы он не знал? Может, кто-нибудь купит его для нас? Ты так думаешь?

— Нет, не так. Подумай, если я скажу пану Докоупилу, чтобы он продал мне будильник, он мне его ни за что не продаст. Особенно если узнает, что мы хотим снять с него звонки для своих самокатов. Поэтому мы возьмем будильник, чтобы он об этом не знал, но взамен мы ему что-нибудь дадим, но тоже так, чтобы он не знал, кто ему дал. Теперь понимаешь?

— Какая же это покупка? Знаешь, как называется? Кража!

— Ну да, это немножко кража, но не обычная кража, ведь он не останется в убытке, если за будильник мы ему что-нибудь дадим. Получится, вроде мы у него купили. Кража — это когда человек терпит убыток. Мы же не собираемся так поступать.

— Ой, Лойзик, я думаю, что это все равно кража.

— Ну, может, это и кража, но только не воровство. Мы же хотим вознаградить его за потерю.

— А ты знаешь, сколько стоит такой будильник?

— Нет, но будильник старый, он не может стоить сколько новый.

— Не забудь, что у него два звонка, значит, он не обыкновенный будильник. Значит, он дороже.

— Зимой я был с папой у Докоупилов. Пан Докоупил говорил тогда папе, что этому будильнику уже пятнадцать лет и он убегает почти на полчаса за сутки. После войны пан Докоупил собирается купить новый, со светящимся циферблатом. Значит, не такой уж убыток мы ему нанесем.

— Так ты думаешь, что это не очень ценный будильник?

— Какой же он ценный! Теперь делают будильники гораздо лучше, самое ценное в нем — это два звонка, теперь, кажется, таких не делают...

— А что ты думаешь за него дать?

— Что-нибудь дома наскребу. Сигареты, немного кофе. Пан Докоупил рассказывал, что он без кофе жить не может, особенно когда работает в ночную смену, а кофе теперь стоит дорого. У моей мамы есть еще немного кофе, я знаю, где она его спрятала. Если к этому прибавить еще кусок колбасы, то... как ты думаешь?

— А ведь ты все это возьмешь дома, потихоньку от родителей. По-твоему, это не кража?

— Но это все наше общее.

— Конечно, ваше, но ты ведь не куришь сигареты, они папины.

— Все равно это не то, что взять у чужих!

— Конечно, только, Лойзик, мне не так просто взять что-нибудь из дома... А как ты хочешь взять будильник?

— Через окно.

— Через окно? А если тебя увидят? Вдруг кто-нибудь в комнату войдет?..

— Мы должны узнать, в какое время у них никого не бывает дома.

— Ты думаешь, все уйдут и оставят окна открытыми?

— Пана Докоупила днем дома не бывает, а пани Докоупилова с бабушкой обычно работают за домом, в саду, и окна не закрывают. Увидишь, все будет как надо! Завтра утром попробуем. Вот ребята удивятся, что у нас новые звонки. Ну, что скажешь, Франтик? Разве не гениальная мысль пришла мне в голову?

— Наверно, только бы нам повезло...

— Обязательно повезет! Поищи что-нибудь дома, надо как следует расплатиться. Может, они даже рады будут, что наконец-то старый будильник исчезнет, а когда пан Докоупил увидит кофе, так он про будильник и не вспомнит. Только ты никому ни звука, смотри не проболтайся!

— Не бойся, ведь это теперь наша тайна.

— Вот посмотришь, как ребята рты разинут!

Франтику, так же как и Лойзе, хотелось иметь звонок, но он все-таки боялся. Такое приключение может и до беды довести. Он уже в прошлом году попался на удочку, когда с Мефодием Птачкой и Гонзой Мичаном отправился на вылазку в сад за яблоками. Правда, хотя сторож их заметил, всем удалось удрать, только Франтик, перелезая через забор, зацепился за сучок и разорвал штаны сверху донизу. Что потом было дома, лучше не вспоминать... А на этот раз дело может обернуться еще хуже!

— Знаешь, Лойзик, я все-таки боюсь. Представляешь, что будет, если кто-нибудь нас схватит?

— Не бойся, будильник я сам возьму, твое дело стоять на страже у палисадника. У них такие низкие окна, что залезть совсем просто, а будильник стоит близко.

— Гм, а вдруг они его переставят?

— Я тут гулял много раз и, когда шел по насыпи, всегда видел будильник на том же месте, где и сейчас. Главное, чтобы окно было открыто. Знаешь что, давай лучше пойдем домой и приготовим все к завтрашнему утру.

Мальчики поднялись и побежали вниз по насыпи...

На следующий день Лойзик сразу после обеда отправился к реке, на свидание с Франтиком. Они договорились, что будут ждать друг друга на том же месте. Лойзик нес под мышкой сверток. Он очень волновался. Ему все казалось, что любой встречный может его спросить, куда он бежит и что он унес из дому. Сердце бешено колотилось, а в горле так пересохло, что он даже звука проронить не смог бы... Уж скорее бы Франтик пришел...

Лойзик представлял себе, как мальчишки будут восхищаться его звонком, как Мефодий, Флориш, Станда и Ярда будут ему завидовать... Обязательно будут... Наконец-то и он, Лойзик, обратит на себя внимание тех ребят, которые недавно устроили гонки на самокатах, а его прогнали, потому что на его самокате не было ни звонка, ни клаксона... Но теперь-то их звоночки будут тьфу по сравнению с тем, какой поставит на самокат Лойзик! Его звонок будет даже звонче, чем у Иржика!

Вот когда у Станды Коукала был самокат с резиновыми шинами, все сразу захотели с ним дружить. А как клянчили, чтобы Станда дал им покататься. Разумеется, Станда задаром самокат ребятам не давал... Сколько вещей он выторговал у глупых мальчишек! А что выделявали ребята, когда Флориш Кубичка вдруг появился на велосипеде... Через неделю, правда, его слава померкла, потому что велосипед был не его, а двоюродного брата, который гостил у них на каникулах, а потом вместе с велосипедом вернулся в свои Иванчицы.

Теперь, конечно, у Ирки есть звонок, прекрасный звонок, такого еще ни у одного мальчишки не было. Но звонок из будильника Докоупила будет еще лучше, Лойзик хорошо знал, что на будильнике Докоупила звонки больше и блещут лучше. Пан Докоупил сказал тогда папе, когда они про будильник толковали, что у его будильника специальные, особенно громкие звонки; дело в том, что он, пан Докоупил, очень крепко спит и его разбудить не так-то просто. Часы эти служат пятнадцать лет, и ходят они уже не очень точно, но звонок что надо! Он даже завел будильник, чтобы папа убедился, какой это звонок. Папа сказал, что такой звонок и мертвого разбудил бы... Но что это Франтик так долго не идет? Может, он раздумал?... Ну и дурак будет, если не придет. Упустить такой звонок!..

У Лойзика опять странно сдавило горло, словно внутренний голос ему сказал: «Что это ты так радуешься и хвастаешься звонком? Разве он из твоего будильника?» — «Но ведь я несу сверток, — оправдывался Лойзик, — сигареты, целых двадцать штук, и двести грамм кофе, кусок колбасы, кусок сала, большой брусок мыла и немножко сахару, а сахар теперь такая редкость. Боже мой,

что скажет мама! Теперь так трудно все это достать... И стоит дорого...» — «Разве ты не обманул маму, взяв все это? А папа... Ты ведь хорошо знаешь, с каким трудом он достаёт сигареты». — «Но ведь это все наше, значит, и мое...» Лойзик пытался приглушить этот голос, который его так противно допрашивал, развеивая все радостные картины. А сердце стучало так, что его было слышно сквозь рубашку... Как ни старался Лойзик избавиться от этого противного голоса, но так и не смог его заглушить.

«А вдруг, — продолжал этот вредный голос, — тебя встретит пан Докоупил и узнает звонок от своего будильника?» — «Гм... — отвечал Лойзик, — ему и в голову не придет, что звонок от будильника может быть на самокате... А потом, если я случайно увижу пана Докоупила, то поеду очень быстро и звонить не буду... Поздороваясь, а он на самокат и внимания не обратит». — «А что, если ты случайно его не заметишь и он узнает свой звонок по звуку?» — «Может, не узнает, ведь он привык слышать сразу два звонка, а у меня будет только один, а другой у Франтика...» — «Хорошо, а если он встретит Франтика на самокате?..» Что правда, то правда, Франтик рохля, он может выдать... От этого разговора с самим собой у Лойзика снова застучало сердце. Ну почему нельзя просто чему-то порадоваться? Недаром сегодня ночью ему приснился страшный сон. Лойзику снилось, как пан Докоупил гонится за ним... Лойзик бежит по улице, ноги будто свинцовые. Он слышит за собой крик: «Держите его, держите его!» Он оглядывается и видит, что за ним мчится пан Докоупил на его самокате, а за паном Докоупилом все ребята из класса, тоже на самокатах... Потом он очутился в каком-то болоте, не мог двинуться с места, проваливался все глубже и глубже... Лойзик проснулся весь в поту.

В школе сегодня тоже не везло. На каждом уроке ему делали замечания за невнимательность. К счастью, в самом начале урока арифметики завывли сирены... А дома! Вот натерпелся он страху, когда полез в папин стол за сигаретами!.. А потом... Мама была все время дома, а в чулане двери страшно скрипят. Только и выдалась минутка, когда мама побежала к соседке, через улицу, за уксусом для подливки. В другой раз мама послала бы Лойзика, но сегодня, видно, ей хотелось узнать, нет ли каких новостей, может, что по радио передавали, — у Падаликов ночью слушают Москву.

Лойзик сел на берегу. Сверток положил рядом с собой. С противоположного берега доносились какие-то выкрики. Среди кустов и деревьев он заметил немецких солдат. Лойзик был рад, что его и солдат разделяет река, кусты и деревья...

Он вспомнил, как вчера ночью папа слушал Москву, а мама тряслась от страха. Дело в том, что по соседству живет одна фрой-

лен, кажется немка, и мама очень ее боится... «Они уже покатались под гору, — говорил вчера папа. Это он о немцах. — Русские идут на Мораву, скоро фашистскую нечисть погонят до Берлина». А мама заглядывала за штору и даже пошла посмотреть в переднюю. А папа ей сказал: «Перестань ты бояться, им теперь некогда следить, кто какое радио слушает. Они думают только о том, как бы скорее ноги унести и спасти свою шкуру. Но им ничто не поможет, пришел их последний час. Была бы их воля — весь мир бы разворовали, грабители окаянные!» Папа так разозлился, что чуть не кричал, а мама все одергивала его, чтобы кто-нибудь не услышал. Обидно в самом конце войны попасться к ним в лапы... Потом папа уже потихоньку рассказывал маме, как какие-то спекулянты продают сало уже за тысячу пятьсот крон, масло за пятьсот и дороже, а кило муки за двести крон... «И это печально, что некоторые чехи оказались плохими людьми и наживаются на нашем несчастье. Чем они лучше немцев? — сказал папа. — После войны их следовало бы выгнать вместе с немцами».

Как только Лойзик вспомнил, о чем говорил папа, ему снова стало не по себе. Но ведь они с Франтиком не такие, они просто хотят меняться. Тут он услышал топот за спиной. Лойзик вскочил, поспешно спрятал сверток под куртку и оглянулся. Перед ним стоял всего-навсего Франтик...

— Несешь? — спросил Лойзик.

— Только это. — Франтик вытащил из-под полы банку мясных консервов и, задыхаясь, объяснил: — Ничего больше не достал. Чулан мама запирает. Консервы взял в кухне из шкафа, может, мама не заметит.

Лойзик посмотрел на банку.

— Наверно, полкило будет?

— Конечно!

— Давай, Франтик, сложим все в один сверток, так легче сунуть в окно.

— У тебя хватит бумаги?

— Хватит, бумага крепкая. Я все упаковывал на чердаке, а знаешь, как трудно было пронести этот сверток, чтобы мама не заметила!

— Думаешь, нам все-таки удастся взять будильник...

— Ничего нет легче, если только у Докоупила будет открыто окно. Это очень просто. Посмотри, получился порядочный сверток. Пойдем, Франтик, прямо сейчас, а если сегодня нам не повезет, мы его где-нибудь спрячем, а завтра снова попробуем.

— А ты представляешь, что будет, если нам не повезет и об этом кто-нибудь узнает, ну хоть ребята из нашего класса...

— Франтишек, ты боишься?

— Не боюсь, но вдруг нас кто заметит?

— Вот потому-то надо все осмотреть вокруг. Пошли. Окно открыто! — зашептал Лойзик. — Пошли, давай поднимемся и посмотрим, нет ли кого в саду. Может, они там, за домом, сейчас в садах много работы.

— Давай, Лойзик, заберемся лучше на насыпь, с улицы плохо видно, что там внутри делается, одно окно закрыто.

— Знаешь, нам очень повезло, что открыто именно правое окно, через левое нам бы будильник не достать, пришлось бы через весь комод тянуться.

Когда мальчики влезли на насыпь, стало ясно, что через одно открытое окно всю комнату нельзя рассмотреть. А через закрытое ничего не видно. Стекла блестели, и в них, как в зеркале, отражалась улица.

Ребята скатились с насыпи и пошли вверх по дороге, откуда был хорошо виден сад, находящийся за домом. В саду на протянутых между деревьями веревках висело белье, но людей как будто не было. Франтик вдруг схватил Лойзика за рукав:

— Посмотри, вон идут две женщины по дороге, видишь?

— Ага, давай поскорее отсюда, чтобы нас не заметили. Помоему, это пани Докоупилова с бабушкой, но мне все-таки плохо видно. Побежали к лесу, оттуда будет виднее.

В одно мгновение мальчики оказались у леса.

— Да, это они, старая пани Докоупилова с молодой, я узнал их. Считай, что нам повезло. Значит, никого нет дома, пан Докоупил сейчас на работе.

— Ты точно знаешь?

— Совершенно точно. Они идут на поле. Видишь, та, которая несет мотыгу, — это его жена, а за ней бабушка, у нее корзина в руке, я их узнал, не бойся. Давай вернемся, может, нам сегодня повезет.

— Лойзик, тебе не кажется странным, что все ушли из дома и оставили открытым окно?

— Ну и что с того? Может, забыли, а может, ушли ненадолго. А может, чтобы в комнате был свежий воздух. Поле недалеко. Видишь, они уже остановились. Пошли скорей, и не оглядывайся...

— Послушай, а вдруг у них еще кто-нибудь живет, кого ты не знаешь? Почему они белье оставили на веревках?..

— Ну и что, с поля хорошо виден сад. Хуже, если они вспомнят, что не закрыли окно, и пани Докоупилова решит вернуться.

— Вдруг они в самом деле вернутся? Лучше не будем, а?..

— Пока они дойдут, будильник будет уже у нас в кармане. Пошли скорей, давай сегодня покончим с этим делом... Посмотри, и на улице никого нет.

Мальчики остановились около палисадника, посмотрели по

сторонам — нигде никого, все спокойно. Над головой в вышине пел жаворонок...

— Лойзик, а у тебя тоже сильно колотится сердце?

— У меня? Гм, почему? Совсем нет... — пробормотал Лойзик, хотя сердце у него стучало так, что чуть не выпрыгивало из груди. — Да не бойся ты, Франтик, будильник я сам возьму, а ты стой на стреме и следи, не идет ли кто. Видишь, никого нет. Ступай к насыпи и карауль. Если кто-нибудь покажется, ты тихонько свистни, а сам иди к лесу, я тебя догоню.

— Ладно, Лойзик, давай поскорей, а то страшно.

— Господи, связался я с тобой!..

Лойзик разбежался, перепрыгнул через низкий забор, поднялся на край фундамента и попробовал, достанет ли он до окна. Достал. Теперь надо схватиться за оконную раму, свеситься через подоконник, лечь на живот и дотянуться до будильника. Он положил сверток на подоконник, чтобы обеими руками держаться за раму. Подтянулся изо всех сил, но до рамы не достал. Тогда он спрыгнул на землю, оставив сверток на окне, и поспешил к насыпи за Франтиком. Франтик внимательно наблюдал за каждым его движением и одновременно смотрел, не идет ли кто по улице. Но именно в ту минуту, когда Лойзик перебирался через забор, Франтик повернулся и быстро пошел к лесу. Лойзика это смутило. Почему он ушел? Увидел кого-нибудь? Но никого нигде не видно! Он окликнул Франтика:

— Подожди!

Франтик не остановился, а, наоборот, пошел еще быстрее. Тогда Лойзик побежал, чтобы догнать его. Франтик обернулся и, увидев, что Лойза бежит, помчался так, что только пятки засверкали.

— Господи, какой балбес! — вздохнул Лойзик и рванул за Франтой изо всех сил, но догнал его почти у самого леса.

— Почему ты убежал? Увидел кого-нибудь?

— Нет, никого не видел. А почему ты побежал от окна? Они дома?

— Да никого там нет, просто я не смог достать рукой до рамы. Хотел тебя позвать, а ты переполошился, как глупая курица...

— Я испугался...

— Ну, ладно... Пошли... Сделаем так: ты нагнешься, а я стану тебе на спину. Фу... И задохнулся же я... Летишь, как заяц... Из-за тебя мы столько времени потеряли.

Через несколько минут они снова стояли у окна. На улице было по-прежнему пустынно.

— Франтик, наклонись и упрись руками в стену... Чего ты так трясешься?

— А ты все видишь? На улице никого нет?

— Никого, никого... Перестань трястись и не шуми!

Лойзик встал Франте на спину, уцепился за раму, просунулся в окно и схватил сверток, чтобы положить его на комод. Сверток он держал в левой руке, а правой потянулся за будильником. Но между комодом и стеной оказалось еще расстояние сантиметров в пятнадцать, и Лойзик понял, что ему не дотянуться до будильника, если он не положит сверток. Ему надо освободить левую руку и, оперевшись на нее, пролезть немного вперед. Тут сверток выскользнул у него из руки и провалился в щель между стеной и комодом.

«Ну вот, теперь они сверток не увидят,— с досадой подумал Лойза,— могут вообще его не найти, разве только надумают, когда-нибудь стены красить...»

Из окна до простенка не достать... Что делать? Надо передать будильник Франтику, а самому влезть в окно, вытащить сверток и положить на комод, туда, где стоял будильник. Лойза схватил будильник и повернулся, чтобы отдать его Франте.

— Франтик, возьми будильник,— зашептал он и посмотрел вниз.

Франтика нигде не было. Почему он убежал? Кто-нибудь шел по улице? Лойзик хотел быстро влезть в окно, но вдруг услышал какой-то звук, словно кто-то замурлыкал. Он глянул в комнату и обомлел. На диване слева спал пан Докоупил... Когда он смотрел снизу, комод заслонял ему диван, а теперь он его заметил... Лойзик замер от страха. Пан Докоупил пошевелил рукой, и Лойза тут же вывалился из окна в палисадник. Коленом он стукнулся о выступ фундамента, но будильник из рук не выпустил и, не оглядываясь, помчался к лесу...

Только теперь он почувствовал, что здорово ушибся. Колено горело. Но почему этот балбес Франтик убежал? Лойзик и сам не мог опомниться от испуга. Ведь пан Докоупил пошевелился! А что, если он не спал? А вдруг он его узнал? Нет, он не видел Лойзу, а то бы вскочил... Конечно, он спал, а то сказал бы что-нибудь.. Бррр... Лойзик содрогнулся. Но почему убежал Франтик? Убежал, ничего не сказав? Лойзик не мог быстро бежать: нога болела и в боку колело.

Вот почему Докоупиловы оставили открытым окно! Теперь он все понял. Франтик был прав, когда открытое окно показалось ему подозрительным...

Наконец Лойзик добежал до леса. Там на обочине дороги сидел Франтик.

— Будильник у тебя?

— Почему ты убежал? — Лойзик сел рядом с Франтой, вытащил из-под куртки будильник, подал его Франтику и занялся своим коленом.— У-у, как горит!

- Покажи! Здорово ты его ободрал...
- Почему ты убежал? Отвечай!
- Представляешь, вдруг на улице показалась пани Маркова, ну, та, что живет через дом от нас...
- А когда она оказалась на улице?
- Как раз когда ты лежал на подоконнике.
- И она видела тебя?
- Не знаю, я так испугался, что тут же убежал.
- Ну и ну! Сам убежал, а меня оставил торчать в окне...
- Лойзик! Я в ту минуту не мог из себя выдавить ни слова...
- Ну и трус же ты!.. А далеко она была, когда ты ее увидел?
- Шагов за пятьдесят...
- Шагов за пятьдесят? И ты тут же побежал? А ты точно знаешь, что это была она?
- Точно, я ее узнал. Несла сумку. Когда я потом оглянулся, то ее уже не видно было... Может, завернула в соседнюю улицу.
- Девчонка ты трусливая, вот ты кто. Если бы ты чуть подождал, то хоть видел бы, куда она пошла...
- А чего ты так долго лежал на окне?
- Долго? Представь себе, что сверток упал за комод...
- Это скверно! Когда они заметят, что будильника нет, а вместо него не найдут свертка, то подумают, что часы украли, и сообщат в полицию... И полицейская собака учует наши следы... Вот увидишь.
- Еще чего! Этого не бойся. Из-за будильника немецкую полицию никто не позовет. Этого не будет. Да и вообще... Будильник для полиции — тьфу! Я только боюсь, ты проболтаешься, но имей в виду, это касается не только одного меня...
- Не проболтаюсь! Я умею молчать. Знаешь, Лойзик, мне очень обидно, что ты мне не веришь... Я же пошел с тобой, ведь один бы ты побоялся. Скажешь, нет? Разве я виноват, что так испугался?..
- А я тебя и не виню. Но все-таки противно, что ты убежал. Посмотри, как я рассадил коленку... Знаешь, как горит!
- Пойдем, Лойзик, я тебя доведу до ручья, это недалеко, надо промыть рану, а то может быть заражение крови... Покажи будильник... Ой какой красивый! И звонки большие. Там, около ручья, мы можем его и разобрать.
- А если туда кто-нибудь придет? Хотя бы лесничий... Нет, будильник пока не надо разбирать.
- Ну, как хочешь. Пошли...
- Это далеко?
- Нет, всего полчаса ходу.
- Полчаса! А ты говоришь, близко! Лучше пойдем по опушке к речке.

— Ты тоже скажешь! А там всегда можно ребят встретить... Нет, туда с будильником нельзя. Потерпи еще немножко, не бойся, я хорошо знаю дорогу к ручью. Я там несколько раз был с папой.

III

Лойзик обмывал рану в ручье и мычал от боли: уж очень щипало... Кожа на колене была здорово содрана.

— Скоро пройдет,— утешал его Франтик. Он сидел на траве и рассматривал будильник.

— Франтик, у тебя есть носовой платок?

— Есть, только грязный. Пусть коленка подсохнет на солнышке — так будет лучше. А когда придешь домой, намажь йодом. Есть у вас дома йод?

— Есть... Только опять будет щипать. Йод ужасно щиплет.

— К тому времени ссадина засохнет. Йод сильно щиплет, когда свежая рана.

Вдруг Франтик вскочил:

— Слышишь? Послушай!

Лойзик схватил будильник, который лежал на траве около пня, и спрятал его под куртку.

— А что там?

— Слышишь? Кукушка кукует.

— А я-то испугался, думал, кто идет. Ты не мог бы говорить поспокойней?

— А откуда я знал, что ты испугаешься? Я в этом году еще ни разу кукушку не слышал...

— Знаешь, у меня из головы не выходит та... ну, которая шла по улице... пани Маркова. Если она тебя узнала... И еще... — Лойзик опять сел на пенек, наклонился к Франтику и заговорил шепотом: — Франтик, а ведь в комнате спал пан Докоупил!

— Ты что!.. Ты правду говоришь? И он видел тебя? — всполошился Франтик.

— Думаю, не заметил, он, кажется, спал, но в тот момент, когда я его увидел, пошевелился и что-то пробурчал. Я так испугался, что вывалился из окна, как тюфяк.

— А почему ты мне об этом сразу не сказал?

— Я сначала не собирался тебе говорить, а теперь решил: лучше, чтобы и ты знал...

— Ой, Лойзик! Что с нами будет!

— А что?

— Ведь ты точно не знаешь, видел он тебя или нет...

— Если бы он меня видел, наверняка побежал бы за мной.

Просто спросонок что-то пробормотал... Может, он до сих пор спит.

— Представляю, как ты испугался! Я бы даже убежать не смог. Послушай, Лойзик, давай пойдем и вернем этот будильник. Вдруг с нами беда случится!..

— Я так и знал, что не надо тебе говорить...

— Ты же знаешь, как мне хотелось иметь этот звонок, а теперь... Теперь не хочется...

— Мне тоже... — нахмурился Лойзик.

— Пойдем, Лойзик, вернем этот будильник, пока ничего не случилось... Ведь все-таки мы... ну, знаешь...

— Спятил? Разве мы теперь можем идти к Докоупилу? Ведь он наверняка уже проснулся и обе пани пришли домой!..

— А когда мы его вернем?

— Ну, скажем, завтра. Можем мы до завтра подождать?..

— Завтра вся улица будет знать, что пропал будильник...

— Знаешь, что я подумал? Если они будут искать будильник, может, посмотрят за комодом, не упал ли он туда, а там найдут сверток! Они поймут, что это не случайно, что это им взамен будильника, может, даже обрадуются и никому ничего не скажут... Давай, Франтик, подождем до завтра, посмотрим, что они будут делать. А завтра увидим... Ну а если что не так, вернем будильник. Как-нибудь изловчимся...

— Ты так думаешь?

— Сегодня все равно мы его вернуть не можем.

— А куда его девать?

— Спрячем где-нибудь. Хотя бы в лесу.

— В лесу? А если пойдет дождь — и он намокнет, заржавеет и испортится? Надо хорошенько подумать!

— Глупости... Нужно спрятать так, чтобы не попал под дождь.

— Ты слышишь, как он тикает?

— Слышу... Громко тикает...

— А если кто услышит, что он тикает, и догадается?

— О чем догадается?

— Ну, мы его здесь спрячем, кто-нибудь пойдет, услышит тиканье и найдет будильник.

— Ты думаешь?

— Нет, нельзя его здесь оставлять!

— Ну и домой брать нельзя. Еще по дороге кого-нибудь встретишь. Он тут же спросит: «Что это у тебя тикает под курткой?»

— Правда. А если его как-нибудь остановить?

— Попробуем, может, получится.

Лойзик взял будильник и стал рассматривать винты сзади.

— Ага, вот этот винт заводит ход... А этот — чтобы звонил,

а тут рычажок, чтобы, когда часы спешат, замедлить ход...

— Откуда ты знаешь?

— На папиных карманных часах такой же рычажок. Видишь, там буква «с», значит, скорость. Когда рычажок подвинешь к этой букве, часы начнут отставать, а когда подвинешь до упора в обратную сторону, то начнут спешить...

— А вот это зачем?

— Это? погоди, ага, видишь, этим переводят стрелки. Смотри, как погнулась большая стрелка.

— Поставь ее на место, будем знать, сколько времени. Через десять минут будет четыре часа.

— А вот такого винтика, чтобы остановить часы, здесь нет...

— Ну, пусть идут, может, до утра они остановятся. На ночь мы их здесь где-нибудь спрячем, выроем ямку под деревом, выстелим ее листьями, засыплем песком и придавим камнем, чтобы часы не намокли, если дождь пойдет.

Лойзик поставил будильник на пенек, и мальчики сели на траву.

— Смотри, Франтик, видишь вон ту рыбку?

— Где? Ага, вижу... Ты думаешь, здесь могут водиться большие рыбы?

— А почему нет? В таком ручье могут быть и форели.

— Форели? Ты так думаешь? Пошли, топнем посильней, форели прячутся под берегом. Знаешь что, давай разуемся и влезем в ручей, может, поймает рыбу.

— А это разрешено?

— А почему нет?

— Я слышал, что просто так рыбу ловить нельзя, надо иметь разрешение.

— Это только когда ловишь в реке, а в таком ручье можно без разрешения.

— А вот и нет! Около нас живет пан Кавка, он ходит ловить форель куда-то к Тишнову, там тоже такой ручей. И он говорил, что там поймал браконьера. Кавка ругался, что он, мол, уплатил за рыбацкое удостоверение, а какой-то браконьер у него из-под носа вылавливает его рыбу... И представь себе, этого браконьера посадили в тюрьму...

— Правда?

— Факт! Это тебе не игрушки. Из леса нас может кто-нибудь увидеть, и готово...

— Может, ты и прав.

— Посмотри, Франтик, там... около того камня...

— Ой, там большая, наверно, грамм двести пятьдесят. Это не форель.

— Давай ляжем на берегу и пошарим под...

Лойзик не успел договорить, оба мальчика вскочили как ужаленные...

— Ой, как я испугался, бррр!..

— И я... Сердце стучит, как молот!

На пне звонил будильник. Лойзик опомнился первым, схватил будильник, обмотал его курткой и лег на него. Будильник пронзительно звенел.

— Бежим, Лойзик, на звонок может кто-нибудь прибежать, хотя бы тот же лесничий...

— Пошли спрячем его вон там, под той ольхой.

Мальчики побежали вдоль ручья к лугу. Берег ручья порос низким ольшаником. Луг зеленым полуостровом вдавался глубоко в лес. Пробежав шагов триста, мальчики остановились и сели на берегу в зарослях ольшаника.

— Нас отсюда не видно, а мы сразу увидим, если кто-нибудь пойдет из леса.

— Лойзик, давай отвинтим звонки.

— Зачем?

— Чтобы не звонил.

— Теперь он уже не будет звонить. Для этого нужно его опять завести.

— Давай быстренько его спрячем — и бегом домой!

— Здесь, на лугу? Так далеко от дома?! Нужно его спрятать поближе, где-нибудь в лесу, на опушке, или на пасеке, оттуда до дому четверть часа ходу. Будильник завернем в куртку.

— Лойзик, давай завяжем один рукав и засунем туда будильник. Куртку ты перекинешь через плечо, и никто ничего не заметит. Если нести будильник за пазухой, может показаться подозрительным. Вдруг встретится лесничий и подумает, что мы тащим чего-то из леса...

Мальчики пересекли луг и через несколько минут были уже на лесной тропинке. Под ногами шуршали сухие прошлогодние коричневые листья. Тропинка шла через молодой буковый лес, сквозь сухую листву пробивалась зеленая трава. Освещенные полуполуденным солнцем, кое-где сверкали свежей листвой молодые березки. У буков тоже лопались почки и вылезали робкие листики. Но кроны были еще голыми. Земля, разбуженная в этом году на редкость ранней весной, издавала резкий запах, а в кронах деревьев сотни птиц радостно распевали свои песни...

Когда мальчики дошли до вершины холма, где молодой буковый лес переходил в старый, в котором росли высокие раскидистые буки и дубы, они услышали раскаты, словно где-то далеко без устали гремел гром.

— Ты думаешь, это гром? — спросил Франтик.

— Какой гром!.. Это пушки. Слушай хорошенько, это гремит

где-то около Вены, а может, еще ближе, от границ Моравы. Папа вчера говорил, что Советская Армия уже около Годонины или Бржецлавы.

— Вы каждый день слушаете Москву и Лондон?

— А ты не кричи. Кто-нибудь может донести... Папа слушает, а мне не разрешают... Вот теперь здорово грохочет, похоже, что Советская Армия совсем близко.

— Давай приложим ухо к земле.

Франтик и Лойзик улеглись и прижались ухом к земле.

— Так гораздо слышней, правда?

— Ясно, слышней! Земля лучше проводит звук, чем воздух... Ой, посмотри, жук рогач! Он чуть не укусил меня в нос.

— Покажи. Это не рогач, а рогачиха,— засмеялся Франтик.

— Я и без тебя знаю, что это самка, потому что у нее нет рогов. И все-таки это рогач, потому что не говорят — рогачиха...

— Большущая. Их тут полно, в старом дубовом лесу.

— Осторожно, Франтик, кто-то идет.

Мальчики вскочили и побежали в гущу леса. По тропинке шли паренек и девушка.

— Это такие, которые влюблены... Мы зря испугались.

— А почему мы все время чего-то пугаемся? Что, у нас на лбу написано, что мы... ну, что мы несем будильник?

— В самом деле, Лойзик. Это даже чудно, что мы все время боимся. И сказать по правде, мне домой не особенно хочется. Не знаю почему. У меня такое чувство, что по мне сразу видно, что я что-то натворил. А у тебя нет?

— У меня? Ну, я не боюсь так, как ты... Но домой мне тоже не очень хочется. Не потому, что я боюсь, просто в лесу хорошо. И знаешь, что мне пришло в голову? Пойдем посмотрим на плотину. Оттуда не так уж далеко до дома. Ты как?

— Давай по дороге через Ледовый холм. Полчаса — и мы там.

— А обратно — по дороге от Быстрицы.

На Ледовом холме ребята, чтобы перевести дух, уселись на стволах поваленных дубов и буков. С горы открывался прекрасный вид. На востоке, в легком тумане, на холмах раскинулось Брно. Внизу блестела река Свратка, на берегах которой белели дома предместий Жабовршек и Юндрова... Сзади, на горизонте, направо от Змеиных холмов, словно таяла Лишень...

Гул пушечных выстрелов на холме был еще слышнее.

— Ты как думаешь, Лойзик, это только пушки гремят? А может, началась бомбежка?

— Конечно, пушки, бомбежка не может быть так долго.

— Представляешь, что будет, когда Советская Армия подойдет к Брно. Отсюда хорошо будет все видно.

— Видно-то будет хорошо, только, когда Советская Армия подойдет к Брно, нам ничего не удастся увидеть. Придется сидеть в укрытиях. Это тебе не шутка, когда на город посыплются гранаты, самолеты будут сбрасывать бомбы, а солдаты строчить из пулеметов...

— Знаешь, о чем я подумал? Когда Советская Армия займет Брно и снова наступит мир, мы в школе, на уроках истории, будем учить про битву у Брно. Мы будем читать про то, что пережили сами.

— А я даже не могу себе представить, что не будет войны и опять наступит мир. А ты можешь?.. Не будет немцев, не будет затемнения... А папа говорил, что когда наступит мир, то в магазинах опять можно будет все купить.

— Давай, Лойзик, купим тогда много-много шоколадных конфет.

— Я очень хочу, чтобы скорее наступил мир. Не будет больше налетов, немцы никого не будут сажать в тюрьму, они сами убегут...

— Думаешь, немцы убегут?

— Папа говорил, что они уже сейчас бегут. Увидишь, как только подойдут советские солдаты к Брно, немцы так побегут! Они знаешь как боятся Советской Армии!

— И немецкий язык мы тогда не будем учить, правда?

— Это идея! Конечно, не будем, какой уж там немецкий! Все немцы должны уйти из Моравы и из Чехии, ни один тут не останется! — Лойзик наклонился к Франтику и прошептал: — Ты только об этом никому не говори, папа сказал...

— Тихо, Лойзик, вон там, внизу, кто-то идет...

— Где?

— Вон там... Посмотри...

— Да это те же, которых мы уже видели, идут обратно. Давай лучше спустимся на другую сторону. Там за лесом видна плотина...

Мальчики побежали с горы и остановились на крутом обрыве у просеки. Под ними, как на ладони, в излучине реки лежала Быстрица. За Быстрицей, подобно расплавленному серебру, блестела поверхность Книнской плотины. Направо, ближе к Быстрице, на лесистой стороне белели разбросанные на небольшом холме домики Новых Книничек.

— Ты купался когда-нибудь у плотины, Лойзик?

— Несколько раз.

— Я тоже.

— Ты слышал, в прошлом году там утонули двое? Хо-

тели переплыть, но течение холодное, ноги свело судорогой, и все...

— Правда?

— Факт!

— У плотины даже в самую жару все равно холодное течение. Как попадешь в него, тут же судорога сводит ноги и руки, и тогда конец... А знаешь, какая там глубина?

— Точно не знаю, но думаю, с двухэтажный дом.

— Ты что, там поместился бы и восьмиэтажный!

— Правда?

— Я один раз побывал на плотине с папой...

— Лойзик, пошли туда, пять минут — и мы там...

— Мне не хочется, нога болит. Жаль, нет чистого платка, я бы завязал коленку, а то брюки трут и больно ходить. Подожди, я посмотрю, сколько времени.

— Пять часов. Есть у тебя нож, Лойзик?

— Есть, а что?

— Отвинтим винтики и поглядим, как часы ходят. Так хочется посмотреть на механизм. Сосчитаем колесики и будем знать, как потом их поделить.

В один момент мальчики отвинтили крышку.

— Вот это да!.. Я тебе скажу, это будильник! До сих пор идет. Видишь, Франтик, как они там спуют? А эта синяя пружина так закручена, посмотри, она, наверно, очень длинная, так что нам вполне на два звонка хватит...

— Хватит-то хватит, только теперь мы с ней никуда не сунемся. Придется подождать, пока забудут, что у Докоупилов пропал будильник. Представь себе, что к Иржикову дяде пришел бы Докоупил и узнал свои звонки...

— Я тоже об этом подумал.

— Кому бы дать их сделать?

— Моему дяде из Старого Брно. Это мамин брат, он слесарь, работает в какой-то фирме. Мне уже вчера пришло это в голову. Если он спросит, откуда у нас звонки, мы чего-нибудь придумаем...

— Молодец, Лойзик. Теперь все в порядке. Давай разберем будильник.

— Сейчас? Нет, Франтик, оставим до завтра. Давай сюда винтики, мы его снова закроем.

— Послушай, Лойзик, а все же странно, что пан Докоупил был дома, а не на работе. Ведь ты говорил, что он работает с твоим папой на оружейном заводе и приходит домой только вечером.

— Я забыл, что у него иногда бывает ночная смена. Ведь оружейный завод работает круглые сутки...

Тут Лойзик вздрогнул и схватил Франтика за руку.

— Что с тобой?!

— Знаешь, что мы наделали!

— Что? Что случилось?

— Знаешь, почему будильник звонил в четыре часа? Это пан Докоупил поставил его на четыре, чтобы успеть собраться на работу!

— Ты думаешь?

— Конечно! Поставил будильник, чтобы не проспать. К шести он должен быть на заводе. Может, он до сих пор спит. А если он опоздает на завод, знаешь, что его ждет? Немцы могут его расстрелять за саботаж! Пани Докоупиловой и бабушки нет дома, никто его не разбудит, и все из-за нас. Франтик, бежим скорее спасать пана Докоупила. Папа говорил, что у них на заводе немцы уже расстреляли несколько человек за саботаж.

— Что же теперь делать?

— Надо мчаться к ним домой и посмотреть, не спит ли он. А если спит, немедленно разбудить!

— Да ведь уже пять часов, теперь все равно поздно. Пока туда добежим, пройдет полчаса...

— Может, если он не на много опоздает, его не так сильно накажут? Как-нибудь вывернется? Бежим.

— А будильник с собой возьмем?

— Будильник? Нет, лучше где-нибудь здесь спрячем...

— Только не здесь! Лучше на опушке, поближе к дому... На пасеке...

— Ладно, сунь его в рукав, я подержу куртку.

— А как мы разбудим пана Докоупила?

— Постучим в окно и убежим...

Мальчики неслись во весь дух. Лойзик даже забыл про боль в коленке... Задохнувшиеся и вспотевшие, за четверть часа они добежали до пасеки.

— Послушай, Лойзик! Кажется, куковала кукушка...

— Значит, скоро будет тревога.

Небольшая толпа людей поднималась по холму к пасеке. Женщины и мужчины тащили сумки, чемоданчики, целые семьи с детскими колясками располагались на пнях среди молодняка. На одном из них была постелена салфетка и на солнце блестел термос. Молодая мама кормила ребенка.

В последние две недели налеты на Брно участились. Люди внимательно слушали радио, чтобы знать, где в данный момент находятся самолеты. Самыми подробными были сообщения из Вены. Англо-американские самолеты вылетали со своих баз из Италии и направлялись через Австрию в Чехословакию.

Диктор из Вены рассказывал, куда направляются боевые звенья бомбардировщиков, и, как только они приближались к

австрийской границе, по венскому радио раздавался голос кукушки. Это означало, что опасность близка.

Заслышав голос кукушки, толпы жителей Брно направлялись в окружающие леса. Иногда им приходилось оставаться там на целый день, потому что, случалось, самолеты делали по нескольку налетов.

Мальчики осмотрелись и выбрали большой пенек на краю пасеки, около которого росла береза. Там они вырыли под корнем ямку и застелили ее сухими листьями.

— Давай побыстрей, уже слышны голоса, люди направляются сюда, скоро их будет здесь полно...

— Подожди, давай отвинтим звонки.

— Зачем?

— Мы же из-за них будильник взяли, вдруг он потеряется? А так звонки все равно будут у нас...

— На, тебе один, мне другой...

Они завязали будильник в грязный носовой платок Франтика, чтобы в механизм не попали песок и труха, положили его в ямку и закрыли сперва сухой хвоей, а сверху мхом.

— Слышишь?

— Что?

— Будильник тикает?

— Нет.

— Я тоже не слышу. Значит, все в порядке.

— Давай сделаем какую-нибудь отметину, чтобы завтра утром сразу найти это место.

— Запомним березу. Она приметная, у нее надломлена верхушка.

— Сядь, Лойзик, люди уже близко...

Мальчики остались сидеть на пне. Решили переждать, пока пройдут мимо них двое мужчин и две женщины, и делали вид, что спокойно смотрят вдаль.

— Куда ты хочешь идти, Роберт? — спросила женщина.

Мужчина в серой шляпе ответил:

— Я предлагаю идти на Ледовый холм, оттуда все хорошо видно. Что скажешь на это, Пепик?

— Пойдем... Тогда нам нужно чуть правее. Скоро начнется тревога. Вена сказала, что три больших эскадрильи бомбардировщиков направляются на север через Венгрию, Корутаны и Тироль, значит, залетят и к нам...

Через минуту их голоса затихли.

— Ушли! Я так боялся, что они здесь рассядутся.

— А теперь по прямой бегом вниз — и через десять минут будем у Докоупилов. Хорошо бы... — Франтик не успел договорить, как в городе завыли сирены.

— Сирены! Тревога!
— Сигналят особую опасность. Что теперь делать?!
— Слышишь? Самолеты!
— Слышу...
— Придется остаться здесь. Сирены Докоупила и без нас разбудят. Самолетов-то сколько! Слышишь гул?
— Знаешь что, Лойзик, вернемся-ка на Ледовый холм, если начнут бомбить, оттуда все хорошо видно.
— Правильно, пойдем...
Вскоре послышалась стрельба зениток.
— Слышишь, Франтик? Пушки!
— Наверно, самолеты уже над Брно.
Только Франтик это сказал, как загудела и затряслась земля.
— Бомбят!
Мальчики прибавили шагу.

Когда они забрались на Ледовый холм, то увидели, что в разных концах Брно поднимаются к небу клубы густого черного дыма... Самый густой дым расползлся над Жиденицами, Новыми Черновицами и Комаровым. А затем и над старым Брно появился столб дыма. Недалеко от мальчиков группа людей рассуждала о том, на какие районы города упали бомбы.

— Этот черный дым вроде бы в Комарове, такой дым бывает только от нефти. Помнишь, в прошлый раз подожгли цистерны на Росицком вокзале? От них шел такой же черный дым.

Человек в спортивном костюме отвечал пану в легком плаще:

— Конечно, в Комарове. Там склады Вакумка, чего там только нет!..— откликнулся пан в плаще.

— Лойзик, а что это за Вакумка?

— Вакумка? Это склад бензина американской фирмы. Может, ты видел вагоны с надписью «Wassum oil company»? Папа рассказывал маме, что это американская фирма, и страшно ругался. От какого-то служащего этой фирмы он узнал, что она через Испанию и Швейцарию поставляет немцам бензин.

— Ну да?!

— Папа говорил, что это факт, что немцы со своим бензином давно бы уже выдохлись.

— Как же это? Ведь Америка воюет против немцев?

— Потому-то папа так возмущался.

— Видишь дым справа? — спросил пан в плаще своего приятеля.— Это в старом Брно.

— Послушай, а дым слева от Шпильберга — это не оружейный завод?

— Или завод, или вокзал.

- Нет, вокзал правее. Это определенно оружейный завод.
- Слышь, Франтик, что они говорят? Бомбили оружейный завод. Ведь там папа...
- Ты не бойся, разве можно отсюда разглядеть, завод это или не завод?
- Давай потихоньку двигать к дому. Пока доберемся, тревога окончится.
- Спустимся прямо к речке...
- А потом пойдем по дороге вдоль реки...

IV

Отбой на этот раз не давали очень долго. Англо-американские самолеты все время кружили неподалеку от города, возвращаясь время от времени, и мальчики попали домой только поздно вечером.

— Где ты весь день пропадал?! — закричала мама, когда Лойзик появился в дверях.

— В лесу. Там сегодня было полно народа, даже из центра города пришли в лес.

— А я тут с ума схожу от страха, что ты в городе. Там, говорят, сегодня опять был ад крошечный...

— Мама, а ты где была?

— В школе, в убежище. Там глубокий подвал, но, когда падали бомбы, казалось, что это на нашей улице. Все здание тряслось. Бедные горожане, им сегодня опять досталось!

Лойзик заглянул в духовку, не осталось ли чего от обеда.

— Потерпи немного, сейчас будет ужин, подождем папу.

— Мама, дай мне хоть хлеба, я ужасно хочу есть.

Мама дала Лойзе кусок хлеба с салом. Сегодня хлеб с салом был вкусным как никогда. Обычно в это время папа уже приходил домой.

Лойзик вспомнил, что на Ледовом холме говорили, будто сегодня бомбили оружейный завод. А папы все нет и нет... Но маме про эти разговоры ни слова. Она и так сама не своя. Вдруг раздался звонок.

— Мама, кто-то звонит. Наверное, папа пришел. Я отопру.

Лойзик побежал к дверям, но это был не папа. Пришла соседка, пани Зелена, которая живет через два дома, на той же стороне улицы. Пани Зелена часто приходит потолковать с мамой. Мама прозвала пани Зелену местным радио. Если пани Зелена что-нибудь узнает, сразу бежит всем рассказывать. Не успела пани Зелена переступить порог, как тут же затараторила:

— Представьте себе, пани Кубиштова, у меня дома нет ни

шепотки соли, а во всем виновата тревога, знаете, это действует человеку на нервы, правда, пани, это ужасно, нам всем разрушат нервную систему. Если можете, одолжите немного соли, я так спешу, сейчас придет муж ужинать, а в доме нет ни щепотки соли. Эти налеты, пани Кубиштова, доведут человека до ручки, ведь сколько времени мы просидели в убежище...

— Где вы были, пани Зелена? В убежище под школой я вас не видела! — сказала Лойзикова мама, насыпая в кулечек соль.

— На этот раз, пани Кубиштова, я побежала в Писарки, в туннель, люди говорят, что там всего безопасней... правда, далеко-вато, но такое убежище, что там человек действительно начинает чувствовать, что с ним ничего не может случиться. У меня, пани Кубиштова, с раннего утра включено радио, я как услышу кукушку, так хватаю чемоданчик и бегу... Сегодня в городе было очень страшно. Бомбили старое Брно, Комаров, Жиденице и оружейный завод...

— Ради бога! Вы это точно знаете, пани Зелена?!

— Все, кто побывал сегодня в городе, говорили об этом. Бойтесь за своего?.. Будем надеяться, что с ним ничего не случилось...

— Ему пора бы быть уже дома...

— Ну что вы, даже если с ним ничего не случилось, не думаю, что вы его так скоро дождетесь, у них там работы по горло, гасят пожар, дежурят на крыше, зажигалки сбрасывают... Господи, пани Кубиштова, когда нашим страданиям придет конец?

— Кто знает, пани Зелена, что нас еще ждет? Когда наконец кончится война?

— Вы слышали, что русские уже у Райграда?

— Что-то слышала.

— Да, я чуть не забыла... Знаете, что случилось у Докоупиловых?

— Нет, я ничего не знаю. Гестапо?

— Да нет, это наши, определенно наши, это чехи сделали... Когда я была в убежище, мне сама пани Докоупилова рассказывала, вы ведь хорошо знаете Докоупиловых с верхнего конца улицы?

— Еще бы мне их не знать, он вместе с моим мужем работает на оружейном заводе.

— Ну так вот, пан Докоупил сегодня должен был работать в ночную смену и после обеда, как говорила сама Докоупилова, лег вздремнуть. Все утро они с женой работали в саду, сажали какие-то овощи, а он еще и подстригал кустарник... Говорят, у них много крыжовника...

— Так что же случилось? — нетерпеливо перебила ее мама.

— Ну так вот, решил он немного вздремнуть и, чтобы не проспать, поставил будильник на четыре часа. В половине шестого

он должен уже отпрапортовать на заводе вахтеру, что явился. Вы же сами знаете, что теперь немцы очень строгие, во всем видят саботаж и тут же тащат в гестапо. Поставил он будильник... Да, чуть не забыла, что женщины его ушли в поле и оставили открытым окно...

Пани Зелена заметила, что она заинтриговала своих слушателей, особенно Лойзика, который даже перестал жевать хлеб и, разинув рот, ловил каждое ее слово.

— И представляете себе, — продолжала после краткой паузы пани Зелена, — когда женщины вернулись с поля, это было уже незадолго перед тревогой, то Докоупил еще спал... Кто-то у них через открытое окно украл будильник. У Докоупиловых будильник всегда стоит на комод. Так вот, бедняга Докоупил на завод попал с опозданием. А ведь немцы никаких отговорок не принимают во внимание... Так было жаль пани Докоупилову, как она, бедняга, плакала... Конечно, это сделал какой-то хулиган, который знал, где у них стоит будильник...

— Но ведь это ужасно! Как испортились люди! Бедняга Докоупил, такой хороший человек...

— Вот-вот, такие дела, пани Кубиштова... Но мне пора. Спасибо за соль, завтра верну... Спокойной ночи! Хоть бы ночью нам дали покой! Ночные налеты хуже всего... Так спокойной вам ночи!

— Спокойной ночи, пани Зелена, спокойной ночи!.. Несчастные люди, так мне жаль Докоупиловых! — сказала мама, вернувшись.

Лойзик, который с таким удовольствием уплетал хлеб, услышав рассказ пани Зелены о Докоупиловых, сразу потерял аппетит. Горло у него свело так, что он не мог проглотить даже разжеванный кусок. Его обуяли страх и тоска. А когда он вдруг нащупал в кармане звонок от будильника, вся кровь бросилась в голову... Разве он мог представить себе, что такое могло случиться из-за будильника? Ведь тогда казалось все очень просто: взяли будильник, сделали звонки для самокатов и поехали... А теперь... Если бы мама или папа, когда вернется, вдруг узнали, что это он, Лойзик, вор, или вдруг догадалась бы пани Зелена... Вот разнесет новость!.. Что будет? Что будет?! У Лойзика на лбу выступил пот и закружилась голова.

В комнате наступила тишина, невыносимая тишина... Мама на кухне готовила ужин, и Лойзик пошел к ней. Мама подбросила угля в плиту. Огонь осветил ее лицо... Из глаз капали слезы, и мама ладонью вытирала их. Конечно, она боялась за отца...

— Мама, — сказал Лойзик каким-то придушенным голосом, — я пойду встречу папу.

— Сейчас? На дворе уже ночь, и вы можете разойтись в темноте... — Мама отвернулась и вытерла глаза фартуком.

«Пожалуй, я еще успею добежать до леса и как-нибудь вернуть будильник Докоупиловым!..» — подумал Лойзик. Он глянул в окно и увидел, что на улице совсем темно. Нет, об этом нечего и думать... В лес он побежит утром. Только чтобы с паном Докоупилом ничего не случилось! Как Лойзик потом сможет глядеть людям в глаза? У Лойзика мороз пробежал по коже, когда он вспомнил, что Докоупила могли арестовать и посадить в Кауницово общежитие, а потом... Какой был ужас, когда два года назад гремели выстрелы в этом общежитии... Каждый залп означал конец жизни нескольких ни в чем не повинных людей... Папа каждый вечер возвращался с работы мрачным, ходил по комнате из угла в угол и, сжав кулаки, грозил ими в пространство.

— Подождите, вы за это заплатите! — говорил он. — Такое не может остаться безнаказанным. Не может того быть, чтобы эти подонки выиграли войну. Нет, ни за что!

Уже тогда Лойзик прекрасно понимал, что отец грозит кулаками немцам.

А когда отца не было дома, мама говорила Лойзику:

— Смотри никому не говори, что папа сердится... Если кто-нибудь донесет и немцы узнают, они убьют папу...

«А теперь, — казнил себя Лойзик, — я сам такое натворил! Вдруг пана Докоупила аре...» Лойзику страшно было даже закончить мысленно это слово. На лбу его снова выступил холодный пот.

От страшных мыслей оторвала Лойзика мама. Она велела затемнить окна. Лойзик принес из передней рамки, на которые была натянута черная бумага, вставил рамки в окна, а потом зажег свет.

«Господи, как бы улизнуть из дома? — подумал Лойзик. — Не могу я маме в глаза смотреть... Мама все вздыхает, а папа не идет и не идет...»

— Мама, я схожу на Каменомлынскую улицу, к Крупичкам. Папа говорил, что пан Крупичка теперь работает с ним за одним станком, он уж будет знать, почему папа не идет. Или пани Крупичкова что-нибудь узнала... Я мигом, туда и обратно...

— В такой темноте? А ты не боишься?

— Нет, не боюсь, а может, и папу встречу, а если не встречу, то через полчаса вернусь.

— Сперва поешь, ужин готов.

— Нет, я не голодный, честное слово, не хочу. Я подожду, поем вместе с папой...

— Ведь ты был очень голодный, а съел всего кусочек хлеба?

— Правда, я сейчас совсем не хочу есть. Я мигом вернусь, вот увидишь...

Мама погладила Лойзика по голове, Лойзик весь дрожал.

— Ты что трясешься, парень? — испугалась мама и посмотрела ему в глаза. — Может, у тебя жар? Ты красный как рак...

— Нет, мама, я совершенно здоров, честное слово, — бормотал Лойзик.

Мама замолчала, посмотрела куда-то поверх Лойзиковой головы, снова погладила его и как бы про себя сказала:

— Это от страха за отца, оттого, что он все не идет и не идет... Может, сейчас вернется, может, ничего с ним не случилось...

— Mamочка, пожалуйста,пусти меня, я побегу на Каменомынскую...

— Ну, беги, только возьми фонарик.

Лойзик ждал этого, как спасения. Он опрометью выбежал на темную улицу, и тут ему сразу стало легче. Останься он еще на минуту в одной комнате с мамой, он не выдержал бы... На улице Лойзик расплакался. Он припустился со всех ног и был рад темноте.

V

Лойзик бежал всю дорогу без остановки. Восточный ветер нес с собой запах гари. По дороге Лойзик подумал о Франтике — дошли ли и до него эти слухи? Наверное, эта весть уже разнеслась по всему предместью. Может, Франтик так же трясется от страха, как и он? Теперь-то он понимает, что они натворили. Как вчера Лойзику хорошо жилось на свете!.. Больше всего он боялся, что Франтик проговорится. Конечно, если с паном Докоупилом что-нибудь случится... Лойзику страшно было даже подумать об этом.

Наконец, едва переводя дыхание, он позвонил в дверь к Крупичкам. Звонил, долго звонил, но никто ему не открыл. Постучал в окно. В ответ слышал только сердитый лай собаки. Значит, никого нет дома. И что теперь? Домой Лойзику идти не хотелось. На улице было пустынно, изредка проезжала какая-нибудь машина, да из ближайшей пивной, когда там открывались двери, доносилась музыка... Нет, домой он не пойдет. Лойзик усиленно размышлял, куда и к кому пойти. Тут многие знают папу. Но так ничего и не придумал. А что, если поехать в город, прямо к оружейному заводу, и все увидеть собственными глазами? Трамвайная остановка отсюда недалеко... Лойзик пошарил по карманам и нашел шесть крон.

Он побежал к остановке трамвая в Писарках, но там он узнал, что трамваи не ходят, пути разрушены в нескольких местах. Пешком от конечной остановки до оружейного завода порядочный кусок! Мама будет его ждать и волноваться. А что, если на заводе он разузнает что-нибудь о папе и о пане Докоупиле? Тогда мама

простит Лойзику долгое отсутствие. Надежда придала Лойзику решимости, и он побежал в город.

Когда он добрался до Липовой улицы, которая круто поднимается вверх от подножия Желтого холма, Лойзик замедлил шаг — очень уж сильно закололо в боку. Жаль, что часть пути нельзя было проехать на трамвае, хоть до центра. Пешком туда и обратно займет часа полтора, и мама, конечно, будет думать, что с ним что-то случилось. И кто знает, что там в городе делается и удастся ли ему вообще пробраться к заводу?

Но Лойзик не повернул обратно, он все шел и шел по улице. Когда он добрался до бывшего пансионата «Весна», который немцы превратили в госпиталь, то на горизонте за Желтым холмом увидел красное зарево — в Брно до сих пор что-то горело... Из садов, где были виллы богачей, доносился запах сирени и черемухи. Сейчас еще апрель, но вечер такой теплый, какой бывает только в мае. Что-то зажужжало около Лойзикова уха. «Майский жук... Вот это да, майский жук! В середине апреля майские жуки! Обязательно скажу Франтику, что уже майские жуки летают... Да, хороших дел мы натворили с этим будильником! Не случись такого несчастья, могли бы завтра с Франтиком ловить майских жуков...»

Лойзик вздохнул и прибавил шагу. Вскоре он был уже на верхушке Желтого холма, откуда открывался вид на город. Из темноты, которая казалась еще гуще от все еще валившего черного дыма, прорывались столбы пламени. Они окрашивали клубы дыма в красный цвет. Лойзик невольно остановился. Ему предстояло спуститься туда, в это адское пламя. Вдруг земля задрожала. Где-то взорвалась бомба замедленного действия. Несколько секунд Лойзик стоял, размышляя, не вернуться ли все-таки назад... Нет, нет, ведь он прошел уже половину пути. Он решительно побежал вниз на Увоз и вскоре достиг Удольной улицы, которую разбомбили в прошлом году американцы. Среди руин был расчищен узкий проход. Фонари здесь не горели. Лойзик раздумывал, как ему лучше пройти к оружейному заводу. Он решил, что пойдет через площадь Свободы к вокзалу.

Однако к вокзалу Лойзика не пустили, пришлось вернуться, но у главной почты его снова остановил патруль. Спросили, куда он идет. Когда Лойзик им объяснил, что беспокоится за отца, который работает на Оломоуцкой улице, патрульные посоветовали ему вернуться домой. К заводу его все равно не пропустят. Там прямое попадание и до сих пор еще гасят пожар и работают спасательные команды. Лойзик расплакался. Один из патрульных пожалел его и объяснил, как лучше пробраться на Оломоуцкую.

По дороге Лойзика несколько раз останавливали, но он говорил, будто живет на этой улице, и больше его назад не воз-

вращали, а говорили, как обойти опасный участок, где еще не взорвались бомбы. Наконец он добрался до завода. Здесь действительно работало много пожарных и бойцов из противовоздушной обороны. На заводской двор его тоже не пустили. Он попробовал улизнуть от патруля, но маневр Лойзика заметили, и патрульный прикрикнул на него:

— Ты куда лезешь, мальчик? Хочешь заработать подзатыльник? Чтобы духу твоего тут не было!

— У меня там папа! — крикнул Лойзик и расплакался.

— Говорят тебе, туда нельзя! — сказал патрульный, но уже не так сурово.

— Я хочу знать, жив ли мой папа. Он сегодня не пришел домой...

— Сегодня многие не пришли. Видишь, все помогают спасти засыпанных...

— Ну, пожалуйста, дяденька, спросите кого-нибудь, жив ли мой папа...

— Ты что, думаешь, все знают твоего папу? Здесь работают тысячи людей. Беги скорее домой, пока цел. Тут полно бомб замедленного действия. Твой папа, наверно, тоже помогает спасти людей, завтра утром придет домой. Так что лучше беги, паренек, беги...

Страшный взрыв сотряс землю. Мужчина из команды противовоздушной обороны отскочил к стене, схватив в охапку Лойзика. Неподалеку от них развалилась стена, и пыль запорошила глаза.

— Бомбы с часовым механизмом, их тут видимо-невидимо, мы даже не знаем, где они... Тут такое еще будет... Взрываются каждую минуту... Эта была совсем рядом. Говорю тебе, послушайся и беги домой, здесь все равно ничего не узнаешь, а после десяти вечера попадешь в руки немецкого патруля...

— Разве уже десять часов?

— Полдесятого, а раз ты живешь так далеко, так и к десяти не успеешь. Мать там небось с ума сходит. Будь разумным, беги скорее.

В этот момент мимо проходили двое мужчин с пустыми носилками. Патрульный обратился к одному из них:

— Слышь, Ярда, есть у тебя минутка?

— Нету, а что ты хотел?

— Этот паренек уж минут десять плачет, хочет узнать, что с его отцом. Говорит, не пришел сегодня домой.

— Как его зовут?

— Алоиз Кубишта! — крикнул Лойзик.

— Алоиз Кубишта? — повторил человек с носилками. — Имя вроде знакомое. Ты хочешь узнать, жив ли твой папа? Подожди, я кого-нибудь там спрошу, может, случайно...

— Пожалуйста, я очень...

— Ладно, ладно,— проворчал человек,— в этой суматохе трудно кого-нибудь отыскать.

Мужчина с носилками обратился к патрульному:

— Винцо, нет у тебя какого-нибудь бычка?

— Бери, Ярда, и вы тоже,— предложил он второму мужчине с носилками и тут же чиркнул спичкой и дал им прикурить.

— Представляешь, Винцо, с нашего участка мы унесли уже семнадцать... Ну и работка!.. Ладно, мы пошли... А ты, паренек, подожди минутку, попробую узнать... Может, случайно... Говоришь, Алоиз Кубишта?

— Ага, Алоиз Кубишта.

Мужчины подняли носилки и ушли. Лойзик смотрел им вслед, пока они не исчезли в глубине двора, где клубился дым и была темнота, которую время от времени пронизывали вырывающиеся из здания языки пламени.

— Они носят раненых?

— Раненых и мертвых. А за углом стоит машина, которая их отвозит.

Во дворе что-то рухнуло, и тут же огромное пламя ворвалось в темноту и озарило все вокруг. В воздухе запахло гарью. С левой стороны приближался большой грузовик. На повороте он включил фары на полную мощность и осветил всю улицу. Шагах в двадцати Лойзик увидел перевернутый трамвай. Передний вагон был цел, а задний разрезан пополам, и смятая половина валялась на тротуаре перед разрушенным домом. Переднюю стену дома словно кто-то отрезал огромным ножом. На сохранившейся стене кое-где еще висели картины...

Лойзика зазнобило. Он был легко одет, но, пока бежал к заводу, согрелся и даже вспотел. А теперь мокрая рубашка под курткой прилипла к телу, но мальчик даже не почувствовал холода. Он думал только о том, как бы хоть что-то узнать об отце. Минуты ожидания казались вечностью... И все из-за будильника... Это наказание за воровство... Бабушка всегда говорила, что ни одно плохое дело не останется без наказания... Как в тот раз, когда он скрыл от мамы, что лед проломился и он с мальчишками провалился в реку. Он-то высушился у Карла Прохазки, а все равно через два дня заболел ангиной. Ему было так плохо — думал, умрет. Бабушка пришла его навестить, и он ей все рассказал. Она погрозила ему пальцем и сказала: «Вот видишь, это наказание за твое своеволие».

Знала бы бабушка, что он теперь натворил!

— А вы, случайно, про пана Докоупила ничего не слышали? — спросил Лойзик у патрульного.

— Докоупила? Он тоже здесь работает?

— Да, истопником.

— Истопником? Нет, такого не знаю...

Земля снова затряслась.

— Еще одна... Ужасная дрянь эти бомбы замедленного действия. Убьют еще много людей. А как там у вас в предместье, тоже бомбили?

— Нас пока еще не бомбили.

— Ваше счастье. Там бы жить! А у нас в Жиденицах как налет, так бомбят... Бог знает, что там дома сейчас делается... Со вчерашнего дня там не был...

— Идут! — крикнул Лойзик, увидев двух человек с носилками, вынырнувших из темноты.

— Так вот, мальчик, Кубишту там никто не знает. Посмотрели мы список раненых и мертвых, там его нет. Значит, нечего волноваться, наверное, утром придет домой. Небось тоже где-то помогает...

У Лойзика от отчаяния сдавило горло, он едва смог сказать спасибо.

— А я тебе что говорил? В этом сумасшедшем доме разве кого найдешь?.. — заметил патрульный.

Лойзик пожелал спокойной ночи и, еле сдерживая слезы, побежал...

VI

Почти за полчаса Лойзик добежал от Увоза до Липовой улицы. Он был рад, что наконец снова оказался на Липовой, здесь уже патруль его не остановит. Он так устал, ему так хотелось скорее домой, в постель. Жаль, что нечем утешить маму. Может, папа утром придет? Хоть бы папа сейчас был уже дома! Наконец Лойзик взобрался наверх, на Ванкову площадь. Теперь спуститься вниз — и уже не будет ни одного холма... И вдруг завывли сирены. Тревога! Что делать?! «Может, успею сбежать вниз, в Писарки, и спрятаться в туннеле?» — подумал Лойзик. Забыв про усталость, он ринулся вниз. Возле пансионата «Весна» Лойзик услышал гул моторов, самолеты были близко. Улица озарилась ярким светом. Свет был таким ослепительным, что виден был каждый камешек, а зеленые деревья казались почти белыми. Лойзик окаменел. Откуда этот свет? Небо было темное. Он повернулся и увидел нечто сказочное: низко над горизонтом, за Желтым холмом, медленно спускались на землю четыре огненных шара. Лойзик в ужасе от непонятного явления и от гула моторов, которые были уже у него над головой, хотел спрятаться в какую-нибудь виллу, но везде ворота были на запоре, а на улице ни души.

В отчаянии Лойзик огляделся вокруг. На правой стороне улицы, рядом со зданием «Весны», рос кустарник. Мальчик стремительно ринулся туда и залез в самую гущу. Опять стало темно, шары исчезли за горизонтом. Лойзик накрыл голову курткой, свернулся клубочком и закрыл глаза. Но самолеты летели с таким оглушительным гулом, что ему казалось, они спускаются ему прямо на голову. В воздухе что-то засвистело, под Лойзиком затряслась земля, и грохнул взрыв. Лойзик весь дрожал и шептал в отчаянии:

— Мамочка, папочка, бабушка... я больше не буду, я буду хорошим, я правда буду хорошим... Я никогда... мамочка, папочка... бабушка... Я правда... обещаю... Я вас уже не увижу... Если останусь в живых,— говорил себе Лойзик,— то никогда, никогда ни у кого ничего не возьму, всегда буду слушаться маму... И за углем в подвал пойду, даже ночью, хоть сто раз...

Снова раздался взрыв.

— Я верну будильник, честное слово, верну и уже никогда не буду... Только чтобы папа остался жив, и пан Докупил тоже...

Весь этот ужас длился не более десяти минут, но Лойзику показалось, что прошла вечность.

Вскоре гул самолетов стал затихать, взрывы прекратились. Лойзик стянул куртку с головы. Вокруг была опять непроглядная тьма. Он выскочил из укрытия и что есть силы побежал домой. Если бы он смог так быстро бежать до самого дома! Но пришлось перейти на шаг, он задохнулся, да и в боку ужасно кололо.

Когда Лойза добрался до трамвайного депо, то услышал, что самолеты снова приближаются. Он еще надеялся добежать до туннеля, но добежал только до небольшого парка. Силы его иссякли, и он сел на скамейку передохнуть. Лойзик стирал со лба пот и тяжело дышал. Небо снова осветилось, но не так ярко: на этот раз огненные шары горели где-то над старым Брно или над ярмаркой. Лойзик вздрогнул — в низком ельнике что-то зашуршало, и из-под скамейки выскочила кошка. В несколько прыжков она достигла высокой травы и исчезла.

Самолеты быстро приближались. Лойзик вскочил со скамейки и из последних сил побежал через пустынный парк. «До туннеля, конечно, не добежать, самолеты уже над головой»,— подумал он. Лойзик бежал мимо перевернутых товарных вагонов, узкоколейка тянулась как раз от туннеля, и здесь, рядом с парком, рабочие обычно сгружали камень. Лойзик залез под вагон и ждал, что будет. С оглушительным ревом пронеслись самолеты над парком. Вскоре раздался взрыв, на этот раз они были слабее, бомбы падали где-то далеко. Лойзик выбрался из-под вагона и побежал мимо деревянной будки, за которой был вход в туннель.

— Откуда бежишь, мальчик? — спросил кто-то из темноты.

— Из города,— ответил он. И тут заметил, что человек, который его окликнул, сидел перед туннелем на какой-то колоде.

— Ты был в городе во время налета?

Лойзик рассказал, где был и куда бежал. Прошло некоторое время, пока в темноте ему удалось рассмотреть, что на колоде сидит пожилой человек и разминает сигарету.

— Натерпелся ты страху, парень, а? Здесь даже скалы тряслись. Как там в городе? Небось ад крошечный? Ну, иди в туннель.

— Осторожно, не наступи на меня! — раздался голос в темноте.

Лойзик посветил фонариком. Туннель был полон народу. В глубине мерцала свечка, и на стенах танцевали длинные тени, а с потолка местами капала вода. Некоторые сидели на низких складных стульчиках, несколько стариков полулежали на шезлонгах, но большинство устроилось на деревянных брусках и на досках, лежащих вдоль каменных стен. Туннель не был прямым, а шел полукругом, он еще был не совсем достроен, и часть его стояла в лесах. Когда глаза Лойзика привыкли к полумраку, он увидел, что в туннеле расположились целые семьи с детьми. Неподалеку какая-то женщина пеленала ребенка. Кто-то у входа кричал, чтобы погасили свечи: отбоя еще не дали и с улицы виден свет.

Лойзика все время расспрашивали о подробностях бомбежки в городе, особенно те, кто жил на улицах, по которым пробегал Лойзик. Многие с утра забрались в туннель. Лойзик не мог ответить на все вопросы. Названия большинства улиц он не знал, да и что он мог рассмотреть в темноте. Его неотвязно преследовали картины бомбежки и чувство ужаса, которое он испытал. Единственно о чем Лойзик мог еще думать — это об огненных шарах.

— Бог знает из чего они сделаны, что так сильно светятся! — сказала женщина.

— Да, да,— подтвердил старик, пускавший дым из трубки.— Убивать и калечить людей — это они умеют, изобретают всякие штучки. Лучше бы придумали такое, чтобы людям на пользу, и устроили так, чтобы всем на свете было хорошо! Да куда там!..

— Вы, дедушка, мудрец,— откликнулся человек в комбине-зоне.

— Ну разве это не правда? Если подсчитать, сколько денег стоит война, так на эти деньги все люди могли бы хорошо жить,— сказал старик с трубкой.

— Дедушка, ваши речи хороши, но от бомбы они нас не спасут,— засмеялся кто-то сзади.

— Хотел бы я знать, будет сегодня еще налет или нет? — снова заметил старик.

— Вам еще мало?! — проворчал кто-то от входа.

— Мне-то не мало...

— Тогда помалкивайте...

В глубине расплакался ребенок. Вдруг снова завывли сирены.

— Слышите, сирены!

— Отбой! Слава богу...

— Отбой? Как бы не так! Это сигнал, что опасность не миновала. Это конец непосредственной опасности от бомбежки, — пояснил кто-то.

— И на том спасибо. Значит, они улетели и я иду домой, — сказал молодой мужчина в комбинезоне, встал и направился к выходу.

Лойзик тоже решил воспользоваться перерывом. Может, на этот раз ему повезет и он успеет до новой тревоги попасть домой. Он вышел из туннеля. Темнота была уже не такая густая. На ясном небе светили звезды. Ветер нес из города запах гари. Пройдя несколько шагов, Лойзик остановился и прислушался, не летят ли самолеты. Нет. Все тихо. Он перешел через мост и побежал до шоссе вдоль реки. По шоссе с огромной скоростью неслась колонна военных грузовиков. Лойзик шел по самому краю шоссе, и все же одна машина чуть не сшибла его. Лойзик решил переждать на холме, пока грузовики проедут. Он хорошо знал, как ездят немцы. Сколько людей в городе они задавили!

Когда колонна проехала, Лойзик пересек шоссе и, свернув в поле, пошел по межам...

Наконец он был дома. В окнах через затемнение просачивалась узенькая полоска света. Значит, мама еще не спит. Лойзик позвонил и тут же услышал быстрые шаги в передней — мама спешила открыть.

— Господи, где же ты был, сыночек?!

Пока мама запирала дверь, Лойзик пробежал в комнату. Мама обняла его за плечи и озабоченно спросила:

— Где ты был так долго? Ведь я от страха чуть не умерла. Узнал ты что-нибудь? С отцом ничего не случилось? Ну, говори, чего ты молчишь? Что с тобой? Ты такой бледный!

Лойзик обнял мать, уткнулся ей в грудь и заплакал навзрыд.

VII

Когда Лойзик проснулся, солнце было уже высоко и освещало половину стены напротив постели. Если солнечный свет падает в тот угол, где стоит книжная полка, значит, пора вставать, —

Лойзик давно это заметил. Если же солнечные лучи озаряют нижнюю часть рамы на картине около кухонной двери, значит, уже довольно поздно. Когда Лойзик увидел, куда падают лучи, он быстро сел и протер глаза, чтобы посмотреть на часы. Неужели двадцать пять девятого? Ведь ему в школу к половине девятого! Почему же мама его не разбудила? Лойзик вскочил и побежал на кухню.

— Мама, завтракать, быстрее! Знаешь, сколько времени? Уже полдевятого. Я опаздываю в школу!

Мама погладила Лойзика по голове, а она это делала не часто. Лойзик заметил, что у нее заплаканные глаза... Отец все еще не вернулся... Лойзик хотел было спросить об отце, но потом решил лучше промолчать, ведь и так ясно, что он не пришел. Потом мама сказала:

— Не спеши, сегодня нет занятий.

— Правда? Кто сказал?

— Приходил Ладя Покорных и сообщил, что занятий не будет. В школе разместят людей из Брно, у которых разбомбили дома.

— Значит, мы совсем больше не будем учиться?

— Наверное, нет. Еще приходила пани Зелена и говорила, что с центрального вокзала поезда уже не ходят. Половина Брно разрушена, и люди толпами бегут в деревни, особенно немцы. Ты небось не слышал, что ночью была еще раз тревога.

— Я ничего не слышал. А почему ты меня не разбудила?

— Ты спал как убитый. А когда я увидела, что ты и сирен не слышишь, то не стала тебя трогать и тоже осталась дома. Ведь в нашем предместье нет ни одной фабрики. Да и самолетов не было слышно.

— А когда приходил Ладя?

— Минут пятнадцать назад.

— Жаль, что ты меня не разбудила...— Теперь Лойзик заметил, что мама одета так, словно собирается куда-то идти.— Ты куда-то идешь, мама?

— Я ждала, когда ты встанешь. После такой ночи жалко было тебя будить. Пойду спрошу пана Докоупила, не знает ли он чего о папе.

— Он дома? — воскликнул Лойзик так, что мама вздрогнула.— Мама, правда, что пан Докоупил вернулся?

— Я не знаю, но обычно в это время после ночной смены он всегда дома. Надеюсь, ничего плохого с ним не случилось из-за того, что вчера проспал. Я все же к ним зайду...

Мама посмотрела на Лойзика и подумала: «Как мальчик перепугался этой ночью! Как он закричал, прямо сам не свой!» Но сказала спокойно:

— Лойзик, позавтракай и жди меня, сиди дома, никуда не ходи.

— Хорошо, мама, я буду дома. Ты скоро придешь?

— На обратном пути зайду в лавку, чтобы еще раз не выходить. Опять будут налеты. Теперь пушки слышны днем и ночью.

Когда мама с хозяйственной сумкой в руках подошла к двери, Лойзик спросил ее:

— Мама, можно, я выскочу минут на пять — десять? Я вспомнил, что мне нужно кое-что сказать Франтику Смекалову. Я тут же вернусь.

— Что ты хочешь ему сказать? Я зайду к ним.

— Нет, я должен сам.

— Почему? Что у вас за тайны?

— Нет, я просто так. Ладно, я подожду тебя.

Лойзик ругнул себя, что завел с мамой разговор о Франтике. Вдруг мама встретится с Франтиком и спросит его, какая у них общая тайна. Франтик испугается и все расскажет. «Ох и дурак же я!» — подумал Лойзик. Чтобы успокоить маму, он еще раз повторил:

— Я буду дома, пока ты не придешь.

Мама посмотрела на него испытующе. Лойзик старался смотреть в сторону.

— Лойзик, веди себя хорошо. Вчера из-за того, что ты не послушался, я столько вытерпела!.. Бедный наш отец, только бы жив остался... — Мама вытерла слезы.

Наконец мама ушла. Лойзик сидел в кухне и завтракал без всякого аппетита. Какую глупость он сделал, что сказал маме о Франтике! «Мама так меня любит! А что, если она узнает, что мы с Франтиком натворили...»

Позавтракав, Лойза стал смотреть в окно. «Как бы забрать будильник из леса? — думал он. — Что теперь делать? Бежать в лес сейчас?» Но ведь он обещал маме сидеть дома. Не далее как вчера ночью, когда сыпались бомбы, он клялся, что всегда будет ее слушаться. И папа все еще не вернулся... Кто знает, что с ним случилось... Вчера Лойзик сказал маме, что отец должен был остаться на заводе помогать спасать раненых, но мама тотчас догадалась, что это собственное предположение Лойзика, ведь он не видел отца... Нет, из дома уйти нельзя: вдруг вернется папа? Только бы он вернулся!..

Потом Лойзик стал размышлять, скоро ли придет мама, и решил, что не раньше чем через час. Если сию минуту побежать в лес, то можно обернуться за полчаса. Ну, если не за полчаса, то за сорок пять минут, это уж точно. Он надел куртку и нащупал звонок от будильника. Теперь этот звонок казался ему отврати-

тельным! Мама ничего не узнает, если он поторопится, решил Лойзик.

Главное, как можно скорей вернуть будильник Докоупиловым.

Лойза стал надевать ботинки. А что, если написать мелом на столе, что он все-таки пошел к Франтику? Нет, это опять вранье... Нет, нет... Довольно и того, что он без разрешения ушел из дома. Лойзик вздохнул. Почему у него так получается? Все из-за проклятого будильника, только из-за него... Вот он вернет будильник и начнет новую жизнь... Сегодня в последний раз не послушается маму, а как только вернет будильник, тогда...

Кто-то позвонил. Лойзик вздрогнул. Кто это может быть? Какая-нибудь соседка пришла к маме? Тогда привет, усядется и будет ждать маму... Небось пани Зелена... А если не открывать? Нет, нельзя. Вдруг это не соседка? Вдруг папа? Лойзик побежал в переднюю.

— Франтик! — вскрикнул Лойзик. — Как я рад, что ты пришел! Проходи...

— Я только на минутку. Я пришел сказать, что мы сейчас можем пойти за будильником.

— Проходи, проходи, я один дома.

— Правда? А где ваши?

— Мама пошла в лавку, а папа до сих пор с завода не вернулся.

— Слушай, Лойзик, ты не знаешь, что с паном Докоупилом? Он вернулся?

— Не знаю. Ничего не знаю. Мама говорила, что к ним зайдет.

— Лойзик! Всем уже известно, что будильник взяли мы...

— Франтик! Ты проговорился? — Лойза покраснел.

— Не кричи. Никому я не проговорился. Люди знают, что у Докоупиловых пропал будильник, но не знают, кто украл.

— Так чего же ты говоришь, что люди знают, что это мы?.. Уф, как я испугался...

— Ну, я не так сказал...

— Это-то я знаю. Все говорят также, что пан Докоупил проспал.

— Я тебе еще хотел сказать, что пошли слухи, будто пана Докоупила уже увели в гестапо.

— Правда? Кто тебе сказал?

— Мама слышала на улице. Но потом пришла пани Лукшова и сказала, будто ее муж с ним вчера говорил где-то в городе...

— Франтик, мы немедленно должны отдать будильник.

— Для этого я к тебе и прибежал.

— Знаешь что, Франтик, беги за будильником один, я должен сидеть дома, пока мама не придет. Я ей обещал, что из дома ни

на шаг. А когда вернешься, свистни, и я выйду. К Докоупилу пойдем вместе. Беги, Франтик, за полчаса обернешься.

— Жаль, что ты не можешь пойти!

— Я бы пошел, но не могу, а когда мама придет, все равно меня не пустит. Беги, Франтик, скорей. Мама еще не успеет вернуться, а ты уже будешь здесь.

— Ну, тогда я пошел.

VIII

Товарищи Лойзика и Франтика по школе Павел Соучка, Мефодий Завадила, Ярда Вала и Флориш Кубичка обрадовались свободному дню и пошли в лес.

Мефодий и Ярда были завзятыми птицеловами и весной искали гнезда галок, ворон и сорок, чтобы позже взять из них птенцов. В прошлом году Мефодию удалось приручить молодую сороку. Она садилась к нему на плечо и клювом трепала за ухо. Как раз об этом он и рассказывал ребятам, которые уселись на пасеке среди молодых елок.

— Я вам говорю, сороку легче приручить, чем галку, и сорока умнее. Наша никому не давалась в руки, только мне, а как умела воровать, сказочно!

— А что она воровала? — спросил Павел.

— Ты что, не знаешь? Говорят: «Ворует, как сорока!» Воровала все, что блестит и что можно унести в клюве. Мелкие монеты, колечки, пуговицы, наперстки, у отца унесла мундштук с серебряным украшением, у мамы — маленькие ножницы.

— Правда?

— Чистая правда!

— А что она с этим делала?

— Уносила и прятала.

— А вы проследили, куда она прячет?

— С трудом. Сорока ужасно хитрая птица. Вот те крест! Чистая правда. Украдет что-нибудь и сначала летит не туда, где прячет, а в другую сторону, чтобы никто не выследил. А моя до чего была хитра! И все же я ее перехитрил. У мамы в швейной машине есть ящик, там лежат разные пуговицы. Я взял несколько стеклянных пуговиц и нарочно положил на подоконник. Пуговицы блестели, значит, годились для нашей Качи. Я звал ее Кача. Она свое имя знала, и, когда я звал ее: «Кача!», она тут же была у меня на плече. Так вот, она пуговицы быстро заметила и на них нацелилась. Окно было открыто. Взяла одну в клюв и смотрит, не слежу ли я за ней. А я сел к ней спиной и сам смотрю в оконное стекло напротив, а там, как в зеркале, все видно. Кача заметила, что я ее

в стекле вижу, и отлетела подальше. Немного погодя она полетела в сад за домом. Я присел под окном, чтобы она меня не заметила, потом отбежал к противоположной стене и гляжу, что она будет делать в саду. Сорока уселась на яблоню и внимательно посмотрела по сторонам. С яблони слетела куда-то в конец сада, к беседке в кустах сирени. «Ага, думаю, так вот где ее клады, ах ты хитрюга!» Через минуту Кача вернулась, взяла вторую пуговицу и опять смотрит на меня, а я притворился, что ее не вижу. За пятнадцать минут она отнесла все пуговицы.

Когда она вернулась, я ее позвал и запер в комнате, а сам пошел в сад. Осмотрел всю беседку, но нигде ничего. Куда же она все запрятала? Ведь с яблони она каждый раз слетала к беседке. На крыше беседки была деревянная башенка. В башенке четыре окошка, совсем маленькие, для красоты. Я подумал: а может, там? Взял лестницу, влез на крышу, смотрю — так и есть, в башенке целый склад! Все, что у нас пропало, — все было там. И ножницы, вот честное слово! Но там были не только наши вещи: еще две цветных стекляшки и два лезвия для бритвы.

— А колечко тоже?

— Ну я же говорю, что все. Все нужные вещи я взял, а ей оставил стекляшки и несколько пуговиц. Только потом случилось вот что. Примерно через неделю пришел я из школы, а Качи нигде нет. Я ее искал, я ее звал. Нет Качи. Наверно, ее кто-нибудь поймал или кошка съела. Кошки за птицами охотятся больше, чем за мышами. Жалко Качу, такая умница была!

— Слышишь?

— Сорока кричит. Наверное, нас увидела, может, у нее тут близко гнездо. Сорока всегда предупреждает всех птиц, когда по лесу идет человек или кошка. Когда наша Кача видела в саду кошку, сразу начинала кричать, и все птицы взлетали на деревья.

— Да, ребята, вы слышали, что кто-то украл у Докоупилов будильник?

— Ну да?!

— Не в будильнике дело, будильник не такая уж ценность для Докоупила, а знаете, что получилось? Говорят, Докоупила забрали в гестапо.

— Как это?

— Ну как, Докоупил истопник на оружейном заводе и вчера должен был работать в ночную смену. После обеда лег поспать и завел будильник. Наверно, поставил на окно. Окно было открыто, и, пока он спал, будильник кто-то свистнул. Докоупил проспал, опоздал, а это саботаж... В гестапо не докажешь, что проспал, потому что будильник украли.

— Я слышал, что будильник у него стоял на комодe, а не на окне.

— Ну и что? Украли-то его через окно.

— Может, сорока?

— Не смейся, Флориш! Сорока! Чтобы сорока унесла будильник? Нет, эта сорока была без крыльев... Будильник не дамские часики!

— Смотрите, ребята, вон идет Франта Смекал.

— Где? Ага, правда, это Франта. Пошли, ребята, спрячемся,— предложил Мефодий.

Мальчики спрятались среди молодого ельника и наблюдали за Франтиком, который задыхаясь бежал по крутому склону.

— Ишь как спешит и озирается, словно чего-то ищет.

— Наверно, он знает, где тут птичье гнездо,— рассуждал Мефодий,— и не хочет, чтобы его кто-нибудь увидел...

Когда Франтик дошел до березы со сломанной вершиной, он остановился и внимательно посмотрел во все стороны, а потом стал что-то искать на земле.

— Ребята, он что-то ищет.

Мальчишки вытянули шеи, чтобы лучше видеть.

— Разгребают листья,— шептал Мефодий.— Ребята, не высовывайтесь так, а то он нас увидит.

А Франтик нашел место, где спрятан будильник, но, перед тем как вытащить его из ямки, еще раз оглянулся по сторонам и увидел головы мальчишек.

— Только их мне не доставало! — проворчал он.— Что теперь делать? Надо быстрее отсюда бежать.

Однако мальчишки сами побежали к нему. Франтик поспешно прикрыл разрытое место еловыми ветками, вынул из кармана перочинный ножик, кинул его в сухой мох и листву и припорошил хвоей.

— Привет, ребята! — воскликнул он, когда они подбежали.

— Привет, Франта! Ты чего ищешь?

— Вчера, во время тревоги, я потерял ножик. Мы тут сидели на пеньке, но я не помню, на каком.

— Ребята, поможем Франте искать,— предложил Ярда, и мальчики принялись обшаривать траву около каждого пенька.

Франтик ругал себя, что бросил нож так близко от пня, у которого был спрятан будильник. Он видел, что Ярда как раз там ищет.

— Послушай, Ярда, вроде мы сидели где-то ниже.

Франтик даже вздохнул с облегчением, когда Ярда отошел от пня и стал искать чуть ниже.

— А ты точно знаешь, что потерял его на пасеке?

— Мы еще были на Ледовом холме, может, я его там потерял.

Франтик был рад, что Мефодий задал этот вопрос. Хорошо бы увести ребят отсюда. А за будильником он придет после обеда.

— Франтик, что я получу за находку? — крикнул Павел и победно показал ножик.

— Вот здорово! Спасибо, Павел, — притворился обрадованным Франтик.

Франтик вытер ножик и сунул его в карман. Что бы такое придумать, как бы поскорее увести ребят отсюда? Мальчишки расселись на пнях, а Мефодий сел как раз на тот, под которым спрятан будильник.

— А вы, ребята, куда собрались? — решил отвлечь их Франтик.

— Никуда, так просто, пришли погулять, — сказал Мефодий, не желая выдавать, ради чего они в лесу. Он знал, что Франтик всегда был против того, чтобы птенцов брали из гнезда.

— Вот здорово, что не нужно в школу!..

— Факт, до конца войны учиться не будем. Папа говорил, что война скоро кончится... А сегодня пушки стреляют еще слышней, чем вчера.

— Говорят, русские уже на Плавских холмах...

— Гораздо ближе. Уже вчера они были у Врановиц и Позоржиц.

— Знаете, ребята, я так жду, когда Советская Армия погонит немцев из Брно, вот будет на что посмотреть!

— Вряд ли, Мефодий, ты это увидишь. Когда начнут стрелять, мы спрячемся в подвале. При такой стрельбе на улицу носа не высунешь...

— Не все же время они будут стрелять на улицах. Знаете, ребята, немцы роют окопы у Лишковицы!..

— А в городском лесу?

— Ага, вокруг всего леса окопы.

— Им это не поможет. Как придут русские, говорит наш папа, мигом вылезут из окопов, как мыши из нор.

— Не кричи так, Ярда! Может, кто-нибудь в зарослях сидит и подслушивает.

— Пошли, ребята, выберем местечко, откуда все видно, — советовал Франтик, с ужасом глядя, как Мефодий носком ботинка ковыряет хвою как раз над будильником. Он ковырнул еще раза два, и вот уже показался уголок носового платка, в который был завернут будильник.

Мефодий схватил уголок платка и потянул его.

— Эй, тут под пеньком что-то запрятано! Ребята, будильник! Смотрите, будильник!

Ребята присели рядом с Мефодием, Франтик покраснел как рак, но, чтобы скрыть свою растерянность, удивлялся больше всех.

— А знаете, ребята, может, это будильник Докоупила? — воскликнул Павел.

— Точно, ребята, истинная правда!
— Но тот вроде был с двумя звонками...
— А ты посмотри, вот тут они и были, только их кто-то отвинтил.

— Пошли, ребята, отнесем будильник Докоупиловым.

— Подождите, посмотрим, не спрятаны ли тут и звонки? Ребята копали, как землеройки, но звонков не нашли.

— Чудно, почему нет звонков и почему будильник спрятали?

— Такое мог сделать какой-нибудь немец, — рассуждал Мефодий.

— Почему ты так думаешь?

— Может, будильник для того и взяли, чтобы придраться к пану Докоупилу. Его еще в прошлом году допрашивали, не слушает ли он заграничное радио. Тогда ничего не могли доказать и отпустили. А теперь обвинят в саботаже, будут бить, и придется признаться. Папа говорил, что гестаповцы страшно избивают людей.

— Наверно, ты прав, — согласился Франтик, — наверняка это сделали немцы. Покажи, я посмотрю на платок, может, там есть метка...

— Ничего тут нет, — сказал Мефодий, осмотрев платок.

— Дай мне платок. Я его выстираю, и он мне пригодится. — Франтик потянул платок из рук Мефодия.

— Ты что! Платок — это улика! Его будет полиция изучать...

— А ведь платок может спасти жизнь Докоупилу. Он докажет гестаповцам, что будильник у него украли.

— А ты, Мефодий, точно знаешь, что это будильник Докоупила?

— Точно, потому что у него было два звонка, а тут, видишь, два штыря и два молоточка.

— Пошли, ребята, идем к Докоупиловым. Они-то свой будильник узнают!

— Я с вами, ребята, не пойду, мне надо домой, мне еще велели кроликам травы нарвать, — отговаривался Франтик.

— А чего тебе не идти, все равно мимо дома Докоупиловых пойдешь. Мы там долго не задержимся.

У Франтика тряслись колени. Надо же так случиться! Если бы Лойзик знал, в какую историю попал Франтик! Хоть бы платок выручить! Поэтому платку они все узнают. Если бы завтра в город вошла Советская Армия, полиции было бы не до будильника...

Мальчики бегом спустились с холма и вскоре оказались у дома Докоупиловых. Позвонили. Открыла им бабушка, мать пана Докоупила. Будильник она сразу узнала. Поблагодарила мальчиков и расплакалась. Сын до сих пор не вернулся, и о нем нет

никаких вестей. Когда ребята спросили, правда ли, что пана Докоупила забрали в гестапо, она испугалась и спросила, кто им такое сказал. Мальчики ответили, что слышали такой разговор.

— И как только люди могут такое говорить! Мы и сами ничего не знаем. Ведь с завода, где сын работает, до сих пор никто не вернулся. Жена сына пошла в Писарки к его напарнику — оба в котельной, может, он что знает. Жаль, что вы ее не застали, она только что ушла.

Ребята стали спрашивать бабушку, как будильник украли. Она позвала ребят в комнату и показала место, где он стоял. Франтик держался поближе к двери и дрожал. Как только ребята вышли из дома Докоупила, Франтик тут же попрощался с ними и помчался к Лойзику, свистнул под окнами, и Лойзик ему открыл.

— Несешь? — спросил Лойзик с надеждой в голосе. Но по выражению лица Франтика понял: что-то случилось. — Проходи, Франтик, мама еще не вернулась.

В темной передней Франтик, тяжело дыша, сказал:

— Будильник у Докоупиловых.

— Что ты говоришь?

— Ребята его нашли. Ох, Лойзик, плохо наше дело!

Франтик уже не мог сдержать слезы, он и так по дороге чуть было не расплакался... Лойзик остолбенел.

— Давай, Франтик, рассказывай быстрее, скоро мама вернется, — говорил перепуганный Лойза.

Франтик, сбиваясь, сквозь слезы рассказал о происшествии на пасеке.

— Что нам теперь делать? — спросил он, окончив свой рассказ.

— Хуже всего, что там твой платок. Теперь нам конец, Франтик...

— Это ты меня подбил на такое дело! Сам бы я никогда такого не придумал. И вот что получилось. Теперь нас арестует полиция...

— Пожалуйста, Франтик, не реви, мама вот-вот придет, и...

— Я пойду домой... — Франтик вскочил со стула, стирая рукавом слезы со щек.

— Не уходи, Франтик, надо же что-то придумать... Франтик! Быстро в комнату! Вытри слезы. Мама идет!

— Папа не приходил? — спросила пани Кубиштова, как только вошла в комнату.

— Нет, мамочка.

— Вижу, к тебе пришел Франтик.

Франтик встал и поздоровался. Сказал, что ему пора домой. Мама велела нарвать травы для кроликов. Лойзик потянул его за рукав и прошептал:

— Подожди минутку!

Пани Кубиштова пошла на кухню — разобрать сумку с покупками. Лойзик побежал за ней и увидел, что мама вытирает слезы.

— Что-нибудь случилось, мама?

— Боюсь за отца! Хоть бы знать, что с ним. Ходят слухи, что на заводе много раненых и убитых. У Докоупиловых дома только бабушка, жена ушла в Писарки, чтобы узнать, что с паном Докоупилом.

— Мама, я пойду на Каменомлынскую, к Крупичкам. Может, пан Крупичка дома, он уж точно будет знать, что с папой. Я мигом вернусь.

— Сколько времени? — Мама посмотрела на часы. — Уже без четверти десять, боюсь, скоро будет тревога, всегда около десяти бывает...

Мама подошла к буфету и включила приемник. Послышалась музыка.

— Видишь, еще играют. А если будет тревога, то я спрячусь в Писарках, в туннеле.

— Прямо не знаю, как быть. Если тебя отпущу, буду бояться. Вчера какого страха натерпелась! Ну, ладно, беги Лойзик.

— А если у Крупичковых дома никого не будет и не будет тревоги, то я заверну на Жабовршек к Ганзликам. Ведь пан Ганзлик работает с папой, так я на обратном пути забегу еще к ним.

— Ну беги, смотри, будь осторожен. Возьми с собой кусок хлеба... Подожди, возьми булку.

— Я не голодный, мама!

— Слушай, что тебе говорят, и возьми булку!

Лойзик сунул в карманы две булочки и позвал Франтика. Франтик попрощался, и ребята выскочили на улицу.

— Ты можешь пойти со мной, Франтик? Я иду на Каменомлынскую.

— Могу.

— А тебе не надо за травой?

— Нет, это я просто так сказал.

— Я очень рад, что ты идешь со мной.

По дороге на Каменомлынскую они все время пытались что-нибудь придумать, но так ничего и не придумали. У Крупичковых опять никого не было дома. Мальчики долго звонили, но напрасно. Мимо шла женщина, наверно соседка Крупичковых, она сказала:

— Ребята, напрасно звоните, их нет дома. Пани Крупичкова ушла еще утром на завод, чтобы узнать, что с ее мужем, он с позавчерашнего дня не вернулся с завода...

— Видишь, Франтик, и пан Крупичка не вернулся. Наверно, и пан Ганзлик не пришел. Вот что я тебе скажу... На Жабовршек мы не пойдем, а лучше пойдем в город, прямо на завод. Сегодня непременно что-нибудь узнаем. И про папу, и про пана Докоупила. Я думаю, лучше нам не сидеть дома. Я все время думаю о том, что бабушка Докоупилова передаст платок и будильник в полицию.

— Лойзик! Ты думаешь, она уже передала в полицию?!

— Все может быть.

— Ну, тогда мы пропали! Они, конечно, нас найдут. Меня уж точно, это ведь мой носовой платок!

— Поэтому нам и нельзя дома сидеть... Пойдем в город. Может, пана Докоупила не забрали в гестапо, раз ты говоришь, что бабушка ничего про это не знала. Мало ли что люди болтают... Побежали, поедem на трамвае. Может, первый или шестой ходит...

— А у тебя есть деньги?

— Пять крон. На заводе имеется список всех, кто погиб или ранен. Вот увидишь, мы там что-нибудь узнаем... Домой все равно мы вернуться не можем.

— Это правда. Я бы дома умер со страху.

На конечной станции мальчики узнали, что трамвай идет только до улицы «У Новых садов». Лойзик спросил, где эта улица находится, и, когда узнал, что недалеко от вокзала, сказал Франтику:

— Поехали, хоть этот кусок проедем, а уж от вокзала я дорогу знаю.

Они сели в почти пустой вагон.

— Думаю, далеко мы не уедем,— сказал кондуктор пассажиру, давая ему билет.— После десяти всегда начинается налет.

Кондуктор был прав. Только они приехали к старому Брно, завывали сирены, это означало непосредственную опасность. Трамвай остановился, и человек десять, которые там были, выскочили. С ними вместе и Лойзик с Франтиком. Люди спешили в укрытия.

— Слышишь, самолеты!

— Ага, прямо над головой.

Мужчина, за которым они бежали, сердился, что не объявили тревогу раньше, а то объявляют, когда самолеты над головой.

— Лойзик, куда мы бежим?

— Туда, за людьми, они бегут в укрытие.

— Послушайте, я бегу на Шпильберг!— воскликнул один из бегущих.

— На Шпильберг? Ни за какие коврижки. Сколько там сбросили бомб! Пошли со мной. Пробежим через Рыбарскую улицу к ярмарке и через реку на Червены копец. Там будет безопаснее.



Все побежали к Рыбарской улице, и мальчики за ними. Внезапно Лойзик услышал свистящий звук, такой звук вчера он слышал несколько раз и потому знал, что это падают бомбы. Он огляделся, куда бы прыгнуть... Франтик бежал в пяти шагах от него. Лойзик хотел позвать друга, но яркая вспышка света ослепила его, земля исчезла из-под ног, и острая боль пронзила тело. Он потерял сознание.

IX

— Сестра, как прошла у мальчика ночь? Он спал?

— Ночью еще бредил, пан доктор.

— Какая у него температура? (Сестра подала доктору температурный листок.) Хм, тридцать девять и шесть. А утром измерили?

— Да, пан доктор, вот утренняя температура.

— Тридцать семь и четыре. Так, сегодня четвертый день, как он пришел в сознание?

— Да, пан доктор.

— Вы уже знаете, как его зовут?

— Пока еще нет. Я его спрашивала несколько раз, но он все время говорит какую-то ерунду. Называл несколько имен, все время спрашивает, не в гестапо ли он, и несколько раз твердил, что какой-то Франтик ни в чем не виноват, что он ничего не украл...

— Ну, хорошо. Назначения те же: компрессы на ушибы, на ссадины мазь и каждый день перевязки.

Перед тем как отойти от постели больного, доктор положил руку на обнаженную грудь мальчика. Тот открыл глаза. Какое-то мгновение мальчик глядел отсутствующим взглядом, потом вдруг пристально посмотрел на врача.

— Где я?

— Ну где ты можешь быть, мальчик? Лежишь в больнице.

— А почему?

— Почему? Разве ты сам не чувствуешь почему? Разве у тебя ничего не болит?

— Болит, голова ужасно болит.

— Ну, вот видишь. Лежи спокойно, и все пройдет. Денька через два будешь уже молодцом... А как тебя зовут?

— Почему вы хотите это знать?

— Каждый, кто лежит в больнице, должен быть записан. А потом, мы хотим сообщить твоим родителям, что ты здесь, они ведь не знают, что с тобой случилось. Ты из Брно?

— Да.

— Не бойся, скажи, как тебя зовут.

— У меня ужасно болит голова.

— Сестра, смените ему компресс!
— Сейчас, пан доктор.
— Кто это был?
— Это сестра. Сейчас она положит тебе новый компресс, чтобы у тебя не так сильно болела голова.

— Сестра? У меня нет сестры... Нет, я больше вам ничего не скажу. А то вы еще и папу арестуете.

Врач взял мальчика за руку, посчитал пульс и велел сестре, которая меняла компресс, подготовить шприц. Мальчик лежал, повернувшись спиной к врачу, он даже не чувствовал, когда врач протирает ему кожу спиртом, но, когда доктор вонзил иглу, с испугом повернул к нему голову.

— Я ничего вам не скажу, ничего... Каждый день вы меня бьете, каждый день меня мучаете, но я не проговорюсь!

— Спокойно, паренек, спокойно, вот увидишь, сейчас тебе станет легче. Ты ничего не должен говорить, а мы ничего не хотим знать. Подождем, пока тебе не станет лучше, а тогда поговорим. Не бойся нас, мы желаем тебе только добра.

— Послушай, мальчик, — наклонилась к нему сестра, — если бы ты сказал, как тебя зовут, мы бы написали твоим родителям — и папа пришел бы тебя навестить. Ведь он о тебе беспокоится.

— Папа дома?

— Ты же знаешь, что дома.

— Правда, папа дома?

— Ну, конечно. Мы хотим, чтобы он навестил тебя. Как только получит от нас письмо — сразу придет.

— Правда?

— Ну конечно, только скажи нам, как тебя зовут.

— Кого зовут? Ах, того?.. Вы хотите его тоже арестовать. Нет, ничего я вам не скажу.

— Глупыш, никого мы не хотим арестовывать. Зачем нам кого-то арестовывать?

— Правда, вы его не арестуете? Не скажете папе, что я назвал его фамилию?

— Папе? Я думаю, папа будет рад, что ты нам сказал, как его фамилия, чтобы он мог к тебе прийти.

Мальчик посмотрел вокруг, словно боялся, чтобы никто не услышал, и прошептал:

— Докоупил.

— Докоупил? — повторила сестра и записала фамилию на листочке. — Где он живет?

— Лесная улица, дом 87. А вы не арестуете его?

— Ничего не бойся, он скоро к тебе придет.

— Он дома? — выкрикнул мальчик.

— Ну, мы ему напишем, и он к тебе придет. Только лежи спокойно и ничего не бойся. А как тебя зовут?

— Лойзик.

— Лойзик. Такое хорошее имя, а ты не хотел нам его сказать. Сестра написала перед фамилией Докоупил еще имя Алоиз. Погладила Лойзика по щеке и подошла к врачу, который осматривал пациента на соседней кровати.

— Пожалуйста, сестра, посветите мне сюда. Это ужас, какая всюду темнота!

Сестра посветила врачу электрическим фонариком, потом врач что-то диктовал сестре и она записывала.

— Здесь невозможно работать, невозможно! — воскликнул доктор. — Свет отвратительный, воздух как в уборной...

Врач был прав. В брненской больнице св. Анны во второй половине апреля 1945 года больные и врачи находились в тяжелых условиях. Из-за постоянных налетов все отделения перевели в подвал. В подвале, в маленьких кельях и в коридорах больные лежали, как говорится, один на другом. Только у самых тяжелых были отдельные постели. Остальные больные и раненые, как правило, лежали по двое на носилках и матрацах прямо на полу. Из-за ежеминутно объявляемой тревоги не было возможности даже проветрить помещение. Электропроводка была повреждена, и помещения освещали свечками и электрическими фонариками. Необходимого для тяжелобольных покоя не было и в помине. Все время прибывали раненые, санитары везли их по длинным коридорам на колясках, а колеса были без шин и страшно грохотали по каменным плитам коридора.

Взрывы бомб и стрельба зениток сотрясали стены больницы. Во время налетов прибегали люди, дежурившие на крыше, и звали врачей и сестер помочь гасить зажигательные бомбы.

Лойзик почти все время бредил. Среди этого шума и беготни в полумраке подвала он никак не мог понять, куда он попал, и его фантазия рисовала картины одну страшнее другой. Люди с мигающими фонариками, длинные, странные тени пугали его.

Он немало наслушался рассказов о страшных подземных казематах гестапо на Шпильберге и в Кауницах, где мучили людей, и сейчас был уверен, что оказался в гестапо. Но как? Это было для него загадкой. Последнее, что он помнил, — это поездку с Франтиком на трамвае. Что было потом, он не знал. Лойзик потерял память от сотрясения мозга, когда его подбросило воздушной волной на Рыбарской улице. Теперь он думал о Франтике. Где он? И почему у него, у Лойзика, все время спрашивали фамилию пана Докоупила? Наверное, они уже все знают... Конечно, Лойзика били, ведь у него болит все тело. Здесь гестапо, а ему говорят, что это больница. Разве он не знает, как бывает в больницах? Там

все совсем по-другому, ведь он же навещал в больнице Тоника Новотных, когда тот сломал руку. Ох, как у Лойзика все болит! В ушах страшный шум, а тут еще все время стрельба! Наверно, людей расстреливают, а может быть, пана Докоупила. И Лойзика опять будут бить и колоть иглами. Мальчику стало так жутко, что он закричал. Прибежала сестра.

— Что с тобой, Лойзик? Что ты кричишь? Лежи спокойно! Почему ты встаешь? У тебя болит голова?

Лойзик поднялся на постели и рухнул снова. Сестра держала его за плечи и гладила по щеке.

— Пожалуйста, пани, дайте мне попить, пожалуйста, пить...

— Сейчас дам тебе пить, только успокойся. Тебе нельзя еще подниматься. Понимаешь, нельзя!

Сестра принесла ему кружку холодного чая. Лойзик жадно пил.

— Пожалуйста, скажите мне правду, где я?

— Ты же знаешь, что в больнице. Тебя привезли сюда с улицы после налета.

— После налета? А когда был налет?

— Налеты сейчас каждый день и каждую минуту. Мы уж не знаем, куда класть раненых. Видишь, сколько их тут?

— А тот пан, который здесь был, он не из гестапо?

— Шалый парень! Что ты все талдычишь про гестапо? Это был доктор.

— Тогда почему он меня колот и все время что-то выпрашивает?

— Лойзик, довольно тебе разговаривать, лежи спокойно. Еще будешь пить?

— Больше не хочу.

— Тогда лежи спокойно, а захочешь пить или есть, позови меня.

Лойзик успокоился и даже закрыл глаза.

— Ну, вот и хорошо, поспишь, и легче станет.

Сестра побежала к другому больному поправить ему постель. Молодой человек, к которому подбежала сестра, сказал:

— Бедняга мальчик. Все еще бредит. Но странно, что он все время говорит о гестапо.

— Может, у них дома побывало гестапо, перед тем как он попал под бомбежку. Кто знает...

— Сестра, вы не знаете, где его нашли?

— Вроде на Рыбарской улице. В тот раз там было, кажется, пять раненых и двое убитых. Мальчика, похоже, подняло воздушной волной и бросило на землю. У него сотрясение мозга. Целый день не приходил в сознание.

— Еще чудо, что жив остался.

Х

Вот уже три дня, как у Лойзика упала температура, а хороший сон прибавил сил. Он мог уже сидеть на кровати, не испытывая резкой боли. Даже попробовал встать на ноги, но у него тут же закружилась голова. «Жаль,— подумал Лойзик,— что тут такие потемки». Теперь он уже понял, что находится в больнице, но, сколько ни старался, не мог вспомнить, как он здесь очутился. А куда делся Франтик? Знают ли дома, что он, Лойзик, в больнице? Вернулся ли папа? А пан Докоупил?.. Ох, всего этого могло бы не быть, если бы не будильник... Лойзика вдруг охватила такая тоска, такое отчаяние, что он разрыдался. Сначала он плакал в подушку, но потом не смог совладать с собой и, сотрясаясь всем телом, громко зарыдал. Сосед по койке и еще кто-то из темноты стали спрашивать, что с ним случилось. Лойзик не мог промолвить ни словечка. Позвали сестру.

— Что с тобой, Лойзик? У тебя что-нибудь болит?

— Не-е-е, ни-и-и-чего.

— Грустно стало? Ну, конечно, тебе грустно.

— Да-а-а.

— Лойзик, через несколько дней будешь дома. За тобой придет папа и возьмет тебя домой. Не плачь, ведь ты не маленький. Тут в соседней палате есть еще один такой же герой, и ему тоже все время грустно. Я, когда смотрела на температурный листок, заметила, что вы с Франтиком из одного квартала.

— Фра-а-н-тик? — всхлипнул Лойзик.

— Ну да, Франтик, подожди, как его фамилия...

— С-сме-кал?

— Правильно, Франтишек Смекал.

— Пра-а-вда?

— Это твой товарищ? Так я приведу его к тебе. У него рука сломана. И голова болела. Только он раньше тебя пришел в сознание и не бредил.

Лойзик перестал плакать, только всхлипывал.

— Успокойся, Лойзик, а я посмотрю, что делает Франтик, вам вместе будет веселей, правда?

— Сестричка,— сказал кто-то из темноты,— сегодня русские, наверно, совсем близко? Строчит пулемет, раньше такого звука не было.

— И пушки стреляют близко,— добавил еще кто-то.

— Я пока еще ни с кем из города не говорила и не знаю, что там нового. Вот приедет «скорая помощь», тогда спрошу.

Лойзик дрожал от нетерпения. Значит, Франтик жив?! Что же с ними обоими тогда приключилось? Может, Франтик знает? Скорее бы сестра за ним сходила...

Когда сестра открывала дверь, то столкнулась с санитаром.

— Сестра, нужны носилки,— задыхаясь, произнес санитар.

— Откуда я их возьму?

— Но ведь у вас лежат на носилках...

— Лежат, а куда я их дену?

— Мы вам вернем носилки на ночь.

Нашлись двое больных, которые днем могли и не лежать.

— Йозеф, ты где? Иди сюда! Двое носилок есть...

— Бегу, Рудольф, бегу! — откликнулся в дверях второй санитар и продолжал: — Люди, знаете новость? Русские уже в Лисковце, говорят, что взяли Жабовршки! Они уже в Брно!

Санитар назвал еще несколько предместий Брно, назвал и район, где жил Лойзик.

Значит, у него дома уже Советская Армия. Лойзик так этого ждал! А он лежит в больнице и ничего не увидит...

Больные захлопали в ладоши, а двое ходячих от радости стали прыгать, не думая уже о том, есть ли среди больных какой-нибудь немец. У брненских немцев теперь душа ушла в пятки. Они сами трясутся от страха. Да что говорить, еще неделю тому назад начали улепетывать из города.

— Слышите пулемет? Ясно, это наверху, на улице. Вчера его не было слышно!

Санитары и сестра ушли. Больные заговорили разом. Многие жалели, что не могут посмотреть, как немцы бегут из Брно.

— Слышите? Опять где-то рядом строчит пулемет!

В дверях появилась сестра. Она вела мальчика, у которого рука была в гипсе и на перевязи.

— Франтик! — крикнул Лойзик.

— Лойзик!

— Ну вот, мальчики, теперь вам будет веселей. Лойзику уже лучше, можно положить вас на одну постель. Хочешь?

— Да! — в один голос воскликнули мальчики.

Франтик сел на постель Лойзика, и они оживленно заговорили. Сейчас Лойзик был даже рад, что в подвале такая темнота. Впрочем, и при свете никто не обратил бы на них внимания. Все были заняты событиями, происходящими на улицах города.

— Послушай, Франтик, что с нами тогда случилось? Ты хоть что-нибудь помнишь?

— А разве ты не знаешь?

— Я ничего не могу вспомнить.

— Ну, когда мы были на той улице, не знаю, как она называлась, ну, где мы вышли из трамвая и побежали... Там еще протекал не то какой-то ручей, не то речушка. Вдруг я услышал такой противный свистящий звук, а потом уже ничего не помню. Проснулся уже здесь, в больнице.

— А я и этого не помню. Представляешь, Франтик, на нашей улице уже Советская Армия!

— Ну да?!

— Только что сказал санитар, ну, тот, который носит раненых...

— А мы торчим тут...

— И все из-за этого проклятого будильника...

— Не говори так громко...

— Хоть бы узнать, что стало с паном Докоупилом.

— Ой, Лойзик, зачем мы только это сделали?.. Мальчишки на нашей улице уже встречают советских солдат, а мы...

— Тебе, Франтик, еще хорошо, ты можешь бегать, а у меня голова кружится...

— В первый день и у меня голова кружилась.

— Хорошо, что теперь будем лежать вместе! У тебя очень болит рука?

— Сейчас уж не так, а болела!.. Так болела, что я спать не мог.

— Слышишь, какая на улице стрельба?

— Знаешь, Лойзик, раненые лежат даже в коридорах.

— Посмотреть бы, что творится у нас на улицах!

— Там уже небось цветут все деревья...

— Представляешь, ребята сейчас не учатся и бегают по улицам!

— Ага, и смотрят на советские танки, на пушки!

— О чем это в коридоре так кричат? Слышишь?

— Пойду посмо...— Франтик не успел договорить, как двери распахнулись и в сопровождении нескольких врачей вошел высокий человек в военной форме.

— Лойзик,— зашептал Франтик,— это русский! Советский солдат!

— Правда! Это русский...

Русский офицер стал спрашивать врачей, все ли больные здесь чехи. Ему посветили фонариком на все постели. Ходячие больные даже подошли к дверям. Офицер улыбнулся, подал им руку и что-то сказал по-русски. Мальчики только поняли, что немцы бегут, что скоро будет конец войне. Франтик, сгорая от любопытства, протиснулся поближе к русскому.

— Что с тобой случилось, паренек? — спросил офицер, когда увидел гипсовую повязку.— Ты ранен?

Один из врачей ответил, что Франтик был ранен при бомбежке.

— Ничего, главное, жив остался. Теперь все пойдет по-другому... Фашистов мы прогнали...— Русский повернулся к врачам и сказал: — У меня дома тоже парнишка. Три года его не видел...—

Офицер погладил Франтика по голове.— Эх, война!.. Ну, пошли, давайте посмотрим остальные помещения.

Они ушли, а Франтик долго глядел им вслед. Сестра запретила Франтику ходить по коридорам, и он вернулся к постели Лойзика.

— Видел, как он меня погладил?

— Видел... Здорово!

— У него два револьвера. Один вот такой большущий!

— Ага, а на голове фуражка, а у немцев каски.

— Ну, люди, значит, это правда, теперь будем опять свободными! — сказал кто-то из лежащих больных.— Жаль, что я не могу подняться... Я бы этого русского хотя бы обнял! А то вы около него все стояли как столбы.

В коридорах было шумно. По каменному полу гулко раздавался топот сапог. В дверях показался какой-то мужчина:

— Ну и дела! Верите, я первым увидел русских!

— Иди сюда, парень, иди сядь, чтобы и мне было слышно!

— Так вот... Иду я по коридору и думаю: «Дай-ка выйду на лестницу, может, найду окурков». Страшно курить хотелось. Подошел я к лестнице, смотрю — никого. Я быстренько хотел проскочить, пока врачей нет, а тут как застрекочет пулемет! Как застрочит! Я чуть не свалился! Мне показалось, что прямо в меня стреляют. Это, оказывается, у главного входа стоял немецкий пулемет и с лестницы стрелял по улице. Ну, думаю, дальше не пойду, лучше посмотрю, что делается на первом этаже. А там будто всех метлой вымело. Хотел я было подняться на крышу, а тут вдруг бабах, бабах! Все затряслось, стекла полетели, и я бегом вниз! А тут на улице загрохотало... Ага, думаю, танки... Такой грохот только от танков! Не успел я спуститься в подвал, как из вестибюля ворвались пятеро русских, один бежит ко мне слева, другой справа и кричат: «Ты чех?» Я кричу изо всех сил: «Да, да, чех!» — и бегу им навстречу. Я этого милого русского парня обнял и поцеловал. Я понял, что он у меня спрашивает, он спросил, кто тут остальные. «Пошли со мной! — говорю я.— Отведу вас в подвал, в бункер». Подумайте, он меня тоже понял! Бежим мы и видим, перед нами во всю прыть убегает какой-то доктор в белом халате, а на голове у него немецкая каска. Русские остановились, направили на него автомат и кричат: «Стой! Руки вверх!» Тут кто-то к нему подскочил, сорвал каску и бросил на пол. А я кричу изо всех сил: «Это чех, это доктор». И доктор кричит, что он чех. «А зачем чех надел немецкую каску?» — спрашивает русский. Тут уже сбежались три доктора и все русским объясняют, что тот доктор дежурил на крыше, гасил зажигалки, что он в противовоздушной обороне и поэтому надел немецкую каску. «Хорошо, хорошо», — сказали русские

и заулыбались. Побежали мы с ними в подвал. В коридоре они остановились и спрашивают, кто здесь начальник.. Один доктор отозвался. Русский офицер закивал головой, залез в карман, достал пачку сигарет и всех угощает. Наверно, по глазам узнал, что я очень курить хочу. Потом прибежали остальные врачи и сестры. Русские попросили воды. Доктор и сестры разбежались и мигом принесли кто коньяк, кто сливовицу, кто вино... И что вы думаете? Никто из русских в рот не взял ни капли. Хотели только воду. А офицер хотел умыться. Отвели его в ванную, вернулся он, кивнул мне, бежит вверх по лестнице. На первом и втором этаже заглянул в палаты, вышел на террасу, где летом больные лежат на солнышке. Отворил он двери на террасу, а там грохот! Светопреставление!словно сто пушек сразу стреляют. А этот русский бежит по крыше — и хоть бы что... Заглянул во все углы, даже не пригнулся, прямой, как свечка. Я в коридоре был, и то у меня от страха зуб на зуб не попадал... «Хорошо, все в порядке», — сказал русский, а сам смеется. Потом пришли доктора, повели его в другие отделения. Я уж туда не пошел... Какое сегодня число?

— Двадцать шестое, — сказал кто-то.

— Четверг.

— Значит, двадцать шестого апреля, в четверг, Советская Армия нас освободила!

— Вот увидите, сегодня по радио скажут!

— Хотел бы я послушать! Этот день войдет в историю!

— Конечно, войдет!

В коридоре снова раздался шум и звуки русской речи.

— Пойду посмотрю, чего там опять случилось? — И рассказчик выбежал из палаты.

Лойзик и Франтик, которые слушали затаив дыхание, посмотрели друг на друга.

— Слышишь, Франтик, говорят, этот день войдет в историю!

— Ну, ясно, войдет. Теперь будем про войну учить в школе, читать в учебнике: «Советская Армия освободила Брно, главный город Моравии, двадцать шестого апреля 1945 года».

XI

На следующий день Лойзик попробовал встать с постели. Он дошел до двери и вместе с Франтиком стал смотреть, что делается в коридоре. А в коридоре было очень оживленно. Коляски грохотали по каменному полу, то и дело мелькали сестры и врачи, некоторые больные прогуливались или стояли около дверей, ведущих в подвал.

Недалеко от ребят беседовала группа больных, и мальчишки прислушались к их разговору.

— Брно уже целиком в руках Советской Армии. Только в Краловом Поле и в Ржечковицах еще немцы.

— Вот досада, я хотел сегодня идти домой, — сказал человек с забинтованной головой.

— Вы из Кралова Поля?

— Из Ржечковиц.

— Тогда лучше подождите. Немцы еще стреляют по городу, и трамваи не ходят. Я бы вам не советовал сейчас отправляться домой.

— Слыхали, что рассказывал шофер «скорой помощи»? Он говорил, будто еще сегодня на улицах столько народа погибло, что «скорая» не успевает доставлять раненых в больницу.

— Больные! В палаты! Вы тут мешаете, — скомандовала сестра, бежавшая впереди коляски, на которой везли раненого.

Больные разошлись, а Лойзик с Франтиком нырнули в нишу — тут никто их не заметит. Они обрадовались, что наконец могут поговорить с глазу на глаз.

— Знаешь, Лойзик, вдруг наши сегодня за мной придут?

— А разве они знают, что ты здесь?

— Наверное, знают, ведь из больницы им написали. Как только я пришел в сознание, у меня сразу спросили фамилию, где живу, как зовут папу и кем он работает. Тебя не спрашивали?

— Нет, я про это ничего не помню.

— Вот чудно!

— Может, меня спрашивали, а я уже забыл. Подожди, кажется, спрашивали, да, да, вроде сестра меня спрашивала, как меня зовут. С того дня она стала меня звать Лойзиком. А знаешь, что я еще вспомнил? Тот высокий доктор, который произносит букву «р», будто горло полощет, так он у меня спрашивал адрес пана Докоупила.

— Не может быть! Правда, Лойзик?

— Мне кажется, что правда спрашивал.

— Неужели и до них это дошло? Знаешь, что я подумал? Может, Докоупиловы объявили, что будильник нашелся?..

— Может... Но ведь пока никто не знает, что будильник взяли мы.

— Лойзик! А мой носовой платок?

— Господи! Ну конечно! Они дали собаке понюхать платок, а она привела полицию к вам, а может, и к нам, я ведь тоже держал твой платок в руках! А полицейская собака сразу узнала... Значит, это мне не показалось, что у меня спрашивали адрес пана Докоупила.

- Вот несчастье!
- Несчастье? Наоборот, счастье! Если бы Советская Армия не взяла Брно, то за нами давно явилось бы гестапо.
- Твоя правда!
- А как ты думаешь, с паном Докоупилом ничего не случилось?
- Я думаю, что русские выпустили его из тюрьмы.
- Хорошо, если это так! А вдруг он узнал, что будильник взяли мы и что все это из-за нас...
- Что правда, то правда. Значит, наши дела совсем плохи...
- Знаешь, Франтик, мне уж не очень хочется домой.
- И мне тоже. Представляешь, если дома о нас уже все известно!..
- Хоть бы узнать, что с папой! Если бы пришли твои родители, я бы у них спросил, что у нас дома делается...
- Обход! — закричала сестра.
- Пошли, Лойзик, теперь надо быть в палате.
- Знаешь, Франтик, я во время обхода спрошу доктора, писал ли он нашим, что я здесь.
- Обязательно спроси.

Во время обхода врач объявил, кто из раненых может идти домой. Новые все прибывали, и мест не хватало. Врач подошел к постели, на которой сидели мальчики, и спросил сестру, сообщили ли родителям, что мальчики в больнице. Сестра заглянула в какие-то бумаги.

- Да, пан доктор. Родителям сообщили о мальчиках.
- Хорошо. Надеюсь, за ними скоро придут. Температуры нет ни у того ни у другого?
- Несколько дней нормальная, пан доктор.
- Если кто-нибудь за ними придет, сообщите мне.— Тут доктор повернулся к мальчикам: — Ну, что, ребята, хотите домой? А у тебя, Лойзик, больше не болит голова?
- Уже не болит, пан доктор.
- Рад слышать. А когда ходишь, голова не кружится?
- Немножко.
- Все время или иногда?
- Иногда.
- Значит, скоро будешь здоров. У папы с мамой быстро поправишься — ведь дома лучше!
- Ну, видишь, Лойзик, твоих тоже известили. Ты просто забыл,— шептал Франтик.
- Ой, Франтик, у меня сердце так и колотится. А вдруг за нами сегодня не придут?

— Нет, Лойзик, я уверен, что придут. Вот увидишь. Пойдем в коридор, посмотрим.

— У меня голова болит, Франтик. Иди один.

— Так почему ты сказал доктору, что не болит?

— Тогда бы меня не пустили домой.

— Это верно... Ну, я пойду, Лойзик...

Лойзик был очень взволнован. Он не знал, вернулся ли домой папа, как обстоит дело с будильником, что с паном Докоупилом, — эта страшная неизвестность не давала ему покоя. А тут еще один из больных пришел в палату с ужасной новостью: гестаповцы, прежде чем оставить Брно, расстреляли в Кауницевом общежитии почти всех заключенных. Лойзику ударила кровь в лицо. Он натянул на голову одеяло, чтобы никто его не видел. Его душили слезы. Чего он только не вытерпел из-за этой кражи, а теперь еще эта страшная весть! Как он посмотрит в глаза маме и папе? И что теперь с пани Докоупиловой?.. Все вокруг радуются — Советская Армия взяла город. Из Брно выгнали немцев, гестаповцев, которые мучали людей. Теперь их нет. Мальчишки бегают, проказничают, рассматривают русские танки и пушки, а он, Лойзик, не может радоваться ничему. Ну что за несчастная мысль пришла тогда ему в голову! Еще и Франтика втянул в это дело. Да, да, и Франтика!

Правильно как-то сказал учитель, что одно зло творит потом еще сто. Учитель тогда рассказывал о мальчике, который врал в школе, потом товарищам и, наконец, родителям... Но вранье того мальчика по сравнению с проступком Лойзика пустяки! Может, теперь про Лойзика уже все известно. И напишут рассказ в хрестоматии, чтобы история Лойзика стала для всех детей устрашающим примером, и напишут о том, как он сначала наврал, потом стащил у мамы продукты, потом будильник украл и как в конце концов из-за него погиб хороший человек...

Лежа под одеялом, Лойзик чувствовал, как по спине бегают мурашки и все тело покрывается гусиной кожей. «Может, у меня жар? Может, я умру и никогда уже не вернусь домой? — думал он. — Может, лучше всего было бы умереть...» А вдруг к нему придет папа? Тогда Лойзик упадет перед ним на колени, будет умолять простить его и поклянется, что он никогда-никогда больше не будет врать, никогда не дотронется до чужой вещи!

Накрывшись с головой, Лойзик лежал в полном отчаянии. Но тут вдруг до него донесся голос сестры:

— Пан Докоупил, ваш сын лежит здесь. Подождите, я посмотрю, может, он уснул?

Лойзик осторожно стянул с головы одеяло, чтобы посмотреть, кого так называют.

— Нет, он не спит,— сказала сестра.— Лойзик, к тебе пришел папа!

Лойзик откинул одеяло и резко сел на кровати. Перед ним стоял пан Докоупил, настоящий пан Докоупил! Лойзик вытаращил глаза, да и пан Докоупил смотрел с удивлением. Да и сестре показалось, что тут что-то не то. Вдруг Лойзик закричал так, что все в палате с испугом повернулись в его сторону:

— Пан Докоупил, вы живы! Пан Докоупил! Пан Докоупил!

— Лойзик, боже мой! — проговорил пан Докоупил, протягивая к нему руки.— Как же это...

Лойзик обнял пана Докоупила и заплакал навзрыд. Сестра испуганно спросила:

— Разве это не ваш сын?

— Нет, сестричка, не мой,— ответил пан Докоупил, который никак не мог понять, почему Лойзик так закричал и разрыдался. Он подумал, что, наверное, мальчик от ранения немного не в своем уме.— Бедный парень!..— Он гладил Лойзика по голове и говорил: — Ну, что ты, что, Лойзик... Успокойся...

А Лойзик все рыдал. Пан Докоупил посмотрел вопросительно на сестру.

— У него было сильное сотрясение мозга, высокая температура, и он до сих пор очень слаб.

— А как случилось, что вы написали мне, а не его родителям?

— Он нам сказал ваш адрес, а когда доктор его спросил, как его зовут, он ответил: «Алоиз Докоупил».

— Хм, вот чудно, прямо-таки чудно. Почему паренек сказал именно это?..

— В бреду он все время кричал что-то о гестапо, что вроде хотели забрать отца, и при этом чаще всего называл ваше имя.

— Лойзик, ну успокойся же, ты разумный мальчик... Что с тобой? Ну, скажи...

— Па-а-а-па дома?

— Дома твой папа, дома... Сегодня утром пришел из больницы. У него были ожоги, но сейчас уже все в порядке. Мама приходила к нам несколько раз и все плакала, говорила, что тебя, наверно, в живых нет.

— Да-а-а?

— Ведь они ничего о тебе не знают.

Лойзик устал от плача. «Значит, они и о будильнике ничего не знают?» — мелькнуло у Лойзика в голове.

— Ну вот, ну вот видишь, ты уже улыбаешься, так-то лучше...— говорил пан Докоупил и все гладил Лойзика по голове.

Все в палате смотрели в их сторону. Лойзику от всего этого вдруг стало не по себе. Ему казалось, что палата наклонилась на-

бок, что она двигается и вот-вот перевернется. Голоса больных и пана Докоупила удаляются, а потом все исчезло.

— Бедняга малыш, бедняга малыш,— повторял пан Докоупил, наклонившись над Лойзиком, который потерял сознание.

Сестра терла виски и грудь Лойзика холодной водой, позвали врача. Врач хлопал Лойзика по щекам.

— Он еще очень слаб. Придется его задержать в больнице еще денька на два. Лойзик, ну что с тобой? Что случилось? Ты ведь у нас герой!

Лойзик пришел в себя и уже улыбался врачу, сестре и пану Докоупилу, который качал головой и приговаривал:

— Ах ты парень, парень...

— Так, значит, вы не его отец?

— Нет, пан доктор. Я очень удивился, что мальчик дал мой, а не свой адрес. Я удивился еще тогда, когда получил ваше письмо, что мой раненый сын лежит у вас в больнице. У меня есть сын, но ему уже восемнадцать лет, и его отправили на работу куда-то в Германию, а зовут его Антонин. Я удивился, что написано «Алоиз», решил, что это по ошибке. Но все же подумал: «Откуда бы тут взяться моему сыну?» Но что я увижу Лойзика, мне и в голову не могло прийти.

— Ну вот, Лойзик, теперь тебе уже лучше, ты опять порозовел.

— В таком случае прощайте, пан Докоупил,— сказал врач,— мне нужно бежать. У меня полно работы. Нас тут мало, а больные все прибывают.

Доктор и сестра ушли.

— Ну как, малыш, тебе уже лучше? Ничего не болит?

— Ничего, мне уже хорошо...

Лойзик говорил тихо и вдруг схватил пана Докоупила за руку, и пан Докоупил почувствовал, что Лойзик хочет что-то ему сказать. Он наклонился к Лойзику. А Лойзик зашептал ему прямо в ухо:

— Пан Докоупил, пожалуйста, простите меня... простите... что я у вас...— Лойзик не договорил. В горле у него застрял ком. Он тяжело дышал.

Пан Докоупил потрогал его лоб. Лоб был холодный и влажный. Лойзик умолк и смотрел на пана Докоупила с отчаянием...

— Так что я должен тебе простить? — спросил пан Докоупил.— Что ты хотел мне сказать? Что ты спутал адрес? Ты ведь был в бреду, когда тебя спрашивали...

Лойзик вновь приподнялся, притянул пана Докоупила к себе и выпалил:

— Будильник взял я, один я, Франтика я уговорил, чтобы пошел со мной... Простите меня...

— Что ты такое говоришь, мальчик? — Пан Докоупил озабоченно посмотрел на Лойзика.

Широко раскрытые глаза Лойзика были полны отчаяния и страха.

— Будильник взял я, ваш будильник...

По лицу пана Докоупила скользнула едва заметная улыбка. Он хлопнул себя по лбу, выпрямился и громко сказал:

— Постой! Будильник... Да, да, было дело... Ведь у меня действительно пропал будильник! — И пан Докоупил посмотрел на Лойзика с удивлением. — Но что это сделал ты...

— Все правда, будильник у вас взял я, да, я, пан Докоупил... Простите меня, очень вас прошу... простите и... не говорите папе и маме... Не говорите, прошу вас, никому... — Слезы хлынули из глаз Лойзика. — Пожалуйста, простите... Пожалуйста... Я больше никогда... никогда...

— Успокойся, парень, и ляг... Вот так...

Пан Докоупил задумался. Потом кивнул головой, испытующе поглядел на Лойзика, как будто все еще не верил ему или не понимал.

— Скажи мне, а зачем ты...

— Из-за звонков... Мы хотели звонки...

— Звонки?! Какие звонки?

— Мы с Франтиком... хотели звонки от будильника приделать к нашим самокатам... мы готовились к соревнованиям, а...

— Что? Говори громче... — Пан Докоупил наклонился еще ниже к Лойзику.

Лойзик шепотом, взволнованно рассказал всю эту несчастную историю. Минуту спустя пан Докоупил выпрямился и рассмеялся:

— Глупые мальчишки! Из-за звонков украли будильник... Звонки к самокатам!... Надо же такое придумать!.. А я-то ломал голову, кто мог украсть будильник... А это вон кто... — И пан Докоупил внезапно стал серьезным. — Вообще-то это глупость... А все же знаешь, какие последствия могли быть? — сказал пан Докоупил скорее для себя, но потом посмотрел на Лойзика. — Хорошенькое дело вы мне устроили... Ну и натерпелся я страха... Ведь на вашей совести могло оказаться несколько жизней. Ах вы, мальчишки, мальчишки!.. Хорошо, что я прибежал вовремя... Ну, теперь дело прошлое... Ваше счастье... Тогда я был так зол, так зол на того, кто украл будильник...

— Вас забрали в гестапо? — выкрикнул Лойзик.

— Гестапо? Нет... Было еще хуже...

Тут пан Докоупил заметил, что больные с интересом слушают всю эту историю и даже пересели поближе. И он стал рассказывать, как он, Докоупил, был связным группы партизан, скрывав-

шейся в бункере в лесу. Как незадолго до истории с будильником партизанам удалось пустить под откос поезд с военным снаряжением.

— И как раз в тот день,— продолжал пан Докоупил,— когда этому (он кивнул головой в сторону Лойзика) самокатному чемпиону понравились звонки на моем будильнике и он убежал с ним в лес, утром в городе я узнал, что арестовали лесничего с того участка, где был наш бункер. Тут я задумался... Начнут нашего лесничего мучать, вдруг он не выдержит и расскажет, где скрываются партизаны... Я непременно должен предупредить товарищей. Днем туда я идти не мог, не застал бы их на месте нашей постоянной явки. Я туда должен был прибыть ровно в восемь вечера. А ходу — добрых три часа. В тот день мне на работу надо было выходить в полночь, но из-за постоянных налетов я домой попал только в полдень. Поэтому я после обеда лег поспать, поставил будильник на четыре часа, а дома сказал, что на работу мне к шести... О моей связи с партизанами дома никто и понятия не имел. Я не спал уже две ночи и решил немного вздремнуть. Хотя я должен был заступить на заводе в полночь, на всякий случай договорился, что могу прийти и чуть позже. А пока я спал, исчез будильник. Жена разбудила меня, когда вернулась из сада. Было уже шесть часов! А встреча назначена на восемь. И как было условлено, меня ждали не больше пятнадцати минут... В жизни я так не бегал. Пробежал я этот путь, наверное, за два часа... Но все обошлось... Я пришел в последнюю минуту. Когда я ночью возвращался, то увидел на шоссе между Жабетином и Острова-чицами колонну эсэсовцев. Шли на облаву... Да наши парни уже в это время были на пути в безопасные места...— Пан Докоупил на минуту замолк и посмотрел на Лойзика.— Вот видишь, чем могла кончиться такая глупость!..

Лойзик, на которого смотрело столько глаз, покраснел, как алый мак. Он с немой мольбой поглядел на пана Докоупила. И пан Докоупил понял.

— Не бойся, Лойзик, я дома ничего не скажу... В конце концов, будильник все же сослужил свою службу, пробудил в тебе хорошие чувства... Ну, не реви так... Все уже позади...— Пан Докоупил легонько шлепнул Лойзика и весело продолжал: — Представь себе, Лойзик, что и у нас, и у вас в доме живут советские солдаты! У вас двое, а у меня пятеро!

У Лойзика засветились глаза, а на лице расплылась широкая улыбка.

— Правда, пан Докоупил? И они у вас в комнате? А советские солдаты у нас ночуют?

— Ну конечно... Все правда... Это веселые парни... Хорошо поют, на гармошке играют и танцевать любят... Так что хватит

слез, парень, нам есть чему радоваться! Немцы бегут и уже не вернутся! Наконец-то мы свободны... хотя легко нам свобода не далась! Сколько советских воинов погибло при взятии Брно! Тысячи! В самом конце войны погибли, на самом пороге мира...

— Святая правда! — откликнулся один больной. — Не будь их, никто бы с фашистами не справился... Только они... Скажу я вам, что русским мы должны спасибо сказать, что так все кончилось! Молодцы они! Думаю, что отбили у всех и навсегда охоту затевать с ними драку...

— Что правда, то правда! Проучили они этих негодяев! Как только вспомню...

Пан Докоупил не договорил. В палату вдруг влетел запыхавшийся Франтик.

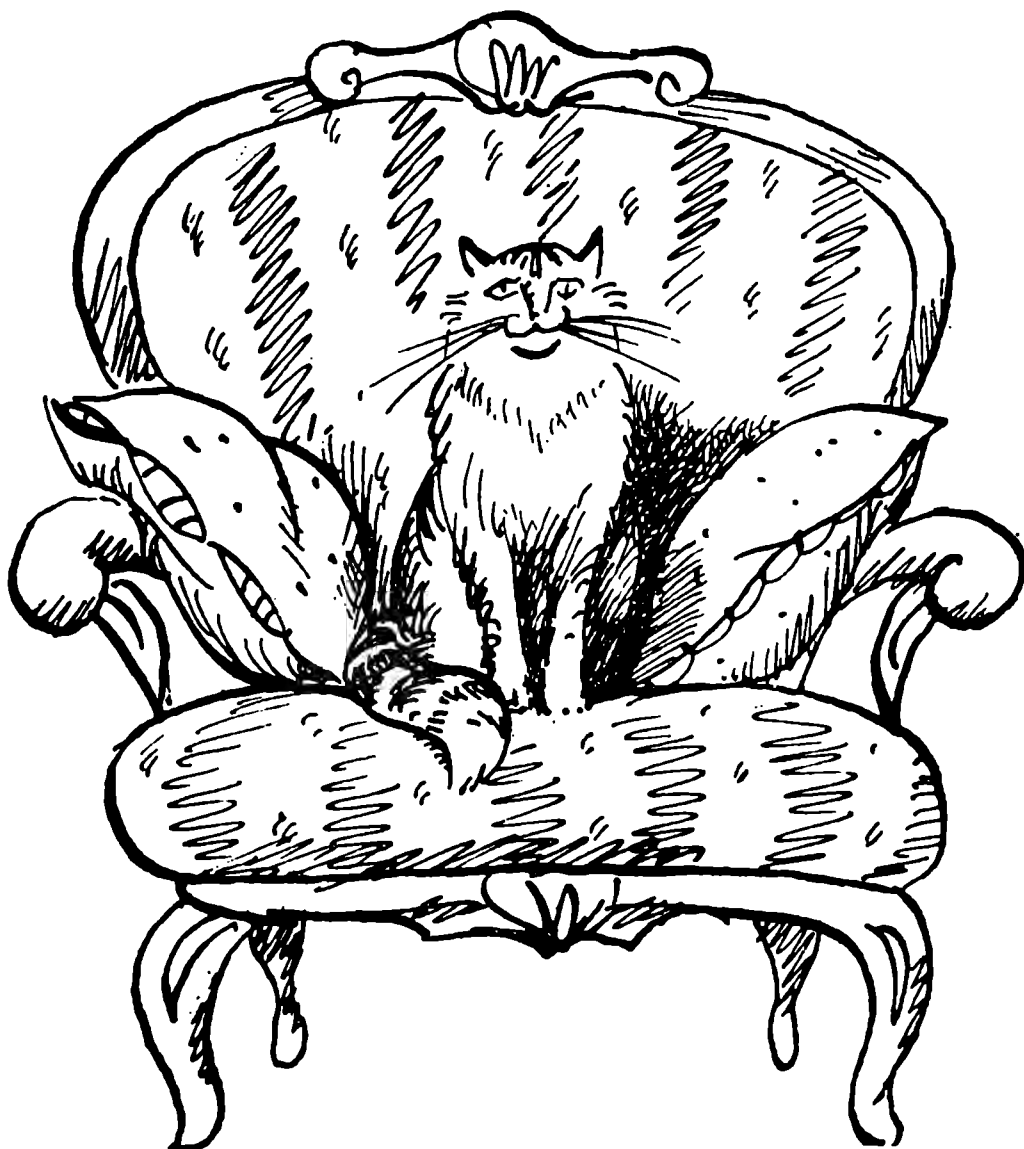
— Представь себе, Лойзик... — Тут Франтик увидел пана Докоупила и остолбенел, вытаращил на него глаза и забормотал: — Пан До-до-коупил... вы живы?!

Пан Докоупил громко рассмеялся:

— А ты как думал? Жив я, как видишь, и рад, что живу на свете! Что бы я дал, если бы мне сейчас было эдак лет тридцать! Но и в пятьдесят можно еще кое-что сделать! А знаете, ребята, я вижу, что вы уже здоровы, пошли-ка домой... Что вы на это скажете? Пошли к нашим советским воинам, а я, так и быть, приделаю к вашим самокатам новые звонки. Но помните только: никогда в жизни таких штук больше не вытворяйте... Эх, ребята, вы даже не понимаете, для какой прекрасной жизни вы растете!..

Через полчаса пан Докоупил вышел с двумя мальчиками из хмурого здания больницы св. Анны. Они направлялись домой. И хотя многие улицы были в развалинах, на душе у ребят был праздник... Деревья цвели, воздух был полон аромата, птицы после долгих дней стрельбы снова пели, и в их пение вплеталась чешская и русская речь...

Это была прекрасная весна, весна 1945 года!



Драгутин Малович

РЫЖИЙ КОТ

ЧАСТЬ ПЕРВАЯ

РЫЖИЙ КОТ

Я тебе рассказывал про Рыжего кота? Нет? Тогда слушай. Рыжий кот был барон, а может быть, виконт или граф. Сейчас трудно установить его титул. Одно достоверно известно: он был рыжим. Именно это и отличало его от других котов. Ну и красавец он был — всем котам кот! Второго такого кота на всем белом свете не сыщешь. Уж ты поверь мне, сынок, и не слушай того, кто вздумает с этим не согласиться.

Мать его звали Анна-Мария-Розалия. Тебе смешно? Но я вовсе не шучу. Благородным кошкам всегда дают несколько звучных имен. И чем благороднее ее происхождение, тем больше у нее имен. Разумеется, у Анны-Марии-Розалии было еще семь имен, просто я их забыл. Однако ее хозяйка, высокородная графиня

Луиза Ленер Хофмансталь, всегда называла кошку полным именем.

В середине тысяча девятьсот тридцать третьего года мы приехали в графское поместье. Графиня велела нам ждать ее возле замка — она желала взглянуть на нас. В назначенное время мы пришли к замку, наивно полагая, что графиня выйдет к нам, но, видно, негоже графине якшаться с простыми людьми — во двор она не вышла, а только подошла к балкону. Рядом с ней стоял бледнолицый щербатый мальчик, смотревший на нас столь же высокомерно, как и графиня. Тяжко, сынок, вспоминать эти взгляды, полные презрения, брезгливости и отвращения, которые, точно помои, выплескивались на нас из высоких окон старинного замка графини Ленер Хофмансталь.

— Таращится на нас, как на дохлых рыб,— сказала Милена.

— А графиня косая,— заметил Вита.— И мальчишка тоже.

Мать улыбнулась и тихо проговорила:

— Наверно, это у них семейное. Не то чем бы графы отличались от простых смертных?

Графиня долго наводила на нас лорнет в золотой оправе. Наконец взгляд ее остановился на мне. Я смутился и, словно устыдясь самого себя, печально опустил голову.

Отец толкнул меня в спину:

— Ты что, оглох? Тебя зовет графиня.

По широкой лестнице я поднялся в покои графини. Я шел словно во сне: кругом ковры, картины в золоченых рамах, столы, стулья, шкафы и кресла — все сверкает позолотой. И среди этого блеска и роскоши в огромном массивном кресле, точно на троне, восседает большая толстая кошка.

— Как тебя зовут? — спросила графиня.

Я сказал. Графиня вздохнула и задумалась.

— Гм, гм...— заговорила она вдруг.— Пожалуй, я возьму тебя в услужение. Каждый день будешь водить на прогулку Анну-Марию-Розалию, а по средам и субботам будешь ее купать.

Среди разбросанных по полу пестрых подушек сидел мальчик, которого я незадолго перед тем видел в окне. Посмотрев из-под ресниц на графиню, он показал мне язык и весело рассмеялся. Я сделал вид, что не замечаю его.

— А кто эта Анна-Мария-Розалия? — поинтересовался я.

— Моя единственная радость,— ответила высокородная графиня Ленер Хофмансталь, показывая на дремавшую в кресле кошку.— Не правда ли, она прелесть?

«Вот так кошка,— подумал я.— Целая лиса... Какая пушистая... А хвостище!..» Когда я вошел, она лениво открыла глаза, и мне почудилось, будто в них мелькнуло то же надменное выражение, с каким смотрели на нас графиня и мальчик.

Я сердито глянул на кошку, едва удерживаясь от искушения дать ей хорошего пинка. Но графиня иначе истолковала мой взгляд — она решила, что я пленен красотой Анны-Марии-Розалии, и сказала с нескрываемой гордостью:

— Чистая ангорская порода!

— Значит, я буду гулять с кошкой? — спросил я.

— Кошатник! Кошатник! Кошатник! — закричал мальчик.

Графиня погрозила ему пальцем, и он замолчал.

— Будешь гулять с ней по часу утром и вечером. Так предписал доктор Кальман.

Мне отвели крохотную, но очень уютную комнатку в правом крыле замка. В тот же день дядюшка Иштван сшил мне ливрею, какие носили все слуги графини. Вечером пришел отец, он принес мои книги и кое-что из одежды. Увидев меня в этом наряде, казавшемся мне парадным генеральским мундиром, он разразился гоме-рическим смехом.

— Забодай меня корова, если ты не рожден лакеем! Эта дура графиня сделала из тебя чучело гороховое! Повернись! Ха-ха-ха, сзади ты еще смешнее!

— А где вы устроились? — спросил я, когда он прекратил свои насмешки.

— Тут поблизости. В одном роскошном бараке. Не стану описывать тебе все его прелести, скажу только, что на крыше растут фиалки и подснежники. Словом, не жизнь, а малина, живем как в сказке. Да к тому же окон и дверей открывать не надо, потому что таковых вообще не имеется.

— Здесь хорошо, — грустно сказал я, — но я не привык жить один. Жаль, что я не с вами.

— Жаль, конечно. А впрочем, мы не за горами, барак наш у колодца. Заходи, когда поведешь гулять эту чертову кошку.

Незаметно пролетело несколько месяцев. Графиня Ленер Хофмансталь была мною очень довольна. Вручая мне шелковый поводок, она обычно говорила: «Немного на свете таких людей, кому бы я могла доверить свое сокровище». И, сощутив свои близорукие глаза, как бы добавляла, какая это для меня честь нежить и холить Анну-Марию-Розалию. Я ненавидел графиню не меньше, чем Анну-Марию-Розалию, и всегда старался поскорее покинуть ее душные, пропыленные покои.

Итак, я терпеть не мог кошку и ее хозяйку, но это ничуть не мешало мне ежедневно в одно и то же время водить на прогулку Анну-Марию-Розалию по избранному графиней маршруту. Всею душой ненавидел я эту унижительную для меня службу. Однако она меня не слишком утомляла, и я мог часами сидеть за книгой или предаваться другим занятиям. Поэтому обязанности свои я выполнял терпеливо и безропотно. Между тем Анна-Мария-Роза-

лия начала вдруг вести себя очень странно. Она ни за что не хотела идти на прогулку, а если к ней кто-нибудь подходил, то фырчала, выгибая спину, скалила зубы и выпускала когти, не делая исключения даже для сиятельной графини Ленер Хофмансталь.

Не на шутку встревоженная графиня пригласила доктора Кальмана. Он прибыл в посланной за ним большой карете, запряженной четырьмя рослыми белыми жеребцами.

Доктор Кальман был седой, сгорбленный старик, вечно жаловавшийся на ревматизм и другие недуги. Сейчас, после долгого пути по жаре, он был особенно брюзглив и раздражителен.

— Где пациентка? — крикнул он, едва выйдя из кареты. — Где больная кошка? Ты что, глухой? А ты, братец, пожалуй, вор! Того гляди, влезешь в карман! Долго я буду стоять посреди дороги? Гм... гм!.. За тобой смотри в оба — не ровен час, лишишься золотых часов. Знаю я вас, мошенников! Да води же меня, осел!

Я отвел его к графине. Он учтиво поклонился, поцеловал ей руку и начал извлекать инструменты из большой кожаной сумки, жалуясь на свои хвори и немощи и на все лады кляня лето и пыльные сельские дороги. Потом он подошел к Анне-Марии и стал ее осматривать. Графиня внимательно следила за каждым его движением.

— Ну что? — нетерпеливо спросила она. — Надеюсь, ничего серьезного?

— Поздравляю, поздравляю! — воскликнул доктор, подходя к графине и протягивая ей руку. — Скоро у вашей прекрасной кошки появятся котята!

Но графиня не выразила никакой радости.

— Что?.. — едва слышно пролепетала она. — Невероятно... Ничего не понимаю...

Вдруг графиня повернулась ко мне и, гневно сверкнув глазами, начала щедро награждать меня пощечинами и подзатыльниками, после чего кулаки ее загуляли по моей спине.

— Злодей, злодей! — кричала она в ярости. — Для того я тебя кормила и одевала? Ты совсем не смотрел за ней! Осел, дубина, болван...

Тут она рухнула на пол.

Доктор Кальман склонился над ней и приоткрыл ей веко.

— Ничего страшного, — сказал он. — Приступ истерии. Скоро придет в себя. — И, поманив меня пальцем, шепотом спросил: — Позволь-ка полюбопытствовать, чем ты досадил графине?

— Я каждый день водил на прогулку Анну-Марию-Розалию, — ответил я, глотая слезы. — Клянусь вам, я не отходил от нее ни на шаг! Я тут ни при чем.

Доктор Кальман погладил меня по голове:

— И все же тебе лучше не ждать, пока графиня очнется.

У бедняжки не все дома, но это не мешает ей задать тебе хорошую порку. Так что дуй-ка отсюда со всех ног.

Я мигом добежал до лачуги на хуторе и рассказал отцу о случившемся. Он равнодушно пожал плечами.

— Кошки для того и существуют, чтоб приносить котят. И этому не мешает ни графиня Ленер, ни граф Чано, ни даже сам господь бог! Впрочем, посмотрим, как пойдут дела. Хочешь верь, хочешь нет, но я чертовски любопытен.

Через несколько дней графиня прислала нам со слугой письмо, в котором заявляла, что мы не заслуживаем ее милостивого внимания и потому она просит нас покинуть ее имение. «При сем сообщаю вам,— писала она дальше,— что Анна-Мария-Розалия родила двоих котят, один из которых тут же сдох. Второго, рыжего котенка, посылаю вам — делайте с ним что хотите. Сиятельная графиня Луиза-Кристина Ленер Хофмансталь».

— Ну и чудеса! — рассмеялся отец. — Теперь в нашей семье есть граф.

Мы погрузили свой скарб на телегу и в тот же день двинулись в путь через Тиссу.

НА ТИССЕ

Рассказать тебе про Рыжего кота? Да? Ну, слушай.

Итак, в прошлый раз я остановился на том, как мы переправлялись через Тиссу. Трудный это был путь, сынок. Много часов ехали мы вдоль берега в тщетной надежде найти мост, чтоб переправиться на ту сторону, в Бачку. Местами Тисса разлилась так широко, что нам приходилось огибать огромные поймы, над которыми поднимался пар и раздавался утренний переклик обитавшей здесь птицы. Как зачарованные любовались мы этим прекрасным зрелищем.

— Вид тут, конечно, дивный, сказочный, волшебный,— с улыбкой проговорил отец,— но нам нужен мост.

Наша телега равномерно покачивалась, навевая на нас легкий сон. Временами мы просыпались и с удивлением замечали перед собой тот же самый пейзаж: слева по-прежнему катила свои волны синевато-зеленая Тисса, а справа тянулась безбрежная равнина, на которой, точно грибные шляпки, рдели красные кровли домов. Все это огромное пространство было безлюдно, и мы тщетно старались заглушить шутками и смехом щемящее чувство тоски и одиночества.

Только к полудню попался нам крестьянин с косой на плече.

— Скажи-ка, приятель, есть тут поблизости мост? — поздоровавшись, спросил отец.

Крестьянин окинул нас недоверчивым взглядом.

— Говорят, есть возле Канижы.
— Ух, брат, да ведь до Канижы целых сто километров!
— Говорят, что побольше будет,— не моргнув глазом заявил крестьянин.

Отец поблагодарил его, и мы снова тронулись в путь.

— Таких болванов следовало бы сдавать в музей,— сердито проворчал он, когда мы немножко отъехали. И, с минуту помолчав, добавил: — Черт меня побери, если нам не придется тащиться в Канижу!

— Как-нибудь доберемся,— сказала мать.— Мы уже привыкли.

— Да я не о вас пекусь, а о господине графе!

Словно поняв, что речь идет о нем, Рыжий кот мяукнул. Ах, какой у него был дивный голос! Как у львенка или тигренка.

Мы с восхищением посмотрели на нашего красавца. Он мяукнул еще раз.

— Спасибо, ваше сиятельство! — сказал отец, снимая шапку и сгибаясь перед ним в поклоне.— Спасибо.

— Есть хочется! — захныкал мой маленький брат Лазарь.— Дайте поесть.

— Поешь, когда придет время,— сказал отец.

— А когда придет время?

— Когда будет еда. А сейчас ложись и спи. Или полюбуйся рекой. Делай что хочешь, только не думай о еде. Тогда забудешь про голод.

— Пап, а ты здорово умеешь разговаривать с малышами,— заметил я.

— Начал учиться, когда ты появился на свет,— сказал он и легонько щелкнул меня по лбу.— А потом ежегодно расширял свои познания.

Я рассмеялся. Отец взглянул на меня и тоже засмеялся, но как-то невесело.

— Над чем смеешься, маленький мудрец?

— Правда, у нас чудная семья?

— И большая. И бедная. И упрямая, и неутомимая... Видишь, если постараться, то можно о ней кое-что порассказать.

Уже много лет подряд семья наша скиталась по Сербии, следуя какому-то странному плану, известному только отцу. Мы появлялись на свет во время этих скитаний, иногда прямо в телеге, в разное время года. Росли под солнцем и ветром, и перед глазами у нас вереницей проходили края, то улыбчивые и плодородные, то каменистые и мрачные. Мы привыкли к путям-дорогам, и кочевой дух, впитанный с молоком матери, всегда манил нас в синие дали.

Переезды казались нам делом вполне естественным, и мы никогда не задавались вопросом, почему так должно быть. Тог-

да я впервые подумал об этом и сразу же ощутил во всем теле холодную дрожь.

Было около двух часов дня, когда мы увидели паром, привязанный к большому пню на берегу. Паромщик лежал на песке. Его лицо, руки и все большое и могучее тело были покрыты старыми газетами, которые качались на нем, точно на волнах.

— Из его носа так дует, что можно простудиться! — шепнул отец, склоняясь над ним. — К тому же он и рот закрыть забыл!

Мы засмеялись.

— Эй, сударь! — крикнул отец. — Сударь!

Но паромщик продолжал беззаботно храпеть, убаюканный ласковыми лучами солнца, пробивавшегося сквозь густой ивняк.

— Думаешь, он согласится перевезти нас бесплатно? — тихо спросил я.

— Может, у него доброе сердце, — ответил отец. — Сударь, сударь, проснитесь!

— А я и не сплю, — сумрачно буркнул паромщик и вынырнул из-под газет. — Чего вам? — увидев нагруженную телегу, на которой сидели мать, братья и сестры, он прибавил: — Три динара за телегу, по два за лошадей, по динару с каждого из вас, egy, kettő... kilenc, tíz...¹ Итого четырнадцать динаров!

— Немного, — усмехнулся отец. — При нынешней дороговизне просто даром! Я бы и двадцати не пожалел... — Тут он вздохнул, развел руками и, взглянув на небо, снова обратил свой взор на паромщика. — Но у меня, милостивый государь, и гроша ломаного нет. Ни гроша, ни крейцера, ни сольдо, ни марьяша. Ничего! — И для вящей убедительности отец вывернул все карманы. — Вы когда-нибудь видели карманы пустее моих?

Паромщик таращил на него свои большие глаза. Вдруг он заморгал и стал было снова устраиваться на песке, но отец так настойчиво тормозил его и уговаривал, что в конце концов он сдался. Сошлись на том, что вместо денег мы дадим ему кое-что из наших вещей.

Паромщик долго ходил вокруг телеги, рылся, высматривал, вынюхивал. Наконец пробурчал:

— Я беру два стул и котенок. Я люблю кошка.

Я задрожал. Отец тоже огорчился.

— Возьмите лучше еще один стул, — предложил он. — Рыжий кот — граф, а кроме того, у моих детей нет других игрушек. Послушайте, сударь, возьмите все четыре стула, только оставьте нам Рыжего кота. Мы все любим этого дурашку.

Но паромщик не склонен был торговаться. Он презрительно махнул рукой, улегся на песок и начал накрываться газетами.

¹ Один, два... девять, десять... (венгр.)

— Отдай ему котенка, Милутин,— взмолилась мать.

Паром оттолкнулся от берега и стал быстро пересекать реку. Обливаясь слезами, простились мы с Рыжим котом. Мы стояли на берегу до той поры, пока паром не вернулся на банатскую сторону и паромщик с двумя стульями на плечах и котенком за пазухой не скрылся за высокой насыпью.

— Куда теперь? — озабоченно спросила мать.

Отец долго вглядывался в необозримую равнину Бачки. На лице его была написана тревога...

— Едем прямо,— сказал он, слясь улыбнуться.— Прямая дорога — самая верная!

Он дернул поводья, и лошади тронулись. Я сидел на задке телеги и с грустью смотрел на Тиссу и на противоположный берег, куда жестокий паромщик увез моего любимца. Увижу ли я его когда-нибудь?

НА ФЕРМЕ

Через день мы прибыли на ферму, хозяина которой звали Лайош. А может быть, он был Янош? Помню только, что был он необыкновенно толстый, такой толстый, что не мог сам подняться со стула — ему помогали двое слуг. Я уверен, сынок, ты еще не видывал такого толстяка! Я и сейчас еще смеюсь до слез, когда вспоминаю его пунцовое лицо, жабы глаза и огромные обвислые губы.

— Сударь,— обратился к нему отец со смиренным поклоном,— мы бедные люди и хотели бы у вас работать. Мы не переборчивы, согласны на любую работу.

Газда Лайош, или Янош, кивнул головой, а потом что-то пробормотал себе под нос.

Отец повернулся и устремил на нас вопрошающий взор.

— Кто-нибудь понял, что он сказал?

Мы все отрицательно мотнули головой.

— Гм...— произнес отец, снова поворачиваясь к газде Лайошу, или Яношу.— По рукам, сударь, мы согласны.

— Ммм...— промычал газда Лайош, или Янош, тяжело вздыхая.

— Будете получать два динара в день,— перевел нам слуга, стоявший по правую руку газды Лайоша, или Яноша.— Плата невелика, зато на харч у нас не жалуются.

— Это я сразу заметил,— сказал отец, глядя на хозяина.— А что мы будем делать?

— Ходить за свиньями! — вставил левый слуга.

— Все? — удивился отец.

— Ага! — ответил правый слуга (по всему было видно, что он важнее левого). — Ферма большая.

— А когда мы будем получать эти два динара? — спросил отец.

— Szombat¹, — значительным тоном проговорил газда Лайош, или Янош.

Правый слуга перевел:

— По субботам, после вечерней мессы.

— Он сказал только «по субботам»! — вмешался я. — А «после вечерней мессы» вы сами прибавили!

Отец бросил на меня довольный взгляд и улыбнулся.

— Наш хозяин, — заговорил левый слуга, — рассчитывается с батраками после вечерней мессы. Так повелось со времен Иштвана Фенеши и так будет до скончания века!

— Я не возражаю, — добродушно сказал отец. — Где мы будем жить?

Правый слуга кликнул со двора работника и, показав на нас пальцем, велел проводить нас к нашему жилью.

Телега медленно катилась по пыльной, ухабистой дороге. Отец погладил меня по голове и восхищенно произнес:

— У тебя, сынок, талант к языкам! Может, ты знаешь, что говорил газда Лайош, или Янош, в самом начале?

— Еще бы! — самоуверенно воскликнул я. — Он сказал: «Мне нужен свинопас!»

— В жизни бы не додумался! — искренне сказал отец. — Черт бы его побрал, этого жирного борова!

— Кажется, нам здесь будет неплохо, — заметила мать, оглядывая возделанную равнину, с одной стороны окаймленную молодым лесом, с другой — узеньким ручейком. — Мне здесь нравится.

— А что он ест? — спросил мой младший брат Лазарь, всегда занятый мыслями о еде.

— Слезами и потом нашим кормится, — грустным голосом ответила мать.

— Хочу быть таким толстым, как газда Лайош, — решительно заявил Лазарь, не обращая ни малейшего внимания на печальное лицо матери и звучащую в ее голосе грусть. — Если б я был таким толстым, мне бы никогда не хотелось есть!

— Ну а вам здесь нравится? — обратился отец к моим сестрам.

— Без Рыжика мне везде плохо, — проговорила сквозь слезы Милена. — Нейдет он у меня из головы, и все.

— У меня тоже, — сказала Даша.

¹ Суббота (венгр.).

— А может, паромщик уже съел его? — предположил Лазарь.

— Люди не едят кошек! — авторитетно заявил Вита. — Не едят, не едят, не едят!

— А я бы съел и кошку, и крокодила, и дракона, и тигра, потому что я есть хочу!

— Рыжика тоже съел бы? — спросила Милена и разревелась. Лазарь задумался.

— Его нет. А остальных съел бы!

Вскоре мы подъехали к маленькому белому домику на опушке леса. Отец спрыгнул с телеги, обошел его вокруг и торжественно возгласил, что «это рай, а не жилище» и он надеется, что «господа будут довольны». Ну а ежели сей приют им не по вкусу, он сию же минуту расторгнет контракт.

В сравнении с халупой в имении сиятельной графини Ленер дом этот выглядел настоящим замком, и потому восторг отца был вполне понятен. Провожавший нас работник показал на видневшиеся недалеко небольшие загоны и велел завтра явиться к Михаю Роже.

— Гм... — произнес отец, с улыбкой глядя на меня. — Был ты кошатником, теперь станешь свинопасом. Как-никак повышение.

Мы разместились в нашем новом жилище, а назавтра все, кроме мамы и Лазаря, отправились на работу. Мы носили воду, наполняли корыта пойлом и отрубями и так к концу дня устали, что заснули, едва проглотив скудный ужин, за которым пришлось идти к хозяйскому дому. У котла с мамалыгой стоял правый слуга и заносил в длинный список имена тех, кто уже получил еду.

Дни проходили незаметно, серые, унылые, однообразные. В редкие минуты отдыха я все чаще думал о том, почему мы ведем кочевую жизнь, почему у нас нет своего угла, как у других людей. Мысль эта с каждым днем все более врезалась в мою душу, наводя тоску и уныние.

Глядя на домашних, я с удивлением замечал, что они тоже как-то попритихли, перестали шутить и смеяться. «Отчего грустят Вита, Даша, Милена и Лазарь? — думал я, стараясь проникнуть в причину столь разительной перемены. — Не могут же они умирать из-за вечных скитаний?» И каково же было мое изумление, когда я узнал, что все они горюют по коту. А Лазарь, склонный к преувеличению, заявил даже:

— Я умру без Рыжика!

Накануне того дня, когда мы должны были получить расчет за неделю, мать долго «тратила» эти деньги. Она была очень оживленна и все время смеялась. Отец молчал, казалось, он не слушает ее. Его задумчивый взгляд блуждал где-то за безбрежной равниной.

— Я уже все распределила,— с воодушевлением говорила мать.— Даше купим платье, Лазарю — галоши, а Драгану, Милене и Вите — по карандашу и по тетрадке в linedчку. Что ты на это скажешь, Милутин?

Отец по-прежнему молчал, только губы его тронула какая-то загадочная улыбка.

В субботу, лишь только колокол на сельской церквушке возвестил конец вечерней мессы, мы с отцом поспешили к дому газды Лайоша. Меня очень удивило, что мы поехали на телеге, но я не стал ни о чем спрашивать.

Правый слуга выплатил нам за шесть дней одиннадцать динаров вместо причитавшихся двенадцати. Отец насупился.

— Один динар — пожертвование на церковь! — объяснил левый слуга.

— Священник тоже не святым духом сыт,— добавил правый.— К тому ж пора заделать трещину на колокольне.

— Аминь! — сказал отец, кладя деньги в карман.— Пошли, сынок!

Кони понеслись как ветер. Но везли они нас не к нашему домику на опушке леса, а совсем в другую сторону. Туда, откуда мы приехали,— к Тиссе.

— Папа! — воскликнул я, осененный вдруг счастливой догадкой. Конечно же, он заметил, как тоскуют по Рыжему коту Вита, Даша, Милена и Лазарь, и потому был так мрачен и угрюм.— Папа, ведь мы едем за котенком?

— Да, да, едем вызволять его из рабства! К черту платье, галоши, карандаши и тетрадки в linedчку! Сейчас нам дороже кошачий граф, добрый, умный Рыжий кот!

Рыжий кот очень обрадовался, увидев нас. Обрадовался и паромщик.

— Tizenegy?¹ — сказал он, пересчитывая деньги.— Ну и ладно. Дам вам ваш деревянный стулья и ваш Рыжий кот за одиннадцать динар. Все равно я не любит кошки!

Утром мы вернулись домой. Все с радостью кинулись к Рыжику. Милена гладила его, прижимала к себе и горячо целовала.

— Папа, мы никогда больше с ним не расстанемся? — спросила она.

— Нет,— ответил отец,— даже если нам придется идти пешком до Канижы!

Только мама не разделяла общей радости и ликования. Вся как-то сникнув, она грустно сидела у окна, глядя на поля, луга и молодой невысокий лес, тихо шумевший под легким дыханием ветерка. Много дней подряд мечтала она о том, чтоб у Даши было

¹ Одиннадцать (венгр.).

новое платье, а у Лазаря галоши и потому долго не могла простить отцу, что он отдал тяжким трудом заработанные деньги за стулья, без которых мы прекрасно обходились, и за Рыжего кота, от которого и вовсе не было никакого проку. Временами, прикрыв лицо передником, она плакала горько и неутешно. Но, увидев, как все вокруг радуются возвращению Рыжего кота, она забыла про свою горе и от души веселилась вместе с нами.

— Ну... добро пожаловать, господин граф! — сказала она наконец. — Добро пожаловать!

А отец добавил, посмеиваясь:

— Эх, не жалко мне даже того динара, который я подарил церкви, раз мои дети так счастливы и веселы!

ОСЕННИЙ РАССКАЗ

Пришла осень. Ты знаешь, как бывает осенью. Дни становятся короче, небо хмурится, с деревьев опадают листья, улетают на юг птицы. Но в деревне, сынок, есть еще и другое. Осенью поспевает кукуруза, и вся равнина золотится благоухающими початками, а среди них там и сям сверкают, точно маленькие солнца, спелые тыквы. Знаешь, какая бывает тыква, когда вырастет? Такая, что в нее могут войти телега, две лошади и кучер. Однажды, когда мы еще жили в имении графини Ленер... Впрочем, об этом в другой раз. А сейчас слушай, что случилось осенью.

В один прекрасный день газда Лайош Фенеш велел всем скотникам собраться в церковном дворе. Он долго лопотал что-то по-мадьярски, а когда кончил, правый слуга сказал нам:

— Вы оставите на время все свои дела и пойдете убирать кукурузу. Работать будете с утра до вечера: господа метеорологи изволили сообщить из Пешта, что скоро зарядят дожди. Вы знаете, что и молодой господин Ференц...

Отец в это время разговаривал с дядюшкой Михаем. Он был единственным человеком на ферме, к кому я привязался всей душой. Дядюшка Михай был страстным охотником и все свободное время проводил в ближних заводях, охотясь на бекасов и фазанов. Сидит он, бывало, с ружьем на носу лодки, а я гребу себе потихоньку. А кругом такая тишь, прозрачный воздух дрожит и сверкает... Вдруг из камыша или осоки вылетает бекас, дядюшка Михай стреляет, и я замираю от какого-то сладкого блаженства. В такие минуты во мне, должно быть, пробуждался дух далеких предков, которые вот так же скитались и охотились на широких паннонских просторах.

На охоте мы с дядюшкой Михаем не произносили ни слова. И, только пристав к берегу и усевшись где-нибудь в прохладной

тени, заводили задухшевную беседу. Дядюшка Михай рассказывал мне о своей безрадостной молодости, отданной тяжкому труду на фермах, о борьбе с жадюгами помещиками, о большой забастовке, несколько лет назад всколыхнувшей всю Бачку.

— А знаешь, кто ее организовал? — как-то спросил он. — Может, отец рассказывал?

— Нет, — ответил я и тут же подумал, что вряд ли он и сам о ней слышал: ведь мы в ту пору жили за добрую сотню километров отсюда.

— Эту забастовку батраков организовал мой сын Тибор Рожа! — гордо произнес дядюшка Михай, и по лицу его разлилась счастливая улыбка. — Потом жандармы схватили его и на целых четыре года уперли в каземат в Сремской Митровице. Сейчас он в Суботице, рабочий в железнодорожном депо.

Он вытащил из кармана обернутый в тряпку бумажник и показал мне фотографию сына. Тибор был так похож на отца, что я принял его за дядюшку Михая в молодости. Потом я часто всматривался в его веселое и живое лицо и запомнил его на всю жизнь.

Не один я подружился с дядюшкой Михаем. Мой отец тоже проводил с ним много времени, а когда мать журила его за это, он, смеясь, говорил, что хочет выучить мадьярский язык и ему-де «необходима разговорная практика».

— Ну как сегодняшний урок? — подтрунивала над ним мама. — Что еще выучил?

Дядюшка Михай был костистый и высокий, как тополь, и мой отец, хотя он тоже был не маленького роста, смотрел на него снизу вверх, как смотрят на звезды или луну. Сейчас — напомним тебе, сынок, что мы стояли на церковном дворе, — отец непрестанно говорил ему что-то, а дядюшка Михай кивал в знак одобрения, повторяя со своей недоступной высоты: «Igen¹, Милутин... Igen, igen...»

— Надеюсь, вы все поняли, — закончил правый слуга. — Завтра приступаем к уборке урожая.

Дядюшка Михай с отцом обменялись взглядами, кивнули друг другу головой, и дядюшка Михай крикнул:

— А сколько нам будут платить?

Правый слуга и бровью не повел.

— Завтра приступите к работе, — повторил он.

— Мы спрашиваем, сколько нам будут платить за уборку кукурузы? — крикнул отец.

По толпе скотников прошел одобрителный гул:

— Правильно! Даром гнуть спину не станем!

Слуги подняли газду Лайоша. Он сказал, что всех нас очень

¹ Да (венгр.).

любит и понимает, что сердце его рвется на части при виде нашей нужды и бедности, но он в наших несчастьях не виноват и повысить нам плату на время уборки кукурузы не может.

— Почему? — крикнул отец.

Столь длинная речь утомила газду Лайоша, и вместо него ответил правый слуга:

— Кому мало, пусть уходит!

— Ах, так?! — грянул гневный голос дядюшки Михая. — Тогда убирайте ее сами! Вы, господин Лайош, и молодой господин Ференц, и госпожа Гортензия, и старая госпожа...

Дядюшка Михай с отцом повернулись и медленно пошли со двора. Почти все скотники двинулись за ними. Священник Ловро, стоявший на ступеньках перед церковной дверью, испуганно закрестился. А оттуда, где сидел господин Лайош Фенеши, вслед уходившим неслось: «Пуф... пуф... пуф...»

Отец, дядюшка Михай и остальные скотники были уже довольно далеко, когда оба слуги закричали хором:

— Назад! Назад! Господин Лайош зовет вас!

Отец глянул на дядюшку Михая, протянул ему руку и весело засмеялся.

— Я знал, что этому зайке придется уступить, — сказал он бодрым голосом и решительно зашагал обратно.

Увидев, что скотники возвращаются, священник Ловро еще раз перекрестился и скрылся в церкви.

Поохав и повздыхав для порядка, газда Лайош заявил, что мы плохие христиане, не умеем ценить его любовь и заботы и вообще думаем только о собственной выгоде, тогда как он печется обо всех нас. Тут глаза его оросились слезами, и он с трудом выдавил из себя:

— Однако ж будь по-вашему... Прибавлю вам по динару в день.

Но дядюшка Михай так гневно крикнул что-то по-мадьярски, что газда Лайош вздрогнул и тотчас же накинул еще динар. Битый час проторчали мы в церковном дворе, торгуясь с хозяином.

Меня все это очень забавляло; я «болел», как «болеют» на спортивном состязании: то радуясь и ликуя, то дрожа и печальясь, когда любимая команда оказывается в трудном положении. Наконец газда Лайош согласился платить всем по пять динаров в день.

— Да здравствует дядюшка Михай! — вдохновенно крикнул я.

Отец с дядюшкой Михаем посмотрели на меня с удивлением.

Вскоре церковный двор опустел. Довольные скотники спешили сообщить своим женам радостную весть и до поздней ночи «тратили» еще не заработанные деньги.

Последним в сопровождении многочисленных слуг ушел газда Лайош. У ворот его ждал фиакр. Проезжая мимо нас, он хлестнул отца таким откровенно злобным взглядом, что я содрогнулся, но отец, как мне показалось, вовсе не обратил на него внимания.

— Попробуй тут не прибавить, когда тебе под нос суют кулак! — весело сказал отец, усаживаясь на телегу.

— Получишь ты эти деньги после дождичка в четверг! — сказала мать и, заметив пробежавшую по его лицу легкую тень, продолжала насмешливо: — Получишь, когда ивы принесут виноград, когда камень превратится в золото, когда у жабы отрастут рога! Тогда вот ты их и получишь!

Я смеялся украдкой. Сколько бы они ни ссорились, все равно не рассорятся.

— Посмотрим! — сказал отец и взмахнул кнутом. Лошади побежали быстрее.

— Посмотрим! — сказала мать.

Возле дома нас ждала толпа придворных: Вита, Милена, Даша, Лазарь и Рыжик. Котенок, весело мурлыкая, терся о наши ноги.

— Где вы были? — нетерпеливо спросил Лазарь. — Я чуть не умер с голоду!

— За синими морями, за высокими горами, — ответил отец. — Привезли тебе жареную индейку!

— Правда? — воскликнул Лазарь, и глаза его засияли.

— Да, — ответил отец. — Сорвали с одного дерева у дороги.

— А разве индейки растут на деревьях? — удивился Лазарь.

— В нашей стране растут, — произнес отец. — Разве это не счастье в ней родиться?

Наутро мы отправились убирать кукурузу. Сначала все шло хорошо, мы шутили, смеялись и пели. В полдень у меня заныла спина, а вечером, когда стемнело, я просто не мог разогнуться. И мама, и Вита, и Даша согнулись в три погибели: они шли, касаясь кончиками пальцев земли.

— Что мне с вами делать? — засмеялся отец. — Глядите-ка, всю мою семью скрючило.

— А теперь надо поужинать и ложиться спать! — звенел в вышине голос дядюшки Михая. — Завтра будет легче. Лиха беда начало.

Дядюшка Михай исчез в темноте. Мы медленно двинулись домой. Не дожидаясь ужина, я бросился на кровать. Котенок свернулся клубком у меня в ногах. Глаза его светились, точно маленькие зеленые огоньки. Вскоре они начали потихоньку гаснуть, и меня окутал непроницаемый мрак. Я слышал, как скрипит колодезь, как где-то в вышине курлычут журавли, как залиристо и сердито лают собаки, тоже напуганные внезапно сгустившейся



тьмой. Засыпая, я думал о том, как тяжело весь день работать в поле. У меня ныли руки и ноги, а под лопаткой будто полыхал костер. И все же это не так страшно, когда у тебя есть дом, свой угол. Я неимоверно устал, но на душе у меня было легко и торжественно. Впервые в жизни захотелось мне остаться здесь навсегда; с этой сладкой мыслью в сердце я заснул.

Ночью мне приснился дивный сон. Ты не замечал, сынок, что самые прекрасные сны обычно видишь, когда устанешь до изнеможения? Не удивляйся тому, что сейчас услышишь: я видел во сне Рыжего кота. Я лежал на широченной кровати. На стенах висели картины в золоченых рамах, пол был устлан коврами, а столы, стулья, шкафы и кресла сверкали позолотой. На массивном кресле, точно на троне, восседал Рыжий кот.

Я спал как убитый.

«Как изволили почивать?» — спросил меня Рыжик, когда я проснулся.

Я засмеялся. Ну и чудило, задает такие смешные вопросы, да еще делает вид, будто мы с ним совсем не знакомы. Насмеявшись всласть, я ответил, что спал хорошо, если не считать небольшого беспокойства, которое причиняло мне кукурузное зерно под двадцатью восемью перинами. Мы оба расхохотались.

«Знаете ли вы, кто я такой? — спросил вдруг Рыжик. — Я кошачий король Барбаросса Первый!»

«Ты граф! — возразил я, дергая его за усы. — Не заносись, пожалуйста, так высоко».

«Я король! Король! Король! Барбаросса Первый!»

«Хорошо, — уступил я, полагая, что я все же умнее кота, кем бы он ни был. — Ты король. Прикажи подать мне сто тортов и сто плиток шоколада».

«Зачем вам столько сладкого?» — изумился Рыжий кот.

«Хочу швырять их, как в кинофильмах».

Рыжик хлопнул лапами, и в комнате появились несколько котов в черных фраках с белыми бабочками. Все они держали торты и шоколад. Хорошо зная нашего забавника, я сначала осторожно надкусил их: а вдруг они не настоящие, а какие-нибудь деревянные или глиняные? Однако и торты и шоколад были настоящие, и я стал швырять их в окно.

Тут я проснулся. Я убедился в этом, ощутив ломоту в пояснице. Все мое тело горело как в огне. Я попробовал подняться, но не смог. Рыжий кот открыл один глаз, посмотрел на меня и снова впал в дрему.

Мне стало жутко. Я пнул котенка ногой. Он проснулся.

— Иди сюда! — тихо позвал я.

Рыжик лениво подошел к моему лицу.

Ночь стала еще чернее. Я пристально вглядывался в темноту

стараясь увидеть во дворе тополь и колодец, напоминавший в лунные ночи огромного аиста. Но все поглотил густой, вязкий мрак. Тогда я прижал к себе котенка и принялся ласкать его, прислушиваясь к беспокойным ночным шорохам — предвестникам дождя: В оконные щели, под дверь, через дымоход шел в дом тяжелый запах сухой земли. Вдохнув его, я опять подумал, что скоро пойдет дождь.

Ломота в пояснице не утихала. Я все крепче сжимал Рыжего кота и, поглаживая его по мягкой шерстке, шептал ему что-то нежное и ласковое. Между тем в глубине моей души поднимался какой-то неопределенный страх. Я гнал его прочь, ведь рядом со мной спали отец, мать, братья и сестры, и все равно не мог освободиться от этого нелепого, непонятного страха. Вдруг мне послышались шаги за окном. Подумав немного, я решил, что это ветер гоняет по двору сухую ветку или трясет на колодце цепь. Но тут блеснула молния, и я увидел подходивших к дому троих людей.

— Папа, папа! — кричал я, расталкивая отца. — К нам идут какие-то люди!

Не успел отец протереть глаза, как в дом наш вломились те самые люди, которых я только что видел в окошко. Все трое были вооружены длинными суковатыми палками.

— Нас послал газда Лайош! — прогремел в темноте голос правого слуги.

— Зачем пожаловали? — мрачно спросил отец.

Правый слуга приблизился к нему и вместо ответа ударил его палкой в грудь. Отец упал на кровать, но тут же поднялся и так его двинул, что он пролетел через дверь и, как куль, рухнул на землю. Тотчас же к отцу подскочили двое других, сбили его с ног и принялись дубасить палками и кулаками. Мы с матерью попытались остановить их, но в эту минуту в дверях снова показался правый слуга. Он схватил нас своими огромными ручищами и отшвырнул в дальний угол. Тогда на помощь нам пришел Рыжий кот. Он вспрыгнул правому слуге на плечо и стал так остервенело царапать его по лицу, что тот взвыл от боли. Однако слуга был сильнее, и Рыжик вскорости оказался за дверью. Милена с ревом кинулась за ним.

Изрыгая ругательства, трое слуг продолжали избивать отца. Они избили его до бесчувствия, выволокли во двор и бросили в телегу. Потом покидали в нее наш жалкий скарб, и правый слуга прорычал:

— Вон отсюда, воровские хари!

Он хлестнул лошадей, и они пустились во весь опор. Вита схватил вожжи и через некоторое время остановил телегу. Отец с трудом открыл окровавленные, подбитые глаза и сел. Мы с мамой поддерживали его.

— Славно они меня раздела́ли, — сказал он, слясь улы́бнуть-ся. — Ни́чего, я, как ко́шка, се́мижи́льный...

Он быстро повернулся и всмотрелся в темноту:

— А где котенок?

— А где Милена? — испуганно крикнула мама.

В горячке мы совсем забыли о них. Мы с Витой нашли их во дворе под тополем. Милена держала на руках котенка и шептала сквозь слезы:

— Не бойся, кисонька, не бойся. Я тебя не дам в обиду. А когда вырасту, отведу газду Лайоша в лес, привяжу к дереву и оставляю там — пусть его растерзают серые волки...

Мы сели на телегу и поехали дальше.

— Кто был прав? — спросила мать и, вздохнув, прибавила: — Вот тебе плата Лайоша.

Отец молчал. Он поцеловал мать в щеку и положил голову ей на плечо.

Из темных низких туч полил холодный осенний дождь. Телега медленно катилась в ночи, а я с грустью думал о том, что никогда не забуду обиды, нанесенной нам газдой Лайошем и его слугами.

Как видишь, я ее не забыл.

ПЕРЕЕЗД В ГОРОД

Наконец вдали показался город. По правде говоря, сначала мы увидели какую-то высоченную башню, а уж потом крыши домов. При виде города всех нас захлестнула бурная радость. Даже Лазарь, всю дорогу просивший есть, на миг забыл свой голод и восторженно воскликнул:

— Город!

Мама посмотрела на него с тревогой, но, увидев его протянутый в сторону города пальчик, весело засмеялась.

— Ах, город? Он и вправду очень красивый!

— Мы будем там жить? — спросила Милена.

— Попробуем, — ответил отец.

— А какой это город? — спросила Даша.

— Если штурман не сбился с курса, то должна быть Суботица. В противном случае мы прибыли в Сегедин, Пешт или в Вену. Поживем — увидим!

После того, что случилось на ферме газды Лайоша, мы решили поселиться в городе. Отец долго советовался с матерью и со мной, а также с дядюшкой Михаем, который нашел нас на другой день в одном селе неподалеку от фермы. Он пришел проститься с нами. Вид у него был сокрушенный и подавленный, на глазах блестели слезы.

— Ну и гнусы,— сказал дядюшка Михай.— Помяните мое слово, не сойдет им это с рук. Придет время, заплатим им долг сполна.

Он с одобрением отнесся к нашему решению переехать в город и, не задумываясь, дал адрес своего сына Тибора, который-де хорошо знает Суботицу и, уж конечно, поможет нам устроиться.

— Мы с Витой будем учиться! — радостно воскликнул я, вглядываясь в видневшийся вдали город.— Мы пропустили целых два года.

Мама заплакала. Она утирала слезы краешком передника, но слезы все бежали и бежали из глаз.

— Что с тобой? — спросил отец.

— Хочу, чтоб мои дети ходили в школу...

— И из-за этого ты ревешь?

— Не знаю,— ответила мать и заплакала пуще прежнего.

Отец взмахнул кнутом; Лебедь и Сокол ускорили бег. Рыжик открыл глаза и, увидев, что все в порядке, снова уснул.

При въезде в город отец остановил телегу. Справа от дороги стоял большой железный указатель, на котором было написано название города.

— Читайте! — весело обратился к нам отец.— Государство для того и поставило указатели, чтоб народ не коснел в невежестве.

По складам, с помощью родителей мы кое-как прочли: «С у б о т и ц а». Лазарь захлопал в ладоши и весело рассмеялся.

— Чего ты хохочешь? — спросил я.

— Какое смешное название — Суботица! Суботица! Суботица!.. Правда, Драган?

— А мне нравится! — заявила Милена.

— Смотри, папа, сколько церквей! — воскликнула Даша.— Раз, два, три...

— Надеюсь, они еще не так прогнили, как на ферме газды Лайоша! — сказал отец.— Не то нас со всеми потрохами не хватит на их ремонт.

Это была последняя ночь, проведенная под открытым небом. Наутро мы с отцом отправились в железнодорожное депо искать сына дядюшки Михая. Он был весь в саже и мазуте, лицо его уже утратило ту свежесть, которой веяло с фотографии, но все же я его сразу узнал. Мы отрекомендовались, и отец, показывая на свои многочисленные синяки и кровоподтеки, шутливо прибавил:

— Знаете, я вконец разочаровался в сельской жизни!

Тибор дал несколько адресов, но тут же заметил, что квартиру нам никто не сдаст, если мы не заплатим за месяц вперед: с тех пор как участились стачки и увольнения рабочих, домовладельцы стали очень осторожны и подозрительны.

— Спасибо, товарищ Рожа,— сказал отец, уходя.— Когда снимем квартиру, позовем тебя на яблочный пирог.

Денег на квартиру не было, и отец решил продать одну лошадь. Выбор пал на Лебеда. Мы распрягли его и повели на скотный рынок. Покупатель нашелся скоро — это был крестьянин из Оджака.

— Как раз то, что мне нужно,— сказал он отцу, отсчитывая деньги.— Добрая лошадка и сильная...

— И умная,— прибавил отец, поглаживая жеребца по влажной морде.— Не сердись на нас, дорогой, у нас не было выхода. Но поверь, мы тебя никогда не забудем. Ты служил нам верой и правдой и горюшка с нами помыкал немало.

На глаза его набежали слезы; я тоже заплакал. Крестьянин смотрел на нас с недоумением.

— Видать, любите вы своего конягу,— сказал он.— Приезжайте ко мне в Оджак. Я буду рад.

— Спасибо, непременно приедем в гости,— повеселевшим голосом заверил его отец.

— Приезжайте! Буду рад,— повторил крестьянин.

Мы распрощались и пошли искать квартиру.

— Слушайте, дети,— заговорил отец, останавливая телегу у колонки, из которой вода текла, когда поворачивали большое железное колесо.— Умойтесь, причешитесь — словом, приведите себя в порядок... Люди любят чистых и опрятных детей. Поняли?

— И помалкивайте,— посоветовала мать.— Люди не любят болтливых детей.

— Сидите смирно на телеге, не толкайтесь, не смотрите по сторонам,— сказал отец.— Люди любят смиренных и послушных детей.

— А уж если вам приспичит поговорить, то говорите друг другу «спасибо», «пожалуйста», «извините»,— наставляла нас мать.— Люди любят хорошо воспитанных детей.

Мы долго и шумно мылись и чистились. Наши звонкие голоса и смех неслись по всей улице. Прохожие бросали на нас недоуменные взгляды.

— Никак, циркачи или комедианты приехали,— сказала какая-то старушка.— Может, у вас есть дрессированные львы?

Вита распустил свои густые волосы, встал на четвереньки и громко зарычал:

— Бр-бр-бр!..

Старуха пришла в неописуемый восторг.

— Рычит, как настоящий лев,— объясняла она случайной попутчице.— Я была в зоопарке в Пеште и своими ушами слышала, как рычат львы,— в точности так же, как этот

мальчик! Вот увидите, вечером на представлении он нарядится в львиную шкуру!

Старуха ушла, а мы продолжили свои приготовления. Сначала подстригли ногти, а потом мать извлекла откуда-то пузырек орехового масла и всем нам смазала волосы. Снова и снова оглядывала она нас с головы до пят, обходила вокруг, как генерал на смотре, каждый раз находя какую-нибудь мелочь, которую нужно было исправить. Примерно через час она нашла, что все в порядке.

— Боже правый! — воскликнула она, радостно всплеснув руками. — Вот не знала, что у меня такие красивые дети!

Вскоре мы подъехали к одному дому на Пупиновой улице. Отец сошел с телеги и, взглянув еще раз на адрес, позвонил. Где-то далеко, за большой дверью, глухо зазвенел медный колокольчик.

Нам открыла сгорбленная, закутанная в шаль женщина. Вот она подняла голову, и мы увидели ее рябое, веснушчатое лицо. А маленькие, глубоко посаженные глазки блестели каким-то недобрым блеском. Рыжий кот выгнул спину и яростно зафырчал.

— Извините за беспокойство, милостивая сударыня, — сказал отец. — Мы хотели...

— Это ваши дети? — грубо перебила она.

— Вроде мои, — засмеялся отец.

— Они хорошие и послушные? — спросила женщина, недоверчиво меряя нас своими острыми, ненавидящими глазами.

— Смирные, как овечки. Живут в ладу, не дерутся, как другие...

В эту самую минуту Лазарь дернул Милену за косичку. Она взвизгнула, мигом обернулась и влепила ему звонкую пощечину. Лазарь разревелся и заорал во всю мочь:

— Спасибо... Пожалуйста... Извините...

А Вита, всегда молчаливый и замкнутый, громко заметил:

— Да она просто баба-яга!

Хозяйка быстро вошла в дом и захлопнула за собой дверь.

— Сударыня!.. — крикнул отец, потом повернулся и сердито бросил Вите: — Осел!

Отец взял с нас слово, что такой спектакль больше не повторится, и мы поехали по другому адресу. Мы сидели на телеге неподвижные и притихшие. Но стоило только домовладельцам увидеть, сколько нас, как у них находились тысячи предлогов для отказа. Один хозяин, сделав озабоченное лицо, заявил, что квартира сырая и для детей не годится; другой — что двор маловат и нам-де негде будет играть; третий — что в доме полно мышей. Сколько мы ни твердили, что мыши нам не помеха, что у нас, кстати сказать, есть кот, который не преминет полакомиться такой свежатинкой, хозяин бубнил:

— Мыши есть, мыши... мыши...

— Ну что ж,— вздохнул отец, утомленный его тупым упрямством,— оставьте своих мышей при себе.

А мама тихо прибавила:

— Дай бог, чтоб мыши отгрызли вам уши!

— Может, мы попали в сказку? — предположил отец.— В страну жестоких, бессердечных людей...

Было уже совсем темно, когда мы, усталые и поникшие, подъехали к улице Пайи Куйунджича. Это был последний адрес из тех, что нам дал сын дядюшки Михая.

Путь наш лежал мимо церкви.

— Послушай, боже,— фамильярным тоном обратился к нему отец,— мог бы ты и для нас что-нибудь сделать. Ведь тебе это ничего не стоит.— Он возвел очи горе и, словно услышав оттуда ответ, попросил: — Повтори, пожалуйста, не расслышал я, далеко ведь. Говоришь, поможешь нам? Очень мило с твоей стороны...

Мы немного оживились.

— Подумаешь! — беззаботно воскликнул отец.— Не найдем квартиру сегодня, найдем завтра или послезавтра. Главное — не вешать нос.

— Мудрые твои слова,— иронически заметила мать.— Только от этого нам лучше не станет.

— Как бы там ни было, перед нами уже третий дом,— сказал отец.— Третье счастье!

— Не третий, а пятый,— поправила его Даша.

— Тем больше шансов на успех! — как из пулемета выпалил отец и дернул звонок.

Прошло несколько минут, но никто не появлялся.

— Пап, можно, я позвоню? — спросил Лазарь.

— Ради бога! Отчего не поиграть, коли дом пуст.

Отец взял Лазаря на руки и поднес к двери. Лазарю так понравилось это занятие, что, будь его воля, он бы трезвонил до утра.

— Хватит! — сказал отец.— Оставь чуток на завтра.

Он поставил Лазаря на землю и взялся за большую медную ручку. Дверь была не заперта. Довольно мрачные сени вывели нас во двор.

— Эй, кто здесь есть? — крикнул с порога отец.

В ответ ни звука. Отец повторил свой вопрос — опять никакого ответа. Тогда мы ступили во двор и направились к росшей у забора липе. Уже подходя к ней, мы разглядели в темноте кончик зажженной трубки, потом трубку и, наконец, человека, курившего эту трубку. У него было круглое, как луна, лицо, длинные усы и только одно ухо.

— Мы пропали,— горестно прошептал отец.— Если все с

обоими ушами были к нам глухи, то уж этот и подавно нас не услышит.

— Что вам надо? — слышался голос одноухого.

— Мы ищем квартиру... — неуверенно начал отец. — Мы хотели...

— Дети у вас есть? — неожиданно спросил человек с трубкой.

— Дети? — встрепенулся отец. — У меня нет ничего другого. Бог, щедрый к беднякам, послал мне пятерых.

— Правда? — приветливо сказал курильщик, открывая свои гноющиеся глаза. — Приведите их сюда.

Отец выстроил нас посреди двора. Человек с трубкой долго смотрел на нас и довольно улыбался.

— Говорите, Тибор Рожа дал вам адрес? — заговорил он наконец.

— Да, сударь, — серьезно ответил отец.

Я даже уловил в его голосе какую-то новую, покорную интонацию.

Хозяин раздумывал. Вдруг он улыбнулся и живо сказал:

— А мне так недостает веселого смеха и шума!

— Этого у вас будет в избытке! — искренне заверил его отец.

Человек с трубкой дал нам ключи. Мы загнали телегу во двор и сразу же принялись расставлять и раскладывать вещи. Квартира была так хороша, что всем нам казалось, будто мы видим прекрасный сон.

— И такое бывает, — сказал отец. — Коллективная галлюцинация. Однако это самая настоящая явь: Суматра, Борнео, Целебес! Слышите, как радостно мяукает господин граф.

Разложив наши жалкие пожитки, мы с отцом пошли в город купить какой-нибудь еды. Вечер был тихий и полный лунного света. Желтая брусчатка тротуара сияла, как золото. Мы направились к центру, где было много магазинов. Я шагал рядом с отцом и чувствовал себя бесконечно счастливым. С радостью думал я о том, что кончилась наша кочевая жизнь и завтра мы с Витой пойдем в школу. И, словно прекрасная музыка, в сердце моем звенела полузабытая таблица умножения:

«Дважды два — четыре, дважды четыре — восемь, дважды пять...»

ШКОЛА

Прошло две недели, а мы с Витой еще сидели дома.

— Когда же мы начнем учиться? — то и дело спрашивал я у отца.

— Как только соберу все бумажки! — отвечал он. — В этой заколдованной стране без бумажек ни шагу: глотнул воздуха —

дай подтверждение, плюнул — подай справку, а перешел через дорогу — предъяви диплом. Что я могу поделать?

Я принимал его слова за шутку, но он говорил серьезно.

А тем временем мы с Витой слонялись по окрестным улицам и уже довольно хорошо изучили эту часть города. Часто мы ходили за железнодорожное полотно — нам нравилось смотреть на проходящие поезда, швырять в вагоны камешки и махать рукой пассажирам. Иногда мы шли дальше, до самой бойни с огромными загонами — сюда пастухи сгоняли скот со всех концов Бачки. И куда бы мы ни забрели, мы жадно впитывали все новое и интересное. Но излюбленным местом наших прогулок был парк перед зданием дирекции железной дороги. Здесь стоял большой беломраморный памятник, и мы взбирались на него почти каждый день — отсюда была видна чуть ли не вся Суботица. Мы с Витой были уверены, что это самый большой город в мире.

Как-то раз, когда мы сидели наверху, любуясь убежавшими во все стороны пестрыми рядами домов, к памятнику подошел мальчик с зеленой холщовой сумой, какие бывают у нищих. Он остановился и посмотрел на нас с нескрываемым любопытством — видно, он уже и раньше бывал здесь, но ни разу не догадался затеять игру на памятнике.

— Эй! — крикнул он и махнул нам рукой.

— Эй! — воскликнул я.

— Что вы там делаете?

— Сидим и смотрим, — ответил Вита. — Отсюда видно всю Суботицу.

— Можно мне к вам?

— Конечно, — дружелюбно ответил я. — Места всем хватит.

Он снял с плеча сумку, положил ее прямо на землю и вскарабкался к нам наверх.

— Меня зовут Пишта, — отрекомендовался он, протягивая нам руку. — А вас?

Мы назвали себя. Мальчик засмеялся. Мы с Витой переглянулись.

— Чего смеешься? — спросил я.

— Отсюда не видно даже и пол-Суботицы, — сказал он, всласть нахохотавшись. — Всю Суботицу видно с моей башни.

— А где она, позвольте узнать? — насмешливо спросил я.

— Идемте, покажу! — ответил Пишта и ловко соскользнул на землю.

Мы последовали за ним. Я приглядывался к новому товарищу. На нем был дырявый балахон из разноцветных лоскутов — так одеваются ряженые на масленицу. Эти пестрые лохмотья болтались на его маленьком, щуплом теле. Босые ноги его, привычные ко всему, бодро шагали по камням и осколкам стекла.

Всю дорогу он балагурил, смеялся, швырял в воробьев камешки, задирали прохожих, озорно подмигивал нам: знайте, мол, что все это веселое представление дается в вашу честь.

— Да он просто паяц! — шепнул мне Вита. — Потешный малый. Правда?

— А наряд его еще потешней, — поддакнул я. — Давай спросим, у кого шил.

Наконец мы дошли до церкви. Это было огромное строение с тонюсенькой колокольной, уходившей высоко в небо. Я был просто потрясен ее размерами (ведь до сих пор я видел только невзрачные сельские церквушки) и в глубине души побаивался, как бы вся эта громада не рухнула мне на голову.

— Тут я живу, — сказал Пишта, показывая на верхушку колокольни. — Меня пустил отец Амврозий. Сейчас вы увидите всю Суботицу.

Тайком, точно воришки, прошмыгнули мы на колокольню и по узенькой деревянной лестнице поднялись на самую верхотуру. Пишта не обманул нас. Глазам нашим действительно представилось великолепное зрелище. Всюду, куда хватал глаз, тянулись ровные линии пестро окрашенных домов; мы чувствовали себя затерянными на крошечном островке среди сверкающего многоцветья крыш. Точно замороженные, смотрели мы на город, поминутно восклицая: «Видишь вон ту трубу?», «Глянь-ка на ту улицу!», «А дома-то какие!», «Смотри, вокзал!». А Пишта в это время так же увлеченно рассматривал нас, радуясь тому, что сумел нас так удивить.

— А как вам нравится моя квартира? — спросил он, когда наши восторги несколько улеглись.

Я обвел взглядом площадку. Над нами висел огромный колокол. В стенах со всех четырех сторон зияли широченные оконные проемы, и колокол, слегка колеблемый ветром, гудел глухо и протяжно. В темном углу, прямо на досках, лежала застланная рядом солома и рогожи. Это и была квартира Пишты.

— Ты в самом деле здесь живешь? — спросил Вита.

— Да. Здесь красиво и тепло. Мне повезло.

Пишта проводил нас до площади. Там мы расстались, назначив свидание на завтра у памятника.

— Где вас носило? — крикнул отец, как только мы переступили порог. — Я уже отрядил на розыски своих гвардейцев. Налево кругом, шагом марш к умывальнику — руки вымыть до локтей, ноги до колен, уши, шею, нос, лицо и все прочее! Отправляемся в школу!

— Папочка, это правда? — И я повис на шее у отца.

— К сожалению, да!

— А в какой школе мы будем учиться? — поинтересовался Вита.

— В начальной, — ответил отец. — А где бы вы желали?

— Я не про то... Как называется эта школа?

— Имени королевичей Андрея и Томислава. Ну как, господа, довольны? Будете учиться в королевской школе!

Мы с Витой умылись, надели чистые рубахи, давно уже припасенные на этот случай, нахлобучили форменные фуражки и отправились с отцом в школу.

Я чувствовал себя легким, как птица. Всю дорогу я напевал вполголоса: «Я иду в школу... Я иду в школу...» Дома я долго стоял перед зеркалом, любясь собственным отражением. Вдруг в каком-то страстном порыве я сорвал с головы форменную фуражку, благоговейно прижал ее к сердцу, ласково погладил и, улучив момент, когда на меня никто не смотрел, поднес к губам и поцеловал. Все это было точно во сне. Неужели я пойду в школу, неужели стану школьником, как и другие мальчишки?

Мать провожала нас до ворот. Пока шли сборы, она без умолку говорила, смеялась, шутила, но в последнюю минуту вдруг разрыдалась.

— Странная женщина, — сказал отец, когда мы немного отошли. — Всякий раз плачет, когда речь заходит о школе.

Здание школы было большое и красивое. Мы поднялись на второй этаж, где находился кабинет директора.

— Придется подождать, у него сейчас господин Каначки, — шепнул нам служитель. — Господин Каначки!

Он сообщил нам, что Каначки — миллионер, что он «ужасно добрый», у него два сына, жена его — подруга королевы Марии, он может разговаривать с королем, когда пожелает: ведь у него прямая телефонная связь с дворцом, дивизионный генерал Алаупович — его шурин, у него самый красивый дом в Суботице, жена его — председательница «Союза сербских дам», а сам господин Каначки — депутат от всего суботицкого округа.

— Будем знать, — сказал отец, когда служитель умолк. — Да здравствует господин Каначки!

Наконец господин Каначки вышел из кабинета. Это был маленький, коренастый, краснолицый человек, совсем не такой, каким я его себе представлял, наслушавшись рассказов служителя. Он громко дышал и поминутно утирал пот со лба. Господин Каначки прошествовал мимо нас с таким безразличным видом, будто мы были не людьми, а чем-то вроде соломенных стульев, на которых мы сидели.

— Войдите, — пригласил нас стоявший в дверях директор. — Это ваши сыновья?

— Да, — ответил отец.

— Садитесь.— Директор показал на стулья.— Прежде чем принять вас в мою школу, я должен сказать вам следующее: школа эта носит имя братьев короля — его высочества Андрея Карагеоргия и его высочества Томислава Карагеоргия. Знаете ли вы, к чему это обязывает?

Он выкатил на нас огромные рыбы глаза. Мы с Витой молчали.

— Это ко многому обязывает! — торжественным тоном произнес директор.— Вы должны примерно вести себя и отлично учиться. Ясно?

— Да,— пролепетали мы разом.

— А теперь ступайте по классам. И запомните мои слова!

— Он похож на крокодила,— заметил Вита уже в коридоре.

— Скорее, на акулу! Видел, какие у него глазищи?

— Ну, детки, счастливо! — сказал отец и прибавил со смехом: — Охота пуще неволи! После уроков мигом домой. Не вздумайте слоняться по улицам!

Урок уже начался, и мой приход вызвал в классе небольшое волнение. Сорок мальчишек тут же повернулись ко мне. Учитель, уже предупрежденный о моем поступлении, сказал ребятам, как меня зовут, и выразил надежду, что они поладят с новичком. Потом он посадил меня за парту и продолжил свой рассказ о притоках Дуная. Я ловил каждое его слово и внимательно следил за малейшим движением указки по висевшей на доске большой географической карте. На душе у меня было светло и празднично. Я учусь в школе! Учусь! Учусь! Каждую минуту я боялся заплакать от счастья.

Прозвенел звонок. Учитель вышел из класса. Ребята окружили меня и стали засыпать вопросами, а я изо всех сил старался удовлетворить их любопытство. Один бледнолицый пучеглазый мальчик смотрел на меня как-то странно — так смотрит аист на жабу, перед тем как ее проглотить.

— Чего зенки вылупил? — сказал я.

— Ты лгун! — окрысился он.— Ты все наврал.

— Много ты понимаешь!

Шум утих. Ребята отступили от нас.

— Ты деревенщина! — продолжал насмехаться бледнолицый.— И еще кошатник! Я все знаю!

— А ты хвастун! — И я дернул его за ухо.— И еще трус!

— Я могу делать что хочу, а ты не смеешь меня и пальцем тронуть. Никто не смеет меня бить! — И он залился злорадным смехом.

И тут я заметил, что у него не хватает двух передних зубов. Где я его видел? Ну конечно, в имении высокородной графини Ленер. Он уехал на следующий день после нашего приезда,

и потому лицо его почти стерлось в моей памяти. Сейчас я вспомнил его презрительный взгляд, вспомнил, как он показывал мне язык и насмешливо кричал: «Кошатник! Кошатник!» При этом воспоминании во мне вспыхнул яростный гнев. Он был маленький и тщедушный, и я мог бы запросто уложить его на обе лопатки. Но, поразмыслив хорошенько, я решил, что не стоит затевать драку в первый день.

— Оставь меня в покое! — сказал я. — Лучше помолчи, не то получишь в нос!

Бледнолицый небрежно махнул рукой, вскочил на парту и крикнул, смеясь:

— Слушайте все! Летом я гостил у тети Луизы, а этот мальчишка прогуливал ее кошку. Он кошатник! Он ходил за Анной-Марией-Розалией! Он кошачий слуга, он кошатник!

— Врешь! Врешь как сивый мерин!

— А вот и не вру! — крикнул мальчик. — Я напишу тете Луизе, и она все подтвердит.

Ребята захихикали. Недолго думая я вцепился в своего обидчика и стал стаскивать его с парты.

— Как ты смеешь?! — истошно заорал он и грохнулся на пол.

— Вот тебе еще, еще! — кричал я, входя в раж и давая ему пощечину за пощечиной.

Мальчишка развернулся и ударил меня кулаком в живот, а я в ответ ахнул его ключом по затылку. Он заревел и выбежал из класса.

Вошел директор. Лицо его было то бледно-зеленым, то почти синим. Он взял меня за ухо и, не говоря ни слова, потащил по коридору. Школьники толпой шли за нами.

— Вон из моей школы! — рявкнул он уже в дверях. — Злодей!

И тут он дал мне такого пинка, что я упал. Когда я поднялся, рядом со мной стоял Вита.

— А еще хотел учиться, — сказал он. — Вот тебе и учение! Директор послал служителя за отцом.

— Ты ступай домой, а я приду после. Или лучше завтра.

— А где ты будешь спать? — забеспокоился Вита.

— У Пишты.

— На колокольне?

— Да. Это лучше, чем порка.

Отец сек меня очень редко, однако я чувствовал, что на сей раз буду бит.

Пишта с сочувствием отнесся к моей беде и всячески старался меня утешить, но я был в таком отчаянии, что никак не мог остановить душившие меня слезы. «Боже правый, — думал я, — неужели это должно было случиться в первый же день!» Целых

два года мечтал я о школе. Свет надежды озарял мне путь во время наших долгих скитаний... И вот... Горе мое не знало границ.

Рано утром за мной пришел Вита.

— Ох и лютовал отец! — сообщил он. — Но теперь успокоился. А ведь знаешь, нас с тобой обоих выгнали из школы!

— А тебя за что? — удивился я.

— За то, что этот щербатый и кривоногий идиот — сын депутата, господина Каначки!

— Так ты разделал сына Каначки! — воскликнул Пишта и, чмокнув меня в щеку, весело запрыгал. — Молодец! Молодец! Eljen Драган! Eljen!¹

Не расспросив Пишту о причинах его столь бурной радости, я со всех ног помчался домой. Родители мои пребывали в глубокой печали: мать плакала, отец стоял у окна и смотрел в огород.

— Ну? — сказал он и повернулся ко мне: — Выкладывай-ка, что у тебя стряслось?

Я рассказал все без утайки. Отец слушал меня с печальным и задумчивым видом. Наконец он улыбнулся.

— Ладно, — вымолвил он, — после драки кулаками не машут. Скажи-ка, откуда у тебя взялся ключ?

Я и по сей день не знаю, каким образом ключ оказался у меня в руке. Наверное, он лежал на парте.

— Здорово ты его треснул, — сказал отец. — Знаешь ли ты, несчастный, что уж наверняка сам король извещен по прямому проводу о твоей проделке? И дивизионный генерал Алаупович! И «Союз сербских дам»!

Помолчав немного, он подошел ко мне и ласково провел рукой по моим волосам. Я зарыдал.

— Уверю тебя, сынок, — робко начал он, — плевать мне на всю эту королевско-генеральскую свору. Я рад, что ты отколошматил маленького негодяя. По совести говоря, я бы на твоём месте поступил точно так же!

РАЗЛУКА

Много прошло времени, пока в памяти у меня померкла история с сыном господина Каначки. Вита сравнительно легко перенес изгнание из школы и уже на другой день беззаботно играл и с Пиштой и Лазарем во дворе под сенью большого мраморного памятника. Я же предавался самому безысходному отчаянию, сторонился людей и плакал украдкой. Отец, видя, в каком я состоянии, не бередил моей раны, оставляя меня наедине с моим

¹ Да здравствует Драган! Да здравствует! (венгр.)

горем. Однако время шло, я постепенно забывал о нем и месяца через два почувствовал себя словно выздоровевшим.

— Сынок, нам с тобой нужно поговорить,— сказал мне однажды отец.— Сам видишь, как обстоят дела: моего жалованья едва хватает на еду. Сразу по приезде мы продали Лебедя, недавно простились с Соколом. И телеги у нас больше нет, нашей доброй, крепкой телеги, много лет заменявшей нам крышу над головой. Все, что можно, мы уже проели. Спасибо всевышнему, животы ваши способны переваривать даже камни! Ты понимаешь, к чему я клоню?

— Мне пора работать? — сказал я.

— На базаре всегда можно найти какую-нибудь мелкую работенку. Возьми с собой Виту. Кому подвезти груши, кому перец, кому арбузы, дыни... Вдвоем вы могли бы немного заработать.

Наутро мы с Витой, вооружившись тачкой, отправились на базар. Но никакой работы для нас не нашлось, и около полудня, когда рынок опустел, мы уныло побрели домой. От грустных дум отвлек нас звонкий голос Пишты.

— Работу мы вам мигом найдем! — весело воскликнул он, узнав про нашу беду.— Со мной не пропадете. Суботицу я знаю как свои пять пальцев! Айда за мной!

Пишта привел нас на большой склад под вывеской: «Литман и К°». Он шепнул что-то какому-то человеку, и тот сразу же поручил нам выносить со склада пустые картонки. Мы проработали больше двух часов и, к великой нашей радости, получили десять динаров.

С того дня мы часто работали втроем. Мы работали всюду, где только находилось для нас какое-нибудь дело. Мы делали все, что можно делать руками и ногами! Да, да, ногами, и, должен признаться, ногами мы работали гораздо чаще, чем руками. Приходим мы как-то в булочную Андры Дуклянского за хлебом, а дядюшка Андра и говорит:

— Хотите у меня поработать?

— Не откажемся,— отвечаю я,— если хорошо заплатите...

В тот же вечер началась наша работа в пекарне. Дядюшка Андра велел нам как следует вымыть ноги и прыгать в больших каменных корытах, в которых была мука с водой. Мы прыгали как одержимые, приправляя свою работу визгом, смехом, пением.

— Ах,— вздохнул дядюшка Андра,— как я скакал по тесту в молодые годы!

Однако мы недолго работали у дядюшки Андры втроем. Вскоре к нему определился и Рыжий кот. Теперь это был огромный котище, очень похожий на свою мать Анну-Марию-Розалию, с огненно-рыжей шерстью и длинными белыми усами,

придававшими ему вид царственный и холодный. И нрав его очень изменился: чужим он не позволял даже прикоснуться к себе, а на соседских кошек глядел свысока, правда временами снисходя до того, чтобы поколотить их или больно царапнуть. Собак он совсем не боялся, напротив, он насккивал на них с такой непостижимой отвагой, словно был не котом, а львом или тигром. К тому же он превосходно ловил мышей. В пекарне от них никакого спасу не было — вот и пришлось дядюшке Андре взять на службу нашего Рыжика.

Постой, чуть не забыл сказать тебе: как-то я встретил дядюшку Иштвана, портного сиятельной графини Ленер, того самого, который сшил мне прекрасную разноцветную ливрею. Со слезами на глазах он сообщил, что Анна-Мария-Розалия приказала долго жить, а почтеннейшая графиня «божьей милостью еще жива и пребывает в добром здравии».

Пока Рыжий кот задирает кошек, дрался с собаками и ловил мышей, все шло отлично. Но в один прекрасный день в характере его произошла перемена, которой никто не мог предвидеть: господин граф, забыв о своем высоком происхождении, вдруг стал бесстыдно воровать! Он тащил все, что плохо лежало, ему было до крайности безразлично, кого он обворовывает — министра, торговца, священника или неимущего работягу. Отец в шутку говорил, что во всей этой неприятной истории ему нравится лишь одно — Рыжий кот в числе прочих грабит и буржуев, ускоряя тем самым их неминуемый конец.

Сначала мы смотрели сквозь пальцы на поведение Рыжего кота, считая его обыкновенным проказником. Мы любили его и находили ему множество оправданий, надеясь, что эта сомнительная забава скоро ему наскучит и опять все пойдет по-старому. Но кот упорно продолжал таскать из курятника кур, голубей, плюшевых медвежат с подоконников, яркие подушечки для иголок и даже мячи... Все это он приносил домой, и нам волей-неволей приходилось разыскивать их владельцев. Ты и представить себе не можешь, как мучительно трудно было извиняться перед ними и объяснять, как все эти вещи попали в наши руки... Многие подозрительно качали головой, не очень-то веря в наш рассказ.

— Это добром не кончится, — частенько повторяла мать. — Милутин, сделай что-нибудь...

— Прочешь ему проповедь о том, что воровать грех? — отшучивался отец. — Могу заодно рассказать, как несправедливы наши законы...

— Все смеешься! — сердилась мать. — Что ж, только помни: я тебя предупреждала!

— Постараюсь не забыть.

Конечно, он и пальцем не шевельнул. А Рыжий кот, этот

аристократ, в чьих жилах текла голубая кровь благородной Анны-Марии-Розалии, по-прежнему занимался воровством и, видимо, делал это с величайшим наслаждением. Теперь он крал даже рубашки с веревок, а в один прекрасный день принес в зубах кролика и победно сложил его к нашим ногам, причем глаза его блестели каким-то особенным блеском.

Мать чуть не хватил удар; отец нахмурился и сказал:

— И в самом деле надо что-то придумать...

Он, как и все мы, очень любил Рыжего кота и поэтому не мог ни на что решиться. Однако было ясно, что Рыжик будет продолжать свои бандитские налеты, обрушивая на нашу голову всевозможные беды. Соседи давно уже на нас косились. Мало помогали объяснения отца, что мы тут ни при чем, а его уверения в том, что это больше не повторится, никто и слушать не хотел. Мы следили за каждым шагом Рыжего кота, запирали его в комнате, привязывали к старой липе во дворе, но он всегда умудрялся сбежать и вот уже снова шнырял по соседним дворам в поисках добычи. Убедившись наконец в том, что Рыжик неисправим, отец посадил его в мешок и отнес в Палич. Там он бросил его в лесу, а сам с тяжелым сердцем вернулся на трамвае домой.

Об участи Рыжего кота знали только мы с мамой. Вита, Даша, Милена и Лазарь думали, что он, по своему обыкновению, бродит по окрестным дворам, и нимало о нем не беспокоились.

Как-то мы всей семьей обедали в кухне, когда вдруг кто-то заскребся в дверь. Милена, сидевшая с краю, вскочила и открыла ее.

— Рыжик! Рыжик! — обрадовался Лазарь.

— Невероятно! — сказал отец, протирая глаза. — Да это и впрямь Рыжик!

За эти несколько дней он так исхудал, что даже сквозь его густую шерсть проглядывали тонкие ребра. По всему видно было, что он проделал нелегкий путь: живые глаза его провалились и потускнели, весь он был грязный, бока в репье и травинках, лапы в ссадинах и ранах.

— Ах, какой ты страшный! — печально вздохнула Милена. — Бедненький ты мой... — И, взяв горшок с водой, она тут же принялась его мыть.

Отец все это время смотрел в окно — казалось, он стыдится глядеть в глаза Рыжему коту.

Рыжий кот быстро поправился. Раны на лапах зажили, мягкая пушистая шерсть отливала прежним красноватым блеском. День-деньской он сидел во дворе, и все мы решили, что недавнее происшествие образумило его и с воровством покончено раз и навсегда.

К сожалению, мы глубоко заблуждались.

По соседству с нами жила госпожа Катица Маршич, жена мясника по имени Тома.

Мясник был маленький толстый человечек, наживший за свою жизнь красивый дом, коляску и астму. Госпожа Катица была долговязая и худая. Руки ее были унизаны кольцами, в ушах висели крупные сережки, а на груди всегда красовались какие-нибудь бусы. Ну просто манекен с витрины ювелирного магазина! «Я, вам, голодранцам, не чета», — напоминала она при всяком удобном случае.

Дворы наши разделяла высокая стена, утыканная поверху битым стеклом. Однако с липы, росшей у забора, можно было видеть, что происходит на той стороне. Меня особенно занимал песик, целыми днями неподвижно лежавший на траве возле своей конуры. Он никогда не лаял и только временами открывал свои гноящиеся глаза, чтоб посмотреть, не изменилось ли что на белом свете. Звали песика Цезарь.

Мы даже думали, что это просто чучело, но однажды вечером до нас донесся его лай.

— Слышишь, Цезарь лает! — вдохновенно воскликнул Лазарь. — Гав, гав, гав!

Через несколько минут госпожа Катица была уже у нашего порога. Следом за ней ковылял ее муж. Он тяжело дышал, издавая при каждом вдохе и выдохе легкий присвист.

— Слушайте, госпожа Малович! — крикнула госпожа Катица и подбоченилась.

— Кто это свистит? — спросил отец. — Ах, добрый вечер, уважаемый господин Тома!

Господин Тома кивнул в ответ — говорить ему было трудно.

— Я это так не оставляю! — бушевала госпожа Катица, размахивая руками в кольцах. — Я буду жаловаться! Все знают, что мой Цезарь и мухи не обидит... Ваш кот только что укусил его за ухо! Бедненький песик весь в крови! Я требую, чтоб вы немедленно унесли отсюда своего кота! В противном случае мы подадим в суд. Судья Фаркаши мой родственник!

Разгневанный отец сказал, что ему тоже надоели проказы Рыжего кота, что один раз он уже пытался от него избавиться, но кот нашел дорогу домой. Тут же, в присутствии госпожи Катицы и ее мужа, он послал нас на поиски кота и пообещал сию же минуту отнести его на край света — он-де тоже жаждет мира и покоя. Успокоенные, супруги Маршич ушли.

Рыжий кот словно сквозь землю провалился. Хитрец видел всю сцену и вполне здраво рассудил, что лучше переждать, пока буря уляжется. Заявился он на следующий день, когда отец совсем отошел, и так к нему ластился, кувыркался и весело мяукал, что отец смягчился и сказал:

— Слушай, шалопай, даю тебе возможность исправиться, но запомни: это в последний раз!

Прошел месяц, а Рыжик вел себя самым примерным образом — целые дни проводил он в комнате, лишь изредка выходя на прогулку во двор. Вечерами он обычно неподвижно сидел в сенях или на подоконнике. Я часто поглядывал на него и по глазам его видел, как хочется ему на волю. С тоской и печалью смотрел он на забор, улавливая своим чутким ухом возню и воркованье примостившихся там голубей. Душа его рвалась к бою, но он вынужден был сдерживать свои порывы и, сидя на подоконнике, щурить глаза на закатное солнце. День ото дня во мне крепла уверенность, что он не смирился и дикий нрав его рано или поздно себя проявит.

Только начало светать, как мы услышали шум на голубятне, разъяренный голос госпожи Катицы и громкие вздохи ее мужа. Слов разобрать нельзя было, и все же мы поняли, что происходит. Рыжий кот забрался на голубятню, загрыз пятерых голубей, перемахнул через забор и исчез в неизвестном направлении.

Госпожа Катица влетела к нам в кухню и, швырнув на пол мертвых голубей, тут же умчалась. Не успели мы и глазом моргнуть, как она вернулась в сопровождении двух полицейских, приказавших отцу следовать за ними. В полицейском участке судья Фаркаши после короткого допроса осудил его на семь дней тюрьмы.

— Неделю тюрьмы за пять голубей! — сказал отец, вернувшись. — Это тебе не шуточки! Судья Фаркаши творит суд и правду. Очень мне жаль, господин граф, но вы сами виноваты в том, что вас постигнет.

— Папа, неужели ты его убьешь? — спросила Милена и разревелась.

— Тогда я тоже умру! — заявил Лазарь.

— Хватит с меня твоих самоубийств! — вскипел отец. — Пошел вон!

Мы решили отнести кота в Оджак, к дядюшке Ласло. С тех пор как мы продали дядюшке Ласло Лебеда, он завел с нами дружбу, и иногда по воскресеньям мы ездили к нему, чтоб побегать по полям или насладиться благоуханием густых лесов в окрестностях Оджака. Мы были уверены, что Рыжику будет там хорошо. Кроме того, Оджак находился далеко от города, и он при всем желании не сможет вернуться домой.

Словно предчувствуя скорую разлуку с нами, Рыжий кот ластился ко всем и жалобно мяукал. Милена с Лазарем целыми днями лили слезы.

— Надо поскорей унести его, — сказал отец. — Этот несчастный граф — великий артист. Еще меня разжалобит.

Мы посадили кота в мешок и около полудня прибыли в Оджак. Всю дорогу он молчал и не шевелился — бедняга безропотно покорился своей судьбе.

— Знаешь, сынок, — сказал мне отец на обратном пути, — я только сейчас понял, как нам будет не хватать этого разбойника. — Он оглянулся — вдали белели свежевыкрашенные стены дома дядюшки Ласло — и, смахивая непрошеную слезу, крикнул: — Прощай, господин граф! Прощай навек!

И мы быстро зашагали к железнодорожной станции.

ЧАСТЬ ВТОРАЯ

РАССКАЗ ПРО ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Как-то в начале марта отец сказал мне:

— Завтра твой день рождения. В этом году мы отпразднуем его по-королевски. Я пригласил датскую принцессу, голландского наместника и прочих высоких лиц. Ты доволен?

— А Пишту пригласил? — спросил я.

— Какого еще Пишту?

— Моего друга.

— Ну что ж, пригласим и его. Где живет этот твой друг?

— На колокольне.

— Гм... — Отец дернул меня за ухо. — Довольно странный друг.

— Он был у нас несколько раз, — вмешалась мать. — Он хороший мальчик, я отдала ему старые штаны Лазаря.

— Молодец! — с нескрываемой иронией воскликнул отец. — А почему бы не отдать ему еще рубаху, пальто, чулки и башмаки? Коли уж разыгрывать миллионершу, то до конца.

— А раз ты так злишься, то знай правду, — сказала мать, и на губах ее мелькнула лукавая улыбка. — Я отдала ему те самые штаны, которые мы на днях купили Лазарю. Он был совсем голый, в буквальном смысле слова голый.

— И ты... в буквальном смысле слова... подарила новые штаны Лазаря? Ну что ж, к черту их с обеими штанинами! Назад не возмешь. Итак, сынок, зови на день рождения своего Пишту в новых штанах Лазаря.

Я знал, где искать Пишту. В субботние вечера он продавал свечи у церкви, оплачивая таким образом его преподобию Амвросию квартиру на колокольне, которую тот ему предоставил.

Пишты нигде не было. Не было его и в ризнице, где он иногда помогал отцу Амврозию готовиться к службе или крутился возле мальчиков, прислуживавших священнику во время мессы, подавая им облачение, казавшееся ему царскими одеждами.

— Слава Иисусу Христу, ваше преподобие! — поздоровался я с господином Амврозием, заходя в ризницу. — А где Пишта?

Отец Амврозий снял очки с круглыми стеклами, через которые глаза его казались огромными, как пятаки, протер их платком и, бережно положив в карман, уставился на меня.

— Стало быть, тебе нужен Пишта? — сердито пробурчал он. — Этого выродка и богохульника я выбросил с колокольни!

Заметив мой недоуменный взгляд, отец Амврозий пояснил:

— Он прикарманивал деньги, вырученные за свечи, вот я и прогнал его! Теперь понял?

Я кивнул головой и медленно направился к выходу. Но в дверях я обернулся.

— Ваше преподобие!

— Что тебе, сын мой? — отозвался он елевым голосом.

— Вы осел! — крикнул я и во весь дух помчался по улице.

Уже при первом знакомстве с отцом Амврозием я почувствовал к нему неприязнь, хотя на первый взгляд в нем не было ничего отталкивающего. Длинное лицо его казалось даже добродушным; он щедро расточал снисходительные, ласковые улыбки и был со всеми любезен и обходителен. И все же, разговаривая с ним, я невольно думал, что все это напускное, что каждое его слово, каждый жест заранее обдуманы и рассчитаны. За его ослепительной улыбкой, за сладкими, медовыми речами я видел человека холодного, черствого, безжалостного. Я не сомневался, что отец Амврозий оклеветал Пишту, в которого я верил, как в самого себя.

Слова отца Амврозия не выходили у меня из головы, я уже ругал себя за то, что не обозвал его как-нибудь похлеще. Дав себе слово сделать это при первом же удобном случае, я весело побежал домой.

Только я дернул звонок, как дверь отворилась. Я очень удивился, увидев Пишту.

— А я пришел к тебе! — сказал он. — Где ты был?

— У тебя.

— А я пришел к тебе! — повторил он. — Отец Амврозий выгнал меня на улицу.

— Знаю, я был там. Говорит, ты прикарманивал церковные деньги.

— Это неправда! — возмутился Пишта.

— Верю. Я сказал ему, что он осел.

Разговаривая с Пиштой, я как-то машинально рассматривал

его штаны. И только сейчас до меня дошло, почему они привлекали мое внимание.

— А где новые штаны? — спросил я с удивлением.

Пишта опустил голову.

— Отец Амврозий взял... за свечи...

— Вот как! — вскипела мать. — Он думает, что священнику дозволено снимать штаны, с кого он хочет? Пошли, дети!

Я впервые видел мать в гневе.

У ворот мы встретили возвращавшегося с работы отца.

— Эй, вы куда собрались?

Мать объяснила.

— Что с возу упало, то пропало! — твердо сказал отец. — Знаю я этого Амврозия. Что он взял — взято на веки веков, аминь... Удивляюсь только, как он втиснет свое брюхо в детские штанишки.

Мы рассмеялись и вернулись домой. Отец внимательно разглядывал Пишту.

— Так это вы и есть господин Пишта? — спросил он уже в кухне. — Я это сразу понял по твоим... по твоим так называемым штанам.

Мы долго говорили об отце Амврозии и о Пиштиных штанах. Мать накрывала на стол. После обеда отец скомандовал:

— А ну-ка вставайте! Идем в город!

— Милутин, ты, никак, с получкой? — вмешалась мать. — Ты же знаешь...

— Никакой получки я не получал. Списки еще утрясают. Пошли, дети!

— Лучше я останусь играть с Лазарем и Витой, с Миленой и Дашей, — занял Пишта.

— Ты пойдешь с нами! — прикрикнул на него отец.

— Милутин... — Мать хотела было что-то сказать, но вдруг передумала и только махнула рукой.

Мы перешли площадь, прошли через парк и направились к центру города.

— Пап, куда мы идем? — спросил я.

— Разговаривай с Пиштой, не мешай мне думать! Будь уверен, кирпичи таскать не заставлю!

Зазвонил трамвай, и мы остановились. Потом перешли через линию и... увидели большой магазин тканей и одежды «Хартвиг и К°».

— Папа, так мы идем! — воскликнул я.

— Конечно, мы идем, — прервал он меня.

Мы вошли в магазин Хартвига. Несмотря на дневное время, он был залит электрическим светом. Швейцар смерил нас презрительным взглядом.

— Этот оборванец с вами? — спросил он, показывая на Пишту.

— Этот юный господин со мной! — с достоинством ответил отец. — У вас есть еще вопросы?

Мы поднялись на второй этаж. Там находился отдел детской одежды.

— У меня немного денег, — сказал отец. — Тебе, сынок, нужна куртка, а Пиште — штаны. Мы купим один костюм и вы его поделите. Это тебе подарок ко дню рождения!

Мы купили голубой матросский костюмчик. Я надел куртку, а Пишта — брюки. Новая одежда нам очень шла. Словно замороженный стоял Пишта перед огромным зеркалом, не веря, что он видит в нем свое собственное отражение.

— Ах, как к лицу тебе синий цвет! — воскликнула продавщица.

— Ты в них настоящий моряк, — прибавил я.

Пишта гладил штаны, засовывая руки в карманы, вертелся перед зеркалом и наконец выпятил грудь и выставил вперед правую ногу. Несколько минут стоял он так, не шевелясь, в полной неподвижности, и вдруг сорвался с места, повис у отца на шее, прижался головой к его груди и разрыдался.

— Господин Малович... — лепетал он сквозь рыдания. — Господин Малович...

Отец гладил Пишту по голове и повторял смущенно:

— Вот ведь как... Вот ведь как...

Мы вышли из магазина и молча направились домой. У трамвайной линии отец вдруг остановился.

— Давайте-ка немножко прогуляемся, — предложил он. — Боюсь, что дома нас ждет скандал. Я должен подготовиться к обороне!

Мы долго гуляли по городу. Отец завел нас в кондитерскую и купил мороженое и медовых конфет. Потом мы зашли в кафе, где он выпил красного вина. Домой мы вернулись уже на закате.

Я думал, что мама удивится, но, казалось, именно этого она и ожидала.

— Ну и франты! — повторяла она, поглаживая нас с Пиштой по голове. — Теперь вы точно братья. — И, повернувшись к отцу, в сердцах сказала: — Молодчина! А почему бы тебе еще не купить рубаху, пальто, чулки, башмаки и шапку?.. Давайте, господин миллионер, поглядим, что осталось от вашей жалкой получки!

АХ, КАКОЙ ДЕНЬ!

«Дело было так. Отец три дня кашлял, потом три дня чихал, а в субботу был уже совершенно здоров. Он вынес в сад раскладушку и лег загорать.

— Наконец-то, сынок, мы разбогатели,— сказал он, увидев меня.

— Каким образом?

— Обыкновенным! Я выздоровел. А здоровье дороже денег!

Он закрыл глаза и блаженно улыбнулся. Я рассмеялся.

— Пап,— заговорил я, всласть насмеявшись,— пошли завтра на озеро. Если будет хорошая погода. Будем купаться, загорать... Отлично проведем время.

— Ну что ж, пошли.

— Лучше помоги мне сделать уборку,— вмешалась в разговор мать.— Не развалишься!

— Я полагаю, что сейчас мне полезнее подышать свежим воздухом.

— Убедил! — засмеялась мать.— Может, пора уже ставить пироги вам в дорогу?

— Спасибо.— Отец бросил на мать благодарный взгляд.— Пропал бы я без тебя!

— Не торопись благодарить,— язвительно сказала мать.— Отправляйся себе на Палич, только прихватишь еще Виту с Миленой.

Отец вскочил с раскладушки.

— А почему не Лазаря с Дашей? — мрачно пробурчал он.

— Лазарь еще мал, а Даша останется мне помогать,— невозмутимо ответила мать.

— Идет! — сказал отец.— Долой солнце, долой воздух, долой купание... долой все на свете! Я остаюсь дома, буду валяться на раскладушке!

— Папочка, миленький, пошли на озеро! — защелкала Миленка.— Ну, пожалуйста, папочка, пойдем купаться! Пойдем, пойдем, пойдем...

— А я возьму лук со стрелами, чтоб охотиться на тигров,— заявил Вита.— Я буду охотиться на львов, на верблюдов и китов!

— Если так, то пошли,— засмеялся отец.— Представляю, как мне будет весело.

Мы вышли из дому около девяти часов. Утро было ясное, солнечное, настроение у нас было самое распрекрасное — словом, все обещало отличную прогулку.

У ворот мы простились с мамой.

— Милутин,— озабоченно сказала она,— смотри за детьми!
— Спасибо, что напомнила! — надувшись, буркнул отец.—
Пошли, господа! Левой, правой, левой!..

— Хорошенько смотри за детьми! — крикнула мать, когда мы уже подходили к концу улицы.— И возвращайся вовремя!

Мы направились к аптеке. В ожидании трамвая отец разговаривал с каким-то человеком в соломенной шляпе.

— Поглядите-ка на мою армию! — с гордостью сказал отец.— Тот ушастый — старший.

Человек в соломенной шляпе метнул на нас быстрый взгляд и вернулся к разговору о гражданской войне в Испании.

— Знайте же, господин Милутин,— в голосе его звучали восхищение и приподнятость,— генерал Франко — великий человек!

Отец нахмурился, губы у него задрожали. Я знал, как он ненавидит фашизм, как рвется в бой на стороне республиканцев, и потому испытывал невольный страх за соломенную шляпу незнакомого господина. Но в эту минуту подошел трамвай, и мы поехали.

— Он тебе не кажется странным? — вдруг обратился ко мне отец.

— Кто, папа?

— Да... господин, с которым я разговаривал. Похож вроде на человека, а на самом деле просто осел!

Трамвай бежал, весело звеня. На Палич мы прибыли раньше, чем думали.

— Озеро, озеро, озеро! — возбужденно напевала Милена.

— А воду в нем можно пить? — спросил Вита.

— Если будешь умирать от жажды,— ответил отец.— Да и то советую потерпеть.

Мы прошли мимо лодок и парусников, привязанных к деревянному молу. Дул слабый, как дыхание, ветерок, и лодки равномерно покачивались на мелкой зыби. Зрелище было великолепное.

— Что ты делаешь? — вдруг вскрикнул отец, хватая Виту за руку.

Но было уже поздно. Стрела просвистела в воздухе и угодила в голову бородачу с вытатуированным на груди океанским кораблем.

— Извините, пожалуйста,— сказал отец с виноватой улыбкой.

— Повесьте свое «извините» кошке на хвост! — негодовал бородач.— Маленький дикарь! Ты что, пришел сюда охотиться на людей?

Отец взял Виту за руку и ускорил шаг. Мы с Миленой едва поспевали за ними.

— Так это и есть твои львы, тигры, киты и верблюды? — сердито спросил отец и дернул Виту за ухо.

— Я не в него целился! — оправдывался Вита.

— А в кого же?

— В старуху с пестрым зонтиком!

— Еще лучше! Только посмей еще разок стрельнуть — руки оторву. А теперь, дети, купаться!

Кроме нас, на пляже был еще один человек в зеленых купальных трусиках. Он лежал на песке, когда мы пришли. Одежду он, вероятно, спрятал в кустах.

— Ну и чудак, — тихонько заметил отец, когда незнакомец поднял голову и недовольно покосился на нас. — А впрочем, какое нам до него дело...

Мы долго не выходили из воды — плавали, плескались у берега, брызгались. Вита поймал даже какую-то рыбешку. Правда, она плавала кверху брюхом, но какое это имело значение?

Человек в зеленых трусиках все время лежал на песке. Под вечер, когда мы уже собрались уходить, он встал и быстро пошел в воду. Постояв немного у самого берега, он вдруг нырнул и поплыл, размахивая руками и ногами с таким ожесточением, будто хотел взбаламутить все озеро. Мы весело расхохотались.

— Далеко ему не уплыть! — сказал отец, вытряхивая из башмаков песок.

Он оказался прав. Через несколько минут с озера донесся истошный крик:

— Помогите!.. Тону!.. По-о-о-о-мо-о-о-гите!

— Что я говорил? — воскликнул отец, бросил башмак, прыгнул в воду и стремительно поплыл к утопающему.

— Почему папа купается в костюме? — удивился только что подошедший Вита.

— Один дяденька тонет, — объяснила Милена. — Папа поплыл его спасать.

Вита с Миленой, не понимая опасности, хлопали в ладоши, смеялись и что-то кричали. Я же замирал от страха, глядя, с каким трудом отец тащил крупного, плечистого человека. Берег все приближался, и казалось, что все это кончится быстро и просто. Но вдруг волна захлестнула человека, державшегося за плечо отца, он захлебнулся и в диком страхе снова начал бить руками и ногами; я с ужасом увидел, как он пошел ко дну, увлекая за собой своего спасителя. Однако вскоре отец снова всплыл на поверхность. Он держал утопающего за волосы; а тот, совсем обезумев от страха, пытался схватить отца за горло. Недолго думая, отец грубо оттолкнул его, изогнулся, словно щука, и наотмашь ударил его кулаком по лицу. Голова утопающего безжизненно свесилась

на грудь, и он опять скрылся под водой. Отец снова взял его за волосы и вытащил на берег.

— Гм, пришлось его стукнуть,— сказал отец, глядя на большой синяк под правым глазом спасенного.— Однако я надеюсь, он не взыщет с меня за это, когда очнется... Черт его подери, и меня чуть не утопил в этой луже!

Отец надавил ему коленом на живот, потер веки, а потом взял его руки и стал водить их вверх и вниз. Жизнь постепенно возвращалась в распростертое на песке посиневшее тело. Наконец человек открыл глаза и посмотрел на отца благодарным взглядом.

— Вы спасли мне жизнь, господин,— пробормотал он.— Спасибо!

— Не за что! — великодушно воскликнул отец.— Люди должны помогать друг другу в беде. Я выполнил... апчхи... свой долг.

— Я никогда этого не забуду! — сказал неизвестный.

— Ваше дело! Сынок, помоги мне отжать костюм.

Пока я помогал отцу выжимать из пиджака и брюк воду, неизвестный ушел в кусты, где лежала его одежда. Его долго не было, а когда он появился, отец так и обомлел: спасенный им человек был одет в красивую жандармскую форму, на плечах его поблескивали лейтенантские погоны!

— Ну и болван же я! — Отец стукнул себя по лбу.— Видишь, сынок, к чему приводит поспешность!

Жандармский лейтенант подошел к нам, еще раз поблагодарил отца и медленным, неуверенным шагом направился к трамвайной остановке.

— Ах, какой сегодня день, какой день! — бормотал отец, шагая по широкой тропе вдоль озера.— Всю жизнь воюю с жандармами и полицией, а тут вытаскиваю из воды жандармских лейтенантов... Апчхи!.. Одно утешение, что дал ему хорошую плюху!

Дома отец рассказал матери про случай на озере.

— Да мне не жалко, что я его спас,— сказал он в заключение.— Черт с ним! Только вот опять буду три дня кашлять и три дня чихать!

В ГОСТЯХ

Моя тетушка Вилинка вышла замуж за торговца Милентия Бибера¹. Она была счастлива, даже чересчур счастлива. В письмах к нам она неизменно писала: «Дорогие мои, я очень счастлива! Милентие прекрасный человек! Он такой внимательный, забот-

¹ Б и б е р (серб.) — перец.

ливый и так любит меня! Ах, вы просто представить себе не можете, какая я счастливая!»

— Позавидовать можно! — говорила мать, глотая слезы. — Вилинка счастлива, Вилинка слишком счастлива, а я? О господи! У меня пятеро детей, и один хуже другого. И это называется жизнью!

— А кроме того, у тебя муж, которого только что прогнали с работы! — добавил отец, входя в кухню (он слышал причитания матери). — Печально, но факт.

— Опять? — вскрикнула мать.

— А что я могу сделать? — оправдывался отец. — Это уже восьмой раз... нет, девятый! Скоро будем праздновать юбилей!

— Потерял работу и радуешься! Как мы будем жить?

Отец долго размышлял.

— Я кое-что придумал, — сказал он наконец. — Только не знаю, как ты на это посмотришь.

Мать взглянула на него с любопытством.

— Драгана с Лазарем пошлем к Милентию с Вилинкой. Они как сыр в масле катаются! Разве Вилинка не пишет в каждом письме, какая она счастливая? Два лишних рта их не разорят.

— Три рта! — поправила его мать. — Ты забыл, что Лазарь ест за двоих. Только стоит ли докучать им своими бедами?

— А ты знаешь выход поумнее? — сердито спросил отец.

— Ну, ладно... — согласилась мать. — Если на днях не найдешь работы, то пошлем их к Милентию с Вилинкой.

Отец каждое утро отправлялся на поиски работы. Вечером он возвращался такой усталый, будто весь день ворочал камни.

— Уф, — отдувался он. — Нет работы тяжелее, чем искать работу!

Прошло десять дней, но работы все не было. Наши продовольственные запасы подходили к концу.

— Радуйтесь! — воскликнул отец. — Завтра поедете к тетке с дядей. Там у вас будет все, даже птичье молоко! Хе-хе-хе, и не каких-нибудь пичужек, а перелетных птиц!

— Почему вы отсылаете меня? — заворчал я, несколько не обрадовавшись. — Пусть едет Вита.

— Путь не близкий, — серьезно сказал отец.

— Так что же, мы с Лазарем поедем одни?

— Конечно, нет! — Голос отца заметно повеселел. — Вас будет сопровождать придворная свита: министры, повара, кондитеры, гувернеры, няньки, мамки, кучера и прочие слуги... Это вас устраивает?

— Они живут недалеко от вокзала, — объясняла мать. — Я там никогда не была, но очень хорошо представляю себе их дом. Вилинка так часто описывала его в своих письмах! Ах, это

настоящая вилла! Внизу находятся гостиные и столовые, а наверху — спальни. Окна широкие, белые, с серебристыми жалюзи, чтоб солнце не портило мебель. Перед виллой сад. Вилинка обожает цветы! В Турополе у нас был садик, и Вилинка всегда следила за ним и ухаживала за цветами. Там росли самые обыкновенные цветы, но теперь у нее орхидеи, хризантемы, камелии... Сад огорожен, в центре забора ворота с небольшим навесом, чтоб дождь не повредил электрический звонок. Вы без труда найдете их дом.

Мы стояли на перроне. Лазарь сиял, как ясное солнышко, а я едва сдерживал слезы.

— Мне жаль отпускать тебя, сынок, — ласково сказал отец. — Но другого выхода у нас нет.

— Я понимаю, папа, — проговорил я, отворачиваясь, чтоб он не видел моих слез. — Понимаю...

— Приглядывай за Лазарем, — наказала мать. — Он еще маленький. И пишите нам!

Чем дальше отъезжали мы от Суботицы, тем тяжелее становилось у меня на душе. Впервые в жизни я должен был жить отдельно от семьи, и это угнетало меня. Невидящими глазами смотрел я в окно. Мне казалось, что поезд везет нас в неведомую даль, откуда нет возврата. Чтобы отвлечься от горьких дум, я закрыл глаза и мысленно перенесся в нашу уютную комнату. Напряженный слух мой улавливал ласковый голос отца, звонкий смех Милены и тихие, размеренные слова матери, всегда вселявшие в меня бодрость и надежду. Тут я открыл глаза и увидел, что нахожусь в поезде. Сердце мое сжалось от боли, ком подступил к горлу, но я подавил слезы — неловко было перед Лазарем, как-никак я считался уже взрослым.

— А какое на вкус птичье молоко? — спросил вдруг Лазарь.

— Птичьего молока не бывает, — засмеялся я. — Так только говорят.

Но Лазарь не поверил. До самого Шабаца он неутомимо расспрашивал меня о птичьем молоке.

В Шабаце сошло много народу. Я крепко держал Лазаря за руку.

— Дяденька, вы не знаете, где живет Милентие Бибер? — спросил я одного степенного седовласого человека.

— Нет, не знаю, — ответил он. — Я не здешний. Я из Дебреца.

— Я покажу вам, — предложил свои услуги какой-то гимназист, слышавший мой вопрос. — Откуда ты, малыш?

— Из Суботицы.

— А это твой брат? — Он показал на Лазаря.

— Да.

Гимназист вытащил из кармана сигарету, зажег и, прикрыв ее

рукавом, стал пускать кольца голубоватого дыма. Мы с Лазарем шли за ним.

— Ты тоже из Суботицы? — обратился гимназист к Лазарю.

— Да, дядя.

— Гм! Никогда не слышал об этой вашей Суботице!

Мы дошли до перекрестка. На углу было кафе.

— Я пойду направо, а вы сверните налево, — сказал гимназист. — Там дом вашего Милентия Перца. В Нижнем переулке. Ну, всего вам!

Нам пришлось спрашивать прохожих, прежде чем мы нашли дядюшкин дом. Никакой ограды вокруг него не было. И никакого сада. Ворота с электрическим звонком тоже отсутствовали. Это был низенький, покривившийся домишко с облупленной штукатуркой и узкими, давно не крашенными окнами. Словом, впечатление он производил самое жалкое и унылое. Я долго стоял перед расшатанной калиткой, не решаясь войти. На всякий случай я спросил еще одного прохожего, здесь ли живет Милентие Бибер, и, получив утвердительный ответ, робко толкнул калитку. Она подалась. Мы вошли в выложенный кирпичом темный и сырой двор.

— Ох, — вздохнула тетя Вилинка, увидев нас. — Дядя Милентие будет вам очень рад. Раздевайтесь, садитесь. Есть хотите?

— Я бы съел слона! — сказал Лазарь, широко открывая рот. — Весь день не ел.

— Ты съел два куска хлеба с маслом и яблоко, — заметил я.

— Разве это еда?! — удивился он.

Тетя Вилинка разохалась, что мы застали ее врасплох, что в доме ничего нет, кроме хлеба и брынзы, но, к счастью, у нее много кукурузной муки и она вмиг сварит мамалыгу. Готовя ужин, она все время говорила, и Лазарь, утомленный дорогой, заснул. Пришел дядя Милентие. Угрюмо покосившись в нашу сторону, он молча сел за стол и закурил дешевые сигареты с ужасно едким запахом.

— Какой черт принес вас сюда? — пробурчал он с нескрываемой яростью, когда тетя Вилинка поставил на стол мамалыгу. — И так все идет кувырком, только вас здесь не хватает!

— Не надо, Милентие, — взмолилась тетя Вилинка. — Они не...

— Молчи! — загремел Милентие и, шумно отставив стул, начал взволнованно ходить по комнате. — Ты соображаешь, что происходит? Кризис, безработица, стачки! Все рушится и валится. Того и гляди, нас коснется. А она приглашает этих... этих... в гости! Дура ты набитая, ни о чем не имеешь понятия!

Лазарь проснулся. Он с интересом взглянул сначала на Милентия, потом на меня.

— Это наш дядя? — спросил он.

С налитыми кровью глазами Милентие повернулся к Лазарю.

— Плодятся, как зайцы, а потом вешают своих чад на шею другим! — рычал он. — Чего сами о них не заботятся? Тоже благодетелей нашли! — Он оттолкнул тарелку с мамалыгой и, хлопнув дверью, вышел вон.

— Он немного нервничает, — сказала тетя Вилинка, накладывая Лазарю добавки, ибо он, несмотря на все громы и молнии, уже слопал свою порцию. — Не обращайтесь внимания на дядю Милентия. Ты, Драган, уже большой и все понимаешь... Мается он, бедняга: и товар закупи, и привези его на место, и продай, и даже на дом отнеси. Вертится как белка в колесе... Идем, Лазарь.

Тетя Вилинка уложила нас спать. Лазарь тотчас заснул, а я до полуночи ворочался с боку на бок. Я слышал, как вернулся дядя Милентие. Он долго ходил по двору, распевая хриплым пьяным голосом:

Ах, лужок, ты мой лужок,
Что теперь мне, бедной, делать,
На дне Савы мой дружок...

Потом пение прекратилось, а из соседней комнаты слышался его храп и приглушенный голос тети Вилинки.

Дядя Милентие ушел еще затемно. Вернувшись, он упорно делал вид, что не замечает нас. Мы прожили у них несколько недель, до того самого дня, когда получили от мамы письмо, в котором она писала, что отец нашел работу и мы можем вернуться домой.

— Кланяйтесь маме с папой, — сказала тетя Вилинка, кладя в сумку большой теплый каравай, кусок солонины и несколько яблок. — И приезжайте еще. Надеюсь, вам здесь было хорошо.

Вечером мы были уже дома. Сославшись на усталость и головную боль, я тотчас же улегся в постель. А на рассвете незаметно улизнул из дому, нашел Пишту, и мы вместе отправились на Палич. Мне не хотелось рассказывать дома о нашем житье в Шабаце. Разве мог я сказать правду после всего, что тетя Вилинка сделала для нас?

Через несколько дней пришло письмо от тетушки. Мама читала его вслух, бросая временами на отца взоры, полные укоризны.

— Да, у Вилинки жизнь так жизнь! — вдохновенно воскликнула мама, окончив чтение. — Подумать только, они покупают автомобиль! А осенью поедут в Вену...

Мать вновь и вновь перечитывала письмо, а я ушел в комнату и, уткнувшись головой в подушку, залился слезами. В ушах у меня звучал самый печальный голос, какой я когда-либо слышал, голос моей доброй и милой тети Вилинки: «Надеюсь, вам здесь было хорошо».

КРАСНЫЕ И БЕЛЫЕ

Когда я встречаюсь со своими братьями и сестрами, разговор у нас как-то сам собой переходит на детство. Недавно я был у Виты. Мы сидели на веранде, любуясь Дунаем и чернеющим на той стороне лесом.

— А помнишь нашего соседа Игнатия Аполлоновича Борисова? — спросил вдруг Вита.

— Словно вижу его перед собой! — ответил я. — Высокий, костлявый, с курчавыми волосами, всегда блестящими от разных масел и помад. Вся улица благоухала, когда он шел. И одевался он как-то необычно. Часто ходил в черном сюртуке, широких полосатых брюках и узеньких лакированных ботинках. «Настоящий светский человек, — говорила про него мама. — Посмотрите, какой он элегантный, подтянутый, как следит за собой. Позавидовать можно». Еще у него была черная трость с серебряным набалдашником, которой он размахивал, как фокусник, прежде чем вытащить из шляпы зайца или голубя. Держался он чересчур надменно, с соседями знакомства не водил, а если кто-нибудь с ним здоровался или старался заговорить, он презрительно отворачивался или делал вид, что разглядывает бегущие по небу облака.

— Точный портрет! — засмеялся Вита. — Мы все считали его русским. Помнишь, отец называл его «этим противным белым», что приводило меня в крайнее недоумение. Как-то я спросил отца, что это значит. Разве мы не такие же белые, как Игнатий Аполлонович Борисов? Отец иногда рассказывал нам о борьбе красных и белых в России, — продолжал Вита. — Я очень любил эти его рассказы. В то время я запоем читал книги про индейцев и был уверен, что в России тоже шла война между краснокожими и белыми. Признаюсь, всем сердцем и душой я был на стороне белых. Отец же, как ни странно, был на стороне красных.

— Почему тебе хочется, чтоб побеждали индейцы? — спросил я его однажды.

— Какие индейцы? — удивился он.

— Да красные, про которых ты всегда рассказываешь!

— Ты еще слишком мал. И глуп вдобавок. Красные вовсе никакие не индейцы!

— Ну и сказанул! — надулся я. — Не собираешься же ты утверждать, что красные — это белые.

Отец ласково посмотрел на меня и улыбнулся:

— Красные — белые. Но есть среди них и желтые, и черные, и даже красные!

Я решил, что он просто пьян. Но тут же уверился в обратном. Я был в полной растерянности.

— Ну и тупица же ты! — сказал отец в ответ на мой вопросительный взгляд.

— Не обижай мальчонку! — строго одернула его мать.

— Ладно. Приказано не обижать — не буду. Но в таком случае прикажи ему не задавать мне глупых вопросов.

Я вновь занялся упражнением по сербскому языку, которое мне задал отец, чтоб я не слонялся из угла в угол.

«День был чудесный», — прочел я первое предложение. Мне было невыносимо скучно. Вы с Лазарем гостили тогда у тетки Вилинки, и я просто умирал от зависти, представляя себе, как вы сейчас играете, лакомитесь шоколадом и яблочным пирогом, а я вот сижу за каким-то глупым упражнением. Я долго зевал и потягивался, прежде чем взяться за дело, но все же сделал упражнение и стал читать его вслух. «День был чудесный». Вдруг кто-то постучал в дверь. Отец вздрогнул. Мать пошла открывать. «День был чудесный». Я глянул в окно. На улице лил дождь!

— Кто там? — крикнул отец.

— Милутин, скорей иди сюда! — испуганно позвала мать. — Тебя спрашивает господин Игнатий. Говорит, у него срочное дело.

Отец так скривился, будто съел полкило соли.

— Мне как раз не хватает этой белой крысы! — проворчал он нарочно громко, чтоб господин Игнатий мог его слышать. — Вот уж незванный гость!

Он вышел в сени, а я на цыпочках подкрался к двери.

Господин Игнатий протянул отцу руку. Отец взял ее кончиками пальцев, как дети берут лягушку или противного жучка.

Господин Игнатий приблизился вплотную к отцу и что-то доверительно зашептал ему. Мать, заметно взволнованная, стояла в сторонке, в нескольких шагах от них.

Я не слышал, что говорил господин Игнатий, видел только, что слова его буквально ошеломили отца. Он одобрительно кивал головой, то и дело восклицая: «Черт возьми!» или «Ах, вот как!». Но больше всего меня удивило, что с господина Игнатия начисто соскочило то надменное выражение, за которое его не любили.

— Что?! — изумился отец. — И Тибор Рожа с вами?

— Да, — ответил господин Борисов. — Надо спешить!

Отец быстро обернулся и, показывая на меня пальцем, сказал матери:

— Запри на ключ эту полицейскую ищейку. Задвинь задвижку и на всякий случай вбей в дверь два-три гвоздя! Идемте, господин Игнатий!

Они ушли, а мать вернулась в комнату и плотно притворила за собой дверь.

— Куда они пошли? — спросил я.

— Прогуляться.

— Ну и выбрали денек!

— Иные любят гулять в дождь, — сказала мать, подходя к окну.

— Что-то я раньше не замечал этого за папой! — съязвил я. — И господина Игнатия он всегда зовет «этим противным белым»! И вдруг...

— Молчи! — сердито перебила меня мать, припав лицом к запотевшему стеклу.

Скрипнула входная дверь, из сеней донеслись шаги и какой-то шум. Мать все еще смотрела в окно, и я благополучно выскользнул в сени.

Отец, господин Игнатий и еще один человек, которого я никогда раньше не видел, несли два больших ящика и части какого-то странного станка. С их одежды, сплошь перепачканной машинным маслом, ручьями стекала вода.

— Наш пострел везде поспел! — воскликнул отец, увидев меня. И обратился к господину Игнатию и незнакомцу: — До свидания! Не беспокойтесь. Приходите, когда все уляжется. Все будет в целости и сохранности. А тебе, товарищ Рожа, я еще должен яблочный пирог!

Господин Игнатий и незнакомец, забыв затворить за собой дверь, быстро сбежали по ступенькам.

— Куда они так торопятся? — поинтересовался я.

— В театр! — ответил отец и глубоко вздохнул. — Иди сюда, мы тоже посмотрим спектакль!

Мы подошли к матери и тоже стали смотреть в окно. Я видел, как живший напротив нас господин Игнатий вошел в дом, а незнакомец, шлепая по лужам, заспешил вниз по улице. Вот он завернул за угол, и улица опустела. Я слышал только шум дождя да свист ветра, напоминавший протяжные звуки волынки.

Мы все еще стояли у окна.

— Чего мы ждем? — с досадой спросил я отца.

— Имей терпение! — ответил он и взглянул на часы. — Еще рано.

— А я боялась, что вы не успеете! — вздохнула с облегчением мать. — Тебе, Милутин, пришлось бы плохо. Ведь ты и так уже значишься во всех черных списках!

— Беспричинный страх! — с каким-то насмешливым озор-

ством сказал отец.— Хорошенько открой глаза, господин шпик! Вон идут твои коллеги!

Я прилип носом к стеклу. На улице появились двое в черном. На некотором расстоянии от них бодро шагал отряд жандармов.

— Как ты думаешь, кого они хотят проведать? — обратился ко мне отец.

— Господина Игнатия Аполлоновича Борисова! — выпалил я как из пулемета.

Отец с удивлением посмотрел на меня.

— А ты не так глуп, как я погляжу! Может, ты знаешь, зачем они пришли?

Я пожал плечами.

— Ладно,— сказал он, прячась за занавеску.— Потом объясню. А сейчас наслаждайся приятным зрелищем. Шекспир в сравнении с ним ничто!

Жандармы вошли в дом господина Игнатия. Вскоре я увидел, как в окошке замелькали их тени. Двое влезли на крышу. Поддерживая друг друга, они ползком добрались до дымовой трубы, встали во весь рост и, скривив лицо в брезгливой гримасе, заглянули внутрь. Не знаю, что там было интересного, только они долго смотрели в трубу и так смешно вертели головами, что я расхохотался. Родители тоже весело смеялись. Потом один жандарм вышел на улицу и стал прикладом простукивать стену. Очевидно, что-то показалось ему подозрительным, он приложил к стене ухо, и потоки дождя заструились по его лицу и шее. Когда он отошел от стены, я увидел, что лицо его посинело. Отец указал на него пальцем, и все мы залились веселым, лукавым, совершенно беззаботным смехом.

Жандармы долго пробыли у господина Игнатия. Наконец они удалились. Господин Игнатий с любезной улыбкой проводил их до ворот. Раздосадованные и посрамленные, жандармы тяжелым широким шагом направились в казарму, чтоб высушить свои мундиры, висевшие на них точно ветошь на огородных пугалах.

Улица снова опустела. Опять слышался шум дождя и глухой, протяжный вой ветряных волюнок. Отец отошел от окна и растянулся на кровати.

— Поди сюда, сынок,— позвал он меня, когда немного отдохнул.— Я хочу кое-что растолковать тебе. Господин Игнатий печатал прокламации Коммунистической партии. Он вовсе не белый, а красный. А кроме того, он такой же эмигрант, как ты, я, твоя мама или тетя Вилинка! Знаешь, откуда родом этот досточтимый Игнатий Аполлонович Борисов? Из Никшича! Ясно?

— Да,— сказал я.

Но это была неправда. Я ничего не понял.

Несколько месяцев я размышлял об этом событии. Конечно,

многое оставалось для меня неясным, но я научился думать и по-другому смотреть на вещи. И этим я обязан «господину Игнатию Аполлоновичу Борисову», настоящее имя которого я так никогда и не узнал. Но разве дело в имени? Важно, что он был мужественным, благородным и честным человеком, важно, что он был красным!

НАШИ РОДСТВЕННИКИ

А теперь, сынок, я познакомлю тебя с нашей родней. Я всегда считал, что у нас нет никого, кроме тети Вилинки и дяди Милен-тия Бибера. Правда, отец иногда рассказывал о нашей бабушке, которая жила в Черногории, в Пиве. И как жила! Как царица! У нее был большой замок, пятьдесят, а может, и больше слуг, целая конюшня арабских скакунов, да еще поля, луга и сады.

— И все это принадлежит ей? — удивлялся я.

— А то кому же? Бабушка живет как сказочная царица! Каждый день ей доставляют рыбу из Скадарского озера и реки Црноевича, бананы из Бара, инжир и апельсины из Улциня.

— Как это у нее не испортился желудок? — ехидно спросила мать.

— Привыкла, — небрежно ответил отец. — А кроме того, она любит финики, кокосовые орехи, ананасы — словом, южные фрукты. И знаете, что она делает? Посылает самолет в Ирак: «Привезите мне двести граммов фиников к обеду и половину кокосового ореха к ужину». Она может себе это позволить!

— Вздор! — сказала мать. — Вот Вилинка и в самом деле живет припеваючи. Дети убедились в этом. А ты все выдумываешь.

После этого разговора мы долго не вспоминали ни бабушку, ни тетю с дядей. Но в один прекрасный день отец сказал:

— Дети, сегодня к нам в гости придет один родственник.

— Бабушка? — обрадовался я.

— Тетя Вилинка? — прошебетала Милена.

— Дядя Перец? — подал голос Лазарь.

— У нас и кроме них есть родственники! — с достоинством произнес отец. — Много родственников! И с каждым днем будет все больше. Сегодня к нам придет дядя Рокуш.

Мы растерянно переглянулись. Ни о каком дяде Рокуше мы и слыхом не слыхали.

— А кто он нам? — спросила Даша.

— Дядя.

— Он твой брат? — удивился Вита (нам было известно, что у отца нет ни братьев, ни сестер).

— Мне он не брат,— отец начал сердиться,— но вам дядя! Поняли?

Дядя Рокуш всем нам очень понравился. Он долго играл с нами во дворе и вдруг запел. Сначала он спел одну сербскую песню, потом мадьярскую и, наконец, русскую. Мы и не заметили, как пролетело время.

— Как вам понравился дядя Рокуш? — спросил отец и, не дожидаясь ответа, прибавил: — Вечером к нам придут еще два дядюшки.

— А откуда они приехали? — любопытствовал Лазарь.— Как их зовут?

— Так я тебе и сказал! — Отец дернул его за ухо.— Будешь много знать — скоро состаришься. Судья Фаркаши и тот так не любопытничает.

Я вгляделся в отца и с изумлением заметил, что за то время, пока мы с Лазарем гостили у тети Вилинки, он очень изменился. От его всегдашней веселости не осталось и следа, на лицо легли мрачные тени, не слышно было его беззаботного смеха и шуток. А по вечерам, с первыми сумерками, он незаметно исчезал из дому и возвращался лишь под утро, чтоб немного поспать перед работой. Однажды он то и дело забегал домой с какими-то пакетами, которые складывал в сарае в дальнем углу двора. Мне давно уже бросилось в глаза, что сарай теперь всегда на запоре, тогда как раньше двери его никогда не закрывались. Все это казалось мне весьма загадочным, и я решил напрямик поговорить с отцом.

— Папа, я хочу знать, чем ты занимаешься,— сказал я, когда мы остались одни.— Что в этих пакетах, которые ты так заботливо хранишь в сарае?

— Ты умеешь молчать? — таинственно спросил он.

— Смешной вопрос!

— Я жду ответа!

— Умею молчать, как рыба, как немой, как утопленник. Хватит с тебя?

— Тогда слушай: в этих пакетах фальшивые деньги! — прошептал он.— Надоело жить в нужде, хочу разом разбогатеть. По-моему, это самый быстрый, верный и самый легкий способ. Теперь ты все знаешь, ступай-ка умойся!

— Я уже не маленький,— в голосе моем звучала обида,— и хочу знать про твои дела!

Отец посмотрел на меня долгим внимательным взглядом.

— Как летит время! — вздохнул он.— Я и не заметил, как ты вырос. Что поделаешь, с родителями такое случается. А почему тебя интересуют мои дела?

— Я мог бы помогать тебе,— проговорил я, растягивая слова.— Я могу быть хорошим помощником...

Заявились оба дядюшки, и разговор наш оборвался. Родственники подарили нам кулек конфет и плитку шоколада. Мы поделили все поровну, но моя доля тут же перекочевала к Лазарю — этот маленький обжора с ревом заявил, что умрет на месте, если ему не дадут добавки.

— Значит, это дядя Андра и дядя Тибор,— представил нам их отец.— Дядя Андра и дядя Тибор...

Я с улыбкой посмотрел на дядю Тибора — ведь это был Тибор Рожа, сын дядюшки Михая. С тех пор как мы поселились в Суботице, я частенько относил ему письма и книги в депо, где он работал, или домой, в рабочий поселок. Он весело подмигнул мне.

Вита пристально смотрел на дядю Тибора.

— Что глаза вылупил? — накинулся на него отец.— Никогда не видел людей, или, как это по-научному говорится, homo sapiens?¹

Вита пропустил мимо ушей вопрос отца и обратился к дяде Тибору:

— А я вас видел! Когда вы с господином Игнатием принесли ящики. У вас все пальто было в масле...

— Тебе померещилось,— поспешил ответить отец.— Он здесь первый раз. Пошли в дом. Играйте, дети. Раз, два, три, кто остался, тот води!

С тех пор родственники наведывались к нам чуть ли не каждый день. Мы вконец запутались в том, кто нам дядя по отцу, кто по матери, кто племянник, кто двоюродный брат. Отец именовал их нашими родственниками. Я привык уже весь мир считать своей семьей, но, признаюсь, два новых родственника окончательно сбили меня с толку.

— Послушай, сынок,— сказал мне как-то отец.— Сегодня мы устроим небольшую вечеринку. Карнавал, маскарад, фейерверк! Я только что был у нашего хозяина. Ты знаешь, он вечно в разъездах и поймать его труднее, чем жар-птицу. Увидел я, что он вернулся, и сразу к нему. «Вот, говорю, газда Фране, плата за пять месяцев — одни золотые дукаты и серебряные гроши!» А он в ответ: «Сядь, Милутин». Разговорились мы с ним, и в конце концов выяснилось — нет, ты просто не поверишь! — что он тоже доводится нам родней. Разве это не чудесно?

— И он наш родственник? — изумился я.

— Один из самых близких! Что-то вроде двоюродного брата. Прекрасный человек!

— Значит, мы не будем платить за квартиру?

¹ Разумное существо (лат.).

— Ты угадал! — весело воскликнул отец. — На эти деньги мы малость кутнем. Дуйте с Пиштой к Турину за вином, потом к мяснику Ленджелу за колбаской. Какой сегодня день? Пятница? Прекрасно! Только смотри, чтоб мать не увидела, как будешь возвращаться. Ах, порой чертовски хочется жить на свете! «Музыканты, подайте мне шотландскую волынку!»

Второй родственник озадачил меня еще больше. Он был огромного роста, голову его покрывала короткая черная щетина, а на улыбчивом лице, точно рассыпанные черешни, темнели большие веснушки. Мне показалось, что он тоже смущен этим неожиданным знакомством.

— Наш родственник! — лаконично сказал отец. — Доктор Моисей Сем.

Я улыбнулся и протянул доктору Моисею руку. Он спросил, как меня зовут. Я ответил.

— Так, так, — сказал он рассеянно, расплылся в улыбке и ушел.

— Ведь он еврей? — спросил я.

— Разумеется, — засмеялся отец. — Он мог бы быть раввином в синагоге.

— Какой же он нам родственник? — вмешался Вита. — Мы же сербы.

— Ваша мать хорватка! — значительно проговорил отец.

— Допустим. А кто у нас еврей?

Отец опять засмеялся:

— Доктор Моисей Сем! Вот кто!

Так я познакомился и подружился со многими нашими родственниками. А вскоре мне представился случай увидеть их всех вместе. Была пасха, и отец пригласил их в гости. Когда все собрались, мать подала им кофе с бутербродами, а потом повела детей во двор, где был большой стол, уставленный разными яствами, раскрашенными яйцами и пирожными.

— А ты чего ждешь? — спросил отец, задумчиво поглядев на меня. — Почему не идешь есть? Или ты не голоден?

— Я хочу остаться! — сказал я, сам удивляясь тому, как серьезно и настойчиво прозвучал мой голос. — На меня ты вполне можешь положиться!

— Гм... — Отец немного подумал. — Оставайся...

В комнате воцарилась тишина. Тогда встал один наш родственник — кажется, его звали Антал — и возгласил:

— Товарищи, заседание окружного комитета Коммунистической партии считаю открытым...

Я неподвижно сидел в углу и смотрел на дядю Андру, дядю Тибора, доктора Сема, счастливый и гордый тем, что я тоже член этой большой и славной семьи.

В Ы Б О Р Ы

Когда мама делает уборку, мы все ей мешаем. Сядем на кровать — она кричит: «Что вы уселись на кровати?»; переберемся на кушетку — «Другого места не нашли?»; уйдем на кухню — «Только вас здесь не хватает! Ох уж эти мужчины, и какой от вас прок!» Где бы мы ни сели, где бы ни встали — всюду мы ей помеха.

— Сегодня у меня уборка, — сказала мать. — Надеюсь, я выразилась достаточно ясно?

— Еще бы! — воскликнул отец. — Исчезаем до обеда.

— И Пишту возьмем? — спросил я.

— Конечно. Без него мы просто умрем со скуки!

— А куда это вы направляетесь? — поинтересовалась мама.

— На факультет, — ответил отец. — Мы же ученые мужи!

— В добрый час, только смотри, Милутин, много не пей!

Не удивляйся, сынок, мама знала, что говорила. Водился за отцом такой грешок, любил он выпить, а выпивши, шумел и распевал бесконечную песню:

Гей, грянул выстрел в Видине,
Слышно было в Чустендиле...

В народе эту песню поют по-другому, отец переделал ее на свой лад. Так она ему больше нравилась, да и легче запомнить слова собственного сочинения.

За смехом и разговорами дошли мы до места. Навстречу нам то и дело попадались орущие толпы с флагами и транспарантами. В одной толпе мы заметили преподобного Амврозия, вернее, его большую черную шляпу, румяное лицо и белоснежный воротник. И лицо, и шляпа, и воротник были такие застывшие и неподвижные, точно их высекли из камня.

Пишта нахально показал ему язык, а я, не придумав в ту минуту ничего лучшего, крикнул: «Амврозий — осел!» К сожалению, святой отец был слеп и глух, и вообще вид у него был такой, словно он парил под небесами.

Возле «факультета» мы остановились. Наказав нам ждать у входа, отец торопливо вошел внутрь. Я знал, что он отправился к доктору Моисею Сему, читавшему здесь римское право. Доктор Моисей Сем отличался большим умом и редкой образованностью, но, как и мой отец, имел одну неизменную страстишку — любил выпить.

— А почему бы не выпить? — говаривал он. — Бог создал вино не для одних дураков. Оно прополаскивает мозги.

Доктор Моисей Сем часто заходил к отцу. Они подолгу

беседовали, сначала тихо, сдержанно, вполголоса, но постепенно воодушевляясь и буквально захлебываясь словами. Мне казалось, что слова с разлету ударялись друг о друга и ломались со звоном, точно копья. В такие минуты собеседники забывали обо всем на свете. Я не прислушивался к их разговорам — все равно непонятно, но отдельные слова возбуждали во мне особый интерес. Стараясь проникнуть в их тайный смысл, я снова и снова повторял про себя: «Социализм, Ленин, Маркс, диалектика, исторический материализм, Плеханов, Анти-Дюринг...»

Как-то доктор Сем с удивлением спросил отца:

— Откуда вы все это знаете?

И мой отец, менявшийся, как весеннее небо, умевший быть то серьезным, то ребячливым, ответил с улыбкой:

— Сорока на хвосте принесла!

Доктор Сем смеялся как иступленный. Думаю, что этот случай и положил начало их дружбе. Теперь они встречались гораздо чаще — то у доктора Сема, то у нас, а время от времени в кафе у Турина.

Кафе это находилось как раз напротив «факультета». Хозяин его, Турин, был маленький круглый человечек с кривыми ногами и непомерно большой головой. К тому же он был глуп как пробка. Стоило только перекинуться с ним несколькими словами, и вы тотчас же убеждались в его необычайном тупоумии.

— Господин Малович, профессор Сем! — кричал он, едва заведя их. — Милости прошу! Всегда рад хорошему человеку! Ха-ха-ха...

Друзья здоровались с хозяином и садились за столик, а Турин тут же приносил им литр белого вина и две рюмки.

— Не угодно ли чего-нибудь для детишек? — спросил Турин.

— Три малиновой, — ответил отец.

— Три малиновой? — переспросил Турин, явно возмущенный тем, что отец заказывал воду и для Пишты, — ведь в его глазах он был жуликом, про которого всему городу известно, что он украл церковные деньги у отца Амврозия.

— Три порции малиновой, черт побери! — сердито крикнул отец. — Egy, kettő, három!¹

— Хорошо, господин Малович. — Турин изобразил на лице угодливую улыбку и, бросив на Пишту презрительный взгляд, пошел выполнять заказ.

В будние дни в кафе бывало мало посетителей, но на этот раз все столики были заняты, даже у стойки толпился народ.

— Через несколько дней будут выборы, — сказал Пишта, как бы прочитав мои мысли.

¹ Один, два, три!.. (венгр.)

— Он всегда в курсе событий,— заметил доктор Сем, когда мы выпили малиновую воду.— Ступайте, дети, на улицу, а ты, Пишта, объясни им все, что нужно.

— Ну, начинай! — язвительно потребовал Вита, только мы вышли из кафе.

— На выборах я наедаюсь от пуза,— похвалился Пишта.— А в прошлый раз, когда выбрали господина Каначки, я даже забил деньгу.

— Ты? — удивился Вита.— Врешь.

— Клянусь родной матерью, не вру!

— Вольно ж тебе клясться матерью, когда ее нет! — пробурчал Вита.

Мы знали, что Пишта круглый сирота и с малых лет живет на улице. Такая жизнь не прошла для него бесследно: он вырос крепким и выносливым парнишкой, чуточку недоверчивым к людям, большим насмешником и острословом, но при этом он не был ни озлоблен, ни ожесточен. Напротив, с какой-то удивительной бодростью переносил он жизненные бури и невзгоды. Я никогда не слышал от него ни слова жалобы и просто остолбенел от удивления, когда он вдруг разразился горькими, безутешными слезами. Голова его свесилась на грудь, а худые, опущенные плечи тряслись как в лихорадке. Грубые слова Виты заделали нечто такое, что он прятал глубоко в своем сердце, и вся его печаль вдруг прорвалась и хлынула наружу бурным потоком.

— Ты обормот! — обругал я брата.— Не плачь, Пишта. Смотри, что я тебе дам!

Я протянул ему чудесный красный карандаш, недавно подаренный мне отцом. Пишта безучастно поднял голову, но, увидев красный карандаш, сразу оживился. Он уже не раз просил у меня карандаш хотя бы на денек — просто поносить в кармане, но я не давал, боялся, что потеряет. Говоря по правде, слова эти вырвались как-то помимо моей воли, и мне стало жаль карандаша, лишь только я его предложил.

— Ты отдаешь мне карандаш? — спросил Пишта, протягивая руку.

— Да.

— Насовсем?

— Да, да! — прокричал я, злясь на самого себя за свою поспешность.

— Зачем ты ему отдал карандаш? — спросил Вита.

— А тебе лучше помолчать! А то я за себя не ручаюсь.

В эту минуту в конце улицы появилась большая толпа. Над ней плыли флаги, транспаранты и два огромных портрета, с которых смотрела на нас препротивная хмурая рожа, намалеванная так грубо, что мне стало жутко.

— Да здравствует господин Дакич! — крикнул кто-то из толпы. Голос его, как мячик, покатился по улице.

Видимо, кричавший был очень доволен собой: не успели замереть последние звуки, как он заорал еще истошнее:

— Да здравствует господин Дакич! Да здравствует народный депутат!

Пьяная толпа ответила ему каким-то невнятным бормотанием.

Крикун остановился и вперил взгляд в золотые буквы вывески над входом в кафе Турина. Он бессмысленно вращал своими мутными глазами, стараясь, вероятно, понять смысл написанного. Вдруг он громко откашлялся, сплюнул и завопил:

— Вперед — к Турину!

И вся орава стремительно хлынула в кафе, увлекая за собой и нас. Человек с флагом вскочил на стол и разразился громовой речью. Во всей толпе он один не был пьян.

— Всякий, — кричал он, — у кого в голове не солома, а мозги, должен голосовать за Дакича. Почему именно за него? Потому что господин Дакич честный, добрый, искренний, трудолюбивый человек, пламенный патриот и примерный гражданин, больше всего пекущийся о благе народа. И если вы желаете добра своей стране, народу и самим себе, то отдавайте свои голоса за господина Дакича. Долой вора и негодяя Каначки!

Я равнодушно слушал все эти тирады во славу господина Дакича, но при последних словах меня словно прорвало.

— Правильно! Долой Каначки! Да здравствует Дакич! — вдохновенно прокричал я и изо всех сил захлопал в ладоши.

Пишта с Витой последовали моему примеру.

— Мальчик, иди сюда! — позвал меня оратор. Толпа утихла. — А ну-ка скажи этим людям, кто такой Каначки!

Я взобрался на стол и крикнул что было мочи:

— Каначки вор и негодяй!

— Повтори еще раз!

Я был вне себя от счастья: кто бы мог подумать, что мне представится случай публично высказать свое мнение о человеке, по милости которого меня выбросили из школы и которого я ненавижу всеми силами своей души?

— Каначки вор, мошенник, мерзавец и негодяй!

— Вот тебе десять динаров, — сказал оратор. — Ты их заслужил. Смотрите, он еще ребенок, но уже знает, за кого надо голосовать. Откуда он это знает? Сердцем чувствует, господа хорошие, одним своим чистым детским сердцем, которое всегда безошибочно отличает добро от зла. Да здравствует Дакич! Турин, ставь вино! Пейте сколько хотите! И помните, вас угощает господин Дакич!

— Спасибо, но мы выпили уже целый литр,— попытался отказаться доктор Сем.— Больше не можем.

— Значит, вы против народа? — загремел оратор, а толпа мигом окружила друзей, готовая в случае отказа растерзать их на части.

— Я полагаю, что мы с народом! — сказал отец.— Турин, литр белого!

— Послушай, мальчик,— обратился ко мне оратор,— хочешь заработать?

— Хочу!

— Писать умеешь?

— Как угодно — и славянскими и латинскими буквами. А доктор Сем выучил меня даже греческим.

— Да, да, альфа, бета, гамма, дельта... Вот тебе мел. Будешь ходить по улицам, и всюду, где тебе понравится, пиши: «Да здравствует Дакич!», «Голосуем за Дакича!» Я заплачу тебе пятьдесят динаров.— И обратился к Вите с Пиштой: — Может, вы тоже займетесь делом?

— Конечно,— ответил я за них.— Папа, ты разрешаешь?

— Пожалуйста... По крайней мере, поупражняйтесь в чистописании! — сказал он и громко запел:

Гей, грянул выстрел в Видине,
Слышно было в Чустендиле.

А доктор Моисей Сем замурлыкал старую песенку.

— Вперед! — скомандовал я своей гвардии.

Мы расписали двери Турина и двинулись дальше. Соседняя улица вывела нас к школе. Мы в растерянности остановились.

— Пишите! — распорядился я после недолгого раздумья.— Нечего ее щадить! Она нас не жалела.

Мы исписали уже всю стенку лозунгами: «Да здравствует Дакич!», «Голосуем за Дакича!», как вдруг я сообразил, что мы тратим мел на одного Дакича.

— Стой! — крикнул я ребятам.— Мы совсем забыли про Каначки.

— Правильно,— отозвался Пишта и тут же огромными буквами вывел: «Долой вора и негодяя Каначки!» А Вита нарисовал под лозунгом осла и приписал: «Это Каначки! Хотите, чтоб вашим депутатом был осел?»

Мы обходили улицу за улицей, оставляя за собой сотни дакичей и каначки. Наконец запасы мела, который нам дал оратор, иссякли, и я предложил подкупить еще мела на свои деньги.

— Ты что, сдурел? — накинулся на меня Вита.— Зачем нам это надо?

— Затем, чтоб вор и негодяй провалился на выборах! Из-за его милого сыночка нас вышибли из школы. Ну и короткая у тебя память.

— Подлиннее, чем ты думаешь, только я все равно не дам ни динара!

— Я дам! — сказал Пишта. — Каначки плохой человек.

Вита пристыженно понурил голову.

— Чего лезешь не в свое дело? — глухо проворчал он. — Ну ладно, сколько с меня?

Мы купили три коробки мела и трудились в поте лица до самых сумерек. Почти все дома в городе были разукрашены нашими каракулями.

Оставшиеся до выборов пять дней были самыми длинными в моей жизни. Я испытывал нетерпение человека, ожидающего на вокзале поезда. Я просыпался чуть свет, работал в огороде, подметал двор, читал, писал, старался днем поспать, бродил по городу, удил рыбу на Паличе... Я просто не находил себе места. Не думай, сынок, что я так переживал за господина Дакича. В конце концов, мне было совершенно безразлично, кто займет депутатское кресло — богатый помещик или еще более богатый фабрикант. Но в глубине души мне все же хотелось, чтоб господин Каначки с треском провалился. Тогда я был бы отомщен. К тому же я чувствовал, что провал Каначки внесет в мою жизнь что-то светлое и прекрасное. Несмотря на все наши злоключения, во мне жила надежда на что-то хорошее, что ожидает меня впереди.

Наступил день выборов. Все мои страдания как рукой сняло, когда я узнал, что господин Каначки не прошел в депутаты. Такое событие надо было отметить, отпраздновать с подобающей случаю пышностью. У меня оставалось немного денег, и я пригласил Пишту с Витой в кондитерскую — лакомиться пирожными с лимонадом. А Даше, Милене и Лазарю купил медовых конфет, от которых, если верить написанному на кульках, «человек поздоровеет, станет сильным, точно лев».

Весь мир как-то сразу похорошел в моих глазах.

«Если хочешь увидеть чудо, верь в него, и оно придет», — сказал поэт. А я верил в него твердо и непреклонно.

Дня через три после выборов отец пришел с работы неожиданно рано. Он был в самом отличном расположении духа, смеялся, шутил, балагурил, и слова его заражали всех такой же веселостью и радостью.

— Господа графы, — обратился он к нам с Витой, — нуте-ка быстренько умойтесь и обуйтесь! Чтоб выглядели так, будто вас только что вынули из коробки!

— А куда мы пойдем? — спросил Вита.

— На придворный бал! — засмеялся отец. — По приглашению их высочеств королевичей Андрея и Томислава!

Я знал, что это значит. Догадка моя превратилась в уверенность, когда мать, вся в слезах, проводила нас до ворот. Отец, держа нас за руки, шагал с гордо поднятой головой. И весь он был такой просветленный и величавый, что я невольно залюбовался им.

Я молчал, боясь каким-нибудь случайным словом разрушить все это волшебство. Вскоре мы подошли к школе. Рабочие смывали со стен наши лозунги.

— Вот они, врата рая! — смеясь, сказал отец, подходя к дверям.

Директор встретил нас приветливо и сердечно, предложил отцу сигарету, а нам с Витой фруктовый сок.

— Вы, сударь, умный человек, — обратился он к отцу. — Смею надеяться, что вы правильно поймете меня. Каначки был тогда депутатом, и я бы лишился места, если бы не поступил так, как поступил.

— К сожалению, это правда, — вздохнул отец. — Могут ли мои сыновья завтра же приступить к занятиям? Им не терпится сесть за парту.

Наутро мы с Витой пришли в школу. Ребята встретили нас веселым криком. Сына бывшего народного депутата господина Каначки среди них не было. Сразу после выборов он уехал с отцом в Белград.

БОГАТСТВО НАШЕ РАСТЕТ

Давно уже в нашем доме творится что-то странное. Чуть свет отец с матерью куда-то уходят. Куда? Э, сынок, я и сам хотел бы это знать!

— Присматривай за детьми, — наказала мне мать перед уходом. — Оставляю их на тебя. Напомни Вите, чтоб умылся, последи, чтоб Милена не ела руками, и смотри в оба, чтоб Лазарь не слопа чужой завтрак.

— Это все? Не беспокойтесь.

— Вчера ты так же говорил, — сказал отец, — а когда мы вернулись, тут был дым коромыслом. Удивляюсь только, как вы умудрились за полдня перевернуть весь дом вверх дном.

— А нам помогал Пишта, — не растерялся я.

— Сегодня он опять придет? — спросила мать.

Я утвердительно кивнул.

— В буфете хлеб и сало. Дашь ему. Вот ключ.

— Как нехорошо, мама,— обиженно протянул Лазарь.— Ты из-за меня запираешь буфет?

— Нет, из-за Пишты! Чтоб быть уверенной, что он получит свою долю. А сейчас подойдите ко мне, я вас поцелую на прощание.

— Мама, куда ты ходишь по утрам? — спросил я после поцелуя.— Ты поступила на работу?

— И на какую! Сам черт на нее не польстился бы!

— Слушай, сынок,— сказал отец,— типография бастует уже несколько дней. Мама вместе с другими женами рабочих собирает средства для бастующих, варит еду, дерется с жандармами, таскает за волосы штрейкбрехеров... Жаль, что не на кого оставить детей, а то б ты мог увидеть ее в деле. Это не женщина, а сущий дьявол! Одного штрейкбрехера, его фамилия Лозанчич, она так оттрепала, что бедняга уже неделю не может ни сесть, ни встать. Я и то замирал от страха, когда она его лупила.

— Возьмите меня с собой! — взмолился я.— Ужасно хочется посмотреть на забастовку: ведь дядюшка Михай столько про это рассказывал.

— Ах, юному господину хочется поразвлечься! — воскликнула мать.— А кто будет сидеть с детьми?

— Вита тоже не маленький. Он посидит.

Мать покосилась на Виту и махнула рукой.

— Ты отлично знаешь, что он с детьми не справится. Они слушаются только тебя.

— Того и гляди, лопну от гордости, что я такой незаменимый! — сердито проворчал я.— Не увижу этой забастовки, жди потом другой.

— Организуем специально для тебя! — засмеялся отец.

Напрасно я молил и уговаривал — родители были твердо уверены в том, что одному мне под силу смотреть за детьми в их отсутствие. Я взглянул на Виту, Дашу, Милену и Лазаря и вдруг с ужасом ощутил, что в груди у меня поднимается волна ненависти к ним. Почему я не единственный сын, как мой отец? Необходимость остаться дома я воспринял как кару небесную и с нетерпением ждал Пишты, который всегда умел разогнать мою грусть-тоску.

Пишта пришел, как только мы сели за стол. Я отпер буфет и дал ему хлеб с салом. Лазарь посмотрел на сало завистливым взглядом и крикнул:

— Его кусок больше! Пусть поменяется со мной.

Пишта встал и протянул ему свою долю:

— Возьми, Лазарь. Я уже завтракал.

— Спасибо! — Лазарь схватил хлеб с салом и вихрем вылетел

во двор. Бежать за ним не было смысла — все равно не догонишь.

— Сам виноват,— сказал я Пиште.— У него не желудок, а бездонная бочка.

— Но я уже завтракал! С господином Пепе.

Хочешь послушать про господина Пепе? Пепе — это городской сумасшедший. Его знала вся Суботица. И уж никто не величал его господином, его попросту звали Полоумный Пепе. Тогда ему было лет тридцать, ходил он круглый год в тельняшке и с большим деревянным ружьем через плечо. Затаится, бывало, за толстым деревом и поджидает прохожих. Стоило только кому-нибудь с ним поравняться, как он вскидывал ружье и с криком «Пиф-паф! Пиф-паф!» выбегал на дорогу. Как-то приехала в Суботицу одна англичанка, и Пепе так напугал ее, что у нее случился сердечный припадок. Пепе отвели в полицию. А когда полицейский писарь стал корить его за то, что насмерть перепугал иностранку, Пепе засмеялся и рассудил вполне здраво:

— Ну и дура! Умного деревяшкой не напугаешь.

Рассказать тебе про Пепе? Однажды он стянул у полицейского шинель и форменную фуражку. Сияющий и счастливый, он долго бродил по улицам, а дойдя до базара, вдруг выскочил на дорогу и поднял руку. Проезжавшие на велосипедах горожане узнавали его и только посмеивались в ус. Но ведь на базар приходят жители окрестных сел. Один велосипедист остановился. Вокруг них мигом собралась толпа зевак. Разумеется, никто и словом не обмолвился, что Пепе не в своем уме. Пепе учинил велосипедисту настоящий допрос — кто он, откуда и зачем приехал в Суботицу, а под конец спросил:

— Почему крутишь педаль правой ногой?

— Что?! — воскликнул ничего не подозревавший велосипедист.— Я, как и все, кручу обеими ногами.

Толпа затаила дыхание, чтоб не пропустить ни одного слова.

— Это запрещено законом! — строгим голосом произнес Пепе фразу, которую тогда можно было слышать на каждом шагу. На улицах, в кафе, в магазинах, на базарах, даже в общественных уборных висели таблички, напоминавшие гражданам, что законом запрещается «плевать на тротуар», «водить в парк собак», «торговать на улицах фруктами», «побираться», «обслуживать пьяных посетителей», «неумеющим плавать — купаться в неогороженных местах» и так далее.

Велосипедист показал рукой на проезжавших мимо людей:

— Посмотрите, пожалуйста, все крутят обеими ногами.

Пепе задумался.

— Они живут в Суботице и вольны делать что хотят,— проговорил он наконец.— А ты, бездельник, из Сомбора!

Толпа разразилась гомерическим смехом, а какой-то полицейский, на этот раз настоящий, подошел к Пепе, взял его под руку и сказал велосипедисту:

— Продолжайте крутить обеими ногами. Извините, пожалуйста, это наш городской сумасшедший...

— Все вы тут сумасшедшие! — сердито крикнул велосипедист и поехал прочь.

Итак, этот самый Пепе накормил Пишту. Этот безумец был великодушен.

После завтрака мы всей гурьбой высыпали во двор играть в воров и сыщиков. Не успели мы начать игру, как на входной двери весело зазвонил колокольчик.

— Здесь проживает Милутин Малович? — спросил носильщик, шапкой отирая со лба пот. — Этот ящик я должен вручить ему.

— Что в ящике? — поинтересовался я.

— Черт его знает! — мрачно ответил носильщик. — Похоже, что камни. С меня семь потов сошло, пока допер его с вокзала.

— С вокзала? — удивился я. — Кто же вас послал?

— Одна госпожа. — В голосе носильщика слышалась досада. — Ставьте его где хотите.

Носильщик приволок ящик в сени и ушел. Я кликнул Пишту, чтоб помог мне внести его в комнату, но как мы ни тужились, так и не смогли сдвинуть его с места. Пришлось позвать Лазаря, Милену и Виту.

— Пусть стоит здесь, — сказал Лазарь. — Без подъемного крана тут не обойтись.

Вскоре опять зазвонил звонок. Я открыл дверь и увидел высокую женщину со смуглым морщинистым лицом и спускавшимися по спине длинными косами. На ней был отделанный золотыми пуговицами жилет и зеленое пальто с шелковой выпушкой, а голову покрывал большой черный платок. Именно так я и представлял себе вилу¹ из сказки.

— Клянусь святым Йованом, — воскликнула женщина, — ты вылитый Милутин! Так, так! Ну, твой отец может спать покойно. Поди ко мне, герой, я тебя поцелую!

— С удовольствием, — сказал я. — В лоб или в щеку?

— А язычок у тебя повострей отцовского! Я твоя бабушка.

— Ребята! — радостно крикнул я. — Это наша богатая бабушка из Пивы! Теперь я знаю, почему сундук такой тяжелый — он набит золотом.

— Вот и не угадал, — возразила бабушка. — В ней швейная машинка. Это все мое имущество.

¹ В и л а — русалка, фея.

Она нагнулась, взяла ящик, без особых усилий взвалила его на плечо и отнесла в комнату. Мы так и замерли от изумления.

— Ребята,— сказала Милена,— видели?

— Бабушка сама отнесла ящик! — восхищенно воскликнул Вита.

— Я б его и с вокзала принесла сама, да неловко как-то,— сказала бабушка.— Выбросила на ветер десять динаров!

— Бабушка, так ты не богачка? — разочарованно протянул Лазарь.

Наслушавшись рассказов отца, Лазарь представлял себе, как он будет жить в Пиве, скакать по горам на арабском скакуне, а потом отдыхать в постели — слуги будут подавать ему бананы, финики, кокосовые орехи, яблоки, груши, крендели, айву, мясо, шипиг, баклаву, пирожные, мороженое... Полные тарелки, полные миски, полные корзины! Ах, какая дивная, божественная жизнь!

— «Бабушка, так ты не богачка?» — повторила она вопрос Лазаря, делая точно такую же смешную гримасу.— Слушай меня хорошенько, постреленок: было б у меня столько золота, сколько нет серебра, я могла бы знаться с царями!

— А папа рассказывал, что ты живешь в большом замке и у тебя много слуг, табун лошадей, поля, луга, пастбища,— еще печальнее проговорил Лазарь.— Так это неправда?

— Ах, вот как! — весело воскликнула бабушка.— Я все это продала и купила швейную машинку.

— Бабушка,— я обнял ее,— ты приехала как раз вовремя. Ах, как я тебя люблю!

Бабушка обратила на меня взор, полный недоумения. Но у меня не было времени пускаться в объяснения. Я позвал Пишту, и мы со всех ног понеслись к типографии.

Отца я заметил в большой группе рабочих, стоявших у входа.

— Кого я вижу? — с наигранным удивлением спросил отец, когда мы протолкались к нему.

— Борцов за дело пролетариата! — ответил я.

— Вас-то нам и не хватает! — весело сказал он.— С минуты на минуту начнется спектакль.

СТАРЫЙ ДОЛЖНИК

В два часа женщины, среди которых была моя мать, принесли бастующим обед. Одному богу известно, где они выкопали большой котел на колесах, вероятно ходивший еще в обозе императора Калигулы. Две женщины катили этот драгоценный котел, остальные несли корзины с хлебом и тарелками. Они шли неторопли-

вым, но решительным шагом, их хмурые, насупленные лица выражали гнев и ожесточение.

Над улицей нависла тяжелая, гнетущая тишина. Процессия надвигалась с неотвратимостью грозы или горного потока.

Поперек улицы выстроился кордон жандармов. Они стояли, опершись на свои ружья, словно вросли в землю, и казалось, никакая сила не заставит их двинуться с места. На какой-то миг я даже подумал, что это не люди, а огромные пни, неведь откуда взявшиеся посреди дороги.

Перед этой живой стеной гарцевал на норовистой белой лошади жандармский унтер, высоченный большеголовый детина с огромными, до ушей, усами. Конь под ним храпел и брызгал пеной.

— Личанин! — сказал отец, заметив мой восхищенный взгляд. — Ни дать ни взять средневековый витязь! Народ в Лике — все голь перекатная, вот их и вербуют в жандармерию. Одного не могу понять: откуда у них такие усищи?

— Ружья на прицел! — громовым голосом скомандовал унтер, когда женщины приблизились к жандармам. — Стой! Что в котле?

— Жидкая фасоль, — с улыбкой ответила мать. — Знаете, господин Граховец, фасоли у нас было немного, а воды хоть отбавляй, вот и вышло что-то вроде похлебки.

— Покажите! — грубо потребовал унтер. — И нечего называть меня господином Граховцем. При исполнении служебных обязанностей я только жандармский унтер-офицер!

— Вам бы генералом быть! — тепло сказала мать. — Клянусь, в генеральском мундире вы будете писанный красавец.

— Бросьте вы это, сударыня. — Голос унтера несколько смягчился. — И откройте ваш допотопный котел!

— Сию минуту. Хотите попробовать, господин Граховец? — Мать взяла из корзинки ложку и с улыбкой протянула унтеру.

— Цирк, да и только! — засмеялся отец. — Видишь, как мать заговаривает зубы Реле Крылатому?¹

— Проходи! — гаркнул унтер, убедившись в том, что в котле действительно фасоль, а в корзинах хлеб и ложки. — И чтоб вам животы посводило!

— Спасибо! — отчеканил отец. — И вам того же!

Мать подошла к нам.

— А вас сюда за каким чертом принесло? — накинулась она на нас с Пиштой. — Почему ты бросил детей?

— С ними бабушка, — сказал я.

— Какая бабушка? Чья бабушка?!

¹ Р е л я К р ы л а т ы й — персонаж из сербских эпических песен.

— Наша. Миллионерша из Пивы!

Мать бросила на отца сердитый взгляд. Он безмятежно уписывал свою фасоль.

— Ну, что ты на это скажешь? — спросила мать.

— Фасоль отличная! — весело ответил он.

— Не строй дурачка. Ты звал ее?

— Ага.

— Ну что ж, приехала так приехала. Ума не приложу, где мы будем покупать ей кокосовые орехи и ананасы.

Вдруг слышались крики: «Идут! Идут!» Мать повернулась и быстро пошла к тому месту, где стояли женщины.

— А теперь смотри в оба! — сказал отец. — Ты присутствуешь при историческом событии.

— Я тоже! — гордо воскликнул Пишта.

— Конечно, — подтвердил отец и похлопал его по плечу. — Ты тоже!

По широкой улице под охраной конных жандармов двигалась толпа штрейкбрехеров. Женщины во главе с моей матерью и тетей Марией, работницей типографии, пошли им навстречу.

— Смотри, смотри! — изумленно воскликнул отец. — Лозанчич опять здесь! Вон тот с кудрями... Значит, мало его лупили, хочет добавки. Видишь, сынок, синяки на его гнусной физиономии? Это все ручная работа твоей матери.

— А почему мы их не бьем? — спросил я.

— Незачем. У женщин это лучше выходит. Они наш передовой отряд. Разумеется, в случае нужды мы им подсобим.

Штрейкбрехеры и жандармы приблизились к преградившим им путь женщинам.

— Никак, к месту приросли? — крикнул господин Граховец. — Дайте людям пройти!

— А кто им мешает? — спокойно сказала тетя Мария. — Пусть себе идут на здоровье...

— Господин Лозанчич, вы первый? — крикнула мать.

Отец, Пишта и я — все мы громко расхохотались. Лозанчич грубо выругался, но с места не тронулся.

— Хватит валять дурака! — рявкнул унтер. — Прочь с дороги!

Он дал коню шпоры и двинулся прямо на женщин. Те стояли неподвижно на своих местах. Лошадь унтера прыдала ушами и, бойко вскидывая длинным хвостом, яростно била по мостовой копытами. Вдруг она взвилась на дыбы и вихрем налетела на женщин. Тетя Мария упала, мать отскочила в сторону. Я видел, как она остановилась на минутку, потом повернулась и кинулась к штрейкбрехерам. Белобрысая голова Лозанчича исчезла в общей свалке.

Штрейкбрехеры разлетелись, как испуганные птицы. Но в эту минуту справа, со стороны железнодорожного полотна, показался конный отряд жандармов и полицейских, вооруженных резиновыми дубинками. Они неслись прямо на нас.

— Ого! — воскликнул отец. — Держись, сынок! Сейчас пойдет потеха. Уверен, вы с Пиштой не заскучаете.

Что было дальше, я не помню. На голову мою опустилась дубинка, и я почувствовал, что падаю. Очнулся я в тюрьме. В крошечной камере нас было человек двадцать. Рядом со мной сидели мои дядя — Андра и Тибор.

— Твое счастье, что голова у тебя крепкая, не то был бы уже в царствии небесном! — сказал дядя Тибор. — Болит?

— Ух! — протянул я, ощупывая шишку величиной с орех. — Вот украшение! А где мама с папой? И Пишта?

— Все здесь, — с улыбкой сказал дядя Андра.

— Слушай, — шептал мне дядя Тибор, в то время как дядя Андра стоял у двери, наблюдая в «глазок» за тюремщиком. — Пронюхал-таки этот мерзавец Лозанчич, что печатный станок хранится у вас. Тебя по малолетству первым выпустят на волю. Так вот, прямо отсюда беги в пекарню Андры Дуклянского. Спросишь Милана. Его легко узнать — такой курчавый, черноволосый, да и хром на левую ногу... Скажи ему: «Когда посадите в печь кекс?» Повтори.

— Когда посадите в печь кекс?

— Хорошо, — продолжал дядя Тибор. — Он ответит: «Посадим, когда народ потребует». Расскажи ему про нас, а потом перенесите станок в дом на улице Обилича — вы там будете жить. Ключи у Милана. Сделаешь?

— Неужто вы сомневаетесь, товарищ Рожа? — обиделся я. Он весело засмеялся.

— Ни капельки. Кабы сомневался, не стал бы давать тебе такое поручение.

Меня продержали в тюрьме до вечера. Жандармы все время вели забастовщиков на допрос. Когда повели дядю Тибора, он весело подмигнул мне и поспешил за жандармом с таким блаженным видом, будто шел на свободу. Вернулся он сияющий и счастливый.

— Меня допрашивали! — Дядя Тибор щелкнул языком. — Этим горе-следователям никогда не понять, что, хотя у нас и нет дипломов, мы тоже кончали университеты. Только свои. Что знают они о жизни? Какой-то прилизанный капитанишка битый час выпрашивал, как меня зовут, где работаю, откуда родом, состою ли в профсоюзе и в Коммунистической партии. А я знай себе на все вопросы: «Я не Хоргош, я Тибор Рожа из Суботицы». Тогда он позвал переводчика, который задал мне те же вопросы

по-мадьярски: «Hogy hívják? Mivel foglalkozik? Hol születet? Tagja-e a Szövetségnek? Es a kommunista partnak?» Хотите знать, что я ему ответил? А то же самое, что капитану: «Я не Хоргош, я Тибор Рожа из Суботицы!» Боюсь, что оба заработали нервный тик.

Около шести вечера в камеру вошел жандарм и велел мне следовать за ним. Я бросил на дядю Тибора красноречивый взгляд и быстро зашагал по темному узкому коридору. Вдруг жандарм остановился, постучал и, гаркнув: «Входи!», грубо втокнул меня в дверь.

Прежде всего я увидел огромный письменный стол красного дерева, за которым сидел человек, погруженный в чтение газеты. В нескольких шагах от стола, спиной к двери, стояли мои родители. В первую минуту я страшно обрадовался, но радость моя тут же сменилась страхом, что полиция уже нашла печатный станок. Между тем одного взгляда отца и беззаботной улыбки матери было достаточно, чтоб весь мой страх как рукой сняло.

— Значит, все семейство в сборе! — сказал человек за столом и, опустив газету, пронзил меня долгим испытующим взглядом, на который я ответил полным равнодушием.

Наконец он встал, улыбнулся и подошел ко мне.

— Кажется, ты меня забыл.— И повернулся к отцу: — А вы, сударь?

Отец пожал плечами и вдруг изумленно воскликнул:

— Так это были вы?..

— Значит, вспомнили?

— Да. Вы тот самый жандармский лейтенант, который тонул на Паличе!

— Теперь я капитан! — гордо объявил жандарм и снова воззрился на отца: — Вы, господин Малович, спасли мне жизнь.

— Что ж, — усмехнулся отец. — Человеку свойственно ошибаться!

— А вы шутник, — с кислой улыбкой заметил капитан. — Впрочем, это неважно. Я хочу вернуть вам долг. Вы свободны.

— Хорошо, господин капитан, мы уходим, — сказал отец. — Теперь мы квиты, однако позвольте надеяться, что наша любовь на том не кончится.

— Прощайте! Прощайте, сударь!

Как только мы вышли на улицу, я рассказал отцу все, что сообщил мне дядя Тибор. Мы поспешили домой.

Дома родители поговорили с бабушкой, а потом мы разобрали станок, разложили его по маленьким ящикам и ночью, с помощью мастера Милана, перенесли в дом на улице Обилича. А на следующий день перебрались на новую квартиру.

Как-то в погожий день отец отдыхал во дворе.

— Гм, просто невероятно! — воскликнул он вдруг. — Раз в жизни дал промашку, и та пошла на пользу! А капитану надо зарубить на носу: не зная броду, не суйся в воду!

ПЯТЬ БЕЛЫХ ПЛАТЬЕВ

Моя мать часто говорила:

— Только бы еще Лазарь подрос, тогда я буду самая счастливая женщина на свете. Только бы Лазарь подрос...

Она любила грезить вслух. Вот Лазарь подрастет, пойдет в школу, она не будет привязана к дому, как теперь, сможет, скажем, сходить в театр. У нее будет белое платье до пят, а у папы — фрак. Слушая ее, мы всегда дружно хохотали. Мама не сердилась и, дождавшись, пока мы угомонимся, продолжала свои фантазии. Но мы обычно прерывали ее и просили еще разок рассказать, как она пойдет в театр. Уж очень смешным и забавным казался нам ее рассказ, а посмеяться мы любили. Мама печально улыбалась и, не обращая внимания на наш хохот, с полной серьезностью повторяла:

— У меня будет белое платье до пят, а у папы — фрак.

Шло время, и мы все чаще с грустью думали о том, что мама никогда не пойдет в театр в таком наряде. Мы были очень бедны, а с приездом бабушки Милицы из Пивы жить стало еще труднее. Вместо миллиона, который мы по своей наивности надеялись от нее получить, она привезла одну швейную машинку марки «Зингер», которая стояла в углу и только собирала пыль, так как ни мама, ни бабушка не умели шить. Да и шить было не из чего. Большой коричневый колпак поднимался лишь в тех случаях, когда Даша с Миленой шили из лоскутов платья своим куклам или когда бабушка, вооружившись маленькой жестяной масленкой, смазывала машинку.

Вид «Зингера» вызывал у всех нас неприятное и мучительное чувство. Как-то раз, взглянув на нее, Лазарь сказал маме:

— Когда я вырасту, я подарю тебе белое платье до пят!

Мама долго смотрела на него влажными от слез глазами. Все мы сникли и пригорюнились. Каждый думал про себя, как это он сам не догадался пообещать ей такой подарок.

— Ну а что подарят мне остальные? — спросила вдруг мама с наигранной веселостью.

Ни одна мать в мире не получала столько подарков, сколько их получила в тот день наша мама. Подарки сыпались на нее как из рога изобилия. Вита посулил ей виллу, я — автомобиль, Даша — самолет, а Милена — сто шелковых платьев, двести из парчи, триста тюлевых и...

— Пстой! — перебила ее мама. — А что я буду с ним делать?

Мы продолжали дарить ей драгоценности, о которых знали только понаслышке. Мама смеялась, благодарила нас, «брала» подарки в руки, рассматривала, восхищалась, но я чувствовал, что в душу ей запал лишь подарок Лазаря — белое платье до пят, в котором она пойдет в театр, когда он подрастет.

И вот долгожданный день настал. Мама поднялась чуть свет и затеяла в доме такую возню, что все мы проснулись. Я вошел в кухню, где она готовила завтрак, и застыл от изумления — передо мной стояла незнакомая красивая женщина без единой морщинки на удивительно молодом лице. Горькая улыбка, придававшая ей какое-то печальное, пожалуй, даже трагическое выражение, куда-то исчезла.

— Что уставился на меня, как теленок? — спросила мама, как бы прочтя мои мысли. — Не узнал родную мать?

— Я еще не видел тебя такой веселой, — сказал я, не скрывая своего восхищения.

— А знаешь ли, мудрец, почему? Мог бы догадаться, умная головушка. Сегодня лучший день в моей жизни... — Она чуть понизила голос, чтобы не слышали дети за стенкой. — Так знай же: я уже несколько лет коплю на белое платье, длинное белое платье... Ах, какая я буду в нем красивая! После обеда пойдем с папой покупать платье, а вечером — в театр! Будем смотреть «Госпожу министершу»¹ и билеты возьмем не на галерку, под облака, а в первый ряд партера! Ну, что ты на это скажешь, шут гороховый?

— Думаю, что в белом платье ты будешь очень красивая.

— Дурачок! — Она громко рассмеялась. — Я буду прекрасна, божественно прекрасна!

Оставив маму наедине с ее радостью, я вышел во двор умыться. А после завтрака взял Лазаря за руку и повел в школу.

У ворот мама давала Лазарю последние наставления:

— Сиди на уроках смирно, не вертись как на иголках, не смотри по сторонам... Понял? И внимательно слушай учителя. Он для тебя бог! Сегодня Драган тебя отведет, а потом будешь ходить сам. А сейчас ступайте, не то опоздаете. И запомни: слушайся брата!

— Не беспокойся, мама! — сказал я. — Он будет меня слушаться. Правда, Лазица?

— Правда, — подтвердил Лазарь. — Я буду слушаться.

После уроков я ждал Лазаря у школы. Вид у него был унылый и потерянный.

¹ «Г о с п о ж а м и н и с т е р ш а» — комедия известного югославского писателя Бранислава Нушича.

— Никакой он не бог, наш учитель, а самый обыкновенный старикашка. И еще шепелявый. «Ваши лодители плывели вас ко мне. И холошо сделали. Я сделаю из вас людей». И так все время. Голова трещит от его болтовни. Давай хоть погуляем немножко!

Я охотно согласился. Тут-то я и совершил большую, непоправимую ошибку. Но разве мог я знать, что прогулка по тихому заштатному городку может таить в себе опасность? В то время на всю Суботицу было три автомобиля — один принадлежал господину Дакичу, народному депутату, второй — богатому торговцу Литману, а третий доктору... доктору... словом, тому самому, что лечил меня от ветрянки, скарлатины и дифтерита.

Постояв немного у городской управы, возле которой резвилась стая голубей, мы свернули направо. Собственно говоря, я собирался идти налево, и тогда не случилось бы того, что случилось, но Лазарю так хотелось пройти мимо булочной Коробоша и хоть одним глазком взглянуть на рабочих, месивших тесто в больших деревянных корытах, что я не выдержал и пошел направо. Этот хитрец всегда умел подольститься ко мне и добиться своего.

Мы шли по улице, громко распевая всякие песни. Лазарь подцепил пустую консервную банку и, пошвыривая ее ногой, то забегал вперед, то отставал. Вдруг банка подкатилась ко мне, и я увидел на ней улыбающегося негра с большими серьгами в ушах. «Пейте кофе Юлио Мейнл», — было написано на этикетке. «Ладно, запомним», — подумал я и так поддал банку, что она покати-лась к противоположному тротуару.

У трамвайной линии я остановился. Лазарь торчал еще перед пекарней — шагах в двадцати от линии. Это был старый приземистый дом с гипсовыми ангелами на фасаде. Наверху, в доме, помещалась булочная, а в подвале, куда едва проникал дневной свет (днем и ночью там горела электрическая лампочка), была пекарня.

— Пошли, Лазица! — крикнул я. — Пора домой, не то останемся без обеда. Вита, Даша и Милена все съедят!

Обычно эта угроза действовала на Лазаря безотказно, но на сей раз она не сработала.

Я зашагал к пекарне, полный решимости надрать уши своему обожаемому брату. Он стоял у подвального окна, просунув голову сквозь решетку, и неотрывно глядел на рабочих.

— Что ты увидел там такое интересное, что оторваться не можешь? — нетерпеливо спросил я.

— Голова застряла! — захныкал Лазарь. — Это самое интересное!

— Не валяй дурака! — Я начал злиться. — Идем, после обеда мне в школу!

Рабочие оставили дело и с интересом воззрились на нас.
— Я не могу вытащить голову! — простонал Лазарь.
— Как же ты ее просунул? — удивился я.
— Не знаю... — Лазаря душили рыдания.
Вокруг нас собралась толпа, из булочной вышел газда Коробош.
— Убирайся отсюда! Мешаешь людям работать! — прорычал он и, схватив Лазаря за плечи, стал оттаскивать от окна.
Лазарь кричал благим матом.
— Перестаньте, газда Коробош! — сказал я решительно. — Он и в самом деле застрял.
— Еще чего? Как пролез, так и вылезет. Иль голова выросла за пять минут?
— Выходит, выросла, — отвечал я.
Толпа вокруг нас все прибывала. Подошли полицейские.
— Чей парнишка? — спросил один из них. — Кто толкнул его в решетку?
Я молчал.
— Сам влез, — буркнул газда Коробош.
— Вы здесь работаете? — спросил полицейский.
— Я хозяин! — с достоинством ответил Коробош.
— Так, — многозначительно сказал полицейский и, наклонившись к Лазарю, спросил: — Как тебя зовут?
Люди зашумели. Женщина с младенцем на руках выступила вперед:
— Спасите ребенка, пока не поздно! Вытащите его оттуда! А еще полиция! Им бы только справки наводить, а помочь человеку в беде — не их забота.
Младенец заплакал.
— А вам бы только языком чесать! Заморите ребенка, — огрызнулся полицейский и, обернувшись, накинулся на меня: — А ты что рот разинул? Марш отсюда! Здесь не цирк!
— Я не могу уйти. Это мой брат.
Полицейские попытались было раздвинуть прутья, но они были толстые и крепкие. Несколько человек из толпы вызвались им помочь.
— Ничего не выйдет, — сказал полицейский, отирая со лба пот. — Какого черта поставили такую решетку! Можно подумать, что в этой халупе не тараканы, а золото! Придется послать за слесарем!
— Решетка не с неба свалилась! — взволнованно крикнул газда Коробош. — За нее деньги плачены!
— Подумаешь! — сказала женщина с ребенком. — Не обеднеете из-за пары прутьев.
— Помолчите, госпожа Панич! — цыкнул на нее газда Коро-

бош.— Вы мне должны сто двадцать динаров. Будете много разговаривать, перестану хлеб в долг давать!

— Экое вы нам делаете одолжение! — не унималась женщина.— Каждый раз присчитываете двадцать — тридцать динаров. И не только нам. Всех обираете. Грабите бедняков.

— Какая наглость! — крикнул кто-то из толпы.— Возвращай им деньги!

— Прекратите шум! — рыкнул полицейский.— А ты беги домой и приведи взрослых. Эй вы, бездельники, расходись! Расходись, расходись!

— Не дам пилить, пока не заплатите! — крикнул газда Коробош мне вдогонку.— Деньги на бочку — и решетка ваша!

Я рассказал маме о случившемся. Она побледнела и бессильно опустилась на стул. Помертвелыми губами шептала она, что я очень нехороший мальчик, раз могу так грубо и зло шутить над ней, что я несу несусветный вздор, ибо такого быть не может. Я стоял, низко понурив голову, не смея взглянуть ей в глаза. Я чувствовал себя кругом виноватым и лепетал в свое оправдание что-то бессвязное.

— Значит, Лазарь в пекарне Коробоша,— отсутствующим голосом сказала мама и пошла в комнату.

Вскоре она вернулась с завернутой в шелковый голубой платок шкатулкой. Она долго смотрела на сверток немигающими глазами и наконец проговорила сквозь душившие ее слезы:

— Здесь мои сбережения. Хотела пойти сегодня в театр в длинном белом платье. Об этом я мечтаю уже много лет... Но, видно, не суждено. Не суждено...

Мы не торгуясь заплатили газде Коробошу, а оставшиеся деньги отдали слесарю. А когда мы пришли домой, мама подарила Лазарю свою заветную шкатулку — для карандашей и перьев.

— Может, это к лучшему,— вздохнула она.— Давно я не была в театре и совсем от него отвыкла. Я уверена, что мне было бы ужасно скучно!

С тех пор прошло много лет. Как-то я навестил мать. Мы сидели на веранде.

— Помнишь ту историю с Лазарем? — спросила она вдруг и засмеялась.

— Да, помню.

— У меня и вправду хорошие дети,— продолжала она с заметным волнением.— Видишь, я никому из вас еще не говорила этого. Каждый год в день рождения я получаю пять белых платьев.

ПОДАРОК БРАТУ

С тех пор как Рыжий кот поселился на ферме дядюшки Ласло, мы словно забыли о нем. Казалось, он раз и навсегда вычеркнут из нашей жизни. И все же я постоянно ощущал его присутствие, он был здесь, с нами.

Как-то раз я полез в шкаф за рубашкой и вдруг в груди белья обнаружил тетрадь для рисования, принадлежавшую Милене. Как она сюда попала? Конечно, не случайно. Но почему Милена прятала самую обыкновенную дешевую тетрадку для рисования? Что могло в ней быть?

В комнате никого не было, и я решил полистать ее. Представь, сынок, мое удивление, когда на первой же странице я увидел кошку, под которой кривыми печатными буквами было написано: «Мой Рыжик». Еще на нескольких страницах был нарисован Рыжий кот, а потом я увидел толстого человека с противной физиономией. В одной руке он держал кошку, другой крепко сжимал палку. Над рисунком была надпись: «Газда Лайош бьет моего Рыжего кота», а внизу, под ним, множество раз: «Ненавижу его... ненавижу... ненавижу...» Местами чернила расплылись — это Милена плакала, вспоминая происшествие на ферме Лайоша и печальную судьбу нашего Рыжего кота.

А спустя много лет, когда я был уже взрослым и писал книжки, почтальон вручил мне пакет с пожелтевшей тетрадью и письмом. Едва вскрыв его, я узнал почерк Даши.

Дорогой брат,— писала она,— в детстве я вела дневник, в который заносила все смешные и грустные события той далекой поры, когда все мы жили под одной крышей. Недавно он попался мне на глаза, и я сразу подумала о тебе: ведь ты пишешь для детей и он мог бы тебе пригодиться. Мне бы очень хотелось, чтоб ты написал что-нибудь о Рыжем коте. Помню, я чувствовала себя глубоко несчастной, когда вы с отцом унесли его к дядюшке Ласло. Я долго думала о том, правильно ли вы тогда поступили, и поверь, до сего дня не уверена в этом полностью. Согласен ли ты со мной?

Многое, сынок, я позаимствовал из Дашиного дневника. Там я нашел ту историю, которую ты сейчас услышишь.

Как-то раз, придя из школы, Лазарь открыл свой ранец, и оттуда одна за другой выпрыгнули несколько ящериц. Мы ахнули и бросились кто куда: кто влез на кровать, кто на стул, а Вита умудрился даже забраться на шкаф. Мы кричали, ревели, но он невозмутимо стоял посреди комнаты, с восхищением глядя на своих любимцев.

— Вы только взгляните на них! — повторял он каждую минуту. — Ведь они такие красивые!

— Хвосты длинноваты,— презрительно заметила Милена.
— А ну-ка собирай свой зверинец! — сказал я.— Мне надоело стоять на стуле.

— Что здесь происходит? — спросила мама, входя в комнату.— Как сюда попали ящерицы?

— Лазарь принес,— объяснила Милена.

— Хочешь превратить дом в зоопарк? — крикнула мама.— Сию минуту унеси отсюда этих вертихвосток!

Лазарь отнес ящериц во двор.

— Милые мои ящерки, милые мои ящерки...— приговаривал он, вынимая их из ранца.

— Любит животных,— сказала мама, глядя на него в окошко.— Видит бог, хлебом мы с ним горя.

И действительно, не прошло и трех дней, как мы услышали нетерпеливый стук в дверь.

— Что стучишь? — сердито крикнула мама, полагая, что это кто-то из нас.— Погоди, я тебе задам!

Она отворила дверь и в страхе отпрянула назад — перед ней стоял незнакомец.

— Я Милорад Папич,— пробурчал он.— А вы госпожа Малович? Да? Ага! Значит, вы мать этого воришки! Ну так вот, я требую немедленно вернуть мне украденное. В противном случае подам в суд. Ну так вот! Так ловко и дерзко воровать может только хитрый и опытный жулик.

— Послушайте, господин «Ну так вот»! — вышла из себя мама.— Мы собираемся обедать, а вы колотите в дверь, шумите, и я терпеливо выслушиваю всю эту несуразицу! Можете ли вы, господин Панич...

— Папич,— поправил он.

— Можете ли вы, господин Папич, толково объяснить мне, что вам угодно?

— Конечно. Ну так вот! Ваш сын украл у меня голубей.

— Мой сын? Какой?

— Вон тот.— Он показал на Лазаря.— От стола два вершка, а уже голубей ворует. И ловко! Ну так вот! Украл у меня лучшую пару, моих любимцев — Предрага и Ненада.

— Вот почему он после школы сразу бежит домой! — сказала мама.— Господин Павич...

— Извините, Папич,— опять поправил ее голубятник.— Почему-то все коверкают мою фамилию!

— Не огорчайтесь из-за этого! — сказала мама.— А своих любимцев Предрага и Ненада вы сейчас получите!

Она взяла шумовку и поднялась на чердак. Сверху долго слышался рев Лазаря, а потом мы увидели спускавшуюся по лестнице маму. Она несла две пары голубей.

— Какие ваши? — спросила она Папича. — Возьмите. А из этих мы сделаем гуляш.

— Прошу вас, сударыня, — сказал Папич, беря своих голубей, — не бейте Лазаря.

— Он уже получил такую трепку, что больше и не подумает заводить себе ящериц, голубей, орлов или диких коз... А вам, господин Папич, большое спасибо.

Лазарь тяжело переживал потерю голубей. Он перестал есть, бледнел и таял как свечка. Никакие игры и забавы не могли вызвать на его лице даже тень улыбки.

— Леший возьми этих голубей, — вздохнула мама. — И наесться не наелись, только нажили беду!

— Ты думаешь, он из-за голубей убивается? — спросил я.

— Из-за голубей, из-за улиток, из-за слонов... Он любит животных, и все тут. Надо что-то придумать, не то этот упрямец объявит голодовку, как Ганди, на целый месяц.

В это время кто-то позвонил. Лазарь, бывший в сенях, пошел открывать.

— Кто там? — крикнула мама.

— Почтальон Видое! — ответил Лазарь. Вслед за тем донесся до нас шепот.

Мама вышла в сени.

Почтальон покраснел до корней волос.

— Письмо... — лепетал он в смущении. — Нет никакого письма.

— У вас ко мне дело?

— Я, это... мне... Я просто не знаю, как вам сказать!

— Мама, — грустно вымолвил Лазарь и взглянул на маму, — дядюшка Видое хочет подарить мне котенка.

— Знаете, я обещал вашему парнишке котенка, когда Фида окотится. Так вот, она недавно окотилась... четверо... один лучше другого... Одного я принес Лазице.

— Не везет нам с кошками, — мрачно заметила мама. — Вы уверены, что ваш котенок станет честным котом?

— Сударыня! — В голосе Видое слышалась обида. — О чем вы говорите? Я вас не понимаю. Этот котенок будет украшением вашего дома, радостью вашего ребенка!

— Вы поете, как коммивояжер! — усмехнулась мама. — Кажется, я сдаюсь. Вы в самом деле полагаете, что он будет порядочным котом, когда вырастет?

Видое вспыхнул.

— Сударыня, моя Фида — благороднейшее животное сиамской породы! В другой стране за такого котенка я получил бы целое состояние. В других странах золотом платят за сиамских котят!

— Ну, раз так,— засмеялась мама,— от всего сердца принимаем ваш подарок. Возьми его, Лаза!

Лазарь утер слезы и с недоверием воззрился на маму.

— Ты мне разрешаешь взять котенка? — спросил он после некоторого раздумья.

— Еще спрашиваешь? Ты что, не слышал, какая это драгоценность? Этот котенок да бабушкина швейная машинка составят все наше богатство!

— Ребята! — воскликнула Милена.— Как его назовем?

— «Как, как»! — пробурчал Лазарь.— Конечно, Рыжим котом.

— Но ведь он не рыжий! — засмеялся Вита.— Разве ты не видишь, что он весь белый?

— Эка важность! Я бы и зеленого назвал Рыжиком!

Лазарь поцеловал маму, меня, почтальона Видое, а потом схватил котенка и с криком: «Рыжик! Рыжик!» — вихрем умчался во двор.

Мы поблагодарили Видое и пошли в кухню. Через открытое окно доносился восторженный голос Лазаря и тоненькое, отрывистое мяуканье сиамского котенка.

PIROS, FENÉR, ZÖLD¹

С тех пор как мы переехали на новую квартиру, у нас были вечные затруднения с водой. Просто невероятно, сколько воды в день расходует семья из восьми человек. Наверное, целое озеро. С утра до вечера мы только и делали, что носили воду. А сколько было споров, шуму и препирательств из-за того, кому идти за водой!

— Пусть Милена сходит,— буркнул я, когда мать торжественно объявила, что в доме нет ни капли воды.— Ее очередь.

— Что? — вскипела Милена.— Я сегодня уже три ведра принесла.

— Я тоже! — подал голос Лазарь.

— А я уже пять раз ходил,— сказал я.— Бабушка может подтвердить.

— Мне только и дела, что считать, кто сколько ведер принес,— отозвалась бабушка.— Будет спорить! Драган с Витой, марш по воду! Да поживее.

— Можно, я им помогу? — спросил Пишта.

— Ради бога! — ответила бабушка.— Можешь даже сам принести ведерка два-три, раз тебе так нравится быть водоносом.

¹ Красное, белое, зеленое (венгр.).

У колодца собралась очередь. Первой была какая-то старуха, за ней — двое мальчишек, в хвосте — сыновья мясника Имре Ленджела, оба низенькие, толстые, с красными, как свекла, лицами. Я часто видел их в мясной лавке и всегда испытывал неприязненное чувство к этим недоумкам. Но с особенным омерзением я смотрел на них в воскресные дни, когда они шли в церковь — надушенные, напудренные, чистенькие, в одинаковых костюмчиках с бантами и в зеленых панамках — паяцы, да и только!

— Чем-то запахло! — сказал вдруг старший Ленджел и, сделав несколько шагов в нашу сторону, потянул воздух носом. — Фу! Так это вы портите воздух! Воняете, как дохлые блохи!

Младший Ленджел подошел к брату.

— И как хорьки! — прибавил он с нескрываемым отвращением.

Стоявшие в очереди мальчишки хихикнули. Старший Ленджел сказал им что-то по-мадьярски, и они разразились диким, злорадным хохотом. Пишта нахмурился.

— Все сербы — вонючие твари! — крикнул Ленджел. — Но скоро Суботица станет нашей, тогда мы вам покажем!

— А я и не знал, что ваш отец такой богач, — засмеялся я. — Собирается купить всю Суботицу?

— Суботица будет принадлежать нам, мадьярам! — вызывающе заявил Ленджел.

— Вы не мадьяры! — гневно сказал Пишта. — Вы просто ослы! Свиньи! Вот вы кто!

Старший Ленджел приблизился к Пиште и стал честить его за то, что он говорит на «этом поганом сербском языке». Он обзывал его врагом, предателем, подонком, грозил жестокой расправой за дружбу с нами. Но Пишта даже бровью не повел. Спокойно и невозмутимо смотрел он на кипевшего от злобы Ленджела.

— Кончай! — оборвал Ленджела один из мальчишек. — С ним мы еще потолкуем. Он мадьяр, его место с нами. Потешимся лучше над вонючими сербами!

— Правильно! — гаркнул старший Ленджел. — Бей этих гадов!

И все четверо яростно набросились на нас.

— Гнусы! — крикнул я и хватил Ленджела ведром. — Затейли грязное дело! Ничего у вас не выйдет!

Мы с Витой орудовали ведрами, точно дубинами. Пишта усердно тузил младшего Ленджела. Но силы были неравные, и мы уже боялись за исход сражения, как вдруг к колодцу подошел Благое, школьный товарищ Виты. Не поинтересовавшись даже причиной потасовки, он тут же бросился нам на помощь. Вскоре противник был наголову разбит и позорно бежал с поля боя,



оставив у колодца пустые ведра. Должен, однако, признаться, что победа далась нам нелегко — враг был силен и ловок и здорово разукрасил нас синяками и шишками.

— Ленджел скот, а не мадьяр, — сказал Пишта, вытирая струящуюся из носа кровь.

— Надо спешить, — сказал я. — Ленджелы скоро вернутся с подкреплением. Вита, качай воду! Пишта, держи ведро!

— На кого вы похожи! — воскликнула бабушка, едва заведя нас. — Словно с Косова¹ идете. С кем дрались?

Мы рассказали все, особо подчеркнув храбрость Пишты. Отец глубоко задумался.

— Кто знает, может, нам и вправду скоро придется уехать отсюда? — сказал он. — Я нисколько не удивлюсь, если разбойники Хорти² на днях войдут в Суботицу. После мартовских событий³ всего можно ожидать. А ты, Пишта, настоящий герой! Наследник Белы Куна!⁴ Иди, сынок, я тебя обниму и поцелую!

Растроганный Пишта заплакал. Отец ладонью вытер его слезы.

— Знайте, дети, — сказал он взволнованно. — Пишта поступил смело и благородно. Слушай, Драган, ты вечно что-то маракуешь. Если когда-нибудь будешь писать о теперешних временах, то не забудь упомянуть и Пишту.

— Обязательно упомяну, — засмеялся я. — Он дрался как лев, хотя Ленджел ему нос расквасил.

— А я из него лепешку сделал! — похвалился Пишта, победоносно выпятив грудь.

После обеда Вита, Лазарь и я отправились в школу. Пишта проводил нас до парка.

— Я помирился с преподобным Амврозием, — сказал он. — Сегодня буду чистить колокол. А завтра приду к вам.

Пишта пошел в церковь, а мы неторопливо зашагали к школе. Когда церковный колокол возвестил начало третьего, в класс вместе с учителем вошло несколько солдат в зеленых мундирах и двое штатских с красно-бело-зелеными повязками на руках. Они выстроились у кафедры и вдоль стены и навели на нас винтовки. Мы смотрели на них, не понимая, что здесь надо солдатам.

— Есть среди вас мадьяры? — спросил один штатский.

Несколько мальчиков встали. Солдат сказал им что-то, и они вышли.

¹ К о с о в о. — 15 июня 1389 года на Косовом поле произошла битва, положившая начало завоеванию Сербии турками.

² Х о р т и М и к л о ш — фашистский диктатор Венгрии (в 1920—1944 гг.), палач венгерского народа.

³ В конце марта 1941 года, когда гитлеровцы готовили нападение на Югославию, хортисты выразили готовность принять участие в этом нападении.

⁴ Б е л а К у н — один из основателей Коммунистической партии Венгрии.

— А вас расстреляем! — обратился к оставшимся тот же штатский. — Сербские собаки!

Он вытащил из кармана пистолет и выстрелил в воздух. Мы в страхе пригнулись к партам. Солдаты расхохотались.

— Кто из вас знает мадьярский? — спросил долговязый штатский.

Физиономия его показалась мне знакомой. Ба, да это газда Коробош!

Я, сынок, не храбрец и все же встал и спокойно сказал:

— Я знаю. Egy, kétfő, három, negy, öt, hat, hét, kilenc, tíz...¹

— Хорошо. — Коробош осклабился. — А что еще ты знаешь?

— Вот: tízenegy, tízenkétfő, tízenhárom, tízennégy...²

— Tizenöt!³ — рявкнул Коробош и ударил меня по лицу. Я залился кровью.

Он подошел к доске и написал большими буквами:

PIROS. FEHÉR. ZÖLD —
EZ A MAGYAR FÖLD!

(Красное, белое, зеленое —
это мадьярский флаг!)

Потом он громко прочел написанное и сказал:

— Повторяйте за мной! Piros, fehér, zöld... Ну как? Начали! Piros, fehér, zöld... Вы что, немые? Черти полосатые! Piros, fehér, zöld...

Наступила мертвая тишина. Слышался только глухой голос Коробоша. Мне казалось, что он идет из какого-то иного мира, из мира, полного страха и ужаса. Щеки мои пылали огнем, но гораздо сильнее жгла меня боль душевная. Я не в силах передать тебе, сынок, всю бездну страданий, мук, скорби и отчаяния, в которую повергла меня эта пощечина. Я был точно в столбняке. Другие тоже сидели словно окаменелые.

— Всем молчальникам всажу в глотку пулю! — гаркнул Коробош и положил на кафедру пистолет. — Начинайте!

Целый час повторяли мы этот стишок. Губы мои едва шевелились, а из горла вместо слов вырывался какой-то непонятный хрип. Слезы бежали по лицу и падали на парту. Я осмотрелся — почти все в классе плакали. Вскоре нас вывели во двор, где уже толпились перепуганные малыши.

Коробош влез на стол и заговорил:

— Раз, два, три... Начали: Piros, fehér, zöld, és a magyar

¹ Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять, десять... (венгр.)

² Одиннадцать, двенадцать, тринадцать, четырнадцать... (венгр.)

³ Пятнадцать! (венгр.)

föld! Так! Поздравляю! — цинично сказал он. — А сейчас мы прогуляемся по городу.

Под конвоем солдат и вооруженных штатских фашистов мы ходили по улицам, как похоронная процессия, выкрикивая по знаку Коробоша эти два стиха. Наконец нас привели на площадь перед городской управой. Там происходило нечто страшное. На тротуаре валялись трупы. Чуть поодаль, в окружении солдат, стояли доктор Сем, дядя Андра, дядя Тибор, мой отец и еще несколько незнакомых мне людей. Вита с Лазарем бросились ко мне.

— Я боюсь, — прошептал Лазарь. — Я боюсь...

Я молча обнял братьев. Отец заметил нас. «Сынок, ты самый старший, — сказал он как-то на днях. — Если со мной что случится, позаботься о детях. Замени им отца». Я еще крепче прижал к себе Виту с Лазарем.

— Держитесь! Отец смотрит на нас.

Тут я увидел в толпе местных фашистов мясника Ленджела. Он разговаривал с офицером, и тот одобрительно кивал головой после каждого его слова. По его знаку солдаты схватили доктора Сема, дядю Тибора и отца и, подталкивая их прикладами, отвели в сторону.

— Это разбойники и враги венгерского народа! — громко заявил Ленджел. — Сербь с евреями целых двадцать лет глумились над нами. Сейчас мы с ними расквитаемся!

Двое солдат схватили дядю Тибора и потащили к городской управе.

— Разве дядя Тибор еврей? — спросил Лазарь.

— Конечно, нет, — ответил я. — Он мадьяр. Просто Ленджел — гнусный лжец!

— Eljen Magyarország!¹ — воскликнул дядя Тибор. — Да здравствует Коммунистический Интернационал!

Окровавленное тело дяди Тибора упало на тротуар. Среди школьников послышались испуганные крики и плач.

— Молчать! — загредел Коробош. — Всех крикунов поставят к стенке!

Солдаты подвели к стене доктора Сема. Увидев меня, он смущенно улыбнулся и помахал рукой. Он всегда так махал, когда уходил от нас. Я ждал, что вот и сейчас он перейдет площадь своими крупными ровными шагами, а завтра зайдет к нам, чтобы поговорить и поспорить с моим отцом. Я закрыл глаза и стоял так, пока над площадью не прогремел выстрел.

С городской управы шумно взлетела стая голубей и, описав в воздухе круг, снова вернулась на крышу. Опять наступила тишина.

¹ Да здравствует Венгрия! (венгр.)

Знал ли я тогда, что сейчас произойдет? Да, знал и все же никак не мог в это поверить, никак не мог представить себе, что отца могут убить. С каким-то шальным упорством я верил в невозможное, ждал великого чуда — вот-вот, казалось мне, отец превратится в невидимку или взмахнет руками и взмлет, точно птица, в голубую высь. Все это смахивало на бред; но я так сильно любил отца, что не мог думать иначе.

— Дети! — крикнул вдруг Ленджел, подходя к отцу. — Я хорошо знаю этого человека. Я знаю о нем даже такое, чего не знали его лучшие друзья. Он коммунист, паршивая красная собака! Но я знаю, что у него пятеро детей. Поэтому господин майор Сигетти великодушно дарует ему жизнь. Что он должен сделать? Только отречься от своих завиральных идей, от своих чудовищных убеждений; он должен сказать, что выходит из Коммунистической партии.

Отец громко рассмеялся.

— Шутить изволите, господин мясник! — сказал он. — У меня ничего нет, кроме убеждений. Без них я был бы совсем нищим.

Майор Сигетти о чем-то спросил Ленджела, тот ответил и снова обратился к отцу:

— Разве вы не любите своих детей? Подумайте о них!

— Только о них, господин мясник, я еще и думаю!

— В таком случае перестаньте упрямиться. Господин Сигетти тоже готов пойти на уступки. Он вполне удовлетворится, если вы крикнете: «Да здравствует Миклош Хорти!»

— Как бы не так! — не колеблясь, сказал отец. — При всем честном народе? Что подумают обо мне мои сыновья? Я учил их другим наукам, а не рабству и покорности. Так что, господин мясник, ваше предложение для меня неприемлемо. Вам никогда этого не понять! Я не виноват, что вы такой тупица!

Отец разговаривал с Ленджелом, но я знал, что на самом деле он обращается ко мне, Лазарю и Вите.

— Хорошо! — рявкнул Ленджел. — Ведите!

Солдаты вскинули ружья. Майор Сигетти извлек из ножен саблю, вытянул руку и вдруг быстрым движением опустил ее. Солдаты дали залп. Изрешеченный пулями, отец стал медленно опускаться на тротуар. Но в нем тлела еще последняя искра жизни, он улыбнулся и проговорил с гордостью и неистребимой надеждой:

— Сыны мои...

Ночью мы покинули Суботицу. Перед нами была неизвестность. Надвигались трудные, суровые военные дни.



Джеймс Крюс

ТИМ ТАЛЕР, ИЛИ ПРОДАННЫЙ СМЕХ

К читателю

Эту историю рассказал мне один человек лет пятидесяти: я познакомился с ним в Лейпциге, в типографии, куда он так же, как и я, заходил узнавать, подвигается ли дело с печатанием его книги. (Речь в этой книге, если не ошибаюсь, шла о кукольном театре.) Человек этот поразил меня тем, что, несмотря на свой возраст, смеялся так сердечно и заразительно, словно десятилетний мальчик.

Кто был этот человек, я могу только догадываться. И рассказчик, и время действия, и многое другое в этой истории так и осталось для меня загадкой. (Впрочем, судя по некоторым приметам, главные ее события развернулись около 1930 года.)

Мне хотелось бы упомянуть, что записывал я эту историю в перерывах между работой на оборотной стороне бракованных гранок — длинных-предлинных листов второсортной бумаги. По-

тому и книга разделена не на главы, а на листы, но листы эти, собственно говоря, и есть не что иное, как главы.

И еще одно предупреждение. Хотя в этой книге говорится про смех, смеяться читателю придется не так уж часто. Но, пробираясь ее путями сквозь темноту, он будет, сколько бы ни кружил, все ближе и ближе подходить к свету.

КНИГА ПЕРВАЯ

ПОТЕРЯННЫЙ СМЕХ

Что ж, по рукам, король! Но, право, верь,
Смех означает: человек не зверь.
Так человек природой награжден:
Когда смешно, смеяться может он!

*Из пролога кукольной комедии
«Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!»*

Л и с т п е р в ы й

МАЛЬЧИК ИЗ ПЕРЕУЛКА

В больших городах с широкими улицами и теперь еще встречаются переулки такие узкие, что можно, высунувшись из окошка, пожать руку соседу из окошка напротив. Иностранные туристы, которые путешествуют по свету с большим запасом денег и чувств, случайно очутившись в таком переулочке, всегда восклицают: «Как живописно!» А дамы вздыхают: «Какая идиллия! Какая романтика!»

Но эта идиллия и романтика — одна видимость, потому что в таких переулках обычно живут люди, у которых совсем мало денег. А тот, у кого в большом богатом городе так мало денег, нередко становится угрюмым и завистливым. И дело тут не только в людях, тут дело в самих переулках.

Маленький Тим поселился в таком переулке, когда ему было три года. Его веселая круглолицая мама тогда уже умерла, а отцу пришлось наняться подсобным рабочим на стройку, потому что в те времена не так-то легко было найти хоть какую-нибудь работу. И вот отец с сыном переехали из светлой комнаты с окнами на городской сад в узкий переулочек, вымощенный булыжником, где всегда пахло перцем, тмином и анисом: в переулочке этом

стояла единственная во всем городе мельница, на которой мололи пряности. Вскоре у Тима появилась худощава мачеха, похожая на мышь, да еще сводный брат, наглый, избалованный и такой бледный, словно лицо ему вымазали мелом.

Хотя Тиму только исполнилось три года, он был крепким и вполне самостоятельным пареньком, мог без всякой посторонней помощи управлять океанским пароходом из табуреток и автомашиной из диванных подушек и на редкость заразительно смеялся. Когда его мама была еще жива, она хохотала до слез, слушая, как Тим, пустившись в далекое путешествие по воде и по суше на своих подушках и табуретках, весело выкрикивает: «Ту-ту-ту! Стоп! Аме-е-рика!» А от мачехи он за то же самое получал шлепки и колотушки. И понять этого Тим не мог.

Да и сводного брата Эрвина он понимал с трудом. Свою братскую любовь тот проявлял весьма странным способом: то кидался щепками для растопки, то мазал Тима сажей, чернилами или сливовым джемом. И уж совсем непонятно было, почему доставалось за это не Эрвину, а Тиму. Из-за всех этих непонятных вещей, приключившихся с ним на новой квартире в переулке, Тим почти совсем разучился смеяться. Только когда отец бывал дома, звучал еще иногда его тоненький, залиvistый, захлебывающийся смех.

Но чаще всего отца Тима не было дома. Стройка, на которую он нанялся, находилась на другом конце города, и почти все свободное время уходило у него на дорогу. Он и женился-то во второй раз главным образом для того, чтобы Тим не сидел целый день дома один. Только по воскресеньям ему удавалось теперь побыть вдвоем со своим сынком. В этот день он брал Тима за руку и говорил мачехе:

— Мы пошли гулять.

Но на самом деле он шел вместе с Тимом на ипподром и ставил на какую-нибудь лошадь, совсем немного, мелочишку, то, что удалось скопить за неделю потихоньку от жены. Он мечтал, что в один прекрасный день выиграет целую кучу денег и опять переберется с семьей из узкого переулка в светлую квартиру. Но, как и многие другие, он напрасно надеялся на выигрыш. Почти всякий раз он проигрывал, а если и выигрывал, то выигрыша едва хватало на кружку пива, на трамвай да на кулек леденцов для Тима.

Тиму скачки не доставляли особого удовольствия. Лошади и наездники мелькали так далеко и так быстро проносились мимо, а впереди всегда стояло так много людей, что, даже сидя на плечах у отца, он почти ничего не успевал разглядеть.

Но хотя Тиму было мало дела и до лошадей и до наездников, он очень скоро разобрался в том, что такое скачки. Когда он ехал с отцом домой на трамвае, держа в руках кулек с разноцветными

леденцами, это значило, что они выиграли. Когда же отец сажал его на плечи и они отправлялись домой пешком, это значило, что они проиграли.

Тиму было все равно, выиграли они или проиграли. Ему так же весело было сидеть на плечах у отца, как и ехать в трамвае, даже, по правде сказать, еще веселее.

А самое веселое было то, что сегодня воскресенье и они вдвоем, а Эрвин с мачехой далеко-далеко, так далеко, словно их и вовсе нет на свете.

Но, к сожалению, кроме воскресенья, в неделе еще целых шесть дней. И в эти дни Тиму жилось так, как тем детям в сказках, у которых злая мачеха. Только немного похуже, потому что сказка — это сказка, начинается она на первой странице и кончается, ну, скажем, на двенадцатой. А такое вот мучение изо дня в день целый год, да еще не один год, а много лет подряд, — попробуй-ка его вытерпи! Тим так привык упорствовать, дерзить, стоять на своем, что, не будь на свете воскресений, он наверняка — просто из одного упрямства — превратился бы в отпетого сорванца и грубияна. Но так как, к счастью, воскресенье все-таки есть на свете, он остался обыкновенным мальчиком. Даже смех его звучал по-прежнему: он словно подымался откуда-то из глубины и заканчивался счастливым, захлебывающимся смешком.

Правда, его смех раздавался теперь все реже и реже. Тим стал замкнутым и гордым, невероятно гордым. Только так он и мог защищаться от нападок мачехи, пилившей его весь день без передышки, хотя иной раз и без всякого злого умысла.

Тим очень радовался, когда пошел в школу. Теперь он с раннего утра до самого обеда был вдали от своего переулка — не за полкилометра, а за тридевять земель. Здесь в свой первый учебный год он стал снова часто смеяться, и случалось, учитель, взглянув на него, забывал, за что собирался сделать ему замечание. Теперь Тим и сам старался помириться с мачехой. Стоило ей разок похвалить его за то, что он притащил один полную сумку картошки, и он чувствовал себя совершенно счастливым, становился покладистым и сговорчивым и готов был помогать ей с утра до вечера. Но, получив очередной нагоняй, он опять замыкался, мрачнел и надевал маску гордеца. Тогда к нему было не подступиться.

Ссоры с мачехой сказывались на его школьных занятиях. Тим, хоть и был куда сметливее многих в классе, часто получал отметки хуже других ребят, потому что невнимательно слушал, когда учитель объяснял урок. И еще из-за домашних заданий.

Делать дома уроки ему было очень трудно. Только он садился со своей грифельной доской за кухонный стол, как появлялась мачеха и прогоняла его в детскую — комнату, где он спал вместе

с Эрвином. Но детская была царством его сводного брата, а тот ни на секунду не оставлял Тима в покое: то требовал, чтобы Тим с ним играл, и злился, когда тот отказывался; то расставлял на столе свой конструктор, и Тиму некуда было даже положить тетрадку. Как-то раз Тим, окончательно выведенный из терпения, укусил Эрвина в руку. Это не прошло ему даром. Увидев кровь на руке своего любимца, мачеха принялась вопить, что Тим преступник, коварный злодей, разбойник с большой дороги. Отец не проронил за ужином ни единого слова. С этого дня Тим перестал бороться со сводным братом и готовил уроки, пробравшись тайком в спальню родителей. Но Эрвин выследил его и донес, а одна из заповедей мачехи гласила: «В спальне родителей детям делать нечего!»

Теперь Тиму ничего больше не оставалось, как готовить уроки в обществе Эрвина. Если тот занимал единственный стол, стоявший в комнате, Тим садился на кровать и писал, положив тетрадку на тумбочку. Но сидел ли он за столом или примостившись у тумбочки, он все равно, как ни старался, не мог сосредоточиться на задаче. Только по средам, когда Эрвин ходил в школу во вторую смену, Тиму удавалось сделать уроки так, как ему хотелось. А ему хотелось, чтобы учитель остался им доволен. Да и вообще ему хотелось жить в дружбе и добром согласии со всем миром.

Но как это ни печально, его домашние работы с каждым годом нравились учителю все меньше и меньше. «Светлая голова,— говорил учитель,— но лентяй и совершенно не собран». Как он мог догадаться, что Тиму приходится каждый день заново отвоевывать себе место для приготовления уроков? Тим не рассказывал ему об этом; он был уверен, что учитель и сам все знает. Так случилось, что и школа подсказала Тиму все тот же грустный вывод: жизнь непонятна, а все взрослые — конечно, за исключением его отца — несправедливы.

Но и этот единственный справедливый человек его покинул. Через четыре года после того, как Тим в первый раз пошел в школу — все эти годы он с трудом перебирался из класса в класс, — отец погиб на стройке: на него с лесов свалилась доска.

Это было самое непостижимое из всего, что случилось до сих пор в жизни Тима.

Сначала он просто не хотел этому верить. Только в день похорон, когда красная, зареванная мачеха дала ему пощечину за то, что он забыл почистить ее туфли, он вдруг ясно понял, как он теперь одинок.

Ведь сегодня было воскресенье.

В этот день Тим впервые заплакал. Он плакал об отце, и о себе, и о том, как плохо устроен мир, и сквозь плач он услышал, как мачеха в первый раз сказала: «Прости меня, Тим».

Час, проведенный на кладбище, был словно дурной сон, который хочешь поскорее забыть и от которого остается лишь смутное, щемящее чувство. Тим ненавидел всех этих людей, стоявших вокруг него, и говоривших что-то, и певших, и читавших молитвы. Его раздражала плаксивая болтовня мачехи, тут же переходившая в причитания, если кто-нибудь приближался к ней, чтобы выразить «глубочайшее соболезнование». Он был один со своим горем и не хотел делить его ни с кем. И как только толпа начала расходиться, он тут же убежал.

Без всякой цели бродил он по улицам, и, когда очутился возле городского сада и прошел мимо окон той квартиры, где совсем еще маленьким смеялся и кричал: «Ту-ту-ту!», его охватило такое отчаяние, что ему чуть не стало дурно.

Из окна его прежней комнаты выглянула чужая девочка с нарядной куклой на руках и, заметив, что Тим смотрит в ее сторону, высунула ему язык. Тим быстро пошел дальше.

«Если бы у меня было много денег,— думал он, шатаясь по улицам,— я снял бы большую квартиру, у меня была бы там отдельная комната, и каждый день я давал бы Эрвину на карманные расходы, сколько он ни попросит. А мать могла бы покупать себе все, что захочет». Но это были только мечты, и Тим это знал.

Сам того не замечая, он шагал теперь в сторону ипподрома, туда, где проводил когда-то с отцом счастливые воскресенья. Когда отец был еще жив.

Л и с т в т о р о й

ГОСПОДИН В КЛЕТЧАТОМ

Тим добрался до ипподрома, когда первый заезд уже близился к концу. Зрители кричали и свистели, выкликая все громче, все чаще одно только имя: «Ветер!»

Тим стоял, с трудом переводя дыхание: во-первых, он только что бежал, а во-вторых, ему вдруг показалось, что где-то тут, среди этих кричащих и аплодирующих людей, стоит и его отец. У него неожиданно возникло чувство, что здесь он у себя дома. Это было то место, где он всегда оставался наедине с отцом. Без мачехи и без Эрвина. Все воскресенья, проведенные с отцом. стоял он в этой толпе, среди шума и выкриков. На душе у Тима стало вдруг удивительно спокойно, почти весело. И когда ликующая толпа внезапно выкрикнула многоголосым хором: «Ветер!», Тим даже рассмеялся своим звонким, залиvistым смехом. Он вспомнил, как отец однажды сказал: «Ветер еще слишком молод, Тим. Но вот увидишь, придет день, когда о нем заговорят».

И сегодня о нем заговорили. Но отец этого уже не услышит. Тим и сам не знал, чему он рассмеялся, но он и не задумывался над этим. Он был еще не в том возрасте, когда люди много размышляют о самих себе и о своих поступках.

Какой-то человек, стоявший неподалеку от Тима, услышав его смех, резко повернул голову и принялся внимательно его разглядывать, задумчиво поглаживая рукой свой длинный подбородок. Затем, словно внезапно решившись, он направился прямо к Тиму, но, приблизившись к нему, быстро прошел мимо, наступив ему при этом на ногу.

— Прости, малыш,— сказал он, не останавливаясь,— я нечаянно!

— Ничего,— улыбнулся Тим,— все равно у меня ботинки грязные.

Говоря это, он взглянул себе под ноги и вдруг увидел в траве блестящую монетку в пять марок. Человек быстрым шагом уходил все дальше и дальше; поблизости никого больше не было. Тим поспешно наступил на монету, оглянулся по сторонам и, сделав вид, что хочет завязать шнурок, украдкой поднял ее и сунул в карман.

Потом, стараясь идти как можно медленней, он побрел в сторону выхода. Вдруг какой-то длинный худощавый господин в клетчатом костюме остановил его и спросил:

— Ну что, Тим, хочешь поставить на какую-нибудь лошадку?

Мальчик растерянно взглянул на незнакомца. Он и не заметил, что это тот же самый человек, который всего несколько минут тому назад наступил ему на ногу. Рот у незнакомца был словно узенькая полосочка, нос тонкий, крючковатый, а под носом черные усики. Из-под клетчатой кепки, низко надвинутой на лоб, глядели колючие водянисто-голубые глаза.

Когда этот человек неожиданно обратился к Тиму, тот почувствовал, что у него пересохло в горле.

— Я... У меня нет денег...— выговорил он наконец, запинаясь.

— Нет, есть. Пять марок,— сказал незнакомец. И, словно между прочим, добавил: — Я случайно видел, как ты нашел монету. Если ты собираешься ставить на какую-нибудь лошадь, бери-ка вот эту квитанцию. Я ее уже заполнил. Абсолютно верный выигрыш!

Тим слушал его, то краснея, то бледнея, потом понемногу пришел в себя, и лицо его снова приняло свой обычный смуглый оттенок (цвет лица он унаследовал от матери).

— Детям ведь, кажется, не разрешается играть на скачках...— проговорил он наконец и снова запнулся.

Но незнакомец не отставал:

— Этот ипподром — один из немногих, где не так уж строго

придерживаются этого правила. Не то чтобы это разрешалось официально, но здесь на это смотрят сквозь пальцы. Так что же ты думаешь о моем предложении, Тим?

— Я вас совсем не знаю,— тихо ответил Тим. Только сейчас он заметил, что господин этот называет его по имени.

— Зато я о тебе много чего знаю,— заявил незнакомец.— Ведь я встречался с твоим отцом.

Это решило дело. Правда, у Тима как-то плохо укладывалось в голове, что отец его водил знакомство с таким странным, хорошо одетым господином; но раз незнакомец знает, как зовут Тима, значит, уж каким-то образом он был знаком с его отцом.

Постояв еще немного в нерешительности, Тим взял заполненную квитанцию и, достав из кармана свою монету, пошел к кассе. В этот момент громкоговоритель объявил, что начинается второй заезд.

Незнакомец крикнул:

— Давай скорее, пока не закрыли окошка! Вот увидишь, я принесу тебе счастье!

Тим протянул кассирше деньги и квитанцию, получил отрывной талончик и обернулся, ища глазами господина в клетчатом. Но тот уже исчез.

Второй заезд кончился, и лошадь, на которую поставил Тим, пришла к финишу первой, на три корпуса обойдя другую.

Тим получил в окошке свой выигрыш: такой кучи ассигнаций он никогда еще не видел. И опять, то краснея, то бледнея, только на этот раз от радости и гордости, стоял Тим у кассы и с сияющими от счастья глазами показывал всем любопытным выигранные деньги.

Радость и горе всегда живут рядом. На Тима вдруг снова нахлынули воспоминания об отце, которого сегодня похоронили: никогда он не выигрывал столько денег! Слезы сами потекли по лицу Тима, и он расплакался на глазах у всех.

— Э, парень, кому привалило такое счастье, тому уж хныкать нечего,— раздался вдруг у него над ухом скрипучий голос.

Тим увидел сквозь слезы человека в помятом костюме и с помятым лицом. Слева от него какой-то рыжий верзила с высоты своего роста внимательно разглядывал Тима. Справа стоял низенький, лысый, элегантно одетый господин, он смотрел на Тима с живым участием.

Все трое, казалось, держались вместе; во всяком случае, они в один голос спросили, не хочет ли Тим выпить вместе с ними лимонаду, чтобы отпраздновать выигрыш.

Тим, пораженный такой доброжелательностью не меньше, чем счастьем, неожиданно выпавшим на его долю, кивнул в знак согласия и, всхлипнув еще разок, сказал:

— Я хотел бы посидеть за столиком вон там, в саду.

Сколько раз он сидел здесь с отцом и пил лимонад!

— Хорошо, малыш, в саду так в саду, — опять сказали в один голос все трое.

И через минуту они уже сидели вместе с Тимом за столиком в тени большого каштана.

Господин в клетчатом, который принес Тиму счастье, больше не появлялся, и вскоре Тим совсем позабыл о нем, тем более что трое новых приятелей, заказав себе пива, а мальчику — лимонаду, принялись развлекать виновника торжества удивительно забавными фокусами. Рыжий верзила, поставив себе на нос стакан с пивом, долго балансировал с ним, не пролив при этом ни капли; человек в помятом костюме и с помятым лицом всякий раз вытаскивал из колоды ту самую карту, которую наобум называл Тим, а низенький лысый господин проделывал всевозможные смешные штуки с деньгами Тима. Он заворачивал их в носовой платок, свертывал платок в комочек, потом расправлял, и... платок оказывался пустым.

Лысый хихикал и говорил:

— А теперь, мальчик, сунь-ка руку в левый карман твоей курточки!

Тим лез в карман и, к своему изумлению, находил там все свои деньги.

Да, это было удивительное воскресенье! Еще три часа тому назад Тим, бесконечно несчастный, бродил один по городу, а теперь он то и дело смеялся, да так весело, как уже давно не смеялся, даже несколько раз подавился от смеха лимонадом. Его новые товарищи необычайно нравились ему. Он был горд, что нашел себе настоящих друзей, да еще с такими редкими профессиями: «помятый» оказался чеканщиком монет, рыжий — кошелечных дел мастером, а лысый — специалистом по каким-то кассовым книгам (Тим не совсем его понял).

Когда Тим попытался было широким жестом оплатить счет, принесенный кельнером, все трое, улыбаясь, решительно замахали на него руками. Низенький лысый господин сам заплатил за все, в том числе и за лимонад, выпитый Тимом; и, когда Тим распрощался со своими новыми друзьями, в кармане его лежал нетронутым весь выигрыш.

Тим собирался уже вскочить в трамвай, как вдруг столкнулся носом к носу с господином в клетчатом. Без всякого предисловия тот заявил:

— Эх, Тим, Тим, ну и глупый же ты мальчик! Теперь у тебя не осталось ни гроша!

— Ошибаетесь, господин, — рассмеялся Тим. — Вот мой выигрыш!

Он вытащил из кармана пачку денег, показал ее незнакомцу и, немного помолчав, добавил:

— Они ваши.

— Деньги, которые ты держишь в руке, — презрительно сказал незнакомец, — просто разноцветные бумажки. Они ничего не стоят!

— Я получил их в кассе! — крикнул Тим. — Это уж совершенно точно!

— В кассе, дружок, ты получил настоящие деньги. А эта троица, с которой ты сидел в саду, наверняка обменяла их на фальшивые. Я их хорошо знаю. Жаль, я слишком поздно увидел тебя в их компании. Только я хотел подойти, а их уже и след простыл. Ведь это самые обыкновенные мошенники!

— Ошибаетесь, господин! Один из них — кошелечных дел мастер...

— Ну ясно, ворует кошельки!

— Ворует кошельки? — растерянно переспросил Тим. — А что же тогда делает чеканщик?

— Печатает фальшивые деньги. Он фальшивомонетчик.

— А третий? Специалист по кассовым книгам?..

— Этот продает здесь поддельные талоны. Короче говоря, мошенничает на скачках!

Нет, Тим не хотел этому верить. Тогда господин в клетчатом достал из своего бумажника ассигнацию и сравнил ее с ассигнацией Тима. И правда, ни на одной из ассигнаций Тима, сколько Тим ни смотрел через них на свет, нельзя было отыскать водяных знаков. Тим удрученно кивнул. И вдруг, швырнув бумажки на землю, принялся в бешенстве топтать их ногами. Какой-то старичок, проходивший мимо, удивленно взглянул сперва на Тима, потом на деньги, потом на господина в клетчатом и вдруг бросился бежать, словно увидел черта.

Господин в клетчатом немного помолчал, потом вытащил из кармана монету в пять марок и, протянув ее ошарашенному Тиму, предложил ему прийти сюда снова в следующее воскресенье. Затем он поспешно удалился.

«Интересно, почему он сам не играет на скачках?» — подумал Тим. Но тут же забыл про этот вопрос и, сунув деньги в карман, пошел пешком домой — в свой переулок. Фальшивые деньги так и остались валяться на земле.

Мачеха, как ни странно, на этот раз не отлупила Тима, хотя он удрал с похорон и так поздно вернулся домой. Она только оставила его без ужина и, не сказав ни слова, тут же отправила спать. Зато Эрвину было разрешено сегодня лечь попозже и посидеть еще немного с гостями; гости молча проводили Тима неприязненными взглядами.

За этим странным воскресеньем последовала длинная печальная неделя. Тим, как всегда, получал затрешины и колотушки дома и еще чаще, чем всегда, замечания и предупреждения в школе. И все время он раздумывал над тем, идти ли ему в воскресенье на ипподром или остаться дома. Монету он спрятал — засунул в щель в стене соседнего дома, чтобы ее случайно не нашел Эрвин. И всякий раз, проходя мимо этого дома, он невольно улыбался: мысль, что ему, может быть, еще раз посчастливится выиграть на скачках, доставляла ему тайную радость.

Л и с т т р е т и й

ВЫИГРЫШ И ПРОИГРЫШ

Когда наступило долгожданное воскресенье, Тим знал уже с самого утра, что после обеда пойдет на скачки. Не успели старинные часы в гостиной пробить три раза, как он потихоньку выскользнул за дверь, выковырял из щели в стене соседнего дома свою монету и со всех ног помчался на ипподром.

У входа он с разбегу налетел на какого-то человека, и человек этот оказался не кем иным, как господином в клетчатом.

— Оп-ля! — воскликнул господин в клетчатом. — Ты, я вижу, еле дождался!

— Ой, извините, пожалуйста! — запыхавшись, пробормотал Тим.

— Ничего, малыш! А я тебя тут как раз дожidaюсь. Вот получи-ка квитанцию. Пять марок не потерял?

Тим отрицательно покачал головой и достал из кармана монету.

— Молодец! Тогда иди к окошку. Если выиграешь, подожди меня потом здесь у входа. Я хочу с тобой кое о чем побеседовать.

— Хорошо!

Тим снова поставил на ту лошадь, имя которой написал в квитанции незнакомец, и, когда скачки кончились, оказалось, что он, как и в прошлое воскресенье, выиграл целую кучу денег.

На этот раз он быстро отошел от кассы, никому не показав своего выигрыша. Ассигнации он засунул во внутренний карман куртки и, стараясь придать своему лицу выражение полного равнодушия, поспешно покинул ипподром через дырку в заборе. Ему не хотелось встречаться с господином в клетчатом: при виде этого человека ему всякий раз становилось как-то не по себе. И потом, ведь незнакомец сам подарил ему квитанцию и деньги. Значит, Тим ничего ему не должен.

Сразу за ипподромом находился луг, и на нем росло несколько

высоких дубов. Тим лег на траву под самым большим дубом и стал думать о том, что ему делать со своим богатством. Хорошо бы оно помогло ему подружиться со всеми — с мачехой, и с братом, и с учителем, и с товарищами по школе. А отцу он поставит мраморную плиту на могилу, и на ней будет надпись золотыми буквами: «От твоего сына Тима, который никогда тебя не забудет».

Если останутся деньги, Тим купит себе самокат, как у сына булочника, — с гудком и надувными шинами.

Он все грезил и грезил наяву, пока наконец не уснул.

О господине в клетчатом Тим так больше ни разу и не вспомнил. Если бы он увидел его сейчас, то наверняка бы очень удивился: странный незнакомец беседовал с тремя жуликами, которые в прошлое воскресенье угощали Тима лимонадом.

Но, к счастью или, вернее, к несчастью, Тим этого не видел. Он спал.

Его разбудил резкий голос — голос господина в клетчатом. Он стоял здесь, под дубом, рядом с Тимом. Глядя на Тима в упор, он спросил не слишком приветливо:

— Ну что, выпался?

Тим кивнул, еще не совсем проснувшись, приподнялся и на всякий случай ощупал снаружи внутренний карман своей куртки. Карман показался ему странно пустым. Тим быстро сунул в него руку и вдруг окончательно проснулся: карман и в самом деле был пуст — деньги исчезли.

Господин в клетчатом насмешливо прищурился.

— А де-де-деньги у вас? — запинаясь, пробормотал Тим.

— Ну нет, соня! Деньги у одного из троих мошенников, с которыми ты кутил в прошлое воскресенье. Он тебя выследил. Видно, такая уж у меня судьба: всегда я прихожу слишком поздно! Только он меня завидел, сразу пустился наутек. Так-то мне и удалось тебя обнаружить.

— В какую сторону он побежал? Надо позвать полицию!

— Не очень-то я уважаю этих голубчиков... — Незнакомец поморщился. — На мой вкус, они слишком плохо воспитаны. А жулик все равно уже успел удрать за тридевять земель. Ну, а теперь вставай-ка, братец, да отправляйся домой. В следующее воскресенье придешь опять!

— Я, наверно, больше не приду, — сказал Тим. — Так не бывает, чтобы все везло да везло. Это мне отец говорил.

— Счастье и беда всегда приходят трижды. Слышал такую поговорку? А ты ведь наверняка хотел себе что-нибудь купить, правда?

Тим кивнул.

— Ну вот. И все это у тебя будет, если ты опять придешь сюда в воскресенье и заключишь со мной одну сделку. — Не-

знакомец взглянул на часы и вдруг заторопился.— До следующего воскресенья! — поспешно сказал он. И быстро пошел прочь.

Тим медленно побрел в сторону своего переулка; в голове у него был полный сумбур.

Мачеха, как всегда, задала ему трепку; сводный брат, как всегда, злорадствовал.

И опять потянулась длинная неделя.

Но в эту неделю Тим не унывал. Хотя господин в клетчатом и не вызывал у него особого доверия, он твердо решил заключить с ним сделку. Потому что сделка, думал Тим, это что-то вполне солидное и законное, не то что состояние, выигранное на подобранную монетку. Тут каждый что-то дает и получает что-то взамен. И каждый оказывается в выигрыше. Может, конечно, показаться странным, что мальчик из пятого класса размышлял о подобных вещах, но в узких переулках, где взрослым волей-неволей приходится считать каждую копейку, дети рано начинают серьезно относиться к деньгам.

Мысль о воскресенье помогла Тиму справиться со всеми неприятностями и огорчениями недели. Иногда ему думалось, что, может быть, это отец попросил господина в клетчатом последить за сыном и помочь ему, если с ним что-нибудь случится. Но потом ему приходило в голову, что отец, наверное, выбрал бы для такого поручения кого-нибудь посимпатичнее.

Так или иначе, Тим был вполне готов заключить сделку с знакомцем; мало того, эта сделка его очень радовала. Он снова стал часто смеяться своим прежним детским смехом, и смех его всем нравился. У него вдруг появилось множество друзей — гораздо больше, чем когда-либо раньше.

Странно: чего только он прежде не делал, чтобы добиться дружбы. Сколько он прилагал усилий! Добровольно брался за любые поручения, помогал всем и во всем... А теперь каждый сам хотел стать его другом. И право же, он ничего для этого не предпринимал, только смеялся. Теперь ему охотно прощали все то, за что раньше бранили. Один раз, например, на уроке арифметики Тиму вспомнилось, как он налетел второпях на господина в клетчатом, и он вдруг рассмеялся своим звонким, заливистым, захлебывающимся смехом. И тут же испуганно зажал рот рукой. Но учителю и в голову не пришло рассердиться. Смех прозвучал так весело и забавно, что расхохотался весь класс, а вместе с ним и учитель. Потом учитель поднял палец вверх и сказал: «Из всех взрывов я признаю только взрывы смеха, Тим. И то не на уроке!..»

С тех пор Тима прозвали «взрывным», и многие ребята не хотели ни с кем, кроме него, играть на переменке. Даже на мачеху и

Эрвина действовал заразительный смех Тима — теперь и они иногда смеялись.

В общем, с Тимом творилось что-то непонятное, и виною тому был господин в клетчатом. Но Тим не отдавал себе в этом отчета. Как ни велик был горький опыт, вынесенный им из жизни в узком переулке, он все равно оставался простодушным и доверчивым мальчиком. Он и не замечал, как нравится всем его смех; он забыл, что со дня смерти отца прятал от всех свой смех, как скряга — сокровища. Он просто думал, что после всех злоключений на ипподроме стал намного умнее и научился отлично ладить с людьми. А ведь если бы он уже тогда знал, как дорог его смех, ему не пришлось бы, быть может, вытерпеть столько бед.

Однажды, возвращаясь из школы, Тим повстречался на улице с господином в клетчатом. Как раз за минуту до этого Тим следил за шмелем, кружившим над ухом спящей кошки; шмель, словно маленький самолет, выбирал место, чтобы приземлиться. Это выглядело так забавно, что Тим громко рассмеялся. Но как только он узнал незнакомца с ипподрома, всю его веселость словно рукой сняло. Вежливо поклонившись, он сказал:

— Добрый день!

Однако незнакомец сделал вид, будто не заметил Тима. Он только буркнул, проходя мимо:

— На улице мы не знакомы!

И, не оглядываясь, пошел дальше.

«Наверно, так надо для заключения сделки», — подумал Тим. И тут же снова рассмеялся, потому что кошка, проснувшись, испуганно дернула ухом, на котором сидел шмель. Рассерженно жужжа, маленький самолет полетел прочь, а Тим, насвистывая, свернул в свой переулок.

Л и с т ч е т в е р т ы й

ПРОДАННЫЙ СМЕХ

В это воскресенье Тим хотел поскорее улизнуть из дому и пораньше прийти на ипподром. Но около половины третьего взгляд мачехи случайно упал на календарь, висевший на стене, и она вспомнила, что сегодня годовщина ее свадьбы: как раз в этот день она вышла замуж за отца Тима. Она немного всплакнула (теперь это случалось с ней частенько), и вдруг оказалось, что дел по горло: надо отнести цветы на могилу, сбегать в булочную за тортом, намолоть кофе и пригласить соседку, переодеться, а значит, сначала погладить платье; Тиму было приказано вычистить всю обувь, а Эрвину идти за цветами.

Тиму очень хотелось, чтобы ему поручили отнести цветы на могилу отца. Если бы он поторопился, то поспел бы еще к началу скачек. Но когда мачеха была чем-нибудь расстроена (а она теперь только и делала, что расстраивалась), она не терпела никаких возражений: если ей перечили, она расстраивалась еще больше и с громким плачем валилась в кресло, так что в конце концов все равно приходилось ей уступать. Поэтому Тим и не пытался ей возражать и покорно отправился в булочную.

— Стучись с черного хода! Три раза! Скажи, очень важное дело!

Хозяйка булочной встретила Тима хмуро, но это его не обескуражило («Пусть ворчит сколько влезет... Смотри не уходи с пустыми руками!.. С места не сходи, пока старая карга тебе не отпустит!..»).

Тим передал заказ мачехи в точности («Шесть кусков орехового торта!.. Пусть отрежет от самого свежего!»).

К своему огорчению, он услышал от хозяйки булочной ответ, к которому мачеха его совсем не подготовила. Фрау Бебер — так звали булочницу — сказала:

— Сперва надо расплатиться за старое, а тогда уж я опять начну записывать в долг. Так и передай дома. У кого нет денег, может и без тортов обойтись. Так и скажи! На двадцать шесть марок сдобы накупили! Интересно, кто это у вас там все поедает?! Для директора водокачки и то столько не заказывают! А уж у них-то в семье любят полакомиться — кому-кому, а мне это хорошо известно!

Тим онемел от удивления. Правда, изредка он получал от мачехи кусочек кренделя или коврижки. Но... на двадцать шесть марок сдобы! Да ведь это целые горы! Пирогов, пирожных, печенья, плюшек! Неужели мачеха съедает все это тайком от него и от Эрвина, когда соседка приходит к ней пить кофе? Он знал, что приятельницы часто болтают на кухне, когда они с Эрвином уходят в школу. А может, это Эрвин тайно наведывается сюда за пирожками?

— Это мой брат покупает у вас в долг пироги? — спросил Тим.

— Бывает, что и он, — буркнула фрау Бебер. — Но чаще всего сдобу берет к завтраку твоя мать. Ах да, ведь она тебе, кажется, мачеха... Да ты, никак, ничего об этом не знаешь?

— Нет, почему же, — поспешно возразил Тим, — конечно, знаю!

Но на самом деле он ничего не знал. Эта новость не возмутила его и даже не рассердила. Ему только стало грустно, что мачеха лакомится потихоньку от него и от брата, а долг все растет.

— Так-то, — сказала фрау Бебер, давая понять, что разговор

окончен,— а теперь отправляйся-ка домой и передай, что я тебе велела. Понял?

Но Тим не двигался с места.

— Сегодня,— сказал Тим,— годовщина того дня, как отец женился на матери, то есть на мачехе. А потом...— Тим вдруг вспомнил про сделку, которую он заключит сегодня на ипподроме с господином в клетчатом, и поспешно добавил: —А потом, фрау Бебер, я отдам вам деньги сегодня вечером. И за ореховый торт тоже. Это уж точно!

— Сегодня вечером?

Фрау Бебер постояла с минуту в нерешительности, но в голосе Тима было что-то такое, что ее убедило. Ей почему-то вдруг показалось, что он обязательно вернет ей сегодня вечером весь долг. Или хотя бы часть.

Для верности она все-таки спросила:

— А где ты возьмешь деньги?

Тим состроил мрачную гримасу, словно разбойник на сцене, и ответил басом:

— Украду, фрау Бебер! У директора водокачки!

Он так похоже изобразил разбойника, что фрау Бебер рассмеялась, подобрела и отпустила ему шесть кусков орехового торта, да еще и седьмой в придачу — просто так, бесплатно.

Мачеха стояла в дверях, с нетерпением дожидаясь Тима. Казалось, она все еще (а может быть, уже опять) была чем-то расстроена. И не успел Тим подойти, как она затараторила без передышки:

— Лучше бы уж я сама пошла! Ореховый торт принес? Про долг она что-нибудь говорила? Да что же ты молчишь?

Тим скорее откусил бы себе язык, чем передал ей свой разговор с фрау Бебер. Кроме того, он спешил на скачки, а для объяснений с мачехой потребовалось бы немало времени.

— Она мне один кусок даром дала. Можно, я пойду играть, ма? (Ему еще ни разу не удалось выговорить до конца слово «мама».)

Мачеха тут же разрешила ему идти и даже дала на дорогу кусок торта.

— Какой тебе интерес слушать наши пересуды! Иди-ка лучше поиграй! Только смотри возвращайся вовремя! Не позже шести!

Тим со всех ног помчался на ипподром, жуя на ходу торт. Всего лишь три капли крема упали по дороге на землю да одна на воскресные синие штаны.

Господин в клетчатом стоял у входа. Хотя первый заезд давно начался, он не проявлял ни малейшего нетерпения и был, казалось, совершенно спокоен. Сегодня он выглядел приветливей, чем

обычно. Он пригласил Тима выпить с ним лимонаду в саду за столиком и съесть кусок орехового торта. «Видно, такое уж сегодня воскресенье,— решил Тим.— Что ни шаг, то кусок торта».

Между тем незнакомец с убийственно серьезным лицом отпускал такие забавные шутки, что Тим то и дело покатывался со смеху.

«А все-таки он приятный человек,— подумал Тим.— Теперь я понимаю, почему отец с ним дружил».

Незнакомец приветливо смотрел на него ласковыми карими глазами. Будь Тим чуть-чуть понаблюдательней, он бы вспомнил, что еще в прошлое воскресенье у господина в клетчатом были холодные, водянисто-голубые глаза, как у рыбы. Но Тим не отличался особой наблюдательностью. Жизнь еще мало чему его научила.

Наконец господин в клетчатом заговорил о сделке.

— Дорогой Тим,— начал он,— я хочу предложить тебе столько денег, сколько ты пожелаешь. Я не мог бы выложить их на стол, отсчитать звонкой монетой. Но я могу наградить тебя способностью выигрывать любое пари! Любое!.. Понял?

Тим понуро кивнул, но слушал он очень внимательно.

— Разумеется, не задаром. Все имеет свою цену.

Тим снова кивнул. Потом срывающимся голосом спросил:

— А что вы за это хотите?

Незнакомец немного помедлил, в раздумье глядя на Тима.

— Тебя интересует, что я за это хочу?

Он растягивал слова, как жевательную резинку. И вдруг слова посыпались скороговоркой — теперь их едва можно было разобрать:

— Я хочу за это твой смех!

Как видно, он и сам заметил, что говорит слишком быстро, и потому повторил:

— Я хочу за это твой смех!

— И это все? — смеясь, спросил Тим.

Но карие глаза поглядели на него с каким-то странным, грустным выражением, и смех его оборвался — не хватало счастливо-го, захлебывающегося смешка.

— Ну так как же? — спросил господин в клетчатом. — Ты согласен?

Взгляд Тима случайно упал на тарелку с куском орехового торта. Ему вспомнилась фрау Бебер, долг и все то, что он собирался купить, если бы у него было много денег. И он сказал:

— Если это честная сделка, я согласен.

— Ну что ж, мой мальчик, тогда нам остается только подписать контракт!

Господин в клетчатом вытащил из внутреннего кармана пид-

жака какую-то бумагу, развернул ее, положил на стол перед Тимом и сказал:

— Ну-ка, прочти это внимательно!

И Тим прочел:

1. Этот контракт заключен... числа... года между господином Ч. Тречем, с одной стороны, и господином Тимом Талером — с другой, и подписывается обеими сторонами в двух экземплярах.

— А что такое «обеими сторонами»? — спросил Тим.

— Так называются участники контракта.

— А-а-а!

Тим стал читать дальше:

2. Господин Тим Талер передает свой смех в полное распоряжение господина Ч. Треча.

Когда Тим во второй раз прочитал слова «господин Тим Талер», он показался сам себе почти совсем взрослым. Уже ради одних этих слов он готов был подписать контракт. Он и не подозревал, что этот небольшой второй пункт изменит всю его жизнь. Потом он прочел дальше:

3. В порядке вознаграждения за смех господин Ч. Треч обязуется позаботиться о том, чтобы господин Тим Талер выигрывал любое пари. Этот пункт не имеет никаких ограничений.

Сердце Тима забилось сильнее. Дальше:

4. Обе стороны обязуются хранить полное молчание о настоящем соглашении.

Тим кивнул.

5. В случае если одна из сторон упомянет какому-либо третьему лицу об этом контракте и нарушит оговоренное в пункте 4-м условие о сохранении тайны, другая сторона навсегда сохраняет за собою право: а) смеяться или б) выигрывать пари, в то время как сторона, нарушившая условие, окончательно теряет право: а) на смех или б) на выигрывание пари.

— Этого я не понял, — сказал Тим, наморщив лоб.

Господин Ч. Треч — наконец-то мы узнали его имя! — объяснил ему:

— Видишь ли, Тим, если ты нарушишь условие о сохранении тайны и расскажешь кому-нибудь об этом контракте, ты тут же потеряешь способность выигрывать пари, но и смеха своего назад уже не получишь. Если же, наоборот, я расскажу об этом кому-нибудь, ты получишь назад свой смех и при этом сохранишь способность выигрывать пари.

— Понятно, — сказал Тим, — молчать — это значит быть богатым, но никогда не смеяться. А проговориться — это снова стать бедным и все равно не смеяться.

— Совершенно верно, Тим! Ну, читай-ка дальше.

6. В случае если господин Тим Талер проиграет какое-нибудь

пари, господин Ч. Треч обязуется возвратить господину Талеру его смех. Но при этом господин Тим Талер теряет в дальнейшем способность выигрывать пари.

— Тут вот в чем дело...— хотел было объяснить Треч.

Но Тим уже и так все понял. Поэтому он перебил его:

— Я знаю! Если я когда-нибудь проиграю пари, я получу назад мой смех, но больше никогда уже не буду выигрывать.

Он поспешно прочел последний пункт контракта:

7. Это соглашение вступает в действие с того момента, как обе стороны поставят свою подпись под двумя экземплярами... числа... года.

Слева уже стояла подпись господина Треча. И Тим нашел, что это вполне порядочный и честный контракт. Он достал огрызок карандаша из кармана и хотел было подписать бумагу справа. Но господин Треч отстранил его руку.

— Подписывать надо чернилами,— сказал он и протянул Тиму авторучку, сделанную, судя по цвету, из чистого золота.

На ощупь она казалась какой-то странно теплой, словно была наполнена комнатной водой. Но Тим не обратил на это никакого внимания. Он думал сейчас только об одном — о своем будущем богатстве — и смело поставил свою подпись под двумя экземплярами. Красными чернилами.

И не успел он подписать, как господин Треч улыбнулся самой очаровательной улыбкой и сказал:

— Большое спасибо!

— Пожалуйста,— ответил Тим и тоже хотел улыбнуться, но не смог изобразить на своем лице даже кривой усмешки. Губы его были крепко сжаты, и разжать их он был не в силах: его рот превратился в узенькую полосочку.

Господин Треч взял один из экземпляров контракта, аккуратно сложил его вчетверо и положил во внутренний карман пиджака. Другой экземпляр он протянул Тиму:

— Спрячь его хорошенько! Если контракт из-за твоей небрежности попадется кому-нибудь на глаза — значит, ты нарушил условие о сохранении тайны. Тогда тебе плохо придется!

Тим кивнул, тоже сложил свой экземпляр вчетверо и сунул его под подкладку фуражки — с одной стороны она немного отпоролась. Затем господин в клетчатом положил перед ним на стол две монеты по пять марок и сказал:

— А вот и фундамент твоего богатства.

И весело рассмеялся — смехом Тима. Потом он вдруг заторопился — подозвал официантку, уплатил по счету, встал и поспешно сказал:

— Ну, желаю успеха!

И удалился.

Теперь и Тиму надо было спешить, чтобы успеть поставить на какую-нибудь лошадь, — начинался последний заезд. Он подошел к окошку, взял квитанцию и недолго думая написал на ней «Мауриция». Если контракт в его фуражке настоящий, эта лошадь все равно придет первой.

И Мауриция пришла первой.

Тим, поставивший в этот раз целых десять марок, получил в кассе множество ассигнаций — по двадцать, пятьдесят и даже по сто марок. Стараясь, чтобы никто этого не заметил, он спрятал деньги в карман своей куртки и быстро покинул ипподром.

Л и с т п я т ы й

ДОПРОС

Выйдя за ворота ипподрома, Тим осторожно ощупал карман: там ли еще выигранные деньги? Когда он услышал хруст ассигнаций, сердце его заколотилось. Он, Тим Талер, стал теперь богатым человеком! Он может поставить мраморную плиту на могилу отца. Заплатить долг фрау Бебер. Купить что-нибудь мачехе и Эрвину. А если захочет, даже приобрести самокат. С гудком и надувными шинами.

Чтобы полнее насладиться своим счастьем, Тим пошел домой пешком. Ему хотелось купить по дороге какой-нибудь подарок мачехе, но было воскресенье, и все магазины оказались закрытыми. Тим крепко сжимал рукой в кармане пачку выигранных денег.

Уже отойдя далеко от ипподрома, он встретил на улице троих ребят из своего класса и остановился с ними поболтать. Один из них вдруг спросил:

— Что это у тебя в кармане, Тим? Лягушка?

— Паровоз! — ответил Тим и хотел засмеяться. Но губы его сами собой сложились в узенькую полосочку.

Правда, ребята этого не заметили. Они хохотали над его ответом, и один из них крикнул:

— А ну-ка, покажи, какой там у тебя паровоз?

— Может, поедem на нем в Гонолулу? — предложил другой.

Тим только все крепче сжимал в кармане пачку бумажек.

— Мне пора домой. До свидания! — сказал он.

Но не так-то просто было отделаться от ребят. Они подождали, пока Тим прошел немного вперед, а потом крадучись догнали его и, внезапно схватив за локоть, выдернули его руку из кармана.

К их изумлению, по улице разлетелись ассигнации — по двадцать, пятьдесят и даже по сто марок!

Это было тем более удивительно, что Тим жил в узком переулке, и мальчишки прекрасно знали об этом.

— Откуда у тебя столько денег? — в недоумении спросил один из них.

— Ограбил директора водокачки! — ответил Тим и хотел, несмотря на всю свою досаду, рассмеяться. Но вместо улыбки на лице его появилась такая наглая гримаса, что мальчишки испугались.

Они, как видно, решили, что Тим сказал им правду, и, вдруг сорвавшись с места, бросились бежать со всех ног. Издалека до Тима донесся крик:

— Тим Талер украл деньги! Тим Талер — вор!

Тим с грустью собрал свои бумажки и запихал их в карман. Потом он побрел к речушке, протекавшей через город, сел на скамейку на берегу и стал смотреть на утиный выводок, копошившийся у самой воды.

Маленькие утята, переваливаясь, беспомощно ковыляли в траве, и еще вчера Тим наверняка рассмеялся бы при виде этого зрелища. Но сегодня они даже не показались ему забавными. И от этого ему стало еще грустнее. Он глядел на них без всякого участия, как глядят на пустую стену. И он понял, что в это воскресенье он стал совсем другим мальчиком.

Только когда начало смеркаться, Тим побрел домой.

Не успел он свернуть в переулок, как заметил, что перед дверью их дома стоит мачеха, окруженная соседками. Они взволнованно о чем-то толковали, но, едва завидев Тима, разбежались, словно испугнутые куры, и скрылись в своих домах. Однако двери во всех домах остались чуть приоткрытыми, и на каждом окне, мимо которого он проходил, шевелилась занавеска.

Мачеха все еще стояла у полураскрытой двери. Вид у нее был такой, словно сейчас наступит конец света. На ее бледном как мел лице угрожающе торчал красноватый острый нос. И как только Тим подошел поближе, она, не говоря ни слова, отпустила ему пощечину сперва по правой, потом по левой щеке и потащила его за руку в дом.

— Где деньги? — взвизгнула она, едва затворив за собой дверь.

— Деньги? — ничего не подозревая, переспросил Тим.

И снова получил две затрешины, да такие, что в голове у него загудело, а на глаза навернулись слезы.

— Давай сюда деньги, негодяй! Преступник! А ну-ка, отправляйся на кухню!..

Она чуть ли не силой поволокла его в кухню. Тим все еще не понимал, в чем дело. И все же он вытащил деньги из кармана и положил их на кухонный стол.

— Господи, да ведь здесь сотни! — заорала мачеха и уставилась на Тима, словно перед ней был не Тим, а теленок о двух головах.

К счастью, дверь в эту минуту отворилась, и в нее протиснулась запыхавшаяся фрау Бебер. За ней появился Эрвин — рот его был широко раскрыт, он пожирал глазами бумажки, лежащие на столе.

— Директора водокачки никто не грабил, — выпалила фрау Бебер, едва отдышавшись. — У них ни копейки не пропало!

Тима вдруг осенило. Так вот почему мачеха оказала ему такой прием! Ведь он шутя обещал фрау Бебер ограбить директора водокачки. И ребятам из школы сказал то же самое. А они видели, что у него в кармане много денег, и наябедничали. Так, значит, вот как было дело!

Он хотел тут же все объяснить, но мачеха снова разбушевалась и не дала ему выговорить ни слова. Она трещала без передышки:

— Ах, не у директора водокачки? Ну так еще где-нибудь! Говори, где украл деньги! Правду говори! Пока не пришла полиция. Весь переулочек уже знает! Правду говори, слышишь!

И Тим сказал правду:

— Я ни у кого ничего не брал.

На этот раз оплеухи и подзатыльники посыпались на него градом. И неизвестно, чем бы все это кончилось, если бы не вмешалась фрау Бебер и, удержав мачеху, не спросила Тима:

— Правда ведь, Тим, ты говорил мне, что сегодня вечером вернешь весь долг за пироги?

— Долг за пироги? Да при чем тут долг за пироги? — вне себя от бешенства взвизгнула мачеха.

— Прошу вас, фрау Талер, разрешите мне поговорить с мальчиком, — остановила ее булочница.

Мачеха с ревом опустилась на табуретку, ухватившись за руку Эрвина.

А фрау Бебер между тем продолжала допрос:

— Говори правду, Тим! Откуда ты знал, что сегодня вечером у тебя будет много денег?

Тим на мгновение прикусил язык. Мысли кружились, словно стая испуганных воробьев. «Только не проболтаться про господина Треча! И про договор! — твердил он про себя. — Не то он потеряет силу!»

Наконец Тим проговорил, запинаясь:

— Я... один раз... давно уже... нашел... пять... десять... марок. И я хотел пойти на ипподром и поставить на какую-нибудь лошадь. — Теперь он снова говорил уверенно, без запинки. — Я думал, что, может быть, выиграю немного денег... И тогда я поставил на Маурицию и правда выиграл. Вот это все!

Он показал рукой на кухонный стол. Потом вытащил из кармана отрывной талончик квитанции и приложил его к деньгам.

Фрау Бебер хотела получше рассмотреть талончик, но мачеха уже схватила маленькую полоску бумаги и внимательно изучала ее не меньше трех минут.

Никто в кухне не произнес ни слова. Тим стоял молча, выпрямившись, словно застыв. Эрвин в нерешительности искоса на него поглядывал. Фрау Бебер, сложив руки на груди, улыбалась.

Наконец мачеха снова бросила талончик на стол и встала с табуретки.

— Выигрыш на скачках — это шальные деньги, — произнесла она поучительно. — Они не заработаны честным трудом!

И вышла из кухни.

Теперь и фрау Бебер внимательно рассмотрела узенькую бумажку и, кивнув головой, сказала:

— Тебе повезло, Тим!

Из комнаты донесся громкий голос мачехи. Она звала Эрвина.

Сын ее послушно зашаркал из кухни, не сказав Тиму ни слова.

Мальчик, продавший свой смех, почувствовал себя вдруг отверженным. Стараясь сдержать слезы, он спросил фрау Бебер:

— А разве выигрывать на скачках нечестно?

Булочница ответила не сразу. Помолчав, она сказала:

— Хозяева бойни тоже выиграли. В лотерее. И на эти деньги купили себе дом. А про них ничего плохого не скажешь.

Потом она взяла со стола тридцать марок и, вынув четыре марки из кармана своего передника, положила сдачу на стол:

— За пироги заплачено, Тим. Не унывай!

С этими словами она вышла. Тим услышал, как хлопнула входная дверь.

Теперь он остался один на кухне. Обида, отчаяние и грусть переполнили его сердце.

Немного подумав, он сгреб деньги со стола и сунул их в карман. Он решил уйти из дому. Насовсем. Далеко-далеко.

Но только он хотел открыть дверь квартиры, как услышал голос мачехи:

— Сю же минуту ложись спать!

Немного помолчав, она добавила:

— Деньги положи в кухонный шкаф!

Тим понял, что ветер переменился. Он послушался, отнес деньги на кухню и, голодный, взволнованный, обессиленный, лег в постель. Другая постель была пуста. Эрвин спал сегодня в комнате мачехи.

И раньше чем Тим успел о чем-нибудь подумать, он уснул глубоким, тяжелым сном.

МАЛЕНЬКИЙ МИЛЛИОНЕР

На следующий день торговля в булочной фрау Бебер шла очень бойко. Лавка была полна любопытных — каждому хотелось услышать историю про выигрыш Тима. Эту историю фрау Бебер повторяла все снова и снова, приправляя рассказ похвалами своему товару:

— ...А потом мальчонка и говорит мне, что собрался ограбить директора водокачки. Надо вам сказать, директор водокачки и все его семейство в восторге от наших сдобных булочек! Ну так вот, я, как услышала, что у мальчишки в кармане тысячи, думала, меня удар хватит! Скорей надеваю воскресное платье и бегом на водокачку. Ведь было как раз воскресенье, — мне все равно туда заказной торт нести с надписью из крема: «Желаю счастья ко дню рождения!» Мой муж эти надписи прекрасно делает! Ну, и узнаю, значит, что там ни о каком ограблении и слыхом не слыхали! «Дорогая фрау Бебер, — говорит мне господин директор, — я знаю, вы женщина с понятием и булочки у вас чудесные, но тут, видно, вышла ошибка. У нас, говорит, ничего не украли».

И так далее в том же духе...

Тим сделался героем дня. У соседей, в школе и даже дома. Мачеха, нацепившая теперь на пальто рыжую лису, стала обращаться с ним осторожнее; сводный брат то и дело задавал ему разные вопросы насчет скачек; соседи называли его не то в шутку, не то из зависти маленьким миллионером, а на школьном дворе ему просто проходу не давали.

Тима радовало это всеобщее внимание. Он давным-давно уже простил тем троим ребятам, что они на него донесли, а мачехе — оплеухи и подзатыльники. Ему хотелось теперь шутить и смеяться вместе со всеми. Но как раз это-то у него и не получалось. Как только он пытался улыбнуться, на лице его появлялась наглая гримаса.

И вскоре он махнул рукой на эти попытки. Он перестал улыбаться. Он привык делать серьезное лицо. А разве может случиться с мальчиком что-нибудь хуже этого?

Соседи начали поговаривать:

— Заважничал! Задрал нос!

Товарищи по классу стали его избегать, и даже мачеха, которая сделалась теперь немного спокойнее, называла его кислятиной.

Впрочем, мачеха никогда уже больше не говорила, что деньги, выигранные на скачках, шальные. С некоторых пор она считала, что выигрыш на скачках вполне законное и очень почетное дело.

Она даже как-то раз спросила Тима, не хочет ли он взять двадцать марок из выигранных денег, чтобы пойти в воскресенье на ипподром и поставить на какую-нибудь лошадь. До сих пор Тиму не досталось ни копейки из этих денег: с мечтами о мраморной плите и о самокате пришлось пока распрощаться. И теперь — от обиды и из упрямства — он отказался и от двадцати марок. С тех пор как он узнал про долг за пироги, он стал смотреть на мачеху совсем другими глазами. Он боялся, что мачеха уговорит его пойти на ипподром. И страх его был не напрасен. Уже в субботу вечером она начала разговор издалека:

— Хочешь еще хлеба, Тим? Вообще-то говоря, когда человеку везет, надо пробовать счастье до трех раз. А впрочем, до завтра времени много. Еще успеешь решить, идти тебе или нет. Правда?

И Тим, конечно, пошел. Не только потому, что Эрвин и мачеха за завтраком повели разговор о скачках и не прекращали его до обеда и за обедом. Тиму хотелось испытать силу контракта — странной бумаги, лежавшей под подкладкой его фуражки. Теперь он и сам уже толком не знал, что это такое — честное соглашение или подлая сделка?

Они поехали втроем на трамвае к ипподрому. Бледное лицо Эрвина впервые в жизни покрылось красными пятнами, а мачеха, как всегда, тараторила без передышки о риске, о спекуляциях на скачках, о слишком высоких ставках. Она вручила Тиму двадцать марок, осыпая его бесчисленными предостережениями, а потом еще добавила:

— Только не ставь на Фортуну, Тим! В трамвае я слыхала, что у Фортуны никаких шансов! Не то она больна какой-то лошадиной болезнью, не то еще что-то. Слышишь, Тим? Только не на Фортуну.

Уж конечно, теперь-то Тим твердо решил поставить на Фортуну. Контракт лежал у него в фуражке — раздумывать было не о чем. Да и мачехе было полезно доказать, что он лучше нее разбирается в таких вещах.

Но как только они очутились на ипподроме, мачеха и Эрвин вообще забыли о существовании Тима — так захватило их то, что творилось вокруг.

Нарядные дамы и элегантные господа, лошади, которых вели под уздцы маленькие жокеи в красных картузах, шум, болтовня, суматоха, толкотня возле кассы и у барьера — от всего этого прямо глаза разбегались.

— А ты разве не будешь смотреть? — спросила мачеха, когда Тим отдал в окошко квитанцию и получил талон.

Тим мотнул головой.

— На какую лошадь ты поставил? — спросил Эрвин.

— На Фортуну! — ответил Тим громче, чем это было необходимо.

Мачеха взбеленилась:

— На Фортуну? Да ведь я же тебе сказала, что эта лошадь... Что я слыхала в трамвае...

Выстрел, возвестивший начало скачек, перебил ее болтовню. Послышался топот копыт, зрители начали шуметь, выкрикивая имена фаворитов, и мачеха с Эрвином бросились вперед в надежде разглядеть лошадей, хотя это было нелегко из-за множества цилиндров, кепок и шляп. Но пробраться сквозь толпу им не удалось — они стояли теперь неподалеку от Тима, севшего в сторонке на траву. Время от времени Эрвин взволнованно кричал, обернувшись к Тиму:

— Фортуна выходит на третье место!

И снова:

— Фортуна перегоняет!

И наконец, захлебываясь от восторга:

— Фортуна впереди!

Но потом вдруг начало казаться, что Фортуна обессилела. Она споткнулась, ее обошли, и Эрвин крикнул:

— Пропали наши денежки! Фортуна выдохлась!

Теперь мачеха повернула голову к Тиму, взгляд ее говорил: «Вот видишь! Я же предупреждала! Вот не послушался!..»

Но когда до финиша оставалось уже совсем немного, Фортуна начала вдруг с невиданной скоростью наверстывать упущенное время.

Эрвин орал как одержимый:

— Молодец, Фортуна! Ай да Фортуна! А ну-ка, а ну-ка, а ну-ка!..

И толпа выкрикивала все громче и громче:

— Фортуна! Фортуна! Фортуна!

Потом раздался дружный рев, и Тим понял: Фортуна победила! И господин Треч тоже победил.

Тим, собственно говоря, еще и потому сел в сторонке, что надеялся увидеть господина Треча. Но из-под немногих клетчатых кепок, на которые натыкался его взгляд, на него смотрели совсем незнакомые лица. Треча нигде не было. (А между тем он был здесь, на ипподроме, правда, на этот раз не в клетчатом. Переходя с места на место, он, прищурившись, внимательно наблюдал за лицом мальчика.)

Эрвин, запыхавшись, подскочил к Тиму.

— Выиграли! — заорал он во всю глотку. — Давай-ка сюда талон!

Но Тим крепко держал талон в руке и ждал, пока поредет толпа у кассы. Только когда у окошка не осталось ни одного чело-

века, он подошел к нему и получил свой выигрыш — две тысячи марок!

— Довольно большой выигрыш,— сказал он, протягивая деньги мачехе,— здесь должно быть две тысячи марок.

— А ты проверил деньги? Тебя не обсчитали?

— Да уж наверно не обсчитали,— ответил Тим.

— Та-та-та-та! А ну-ка давай сюда! Я сама пересчитаю!

Чуть ли не выхватив деньги у него из рук, она принялась пересчитывать ассигнации; ошиблась, пересчитала снова и наконец сказала:

— Сошлось! Ровно две тысячи марок.

И тут все трое замолчали. Мачеха уставилась на пачку бумажек, которую держала в руке; Эрвин стоял с открытым ртом; лицо Тима, как всегда, оставалось серьезным.

Наконец мачеха прервала молчание:

— Что же нам теперь делать со всеми этими деньгами?

— Не знаю,— сказал Тим.— Это твои деньги!

И мачеха разрыдалась; кто знает — от радости ли, от потрясения или от всего этого, вместе взятого. Она бросилась целовать то одного, то другого мальчика, а потом вытерла глаза носовым платком и сказала:

— Пойдемте, дети! Это надо отпраздновать!

И опять Тим сидел в саду под каштаном за тем самым столиком, за которым сидел когда-то с отцом, потом с мошенниками, а еще в прошлое воскресенье с господином в клетчатом.

Мачеха была в приподнятом настроении и тараторила без передышки:

— Я прямо как чувствовала, что Тим неспроста поставил на Фортуну! Ну и хитрец же ты! — И она ласково потрепала его за ухо.

Потом она заказала лимонаду и каждому по куску торта, на этот раз не орехового, а шоколадного.

Эрвин болтал без умолку об игрушечной электрической железной дороге и о коричневых полуботинках на толстой подошве. Только Тим сидел молча, не раскрывая рта,— мальчик, который не мог смеяться.

Л и с т с е д ь м о й

БЕДНЫЙ БОГАЧ

Теперь Тиму приходилось каждое воскресенье отправляться с мачехой и Эрвином на ипподром. Он делал это нехотя и иногда даже притворялся больным. Изредка ему удавалось улизнуть в

воскресное утро из дому, и тогда он являлся домой поздно вечером. В такие дни мачеха с Эрвином ходили на скачки без него. Но им не везло. Если они и выигрывали, то не больше нескольких марок.

Поэтому Тиму приходилось в следующее воскресенье снова идти вместе с ними и с каждым разом все увеличивать ставку. Вскоре он сделался самым знаменитым человеком на ипподроме—его там, как говорится, знала каждая собака. Везение его вошло в поговорку. О тех, кто часто выигрывал, говорили: «Везет, как Тиму!»

Тим быстро сообразил, что ему лучше выигрывать не всегда одинаково — когда побольше, а когда и поменьше,— и часто ему удавалось это подстроить. Если он ставил на знаменитого рысака, на которого ставили и многие другие, выигрыш был не так уж велик; если же выбирал какую-то захудалую лошаденку, на которую почти никто не решался поставить, то выигрывал огромные суммы.

Мачеха, заявившая вначале, что все выигранные деньги принадлежат Тиму, а она только распоряжается ими как его опекунша, вскоре заговорила о «наших выигрышах», о «наших деньгах», о «нашем лицевом счете в банке». Тим получал от нее всего лишь несколько марок на карманные расходы. И все же ему удалось понемногу скопить на мраморную плиту. Эти деньги Тим решил отложить. Он обменял серебро и медь на ассигнации и спрятал их в большие старинные часы, так как случайно сделал открытие, что подставка у этих часов с двойным дном.

Мачехе неожиданное богатство словно в голову ударило. Очень скоро у нее оказалось ровно столько врагов, сколько было жителей в узком переулке. Своей бывшей подруге, с которой она когда-то пила по утрам на кухне кофе, она заявила прямо в лицо, что та слишком плохо одета и с ней стыдно показаться на улице. (Подарить подруге новое платье ей, разумеется, и в голову не пришло.) Пироги, торты и коврижки фрау Бебер она ругала каждому встречному и поперечному и покупала теперь дорогое печенье и пирожные в центре города. (То, что фрау Бебер отпускала ей прежде целые горы сдобы в долг, разумеется, выпало у нее из памяти.)

Эрвин, которому фрау Талер всякий раз старалась потихоньку подсунуть еще немного денег на карманные расходы, разыгрывал мальчика из богатой семьи. Он носил полуботинки на чудовищно толстой подметке, длинные брюки и очень яркие галстуки. Кроме того, он потихоньку курил и изображал знатока лошадей.

Только Тим втайне проклинал богатство, виновником которого был сам. Часами бродил он теперь в отдаленных кварталах большого города, надеясь встретить господина в клетчатом. Может



быть, Треч согласится вернуть ему его смех, если Тим навсегда откажется от богатства? Но Треча нигде не было.

Господин в клетчатом, однако, не терял Тима из виду. Время от времени по кварталу, где жил Тим, проезжал роскошный автомобиль, и в нем, откинувшись на кожаные подушки, сидел господин в клетчатом кепи. Заметив на улице Тима, он приказывал шоферу остановиться и с озабоченным, почти боязливым выражением лица наблюдал за мальчиком. Этот господин позаботился и о том, чтобы в квартиру Тима попал календарь, где рядом с рекламными стишками, воспевающими кофе, какао и масло, были приведены изречения знаменитых людей. На первой странице календаря можно было прочесть:

К контракту надо относиться, как к браку: сначала взвесить все «за» и «против», а потом хранить верность.

Ч. Треч.

К счастью для Тима, мачеха оторвала и припрятала этот листок, потому что на оборотной стороне его было напечатано объяснение судеб по звездам. Она родилась под созвездием Скорпиона.

Тяжелее всего Тиму было то, что очень скоро к нему стали враждебно относиться в переулке. Серьезное выражение лица соседи принимали за признак высокомерия и зазнайства и решили между собой, что мачеха, Эрвин и Тим — одного поля ягоды. «Выскочки!» — только так их теперь и называли.

Поэтому никто так не радовался, как Тим, — насколько он вообще мог еще радоваться, — когда мачеха сняла квартиру в богатом квартале и они переехали из переулка в большой дом на широкой улице.

Мебель — разумеется, только старую — мачеха раздарила соседям по переулку — тем немногим, с кем она еще разговаривала. Она хотела подарить и большие старинные часы, в которых были спрятаны сбережения Тима, но, к счастью, Тим вовремя услышал об этом и попросил ее разрешить ему поставить часы в своей будущей комнате на новой квартире. Он просил об этом так горячо, что мачеха наконец согласилась; она была скорее удивлена, чем рассержена. Так сейф, отбивающий время, оказался вместе с Тимом в его собственной отдельной комнате, где он впервые в жизни мог без всякой помехи готовить уроки.

Мачеха, поселившись в новой квартире, наняла прислугу. Но ни одна прислуга не могла с ней ужиться. За Марией последовала Берта, за Бертой — Клара, Клару сменила Иоганна, и наконец, когда Иоганна ушла, появилась пожилая женщина по имени

Грит. Она сумела продержаться дольше всех, потому что не спу-
скала мачехе ни одного слова и, когда та ее ругала, огрызалась
в ответ.

Так они то ссорились, то мирились, а годы шли, пока наконец
Тиму не исполнилось четырнадцать лет. Теперь пора было поду-
мать, какую профессию ему избрать.

Мачеха настаивала и даже требовала, чтобы Тим поступил уче-
ником в контору при ипподроме. Это имело свои причины: год
назад, как раз в тот день, когда Тиму исполнилось тринадцать
лет, он поставил большую сумму на лошадь, которую только из
милости в последний раз допустили к скачкам. Ни один человек,
кроме Тима, не решился на нее ставить. Но раз на нее поставил
Тим, лошадь, к изумлению всех знатоков, пришла первой. Тим
получил в окошке тридцать тысяч марок. После этого выигрыша
он объявил мачехе, что теперь они достаточно богаты и больше он
не будет играть на скачках. Ни слезы, ни побои не могли изме-
нить его решения. С этого дня он больше ни разу не был на ип-
подроме.

И вот теперь мачеха надеялась, что Тим снова почувствует
вкус к скачкам, если поступит учеником в контору при ипподроме.
Она даже вступила в переговоры с самым богатым в городе устро-
ителем скачек. Но Тим упрямылся и говорил, что хочет пойти в мо-
ряки и отправиться в плавание. И никогда больше не станет играть
на скачках.

Однажды — это было через несколько дней после того, как
Тим окончил школу, — мачеха снова завела свой обычный раз-
говор о будущем Тима:

— Ведь ты уже не ребенок, Тим! Так и так пора тебе прини-
маться за какое-нибудь дело. А в конторе ты со своими способно-
стями можешь разбогатеть! Ведь я тебе только добра желаю, мой
мальчик! Ведь не о себе думаю, только о тебе!

— Не пойду я в контору, — резко ответил Тим. — Я хочу от-
правиться в плавание!

Мачеха сперва рассердилась, потом разъярилась, а под конец
расстроилась. Как всегда, она стала плакать и кричать, что он хо-
чет ее покинуть, чтобы на старости лет она осталась без гроша
в кармане и пошла просить милостыню. Хочет бросить ее и своего
брата Эрвина на произвол судьбы, а сам стать богачом. Да и вооб-
ще он ничуть не привязан к своей семье! Даже никогда не улыб-
нется!

Последнее замечание задело Тима куда больнее, чем могла по-
дозревать мачеха. Кровь бросилась ему в лицо. Ему захотелось
убежать сейчас же, сию же минуту! Но с тех пор как он потерял
свой смех, он приобрел самообладание, редкое и удивительное для
мальчика этих лет.

Он и на этот раз настолько овладел собой, что мачеха ничего не заметила, разве только что он покраснел.

— Дай мне в следующее воскресенье столько же денег, сколько тогда, в последний раз,— сказал он.— У меня, наверное, будет большой выигрыш.

И раньше чем мачеха успела ответить, Тим выбежал из дому, помчался к реке, сел на уединенную скамейку на берегу и попытался справиться со своим волнением. Но это ему не удалось — он заплакал. Он не хотел плакать и боролся с собой, но рыдал все горше и горше, пока наконец не дал полную волю своему отчаянию. Когда же рыдания начали стихать, а слезы иссякли, Тим начал трезво и хладнокровно обдумывать свое будущее.

Он решил, что в следующее воскресенье снова поставит на какую-нибудь захудалую лошадь и выиграет много денег. Все деньги он отдаст мачехе, а сам просто убежит, бросив ее и Эрвина. Может, наймется юнгой на какой-нибудь корабль, может, еще кем-нибудь. Насчет денег ему беспокоиться нечего. Играть на скачках можно везде. А от богатства — теперь-то уж он знал это наверняка! — все равно никакой радости. Он отдал свой смех за то, что ему вовсе не нужно.

И тут же на берегу Тим принял еще более важное решение: во что бы то ни стало он вернет свой смех! Он отправится за ним и разыщет господина Треча, где бы тот ни скрывался, хоть на краю света.

Как было бы хорошо, если б в целом мире нашелся хоть какой-нибудь человек — пусть хоть пьяный кучер или полоумный бродяга,— с которым Тим мог бы поделиться своим решением! Самые сложные вещи иной раз становятся простыми, когда говоришь о них с кем-нибудь. Но Тиму нельзя было ни с кем говорить об этом. Он должен был замкнуться в своей тайне, как улитка в раковине. Сложенный вчетверо листок бумаги, лежавший теперь вместе с деньгами в больших старинных часах, сделал его самым одиноким мальчиком на земле.

Тим стал думать об отце и о деньгах, скопленных на мраморную плиту. И он решил еще вот что: прежде чем навсегда покинуть город, он поставит плиту на могилу отца. Он понимал, что это будет не так-то просто, но твердо надеялся преодолеть любые трудности.

Теперь он спокойно поднялся со скамьи, у него был план; оставалось только привести его в исполнение. И план этот придавал ему силы.

ПОСЛЕДНЕЕ ВОСКРЕСЕНЬЕ

Когда наступило воскресенье — последнее воскресенье, проведенное Тимом в родном городе, — мачеха уже за завтраком начала проявлять нетерпение. Она сварила сегодня особенно крепкий кофе и пила его жадными глотками, но почти ничего не ела. Тиму она дала немного больше денег, чем он попросил. Нарядившись в свое самое шикарное шелковое платье, вышитое цветами, она достала из шкафа лису, чтобы надеть ее, когда будет выходить из дому.

— Ах, как любопытно, как любопытно, — тараторила она, — выиграем мы сегодня или нет?! Ты уже знаешь, Тим, на какую лошадь будешь ставить?

— Нет, — ответил Тим. И это была правда.

— Так ты еще и не думал об этом? Хочешь ставить прямо так, с бухты-баряхты?

— Тим уж знает, что делает! — заявил Эрвин.

Успехи сводного брата на скачках внушали ему и зависть и уважение.

После завтрака они сели втроем в такси и поехали на ипподром. Едва выйдя из машины, мачеха бросилась было к окошку кассы. Но Тим сказал, что ему нужно сперва немного оглядеться, и мачеха сочла это вполне разумным — пусть потолкается в толпе, послушает, что говорят люди.

На ипподроме успели уже почти совсем позабыть Тима: ведь он целый год не играл на скачках. И все же кое-кто его помнил; когда он проходил, некоторые зрители шептались, подталкивая друг друга локтем. Особенно большой интерес к Тиму проявлял какой-то человек с курчавыми темными волосами и странно колючими водянисто-голубыми глазами. Он вертелся вокруг Тима, словно верный пес вокруг хозяина, и буквально не сводил с него глаз, как-то ухитряясь при этом оставаться незамеченным. Когда Тим начал читать список лошадей, человек этот встал с ним рядом.

— На Южного, кажется, никто не поставил! — заметил он как бы между прочим, даже не взглянув на Тима. — А ты что, тоже собираешься ставить?

— Да, — ответил Тим, — и как раз на Южного!

Теперь незнакомец повернулся к нему лицом.

— Очень смело, малыш! Ведь у Южного, можно сказать, никаких шансов!

— Увидим, — ответил Тим.

Ему вдруг почему-то захотелось рассмеяться. Но смеяться

он не мог. Серьезно и грустно смотрел он на незнакомца, который начал теперь подшучивать над смелым замыслом Тима и его надеждами на выигрыш. Он проводил Тима до самой кассы.

По дороге незнакомец все продолжал шутить. Он подсмеивался над маленькими жокеями, внимательно вглядываясь при этом в лицо Тима. Но лицо Тима оставалось по-прежнему серьезным.

Почти уже дойдя до окошка кассы, спутник Тима остановился; Тим тоже невольно замедлил шаг.

— Меня зовут Крешимир, — сказал незнакомец. — Я желаю тебе добра, малыш. Я знаю, что на этом ипподроме ты еще ни разу не проиграл. Случай редкий и удивительный. Можно, я задам тебе один вопрос?

Тим поглядел в водянисто-голубые глаза незнакомца, и они показались ему странно знакомыми. Они напоминали ему кого-то, только он никак не мог вспомнить, кого именно.

— Пожалуйста! — сказал он. — Спрашивайте.

Не сводя глаз с мальчика, Крешимир тихо спросил:

— Почему ты никогда не смеешься, малыш? Тебе не хочется? Или... ты не можешь?

Тим почувствовал, что краснеет. Кто этот человек? Что он знает о Тиме? Ему вдруг показалось, что у этого человека глаза Треча. Может быть, это Треч так изменился? И хочет испытать Тима?

Пожалуй, он слишком долго медлил с ответом. Крешимир вдруг сказал:

— Твое молчание достаточно красноречиво. Может быть, мне когда-нибудь удастся тебе помочь. Не забудь: меня зовут Крешимир. До свидания!

И человек исчез в толпе, запрудившей ипподром. Тим сразу потерял его из виду. Встревоженный, он подошел к окошку кассы и поставил на Южного все деньги, какие у него были.

Едва отойдя от окошка, он наткнулся на мачеху и Эрвина. Наверняка они нарочно его здесь дожидались. Но на этот раз Тим не стал говорить им, на какую лошадь поставил. Зато он сегодня впервые вместе с ними следил за скачками.

Южный оказался необычайно темпераментным молодым жеребцом: он всего в третий раз участвовал в скачках. Поговаривали, что его слишком рано выпустили на ипподром. До сегодняшнего дня он оба раза приходил к финишу четвертым. Правда, был один случай, когда в самом начале заезда он понесся вдруг как стрела и, обойдя остальных, вырвался на полкорпуса вперед. Но вскоре он отстал и пришел, как и в первый раз, четвертым.

Все это Тим узнал из беседы каких-то двоих людей, стоявших неподалеку от него в толпе. Впервые в жизни он с волнением следил за скачками. Он боялся, что после разговора с Крешими-

ром его контракт с господином в клетчатом окажется недействительным. Результат скачек должен был показать, справедливы ли его опасения.

Выстрел возвестил начало первого заезда. Лошади побежали, и Южный сразу, как всегда, оказался на четвертом месте. Двое людей рядом с Тимом разговаривали теперь о лошади, шедшей впереди. Но потом разговор снова перешел на Южного. В возрастающем шуме до Тима доносились только обрывки фраз:

— Многому научился... бережет силы... вырвется...

Однако шансов на победу у Южного, по-видимому, не было никаких. Он все еще держался четвертым, но лошади, бежавшие впереди него, ушли далеко вперед. Эрвин и мачеха все приставали к Тиму, чтобы он сказал им, на какую лошадь поставил. А Тима охватили сомнения. Теперь он со страхом следил за скачками. Южный едва заметно выдвинулся вперед. До финиша оставалось уже совсем немного.

И вдруг лошадь, бежавшая впереди, споткнулась. Две другие, шедшие вслед за ней, испуганно мотнув головами, подались в сторону. В это мгновение Южный пронесся мимо них великолепным галопом и благополучно пришел к финишу первым. В реве толпы звучало скорее разочарование, чем восторг. Тим услышал, как рядом с ним кто-то сказал:

— Самые нелепые скачки из всех, какие я видел!

На большом табло в самом верху появилась надпись: «Южный». Тим вздохнул с облегчением. Как ему хотелось сейчас рассмеяться! Но вместо этого он молча вынул из кармана талончик и, протянув его мачехе, сказал:

— Мы выиграли! Получи, пожалуйста, деньги сама!

Фрау Талер в сопровождении Эрвина бросилась к окошку кассы. А Тим, не дожидаясь их возвращения, поехал на трамвае домой, достал из старинных часов контракт и деньги и, сунув контракт под подкладку фуражки, а деньги во внутренний карман куртки, хотел было уже выйти за дверь, как вдруг услышал, что мачеха с Эрвином поднимаются по лестнице. Он едва успел спрятаться за портьеру, закрывавшую вход в небольшой чуланчик. И тут же дверь квартиры отворилась, и мачеха стала громко звать его по имени. Тим не откликнулся.

— И куда это он запропастился? — услышал он снова голос мачехи. — Он такой чудной последнее время!

Голоса стали удаляться — теперь они уже доносились не то из кухни, не то из спальни. Тим услышал еще, как Эрвин спросил:

— Теперь мы чертовски богаты, правда?

И резкий голос мачехи издалика что-то ответил. До Тима долетело:

— ...сорока тысяч...

«Ну,— подумал Тим с холодным спокойствием,— теперь я наверняка им больше не нужен».

Он вышел из чулана, неслышно открыл и закрыл входную дверь, пробрался, прижимаясь к стене, под самыми окнами своей квартиры и бросился бежать со всех ног в сторону кладбища, на восточную окраину города.

Только когда толстый усатый кладбищенский сторож спросил его у входа, какой номер могилы ему нужен, он сообразил, что ошибся: мраморную плиту для отца надо было, наверное, заказать заранее где-нибудь в другом месте. И все-таки Тим решил хотя бы что-нибудь разузнать.

— Не могу ли я заказать у вас мраморную плиту? — вежливо спросил он сторожа.

— Мраморные плиты у нас не разрешаются, только каменные! — буркнул усатый. — Да и вообще ты обратился не по адресу. Но мастерская надгробных памятников все равно по воскресеньям закрыта!

И вдруг Тиму пришла в голову отчаянная мысль:

— Давайте спорить, что на могиле моего отца уже лежит мраморная плита! И на ней золотыми буквами написано: «От твоего сына Тима, который никогда тебя не забудет».

— Ты проиграл пари, мальчик, еще не успев его заключить!

— Все равно, давайте спорить! На плитку шоколада! (Он еще раньше заметил плитку шоколада на подоконнике сторожки.)

— А у тебя хватит денег на плитку шоколада, если ты проиграешь?

Тим вытащил из кармана свои ассигнации.

— Ну как, спорим?

— Более дурацкого пари и не придумаешь! — пробормотал кладбищенский сторож. — Ну что ж, давай!

Они ударили по рукам и побрели по громадному, похожему на парк кладбищу, туда, где находилась могила отца Тима.

Уже издали они заметили троих рабочих в комбинезонах, возившихся у могилы. Толстый кладбищенский сторож ускорил шаг.

— Да ведь это... — Он фыркнул, как морж, и бросился бежать к могиле.

На могилу как раз клали новую мраморную плиту. На ней золотыми буквами были выгравированы имя и фамилия отца и даты его жизни, а внизу надпись: «От твоего сына Тима, который никогда тебя не забудет».

Рабочие не обратили ни малейшего внимания на крик сторожа. Они показали ему какие-то бумаги, подтверждавшие, что плита эта положена на могилу вполне законно. Среди документов было

даже специальное разрешение на замену каменной плиты плитой из мрамора. Сторож, как выяснилось, клевал носом, когда рабочие проходили мимо его сторожки, и им не хотелось его будить.

— А заплатить за все это,— добавил один из них,— должен некий Тим Талер.

— Верно,— сказал Тим.— Вот деньги.— Он достал из кармана ассигнации и, сосчитав их, передал одному из рабочих. Теперь у него осталось всего пятьдесят пфеннигов.

Кладбищенский сторож, ворча, поплелся обратно к сторожке.

Рабочие собрали инструменты, приподняли на прощание кепки и тоже пошли к выходу.

Тим, зажав в кулаке монету в пятьдесят пфеннигов, остался стоять один у могилы отца. В другой руке он держал свою фуражку, под подкладкой которой был спрятан странный, непонятный контракт. Он рассказывал тому, кого давно уже не было в живых, все, что ему так хотелось бы рассказать хоть одному живому человеку. Наконец он умолк, еще раз осмотрел новую мраморную плиту и нашел ее очень красивой. Потом негромко сказал:

— Я вернусь, когда снова смогу смеяться. До скорого свидания! — Но вдруг запнулся и прибавил: — Надеюсь, что до скорого...

Проходя мимо сторожки, он взял у рассерженного сторожа плитку шоколада. На последние деньги он купил трамвайный билет.

Куда он едет, он и сам не знал. Он знал только, что ему надо найти господина в клетчатом и вернуть проданный смех.

Л и с т д е в я т ы й

ГОСПОДИН РИКЕРТ

Трамвайный вагон был почти пуст. Кроме Тима, здесь сидел только кругленький, небольшого роста пожилой человек с веселым лицом, немного похожий на добродушного мопса.

Он спросил мальчика, куда тот едет.

— На вокзал,— ответил Тим.

— Тогда тебе придется сделать пересадку. Этот трамвай не идет к вокзалу. Это я знаю точно: я и сам еду на вокзал.

Тим держал свою фуражку на коленях и, ощупывая пальцами подкладку, слушал, как шуршит под его рукой сложенный вчетверо контракт. И вдруг ему пришло в голову, что теперь он должен стараться как можно чаще заключать самые невероятные пари. Может быть, какое-нибудь он и проиграет. Ведь тогда он вернет свой смех!

И он сказал:

— Держу пари, что этот трамвай идет к вокзалу!

Кругленький человечек рассмеялся и сказал то же самое, что и кладбищенский сторож:

— Ты проиграл пари, еще не успев его заключить! — И добавил: — Ведь это «девятый»! Он еще никогда не шел до вокзала.

— И все-таки я держу с вами пари! — сказал Тим с такой уверенностью, что человек с удивлением замолчал.

— Что-то уж чересчур ты в этом уверен, малыш. Так на что же мы будем спорить?

— На билет до Гамбурга, — быстро ответил Тим. Он и сам был обескуражен своим поспешным ответом. Эта мысль так неожиданно пришла ему в голову. И все же она пришла не случайно. Ведь он давно уже решил отправиться в плавание.

— А ты что, собираешься ехать в Гамбург?

Тим кивнул.

Приветливое лицо «мопса» расплылось в улыбке.

— Тебе незачем спорить, малыш! Дело в том, что я тоже еду в Гамбург и взял два билета в двухместном купе. А тот господин, который должен был ехать со мной, задержался. Значит, ты можешь составить мне компанию.

— И все-таки мне хотелось бы заключить с вами пари, — серьезно ответил Тим.

— Хорошо! Давай поспорим. Но предупреждаю: ты проиграешь! А как тебя зовут?

— Тим Талер.

— Хорошее имя. Звучит, как звон монет¹. А моя фамилия Рикерт.

Они пожали друг другу руки. Так они одновременно и познакомились и заключили пари.

Когда по вагону прошел кондуктор, господин Рикерт спросил его:

— Скажите, пожалуйста, этот трамвай идет к вокзалу?

Только кондуктор хотел ответить, как вагон качнуло, и он остановился. Тим чуть не упал на господина Рикерта.

Кондуктор побежал на переднюю площадку. Как раз в эту минуту на нее вскочил чиновник управления городского транспорта с серебряными нашивками на кителе. Он взволнованно сообщил что-то кондуктору, тот взволнованно что-то ответил, потом вернулся в вагон и обратился к господину Рикерту:

— Сегодня вагон в порядке исключения пойдет к вокзалу, потому что на нашей линии поврежден провод. Но обычно «девятый» не ходит по этому маршруту.

¹ Игра слов: т а л е р — старинная немецкая серебряная монета, равная трем маркам.

Он приложил два пальца к козырьку фуражки и снова пошел на переднюю площадку.

— Черт побери, ловко же ты выиграл спор, Тим Талер! — рассмеялся господин Рикерт. — Сознайся-ка, ведь ты наверняка слышал, что на этой линии оборван провод. Ну, сознайся!

Тим грустно покачал головой. Ему гораздо больше хотелось проиграть этот спор, чем выиграть. Теперь ему окончательно стало ясно, что господин Треч располагает возможностями, мягко выражаясь, необыкновенными.

На вокзале господин Рикерт поинтересовался, где оставил Тим свой багаж.

— Все, что мне нужно, со мной, — ответил Тим очень неопределенно и совсем не по-детски. — А паспорт у меня в кармане куртки.

У Тима правда был при себе паспорт. Когда ему исполнилось четырнадцать лет, он добился у мачехи, чтобы она выхлопотала ему собственный паспорт, ссылаясь на то, что ему придется показывать паспорт в кассе на ипподроме. Этот довод убедил мачеху, тем более что Тим целый год вообще отказывался играть на скачках.

Но только теперь Тим понял, как необходим ему паспорт. Ведь он ехал в Гамбург.

Купе господина Рикерта оказалось в первом классе. На двери купе висела табличка с его именем: «Христиан Рикерт, директор пароходства».

А внизу на той же табличке стояло еще одно имя, и, прочитав его, Тим побледнел: «Барон Ч. Треч».

Когда они сели на свои места, господин Рикерт спросил:

— Тебе нехорошо, Тим? Ты так побледнел!

— Это иногда со мной бывает, — ответил Тим (и нельзя сказать, чтобы это было неправдой, потому что с кем же этого иногда не бывает).

Поезд шел некоторое время вдоль Эльбы. Господин Рикерт глядел на реку, на ее берега; видно было, что это доставляет ему удовольствие. Но Тим не смотрел ни в окно, ни на господина Рикерта.

Ласковый взгляд «мопса» время от времени незаметно останавливался на лице мальчика, но затем снова обращался к живописным берегам реки.

Господин Рикерт был озабочен: он не переставая думал об этом мальчике.

Наконец он решил подбодрить его каким-нибудь забавным рассказом о морском путешествии, но, едва начав рассказывать, тут же заметил, что мальчик рассеян и совсем его не слушает.

Только когда господин Рикерт перевел разговор на барона

Треча, место которого в купе занимал сейчас Тим, тот стал вдруг внимательным и даже разговорчивым.

— Барон, наверное, очень богат? — спросил Тим.

— Чудовищно богат! У него есть свои предприятия во всех частях света. Пароходство в Гамбурге, которым я заведу, тоже принадлежит ему.

— Разве барон живет в Гамбурге?

Господин Рикерт сделал неопределенное движение рукой, которое, как видно, должно было означать: «А кто его знает?»

— Барон живет везде и нигде, — пояснил он. — Сегодня он в Гамбурге, завтра — в Рио-де-Жанейро, а послезавтра, может быть, в Гонконге. Главная его резиденция, насколько мне известно, это замок в Месопотамии.

— Вы, наверное, очень хорошо его знаете?

— Никто его хорошо не знает, Тим. Он меняет свой внешний вид, как хамелеон. Вот приведу тебе пример: много лет подряд у него были поджатые губы и колючие рыбы глаза. Причем могу поклясться, что они были водянисто-голубого цвета. А когда я встретился с ним вчера, оказалось, что глаза у него карие, добрые. И теперь он уже не надевает больше на улице черные очки от солнца. Но самое странное, что человек этот, на лице которого я — клянусь тебе! — никогда раньше не видел улыбки, хохотал вчера, словно мальчишка. И ни разу не поджал губ. А раньше он делал это поминутно.

Тим поспешно отвернулся к окну. Только что он невольно поджал губы.

Господин Рикерт чувствовал, что что-то в его рассказе одновременно привлекает и расстраивает мальчика. Он переменял тему разговора:

— А что ты собираешься делать в Гамбурге?

— Хочу поступить учеником кельнера на какой-нибудь пароход.

И опять Тим сам удивился своему внезапному решению: в эту минуту оно впервые пришло ему в голову. А впрочем, и это решение было не так уж неожиданно: ведь с чего-нибудь да надо же начинать, если решил отправиться в плавание.

На лице сидевшего напротив человека, похожего на добродушного мопса, появилась радостная улыбка.

— Послушай-ка, Тим, да ты ведь просто счастливчик! — не без торжественности произнес господин Рикерт. — Когда ты собираешься ехать на вокзал, трамвай меняет ради тебя свой маршрут, а когда тебе нужно найти место, ты тут же натыкаешься на человека, который может тебе его предоставить!

— Вы можете устроить меня учеником кельнера?

— Кельнер на корабле называется стюард, — поправил его

директор пароходства.— Для начала ты поработаешь мальчиком в кают-компании, а может быть, юнгой. Но самое главное сейчас вот что: родители твои согласны?

Тим немного подумал, потом ответил:

— У меня нет родителей.

О мачехе он умолчал: он знал, что она ни за что бы не разрешила ему отправиться в плавание. Да и вообще он больше ни минуты не хотел думать о том, что оставил позади. Его занимало сейчас другое: была ли его встреча с господином Рикертом и вправду счастливой случайностью? Или и здесь, как в истории с мраморной плитой и «девятым» трамваем, приложил руку господин в клетчатом?

Вместе со смехом Тим потерял и кое-что другое: доверие к людям. А в этом, как известно, тоже мало хорошего.

Господин Рикерт спросил его о чем-то, и Тиму пришлось сделать над собой усилие, чтобы понять смысл вопроса,— голова его так и гудела от разных мыслей.

— Я спрашиваю, согласен ли ты, чтобы я о тебе немного позаботился? — повторил господин Рикерт.— Или, может быть, тебе не нравится мое лицо?

Тим ответил, не задумываясь:

— Нет, нравится! Даже очень нравится!

И это была правда. У него вдруг возникло чувство уверенности, что этот человек хотя и служащий, но вовсе не сообщник господина в клетчатом, который теперь — к этой мысли Тиму надо было еще привыкнуть! — превратился в богатого барона Треча. И от этой уверенности Тим стал снова самым обыкновенным, доверчивым четырнадцатилетним мальчиком.

— Что с тобой? — прямо спросил его господин Рикерт.— Ты сегодня еще ни разу не улыбнулся. А ведь у тебя было для этого столько поводов! С тобой стряслась какая-нибудь беда?

Больше всего на свете Тиму хотелось броситься господину Рикерту на шею, как это бывает в театре на сцене. Но ведь все это было не в театре, а на самом деле. Жгучая тоска охватила Тима — тоска по человеку, которому он мог бы рассказать все.

Ему было так трудно справиться с тоской, и отчаянием, и с чувством полной беспомощности, что блестящие крупные слезы градом покатались по его щекам.

Господин Рикерт сел рядом с ним и сказал, словно между прочим:

— Ну-ну, не плачь! Расскажи-ка мне, что с тобой случилось!

— Не могу! — крикнул Тим, уткнувшись лицом в плечо господина Рикерта. Все его тело сотрясилось от рыданий.

Маленький кругленький директор пароходства взял его руку в свою и не выпускал до тех пор, пока Тим не заснул.

Л и с т д е с я т ы й

КУКОЛЬНЫЙ ТЕАТР

Корабль, на который Тим должен был поступить помощником стюарда, назывался «Дельфин». Это был товаро-пассажирский пароход, курсировавший между Гамбургом и Генуей.

До отплытия парохода у Тима оставалось еще три свободных дня. Это время он мог провести в доме господина Рикерта.

Дом господина Рикерта, белый, как облако на летнем небе, стоял на шоссе, проходившем вдоль берега Эльбы; на фасаде его красовался полукруглый балкон, поддерживаемый тремя колоннами. Высокое крыльцо под балконом охраняли справа и слева два каменных льва весьма мирного и благодушного вида.

Со стесненным сердцем глядел Тим на этот радостный, светлый дом. Раньше, когда он был еще мальчиком из переулка и умел смеяться, все это наверняка показалось бы ему волшебным сном — домом прекрасного принца из сказки. Но тому, кто продал свой смех, трудно быть счастливым. Серьезный и грустный прошел Тим между двумя добрыми львами в белую виллу.

Господин Рикерт жил вместе со своей матерью, милой, приветливой старушкой; голова у нее была вся в белых кудряшках, а голосок как у девочки, и по всякому малейшему поводу она звонко и весело смеялась.

— Ты все такой печальный, мальчик, — сказала она Тиму. — Так не годится. Да еще в твоём возрасте! Еще успеешь узнать, что жизнь не так сладка. Правда, Христиан?

Сын ее, директор пароходства, кивнул и тут же, отведя мать в сторону, объяснил ей, что с мальчиком, судя по всему, случилось какое-то ужасное несчастье и поэтому он очень просит ее обращаться с ним как можно бережнее.

Старушка с трудом поняла, о чем толковал ей сын. Она выросла в обеспеченной, жизнерадостной семье, вышла замуж за обеспеченного, жизнерадостного человека, и старость у нее была тоже обеспеченная и жизнерадостная. Она знала об узких переулках в больших городах только из трогательных историй, над которыми проливала горькие слезы, а про ссоры, зависть, коварство и тому подобные вещи и вовсе никогда не слыхала да и не хотела слушать.

Всю жизнь она оставалась ребенком. Она была словно голубой крокус, никогда не перестававший цвести.

— Вот что, Христианчик, — сказала она сыну после того, как он рассказал ей все, что знал, — пойду-ка я немного погуляю с мальчиком. Вот увидишь, уж у меня-то он рассмеется!

— Будь осторожнее, мама,— предупредил ее господин Рикерт.

И старушка обещала ему быть осторожнее.

Для Тима прогулки с ней оказались особенно тяжелыми как раз потому, что он страшно привязался к этому милому ребенку восьмидесяти с лишним лет. Когда она брала его за руку своей маленькой мягкой ручкой, ему хотелось подмигнуть ей и рассмеяться. Он даже подразнил бы ее немного, как старшую сестру,— это ей вполне подошло бы.

Но смех его был далеко. С ним разгуливал по белу свету странный господин в клетчатом — богатый барон Треч. Теперь Тим понимал, что продал самое дорогое из всего, что у него когда-либо было.

Во вторник старенькой фрау Рикерт пришла в голову замечательная идея. Она прочла в газете, что кукольный театр дает сегодня представление по сказке «Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!». Это была сказка про принцессу, которая не умела смеяться. Фрау Рикерт помнила сказку очень хорошо и решила посмотреть представление вместе с мальчиком, который не умеет смеяться.

Она находила свою идею просто блестящей, но пока никому о ней не рассказывала. Все утро она то и дело загадочно хихикала, а после обеда пригласила обоих «мальчиков» — господина Рикерта и Тима — пойти с ней на спектакль театра марионеток. И так как оба они ни в чем не могли отказать старушке, все трое отправились в кукольный театр.

Кукольный театр находился совсем близко от их дома. Он давал спектакли в Овельгёне, предместье Гамбурга, расположенном на самом берегу Эльбы; чистенькие домики, окруженные садами, словно выстроились в ряд у реки под ее прежним высоким берегом. Здесь, в задней комнате небольшого трактирчика, и расставил свои ширмы театр марионеток.

Тесный зал был полон ребят. Только кое-где над спинками стульев возвышались головы матерей и отцов.

Фрау Рикерт тут же высмотрела три свободных места во втором ряду и, смеясь и жестикулируя, стала к ним пробираться. Ее сын и Тим покорно следовали за ней. И не успели они занять места, как в зале погас свет и маленький красный занавес маленького театра раздвинулся.

Спектакль начался прологом в стихах: король вел беседу с бродягой. Они повстречались ночью в чистом поле, когда взошла луна. Лицо у короля было бледное и грустное. У бродяги, даже при лунном свете, играл на щеках румянец, а с губ ни на минуту не сходила улыбка. Вот их беседа, послужившая прологом к сказке:

КОРОЛЬ

Владенья наши облетела весть:
Принцесса без улыбки где-то есть.
Я человек серьезный, смеху враг,
И с ней хочу вступить в законный брак.
Послушай, друг, получишь золотой,
Коль мне укажешь путь к принцессе той!

БРОДЯГА

Да вон он, замок! Там она живет!
Я сам спешу, сказать по правде, в замок тот,
Тебе ж, король, нет смысла торопиться:
Войду — и расхохочется девица!

КОРОЛЬ

Напрасный труд! Хвастливые слова!
Она не рассмеется! И права:
Кто не забыл, что ждет в конце нас всех,
Того не соблазнит дурацкий смех.
Земля, конечно, шарик хоть куда,
Но всякий шарик — мыльная вода!
И тот, кто в том отдал себе отчет,
Не станет хохотать, как идиот.

БРОДЯГА

Король, король, а, видно, не дурак!
Все вроде так. И все-таки не так:
Выходит, в жизни к смерти все идет,
И цель-то — смерть. Ан нет, наоборот!
Бокал с вином не для того блестит,
Чтобы потом сказали: «Он разбит».
Он для того искрится от вина,
Чтобы сейчас сказали: «Пей до дна!»
Ну что ж, что разобьют в конце концов!
Пока он цел. И полон до краев!

КОРОЛЬ

Что радости ему, что он блестит,
Раз день придет, и скажут: «Он разбит»?

БРОДЯГА

Да потому и радуется он,
Что знает: нет, не вечны блеск и звон!

КОРОЛЬ

Ну, видно, мы друг друга не поймем.
Давай-ка к ней отправимся вдвоем.
Спеши! Смеси! А рассмешишь ее,
И королевство не мое — твое!

БРОДЯГА

Что ж, по рукам, король! Но, право, верь,
Смех означает: человек не зверь.
Так человек природой награжден:
Когда смешно, смеяться может он!

Занавес опустился, и теперь в зале стало почти совсем темно. Только сквозь щелочку в занавесе пробивалось немного света. Большинство ребят не поняли пролога и теперь шептались друг с другом, с нетерпением ожидая, когда же начнется настоящее представление.

Только трое людей впереди, во втором ряду, сидели совсем тихо: каждый из них думал о своем. Старенькая фрау Рикерт сердилась, что она, оказывается, думает точно так же, как какой-то бродяга. Она была не слишком высокого мнения о бродягах, хотя и раздавала много денег нищим. Ей гораздо больше хотелось бы согласиться с королем — ведь он был такой серьезный и такой грустный.

Господин Рикерт, сидевший справа от нее, вглядывался в полутьме в лицо Тима. Только один тоненький светлый луч падал на лоб мальчика, бледный, как у короля на сцене. Господин Рикерт боялся, что затея его матери оказалась не совсем удачной: ведь только вчера он видел, как Тим плакал.

В голове Тима была лишь одна мысль: «Только бы со мной сейчас никто не заговорил!» Его душили слезы. И все снова и снова в ушах его звучали последние строчки пролога:

Так человек природой награжден:
Когда смешно, смеяться может он!

Смеяться может... Может смеяться...

Занавес поднялся, и постепенно внимание Тима привлекла

к себе очень бледная и очень серьезная принцесса, выглядывавшая из окна замка.

В саду перед замком, как раз под окном принцессы, появился король-отец. Как только дочь его увидела, она тут же тихонько отошла от окна.

Его величество король сел на край бассейна у фонтана и стал петь грустную песню воде и цветам. Он жаловался им, что обращался ко всем знаменитым шутникам — шутам и дуракам — и испробовал все шутки, какие только есть на свете, чтобы заставить свою дочь рассмеяться. Но — увы! — без всякого успеха.

Потом король, вздыхая, поднялся. Дети в зале сидели не шелохнувшись.

Его величество бродил взад и вперед по саду, сокрушаясь о себе и о своей дочери, а потом вдруг остановился и крикнул:

— О, если бы кто-нибудь ее рассмешил! Я тут же отдал бы ему в жены принцессу да еще полкоролевства в придачу!

Как раз в это мгновение в сад вошли бродяга и грустный молодой король. Услыхав вопль отчаяния, изданный королем-отцом, бродяга напрямик заявил:

— Ловлю вас на слове, ваше величество! Если я рассмешу принцессу, я получу ее в жены! Половину королевства можете оставить себе: вот этот господин, который меня сопровождает, отдает мне свое королевство целиком!

Король удивленно взглянул на путников, оказавшихся невольными свидетелями его обещаний. Бледный молодой король понравился ему гораздо больше, чем краснощекий бродяга. Ведь у королей на этот счет свои вкусы. Однако, не желая нарушить слово, он сказал:

— Если тебе удастся, незнакомец, рассмешить принцессу, ты станешь принцем и ее супругом!

Бродяге только этого и надо было. Он вдруг помчался куда-то со всех ног, оставив королей в саду наедине друг с другом.

Тут занавес упал и объявили антракт.

Теперь маленькие зрители не могли дожидаться продолжения. Всем хотелось знать, рассмеется ли принцесса.

Тим втайне надеялся, что она останется серьезной. Хотя с начала спектакля прошло совсем мало времени, она уже стала ему словно сестрой: вдвоем, взявшись за руки, они могли без страха глядеть в лицо смеющемуся миру. Но Тим слишком хорошо знал, как кончаются сказки. С тоской ждал он той минуты, когда принцесса рассмеется.

И ждать ему пришлось недолго. Когда поднялся занавес, принцесса снова появилась в окне, а оба короля уселись на краю бассейна перед фонтаном. За сценой слышалось пение и смех, и вдруг в саду перед замком опять появился бродяга. Он

вел на поводке гуся в золотом ошейнике, а вслед за ним, положив руку гусю на хвост, семенил какой-то толстяк; казалось, рука его приклеилась к перьям. Другой рукой он тащил за собой щупленького человечка, которого швыряло на ходу из стороны в сторону. Тот, в свою очередь, тянул за собой старушонку, старушонка — мальчонку, мальчонка — девчонку, а девчонка — собачонку. Казалось, какая-то волшебная сила нанизала их всех на одну веревочку. Они прыгали и скакали, словно на невидимых пружинах — туда и сюда, вверх и вниз. И при этом так хохотали, что в королевском саду отдавалось эхо.

Принцесса высунулась из окошка, чтобы получше разглядеть это шествие. Она широко раскрыла глаза, но лицо ее оставалось серьезным.

«Не смейся, не смейся, сестренка! — мысленно просил ее Тим. — Пусть они все смеются, все, кроме нас с тобой».

Но он просил напрасно. Грустный молодой король по рассеянности погладил собачонку, скакавшую самой последней, и вдруг рука его словно прилипла к собачьему хвосту. В испуге он схватился другой рукой за руку короля-отца. И вот уже оба короля присоединились ко всем остальным, завершая эту диковинную процессию. По их судорожным движениям было видно, что им очень хотелось бы освободиться от странного колдовства, но это никак не удавалось. Пришлось им примириться со своим непривычным положением, и, пожалуй, они даже начинали находить в нем удовольствие. Ноги их, казалось, вот-вот пустятся в пляс, уголки губ подрагивали, и вскоре они уже стали смешно подпрыгивать и подскакивать, то и дело прыскавая со смеху.

В это мгновение из окошка слышался смех принцессы. Заиграла музыка. Все танцевали, скакали и хохотали до упаду, и дети в зале тоже хохотали и топали ногами от удовольствия.

Бедный Тим сидел, словно окаменев. Он был как скала в море смеха. Старенькая фрау Рикерт рядом с ним так смеялась, что даже закрыла лицо руками и наклонилась вперед. Из глаз ее катились слезы.

И тут Тим впервые заметил, как похожи движения смеющегося человека на движения плачущего. Он закрыл лицо руками, нагнулся вперед и сделал вид, будто тоже смеется.

Но Тим не смеялся. Он плакал. И сквозь слезы повторял про себя: «Зачем ты рассмеялась, сестренка? Зачем, зачем ты рассмеялась?»

Когда занавес упал и зажегся свет, старенькая фрау Рикерт вытащила из сумочки кружевной платочек, приложила его к глазам и, вытерев слезы, протянула Тиму:

— На-ка, Тим, вытри и ты слезы. Вот видишь! Я так и знала, что уж на этом спектакле ты обязательно будешь смеяться!

И старушка торжествующе поглядела на сына.

— Да, мама,— вежливо сказал господин Рикерт,— это была действительно счастливая мысль!

Но когда он произносил эти слова, лицо его оставалось грустным. Он понял, что мальчик по доброте душевной и от отчаяния обманул старушку. А Тим понял, что господин Рикерт все понял.

Впервые с того рокового дня на ипподроме в душе его поднялся бессильный гнев против барона. Гнев словно захлестнул его. И в эту минуту он твердо решил, что добудет назад свой смех, чего бы это ему ни стоило.

КНИГА ВТОРАЯ

ШТОРМ И ШТИЛЬ

Кто смеется, тот спасен!

Английская поговорка

Л и с т о д и н н а д ц а т ы й

ЗЛОВЕЩИЙ БАРОН

К счастью для Тима, пароход отправлялся в Геную на следующий день утром. Старенькая фрау Рикерт махала платком со ступенек белой виллы, и Тим махал ей в ответ, пока вила не скрылась из виду.

Директор пароходства сам проводил Тима на причал. Он купил ему брюки, куртку и ботинки, ручные часы и новенький матросский рюкзак. Протянув Тиму на прощание руку, он сказал:

— Выше голову, малыш! Когда через три недели ты вернешься назад, мир будет казаться тебе совсем другим. И ты наверняка будешь снова смеяться. Решено?

Тим замялся. Потом быстро сказал:

— Когда я вернусь, господин Рикерт, я буду снова смеяться. Решено! — Он пробормотал еще: — Большое спасибо! — но совсем невнятно, потому что ему сдавило горло, и взбежал по сходням на палубу.

Капитан корабля, человек угрюмый и мрачный, был не дурак выпить. До всего остального ему, собственно говоря, не было никакого дела. Он едва взглянул на Тима, когда тот ему представился, и буркнул:

— Обратись к стюарду. Он здесь тоже новенький. Будешь с ним в одной каюте.

Тим впервые в жизни очутился на пароходе. Он растерянно бродил по нему в поисках стюарда, то взбираясь, то спускаясь вниз по железным лестницам, шагал по узким коридорчикам, попадал то на нос, то на корму, то на нижнюю, то на верхнюю палубу. Экипаж корабля не носил формы. Поэтому Тим даже не знал, к кому обратиться. Блуждая по пароходу, он случайно попал через открытую настежь дверь средней палубы в какое-то небольшое помещение, вроде маленькой гостиной; из середины ее вела в глубь корабля покрытая ковром лестница с высокими полированными перилами. Снизу поднимался запах жареной рыбы, и Тим догадался, что там, как видно, и есть его будущее рабочее место.

Справа от лестницы находился камбуз, из которого неслись всевозможные вкусные запахи; прямо, за приоткрытой двустворчатой дверью, виднелся большой салон-ресторан; столы и стулья здесь были привинчены к полу.

Какой-то человек в белой куртке как раз расставлял приборы. Его фигура и большая круглая голова с курчавыми темными волосами показались Тиму знакомыми, хотя он и не мог вспомнить, кто это.

Когда мальчик вошел в салон, человек в белой куртке обернулся и сказал, ничуть не удивившись:

— Ну, вот ты и пришел!

Тим был поражен. Он знал этого человека. И как ни странно, даже помнил его имя. Его звали Крешимир. Это был тот самый человек, который задавал ему на ипподроме неприятные вопросы, а потом на прощание сказал: «Может быть, я смогу тебе когда-нибудь помочь...» Это был тот самый человек, чьи колючие водянисто-голубые глаза напоминали глаза господина в клетчатом, барона Треча, которого искал Тим.

Крешимир не дал Тиму долго раздумывать. Он повел мальчика в их общую каюту, бросил рюкзак Тима на койку, а потом вынул из своего рюкзака и протянул ему точно такие же клетчатые брюки и белую куртку, какие носил сам.

Новый наряд пришелся Тиму впору и был ему очень к лицу.

— Ты словно родился стюардом,— рассмеялся Крешимир.

Но, увидев серьезное лицо Тима, осекся и умолк. Он задумчиво поглядел на мальчика и пробормотал, обращаясь скорее к самому себе, чем к Тиму:

— Хотел бы я знать, что за сделку вы заключили!

Потом, словно стараясь отогнать неприятную мысль, он тряхнул головой, выпрямился и громко сказал:

— Ну, а теперь за работу! Отправляйся-ка на камбуз к Энри-

ко и помоги ему чистить картошку. Если ты мне понадобишься, я тебя позову. Через зал налево!

Тиму пришлось до самого вечера чистить на камбузе картошку. Кок Энрико, старый пьяница из Генуи, точно так же, как и капитан, мало чем интересовался, кроме водки. На корабле капитан обычно не только хозяин и командир, но и образец поведения для любого из своих матросов. Если капитан строг и деловит, то и экипаж у него такой же. Если он ленив и небрежен, как это было здесь, на пароходе «Дельфин», то и вся команда, начиная с помощника капитана и кончая корабельным коком, ленива и небрежна.

Энрико без передышки рассказывал Тиму очень забавные истории на самой чудовищной смеси немецкого с итальянским, и, так как Тим ни разу не рассмеялся, кок решил, что мальчик, вероятно, его не понимает. Несмотря на это, он все рассказывал и рассказывал свои истории, видно для собственного удовольствия, и даже не обратил внимания на то, что Тим срезает с картошки слишком толстую кожуру.

Когда пароход, уже под вечер, вышел наконец из гамбургской гавани, Тиму пришлось пойти в салон-ресторан помогать Крешимиру. И все время, пока он находился в салоне, он чувствовал на себе испытующий взгляд водянисто-голубых глаз стюарда. В замешательстве Тим даже перепутал некоторые заказы. Одной американке он принес вместо виски лимонный сок, а какому-то шотландскому лорду поставил на стол вместо яичницы с ветчиной два куска орехового торта.

Крешимир всякий раз поправлял его ошибку без единого слова упрека. И между делом вводил Тима в тайны его новой профессии.

— Подавай с левой стороны! Когда обслуживаешь правой рукой, левую держи за спиной! Вилка — слева, нож — справа, острой стороной к тарелке!

После ужина Тима снова послали на камбуз помогать повару мыть посуду. Он делал это неловко и был рассеян, потому что в голове его роилось множество вопросов. Почему барон не поехал в том купе, в котором Тим ехал в Гамбург с господином Рикертом? Почему Крешимир оказался вдруг стюардом на том самом пароходе, на который Тим нанялся юнгой? Почему господин Рикерт устроил его именно на этот пароход? Почему? Почему? Почему?

И вдруг Тим услышал «почему», сказанное вслух. Резкий голос спрашивал:

— Почему вы очутились на этом корабле?

А другой отвечал:

— А почему бы мне на нем не очутиться?

Это был голос Крешимира.

— Пройдемте на палубу! — приказал первый голос.

Тим услышал шаги, громыхавшие по узенькой железной лестнице, которая вела на корму. Потом шаги и голоса стихли. Но в ушах Тима они все еще продолжали звучать. Ему казалось, что он узнает голос, обращавшийся к Крешимиру. И вдруг — в эту минуту он как раз вытирал супницу, — вдруг он понял, чей это голос.

Это был голос человека, которому он продал свой смех, — голос барона Треча.

Супница выскользнула у него из рук и, упав на пол камбуза, разбилась вдребезги. Кок Энрико, вскрикнув: «Мама mia!»¹, отскочил в сторону, а Тим бросился бегом вверх по лестнице, вслед за голосами.

Наверху, на корме, никого не было. Два корабельных фонаря тускло освещали кормовую палубу и покрытую парусом шлюпку. И вдруг Тим услышал шепот. Он взглянул в ту сторону, откуда доносились голоса, и ему показалось, что за шлюпкой кто-то шевелится. Тим подкрался на цыпочках поближе и увидел, что из-за шлюпки торчат четыре ноги в ботинках. Больше ему ничего не удалось разглядеть. Но он был уверен, что голоса, доносившиеся из-за шлюпки, принадлежат Крешимиру и барону. Шаг за шагом, не дыша, Тим подходил все ближе и ближе. Один раз скрипнула половица. Но двое людей, спрятавшиеся за шлюпкой, как будто ничего не слышали.

Наконец Тим подошел так близко, что смог подслушать разговор, который они вели между собой полусшепотом.

— ...просто курам на смех! — шипел барон. — Уж не хотите ли вы меня уверить, что истратили все деньги, которые принесли вам акции?

— Как только вы передали мне акции, они сразу стали падать. С молниеносной быстротой, — заметил Крешимир.

— Согласен! — Барон рассмеялся купленным смехом. — Акции упали, потому что я пользуюсь некоторым влиянием на бирже. Но четверть миллиона, по моим расчетам, у вас все-таки должно было остаться.

— Эту четверть миллиона я внес в банк, который сразу затем лопнул, барон!

— Такое уж ваше счастье! — Барон снова рассмеялся.

И Тим почувствовал, что по спине у него забегали мурашки. Он готов был броситься на барона.

И все-таки у него хватило ума понять, что он должен во что бы то ни стало дослушать разговор до конца.

¹ Мама! (итал.)

— Даже если вам пришлось снова начать работать,— сказал теперь барон,— это еще не причина наниматься именно на этот пароход, чтобы работать вместе с мальчиком.

Тут уж рассмеялся Крешмир.

— Никто не может мне этого запретить! — крикнул он.

— Тише! — зашипел Треч.

Крешмир продолжал вполголоса:

— Я продал вам свои глаза и получил взамен ваши — колючие, рыбы. За это вы передали мне акции стоимостью в один миллион. Ни одна копейка из этого миллиона не попала ко мне в карман. Вы перехитрили меня. Но на этот раз я перехитрю вас, барон. Я дважды видел вас с мальчиком на ипподроме. Я следил за ним и установил, что после этого мальчик стал регулярно выигрывать на скачках. А затем я установил, что малыш стал мрачен и угрюм, словно больной одинокий старик.

Когда Тим услышал эти слова, сердце его заколотилось так, будто хотело выскочить, но он не шелохнулся.

Крешмир продолжал:

— Я все равно выведу вас на чистую воду! Я доищусь, что за сделку вы заключили с мальчиком, барон! Я наблюдаю за ним уже четвертый год, и мне стоило немалого труда устроиться стюардом на этот пароход. А теперь...

— А теперь,— перебил барон Крешмира,— я снова предлагаю вам миллион. Наличными. Задаток прямо сейчас!

— На этот раз, барон, преимущество на моей стороне! — Крешмир говорил медленно, словно что-то обдумывая.— То, что мне известно, я могу использовать по-разному: потребовать назад мои глаза, принять от вас миллион или же, наконец,— и это было бы, пожалуй, совсем не так плохо,— могу заставить вас расторгнуть контракт с мальчиком, каков бы ни был этот контракт.

Тим в темноте кусал свой кулак, боясь застонать. Несколько минут на палубе царило молчание. Потом раздался голос барона:

— Моя сделка с мальчиком вас не касается. Но если вы так уж дорожите вашими старыми глазами, я готов, пожалуй, на известных условиях...

Крешмир, тяжело дыша, перебил его:

— Да, барон, я дорожу моими старыми глазами. Я дорожу моими старыми, простодушными, глупыми, добрыми глазами больше, чем всеми богатствами в мире. Хотя вам никогда этого не понять!

— Мне этого никогда не понять,— подтвердил голос барона.— И все-таки я согласен на известных условиях расторгнуть нашу сделку. Будьте любезны, взгляните, пожалуйста, на свое лицо вот в это зеркальце!

За этими словами наступила напряженная тишина. Тим обливался холодным потом — и от волнения, и оттого, что старался ни единым шорохом не выдать своего присутствия.

Наконец он услышал, как Крешимир тихо сказал:

— Вот они и опять мои!

— А теперь послушайте мое условие, — сказал барон.

Но Тим больше ничего не стал слушать. У Крешимира снова были его глаза! А он, Тим, слышал сейчас так близко свой смех, что, казалось, до него можно дотянуться рукой... Больше он не мог сдерживаться. Он бросился к шлюпке и крикнул:

— Отдайте мне мой...

Но тут он попал ногой в петлю каната, споткнулся, стукнулся головой об острый нос шлюпки и без сознания грохнулся на палубу.

Л и с т д в е н а д ц а т ы й

КРЕШИМИР

Когда Тим проснулся, корабль качало; за толстым стеклом иллюминатора, то поднимаясь вверх, то опускаясь вниз, танцевала звезда — сердито рдеющий Марс. Тим лежал на верхней койке каюты, в которой спал вместе со стюардом. Над Атлантическим океаном брезжил серый рассвет.

В каюте кто-то возился. Тим повернул голову. Это был Крешимир. В эту минуту он тоже повернул голову. При слабом свете лампочки, горевшей над койкой Крешимира, взгляды их встретились. У стюарда были добрые карие глаза.

— Ну, малыш, как ты себя чувствуешь? — ласково спросил он.

Тим еще не совсем проснулся. Он никак не мог вспомнить, как он здесь очутился. И этот Крешимир, который сейчас его о чем-то спрашивал, был совсем другой, чем тот, которому он помогал вчера вечером в салоне-ресторане. Этот Крешимир был куда спокойнее, мягче, добрее.

Стюард подошел к койке Тима:

— Тебе лучше, малыш?

Теперь в памяти Тима постепенно стали всплывать события вчерашнего вечера. Голоса за дверью камбуза, разговор за шлюпкой, его собственный крик...

— Где барон? — спросил он.

Этого я не знаю, Тим. На корабле его, во всяком случае, уже нет. Скажи мне только одно: ты вчера вечером подслушивал?

Мальчик кивнул.

— Я рад, господин Крешимир, что вы вернули свои глаза.
— А ты, Тим? Что бы ты хотел получить назад от барона?
— Мой...— Тим запнулся. Он вспомнил про договор и крепко сжал губы.

И тут Крешимир хлопнул себя ладонью по лбу.

— Как же это я сразу не догадался? — воскликнул он.— Этот почтенный мошенник хохотал, как маленький мальчик! Ведь я чувствовал: что-то тут вроде не так — не подходит. Теперь я знаю, что это было: его смех! Вернее...— Крешимир поглядел прямо в глаза Тиму, — вернее, твой смех.

— Я этого не говорил! — крикнул Тим.— Неужели я... вчера вечером это крикнул?..

— Нет, Тим, ты не успел крикнуть. И в этом, наверное, твое счастье. Ведь я знаю параграфы о молчании в контрактах господина барона. Ты ничего не сказал.

Но Тим все равно не мог успокоиться. Ему необходимо было сию же минуту проверить, действителен ли еще контракт. Надо было срочно поспорить с Крешимиром. О чем-нибудь совершенно невероятном.

Тим хотел было вскочить с постели, но, как только он приподнялся, у него закружилась голова и застучало в висках. Пришлось снова положить голову на подушку.

Крешимир подал ему приготовленную заранее таблетку и стакан воды.

— Вот прими-ка, Тим! Сегодня тебе придется полежать в каюте. А завтра все пройдет. У тебя ничего серьезного, только шишка на лбу — это сказал рулевой, а он раньше был санитаром.

Тим послушно проглотил таблетку, продолжая думать о том, какое бы пари ему заключить. Наконец он придумал одно пари и снова перевел разговор на Треча: пари это касалось барона.

— Какое условие поставил вам барон, господин Крешимир? Ну, когда он вернул вам ваши глаза?

— Никакого! — рассмеялся Крешимир.— Когда ты вскрикнул и бухнулся на палубу, сбежались матросы, и барон поспешил стусеваться — спрятался в тень шлюпки. Тут я и шепнул ему: «Одно из двух: либо вы вернете мне мои глаза без всяких условий, либо я сейчас расскажу кое о чем всем этим людям».

— А он?

Крешимир опять рассмеялся.

— Барон даже стал заикаться от волнения. Говорит: «Бе-без вся-ких усло-вий!»

Тим быстро отвернулся к стене. Бесплодная попытка рассмеяться исказила его лицо.

— Дорого бы я дал, чтобы узнать, где сейчас барон, — пробормотал Крешимир.

Это была та реплика, которой ждал Тим. Он поспешно сказал:

— Давайте спорить...

— Можешь говорить мне ты, — перебил его Крешимир.

— Тогда давай спорить, что через пять минут мы узнаем, где находится барон!

— А на что мы спорим, Тим?

— На кусок орехового торта!

— Ну что ж, это я могу тебе дать. Ведь если я не ошибаюсь, ты должен выиграть это пари, как и все остальные. Значит, по рукам!

Стюард протянул мальчику руку, и Тим пожал ее.

В ту же минуту кто-то включил радио в соседней каюте. Передавали прогноз погоды. Потом стали сообщать новости из светской жизни.

Тима и Крешимира сначала раздражало, что радио помешало их разговору, но тут они прислушались. Диктор говорил:

«Известный предприниматель барон Треч, состояние которого, как утверждают в осведомленных кругах, составляет несколько миллиардов долларов, устроил этой ночью в Рио-де-Жанейро банкет для промышленной и торговой верхушки бразильской столицы. В самом начале приема барон покинул своих гостей и явился назад лишь спустя два часа, чем-то явно расстроенный. Было замечено, что по возвращении он все время оставался в черных очках. Предполагают, что вновь дала о себе знать давнишняя болезнь глаз, от которой, как считалось, барон окончательно излечился. Нам сообщили по телефону, что банкет продолжается и барон, по всей вероятности, снова...»

За стеной каюты выключили радио, и тут же послышалось журчание воды. Как видно, открыли кран раковины.

Лицо Тима стало таким же серым, как рассветная мгла. Он снова выиграл спор и теперь знал, что контракт остается в силе. Но его поразило это странное сообщение.

— Как можно так быстро долететь до Рио-де-Жанейро? — растерянно спросил он.

— При таком богатстве все возможно, — ответил Крешимир.

— Но ведь с такой скоростью и самолет не летает!

На это стюард сначала совсем ничего не ответил. Потом он пробормотал:

— Я думал, ты хоть знаешь, с кем связался...

И вдруг страшно заторопился, боясь опоздать на работу. В дверях он еще раз обернулся и сказал:

— Попробуй уснуть, Тим! Думать в постели — дело пустое.

К счастью, здоровая натура мальчика победила, и Тим в самом деле уснул. Когда он снова проснулся, было около полудня, Крешимир принес ему полную миску супа и выигранный кусок

орехового торта, и на душе у него вдруг стало как-то удивительно легко и спокойно. В первый раз за все это время его страшную тайну разделял другой человек. А ведь этот человек оказался победителем в опасном единоборстве с бароном. Это вселяло в Тима надежду — нет, радостную уверенность, что все обойдется благополучно. В первый момент он даже забыл о странном сообщении из Рио-де-Жанейро, которое слышал по радио.

После обеда в каюту на минуту зашел рулевой, громадный детина из Гамбурга по имени Джонни. Он справился о самочувствии Тима, ощупал его шишку удивительно бережными пальцами, дал ему еще одну таблетку, а потом сказал:

— Завтра будешь в полной форме, малыш! Надеюсь, ты больше не попадешь ногой в петлю или еще в какую ловушку! Смотри!

С этими словами он вышел из каюты.

«Если б ты только знал,— подумал Тим,— в какую я попал ловушку!» И он снова заснул: рулевой дал ему снотворное.

Проснулся он ночью, когда Крешимир вернулся в каюту. Стюард оперся локтями о край койки Тима и сказал:

— Какая все-таки подлость со стороны этого негодяя!

— О чем вы...— Тим поправился: — О чем ты говоришь?..

— Да все о том же! Я знаю, что ты должен молчать. Ну и прекрасно — молчи! Но мне-то известно, в чем дело. Он смеется твоим смехом, а ты выигрываешь любое пари! Ну а что будет, если ты проиграешь?

— Я только об этом и мечтаю,— тихо ответил Тим. Больше он ничего не сказал.

— Об этом я подумаю,— пробормотал Крешимир. Потом он разделся и тоже лег в постель.

Когда каждый потушил лампочку, Крешимир стал рассказывать про свою родину, про деревню в горах Хорватии.

Семь дней в неделю голодал Крешимир в детстве. Семь дней в неделю он мечтал разбогатеть и наесться досыта. И вот однажды по деревне проехал автомобиль. За рулем сидел какой-то господин в клетчатом костюме. Этот господин подарил ему кулек гранатов — целых семь штук, а каждый гранат стоил тогда динар. Мальчик прошел пешком десять километров до побережья и продал гранаты на пляже.

— Да, Тим, у меня впервые оказались в руках собственные деньги, очень много денег, как мне тогда казалось. Целых семь динаров. И знаешь, что я купил на них? Не хлеба, хотя мне очень хотелось хлеба, а кусок торта! Знаешь, такой торт — сверху крем, по углам вишни, а посередине половинка грецкого ореха. Про этот торт мне рассказывали в деревне девочки, побывавшие на побережье.

Все свои деньги я отдал за один кусок торта. И где-то за штабелем досок у причала я с жадностью уничтожил его в одну минуту. При этом я думал: «Так вот что едят каждый день на завтрак ангелы на небе!»

Потом меня вырвало. Мой живот был просто не приспособлен к таким вещам. Когда я брел по дороге обратно в свою деревню, я опять встретил автомобиль, в котором сидел господин в клетчатом...

Крешимир замолчал, и теперь Тим думал о маленьком мальчике из переулка, где всегда пахло перцем, тмином и анисом. Потом стюард стал рассказывать дальше: как господин в клетчатом начал с тех пор часто появляться в деревне с кульком гранатов; как в одно прекрасное воскресенье он поговорил с родителями Крешимира и устроил мальчика стюардом на один из своих кораблей; как он брал его иногда с собой в поездки и водил на ипподром; как Крешимир, легкомысленно играя на скачках, задолжал господину в клетчатом много денег и как он в конце концов продал ему лучшее, что у него было, — свои глаза.

— А теперь я вернул их назад! — заключил Крешимир. — И ты тоже вернешь свой смех. Это так же верно, как то, что меня зовут Крешимиром. Спокойной ночи!

У Тима ком стоял в горле. Срывающимся голосом он ответил: — Спокойной ночи, Крешимир! Спасибо!

Л и с т т р и н а д ц а т ы й

Ш Т О Р М

Рассказ Крешимира глубоко взволновал Тима. И море в эту ночь разбушевалось. Тим спал беспокойно — метался в постели, ворочался с боку на бок.

Вдруг в его чуткий сон ворвался грохот грома. Секунду спустя в глаза ему — сквозь закрытые веки — сверкнула ослепительно яркая молния. И снова — во сне или наяву? — раздался страшный удар грома.

Тим вскрикнул и в испуге проснулся. Ему показалось, что сквозь грохот грома он расслышал свой собственный смех. Он протер глаза, и взгляд его упал на иллюминатор: через круглое толстое стекло в каюту, прямо ему в лицо, пристально смотрели водянисто-голубые глаза.

Тим в ужасе снова смежил веки. Обливаясь холодным потом, не в силах пошевелинуться, он так и остался сидеть, наклонившись вперед. Прошла, казалось, целая вечность, прежде чем он отважился опять открыть глаза и тихонько позвать Крешимира.

Стюард не отзывался. Там, за бортом, за тонкой железной стеной, бушевало море, с грохотом ударяя об нее через равные промежутки времени.

Тим не решался больше взглянуть в иллюминатор. Он позвал Крешимира погромче. Но тот все не отзывался.

Тогда он крикнул так, что сам испугался своего голоса:

— Крешимир!

Но и на этот раз не последовало никакого ответа.

Тим закрыл глаза, чтобы не смотреть на иллюминатор, и ощупью нашел над головой тоненький провод лампы. Когда провод оказался у него в руках, он от волнения рванул его изо всех сил. Но свет зажегся, и Тим открыл глаза.

Как только исчезла темнота, попрятались по углам и страхи; Тим перегнулся через край койки и посмотрел вниз. Постель Крешимира была пуста.

И снова из углов каюты поползли страхи. Увидев в зеркале над умывальником свое искаженное испугом лицо, Тим испугался еще больше.

Но каким-то странным образом это зрелище собственного отражения в зеркале дало ему толчок к действию. Он вскочил с постели и начал поспешно одеваться. У него было такое чувство, будто все страхи собрались в его отражении, а сам он от них свободен и может делать что хочет. Теперь у него хватило смелости выбежать из каюты в коридор. Ощупью пробрался он по качающемуся кораблю к железной лестнице и поднялся наверх. На палубе его окатила набежавшая волна, и он промок до костей. Но, хватаясь за тросы, он продвигался по качающемуся скользкому баку все дальше и дальше; с отчаянной ловкостью вскарабкался на шлюпочную палубу и, добравшись наконец до штурвальной рубки, вошел в нее. Здесь было тепло и дымно; маленькая лампочка из толстого стекла тускло освещала рубку.

Рулевой Джонни, великан из Гамбурга, смотрел на мальчика со спокойным удивлением:

— Что это тебе понадобилось в такую погоду здесь, наверху?

— Рулевой, где Крешимир?

Тим почти прокричал свой вопрос, чтобы заглушить рев волны, ударившей в эту минуту о борт корабля.

— Крешимир болен, малыш. Но ты за него не беспокойся! У него аппендицит, а от этого в наше время не умирают!

— Где он? — упорно повторял Тим. — Где он сейчас?

— Неподалеку от нас случайно оказался патрульный катер. Он отвез его на берег. А ты разве не слышал, как машина смолкла?

— Нет, — уныло ответил Тим. И, стараясь говорить спокойным голосом, добавил: — Крешимир не заболел. Все это устроил барон. Я видел его глаза в иллюминаторе.

— Ты видел глаза барона в иллюминаторе? — рассмеялся Джонни. — Это, паренек, тебе пригрезилось. Давай-ка раздевайся, возьми вон то одеяло и ложись спать тут на скамейке. Здесь у меня тебе наверняка не приснится эдакая дрянь!

В теплой штурвальной рубке, поблизости от добродушного Джонни, Тиму и в самом деле стало казаться, что все это просто ему померещилось. Но тут он снова вспомнил радиопередачу об исчезновении барона из Рио-де-Жанейро и свое отражение в зеркале над умывальником — дрожащее, искаженное гримасой лицо. И понял, что барон способен на все. И в то же время решил никогда больше, насколько это будет в его силах, не бояться барона. Потому что, к счастью, Тим видел барона и в минуту слабости.

Наконец он молча лег на привинченную к полу скамейку с матрацем. Скамейку качало вверх и вниз и из стороны в сторону, потому что качка здесь, наверху, чувствовалась еще сильнее, чем внизу, в каюте.

Смятенные мысли и странное ощущение где-то под ложечкой не давали Тиму уснуть. Час проходил за часом, а он все не спал и не спал. Джонни спокойно стоял у руля, раскуривая сигарету за сигаретой. Шторм понемногу начал стихать.

В течение всех этих часов Тим перебирал в уме самые невероятные пари. Пари, которое он теперь заключит, будет настолько нелепым и неисполнимым, что он проиграет его во что бы то ни стало. Барон нагонял на него страх — ну что ж! Пусть-ка теперь у него самого от страха поджилки трясутся! Однако сколько Тим ни думал, он не мог выдумать такого пари, которое было бы не по плечу барону. Ну, предположим, Тим поспорит, что лесной орех больше кокосового. Во-первых, какой дурак согласится об этом спорить. И потом, вполне возможно, что Треч уж разыщет такое местечко на земле, где лесные орехи и вправду больше кокосовых, да еще позаботится, чтобы их корабль туда причалил. И Тим отбрасывал это пари так же, как многие другие, придуманные этой ночью. Случай с трамваем, в котором он ехал на вокзал с господином Рикертом, то и дело приходил ему в голову.

«А что, если выдумать что-нибудь такое, — подумал он вдруг, — чтобы нельзя было сослаться на оборванный провод? Что, если заставить эту громоздкую железную машину, называемую трамваем, оторваться от рельсов и взлететь в воздух? Ведь трамвай все-таки не ласточка. А Треч, при всех своих дьявольских возможностях, все же не чародей!»

Тиму показалось, что он нашел ахиллесову пяту барона. Он приподнялся на локтях и сказал:

— А знаете, рулевой, в Генуе есть летающие трамваи!

— Ложись-ка и спи! — ответил Джонни, не особенно удивившись. — Опять тебе что-то примерещилось.

— Нет, рулевой, я вовсе не сплю. И это совершенно точно: в Генуе есть летающие трамваи. Давайте спорить на бутылку рома!

— Ерунда! — сказал Джонни. — Выдумки! Кроме того, мне не совсем ясно, откуда ты возьмешь деньги на бутылку рома.

— Бутылка лежит у меня в рюкзаке, — соврал Тим. — Ну так как, спорим?

Джонни повернулся к нему лицом.

— Даже если бы ты спорил со мной на миллион, я все равно бы в это не поверил. Слишком уж хорошо я знаю и то и другое: и Геную и трамваи!

— В таком случае вы можете спорить без всякого риска. Бутылка рома — ведь это для рулевого просто клад!

— Даешь мне честное слово, что, если я с тобой поспорю, ты тут же уляжешься и закроешь глаза?

— Честное слово! — крикнул Тим.

Тогда рулевой протянул ему руку и сказал:

— Если в Генуе...

Он запнулся, потому что в этот момент что-то пронеслось мимо окошка штурвальной рубки, стукнувшись на лету о стекло. Но, видно, так — какой-то пустяк, Джонни не обратил на это никакого внимания. Он повторил:

— ...если я увижу в Генуе хоть один летающий трамвай, я проиграл пари и ты получишь бутылку рома. А если не увижу ни одного, значит, бутылка в твоём рюкзаке моя. Ну вот, а теперь будь-ка любезен лечь. Через три часа тебе выходить на работу.

На этот раз Тим и вправду уснул. Ему снилось, что он слышит во сне свой собственный смех. И в этот смех врывалось дребезжание трамвая, который проносился над его головой прямо по небу. Когда рулевой Джонни разбудил Тима на рассвете, в ушах его все еще дребезжало. И от этого звука ему было как-то не по себе.

Л и с т ч е т ы р н а д ц а т ы й

ПАРИ, КОТОРОЕ НЕВОЗМОЖНО ВЫИГРАТЬ

Тим хоть и не без тревоги думал о Генуе, в то же время никак не мог дожидаться, когда вдали покажутся очертания города.

Однако прошло еще немало дней, прежде чем пароход «Дельфин» вошел в генуэзскую гавань. Было это в ясный, сияющий

голубиной полдень. Тим под каким-то предлогом забежал в штурвальную рубку и теперь стоял рядом с Джонни, глядя на приближающийся город; на нем были брюки в черно-белую клетку и фартук из грубого серого полотна, который дал ему надеть кок Энрико, пока он чистит картошку.

Дома на улицах Генуи были уже хорошо видны. Можно было различить даже омнибусы и автомобили. С каждой минутой видимость становилась все лучше и лучше.

Вдруг у Джонни вырвался возглас изумления — что-то среднее между клекотом и рычанием. Тим удивленно взглянул на него: рулевой зажмурился, потом осторожно открыл глаза, но только затем, чтобы тут же опять зажмуриться. Наконец он снова широко раскрыл глаза и сказал медленно, почти торжественно: — Я схожу с ума!

Тим начинал понимать, в чем дело. У него пересохло в горле. Но он не осмеливался перевести взгляд на город. Он все еще не сводил глаз с рулевого.

Теперь и Джонни взглянул на Тима и, качая головой, сказал: — Ты был прав, Тим, в Генуе есть летающие трамваи. Ты выиграл пари.

Тим сглотнул слюну. Какой смысл отводить глаза? Придется это увидеть. Он повернул голову и стал смотреть вдаль — на город. Там на одной из улиц между домами летел по воздуху трамвай — самый настоящий трамвай: его было очень хорошо видно.

Но вдруг под колесами трамвая оказались рельсы и твердая мостовая из булыжника. Трамвай теперь уже больше не летел, а катил по рельсам вдоль по улице.

— Это был просто мираж! — почти с восторгом крикнул Тим. — Я проиграл.

— Ты словно рад, что проиграл! — удивленно сказал Джонни.

И Тим понял, что допустил ошибку. Но раньше чем он успел поправиться, Джонни продолжал:

— И все-таки ты выиграл спор, Тим. Ведь мы спорили о том, увидим ли мы в Генуе хоть один летающий трамвай, а не о том, есть ли они там на самом деле. А видеть — мы его видели, во всяком случае — я. Тут уж никаких сомнений быть не может.

— Так, значит, я все-таки выиграл? Вот хорошо! — сказал Тим. На сей раз он постарался произнести это с радостью. Но голос его был хриплым, и никакой радости в нем не чувствовалось. К счастью, в эту минуту Джонни был занят своим рулем.

— И как только тебе пришло в голову заключить такое дурацкое пари? — спросил он Тима через плечо. — Тебе что, часто так везет в спорах?

— Да. Я еще ни разу в жизни не проиграл ни одного пари, — равнодушно ответил Тим. — Я выигрываю любое.

Рулевой пристально взглянул на него:

— Только не воображай чересчур много, паренек! Есть такие пари, выиграть которые просто невозможно.

— Например? — взволнованно спросил Тим. — Назовите мне хоть одно!

Рулевой снова остановил на нем испытующий взгляд, всего на одну секунду. С этим мальчиком творилось что-то неладное. Но Джонни привык отвечать на поставленный вопрос. И, сдвинув на лоб свою белую фуражку, он почесал в затылке. В это мгновение что-то снова пролетело мимо окошка рубки, стукнувшись о стекло. Джонни обернулся, но ничего не увидел. И вдруг он придумал:

— Пожалуй, я знаю одно пари, которого тебе ни за что не выиграть, Тим.

— Я согласен держать с вами пари, рулевой, даже не зная, о чем оно. Если я проиграю, я отдам вам назад вашу бутылку рома.

— Хочешь купить кота в мешке, паренек? Ну что ж! Я согласен. Ром всегда остается ромом. И раз уж ты во что бы то ни стало решил проиграть — пожалуйста! Итак, спорим... — Рулевой на минуту умолк, взглянул на мальчика и спросил: — Ты наверняка пойдешь со мной на пари? Я это спрашиваю только из-за бутылки рома.

— Наверняка! — ответил Тим так решительно, что Джонни отбросил свои сомнения.

— Тогда держи со мной пари, что ты сегодня вечером будешь богаче, чем самый богатый человек на земле.

— Значит, богаче, чем барон Треч? — тихо спросил Тим. У него перехватило дыхание.

— Вот именно.

Тим протянул ему руку куда быстрее, чем ожидал Джонни. Это было пари, которое невозможно выиграть. Значит, Тим его обязательно проиграет. Он громко сказал:

— Спорю на бутылку рома, что еще сегодня вечером я стану богаче, чем барон Треч!

— Ты, малыш, просто маленько того... — сказал Джонни, отпуская руку Тима. — Но, по крайней мере, я хоть получу назад мою бутылку.

В рубку вошел капитан.

— А юнге что здесь понадобилось? — угрюмо спросил он Джонни.

— Я позвал его, чтобы он принес мне чашку кофе, — ответил Джонни.

— Тогда пусть поторапливается.

Тим со всех ног бросился в камбуз. В эту минуту ему хотелось запеть. Но тот, кто не умеет смеяться, не может и петь.

Когда он вернулся в штурвальную рубку, неся на подносе чашку — по дороге кофе только два раза чуть-чуть расплескался, — то увидел, что капитан все еще стоит на том же месте.

Джонни, широко улыбаясь, подмигнул ему за спиной капитана, и Тим ответил ему тем же, но с совершенно серьезным лицом. Потом он выскочил из рубки и сбежал на палубу. Ему так хотелось сейчас расхохотаться! Но рот его только скривился в жалкое подобие улыбки.

Низенькая пожилая голландка, которая шла в это время по палубе навстречу Тиму, испугалась, увидев его искаженное гримасой лицо. Позже она сказала своей соседке по каюте:

— С этим мальчиком дело нечисто. Тут какая-то чертовщина. Надо запирать на ночь покрепче дверь каюты.

Тим, чтобы никому не показать своего волнения, спрятался на корме за кабестаном с намотанной якорной цепью и решил сидеть здесь, на сваленных в кучу, свернутых канатах, пока пароход не причалит к Генуе. Он слышал, что в Генуе есть знаменитый кукольный театр. Вот куда он пойдет и будет смеяться там вместе со всеми. Но еще приятнее было представлять себе, как он гуляет по улице и вдруг улыбнется кому-нибудь совсем незнакомому — маленькой девочке или, может быть, какой-нибудь старушке. И Тим погрузился в мечты о солнечном мире, полном света и дружелюбия. Солнце сияло вовсю на голубом небе, светило ему прямо в лицо, и мечты от этого были еще больше похожи на правду.

С судовой радиостанции скучным голосом передавали какое-то сообщение, но Тим не обращал на это никакого внимания. Он мечтал.

Через некоторое время сообщение начали повторять снова. Услыхав свое имя, Тим очнулся и стал прислушиваться. До него долетел конец фразы: «...Талеру к капитану в штурвальную рубку».

Словно мыльные пузыри, лопнули радужные мечты. Тиму показалось, что солнце палит нестерпимо. Угрюмый капитан еще ни разу за все это время не обратил на него внимания. Раз он вызывает его к себе, значит, случилось что-то из ряда вон выходящее.

Тим выбрался из-за кабестана с якорной цепью, прошел по юту, взобрался, уже в третий раз за это утро, по железной лестнице на верхнюю палубу. Руки его, хотя он держался за холодные железные перила лестницы, были мокрыми от пота.

Когда он вошел в рубку, капитан посмотрел на него как-то

странно: в его взгляде не было и следа обычного равнодушия. Рулевой вглядывался в даль и даже не повернул головы в сторону Тима.

— Тебя зовут...— Капитан перебил сам себя, откашлялся и начал снова: — Вас зовут Тим Талер?

— Да, господин капитан.

— Вы родились...

Капитан прочел по бумажке, которую держал в руке, год и место рождения Тима, а также важнейшие даты его жизненного пути.

И Тим после каждой даты отвечал:

— Да, господин капитан!

От напряженного ожидания на глазах его выступили слезы.

Когда допрос кончился и капитан опустил наконец руку с листком, наступила поразительная тишина. На полу рубки дрожал солнечный зайчик, а Тим упорно глядел на широкий затылок рулевого — тот все еще, не оборачиваясь, смотрел вперед.

— Значит, я могу поздравить вас первым,— нарушил тишину капитан.

— С чем, господин капитан? — срывающимся голосом спросил Тим.

— А вот с чем...— Капитан кивком головы показал на бумажку, которую держал в руке. И тут же спросил: — Вы что, приходитеесь родственником барону Тречу?

— Нет, господин капитан.

— Но вы знаете его лично?

— Да, знаю...

— В таком случае я прочитаю вам радиogramму:

«Барон Треч скончался тчк Сообщите Тиму Талеру назначении единственным наследником тчк Брат-близнец покойного новый барон Треч принимает опекунство до совершеннолетия тчк Генуя пароходство Треча «Феникс» тчк Главный директор Грандици».

Тим стоял с окаменевшим лицом, все еще не сводя глаз с затылка рулевого. Он выиграл самое невероятное пари на свете. Всего лишь за бутылку рома. Он, четырнадцатилетний мальчик, стал в это мгновение самым богатым человеком на земле. Но его смех умер вместе с бароном и теперь вместе с ним будет похоронен. Он, самый богатый человек на земле, беднее всех людей. Он навсегда потерял свой смех.

Затылок рулевого дрогнул. Джонни медленно повернул голову. Чужие, удивленные глаза смотрели на Тима. Но Тим видел их всего лишь одно страшное мгновение. Джонни едва успел подхватить на руки упавшего без сознания Тима.

СУМАТОХА В ГЕНУЕ

Широкое небритое лицо склонилось над Тимом.

— Ты меня слышишь?

— Да, рулевой,— прошептал Тим.

Заботливая рука приподняла его голову, и в рот его капля за каплей потекла вода.

Он снова услышал над ухом голос рулевого:

— Как же так вышло, что я видел в Генуе летающий трамвай? И почему барон так срочно умер? Почему ты радуешься проиграным пари и падаешь без чувств, когда выигрываешь?

В сознании Тима, которое понемногу стало проясняться, все снова и снова звучали эти «почему», напоминая ему его собственные «почему», так и оставшиеся без ответа. Его охватило смятение, и он чуть снова не лишился чувств.

В эту минуту послышались голоса и шаги, и капитан вошел в штурвальную рубку в сопровождении какого-то незнакомого человека.

Тиму, лежавшему на скамье, прежде всего бросился в глаза огромный, ослепительной белизны кружевной носовой платок, торчавший у незнакомца из верхнего кармана пиджака его черного костюма. Потом до него донесся запах гвоздики. Этот запах буквально ударил Тиму в нос, когда незнакомец приблизился к нему, чтобы представиться:

— Диретторе Грандици. Я считаю себя очень счастлив первый вас поздравить от имени всей нашей фирма, синьор! Я жалею, что вы нездоров, но я понимаю — небольшой шок.— Он развел руками и склонил голову набок.— Ах, такой богатый в одна маленький минутка. Это чертовски не так легко, но...

Что говорил затем директор Грандици, Тим не понял. Вслушиваться в его речь было слишком утомительно. Только последняя фраза дошла до него, потому что директор произнес ее, наклонившись к самому его уху:

— Теперь я пересаживать вас на баркас, синьор!

Но тут на сцену выступил Джонни.

— Предоставьте мальчика мне,— пробурчал он.— Я сам отнесу его на баркас. Господин капитан, вам придется пока постоять у руля.

Несмотря на то что корабль уже бросил якорь, общая суматоха была так велика, что капитан послушно поплелся в штурвальную рубку и встал за руль.

К пароходу пришвартовался баркас пароходной компании, присланный за богатым наследником. Джонни с Тимом на руках

спустился по веревочному трапу в баркас с такой легкостью, словно он нес не Тима, а узелок с бельем. Директор Грандици подбегал к нему то с одной стороны, то с другой, и его благоухающий кружевной платок развевался, словно хвост у пуделя, прыгающего вокруг хозяина.

Только теперь Тим заметил, что директор почти совсем лысый. Две последние черные пряди, красовавшиеся по обе стороны головы, были зачесаны в виде остроугольного треугольника прямо на лоб. Это придавало круглому лицу директора что-то опасное и делало его похожим на маску.

Очутившись на баркасе, рулевой посадил Тима в угол скамьи на корме, обложенный подушками. При этом он успел ему шепнуть:

— Тебе еще нужно взять у меня две бутылки рома — твой выигрыш. Приходи в восемь часов к памятнику Христофора Колумба. Только один. А если тебе понадобится помощь — тем более приходи! Понял?

Тим не кивнул. Он только тихонько сказал: «Угу», потому что уже научился быть осторожным.

— Желаю удачи, малыш! — пробасил Джонни, взглянув на директора. Затем он пожал Тиму руку своей огромной лапищей и вернулся назад на корабль.

Как только баркас отвалил, Тима снова обдало запахом гвоздики. Директор Грандици уселся с ним рядом. Двум нарядно одетым господам, сидевшим напротив, на носу баркаса, он сделал знак разговаривать потише. Те понимающе кивнули и стали о чем-то шептаться, поглядывая на Тима с нескрываемым любопытством.

— Синьор, я отвезу вас в отель, — вполголоса сказал директор. — Там вы будете отдыхать один часок, а потом наша пароходная компания ожидает вас на маленький прием.

Тим, который еще только сегодня утром был юнгой и помощником стюарда на товаро-пассажирском пароходе средней величины, чувствовал себя несколько непривычно в роли богатого наследника, окруженного подчеркнутым вниманием. Но ему уже не раз приходилось терпеть всякие превращения в погоне за своим смехом, и к этой новой перемене он отнесся довольно хладнокровно. Его мучило совсем другое: теперь его погоня не имела никакого смысла — ведь смех его умер.

В ответ на все, что говорил директор Грандици, Тим рассеянно кивал. Только один раз он покачал головой — когда директор сказал, что пресс-конференция назначена на восемь часов.

— Ах, вы не любите пресса, синьор? Но газеты — полезная вещь, синьор, очень полезная!

— Я знаю, — ответил Тим.

Здесь, в мягко покачивающемся баркасе, он чувствовал себя гораздо лучше.

— Раз вы признает необходимость газет, то зачем не хотите маленький конференция? — не отставал директор Грандици.

— Потому что... — Тим лихорадочно придумывал предлог для отказа. — Все это для меня так ново и неожиданно. Нельзя ли отложить конференцию на завтра?

— О, конечно, синьор. Но сегодня вечером...

— Сегодня вечером я хочу погулять один — осмотреть город, — резко перебил его Тим. (Грандици говорил с такой подбострастностью, что его все время хотелось одернуть.)

Однако директора не так-то легко было сбить с толку.

— Нет, нет, синьор, не один, — поспешно возразил он. — Вас теперь всегда будет сопровождать детектив — как это? — телохранитель. Вы ведь теперь такой богатый!

— А я хочу побродить по городу один! — крикнул Тим.

Нарядно одетые господа, сидевшие на носу, поглядели на Тима весьма озадаченно. Один из них, балансируя на качающемся баркасе, подошел к нему и спросил:

— Не могу ли я быть вам чем-нибудь полезен? Моя фамилия Пампини. Я главный переводчик фирмы.

Он, как видно, решил использовать случай, чтобы представиться богатому наследнику. Но когда он протянул Тиму руку, баркас резко накренился вправо. Переводчик Пампини повалился прямо на колени Тиму, потом кое-как поднялся, бормоча тысячу извинений, но тут же снова повалился на колени к директору Грандици.

Разъяренный директор наорал сначала на переводчика, потом на рулевого баркаса. Одного он обозвал болваном, другого — ослом. Тут он сообразил, что рулевой не понимает по-немецки, и повторил свои ругательства по-итальянски, причем на этом языке они оказались по крайней мере раз в пять длиннее.

Переводчик, ссутулившись, забился в угол скамейки на носу баркаса. В это время баркас причалил к ступеням мола.

На нижней ступеньке уже стоял наготове шофер в синей форме, почтительно держа в руке синюю фуражку. С его помощью — он протянул руку Тиму и осторожно подтянул его к себе — и в то же время, правда скорее символически, поддерживаемый под руку директором, Тим первым сошел с баркаса на землю. Все обращались с ним так, будто он какой-нибудь очень старый и совсем больной господин. Наверху, на молу, толпилось множество мужчин в черных костюмах — они заслоняли Тиму вид на Геную. Директор Грандици стал по очереди представлять их Тиму. У всех у них были фамилии, оканчивающиеся на «ици» или «оци», и все эти фамилии Тим забывал в ту же секунду.

Самое странное в этой торжественной процедуре представления было то, что ее устроили для четырнадцатилетнего мальчика в закатанных до колен клетчатых брюках, какие обычно носят коки, и в свитере с чужого плеча. По правде сказать, глядя на эту сцену, можно было надорваться со смеху. Но все ее участники оставались убийственно серьезными, и это, пожалуй, было даже хорошо для бедного Тима. Подкатил шикарный черный автомобиль, и шофер почтительно распахнул дверцу. Сначала влез Тим, за ним — директор Грандици; они сели на красные кожаные сиденья, машина тронулась; господа в черных костюмах с серьезными минами и исполненными важности жестами выстроились в ряд и, подняв вверх правую руку, замахали им вслед.

Только теперь, в пути, Тим вспомнил про матросский рюкзак, подаренный господином Рикертом: он остался на пароходе вместе со всеми вещами. Тим рассказал об этом директору, но Грандици только улыбнулся.

— О, разумеется, синьор, мы можем забрать ваши личные вещи с парохода. Но господин барон уже позаботился о вашем новом, более элегантном гардеробе.

— Барон? — с недоумением спросил Тим.

— Новый господин барон, синьор!

— Ах, вот оно что! — Тим откинулся на кожаную подушку сиденья и только сейчас увидел в окно улицу Генуи, по которой они проезжали, — мраморный портал и медную дощечку у подъезда: «Отель Пальмаро».

Потом мимо окна пронесся веер невысокой пальмы, круглая клумба с кустом лаванды посередине, и автомобиль мягко затормозил. Дверцу автомобиля поспешно растворили; швейцар в ливрее с золотым позументом подал Тиму руку и снова с такой осторожностью помог ему выйти из машины, словно Тим был не мальчишкой, а глубоким стариком. Теперь Тим стоял в самом низу широкой мраморной лестницы. Какой-то человек, приветственно махнув ему рукой с верхней ступеньки, крикнул:

— Добро пожаловать!

Человек этот был одет в клетчатый костюм, а на носу его красовались огромные черные очки от солнца.

— Новый господин барон, брат-близнец прежнего! — шепнул Грандици на ухо Тиму.

Но Тиму как-то не верилось, что это брат-близнец.

И когда новый барон, спустившись с лестницы, воскликнул, смеясь: «О, какой у тебя прелестный разбойничий наряд!» — Тим догадался о том, о чем не догадывался директор. Он узнал этого человека по своему собственному смеху. Никакого брата-близнеца не существовало.

Барон был жив. А значит, жив был и смех Тима.

Л и с т ш е с т н а д ц а т ы й

Р А З Б И Т А Я Л Ю С Т Р А

В роскошном номере отеля, представляющем собой анфиладу из трех комнат, Тим впервые оказался наконец совсем один. Барон уехал на какое-то совещание, сказав, что зайдет за ним, когда вернется.

Тим как был, в клетчатых брюках и широком свитере Джонни, прилег на тахту. Под головой у него была целая гора полосатых шелковых подушек. Тим не сводил глаз с люстры, похожей на причудливое образование из застывших стеклянных слез.

Впервые за долгое время он чувствовал себя снова почти совсем спокойно. Не из-за тех превращений, которые произошли с ним благодаря свалившемуся с неба богатству, — об этих превращениях Тим пока еще имел весьма слабое представление, — а из-за того, что теперь он знал твердо: смех его жив. И еще ему во всей этой неразберихе стало ясно одно: барон — его опекун, а значит, он никуда больше не исчезнет; теперь они словно привязаны друг к другу. В погоне за своим смехом Тим, казалось, был почти у цели. Оставалось только найти уязвимое место барона... Увы, Тим тогда еще не знал, что издали многое видно гораздо лучше, чем вблизи.

В дверь постучали, и Тим еще не успел ответить «войдите», как в номер вошел барон.

— Ты отдыхаешь? Прекрасно! — сказал Треч в дверях.

Потом его длинная, худощавая фигура сложилась вдвое, словно перочинный нож, и он уселся в роскошное кресло с инкрустацией из слоновой кости. Положив ногу на ногу, он с усмешкой взглянул на Тима.

— Последнее пари — просто блеск! Примите мои поздравления, Тим Талер!

Тим глядел на барона и молчал.

Казалось, и это забавляет барона. Он спросил:

— А по совести говоря, ты что хотел — проиграть или выиграть это пари? Мне было бы очень интересно это узнать.

Тим осторожно ответил:

— Чаще всего пари заключают, чтобы выиграть.

— В таком случае это была отличная находка! — воскликнул барон. Он вскочил с кресла и, скрестив руки на груди, начал ходить взад и вперед по номеру.

Тим, полулежа на тахте, спросил:

— А наш контракт еще действителен? Ведь я заключил его с первым бароном Тречем, а не с его братом-близнецом.

Треч вернулся из спальни в гостиную и на ходу ответил:

— Контракт был заключен с бароном Ч. Тречем. Меня зовут

Чарльз Треч. А до этого я называл себя Чезаре Треч. И в тот раз Ч., и в этот раз Ч., мой юный друг!

— Но раз нет никакого брата-близнеца,— поинтересовался Тим,— кого же тогда похоронили вместо вас?

— Одного бедного пастуха, у которого не было никакой родни.

Треч говорил, словно смакуя каждое слово:

— В Месопотамии находится моя главная резиденция — небольшой замок. Там-то ему и устроили торжественные похороны.

Барон снова направился в дальнюю комнату. Тим услышал его удаляющийся голос:

— Ты никогда не слыхал про людей, заключивших контракт с чертом и подписавших его своей кровью?

Барон уже возвращался в комнату, где лежал Тим. Тим довольно равнодушно спросил:

— А разве черт есть на самом деле?

Треч снова опустился в кресло с инкрустацией из слоновой кости и почти простонал:

— Ты что, правда совсем дурачок или только прикидываешься? До черта тебе, кажется, вообще нет никакого дела.

Тим никак не мог понять, почему этот разговор так волнует барона. Однако, услышав слово «контракт», он насторожился. Он подумал, что Треч решил поговорить с ним насчет контракта. Но барон все продолжал разглагольствовать. Он говорил о Вельзевуле, властителе ада, о демонах Форказе, Астароте и Бегемоте, о ведьмах и о черной магии, о знаменитом волшебнике докторе Фаусте, у которого одно время был слугой известный черт Мефистофель.

Заметив, что на мальчика эти разговоры наводят скуку, он поднялся с кресла и пробормотал:

— Придется действовать более прямо.

Тим снова положил голову на подушки. Правой рукой, свисавшей с тахты, он рассеянно теребил шелковую домашнюю туфлю — эти туфли принесли сюда, как только он вошел в номер. Взгляд Тима снова обратился к люстре: в ее стеклянных слезах множество раз отражалась крохотная, нелепо искривленная, худощава фигура барона.

— Хочешь выучить заклинание,— решительно спросил Треч,— которым доктор Фауст вызвал черта?

— Нет,— ответил Тим, не поворачивая головы. Он увидел, как исказились гримасой лица маленьких баронов в сверкающих каплях люстры.

— Тогда давай хоть я произнесу заклинание! — сказал барон. В голосе его звучала плохо скрытая досада.

— Как вам угодно, барон, — равнодушно ответил Тим.

И все-таки любопытство его пробудилось, когда он увидел, как множество крошечных тречей, отраженных в множестве переливающихся стекляшек, подняли вверх для заклинания свои тонюсенькие ручки.

Медленно, глухим голосом Треч принялся произносить какие-то неслыханные слова:

Багаби лака бахабе,
Ламак кахи ахабабе,
Ламак, ламек Бахляз,
Кабахаги забаляс...

Как только барон дошел до середины заклинания, люстра начала легонько покачиваться — наверное, оттого, что он так сильно размахивал руками, — и потревоженный громадный паук стал быстро спускаться с нее вниз на своем тоненьком канате.

Тим всегда терпеть не мог пауков, а тут еще таинственное заклинание барона усилило чувство омерзения, и, схватив шелковую домашнюю туфлю, он в бешенстве швырнул ее в паука.

Барон как раз договаривал последние слова заклинания:

Бариолаз
Лагоцата кабелаз...

Вверху на потолке что-то хрустнуло, и вдруг громадная люстра с грохотом и звоном рухнула на пол рядом с креслом всем грузом своих переливающихся стеклянных слез.

Тим испуганно поджал ноги. Барон, раскрыв рот и все еще подняв вверх руки, стоял за спинкой кресла с огромной шишкой на лбу. Как видно, осколок люстры угодил ему в голову.

В номере стало необычайно тихо. Но грохот, вероятно, был слышен во всем отеле. Кто-то уже решительно колотил в дверь.

Только теперь барон опустил руки. Сгорбившись, усталой походкой окончательно выдохшегося человека подошел он к двери, чуть приоткрыл ее и сказал в щелку несколько слов по-итальянски. Тим их, конечно, не понял. Потом он снова захлопнул дверь, прислонился к ней спиной и произнес:

— Все бесполезно. С простаком не сладишь!

Тиму эта фраза была так же мало понятна, как и таинственное заклинание. Не вставая с тахты, он приподнялся и спросил:

— Что бесполезно?

— Средневековье! — ответил барон без всякой видимой связи.

И Тим остался в полном недоумении. Больше он ничего не стал спрашивать, только сказал:

— Извините меня, пожалуйста, за люстру. Я хотел попасть в паука.

— Это пустяки. Нам просто поставят в счет стоимость люстры,— пробормотал барон.

— Почему же нам? — переспросил Тим. Он вдруг вспомнил, что он чудовищно богат, и потому добавил: — За люстру, барон, заплачу я.

— Вряд ли это окажется возможным,— возразил Треч, и на губах его снова появилась усмешка.— Ты ведь еще не достиг совершеннолетия, мой милый, а значит, не можешь истратить ни копейки без согласия опекуна. А опекун твой, как тебе хорошо известно, барон Чарльз Треч.— Он поклонился с насмешливой улыбкой.— Но, разумеется, ты будешь получать деньги на карманные расходы.

Тим, юнга в клетчатых брюках и старом свитере, поднялся с кресла и тоже поклонился.

— И вам, барон, приходят иногда в голову блестящие идеи. Разрешите мне теперь переодеться. Я хотел бы остаться один.

В первый момент Треч уставился на мальчика, не произнося ни слова. Потом он вдруг весело рассмеялся. И, все еще продолжая смеяться, воскликнул:

— А ты, оказывается, способен на большее, чем я думал, Тим Талер! Поздравляю!

Только теперь он заметил, что Тим, слушая его смех, побледнел.

Этот смех — веселые раскаты и переливы,— которым он, словно лассо, всякий раз ловил своих собеседников, не подействовал на мальчика. По отношению к нему он не имел никакой силы. Ведь это был его собственный смех.

Треч поспешно направился к двери. Но прежде чем выйти из номера, он вытер рукавом своего пиджака полированную поверхность небольшого письменного столика, стоявшего на его пути, почти у самой двери; при этом он, искоса взглянув на Тима, пододвинул локтем на середину стола кожаный бювар с письменными принадлежностями.

Только после этого он открыл дверь и, оглянувшись через плечо, сказал:

— Всегда к вашим услугам, господин Талер! Я позову камердинера. Это очень преданный мне человек, родом из Месопотамии.

— Спасибо,— сказал Тим.— Я привык одеваться сам.

— Что ж, тем лучше,— усмехнулся барон.— Значит, на этом мы сэкономим.

Наконец он вышел, бесшумно закрыв за собой дверь.

На лестничной площадке барон постоял немного в раздумье.

— Парень, видно, решил заполучить назад свой смех,— про-
бормотал он.— Он презирует могущество, которое дают темные
силы. Или равнодушен к нему. Он хочет света, а свет...— Барон
медленно направился в свой номер.—...А свет, как известно,
преломляется зеркалом. Надо будет попробовать этот способ.

Войдя в свои апартаменты, Треч тут же снова опустился в
кресло. Над его головой висела точно такая же люстра, как
в номере у Тима. Взгляд барона упал на легонько покачиваю-
щиеся стеклянные слезы, и, вспомнив, как Тим швырнул туфлей
в паука, он вдруг расхохотался. Он так хохотал, то наклоняясь
вперед, то откидываясь назад, сотрясаемый смехом, что кресло
под ним скрипело. Он хохотал, как мальчишка. Смех подымался
откуда-то изнутри и выходил на поверхность, как пузырьки в ста-
кане с газированной водой. И все снова и снова рулада смеха
оканчивалась счастливым, захлебывающимся смешком.

Но барон был из тех людей, которые никогда не отдаются с ве-
селей беззаботностью своим чувствам. У него отсутствовал та-
лант быть счастливым. Он имел привычку все объяснять и раз-
лагать на части, даже свои собственные чувства.

И на этот раз, как только смолк последний счастливый сме-
шок, барон задумался над тем, чему он, собственно говоря,
смеялся. И тут он с изумлением установил, что смеялся над самим
собой, над своей неудачной попыткой завоевать расположение
Тима при помощи фокусов с черной магией.

Итак, попытка не удалась. Треч оказался побежденным.
И все-таки он смеялся. Это было что-то новое для барона, совсем
неожиданное.

Он поднялся с кресла и, шагая взад и вперед по комнате, при-
нялся рассуждать вслух с самим собой.

— Поразительное дело,— бормотал он себе под нос,— я ку-
пил этот смех, чтобы обрести власть над сердцами и душами
других людей. И вот...— Он был так ошарашен, что даже оста-
новился.— И вот я обрел власть над самим собой, над моими на-
строениями, ужасающими капризами и причудами. У меня больше
нет никаких настроений! Я их высмеиваю!

Он снова стал шагать взад и вперед по комнате.

— Раньше я приходил в бешенство, когда, испытывая свою
власть, оказывался побежденным. Я мог буквально вцепиться
зубами в ковер от ярости. А теперь, даже потерпев поражение,
я остаюсь победителем: я смеюсь! — Барон потрогал свою шишку
на лбу — он выглядел при этом почти счастливым — и восклик-
нул: — Невероятно! Все, чего я добился в жизни, я получил
благодаря коварству и обману, козням и лукавым победам над
другими. И вдруг теперь что-то досталось мне само собой, просто
так, без всяких усилий, только потому, что где-то внутри у меня

сидит какое-то клокотание, которое может в любой момент подняться на поверхность и явиться в мое распоряжение. Нет, смех стоит гораздо дороже, чем я предполагал! Да за него не жалко отдать целое королевство!

И снова этот длинный худощавый человек бросился в кресло. Лицо его на мгновение стало лицом господина в клетчатом с ипподрома, замкнутым и хитрым.

«Ну что ж, гонись за своим смехом, Тим Талер! Гонись, гонись! Ты никогда не получишь его назад! Я держу его крепко, изо всех сил, зубами и когтями!»

Л и с т с е м н а д ц а т ы й

БОГАТЫЙ НАСЛЕДНИК

Обычная форма юных богатых наследников выглядела во времена Тима так: короткие серые штаны, курточка в красную и черную полоску, белоснежная шелковая рубашка, галстук в красную шотландскую клетку, такие же носки и коричневые замшевые полуботинки на толстой подметке.

Тим стоял в этом костюме перед зеркалом в человеческий рост и причесывался, в первый раз в жизни смочив предварительно волосы одеколоном. На ковре у его ног лежал раскрытый иллюстрированный журнал с фотографиями чемпиона по теннису. Тим старался уложить волосы точно так же, как у чемпиона. Наконец это ему кое-как удалось.

Некоторое время он пристально рассматривал свое лицо в зеркале, потом попробовал приподнять вверх уголки рта. Но это даже отдаленно не напоминало улыбку.

Тим грустно отвернулся от зеркала и стал бесцельно бродить по своему номеру из комнаты в комнату. Он покачался от нечего делать в кресле-качалке, подробно рассмотрел картины, висевшие на стенах,— все это были корабли в открытом море,— потом поднял телефонную трубку цвета слоновой кости, но тут же снова положил ее на рычаг и, наконец, раскрыл кожаный бювар с вычурным тиснением, который барон, уходя, пододвинул на самую середину полированного письменного стола.

В бюваре лежала пачка почтовой бумаги. В левом верхнем углу первого листа было напечатано прямыми серыми буквами:

ТИМ ТАЛЕР,

ВЛАДЕЛЕЦ ПРЕДПРИЯТИЙ «БАРОН ТРЕЧ И К°».

Справа стояло: «Генуя... числа... года».

В шелковом боковом кармашке бювара лежали почтовые конверты. Тим вынул один из них и прочел внизу под чертой: «Отправитель — Тим Талер. Генуя. Италия. Отель «Пальмаро».

Тим сел в кресло у письменного стола, открыл авторучку, лежавшую рядом с бюваром, и решил написать письмо.

Когда он взял из стопки листок бумаги и отодвинул бювар, он заметил, что в полированной поверхности стола, словно в зеркале, отразилась надпись, напечатанная вверху листка. А если прочитать ее вот так — наоборот?

РЕЛАТ МИТ.

«°К И ЧЕРТ НОРАБ» ЙИТЯИРПДЕРП ЦЕЛЕДАЛВ.

При этом ему бросилось в глаза слово «черт».

«Похоже, там написано «черт», — подумал Тим. — Но это уж известное дело, — прибавил он мысленно, — когда черта помянут, он везде и мерещится».

Он положил листок поровнее и начал писать письмо:

Д о р о г о й г о с п о д и н Р и к е р т !

Я добрался до Генуи не совсем благополучно. Барон умер, и теперь я его наследник. Но я этого вообще-то совсем не хотел. Скорее уж наоборот. К сожалению, сейчас я ничего не могу Вам объяснить. Может быть, когда-нибудь после. Пожалуйста, постарайтесь установить связь со стюардом. Его зовут Крешимир, и у него аппендицит. Крешимир Вам может все рассказать, а я, к сожалению, ничего! Поговорите еще, пожалуйста, с рулевым «Дельфина», его зовут Джонни, и он родом из Гамбурга. Он знает все.

Теперь я самый богатый человек на свете и так называемый новый барон — мой опекун. Хорошего тут ничего нет, но, может быть, это мне поможет. Я стараюсь, чтобы барон не заметил, что я ничего этого не хочу. Вы, и Ваша мама, и стюард, и Джонни были ко мне очень добры. Может быть, Вы найдете какой-нибудь выход для меня. Но, наверное, я должен выпутываться сам. И это, наверное, очень хорошо, что у меня есть план и цель, потому что это помогает мне забывать, что я теперь уже не настоящий человек.

Передайте, пожалуйста, привет Вашей маме, и большое Вам спасибо от Вашего грустного Тима Талера.

Только, пожалуйста, не пишите мне. Может быть, потом я пришлю Вам какой-нибудь тайный адрес.

Т и м.

Он еще раз прочел письмо с начала до конца, потом сложил листок вчетверо и запечатал его в конверт. Но как раз в тот мо-

мент, когда он хотел надписать адрес, за дверью слышались шаги.

Тим поспешно сунул письмо во внутренний карман своей куртки. В ту же секунду раздался стук в дверь, и снова, прежде чем Тим успел ответить «войдите», в его номер вошел барон.

Он увидел рядом с раскрытым бюваром незавинченную ручку и спросил:

— Что, пишете личные письма, господин Талер? С этим вам надо быть поосторожнее. Впрочем, в вашем распоряжении имеется секретарь.

Тим закрыл бювар, завинтил ручку и сказал:

— Если мне понадобится секретарь, я его позову.

— Неплохо прорычал, юный лев! — рассмеялся барон. — Мне кажется, что, надев новый костюм, вы мгновенно усвоили новые манеры. Это весьма и весьма похвально!

Снова раздался стук в дверь. Треч недовольно крикнул:

— *Che cosa vole?*¹

— *La garderoba per il signore Thaler!*² — ответил кто-то за дверью.

— *Avanti!*³ — буркнул Треч.

Слуга в длинном зеленом фартуке с поклоном внес рюкзак Тима, положил его на подставку для чемоданов и остался стоять у двери.

Тим подошел к нему, протянул руку и сказал:

— Большое спасибо!

Слуга с удивлением и даже как будто с неудовольствием неловко пожал протянутую ему руку.

— *Non capisco!*⁴ — пробормотал он.

— Он не понимает, — рассмеялся барон. — А вот это он наверняка поймет!

С этими словами Треч вытащил из кармана пачку бумажных лир и одну из бумажек протянул слуге.

Слуга, просияв, воскликнул:

— *Grazie! Mille grazie! Tante grazie, signore Barone!*⁵ — И, низко кланяясь, попятился к двери.

Треч запер за ним дверь и сказал:

— В прежние времена холоп, прежде чем переступить порог господских покоев, снимал обувь, а войдя, падал на колени и целовал своему господину носок сапога. Увы, эти благословенные времена прошли безвозвратно!

¹ Что вам угодно? (итал.)

² Вещи господина Талера! (итал.)

³ Войдите (итал.).

⁴ Не понимаю! (итал.)

⁵ Спасибо! Большое спасибо! Огромное спасибо, синьор барон! (итал.)

Тим не обращал внимания на слова барона. Его вдруг поразила мысль, что в рюкзаке лежит его фуражка, а под подкладкой фуражки — контракт с Тречем. Как бы невзначай он подошел к рюкзаку, развязал его и тут же увидел фуражку — она лежала сверху. Взяв ее в руки, он услышал, как под подкладкой зашуршала бумага. Тим вздохнул с облегчением.

Продолжая слушать разглагольствования барона, он старался незаметно вытащить контракт из-под подкладки и переложить его во внутренний карман куртки.

— В таком отеле, как этот, — продолжал свою речь барон, — вполне достаточно пожимать руку троим: главному портье, чтобы всегда говорил в случае надобности, что вы только что вышли, директору, чтобы не разглашал ваших тайн, и шеф-повару, чтобы вкусно кормил нужных вам людей.

— Я приму это к сведению! — заметил Тим.

Про себя он подумал: «Когда я снова смогу смеяться, я с радостью пожму руку всем слугам и горничным».

Зазвонил телефон. Тим снял трубку и сказал:

— Слушаю. Это Тим Талер.

— Ваш автомобиль подан, синьор! — раздался голос в трубке.

— Большое спасибо! — ответил Тим и нажал на рычаг.

Барон, пристально наблюдавший за Тимом, заметил:

— Никогда не называйте своего полного имени, мой милый! Вполне достаточно сказать «да», причем таким тоном, чтобы дать почувствовать недовольство: ведь вас потревожили. И никогда не говорите «большое спасибо», если вам сообщают, что автомобиль вас ждет. Совершенно достаточно буркнуть «хорошо!». Богатство обязывает к определенной невежливости, господин Талер. Очень важно уметь держать людей на расстоянии.

— Я приму это к сведению! — снова повторил Тим.

И снова подумал: «Ну погоди, дай только мне вернуть мой смех!»

Они вместе спустились по лестнице в зал — в таких фешенебельных отелях его обычно называют холлом, — и при их появлении некоторые господа поднялись со своих кресел и поклонились. Один из них подошел поближе и произнес:

— Разрешите, господин барон...

Даже не взглянув на него, барон ответил:

— Мы спешим. Позже.

Затем они сошли вниз по мраморной лестнице и направились к своему роскошному автомобилю.

Шофер распахнул перед ними дверцу, и барон с Тимом опустились на красное кожаное сиденье.

Тим не заметил, что впереди и позади их автомобиля едут две другие машины с личной охраной. Не понял он и выкриков

газетчиков, которые бегая по улицам, размахивали своими листками:

— Il barone Treci é morto!

— Adesso un ragazzo di quattordici anni é il più ricco uomo del mondo.

Барон с улыбкой перевел их выкрики Тиму:

«Барон Треч умер! Четырнадцатилетний мальчик — самый богатый человек на земле!»

На перекрестке машина остановилась перед светофором. Треч в это время давал Тиму указания, как надо вести себя на приеме, на который они сейчас едут. Но Тим плохо его слушал — он засмотрелся на маленькую смуглую девочку с черными, как вишни, глазами, которая стояла на тротуаре рядом с продавцом фруктов и, широко раскрыв рот, старалась откусить кусок огромного яблока. Заметив взгляд Тима, она опустила руку с яблоком и улыбнулась мальчику.

Тим кивнул ей, снова забыв, как печально кончается всякий раз его попытка улыбнуться.

И девочка вдруг увидела, что лицо за стеклом автомобиля исказила ужасная гримаса. Она испугалась, заплакала и спряталась за спину продавца фруктов.

Тим закрыл лицо руками и откинулся на спинку сиденья. Барон же, наблюдавший за этой сценой в зеркало, опустил стекло со своей стороны и, смеясь, что-то крикнул девчужке по-итальянски.

Девочка с еще мокрым от слез лицом выглянула из-за спины продавца фруктов, робко подошла к машине и протянула свое яблоко барону. Когда Треч дал ей за это блестящую монету, она, просияв, пискнула: «Grazie, signore!»¹ — и рассмеялась.

В это мгновение машина тронулась, и барон протянул яблоко Тиму.

Но Тим невольно отдернул руку, и огромное красное яблоко, блестевшее, словно лакированное, покатилося с его колен на пол, под ноги шоферу.

— Вам надо научиться, господин Талер, — сказал Треч, — заменять в будущем свою улыбку чаевыми. В большинстве случаев чаевые производят гораздо более сильное впечатление.

«Зачем же ты тогда купил мой смех?» — подумал Тим.

Вслух он сказал:

— Я приму это к сведению, барон.

¹ Спасибо, синьор! (итал.)

В П А Л А Ц Ц О К А Н Д И Д О

Палаццо Кандидо, как ясно уже по итальянскому названию, — это белый дворец; снаружи белый мрамор, внутри — белая штукатурка. Когда барон с Тимом поднялись по лестнице из белого мрамора на первый этаж, их со всех сторон окружили директора. Все они показались Тиму какими-то странно знакомыми — наверное, это они тогда встречали его на пристани. Директора хранили почтительное молчание, пока барон разговаривал с Тимом.

— Этот дворец, — сказал Треч вполголоса, — представляет собой музей, и за то, что его предоставили в наше распоряжение, нам придется заплатить много денег. В залах его висят картины мастеров итальянской и голландской школы. Нам придется их осмотреть. Такого рода обязанности на нас налагает наше положение. Так как вы, господин Талер, вероятно, ничего не смыслите в живописи и вообще в искусстве, рекомендую вам осматривать картины молча, с серьезным лицом. У тех картин, возле которых я буду покашливать, вы будете стоять несколько дольше, чем у других. Изображайте молчаливую заинтересованность.

Тим кивнул молча, с серьезным лицом.

Но когда они в окружении свиты директоров начали обходить картинную галерею, Тим не стал следовать предписаниям барона. От картин, перед которыми Треч покашливал, он чаще всего сразу же отходил. Зато у тех картин, возле которых Треч не кашлял, Тим задерживался подольше.

В музее было больше всего портретов маслом. Лица людей на портретах голландских мастеров казались совсем прозрачными и удивляли выражением сосредоточенности; узкие губы их всегда были крепко сжаты. Лица на портретах итальянских художников отличались красивой смуглостью кожи, а из-за веселых полукругов около уголков губ все время казалось, что они вот-вот расплывутся в улыбке. Как видно, голландские портреты были более знамениты — чаще всего барон покашливал перед ними; но Тиму нравились совсем другие лица — менее замкнутые, открытые, с ямочками возле уголков рта. Иногда барону приходилось чуть ли не подталкивать его, чтобы он отошел от такого портрета, зато директора на «ици» и «оци» находили, что у мальчика совсем не плохой вкус. Когда Треч заметил это, он недолго думая решил прервать осмотр картинной галереи и сказал:

— Пора, однако, перейти к основной части нашего мероприятия, господа!

Теперь все направились в зал, где стояли празднично накрытые столы, составленные в форме буквы «П». Место во главе

стола было украшено ветками лавра. Здесь должен был сидеть Тим.

Но прежде чем все заняли свои места, появился фотограф, щупленький, подвижный человечек с чересчур длинными черными волосами; волосы все время падали ему на глаза, и он всякий раз откидывал их со лба величественным движением головы. Фотограф попросил всех присутствующих встать в полукруг так, чтобы Тим оказался в центре. Кроме директоров, здесь оказалось еще много каких-то других людей, но им Тим не должен был пожимать руку.

Щупленький фотограф прикрутил свой аппарат к штативу, поглядел в видоискатель и стал дирижировать собравшимися, изо всех сил размахивая руками и выкрикивая:

— *Ridere Sorridere! Sorridere, prego!*

Тим, стоявший впереди Грандици, обернулся через плечо и спросил директора:

— Что он говорит?

— Он говорит, чтобы ты... простите, чтобы вы... Вернее, он говорит, чтобы мы улыбнулись... Улыбнитесь!

— Спасибо! — ответил Тим.

Он резко побледнел. Теперь фотограф обратился прямо к нему и повторил:

— *Sorridere, signore! Улибайтэсь, пожалуйста!*

И все уставились на мальчика. А он стоял, крепко сжав губы. Фотограф с отчаянием повторял:

— Улибайтэсь! О, пожалуйста, пожалуйста!

Барон, стоявший позади Грандици, ни единым словом не пришел Тиму на помощь.

И Тим сказал:

— Мое наследство — тяжелая ноша, господин фотограф. И я еще не знаю, что мне делать — смеяться или плакать. Разрешите мне пока подождать и со смехом, и со слезами.

По полукругу пробежал шепот. Одни переводили слова Тима на итальянский, другие выражали удивление и восхищение. Только Треч весело улыбался.

Наконец снимок был сделан — правда, без улыбающегося наследника. После этого все сели за стол. По одну сторону от Тима сидел Грандици, по другую — барон. Носовой платок директора Грандици выпускал аромат гвоздики. Казалось, что пахнет сладким перцем.

Прежде чем приступить к еде, директора произнесли множество торжественных речей — кто по-итальянски, кто на плохом немецком. И всякий раз, когда слушатели смеялись, кивали или аплодировали, они поглядывали на мальчика, сидевшего во главе стола.

Один раз барон шепнул Тиму:

— Вы устроили себе нелегкую жизнь, господин Талер, слишком поспешно заключив пари.

Тим шепотом ответил:

— Я знал, что меня ожидает, барон.

На самом же деле еще никогда в жизни на душе у него не было так скверно, как сейчас, когда все рассматривали его, словно какую-нибудь диковинную зверюшку, но твердое решение не уступать барону ни в чем укрепляло его силы и не давало падать духом.

Только на одно короткое мгновение Тим задумался — он вспомнил о рулевом Джонни. И тут вдруг он снова превратился в маленького мальчика и испугался, что сейчас разревется. Но, к счастью, как раз в эту минуту барон поднялся, чтобы произнести речь, и Тим снова взял себя в руки.

Прежде всего барон воздал должное способностям и деловым качествам своего умершего брата, затем перешел к тем высоким задачам, которые стоят перед всяким, кто управляет огромным богатством, и, наконец, в коротких, энергичных выражениях пожелал юному наследнику сил и мудрости, чтобы разумно и с благой целью использовать столь грандиозное наследство. Потом он сказал несколько слов по-итальянски. Очевидно, это была шутка, и он сам рассмеялся ей, словно маленький мальчик.

Дамы и господа за столом были так очарованы его смехом, что тоже рассмеялись и принялись усиленно аплодировать.

На этот раз смех барона не задел Тима. Он всегда теперь носил на руке часы, которые подарил ему господин Рикерт в Гамбурге, и в эту минуту как раз смотрел на них. Часы показывали восемнадцать тридцать — половину седьмого. В восемь он должен встретиться с Джонни. А судя по тарелкам, бокалам и приборам, банкет затянется еще надолго. Очевидно, Тиму придется подняться из-за стола раньше всех. Но как это сделать? Ведь он здесь главное действующее лицо...

Банкет и в самом деле длился очень долго. Когда после супа, следовавшего за закусками, подали на стол главное блюдо — почки в белом вине, — было уже двадцать минут восьмого.

Мысли Тима были заняты только одним — предстоящей встречей с Джонни, и он даже сам не заметил, какие трудности ему пришлось преодолеть, чтобы выглядеть за столом хорошо воспитанным молодым человеком. Он ел так, как ели посетители ресторана на пароходе «Дельфин», и барон не успевал удивляться столь же прекрасным, сколь естественным манерам мальчика. Увидев, с какой грацией Тим накалывает на вилку кусочек почки, он пробормотал:

— Нет, я явно недооценивал этого паренька!

Когда стрелки на часах показали без двадцати восемь, Тим нагнулся к уху барона и шепнул:

— Мне нужно выйти.

Барон поспешно ответил:

— Туалет направо по коридору.

— Спасибо,— сказал Тим.

Он поднялся и прошел мимо всех парадных столов к двери, сопровождаемый многочисленными взглядами. Он очень старался идти так, как ходит любой самый обыкновенный мальчик четырнадцати лет.

В коридоре ему вдруг пришло в голову приоткрыть дверь в зал и громко крикнуть им какое-нибудь словечко — вот бы они подскочили! Но здесь стоял слуга в золотой ливрее, и Тим со спокойным достоинством проследовал в туалет.

В ту минуту, когда он снова вышел в коридор, слуга в золотой ливрее как раз отвернулся, и Тим на цыпочках — ведь шаги по мрамору отдаются эхом — прошмыгнул через площадку на лестницу и поспешно сбежал вниз.

Перед порталом палаццо стоял швейцар в шинели с золотыми галунами. Но он, как видно, не знал мальчика в лицо и посмотрел на него с хмурым безразличием. Тим настолько осмелел, что даже спросил его, где находится памятник Христофору Колумбу. Но швейцар его не понял. Он неуверенно показал рукой в сторону трамвайной остановки. И Тим быстрым шагом пошел в указанном направлении.

Л и с т д е в я т н а д ц а т ы й

Д Ж О Н Н И

Дождаясь трамвая — прошла, казалось, целая вечность,— Тим то и дело оглядывался через плечо на портал палаццо, но, кроме швейцара, неподвижно стоящего у дверей, там по-прежнему никого не было. Как видно, долгое отсутствие Тима ни у кого еще не вызвало беспокойства. Тим с нетерпением изучал схему трамвайных маршрутов, среди которой было помещено длинное прямоугольное зеркало. И вдруг он — не в первый раз за эти сутки! — узнал благодаря отражению нечто новое о нравах барона. Он увидел в зеркало, что за выступом палаццо стоит тот самый автомобиль, на котором он приехал сюда вместе с бароном. За этим автомобилем виднелись еще две машины, и возле первой из них стояло двое людей, о чем-то беседовавших друг с другом. Один из них в эту минуту как раз указывал рукой на Тима.

Теперь Тиму вспомнилось, что директор Грандици, еще когда они плыли на баркасе, говорил о детективах, которые будут его

постоянной личной охраной. Может быть, это как раз и есть его тайные телохранители? Вот уж это было бы совсем некстати — ведь барону должно остаться неизвестным, что Тим виделся с Джонни.

В эту секунду подошел трамвай. У него было два прицепа с открытой площадкой — значит, и с той стороны площадки есть ступеньки!

Это было на руку Тиму. С тех пор как он лишился своего смеха, он понемногу приучился рассуждать в трудном положении спокойно и хладнокровно. Он вскочил на площадку среднего вагона и, протолкавшись между стоявшими там людьми, успел, прежде чем тронулся трамвай, сойти с другой стороны площадки. И тут со всех ног бросился бежать через улицу, проскочил под самым носом у несущейся на полной скорости гоночной машины и помчался по тротуару.

Прежде чем свернуть в узкий переулок, он еще раз быстро оглянулся назад и увидел, что один из детективов как раз собирается перебежать улицу. Тогда Тим понял, что избавиться от телохранителей ему поможет только хитрость. К счастью, он находился в той части Генуи, которая славится своими запутанными переулками и проходными дворами; большинство домов имеет здесь два входа: парадный и черный. Тим с независимым видом вошел в маленькую закусочную, в которой пахло тушеным мясом и оливковым маслом, и, тут же выйдя в другую дверь, очутился в переулке, где прямо перед домами стояли лотки с жареными каракатицами. Здесь он юркнул в какую-то дверь, над которой висела вывеска: «Trattoria» — «Столовая», — и, выскочив через черный ход траттории, попал в переулочек с ювелирными лавками; пробежал вдоль витрин с россыпями драгоценных украшений, свернул в узенький поперечный переулочек на другой стороне и, очутившись в толпе болтливых, крикливых, ругающихся хозяек, догадался, что находится на небольшом рынке; снова пробежал через какую-то тратторию, где пахло прокисшим вином, и вдруг оказался перед раскрывшейся в эту минуту дверью подъехавшего автобуса. Недолго думая, он вскочил на подножку; дверь за ним закрылась, и автобус тронулся.

Кондуктор с улыбкой погрозил ему пальцем и протянул руку, чтобы получить деньги за проезд. Тим, совсем забывший о деньгах, машинально сунул руку в карман своей полосатой куртки и со вздохом облегчения нащупал в нем мелочь и бумажные деньги. Он протянул кондуктору одну из бумажек и сказал:

— Христофор Колумб.

— М-м-м? — переспросил кондуктор.

— Христофор Колумб! Памятник! — повторил мальчик, стараясь говорить как можно отчетливей.

Теперь кондуктор его понял.

— Il monumento di Cristoforo Colombo,— поправил он Тима поучительным тоном.

И Тим старательно повторил:

— Иль монументо ди Кристофоро Коломбо.

— Bene, bene! — улыбнулся кондуктор.— Хорошо, хорошо!

Потом он дал Тиму 85 лир сдачи, оторвал билет и объяснил знаками, что скажет, когда ему выходить.

Тим кивнул с серьезным лицом и подумал: «Вот повезло!»

Радоваться по-настоящему он не мог, но ему стало легче.

Минут через десять — автобус, проехав мимо гавани, стал подниматься по переулку в гору — кондуктор, тронув Тима за плечо, указал рукой в окно на большой белый памятник, стоявший среди пальм перед огромным зданием со множеством стеклянных дверей.

Тим сказал по-итальянски единственное слово, которое знал:

— Грацие! Спасибо!

Потом он вышел из автобуса и, оказавшись на большой площади, растерянно оглянулся по сторонам. Он понял, что большое здание — это вокзал. Часы над главным входом показывали без пяти минут восемь.

Среди людей на площади он не обнаружил своих детективов. Но и рулевого Джонни тоже нигде не было. Тим нарочито медленно поплелся в сторону памятника, обошел его кругом и только тут увидел рулевого — Джонни стоял, прислонившись к стволу огромной пальмы, сам чуть ли не с нее ростом. Трудно было его не заметить.

Тим бросился к нему со всех ног и повис бы у него на шее, если бы Джонни был не таким громадным.

— Я удрал, Джонни! — крикнул он, еле переводя дыхание.— Барон навязал мне каких-то детективов, но я...

— Барон? — с изумлением перебил его рулевой.— Я считал, что барон умер.

— Он превратился в своего брата-близнеца!

Джонни свистнул сквозь зубы. Потом он взял Тима за руку и сказал:

— Пойдем посидим с тобой тут в одной кабачке. Пусть-ка попробует нас разыскать!

И он повел за собой Тима по бесконечным переулкам и переулочкам.

То, что Джонни назвал кабачком, заслуживало, собственно говоря, лучшего названия. Помещение, по форме похожее на коридор, постепенно расширялось и заканчивалось полутемным, почти квадратным залом. Пол здесь был из струганых досок, темные деревянные полки по стенам чуть ли не до самого потолка

установлены бутылками всех форм, цветов и размеров. Выглядело все это очень торжественно, словно собор из бутылок.

Рулевой подвел Тима к свободному столику в самом дальнем углу квадратного зала. Теперь тот, кто входил в дверь, не мог их увидеть. Когда подошел кельнер, Джонни заказал два стакана красного вина. Потом он вытащил из левого и из правого внутреннего кармана своей куртки по бутылке рома, поставил под стул Тима и сказал:

— Вот он, твой выигрыш. Я прячу его из-за кельнера. Еще подумает, что мы собираемся распить здесь принесенное вино.

Тим, в свою очередь, тоже вытащил что-то из внутреннего кармана куртки. Это было письмо к господину Рикерту.

— Ты отвезешь его в Гамбург, Джонни? Я боюсь отправлять почтой.

— Будет сделано, малыш!

Письмо перекочевало в карман рулевого. Потом Джонни сказал:

— А ты стал прямо пижоном, Тим! Ну как, здорово быть богатым?

— Немного утомительно, — ответил Тим. — Но вообще-то можно вести себя как хочешь. Если неохота смеяться, можешь не смеяться, даже когда фотографируют! А это не так уж мало.

— А ты что, против того, чтобы смеялись? — озадаченно спросил Джонни.

Тим понял, что проболтался. Он чуть себя не выдал. А ведь ни один человек на свете не должен узнать от него, что он продал свой смех. Но ему так и не удалось исправить свою ошибку каким-нибудь невинным объяснением, так как Джонни заговорил снова. Казалось, он попал в свою стихию: говоря о смехе, он даже выражался более гладко, чем обычно.

— Я согласен, — сказал он, — что вежливые улыбочки и смешки действуют на нервы. Ничего нет противнее, чем когда тебе в Доме моряка с утра до вечера умильно улыбаются какие-то старые дуры. Улыбаясь, уговаривают воздержаться от алкогольных напитков, улыбаясь, накладывают на тарелку кислую капусту, улыбаясь, призывают молиться перед сном. Даже аппендицит тебе из брюха вырезают и то с улыбочкой. Улыбочки, улыбочки, улыбочки... Ей-ей, просто никакого терпения не хватит!

Кельнер принес вино и профессионально улыбнулся, подавая стаканы. Тим закусил губу, он сидел, не подымая глаз от стола, и Джонни с удивлением заметил, что мальчик готов расплакаться. Он замолчал, дожидаясь, пока уйдет кельнер. Но и тогда он лишь поднял свой стакан и сказал:

— За твоё здоровье, Тим!

— За твоё здоровье, Джонни!

Тим только чуть пригубил вино — оно показалось ему кислым.

Ставя на стол пустой стакан, Джонни пробормотал:

— Хотел бы я доискаться, в чем тут дело...

Но Тим его понял. Он вдруг оживился и зашептал:

Постарайся поговорить с Крешимиром. Он все знает и может тебе рассказать. А я не могу. Мне нельзя.

Рулевой задумчиво посмотрел на мальчика. Наконец он сказал:

— Кажется, я кое о чем догадался...— Потом он нагнулся к Тиму через стол и, глядя ему прямо в глаза, спросил: — Скажи-ка, а этот тип показывал тебе какие-нибудь фокусы?

— Нет,— ответил Тим.— Ничего он мне не показывал. Только один раз сказал наизусть какой-то старинный заговор.

И тут Тим рассказал рулевому о странном разговоре в номере отеля, о заклинании и о том, как рухнула люстра.

История с люстрой невероятно развеселила Джонни. Он прямо взревел от смеха и так колотил кулаками по столу, что стаканы заплясали, а вино расплескалось. Задыхаясь от хохота, он еле выговорил:

— Вот умора! Нет, это просто блеск! Да понимаешь ли ты, что стукнул эту старую обезьяну по самому больному месту? А, Тим? Нет, серьезно, малыш?!

И Джонни снова покатился со смеху.

— Ты не мог бы сделать ничего лучшего,— продолжал он, в изнеможении откинувшись на спинку стула,— чем разнести эту люстру. Такого этот господин просто не переносит! А уж особенно в подобные минуты!

Рулевой со смехом поднял руки вверх, изображая, как барон произносит заклинание, и с комической торжественностью проговорил:

О повелитель крыс, мышей,
Лягушек, блох, клопов и вшей!

Тим тоже невольно откинулся на спинку стула. Ему стало вдруг так спокойно оттого, что хоть один человек на свете осмелился высмеивать барона и потешается над ним. Впервые за долгое время он снова услышал смех, который был ему не противен.

Когда Джонни, насмехаясь, договаривал свое шутливое заклинание, Тим, опустив глаза, смотрел на струганные доски пола. И вдруг он увидел огромную жирную крысу. Пронзительно пища, она с дьявольским бесстрашием подскочила к ноге Джонни, явно собираясь его укусить.

Тим всегда не переносил крыс. Он вскрикнул:

— Рулевой, крыса!

Но и Джонни уже успел заметить злобного зверька. Он действовал с замечательной ловкостью и присутствием духа. Отдернув ту ногу, на которую спешила взобраться крыса, он с невероятной быстротой высоко поднял другую и одним хорошо рассчитанным ударом покончил со своим коварным врагом. Тим на мгновение отвернулся: при виде раздавленной крысы ему чуть не стало дурно.

Но Джонни, неустрашимый Джонни сказал, улыбаясь во весь рот:

— Ага, повелитель шлет вперед своих гонцов! Выпей-ка вина, Тим, и не смотри в ту сторону!

На этот раз Тим отхлебнул большой глоток и почти тут же почувствовал действие вина. Ему стало лучше, но голова слегка закружилась.

— Теперь у нас почти не осталось времени, Тим,— сказал Джонни.— Вот-вот он явится собственной персоной! Хочу сказать тебе только одно: того, во что ты не веришь, нет и на самом деле! Ты меня понял?

Тим, не понимая, покачал головой. Голова у него кружилась все сильнее и сильнее.

— Я хочу сказать,— пояснил Джонни,— что тебе надо всегда разносить люстры, если барон вздумает снова тебя допекать. Смекнул?

Тим кивнул. Но он только наполовину понял то, что хотел сказать Джонни. Глаза его слипались. Ему ведь пришлось до этого выпить вина еще в палаццо Кандидо, а он совсем не привык к таким напиткам.

— Старайся насмехаться над этой старой обезьяной,— продолжал Джонни.— Ты теперь достаточно богат, чтобы вести себя свободно. Разумеется, я говорю о внешней свободе. Внутренняя свобода, малыш, покупается совсем другим богатством — смехом. Существует старая английская пословица... как это... сейчас вспомню...— Рулевой наморщил лоб.— Удивительное дело,— пробормотал он,— только сейчас была в голове и вдруг вылетела. Ну, прямо так и вертится на языке. Видно, хлебнул лишнего...

— И мне тоже как-то не по себе от вина,— проговорил Тим, еле ворочая языком.

Но Джонни его не слушал — он все старался вспомнить пословицу. И вдруг он крикнул:

— Ага, вспомнил: «Teach me to laugh, save my soul!» Как это я мог забыть?

Он со смехом постучал себя по лбу и вдруг, все еще продолжая смеяться, повалился с побелевшим лицом со стула на пол и застыл без движения неподалеку от убитой крысы.

Тим, мгновенно протрезвев, вскочил и стал испуганно озирать-

ся, ища помощи, но тут взгляд его случайно упал на кельнера, равнодушно смотревшего на происходящее. В этот момент он как раз получал деньги с какого-то господина. Господин этот стоял к Тиму спиной. Но Тим узнал его с первого взгляда. Это был барон.

И тут Тим снова превратился как бы в другого Тима. Внешне спокойный, он кивком головы подозвал кельнера, а потом опустился на колени рядом с Джонни. Рулевой, не приходя в сознание, медленно и с трудом, но все же вполне отчетливо повторял английскую поговорку.

В ту же минуту Тим увидел рядом с собой склонившегося кельнера и барона, стоящего у него за спиной.

— Господин Талер! Какая счастливая случайность! — воскликнул Треч с хорошо разыгранным изумлением. — Мы ищем вас уже больше часа!

— Если с рулевым что-нибудь случится, — не слушая, крикнул Тим, — я заявлю на вас, барон! И на кельнера тоже!

Теперь Треч развеселился.

— Для волнения нет никаких причин, господин Талер! — заметил он с улыбкой. — Его здоровью это не повредит! Правда, со службы нам придется его уволить. Но человек такой силы без труда найдет себе работу в доках.

Между тем посетители пивной начали проявлять любопытство и, столпившись у столика, стали, перебивая друг друга, подавать разные полезные советы. Они, как видно, считали, что Джонни пьян. Треч, стремясь, как всегда, избежать публичной сцены, потянул Тима за рукав к выходу.

— Ваш портрет, господин Талер, напечатан сегодня во всех газетах. Будет очень неприятно, если вас тут узнают. О рулевом вы в самом деле можете не беспокоиться. Пойдемте!

Несмотря на сопротивление Тима, не хотевшего оставлять Джонни одного в таком состоянии, барону удалось в конце концов вывести его на улицу.

Нельзя было допустить, чтобы Треч успел обо всем догадаться. Кроме того, у Тима было смутное чувство, что в этой странной, запутанной игре, где участвовала и дохлая крыса, и упавший в обморок рулевой, и английская пословица, выиграл не барон, а Джонни.

И Тим покинул пивную, до потолка уставленную бутылками, гораздо более спокойно, чем могло показаться.

Роскошный автомобиль, ожидавший их у входа, загоразживал чуть ли не весь переулок. Позади него стояли еще две другие машины, и Тим заметил, что в них сидят оба хорошо известных ему субъекта. Из озорства он вежливо кивнул им, и они, слегка огорошенные, кивнули в ответ.

В машине, откинувшись на красную кожаную спинку заднего сиденья, сидел директор Грандици. Когда барон и Тим уселись с ним рядом, он захихикал:

— Ах вы маленький беглец! Вы неплох водить нас за нос, синьор! Но моя мудрый друг Астарот...

— Заткнись, Бегемот! Он не в курсе! — рявкнул барон на директора с необычной для него грубостью.

Но, тут же обратившись к Тиму, любезно разъяснил ему, что они с Грандици являются членами так называемого «Клуба Ваала» и иногда называют друг друга смеха ради клубными прозвищами.

У Тима было смутное ощущение, что он уже услышал как-то раз от барона про Астарота и Бегемота, но он не мог вспомнить, где и когда это было. Тем более, что все это время повторял про себя английскую поговорку, которую сказал ему Джонни.

Когда автомобиль проезжал мимо памятника Христофору Колумбу, Треч сказал Тиму:

— Завтра рано утром мы вылетаем в Афины, господин Талер! Самолет принадлежит фирме. Он будет ждать нас на аэродроме ровно в восемь часов.

Тим кивнул, ничего не ответить. Он, наверное, уже в десятый раз повторял про себя английскую поговорку. Наконец он решил спросить Грандици.

— А что это значит: «Тич ми ту лаф, сейв май соул»?

— На каком это языке? — осведомился Грандици.

— На английском, — спокойно ответил барон. — Старая поговорка, такая же глупая, как большинство пословиц. — Он повторил фразу с хорошим английским произношением. Потом вполголоса перевел: — «Кто смеется, тот спасен!» А буквально: «Научи меня смеяться, спаси мою душу!»

Тим сказал как можно равнодушнее:

— А-а, понятно!

И больше не произнес ни слова. Он все повторял и повторял про себя эту поговорку, только теперь у него получалось: «Научи меня смеяться, рулевой!»

Л и с т д в а д ц а т ы й

ЯСНЫЙ ДЕНЬ В АФИНАХ

Самый большой филиал концерна барона Треча находился в Афинах — древней столице Греции. В этом городе барон был необычайно оживлен и любезен. Он старался даже по возможности оградить Тима от директоров и банкетов. Вместо этого он

водил его гулять по улицам. Правда, на некотором расстоянии вслед за ними всегда ехал автомобиль, и по первому знаку Треча шофер мог подкатить к тротуару и распахнуть дверцу.

Барон не стал показывать Тиму те достопримечательности, ради которых приезжает в Афины большинство иностранных туристов. Он не поднимался с ним на Акрополь — поглядеть, как блестит между белыми колоннами веселой голубизной Эгейское море, не водил его смотреть на мраморные статуи, излучающие — от ямочек у щиколотки до полукругов возле уголков губ — божественный смех; не показал ему ясно сияющего неба над высокими храмами. Вместо всего этого он повел его на афинский рынок.

— По крайней мере, половина тех денег, которые получают здесь за товары, попадает в мои руки, — сказал он Тиму. — Вы, господин Талер, как мой наследник, должны знать, каким образом создается наше богатство. Ну, разве не наслаждение глядеть на эти краски?

Треч отправился с Тимом прежде всего в рыбные ряды. Выпучив глаза, со сверкающей красной полосой под жабрами, лежала здесь рыба — тысячами, в больших открытых холодильниках. Богатства моря были представлены во всей своей роскоши. Блестало серебро, отливала голубизной сталь; то тут, то там виднелись ярко-красные и матово-черные пятна и полосы. Но барон смотрел на все это глазами торговца.

— Этот тунец доставлен сюда из Турции, — объяснял он. — Мы покупаем его там совсем дешево. А эта треска из Исландии — одна из самых прибыльных наших торговых операций. Хамса, каракатицы и сардины привезены из Италии или пойманы здесь, в Греции. На этом много не заработаешь. А теперь пройдем дальше, господин Талер!

Треч прямо упивался рынком. Они остановились возле оштукатуренной стены, на которой висели ободранные бараньи туши со свесившимися набок языками.

— Эти бараны доставлены из Венесуэлы, — сказал барон. — А вон тех свиней мы закупили в Югославии. Весьма выгодное дело!

— А еще что-нибудь, кроме рыбы, покупается здесь, в Греции? — спросил Тим.

— Конечно, — рассмеялся Треч. — Кое-что поставляет нам и эта страна: изюм, вино, бананы, кондитерские изделия, оливковое масло, гранаты, шерсть, ткани, инжир, орехи и бокситы.

Треч перечислял товары с такой торжественностью, словно читал вслух библию. Тем временем он привел Тима в молочный ряд, где на столах повсюду возвышались горы белоснежного творога. Странная это была прогулка. Протискиваясь сквозь

толпу, они шли все дальше и дальше мимо торговцев, азартно расхваливающих свой товар, и громко торгующихся покупателей. Когда они проходили по рыбному ряду, им пришлось шагать по лужам, в которых плавал нарезанный кружочками лук; возле бараньих туш они обходили ручейки стекавшей крови, а когда стали пробираться между лотками с овощами и фруктами, то все время смотрели под ноги, чтобы не наступить на кожуру и не поскользнуться.

Прямо перед Тимом вертелись трое мальчишек. На глазах у всех они перебежали от лотка к лотку, таская маслины. Никто не обращал на них никакого внимания; даже продавцы, сердито прикрикнув, тут же снова начинали торговаться с покупателями. Воришки весело хохотали.

Прошло не меньше двух часов, показавшихся Тиму кошмарным сном, прежде чем он, взбудораженный и измученный, покинул рынок с его толкотней, шумом, выкриками — это гигантское чрево города с чудовищным аппетитом, приводившим в такое восхищение барона.

По знаку барона к тротуару подъехала машина. На сей раз это был автомобиль поменьше, с черными кожаными сиденьями. Треч приказал шоферу ехать к Византийскому музею.

— Вам должно там понравиться, господин Талер, — обратился он к Тиму. — Но почему — я вам пока не скажу.

У Тима это «почему» не вызвало ни малейшего любопытства. Он изнемогал от усталости и очень хотел есть. Однако он ни единым словом не обмолвился об этом барону. Он решил как можно реже показывать свою слабость этому странному торговцу, купившему его смех. Поэтому он, не моргнув глазом, позволил ему отвезти себя в Византийский музей.

Картины, к которым барон подводил Тима, назывались иконами. Их, как объяснил ему Треч, писали монахи, в течение многих сотен лет придерживавшиеся в живописи одних и тех же строгих канонов. Понемногу Тим начал понимать, почему барон привел его сюда.

Лица на иконах с большими глазами, неподвижно уставленными в одну точку, и длинными носами, делящими их овал на две половины, были лицами без улыбок. Этим они походили на бледные лица на портретах голландских мастеров, которые Тим видел в палаццо Кандидо в Генуе. Тиму они показались чужими и странными. Особенно долго держал его Треч перед иконой, изображающей святого Георгия в ярко-красном плаще на фоне мрачного скалистого пейзажа, выдержанного в оливково-зеленых тонах. Тим даже начал бормотать про себя пословицу Джонни: «Научи меня смеяться, рулевой!»

И, удивительное дело, вспомнив о Джонни, Тим вдруг увидел

иконы совсем другими глазами. Он заметил, что монахи, писавшие иконы, разрешили изображенным на них животным и растениям все то, в чем отказали людям, — радоваться, цвести, смеяться. Пока Треч восхищался святой дисциплиной иконописцев, Тим открыл малый мир, тайно живший на этих досках: улыбающихся собачонок, подмигивающих грифов, веселых птиц и смеющиеся лилии. Ему вспомнилась фраза, которую он слышал в гамбургском кукольном театре: «Так человек природой награжден: когда смешно, смеяться может он!» Здесь было все наоборот: смеялись звери, а человек глядел на мир сурово и беспощадно.

Когда они спустились на первый этаж музея, Треч остановился побеседовать с директором, которому уже дали знать о посещении музея бароном. Тем временем Тим вышел через распахнутую высокую дверь на небольшой балкончик. Посмотрев вниз, он увидел под балконом маленькую девочку — она рисовала веточкой какие-то линии на площадке перед входом в музей, а потом выкладывала по ним узор из пестрых камешков. Как видно, она только что побывала в том зале, где была выставлена мозаика, и теперь пыталась сама выложить картину мозаикой.

Тим стал следить за узором и заметил, что он постепенно превращается в лицо с иконы, только рот на этом лице не такой, как на иконах, а полукругом, концами кверху: это лицо улыбалось.

Задумчиво поглядев на свою картину, девочка положила зеленый камешек на место глаза. И вдруг, откуда ни возьмись, выскочил какой-то мальчишка, посмотрел, оттопырив губы, на ее почти готовое творение и проехался по нему носком башмака. Лицо разбилось. Девочка с испугом взглянула на юного варвара, и из глаз ее покатились крупные слезы. Всклипывая, она стала снова старательно собирать и укладывать камешки. Мальчишка стоял рядом с ней, засунув руки в карманы. Взгляд его выражал мужское презрение.

Тима охватило бешенство. Он хотел сбежать вниз и заступиться за девочку. Но как только обернулся, увидел барона: тот стоял за его спиной, вероятно тоже наблюдая за этой сценой.

— Не вмешивайтесь, господин Талер, — сказал он с улыбкой. — Конечно, весьма огорчительно, что этот мальчик так поступил. Но так уж повелось на земле. Так же варварски, как этот молодой человек растоптал картину, топчут грубые солдатские сапоги вдохновенные произведения искусства, а когда война позади, те же самые варвары с поджатыми губами отпускают средства на восстановление разрушенного. А зарабатываем на этом мы. Наша фирма реставрировала после окончания войны больше тридцати церквей в Македонии, и прибыль от этого составила около миллиона драхм.

Тим заученно пробормотал свою обычную фразу:

— Я приму это к сведению, барон. Но сейчас, — добавил он, — мне хотелось бы пойти пообедать.

— Отличная мысль, — рассмеялся Треч. — Я знаю здесь один превосходный ресторан на открытом воздухе.

И, не удостоив больше ни единым взглядом картины на стенах и детей на площадке у входа, барон поспешно зашагал к воротам музея, у которых стояла его машина. Тим молча последовал за ним.

Ресторан, к удивлению Тима, оказался совсем не таким шикарным, как те, в каких обычно любил обедать Треч. В саду, уставленном столиками, их почтительно приветствовали хозяин заведения, директор и старший кельнер. Барон говорил с ними по-гречески, а с Тимом — по-немецки. Знатных гостей провели к угловому столику, специально для них накрыли его белоснежной скатертью, поставили цветы, принесли из помещения подсобный маленький стол для посуды. Все посетители ресторана следили за этими приготовлениями с напряженным вниманием. Некоторые шептались, украдкой указывая на Тима.

— Разве и здесь мой портрет напечатан в газетах? — шепотом спросил Тим.

— О, разумеется, — ответил барон, не позаботившись даже о том, чтобы хоть немного понизить голос. — В Греции, господин Талер, ничему так не удивляются, как богатству, потому что страна эта очень бедна. Для таких, как мы, Греция — прямой рай. Даже в этом захудалом ресторанчике нам подадут воистину королевский обед. Я хочу сказать — буквально, — что его, не колеблясь, можно было бы предложить самому королю. Здесь богатству оказывают королевские почести. Потому-то я так и люблю Грецию.

Треч, наверное, еще долго бы разглагольствовал в том же духе, вызывая у Тима глухое раздражение, если бы не вошел кельнер и не шепнул ему что-то на ухо.

— Меня вызывают к телефону! Мой любимый ресторан уже широко известен, — сказал он Тиму. — Извините!

Барон поднялся и последовал за кельнером в помещение.

Тим стал теперь наблюдать за столиком, стоявшим наискосок от него. Это был единственный столик, откуда на него не бросали назойливых любопытных взглядов. Он увидел там две семьи. Одна состояла из полной черноволосой мамы с родинкой на щеке и двух дочек: младшей — лет трех и другой — года на два постарше; вторая семья играла возле стола в олеандровом кусте. Она состояла из большой серой мамы-кошки и трех котят — двух черненьких и одного серого.

Мама-гречанка очень нервничала; мама-кошка — тоже. Когда младшая девочка влезла на клумбу, выпачкалась и потянула в

рот листья, мама с родинкой наградила ее сердитыми шлепками. С каждым новым шлепком малышка ревела все безутешнее.

Мама-кошка вела себя точь-в-точь так же. Как только какой-нибудь из ее котят приближался к ней или прыгал ей на хвост, она сердито фыркала. Один черный котенок преследовал ее особенно упорно. Вдруг он плаксиво мяукнул — она изо всех сил хлопнула его лапой по голове, правда спрятав при этом когти; тоже, можно сказать, отшлепала. Котенок опять попытался к ней приблизиться, и она снова шлепнула его лапой. Мяуканье и детский рев становились все громче.

Тим отвел наконец взгляд; он больше не мог смотреть на все это. Как раз в эту минуту возвратился барон. И снова оказалось, что он наблюдал за той же сценой, что и Тим, и как бы угадал его мысли. Садясь на свое место за столиком, он сказал:

— Как видите, господин Талер, разница между человеком и зверем не так уж велика. Она, так сказать, едва уловима.

— Я уже слышал три совершенно различных мнения на этот счет, — в некотором замешательстве ответил Тим. — В одной пьесе, которую я видел в гамбургском театре, говорилось, что смех отличает человека от зверя — ведь только человек умеет смеяться. Но на иконах в музее было все наоборот: смеялись цветы и звери, а люди — никогда. А теперь, барон, вы мне говорите, что между человеком и зверем вообще нет никакой разницы.

— На свете нет таких простых вещей, чтобы их можно было исчерпать одной фразой, — ответил Треч. — А зачем нужен человеку смех, этого, дорогой господин Талер, вообще никто точно не знает.

Тим вспомнил вдруг одно замечание Джонни и повторил его вслух, скорее, для самого себя, но все же достаточно громко, чтобы барон мог его расслышать:

— Смех — это внутренняя свобода.

На Треча эта фраза произвела совершенно неожиданное действие. Он затопал ногами и заорал:

— Это тебе сказал рулевой!

Тим посмотрел на него с удивлением, и вдруг он ясно понял, почему барон купил у него смех. Он понял и другое. Так вот чем нынешний барон Треч так сильно отличается от мрачного господина в клетчатом с ипподрома! Нынешний барон стал свободным человеком. И его привело в бешенство, что Тим разгадал эту тайну.

Тем не менее барон, как всегда, тут же овладел собой и с обычной светскостью умело переменял тему разговора:

— Положение на масляном рынке, господин Талер, становится для нас угрожающим. Мне придется завтра же с руководящими господами нашей фирмы обсудить необходимые срочные меры.

Такие совещания обычно устраиваются в моем замке в Месопотамии, и я надеюсь, что вы не откажетесь меня туда сопровождать. То, с чем вам необходимо еще ознакомиться в Афинах, мне придется показать вам как-нибудь в другой раз.

— Как вам угодно, — ответил Тим с наигранным равнодушием.

На самом же деле у него не было более страстного желания, чем увидеть месопотамский замок — таинственное убежище, где барон, словно паук в углу, плел свою паутину.

Что касается самого Треча, то ему, как видно, совсем не хотелось покидать Афины. Когда принесли и поставили на стол заказанные блюда, он глубоко вздохнул:

— Вот и последняя наша трапеза в этой благословенной стране. Приятного аппетита!

КНИГА ТРЕТЬЯ

ЛАБИРИНТ

Смех — не маргарин...
Смехом не торгуют.

Селек Бай

Л и с т д в а д ц а т ь п е р в ы й

ЗАМОК В МЕСОПОТАМИИ

Тим уже во второй раз летел в маленьком двухмоторном самолете, принадлежащем фирме барона Треча. Они поднялись с аэродрома на рассвете, и ему едва удавалось отличать в окошке самолета море от неба. И вдруг он увидел внизу, за темневшим вдали гористым островком, солнечный шар. Казалось, солнце вынырнуло из моря — так быстро оно взошло.

— Мы летим на восток, навстречу солнцу, — пояснил Треч. — В Афинах оно взойдет немного позже. Мои подданные, в том числе и слуги в замке, поклоняются солнцу. Они называют его Эш Шемс.

Тим ничего не ответил — он молча смотрел вниз, на море: свинцово-серое, оно все светлело и светлело, пока не стало бутылочно-зеленым.

Тим не боялся лететь по воздуху, но и не радовался полету.

Он даже не удивлялся. Тот, кто не умеет смеяться, не может и удивляться.

Барон объяснял ему теперь «положение на масляном рынке», которое было Тиму глубоко безразлично. Тем не менее он усвоил, что фирма перессорилась с большинством крупных молочных хозяйств и что какая-то другая фирма, объединившая предпринимателей Норвегии, Швеции, Дании, Германии и Голландии, поставляет на рынок более качественное и более дешевое масло, чем фирма Треча. По этой-то причине они и летят сейчас в замок в Месопотамии. Там барон надеется «выяснить существо дела» и «принять необходимые меры». Два других господина тоже вылетели по направлению к замку: один из них, некий мистер Пенни,— из Лондона; другой, синьор ван дер Толен,— из Лиссабона.

Самолет уже пролетел над Анатолийским плато, а барон все еще говорил о сортах масла и о ценах на масло. При этом он то и дело употреблял такие выражения, как «фронт сбыта», «завоевание потребителя», «подготовка наступления на рынок», словно был генералом, готовящимся выиграть очередную битву.

Когда барон сделал паузу, Тим сказал, чтобы принять какое-нибудь участие в разговоре:

— У нас дома всегда ели только маргарин.

— На маргарине не разживешься,— буркнул барон.— Хлеба с маслом, как говорится, из него не сделаешь.

— Почему? — возразил Тим.— Мы всегда его мазали на хлеб! У нас и жарили на нем, и пекли, и тушили овощи.

Теперь барон стал слушать его внимательнее.

— Выходит, для вас маргарин был и смальцем, и постным маслом, и сливочным — един в трех лицах? Так, что ли?

Тим кивнул.

— Наверное, в одном только нашем переулке каждый день уходило не меньше бочки маргарина.

— Интересно,— пробормотал Треч.— Весьма интересно, господин Талер! Тактический маневр с маргарином — переход в наступление, завоевание масляного рынка... Почти гениально!

Барон погрузился в размышления; казалось, он застыл в своем кресле. Тим был рад, что барон оставил его в покое; он разглядывал в окошко самолета проносившиеся под ним горы и долины, вершины, и ущелья, и караваны ослов, двигавшиеся по горам из разных мест в одном направлении — очевидно, туда, где сегодня был базарный день. Летчик, чтобы доставить удовольствие мальчику, старался лететь как можно ниже, и Тим мог довольно хорошо разглядеть погонщиков и погонщиков ослов. Правда, все лица представлялись ему с высоты одинаковыми светлыми кружочками — с бородой и усами или без бороды и усов,— и ему при-

ходилось судить о людях, проходивших внизу, только по их одеж-
дам. А костюмы их были так непривычны для его взгляда, что и
люди представлялись ему фантастическими персонажами, каких
можно увидеть разве что в цирке. Но, конечно, это была сущая
чепуха, потому что если бы проходившие внизу были причесаны
и одеты так, например, как жители его родного города, Тим не
нашел бы в них ничего необычного, кроме разве что чуть более
темной кожи. Но четырнадцатилетнему мальчику, так неожидан-
но очутившемуся в дальних странах, можно, пожалуй, и простить
такое неверное представление о никогда не виданных народах.
Впрочем, уже очень скоро Тиму пришлось убедиться, познако-
мившись с Селек Баем, что о новых знакомых и о других народах
никогда не следует судить чересчур поспешно.

Этот Селек Бай выехал верхом из оливковой рощицы в ту
самую минуту, когда самолет приземлился на площадке, распо-
ложенной высоко в горах, и Тим самым первым спустился по
трапу на землю. Треч приветствовал подъехавшего Селек Бая
на арабском языке с изысканной любезностью. Низко поклонив-
шись, он незаметно шепнул Тиму:

— Это самый крупный коммерсант среди солнцепоклонников
и их глава. Он получил высшее образование в вашем родном горо-
де. Сейчас начнет говорить с нами по-немецки. Отвечайте ему
почтительно и поклонитесь как можно ниже.

Селек Бай обратился к Тиму, приведя его этим в некоторое
замешательство. Старик был одет в очень странный костюм; впро-
чем, отдельные части этого костюма Тим постепенно, кажется,
начинал узнавать: рубашка, жилет, пиджак и что-то вроде длин-
ного халата. Кроме того, цветной платок, повязанный вокруг
живота, и, наконец, юбка, какие носят женщины, из-под которой
выглядывали длинные шаровары. Все это было замечательно
ярких и красивых цветов, среди которых особенно выделялся
оранжево-красный. На темном бородатом лице Селек Бая почти
не было морщин. Из-под густых бровей внимательно глядели на
Тима умные голубые глаза.

— Я полагаю, молодой человек, что вы и есть тот самый зна-
менитый наследник, о котором кричат все газеты,— сказал он
по-немецки с удивительно хорошим произношением.— Привет-
ствую вас и желаю вам божьего благословения.

Старик поклонился, и Тим последовал его примеру. Его смяте-
ние возросло: ведь этот человек, пожелавший ему божьего благо-
словения, был главой солнцепоклонников! Но Тим давно уже
научился скрывать свои чувства. Он вежливо ответил старому
Селек Баю:

— Я очень рад познакомиться с вами. Барон мне много о вас
рассказывал. (Это было неправдой, но Тиму приходилось теперь

часто слышать подобную вежливую ложь, и он научился ей подражать.)

Открытая коляска на высоких колесах с парой лошадей в упряжке доставила их к замку.

Селек Бай сопровождал их всю дорогу верхом, беседуя с бароном по-арабски.

Когда коляска обогнула оливковую рощицу, их взглядам открылся замок, возвышающийся над отлогим склоном горы: чудовищное нагромождение из кирпичей с зубчатыми башенками по углам крыши и головами драконов, извергающими дождевую воду.

— Не думайте, пожалуйста, что это я сам выстроил такое страшилище,— обратился барон к Тиму.— Я купил эту штуку у одной взбалмошной английской леди исключительно потому, что мне люб этот уголок земли. Только парк здесь разбит по моему собственному плану.

Парк, спускавшийся террасами вниз по склону горы, был выдержан во французском стиле. Кусты и деревья, подстриженные в виде кеглей, шаров и многогранников, были посажены, казалось, не без помощи циркуля и линейки — такими прямыми выглядели здесь аллеи, такими круглыми — площадки и клумбы. Каждая терраса отличалась от другой своим орнаментом. Все дорожки были посыпаны красным песком.

— Как вам нравится парк, господин Талер?

Эта оболваненная природа, растения, которые так безжалостно обкорнали, показались Тиму несчастной жертвой человеческой тупости, и он ответил:

— По-моему, это хорошо решенная арифметическая задача, барон!

Барон рассмеялся.

— Вы выражаете свое неодобрение очень вежливо, господин Талер. Должен отметить, что вы отлично развиваетесь!

— Когда такой молодой человек говорит не то, что он думает, это значит, что он развивается очень плохо,— вмешался в разговор Селек Бай, перегнувшись в седле в сторону коляски.

Он сказал это довольно громко, стараясь заглушить скрип колес.

Треч возразил ему что-то по-арабски, и, как показалось Тиму, довольно резко. Верховой ничего не ответил барону. Он только поглядел на мальчика долгим задумчивым взглядом. Вскоре он попрощался и, огибая холм, поскакал в сторону дальней горы.

Барон, посмотрев ему вслед, сказал:

— Золотая голова, только чересчур уж высокоморален. Он прочел в заграничных газетах, что я выдал гроб пастуха Али за мой собственный, а сам недолго думая превратился в моего

брата-близнеца. Конечно, он будет молчать, но за это требует, чтобы я в порядке покаяния выстроил для его единоверцев новый храм. И, пожалуй, мне не остается ничего другого, как пойти на это.

— Если бы я мог, я бы сейчас рассмеялся, — серьезно ответил Тим.

Но вместо него рассмеялся барон. Он смеялся с переливами, с коротким счастливым, захлебывающимся смешком в конце каждой рулады. И на этот раз Тима не угнетал его собственный смех. Он даже был рад, что теперь смех его всегда рядом с ним, так близко, что, кажется, протяни руку — и достанешь. Иногда ему даже думалось, что когда-нибудь он и в самом деле быстро протянет руку и схватит свой смех, — выпал бы только подходящий случай. Он не понимал, что это только так кажется. Тим решил сопровождать барона всегда и повсюду.

Коляска остановилась у подножия широкой лестницы, которая вела вверх от террасы к террасе, до самого замка. Отсюда, снизу, она казалась гигантской, почти бесконечной. Но что было в ней самое удивительное — это собаки: каменные фигуры собак, стоявшие на ступеньках по обе стороны лестницы. Словно оцепенев в своем каменном молчании, они глядели, вытаращив глаза, вниз, в долину. Здесь были, наверное, сотни собак самых разных пород: доберман-пинчеры, таксы, сеттеры, фокстерьеры, афганские борзые, шоу-шоу, спаниели, боксеры, шпицы и мопсы, — обливная, ярко раскрашенная керамика. Получалось, что справа и слева, вдоль всей лестницы, вход в замок охраняет огромная пестрая свора.

— Старая леди была большой любительницей собак, — пояснил барон.

А Тим ответил:

— Да, это заметно.

Треч собирался было дать указание кучеру ехать по извилистой горной дороге, начинающейся слева от лестницы, как вдруг из-за керамического бульдога, стоящего на середине лестницы, вышел какой-то человек и помахал им рукой.

— Это синьор ван дер Толен, — сказал Треч. — Давайте вылезем и поднимемся к нему. Мне хотелось бы ошарашить его моими планами насчет маргарина. Вот он изумится!

Они вылезли из коляски, и барон чуть ли не бегом бросился вверх по ступенькам. Тим медленно подымался вслед за ним, внимательно разглядывая керамических собак. Его не интересовали разговоры о маргарине. Откуда ему было знать, какую важную роль сыграет маргарин в его жизни?

С И Н Ъ О Р В А Н Д Е Р Т О Л Е Н

Внутреннее устройство замка доказывало, что барон, так любивший посещать выставки картин и художественных изделий, обладает в вопросах быта изысканным вкусом. Все предметы обстановки — даже пепельницы, дверные ручки и коврик в ванной — были просты, красивы и, очевидно, очень дороги. Комната Тима представляла собой приятное полукруглое помещение в одной из башен. Из окна ее был виден парк и долина с оливковой рощицей. Даже маленький аэродром можно было разглядеть во всех подробностях: посадочная площадка, окруженная, согласно предписанию, прожекторами, а рядом с ней несколько ангаров для самолетов и низкое длинное строение, в котором размещались радиостанция и служба погоды.

Когда Тим выглянул из окна, он увидел на посадочной площадке два самолета. Третий в эту минуту как раз приземлялся; какой-то пестро одетый всадник неподвижно стоял возле белой стены длинного здания. Как видно, это был Селек Бай.

Вдруг Тим услышал, что кто-то вполголоса зовет его по имени:
— Господин Талер!

Тим отвернулся от окна и открыл дверь. За дверью стоял синьор ван дер Толен, с которым он вчера обменялся всего лишь несколькими вежливыми фразами на лестнице с собаками, так как барон почти без передышки болтал о маргарине.

— Нельзя ли мне поговорить с вами, господин Талер? Но так, чтобы об этом не узнал барон.

— Я ничего не скажу барону, если вы этого не хотите. Только где он сейчас?

— Он едет на аэродром встречать мистера Пенни.

Синьор ван дер Толен вошел тем временем в комнату и расположился в плетеной качалке. Тим запер дверь и сел на скамеечку, стоящую в углу, — теперь он мог смотреть в окно, не выпуская из поля зрения комнату.

Ван дер Толен, как Тим заметил уже в первую встречу, был человеком не слишком разговорчивым. Об этом можно было судить хотя бы по форме его рта. Рот ван дер Толена представлял собой прямую узкую линию — только концы ее чуть заметно загибались кверху — и был похож на закрытую пасть акулы.

— Я пришел к вам в связи с тем, что завещание о наследстве еще окончательно юридически не оформлено, — сказал этот португалец с голландской фамилией. — Речь идет об акциях с правом решающего голоса, принадлежащих барону. Вы разбираетесь в акциях?

— Нет,— ответил Тим, глядя в окно.

В эту минуту коляска барона подкатила к аэродрому.

Синьор ван дер Толен медленно качался в плетеной качалке взад и вперед. Его белесо-голубые глаза пристально смотрели на Тима сквозь стекла очков. Взгляд у него был холодный, но не колючий.

— Так вот, с акциями дело обстоит следующим образом...

Барон, сидевший в коляске, обернулся и помахал Тиму рукой. Тим помахал ему в ответ.

— Акции представляют собой долю участия в капитале...

Теперь разноцветный всадник отделился от белой стены. Селек Бай поскакал навстречу коляске Треча.

— Мне придется пояснить мою мысль наглядным примером. Вы меня слушаете?

— Да,— ответил Тим и отвел взгляд от окна.

— Итак, представьте себе, господин Талер, что решено разбить сад. (Тим кивнул.) Но человеку, который взялся за это дело, не хватает денег, чтобы купить все нужные для сада молодые яблони, и он засаживает только одну часть сада. Остальные яблони покупают и сажают другие люди. Когда же яблони вырастают и начинают приносить плоды, каждый, посадивший яблони, получает такую часть яблок, которая соответствует количеству посаженных им яблонь. Причем в каждом году количество яблок, составляющих эту часть, разное.

Тим принялся считать вслух:

— Значит, если я из ста яблонь посадил двадцать и в саду собрали сто центнеров яблок, то я получу из них двадцать центнеров? Правильно?

— Не совсем! — Синьор ван дер Толен едва заметно улыбнулся.— Надо заплатить садовникам и рабочим. Кроме того, деревья, которые не принялись, необходимо заменить новыми. Но мне кажется, вы уже примерно поняли, что такое акции.

Тим кивнул:

— Акции — это те деревья, которые я посадил. Они — моя доля в саду и в урожае.

— Очень хорошо, господин Талер.

Синьор ван дер Толен снова начал молча раскачиваться в качалке, а Тим опять взглянул в окно. Коляска уже возвращалась с аэродрома обратно в замок. Селек Бай, как и вчера, сопровождал ее верхом. Рядом с Тречем в коляске сидел крупный, полный, лысый господин.

— Барон уже возвращается в замок, синьор ван дер Толен.

— Тогда я коротко изложу вам мою просьбу, господин Талер. Завещание составлено таким образом, что новый барон...

— Как так новый барон? — перебил его Тим. Но тут он за-

метил по лицу коммерсанта, что тот ничего не знает о тайне барона. Поэтому он быстро добавил: — Извините, пожалуйста, что я вас перебил.

Несмотря на то что ван дер Толен глядел на него, высоко подняв брови, Тим не сказал больше ни слова. И синьор ван дер Толен начал сначала:

— Завещание составлено так хитро, что новый барон имеет возможность оспаривать в судебном порядке ваше наследство, если он этого захочет. Впрочем, это касается только его и вас. Меня здесь интересуют лишь акции с решающим голосом.

Тим увидел в окно, что коляска и всадник остановились у подножия лестницы. Господа, очевидно, вели оживленный разговор.

— А что такое акции с решающим голосом? — спросил Тим.

— В нашем акционерном обществе, господин Талер, есть несколько акций стоимостью примерно в двадцать миллионов португальских эскудо. Те, кто владеют ими, имеют право решающего голоса в правлении общества. Только от них зависят все решения — больше ни от кого.

— И я наследую эти акции, синьор ван дер Толен?

— Часть из них, господин Талер. Остальные принадлежат Селек Баю, мистеру Пенни и мне.

Мистер Пенни, очевидно, и был тот лысый толстяк, который сейчас медленно поднимался вверх по лестнице в сопровождении Треча и Селек Бая.

— И вы хотите купить у меня мои акции с решающим голосом?

— Если бы я и хотел, то все равно не мог бы этого сделать. Пока вам не исполнится двадцать один год, акциями распоряжается барон. Но когда вы вступите в законное владение наследством, я охотно куплю у вас эти акции. Я предлагаю вам за них уже сейчас любое из предприятий нашей фирмы. Это предприятие будет принадлежать вам даже в том случае, если ваше право на наследство будет по какой-либо причине объявлено недействительным.

Португалец поднялся с качалки. Рот его снова превратился в закрытую пасть акулы. Он сказал на этот раз необычайно много по сравнению с тем, сколько говорил обычно. Теперь очередь была за Тимом. И Тим сказал:

— Я обдумаю ваше предложение, синьор ван дер Толен.

— Пожалуйста, обдумайте его, господин Талер! У вас есть на это еще три дня.

С этими словами коммерсант вышел из комнаты Тима.

Когда Тим снова глянул в окно, лестница, ведущая к замку, была уже пуста.

Тим остался один. Здесь, в башне замка, сидел мальчик, по имени Тим Талер, четырнадцати лет от роду, выросший в узком переулке большого города; мальчик без улыбки, но по власти и богатству — будущий король. Король — конечно, лишь в том случае, если такая корона будет представлять для него какую-нибудь ценность.

Тим до сих пор не имел еще полного представления о размерах своего богатства. И все же он знал, что громадная флотилия кораблей фирмы барона Треча пересекает моря и океаны. Он догадывался, что самые громадные рынки мира, как тот рынок в Афинах, изо дня в день и из года в год умножают его богатства; он представлял себе целую армию директоров, служащих и рабочих — сотни, тысячи, может быть, даже десятки тысяч людей, исполняющих его приказы. Эти картины щекотали тщеславие Тима. Он казался себе похожим на одинокого баварского короля из сказки, о котором с таким восторгом рассказывала старенькая учительница в школе на уроке истории. Он мечтал, как проедет в золотой карете, сопровождаемый скачущим на коне Селек Баем, мимо булочной-кондитерской фрау Бебер, на глазах у всего переулка. А соседи будут стоять и смотреть на него, широко раскрыв рот.

На мгновение мальчик в башне забыл о своем потерянном смехе — он мечтал, он придумывал сказку о том, как он станет королем.

Но действительность выглядела по-иному. Действительность звалась маргарином и готовилась вскоре грубо напомнить ему о его потерянном смехе.

Л и с т д в а д ц а т ь т р е т и й

ЗАСЕДАНИЕ

В замке был специальный обитый панелью зал для заседаний, посреди которого стоял длинный стол с глубокими креслами. Тот, кто входил в этот зал, сразу обращал внимание на картину в тяжелой золотой раме, висевшую на стене против двери. Это был знаменитый автопортрет великого художника Рембрандта; искусствоведы всего мира считали эту картину пропавшей во время последней войны.

Под портретом во главе стола восседал барон. Слева от него сидели Селек Бай и Тим Талер, справа — мистер Пенни и синьор ван дер Толен. Разговор шел о положении на масляном рынке. Из-за Тима все говорили по-немецки, хотя для мистера Пенни это было весьма затруднительно.

В самом начале заседания (такие обсуждения почему-то всегда

называют заседаниями, словно самое главное тут сидеть на стуле), итак, в самом начале заседания мистер Пенни деловито осведомился, будет ли Тим и впредь принимать участие в тайных совещаниях. Селек Бай высказался «за», но остальные господа были решительно «против». Они считали, что мальчик должен участвовать в заседании только сегодня: во-первых, чтобы немного ознакомиться с делами концерна, а во-вторых, поскольку он должен сделать сообщение об употреблении маргарина в своем переулке.

Первым на повестке дня стоял вопрос о точильщиках ножей и ножниц в Афганистане. История эта оказалась довольно странной. Тим понемногу понял следующее: торговая фирма барона Треча раздарила в Афганистане около двух миллионов дешевых ножей и ножниц. И не столько из чистого человеколюбия, сколько ради того, чтобы подзаработать. Эти ножи и ножницы обошлись компании по сорок пульей (мелких афганских монет) за штуку. Наточить же ножичек стоило пятьдесят пульей (пол-афгани). Поскольку ножи и ножницы были не слишком высокого качества, точить их приходилось по крайней мере дважды в год. А все точильщики в Афганистане были служащими фирмы барона, и некий Рамадулла, в недавнем прошлом разбойник с большой дороги, наводивший ужас на всю округу, держал точильщиков в строгой узде. Он снабжал их точильными камнями и клиентами, но требовал с них за это такую часть дохода, чтобы половина всех заработанных денег могла регулярно поступать в распоряжение фирмы. Легко себе представить, что оставалось после этого самим точильщикам.

Поэтому в Афганистане приходилось прилагать большие усилия, чтобы нанять точильщиков и обеспечить их работой. А в такой бедной стране это невозможно сделать с помощью радио, газет или рекламы. Ведь немногие здесь умеют читать, да и радио почти ни у кого нет. Поэтому пришлось оплатить уличных певцов, которым было поручено распевать по дворам «Песенку точильщика». В этой песенке — господа долго спорили о ее словах и мотиве — не восхвалялось, как можно было бы подумать, искусство точильщика, а воспевалась его бедность. И все для того, чтобы заставить население точить ножи и ножницы хотя бы из сострадания. В переводе эта песенка звучала примерно так:

Верт́ится, вертится, вертится,
Жужжит колесо и искрится!
За пол-афгани он нож вам наточит.
Бедняга! Как хлеба он хочет!
Бедняга, бедняга точильщик-бродяга!
Спешит в города он и села,
Согнувшись под ношей тяжелой!

За пол-афгани он ножницы точит!
Бедняга! Как хлеба он хочет!
Бедняга, бедняга точильщик-бродяга!

Последняя строфа должна была убедить слушателей, как счастлив точильщик, когда ему приносят ножи и ножницы:

Эй вы, молодые красотки!
У вас не найдется ль работы?
За пол-афгани спасибо вам, люди!
Сегодня голодным не будет
Бедняга, бедняга точильщик-бродяга!

О том, что бедные точильщики отдают почти весь свой заработок Рамадулле, а тот, в свою очередь, переправляет большую часть собранных денег в этот замок, песенка, разумеется, умалчивала.

Тим думал все это время о старике с глухонемой дочерью, точившем ножи и ножницы в его переулке. Может быть, и этот старик отдает большую часть своего заработка какой-нибудь торговой фирме? Его удручала мысль об этом дрянном королевстве, которое он должен унаследовать. И Селек Бай, как видно, угадал его мысли.

— Мне кажется,— сказал он,— что молодой человек не одобряет методов нашей фирмы. Надо думать, он придерживается мнения, что разбойник Рамадулла вовсе не переменил своей профессии, а просто грабит теперь несколько более цивилизованным способом. Должен вам сказать, господа, что я и сам так считаю.

— Ваше мнение нам известно,— заметил мистер Пенни.

А барон, заметно оживившись, добавил:

— Если в стране, истерзанной разбойниками, Селек Бай, нам удалось сделать разбойников более цивилизованными, это значит, что мы способствуем прогрессу. Позднее, когда эта страна благодаря нашей помощи превратится в страну с правом и порядком, наши методы торговли тоже, разумеется, станут вполне законными.

— То же самое вы говорили мне,— спокойно возразил ему Селек Бай,— когда речь шла о нечеловеческих условиях труда на плантациях сахарного тростника в одной южноамериканской стране. Сейчас в этой стране с помощью наших денег избран в президенты всем известный вор и убийца, и положение в ней стало еще хуже!

— Но этот президент почитает религию,— подал реплику мистер Пенни.

— В таком случае я предпочел бы более человеческого президента, не почитающего религии,— буркнул Селек Бай.

Теперь, в первый раз за все время, попросил слова синьор ван дер Толен.

— Господа, мы ведь только простые коммерсанты и с политикой не имеем ничего общего. Будем надеяться, что мир со временем станет лучше, и тогда все мы будем торговать друг с другом как добрые друзья. А теперь я предлагаю перейти к главному: к маслу!

— Точнее говоря, к маргарину,— с улыбкой поправил его барон и тут же приступил к длинному докладу.

Доклад этот мало чем отличался от тех речей, какие Тим уже слышал от него в самолете. Он говорил отнюдь не как мирный торговец, а как полководец, собравшийся стереть с лица земли своих врагов — других торговцев маслом.

Половину из того, что он говорил, Тим пропустил мимо ушей. В голове у него шумело. Он с недоумением задавал себе вопрос: для чего же тогда вообще торговать в Афганистане и Южной Америке, раз торговля непременно превращается там в такое мерзкое дело? Ему уже больше не хотелось получить в наследство королевство барона. Он испытывал отвращение к торговле, торговым сделкам и вообще ко всяким «делам». С тоской думал он про свое собственное «дело» — проданный смех.

Барон попросил Тима повторить все, что он говорил ему в самолете об употреблении маргарина в их переулке.

Тим стал рассказывать; и когда он кончил, в зале заседаний воцарилась тишина.

— Ми правда слишком мало уделял внимание маргарин,— пробормотал мистер Пенни.

— А между тем наш концерн,— добавил синьор ван дер Толен,— достиг такого величия и богатства именно благодаря мелочам, в которых нуждаются бедные люди. Но маргарин мы совершенно упустили из виду. И это непростительно! Придется организовать это дело совсем по-иному!

Теперь Тим немного успокоился. Он сказал:

— Мне всегда было обидно, что те, кто покупает масло, получают свою покупку в серебряной упаковке, а наш маргарин просто выковыривают лопаткой из бочонка и кое-как заворачивают в дешевую бумагу. А мы не могли бы продавать бедным людям маргарин в красивой обертке? Ведь денег у нас на это хватит!

Все четыре господина, вытаращив глаза от изумления, уставились на Тима. И вдруг разразились громким хохотом.

— Господин Талер, ви просто неоценими! — крикнул мистер Пенни.

— Решение было у нас под носом, но мы его не увидели! — смеясь, воскликнул барон.

Даже синьор ван дер Толен вскочил со своего кресла и вперил взгляд в Тима, словно увидел какого-то диковинного зверя.

Только старый Селек Бай оставался спокойным. Поэтому Тим обратился к нему и спросил, что ж такого особенного нашли господа в его предложении.

— Мой юный друг, — торжественно произнес старик, — вы только что сделали открытие. Вы изобрели сортовой маргарин!

Л и с т д в а д ц а т ь ч е т в е р т ы й

ЗАБЫТЫЙ ДЕНЬ РОЖДЕНИЯ

Что такое сортовой маргарин и с чем, как говорится, его едят, Тим понемногу начал понимать в последовавшие за этим два дня: в замке ни о чем другом и не говорили. Даже слуги, казалось, шептались о маргарине по-арабски и по-курдски.

Согласно проекту акционерного общества барона Треча, на рынок должен был поступить сортовой маргарин с названием и в привлекательной обертке. План введения в продажу этого маргарина разрабатывался во всех деталях, словно военный поход; все наиболее видные фабрики маргарина тайно скупались фирмой; все сорта маргарина исследовались в лабораториях; лучший из сортов надо было внедрить в производство всех фабрик фирмы и при этом найти наиболее выгодный способ его изготовления. И самое главное, необходимо было подготовить грандиозную рекламу, чтобы убедить домашних хозяек покупать вместо дорогого масла «почти такой же полезный, но гораздо более дешевый» сортовой маргарин. Таким образом безымянный плохой маргарин как бы сам собой вытеснялся с рынка.

Все эти приготовления решено было провести как можно скорее и в полной тайне, чтобы какая-нибудь другая фирма не перебежала дорогу акционерному обществу барона Треча. В течение этих двух дней велись переговоры по телефону со всеми крупными городами Европы; отправляли и получали телеграммы; самолет то и дело доставлял по воздуху какого-нибудь господина, который запирался на несколько часов с бароном и тремя другими членами совета в зале заседаний, а затем в тот же день улетап обратно.

У Тима вдруг оказалось много свободного времени. Полдня он провел в своей комнате в башне, снова и снова перечитывая коварный контракт, который подписал когда-то в тени большого каштана, — каким же он был тогда еще маленьким и глупым! Нет,

он не видел никакого выхода, не находил никакого способа вернуть обратно свой смех. Все эти разговоры о грандиозных торговых махинациях окончательно сбили его с толку, и он не замечал простого, короткого пути, который вел к его потерянному смеху.

Но трое его друзей в Гамбурге нашли этот путь, и удивительный случай помог Тиму установить с ними связь.

Маленький телефон в комнате Тима резко зазвонил, и, когда Тим снял трубку, он услышал далекий голос:

— Это говорят из Гамбурга! Кто у телефона? Барон?

На мгновение у Тима отнялся язык. Потом он крикнул:

— Это вы, господин Рикерт? Это я, Тим!

Далекий голос стал теперь немного громче и отчетливее:

— Да, это я! Боже, мальчик, как нам повезло! Крешимир и Джонни были у меня. Крешимир знает...

Но Тим не дал договорить господину Рикерту. Он перебил его, крикнув:

— Передайте привет Джонни, господин Рикерт! И Крешимиру! И вашей маме! И подумайте, пожалуйста...

Из-за плеча Тима к телефону протянулась рука и нажала на рычаг. Разговор был прерван. Тим обернулся, побледнев от испуга. За его спиной стоял барон. От радости и волнения Тим не услышал, как он вошел.

— Вам придется забыть своих старых знакомых, господин Талер,— сказал Треч.— Скоро вы получите в наследство королевство, в котором управляют числа, а не чувства.

Тим хотел было сказать: «Я приму это к сведению, барон», как говорил теперь часто. Но на этот раз он был не в состоянии овладеть собой. Сгорбившись у телефонного столика, он уронил голову на руки и заплакал. Словно издавека, он услышал, как кто-то сказал:

— Оставьте меня наедине с мальчиком, барон!

Раздались шаги, хлопнула дверь. И наконец все стихло. Слышны были только рыдания Тима.

Старый Селек Бай бесшумно расхаживал по комнате. Потом он сел у окна и дал мальчику выплакаться.

Прошло много времени, прежде чем он сказал:

— Мне кажется, молодой человек, что вы слишком мягки для столь жестокого наследства.

Тим всхлипнул еще разок, потом вытер слезы белоснежным платочком, торчавшим из верхнего кармана его куртки, и ответил:

— Не хочу я никакого наследства, Селек Бай.

— Чего же ты тогда хочешь, малыш?

Тиму стало так хорошо оттого, что кто-то снова обратился к нему на «ты». Ему очень хотелось рассказать Селек Баю о про-

данном смехе. Но тогда он потеряет свой смех навсегда. И Тим промолчал.

— Ну ладно,— пробормотал старик.— У барона немало тайн, и одна из них — ты. Кажется, это страшная тайна.

Тим кивнул и опять ничего не ответил. Тогда Селек Бай пере­менил тему и рассказал мальчику, как он стал одним из заправил в этом богатом акционерном обществе.

— Им нужен был какой-нибудь влиятельный человек для их коммерческих дел в Азии. Если бы взяли магометанина, это вызвало бы недовольство в странах, где поклоняются Будде; а если бы выбрали кого-нибудь из буддистов, обиделись бы магоме­тане. Поэтому и остановились на мне: нас, солнцепоклонников, хоть и считают чудными, но уважают за великодушные. Из-за меня барон и купил себе этот замок.

— Но ведь многие дела их концерна вам совсем не по вкусу,— сказал Тим.— Почему же вы тогда в него вступили?

— Я пошел на это с условием, что мне дадут акции с решаю­щим голосом. И представь себе, они согласились, малыш! Я при­нимаю участие в решении всех вопросов, и иногда мне удается кое-что изменить, правда, не так уж много. А кроме того...— Селек Бай хитро улыбнулся, хихикнул и продолжал уже шепо­том: — Кроме того, все те миллионы, которые приходится на мою долю благодаря прибылям акционерного общества, я тайком употребляю на борьбу с этим обществом. В Южной Америке я оплачиваю армию, которая рано или поздно сбросит с престола того самого вора и убийцу, которого мы посадили на пост прези­дента. А в Афганистане...

В дверь постучали, и Селек Бай тут же умолк.

— Открыть? — тихонько спросил Тим.

Старик кивнул. Мальчик пошел к двери, и в ту же секунду в комнату влетел взволнованный мистер Пенни; до сих пор Тим всегда видел его спокойным и чопорным.

— Что такое значит... эти чертови... эти проклятый... эти, как их?..

— Говорите по-английски,— сказал Селек Бай,— я переведу мальчику.

Теперь мистер Пенни пустил поток своего красноречия в ан­глийское русло. Потом он вдруг замолчал, указал на Тима и сказал Селек Баю:

— Пожалуйста, переводить ему.

Но старый Селек Бай попросил англичанина прежде всего успокоиться и сесть и, когда мистер Пенни, обессиленный, бросил­ся в качалку, сказал Тиму:

— Барон только что отстранил Рикерта от должности дирек­тора нашего гамбургского пароходства. А так как мистер Пенни

владеет большей частью акций пароходства, он протестует против его увольнения. Он утверждает, что господин Рикерт пользуется в Гамбурге большой любовью и может выйти большой скандал. А это повредит интересам пароходства. Мистер Пенни считает, что увольнение произошло по вашей вине.

— По моей вине? — изумленно переспросил Тим, сильно побледнев.

— Йес, да, ваш вина! — Мистер Пенни снова вскочил с качалки. — Барон... э... как это... э... барон... э... барон... он говорит...

Тим, конечно, и сам понимал, что увольнение господина Рикерта связано с разговором по телефону. Но то, что барон взвалил на него вину, было дьявольской подлостью. Уж кто-кто, а Тим никак не мог пожелать, чтобы господин Рикерт вылетел со службы.

Селек Бай вдруг направился к двери, сказав на ходу мистеру Пенни:

— Поговорите немного по-немецки с молодым человеком. Это поможет вам говорить медленно и спокойно.

С этими словами он исчез.

Толстяк из Лондона плюхнулся на скамейку у окна, где только что сидел Селек Бай, и простонал:

— Я не могу понять это!

Сначала Тим хотел ему сказать, что барон просто наврал. Но разговор с синьором ван дер Толеном, о котором он часто думал, снова пришел ему на память, и это натолкнуло его на спасительную мысль.

— Мистер Пенни, — сказал он, — вы ведь, конечно, знаете, что, когда мне исполнится двадцать один год, я получу в наследство много акций с решающим голосом?

— Йес, — пропыхтел из угла мистер Пенни.

— Если б я заключил с вами контракт, подтверждающий, что вы получите эти акции, как только я стану совершеннолетним, согласились бы вы уступить мне сейчас акции гамбургского пароходства?

Мистер Пенни сидел в своем углу не шевелясь. Он только чуть прищурил глаза. Тим слушал его тяжелое дыхание. Наконец англичанин хрипло спросил:

— Это не трюк, господин Талер?

— Нет, мистер Пенни. Я говорю это без всякой задней мысли.

— Тогда закройте дверь.

Тим так и сделал и за запертой дверью заключил договор с мистером Пенни, который надо было хранить в такой же строгой тайне, как и контракт с Тречем: ни при каких обстоятельствах он не должен был попасться на глаза барону. Жаль только, что во владение акциями пароходства можно было вступить не сразу: по закону Тим мог получить их только через год. Но, пожалуй,

так было даже лучше. Во всяком случае, для тех планов, которые Тим строил в эту бессонную ночь.

Это были грандиозные планы. Тим придумывал, как он с помощью Селек Бая припрет к стенке акционерное общество барона Треча — самый богатый и могущественный концерн во всем мире. И тогда у барона останется только один выход: вернуть Тиму его смех. Иначе он потеряет в одно мгновение всю свою власть и богатство.

План этот был безумием. Даже если бы Селек Бай согласился принять в нем участие, он был бы наверняка обречен на провал. Тим только впервые входил в мир крупных торговых сделок и недооценивал возможности и связи такого вот мирового концерна. Он недооценивал и господ, с которыми имел дело. Каждый из них, не задумываясь, обрек бы на нищету жену и детей, если бы это могло спасти фирму от разорения. Он недооценивал их цепкость, жестокость и железную хватку.

Тим был слишком мал и неопытен для выполнения такого плана. А смех его можно было вернуть куда более простым и легким путем — при помощи всего лишь нескольких слов. Но, находясь все время рядом с бароном, он совсем отвык от всего простого и разучился о нем думать.

Около четырех часов утра — Тим все еще не мог заснуть — он перечитал договор, заключенный с мистером Пенни. Взгляд его упал на дату: тридцатое сентября. Это был день его рождения.

Тиму исполнилось пятнадцать лет. День, в который другие мальчики его возраста обычно жуют пироги и смеются, оказался для Тима днем тайных сделок и коварных замыслов. И заговорщик, только что строивший мрачные планы, снова превратился в печального мальчика без улыбки. Тим заплакал от отчаяния. Потом глаза его сомкнулись, и он уснул крепким, почти спокойным сном.

Л и с т д в а д ц а т ь п я т ы й

В КРАСНОМ ПАВИЛЬОНЕ

День в замке проходил по строгому распорядку. Ровно в восемь часов утра раздавался стук в дверь, и молодой приветливый слуга, с которым Тим, к сожалению, не мог обменяться даже несколькими словами, входил, не дожидаясь разрешения, в его комнату и раздвигал занавески; затем он приносил кувшин теплой воды и выливал его в умывальник.

Умывшись и одевшись, Тим дергал толстый вышитый шнур звонка. И слуга входил снова, неся на подносе завтрак. Он при-

двигал столик к окну, расставлял на нем посуду, наливал в чашку какао, добавляя сахару и сливок, и ждал, положив руки на спинку стула, пока мальчик захочет сесть. Тогда он пододвигал ему стул. Затем бесшумно исчезал.

В первый день слуга широко улыбнулся мальчику. Но уже со второго дня он никогда больше не улыбался. Лицо его было, скорее, печальным, словно он знал о беде Тима.

Тим принимал все эти услуги молча. И хотя он чувствовал участие слуги и тот ему нравился, он все равно всякий раз был доволен, что церемония завтрака уже позади и он может посидеть один у окна.

Наутро после ночи, проведенной почти без сна, Тиму было трудно подняться с постели. К тому же в комнате было еще довольно темно, потому что дождь за окном лил как из ведра. Несмотря на это он сразу встал, и ритуал умывания и завтрака прошел как обычно. Тим, сопровождая повсюду барона, научился самообладанию и дисциплине.

Во время завтрака Тим глядел в окно; ему была видна часть лестницы, ведущей к замку. Разноцветные собаки ярко блестели под дождем. И все же, окоченевшие и застывшие, они выглядели жалкими и беспомощными. У Тима было такое чувство, словно скоро и он сам превратится в одну из таких собак, если ему не удастся снова стать смеющимся мальчиком.

Зазвонил телефон. В трубке раздался голос барона. Он приглашал Тима к пяти часам на чай в Красный павильон.

— Хорошо, барон! — ответил Тим, продолжая завтракать.

При этом он обдумывал, что бы могло означать это приглашение по телефону. До сегодняшнего дня барон, если хотел поговорить с Тимом, просто подымался в башню и входил к нему в комнату. Очевидно, была какая-то особая причина для встречи в павильоне.

Во время обеда — начало его ежедневно возвещал гонг ровно в час дня, и тогда Тим спускался по винтовой лестнице с резными перилами в столовую на первом этаже, — так вот, во время обеда барон не сказал ему больше ни слова о приглашении к чаю, хотя Тим сидел с ним рядом.

Селек Бай, всегда приходивший в замок только после обеда, на этот раз тоже сидел за столом. У Тима возникло ощущение, что этим утром состоялось какое-то особо важное совещание. Однако господа ни разу не упомянули о нем за обедом. Это вообще был самый безмолвный обед из всех, на которых присутствовал Тим за время своего пребывания в замке.

Послеобеденные часы каждый обычно проводил в своей комнате. Тим чаще всего в это время читал — у него здесь была небольшая библиотека. Больше всего он любил тома в красновато-корич-

невых холщовых переплетах, стоявшие на самой нижней полке. Это были книги Чарльза Диккенса. Он проглатывал романы о бедных, обездоленных детях, словно пироги фрау Бебер, но каждый раз его пугал в них счастливый конец.

Три романа он просто не смог дочитать до конца, потому что заметил, что дело идет к счастливой развязке.

Этот дождливый день был словно специально создан для чтения грустных книг. Но Тим на этот раз не стал читать. Он сидел на скамейке у окна и глядел вдаль — на серую долину, над которой все лил и лил дождь, — и пробовал восстановить в памяти свои ночные планы. Но голова его словно опустела — он не мог думать. Он только смотрел на дождь, и на мокрых собак, печально сидящих на лестнице, и на закрытую повозку, которую тащит ослик; как и каждый день, в этот послеобеденный час она двигалась к замку с запасами продовольствия.

Без четверти пять в комнату вошел молодой слуга, держа в руке зонтик. По выражению его лица Тим понял, что тот собирается проводить его к Красному павильону. Но Тим, взяв у него зонтик, знаками дал ему понять, что хочет пойти туда один.

Потом он надел легкий плащ, купленный на рынке в Афинах, и вышел из комнаты.

На верхней ступеньке винтовой лестницы стоял Селек Бай. Он пожал Тиму руку и тайком передал ему при этом самопишущую ручку. Хотя поблизости никого не было, Селек Бай сделал это с соблюдением всех предосторожностей. Он шепнул Тиму:

— Подписывай этим!

И прежде чем Тим успел что-либо спросить, старик уже снова исчез. Тим сунул авторучку в карман, спустился с лестницы и прошел через зал к высокой входной двери, которую распахнул перед ним старый слуга.

Но не успел Тим выйти на дождь, как кто-то его окликнул: — Минуточку, господин Талер!

Из-за колонны вышел синьор ван дер Толен. Он кивнул старому слуге, чтобы тот удалился, и спросил вполголоса:

— Вы обдумали мое предложение, господин Талер? Вы обещаете мне ваши акции с решающим голосом, а я дарю вам за это крупное предприятие. Вы согласны?

Тим чуть было не сказал: «Я уже заключил сделку с мистером Пенни». Но этот печальный, дождливый день имел хотя бы то преимущество, что несколько охлаждал первый пыл. Поэтому, прежде чем дать ответ, Тим успел подумать. И ответ его прозвучал более благоразумно:

— Я не могу заключить с вами эту сделку, синьор ван дер Толен.

— Жаль, — сказал португалец, не изменившись в лице.

Больше он не произнес ни слова. Он уже повернулся, чтобы идти, но потом остановился и сказал:

— Надеюсь, вы, по крайней мере, пойдете нам навстречу в наших планах насчет маргарина, господин Талер.

С этими словами он ушел.

Тим не мог понять, существует ли между этими встречами какая-нибудь связь. Сначала таинственная авторучка Селек Бая, потом синьор ван дер Толен со своим неясным замечанием насчет маргарина.

«Не хватало еще встретить мистера Пенни», — подумал Тим. И мистер Пенни не замедлил явиться.

Когда Тим под зонтом стал спускаться вниз по широкой каменной лестнице, он увидел, что мистер Пенни, тоже под зонтиком, стоит возле каменной борзой, с которой стекает дождевая вода.

— Очень прошу сохранять полное молчание о наш маленький договор естердей, — обратился он к Тиму. — Я хотел скажйт — вчерашний.

— Я приму это к сведению, — ответил Тим, как он отвечал теперь часто.

У мистера Пенни, как видно, было еще что-то на уме, но он никак не мог решиться об этом заговорить. Кивнув на прощание, он отошел от Тима и стал подниматься вверх по лестнице.

Тим был растерян. Судя по всему, его предстоящая беседа с бароном имела для всех членов акционерного общества исключительно важное значение. Иначе зачем бы они стали один за другим останавливать его по дороге и вести с ним такие странные разговоры?

В глубокой задумчивости шагал Тим к павильону.

Красный павильон возвышался на средней террасе парка. Наверное, он был так назван из-за огненно-красного петуха, венчающего его купол, потому что сам павильон был вовсе не красный, а белый. Подстриженные кусты и деревья были похожи сейчас на элегантных господ, застигнутых врасплох дождем; казалось, они совсем продрогли, дожидаясь чьей-нибудь помощи. Тим довольно быстро миновал аллею, ведущую к павильону. Барон уже ждал его, стоя у приоткрытой стеклянной двери.

— Вы опоздали на три минуты, — сказал он. — Вас задержали?

— Да, — ответил Тим, и барон не стал его больше расспрашивать.

В круглом холле павильона стояла легкая мебель, обтянутая полосатым шелком желтых и светло-коричневых тонов. Служанка разлила по чашкам чай из русского самовара и собралась уже уходить, но Тим заметил, что у нее нет зонта, и окликнул ее:

— Подождите, пожалуйста, минуточку!

Когда женщина обернулась, он подал ей свой зонтик.

Служанка, казалось, была этим чуть ли не испугана. В смутении она вопросительно взглянула на барона. Но тот рассмеялся и сделал ей знак рукой исчезнуть вместе с зонтом, что она тут же и проделала.

— Ваши маленькие любезности, господин Талер, производят на людей большое впечатление. Продолжайте в том же духе, только не перебарщивайте, держитесь в определенных границах.

Барон помог Тиму снять плащ, и оба они сели за стол.

— Видите ли, господин Талер,— заметил барон,— все человечество делится на две части: на рабов и господ. В наше время пытаются стереть эту границу, но это очень опасно. Должны быть люди, которые думают и отдают приказы, и люди, которые выполняют эти приказы не думая.

Тим, прежде чем ответить, спокойно допил свой чай.

— Когда я был еще маленьким, барон, мой отец сказал мне однажды: «Не верь в сказки про рабов и господ, малыш. Есть люди умные и люди глупые — вот и все; и презирай глупость, если она не добра!» Я тогда записал это в мою школьную тетрадку, потому и помню до сих пор.

— Ваш отец говорит практически то же самое, что и я, господин Талер. Потому что умные — это и есть господа, а глупые — рабы.

— Селек Бай рассказывал мне,— возразил Тим,— что во многих странах господином становится только тот, кто случайно им родился.

— Рождение — это не случайность,— мрачно пробормотал Треч.— К тому же, господин Талер, Селек Бай — коммунист, только сам он этого не знает. Но я-то знаю, что он оплачивает в Южной Америке армию, которая должна свергнуть назначенного нами президента. И кроме того, я знаю, что он собирается наравить в Афганистане точильщиков на нашего уполномоченного Рамадуллу.

— Вы и это знаете?

Тим сделал такое изумленное лицо, что барон весело расхохотался.

— Я знаю намного больше, чем вы подозреваете! — воскликнул он смеясь.— Я знаю даже о вашем договоре с мистером Пенни, господин Талер. И я подозреваю, какое предложение сделал вам синьор ван дер Толен.

На этот раз Тим захлебнулся чаем. Уж не умеет ли Треч читать мысли?

Но осведомленность барона объяснялась гораздо проще. Он сам рассказал об этом Тиму:

— Каждый слуга в этом замке одновременно выполняет у меня обязанности шпика. Вы не заметили, господин Талер, что на вашем письменном столе лежит новая промокашка?

— Нет.

— А на такие мелочи всегда следует обращать внимание. Если подержать вашу старую промокашку перед зеркалом, то на ней можно довольно легко разобрать ваш договор с мистером Пенни.

В это мгновение Тим окончательно понял, что по части «дел» ему никогда не догнать барона. Планы и мечты этой ночи рассеялись, словно пар над его чайной чашкой. Он проиграл очередной тур в борьбе за свой смех.

— Вы собираетесь что-нибудь предпринять против Селек Бая и мистера Пенни, барон?

Барон снова рассмеялся и сказал:

— Нет, дорогой мой. С меня вполне достаточно, что я в курсе дела. Конечно, я несколько огорчился, когда узнал, что они замышляют. Но ведь как раз для того, чтобы не принимать огорчения близко к сердцу, я и приобрел ваш смех. Он приносит мне облегчение и дает чувство свободы. Как видите, господин Талер, я употребляю ваш смех с полезной целью.

— Вы, кажется, все на свете употребляете с полезной целью, барон.

— С двумя исключениями, господин Талер! Мой интерес к картинам не имеет никакой полезной цели, так же как и мой интерес к рели... Нет,— перебил он сам себя,— мой интерес к религии тоже имеет свою полезную цель.

Тим поскорее переменял тему разговора — ведь на этот раз в комнате не было подходящей люстры. Он спросил:

— А как же будет с договором, который я заключил с мистером Пенни?

— Ну, господин Талер, получит ли мистер Пенни акции с решающим голосом, зависит ведь от того, действительно ли вы по исполнении двадцати одного года унаследуете все мое имущество, в том числе и эти акции. Остальные пункты договора, разумеется, остаются в силе. Ровно год спустя, считая с сегодняшнего дня, вам будет принадлежать большинство акций нашего гамбургского пароходства. Вам, очевидно, хотелось бы восстановить господина Рикерта в должности и спасти его поруганную честь?

— Да,— прямо ответил Тим.

— Ну что ж, будем надеяться, что через год он будет еще жив и здоров.

Последнее замечание, сделанное Тречем как бы вскользь, испугало Тима. Барон, без всякого сомнения, был способен на все, даже на то, чтобы каким-нибудь путем погубить господина Рикерта. Значит, разумнее всего Тиму сделать вид, что судьба госпо-

дина Рикерта не так уж близко его касается. Поэтому он сказал:

— Мне неприятно, что господин Рикерт потерял место из-за нашего краткого разговора по телефону. Потому я и заключил договор с мистером Пенни.

Треч подлил себе в чай рому из маленького хрустального графинчика и спросил:

— И вам глоточек?

Тим кивнул. Барон подлил рому и ему, а потом сказал:

— Я хочу сделать вам одно предложение, господин Талер. Не поддерживайте в течение года никаких отношений с господином Рикертом и другими вашими друзьями из Гамбурга. Тогда я позабочусь о том, чтобы акции гамбургского пароходства действительно перешли через год в ваше владение. Согласны?

— Да,— ответил Тим, немного помолчав.— Я согласен.

Про себя он думал: «Еще целый год без смеха — это, конечно, очень тяжело. Но всю жизнь без смеха — невыносимо. Надо перетерпеть этот год. Может быть, в конце его я пойму, как мне одурачить барона. Конечно, насчет «дел» мне с ним никогда не сравниться, но, возможно, мне удастся найти его слабое место, поймать его на чем-нибудь совсем простом».

И, словно разгадав мысли Тима, Треч тут же сказал:

— Я предлагаю вам, господин Талер, посвятить этот год кругосветному путешествию. Мы отправимся в путешествие вдвоем не как представители фирмы, а просто как частные лица. Это мой подарок вам ко дню рождения. Кстати сказать, примите мои сердечные поздравления, хотя и с некоторым опозданием!

Послышался звонкий, залиvistый смех, и Тим почувствовал пожатие холодной руки.

— Большое спасибо,— сказал Тим. И отхлебнул глоток горячего чая.

— А вы знаете, господин Талер, что вы сейчас пили ром рулевого Джонни?

— Что?

— Вы забыли в Генуе две бутылки рома, которые выиграли у рулевого. Их принесли в отель, а я приказал доставить их сюда, чтобы вы могли насладиться своим выигрышем. В мелочах я всегда очень щепетилен.

Тим ничего не ответил. Он только снова повторил про себя поговорку Джонни: «Научи меня смеяться, рулевой!»

Треч перебил его мысли:

— Теперь перейдем к делу, господин Талер! Поговорим о маргарине.

— Хорошо, барон, перейдем к делу!

МАРГАРИН

Барон поднялся со своего места и, держа руки за спиной, стал расхаживать взад и вперед по павильону. Он обратился к Тиму с небольшой речью:

— Вам известно, господин Талер, что запланированный нами сортовой маргарин должен иметь привлекательное, запоминающееся название. Желательно, чтобы оно связывалось в памяти покупателя с чем-то хорошо ему знакомым. Мы долго совещались, выбирая это название, так как оно чрезвычайно для нас существенно. Эффективное название товара — это чистая прибыль.

Тим кивнул. Он все еще не понимал, какое отношение все это имеет к нему. Но это ему предстояло сейчас узнать.

— После того как было отвергнуто немало разных названий, — барон продолжал ходить взад и вперед по павильону, — Селек Бай внес предложение, которое мы единогласно признали самым удачным. Надо вам сказать, что Селек Бай, несмотря на некоторые свои странные идеи, очень полезный для нас человек. Но это так, к слову. Хотите знать, как он предложил назвать маргарин? «Тим Талер».

Треч остановился и посмотрел на мальчика сквозь темные стекла очков — теперь он их почти никогда не снимал.

Лицо Тима оставалось спокойным. Казалось, он отнесся к предложению Селек Бая с полным равнодушием, даже, пожалуй, с недоумением. Поэтому барон стал расписывать выгоды этого предложения.

— Вы должны понять, господин Талер, что еще никогда и нигде в мире не было сортового маргарина. Если мы, хорошо подготовив удар, неожиданно атакуем покупателя широким ассортиментом, нам удастся овладеть мировым рынком маргарина. В некоторых южноамериканских странах мы, скорее всего, сможем даже купить монополию на торговлю маргарином. Это означает, господин Талер, что ваше имя будет на устах у людей всего мира — от Нью-Йорка до Токио, от Стокгольма до Багдада. Даже самая захудалая лавчонка в самой отдаленной персидской деревне будет продавать маргарин с вашим именем. И повсюду будут развешены — голубые на желтом фоне — фотопортреты смеющегося мальчика: ваши портреты!

С этого мгновения Тим весь превратился в слух. Он тихо спросил:

— Как же я буду смеяться, если я не могу смеяться?

— Это уже другой вопрос, господин Талер. И к нему я сейчас

перейду. Но сначала покончим с главным: вы согласны с названием маргарина?

Тим ответил не сразу.

Теперь он понял, почему акционерному обществу так выгодно это название маргарина. Он, Тим Талер,— знаменитый богатый наследник; его имя, его портреты то и дело появляются в газетах всего мира. Значит, не маргарин должен прославить его имя, а наоборот: его уже знаменитое имя должно послужить прославлению маргарина.

— Я должен сразу решить этот вопрос, барон?

— Да, сегодня, господин Талер! В этом павильоне! Хотя маргарин появится на рынке только через год, важнейшие решения должны быть приняты в ближайшие дни. Ведь для подготовки наступления на рынок придется потратить невероятные деньги. Наша ставка так высока, что в случае провала все наше акционерное общество может вылететь в трубу.

Тим сунул руку в карман пиджака и вдруг нащупал авторучку Селек Бая. Замечание Треча, что акционерное общество может вылететь в трубу из-за маргарина, все еще звучало у него в ушах. Может быть, Селек Бай хотел при помощи этой авторучки помочь обществу «вылететь в трубу»? А что, если Селек Бай его тайный союзник?

Словно в задумчивости, Тим вынул из кармана авторучку и стал играть ею, чтобы в нужный момент она оказалась у него в руке.

Он ничего не потеряет, если маргарин будет называться его именем. Зато если Селек Бай окажется на его стороне, это огромный выигрыш. И Тим решил довериться Селек Баю.

— Передайте всем господам, барон, что я согласен!

Треч вздохнул с заметным облегчением. Впрочем, он выглядел совершенно спокойным.

— Тогда,— сказал он,— вам придется подписать еще один контракт. Вот он!

Чашки отодвинули в сторону, и на столе перед Тимом оказались два экземпляра контракта. Барон ожидал, что Тим сначала хотя бы прочтет текст. Но Тим, боясь, что Треч предложит ему другую ручку, тут же поставил свою подпись авторучкой Селек Бая.

После этого каждый лист дважды подписал барон: один раз от имени акционерного общества, второй — как опекун Тима. Тим не обратил на это никакого внимания.

— Выпьем за маргарин «Тим Талер», Тим Талер!

Барон взял с буфета два граненых стаканчика и налил в них рому. Стаканчики со звоном стукнулись друг о друга. Тим и сам не знал, пьет ли он за свое счастье или за свое несчастье. То, что

ром этот был из бутылки Джонни, казалось ему хорошим предзнаменованием.

Барон Треч снова сел на свое место и стал рассказывать, как он представляет себе рекламу маргарина «Тим Талер»:

— Мы поведаем всем, как бедный маленький мальчик из узкого переулка тронул сердце богатого барона; как тот сделал его наследником всего своего состояния и как этот мальчик позаботился, чтобы все бедняки из узких переулков могли мазать на хлеб хороший и дешевый маргарин.

— Да ведь это сплошное вранье! — возмутился Тим.

— Вы говорите прямо как Селек Бай, — вздохнул Треч. — Реклама никогда не бывает враньем. Тут все дело в освещении фактов.

— В освещении фактов?

Барон кивнул.

— Видите ли, господин Талер, ведь что касается самих фактов, то все они совпадают: вы действительно провели свое детство в узком переулке, действительно стали наследником барона и даже сортовой маргарин — это ваша идея. Дело только в том, чтобы придать этим фактам верное освещение. И вот уже наша трогательная сказочка готова. Это очень хорошая реклама. Конкуренты будут взбешены. В этом вы можете целиком положиться на нас, господин Талер. А теперь поговорим-ка лучше о вашем фотопортрете.

— О фотопортрете смеющегося мальчика?

— Вот именно, господин Талер. Я сам начинающий фотолюбитель и хочу на этот раз попробовать свои силы. Я сфотографирую вас сам. Все уже подготовлено.

Треч отодвинул в сторону занавес, за которым, как почему-то представлялось Тиму до этой минуты, должна была находиться маленькая кухня. Но оказалось, что там стоит укрепленный на штативе фотоаппарат, а рядом с ним — стул, на спинке которого висит поношенный мальчишеский джемпер. Но больше всего ошеломил Тима огромный стенд позади стула: это была гигантская фотография его родного переулка. Как раз в середине переулка находилась дверь его старого дома. Все до мельчайших подробностей было как на самом деле. Тим узнал даже узкую щель в стене соседнего дома, куда прятал когда-то монетку в пять марок. Ему почудилось, что он чувствует запах перца, тмина и аниса.

— Наденьте, пожалуйста, этот джемпер и встаньте перед стендом, господин Талер! — сказал Треч, осторожно перенося фотоаппарат вместе со штативом на середину павильона.

Тим исполнил все, о чем просил его Треч, словно во сне. Картины прошлого одна за другой всплывали в его памяти. Отец. Мачеха. Бледный Эрвин. Подруга мачехи, приходившая к ней по

утрам пить кофе вон из того дома налево. А справа — булочная-кондитерская фрау Бебер. Воскресенья. Скачки. Допрос. Господин в клетчатом. Контракт.

Тиму пришлось на мгновение опуститься на стул. Треч возился с фотоаппаратом.

Наконец все было готово. Барон придал джемперу, который надел Тим, нарочито небрежный вид, слегка растрепал Тиму волосы и поставил его в нужной позе перед фотографией переулка. Потом, отступив на несколько шагов, скрылся за фотоаппаратом.

— Так хорошо, господин Талер. Так и стойте. А теперь повторяйте за мной: «Я беру займы мой смех только на полчаса. Под залог моей жизни».

— Я беру займы мой смех... — Голос Тима прервался.

Но барон тут же пришел ему на помощь:

— Говорите по частям, с перерывами — вам это будет проще. Итак: «Я беру займы мой смех...»

— Я беру займы мой смех...

— «только на полчаса».

— только на полчаса.

— «Под залог...»

— Под залог...

— «...моей жизни!»

— ...моей жизни!

Не успел Тим выговорить последнее слово, как Треч сунул голову под черную материю. «Как Петрушка в кукольном театре», — подумал Тим, чувствуя непреодолимое желание смеяться, и... рассмеялся. Смех словно поднялся откуда-то изнутри, защекотал в горле... и Тим разразился таким хохотом, что у него из глаз покатились слезы. Павильон словно гудел от смеха, окна в нем дребезжали; стул, стоявший рядом, трясся, будто тоже смеясь вместе с Тимом. Мир, казалось, вот-вот снова обретет равновесие. Тим смеялся!

Барон, накрывшись черной материей, переживал, когда кончится этот смех. Его рука, готовая включить юпитер, дрожала.

Тим, понемногу успокоившись, состроил гримасу и спросил:

— Это и есть та маргариновая улыбка, которая вам нужна, барон?

На душе у него было радостно, легко, спокойно. Барон все еще казался ему похожим на Петрушку. Он не верил, что все это только на полчаса. Он был убежден, что его смех будет теперь с ним всегда. К Тречу, сидевшему под черным платком, к барону без смеха, он чувствовал что-то вроде сострадания. Даже квакающий, сдавленный голос, дававший ему сейчас указания, вызывал у Тима скорее сочувствие, чем насмешку. Он послушно выставил вперед правую ногу, нагнул голову немного набок, улыбнулся,

сказал по просьбе Треча: «Кусок орехового торта», — и в памяти его в эту минуту словно зазвенел колокольчик, а когда барон выключил юпитер, снова приставил правую ногу к левой и рассмеялся с облегчением.

— Надеюсь, снимок получился удачный, барон!

Тим хорошенько потянулся после утомительного стояния в одной и той же позе и радостно улыбнулся в объектив фотоаппарата. Треч все еще возился под черным платком. Он заявил из своего укрытия, что на один-единственный снимок никак нельзя полагаться. Необходимо сделать по крайней мере еще три.

— И все ради полфунта маргарина! — рассмеялся Тим.

Но он не противился барону, а, наоборот, послушно следуя его замечаниям, принимал всякий раз нужную позу и предоставлял тому сколько угодно фотографировать себя с улыбкой во весь рот.

После четвертой, и последней, фотографии Тим так устал позировать, что ему показалось, будто прошел уже, по крайней мере, час. На самом же деле до получаса не хватило еще двух минут, но это даже не приходило ему в голову. Тим не догадывался и о том, почему Треч все еще прячет свое лицо под черной материей. Он подошел к фотоаппарату, откинул черный платок и, смеясь, спросил:

— Вы что, потихоньку изготавливаете здесь маргарин, барон?

Внезапно смех его смолк: снизу на него смотрело злое лицо с поджатыми узкими губами и черными стеклами очков вместо глаз — лицо господина в клетчатом.

Тим понял, что его собственный смех вводил его в заблуждение, этот человек никогда не отдаст ему назад его смех, его свободу. Этот человек был страшен.

Но смех, наполнявший сейчас все его существо, еще раз обманул Тима — он заставил его насмешливо крикнуть:

— Не играйте в черта, барон! Вы проиграли! Больше вы меня не увидите!

В то же мгновение Тим очутился у стеклянной двери, рванул ее и выбежал в одном только старом джемпере на террасу парка под проливной дождь.

Хотя барон не сделал никакой попытки его преследовать, Тим как одержимый бросился бежать по узкой тропинке, обсаженной с обеих сторон высоким колючим кустарником. Эта тропинка вела от павильона к запутанным дорожкам парка.

Он побежал налево, направо, вперед, потом опять направо, очутился вдруг перед густой зеленой стеной непроходимых зарослей, помчался назад и попал в тупик, из которого только что выбежал; снова ринулся назад, протер рукой глаза, залитые дождем, и понял, что безнадежно заблудился в этом странном лабиринте,

из которого, кажется, был только один-единственный выход: вход в павильон.

И вдруг Тим почувствовал тяжесть во всем теле, словно ноги его, и руки, и голова наполнились черной водой. Он ощутил физически, всем своим существом, как покинул его смех. Он стоял словно парализованный между зелеными стенами этой тюрьмы, и с него падали капли дождя, и с них тоже падали капли дождя. Дождь стекал струйками в лужи у его ног. Все вокруг текло, струилось, плескалось, — бесконечный, безбрежный плач. А посередине стоял такой маленький Тим с серьезным, грустным лицом.

Но вдруг его смех снова раздался рядом — такой, как всегда, с переливами, руладами, со счастливым, захлебывающимся смешком. Тим не знал, смеется ли он сам или это его смех отдается эхом где-то здесь, в высоких зеленых стенах. Но все объяснялось гораздо проще: за его спиной стоял Треч.

— Вы попали в так называемый лабиринт, господин Талер, в Сад обманов. Пойдемте, я вас выведу.

Тим покорно разрешил барону взять себя за руку, отвести в павильон, вытереть досуха и переодеть; покорно позволил одному из слуг проводить себя под зонтом в замок.

Только в своей комнате в башне он начал понемногу приходить в чувство. Но на этот раз даже слезы не принесли ему облегчения. Его охватило холодное бешенство. В приступе злобного отчаяния он схватил с полки красный бокал на высокой ножке и сдавил его с такой силой, что из руки потекла кровь.

Тим равнодушно смотрел, как стекло со звоном посыпалось на пол. Потом дернул вышитый шнур звонка и, когда появился слуга, показал рукой на осколки.

Слуга собрал и вынес стекло, промыл и перевязал Тиму руку и сказал впервые за все это время четыре слова:

— Мой нет доносчик, пожалиста!

— Может быть, — ответил Тим. — Может быть, это и правда. Во всяком случае, спасибо вам за то, что вы так приветливы со мной.

В это мгновение в дверях появился Селек Бай. Он выслал слугу из комнаты, потом устался на перевязанную руку Тима.

— Ты не подписал? Что-нибудь случилось?

— Ничего особенного, Селек Бай. Я подписал.

— А где авторучка?

— Здесь, в кармане. Будьте добры, достаньте ее сами.

Старик достал из его кармана авторучку, и Тим спросил:

— Для чего нужна была эта авторучка?

— Она наполнена такими чернилами, которые постепенно выцветают и в конце концов совсем исчезнут. Когда наше акционер-

ное общество через год объявит о выпуске маргарина «Тим Талер», под договором в сейфе уже не будет вашей подписи. Тогда вы сможете опротестовать договор и помешать тому, чтобы маргарин выбросили на рынок. Но делать это надо только тогда, когда уже весь мир будет извещен о выпуске сортового маргарина.

— И тогда акционерное общество вылетит в трубу, Селек Бай?

Старик рассмеялся.

— Нет, малыш, для этого оно, несмотря на все, чересчур крепко держится. Но концерн понесет колоссальные убытки. А пока они сфабрикуют новый сорт маргарина, конкуренты тоже зря времени терять не станут. И все же, несмотря на это, наша фирма со временем получит чудовищную прибыль благодаря сортовому маргарину. Но завоевать мировой рынок ей уже никогда не удастся.

Селек Бай сел на скамейку возле окна и стал глядеть на дождь. Не оборачиваясь, он сказал:

— Не знаю, удастся ли нам с тобой когда-нибудь перехитрить барона. Он соображает лучше, чем мы оба, вместе взятые. И все же я попробую тебе помочь. Похоже, барон так взял тебя в оборот, что ты и смех потерял. А мне бы очень хотелось, чтобы ты опять научился смеяться...

Тим испуганно хотел ему что-то возразить, но Селек Бай только покачал головой.

— Лучше ничего не говори, малыш! Но и не возлагай слишком больших надежд на мои старания. Смех — это не маргарин, не товар для купли-продажи. Его не выменяешь, не выхитришь, не выторгуешь. Смехом не торгуют. Его можно только заслужить.

Зазвонил телефон. Так как правая рука Тима была перевязана, Селек Бай подошел и снял трубку. Назвав себя, он немного послушал, затем прикрыл трубку рукой и сказал вполголоса:

— Какой-то господин из Гамбурга просит тебя к телефону.

Мысль Тима лихорадочно заработала. Он ведь дал обещание барону в течение года не поддерживать связи со своими гамбургскими друзьями. Если он его нарушит, с господином Рикертом может что-нибудь случиться. Значит, сейчас Тиму придется обмануть своего старого друга и отказать ему в разговоре. Поэтому он приложил палец к губам и отрицательно покачал головой, а Селек Бай ответил:

— Господина Талера здесь нет. Он уже уехал.

И положил трубку, хотя заметно было, что делает это с большим сомнением. Немного погодя он вышел из комнаты. Тим, оставшись один, подошел к окну и стал глядеть на дождь, который все лил и лил не переставая.

Через год он станет владельцем гамбургского пароходства

и тогда подарит его господину Рикерту; через год из-за его выцветшей подписи королевство маргарина рассыплется, как карточный домик; через год он снова увидит Крешимира и Джонни, господина Рикерта и его маму; через год...

Тим не решался дорисовать в своем воображении все то счастье, которое ожидает его через год. Но он на него надеялся. И еще он надеялся, что во время кругосветного путешествия, которое ему предстоит совершить в обществе барона, ему удастся проявить спокойствие и чувство собственного достоинства.

А надежда — знамя свободы.

КНИГА ЧЕТВЕРТАЯ

ВОЗВРАЩЕННЫЙ СМЕХ

Кто смеется, с тем сам черт не сладит!

Фрау Бебер

Л и с т д в а д ц а т ь с е д ь м о й

ГОД В ПОЛЕТЕ

Год кругосветного путешествия Тим провел в полете. Сначала маленький двухмоторный самолет перенес Тима и Треча в Стамбул. Тим снова смотрел с высоты на мужчин и женщин, гнавших своих ослов через горы. Но на этот раз они уже не казались ему такими чудными, как тогда, когда он увидел их впервые. Их одежды напоминали костюм Селек Бая и некоторых слуг в замке. И хотя он совсем не знал этих людей, проходивших там, внизу, они ему чем-то нравились. Он испытывал к ним невольную симпатию и сочувствие, вроде как к точильщикам в Афганистане.

В Стамбуле они пробыли неделю. Тим сопровождал барона в мечети и картинные галереи и, пожалуй, начинал даже находить удовольствие в этом путешествии. Из-за последних событий в замке он совсем было упал духом и едва не потерял всякую надежду когда-нибудь вернуть свой смех.

Но теперь он снова верил, что через год все будет по-другому. В те минуты, когда он думал о Селек Бае и о своих друзьях в Гамбурге, он чувствовал спокойную уверенность, что смех его по окончании этого путешествия сам собой упадет ему в руки, как падает

с дерева созревшее яблоко. Эта надежда таила в себе опасность, что Тим не станет ничего больше предпринимать, чтобы изменить свое положение, и примирится со своей злосчастной судьбой.

Но в то же время внешнее спокойствие Тима имело свое преимущество: барон считал себя в безопасности. Треч думал, что Тим и вправду смирился со своей участью, и стал менее пристально следить за мальчиком. С каждой неделей, с каждым месяцем росла его убежденность, что Тим Талер все больше и больше привыкает к роли богатого наследника и учится находить в ней удовольствие и что теперь он уже никогда не захочет променять образ жизни путешествующего миллионера ни на что на свете, даже на свой смех.

Тим и правда во время этого путешествия гораздо реже, чем раньше, вспоминал о своем потерянном смехе. В шикарных отелях к богатым постояльцам относятся с большой предупредительностью, и, если директор такого отеля замечает, что постоялец высокого ранга не любит смеяться, весь персонал отеля, начиная со швейцара и кончая горничной, словно по мановению директорской руки, перестает улыбаться в его присутствии.

Но жизнь даже для очень богатых людей состоит не из одних шикарных отелей. И когда Тим один или в сопровождении барона совершал прогулки пешком, он замечал — потому что не мог этого не заметить, — что мир полон смеха.

После Стамбула Тим во второй раз увидел Афины. За Афинами последовал Рим, за Римом — Рио-де-Жанейро, за Рио-де-Жанейро — Гонолулу, Сан-Франциско, Лос-Анджелес, Чикаго и Нью-Йорк. Затем они отправились в Париж, Амстердам, Копенгаген и Стокгольм, на Капри, в Неаполь, на Канарские острова, в Каир и на юг Африки. Потом полетели в Токио, Гонконг, Сингапур и Бомбей. Тим видел Кремль в Москве и мосты в Ленинграде, видел Варшаву и Прагу, Белград и Будапешт. И повсюду, где бы ни приземлялся их самолет, Тим слышал на улицах смех. Смех всего мира. Он слышал смех чистильщиков в Белграде и мальчишек-газетчиков в Рио-де-Жанейро; смеялись продавцы цветов в Гонолулу и цветочницы с корзинами тюльпанов в Амстердаме; паяльщик в Стамбуле улыбался так же, как водонос в Багдаде; люди шутили и хохотали на мостах Праги и на мостах Ленинграда, а в театре в Токио аплодировали и покатывались со смеху точно так же, как в театре на Бродвее в Нью-Йорке.

Человеку нужен смех, как цветку солнечный свет. Если бы случилось так, что смех вымер, человечество превратилось бы в зоосад или в общество ангелов — стало бы скучным, угрюмым и застыло в величественном равнодушии.

И каким бы серьезным ни казался Тим барону и всем окружающим, в душе его жило страстное желание снова научиться

смеяться. И каким бы он ни казался довольным, он с радостью поменялся бы судьбой с любым нищим в Нью-Йорке, если бы получил за это в придачу право смеяться вместе со всем миром!

Но его смехом распоряжался другой человек, находившийся всегда рядом с ним, иногда на расстоянии всего лишь нескольких шагов, — он безраздельно владел его звонким, заливистым мальчишеским смехом. И Тим, как это ни печально, почти привык к этому. Его занимало теперь совсем другое. Он учился.

Он учился всему, что должен знать и уметь так называемый светский молодой человек.

Он уже умел есть по всем правилам омаров, фазанов и черную икру; умел глотать устриц и выбивать пробку из бутылки с шампанским; умел говорить на тринадцати языках все приличествующие случаю любезные фразы, начиная с «очень рад был с вами познакомиться» и кончая «спасибо за честь и удовольствие»; он знал, сколько полагается давать на чай во всех знаменитых отелях мира; мог сказать экспромтом небольшую речь, обращаясь к графам, герцогам и принцам, соблюсти при этом все правила этикета и не ошибиться в титулах; он знал, какие носки и галстук подходят к костюму; знал, что после шести вечера не полагается надевать коричневые ботинки («After six no brown»¹, — говорят англичане) и что нельзя отставлять мизинец, держа в руке чашку; он изучил немного французский, английский и итальянский главным образом в пути и не пользуясь словарем; он научился проявлять заинтересованность, когда ему было скучно; научился играть в теннис, управлять яхтой, водить машину и даже чинить ее в дороге. Он научился так хорошо притворяться, что барон был в полном восторге.

Хотя Треч почти в каждом городе вел тайные переговоры о маргарине, Тима решили на этот раз пощадить. Ему разрешили делать, что он хочет. Только иногда ему приходилось здороваться и прощаться, а в крайнем случае обедать или ужинать с каким-нибудь господином — или очень знаменитым (и тогда корреспонденты фотографировали их вместе), или таким, который мог оказаться полезным акционерному обществу. Так Тим познакомился с одним английским герцогом, который выступал в защиту точильщиков Афганистана, и с аргентинским фабрикантом мясных консервов, защищавшим привилегии английской аристократии.

Судя по календарю, Тим во время этого путешествия стал старше всего на год. Скоро ему должно было исполниться шестнадцать. Но за эти месяцы он с бароном чуть ли не трижды облетел на самолете весь земной шар. А мальчик со смекалкой мог

¹ После шести вечера не надевай коричневого (англ.).

за это время много чего узнать и обдумать. И Тим теперь знал, что булочная-кондитерская фрау Бебер, где пахло хлебом и сдобой, была ему бесконечно милее и дороже, чем какой-нибудь отель «Пальмаро» или замок в Месопотамии.

Кстати сказать, барон со странным упорством избегал путей, проходивших через родной город Тима. Тим не раз выражал желание его посетить, но Треч, который никогда в жизни не говорил прямо «нет», либо пропускал его просьбу мимо ушей, либо ссылаясь на неотложные дела в других городах.

Год кругосветного путешествия подходил к концу, и Тим особенно старательно разыгрывал перед бароном роль спокойного и счастливого наследника. Но чем ближе был день его рождения, тем больше он волновался. Когда барон начинал теперь смеяться в его присутствии, Тима охватывала дрожь. Однажды ночью — это было в Брюсселе — Тиму приснился во сне прошлогодний разговор по телефону с господином Рикертом в замке барона. Когда он проснулся, разговор этот все еще звучал у него в ушах, и он отчетливо помнил, как господин Рикерт сказал: «Крешимир знает...»

Что знает Крешимир? Путь к его потерянному смеху?

Тим твердо держал свое обещание ни при каких обстоятельствах не устанавливать связи со своими гамбургскими друзьями. Но он мечтал о том времени, когда кончится наконец этот год и его соглашение с бароном потеряет свою силу.

За несколько дней до дня рождения Тима они прилетели в Лондон, где мистер Пенни в присутствии барона вручил Тиму большой пакет с акциями. Это были акции гамбургского пароходства!

Мистер Пенни был уже осведомлен о том, что Треч прочел на промокашке его тайный договор с Тимом Талером, и, оправившись от первого потрясения, нашел эту новость очень приятной. Ведь барон так и так должен быть поставлен в известность о передаче акций.

В самолете — наконец-то они летели в Гамбург! — Тим сказал барону:

— Вы говорили с мистером Пенни так же вежливо и любезно, как обычно. Разве вы на него не сердитесь за то, что он потихоньку от вас купил у меня акции с решающим голосом, которые я наследую

Барон расхохотался

— Мой дорогой господин Талер, я бы на месте Пенни поступил точно так же. За что же мне на него сердиться? У нас все время идет тайная борьба за акции с решающим голосом. Большей частью их на сегодняшний день владею я. Но не станем же мы выцарапывать из-за этого друг другу глаза. Мы словно львиная

семья: когда добыча велика, мы сначала немного погрыземся при ее дележе, но старый лев всегда получит львиную долю. А старый лев — это я. Зато, как только добыча поделена, мы снова дружная львиная семья, и никому нас не разъединить.

— Даже Селек Баю? — тихо спросил Тим.

— Селек Бай, — в раздумье ответил Треч, — пожалуй, представляет собой некоторое исключение, господин Талер. Он воображает, будто очень хитер и оборотист, а на самом деле это вовсе не так. Иногда он доставляет нам кое-какие неприятности. Но в большинстве случаев его происки нас только забавляют. Вообще-то у нас его любят.

— А армия в Южной Америке?.. — не удержался Тим.

— Эта «армия», господин Талер, состоит по большей части из наших людей. И оружие, которое Селек Бай покупает для солдат на свои личные деньги, поступает с наших военных складов. Так что деньги Селек Бая снова возвращаются в нашу фирму. Это такой круговорот. Как вода в природе. И те деньги, которые Селек Бай тратит в Афганистане на борьбу против нашего влияния, тоже текут главным образом в наш карман.

— А как обстоят дела с сортовым маргарином? — спросил Тим без всякой видимой связи.

Но барон тут же уловил скрытую связь. Он сказал:

— Попытка Селек Бая помешать нашим маргаринным планам — тоже одна из его дурацких затей.

Сердце Тима забилося сильнее. Знает ли барон, что он подписал контракт выцветающими чернилами Селек Бая? Тим не решался спросить его об этом. Но барон сам ответил на его вопрос:

— В той авторучке, которой вы подписывали контракт, разумеется, были самые обыкновенные чернила, господин Талер. Слуга в доме Селек Бая — из моих людей. Он своевременно накачал в ручку другие чернила. Но даже в том случае, если бы ваша подпись на контракте исчезла, там осталась бы подпись вашего опекуна. Ведь я подписал каждый экземпляр дважды: один раз за фирму, а другой — как ваш опекун.

Тим ничего не ответил. Он глядел через маленькое окно самолета вниз, на землю. Он видел башни — кажется, это были башни Гамбурга.

О, как хотелось сейчас Тиму быть самым обыкновенным, никому не известным мальчишкой и бегать где-нибудь там, внизу, по улицам! Этот мир акций, контрактов, крупных торговых сделок был ему не по силам — он в нем задыхался.

Он думал теперь о Джонни, Крешимире и господине Рикерте. Послезавтра, на следующий день после своего дня рождения, он сможет с ними увидеться.

Конечно, если они в Гамбурге. И если они еще живы...

ВСТРЕЧА БЕЗ ПОЧЕСТЕЙ

Обычно, когда барон с Тимом выходили из самолета на каком-нибудь аэродроме, Треч пропускал Тима вперед, так как в большинстве случаев их уже ожидала внизу толпа фоторепортеров. Но здесь, на гамбургском аэродроме, барон первым покинул самолет и спустился на землю. На этот раз их никто не встречал: ни корреспонденты, ни фоторепортеры. Не было даже ни одного директора. Вместо «Добро пожаловать!» на стене таможни красовалась гигантская реклама фирмы:

«ПАЛЬМАРО»

Лучший сортовой маргарин в мире!

Вкусен, как масло, дешев, как маргарин!

Годен для готовки, для пирогов, а также для бутербродов!

Тим внимательно рассмотрел плакат, потом взглянул на барона. Тот улыбался.

— Вас удивляет название маргарина, господин Талер? Видите ли, мы в течение этого года установили, что маргарин «Тим Талер» имеет свои минусы для заграницы. Во многих странах это имя трудно читается. Кроме того, в Африке предпочитают рекламы с улыбающимся черным мальчиком. Трогательная история о маленьком бедняке из узкого переулочка тоже, оказывается, не всегда уместна: ведь наш маргарин должны покупать не только бедные люди.

Тем временем они прошли таможенный осмотр. Таможенники, не задав ни одного вопроса, поставили мелом кресты на ручном багаже Треча и Тима.

Выйдя из таможни, барон поднял руку и остановил такси, что весьма удивило Тима. Фирма на этот раз даже не выслала за ними машины. Но когда они сели в такси, Тим увидел в зеркало, что один из сыщиков, знакомый ему еще по Генуе, оглядывается по сторонам в поисках другого такси. Правда, пока безуспешно.

В машине Треч продолжил начатый разговор:

— Так вот, мы решили назвать наш маргарин «Пальмаро». Это слово на всех языках мира звучит примерно одинаково. Да и пальма хорошо известна каждому. На севере по ней тоскуют, на юге она растет у каждого порога.

— Значит, авторучка Селек Бая вообще не имела никакого смысла?

— Разумеется, — ответил Треч. Потом он нагнулся к шоферу такси и сказал: — Постарайтесь избегать центра города, покада это будет возможно.

Шофер молча кивнул.

Барон снова откинулся на спинку сиденья и спросил:

— Что вы намерены предпринять с вашими акциями гамбургского пароходства, господин Талер?

— Я подарю гамбургское пароходство господину Рикерту, барон. — Стараясь говорить как можно спокойнее и равнодушнее, Тим пояснил: — Тогда, по крайней мере, моя совесть будет чиста. Ведь из-за меня он потерял место.

Шофер, как видно, подъехал слишком близко к тротуару. Машина подпрыгнула.

— Да осторожней же, черт подери! — в бешенстве крикнул барон.

— Прошу прощения, — пробормотал шофер.

Тиму вдруг показалось, что он уже где-то когда-то слышал этот голос. Он попробовал разглядеть в зеркало лицо шофера. Но борода, темные очки и фуражка, надвинутая на лоб, закрывали его почти целиком.

Вдруг рядом с Тимом раздался веселый, залиvistый смех.

— Я вижу, у вас еще нет достаточно ясного представления о нашем акционерном обществе, — смеясь, сказал барон. — Вы не можете вот так, ни с того ни с сего, подарить наше гамбургское пароходство господину Рикерту, господин Талер.

— Почему?

— Получив этот пакет с акциями, вы стали всего лишь так называемым совладельцем. Правда, чистая прибыль фирмы от этого предприятия идет главным образом в ваш карман. Однако распоряжается пароходством по-прежнему правление акционерного общества, а в него входят владельцы акций с решающим голосом: я, мистер Пенни, синьор ван дер Толен и Селек Бай.

— Значит, если господин Рикерт снова станет директором пароходства, вы можете в любой момент его уволить?

— В любой момент!

Шоферу такси пришлось теперь ехать медленнее, потому что он закашлялся. Как видно, он был простужен.

Тим, задумавшись, глядел в окно. Машина свернула в тихую улицу и поехала по берегу Альстера. Но Тим не заметил этого.

— Барон!

— Да, я вас слушаю!

— Вы заинтересованы в этих акциях гамбургского пароходства?

Треч испытующе поглядел на Тима. Лицо мальчика остава-

лось спокойным. До них уже доносился шум большой улицы, к которой они приближались.

Наконец барон ответил с таким безразличным видом, что Тим сразу угадал его волнение:

— Это пароходство — маленькая жемчужина, которой недостает в моей короне владыки морей. Само по себе оно не представляет такой уж ценности, но, как я уже сказал, могло бы украсить мою корону.

Когда барон, так, как сейчас, вплетал в свою речь не идущие к делу цветистые обороты, это значило, что тема разговора ему не безразлична. Тим знал это. Поэтому он ничего не ответил и стал ждать вопроса, который должен был тут же последовать. И вопрос не замедлил последовать:

— Что вы хотите получить за эти акции, господин Талер?

Тим давно уже подготовил ответ. Несмотря на это, он сделал вид, будто только сейчас об этом задумался. Наконец он сказал:

— Дайте мне за них небольшое пароходство в Гамбурге, которое не принадлежит вашему акционерному обществу.

— Надеюсь, вы не собираетесь стать моим конкурентом, господин Талер? Имейте в виду, что в таком случае вы попались бы в собственную ловушку.

— Нет, я говорю о таком пароходстве, с которым наше акционерное общество не имеет никаких точек соприкосновения. Может быть, какое-нибудь каботажное пароходство?

Барон наклонился к шоферу и спросил:

— Скажите, какое из гамбургских каботажных пароходств, по вашему мнению, самое доходное?

Шофер на секунду задумался, потом ответил:

— ГГП — «Гамбург — Гельголанд. Пассажирское». Шесть пароходов. Рейсы зимой и летом. Находится во владении семьи Денкеро́в.

— А как найти господина Денкера?

Шофер взглянул на свои ручные часы и ответил:

— Сейчас он в своей конторе, в гавани. Это на Шестом мосту.

— Доставьте нас, пожалуйста, к Шестому мосту и подождите там. Я отблагодарю вас.

— Не требуется, — буркнул шофер.

И у Тима снова возникло чувство, что он уже когда-то слышал этот голос.

Немного не доехав до гавани, машина остановилась у светофора. Тим смотрел из окна на подъемные краны и высокие мачты, на узор, вычерченный ими на серо-голубом сентябрьском небе. Хотя стекло в такси было поднято, ему казалось, что он вдыхает запах гавани — запах соли, дегтя и водорослей.

Этот запах, околдовавший его воображение еще прежде, чем он вдохнул его на самом деле, всколыхнул в нем множество воспоминаний. В этой гавани он напал на след барона; здесь он начал погоню, и, хотя ему пришлось продираться сквозь дремучие заросли, эта погоня не принесла ему добычи.

Теперь он вернулся к исходному пункту. Может быть, то, чего он не сумел добыть один, он добудет с помощью друзей.

Подъемный кран раскачивал в воздухе огромный ящик, на котором была нарисована пальма. Тим едва обратил на это внимание. Он рассматривал прохожих. Он боялся пропустить Джонни, или Крешимира, или господина Рикерта. Они обязательно должны быть где-то здесь, среди этих кранов и мачт, в этом лесу, где цветут вымпелы. Но никого из них он не видел. Он даже не знал, удастся ли ему вообще разыскать их. Сердце его сдавила тоска. Только когда машина тронулась, ему стало немного легче от движения.

Барон тоже молча рассматривал порт во время остановки у светофора. Но он не мечтал: на огромный ящик с нарисованной на нем пальмой он глядел вполне трезвыми глазами. Он знал, что идет погрузка маргарина «Пальмаро».

Во время дальнейшего пути мысли обоих пассажиров такси обратились к пароходству, которое они собирались сейчас купить: «Гамбург — Гельголанд. Пассажирское». Мысли Треча можно было бы выразить двумя словами: «выгодная сделка». Мысли и чувства Тима были гораздо многообразнее. Тоска сменялась надеждой, предчувствие счастливого исхода перебивалось тайными опасениями. Ему самому это пароходство было совсем не нужно; ему нужно было только одно на свете: его смех, его свобода. Но он должен был выиграть эту игру в бумажки — игру, которая называется сделкой. Он сам не возьмет с собой ничего из своих богатств в новую жизнь, но пусть хоть его друзьям эти богатства принесут какую-нибудь пользу. Это пароходство поможет ему хоть немного выразить свою благодарность: все равно он никогда не сумеет по-настоящему отблагодарить их за то, что они для него сделали.

Машина остановилась. Треч и Тим вышли и направились в главную контору ГГП, где, к своему удивлению, были встречены с распростертыми объятиями господином Денкером-старшим — владельцем пароходства.

— Право же, удивительное совпадение, господа! — заявил он. — Я как раз раздумываю над тем, что хорошо бы продать мое пароходство, и вдруг в мою контору являетесь вы, чтобы его купить. Чудеса!

Господин Денкер, очевидно, не считал бы это совпадение столь удивительным, если бы узнал шофера такси, ожидавшего

барона и Тима. Но, к счастью, он его даже не увидел. А если бы и увидел, то наверняка не узнал бы, как не узнал его Тим.

Кстати сказать, шофер в эту минуту весьма озабоченно ощупывал свою бороду, время от времени украдкой поглядывая в зеркало. И вдруг он увидел в зеркале другое такси, остановившееся метрах в ста позади него, причем пассажир не вылез, а почему-то остался сидеть в машине.

Не прошло и часа, как барон и Тим вышли из конторы господина Денкера с так называемым «проектом договора» в кармане. Они даже успели тут же, за письменным столом Денкера, отпраздновать втроем это событие, выпив по три рюмки вина. Завтра должно было состояться оформление окончательного контракта по всем правилам закона.

Когда они подошли к такси, шофер не то спал, не то притворялся спящим. Треч, который был сейчас в прекрасном расположении духа, сам открыл дверцу. Тим сел в машину с другой стороны.

Шофер, казалось, только сейчас очнулся и плохо понимал, где он находится. Когда барон приказал ему ехать в отель «Времена года», он не сразу сообразил, что от него требуется, и это выглядело весьма убедительно.

— Скажите, — обратился к нему Треч, когда такси тронулось, — вы знали, что «Гамбург — Гельголанд. Пассажирское» собираются продавать?

— Нет, — ответил шофер. — Но это меня не удивляет. Сам Денкер уже староват для такого дела, а его дочери предпочли бы получить свое наследство наличными. Пароходство для них, надо думать, слишком грязная работа. А вас, если разрешите спросить, заинтересовало ГГП?

Барон, все еще в отличном настроении, ответил:

— Я уже почти что приобрел его в собственность.

— Черт возьми, быстро это у вас получилось! Почти так же быстро, как в сказочке «Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!», если вы изволите знать эту забавную историю. Только прикоснись — и тут же приклеишься!

Беглый взгляд шофера, брошенный в зеркало, скользнул по лицу Тима; при этих словах оно дрогнуло, затем снова застыло, словно окаменело. Тим, как это стало для него привычным за последнее время, овладел собой и сумел спрятать под маской равнодушия свое волнение.

Волнение это было вполне понятно: наконец-то шофер помог ему намеком себя узнать. Барону же этот намек должен был показаться вполне невинным. «Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!» — сказка, в которой принцесса научилась смеяться! Это был знак, которого Тим втайне ждал, — знак, что его друзья не дремлют.

«Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!» — первый сигнал к началу новой погони!

Теперь Тим знал совершенно точно, кто он, этот шофер, который сидит впереди, повернувшись к нему широкой спиной. Что-то поднялось откуда-то из самой глубины его существа — нет, не смех, но что-то такое, что отнимает дар речи. Кажется, это называют «комком подкатил к горлу».

Тем временем такси свернуло к берегу Альстера и подкатило к отелю. Шофер вышел и растворил дверцу. Впервые он предстал перед ними во весь свой огромный рост.

У Тима больше не оставалось сомнений.

Когда барон расплатился и повернулся лицом к отелю, Тим с трудом удержался, чтобы не обнять великана. Хриплым от волнения голосом он шепнул:

— Джонни!

Шофер на секунду снял огромные темные очки, в которых его почти невозможно было узнать, взглянул на Тима и громко сказал:

— До свидания, молодой человек! — и подал ему руку. Потом он снова надел очки, сел в машину и уехал.

В руке Тима остался обрывочек бумаги, крошечная записочка, собственно говоря, почти ничего. И все же он чувствовал себя с этим клочком бумаги богаче, чем если бы в его руках оказались все акции концерна барона Треча... Включая акции с решающим голосом!

Почти счастливый, Тим вошел вслед за Тречем в отель, в вестибюле которого их встречал с распростертыми объятиями очередной директор.

«Какая честь, господин барон!» — казалось, говорили его руки, словно превратившиеся в чашу, полную восторга. Однако директор не успел выразить свое восхищение вслух, потому что барон приложил палец к губам.

— Прошу вас, никакой шумихи! Мы здесь инкогнито. Мистер Браун и сын — коммерсанты из Лондона.

Руки директора опустились. Он корректно поклонился:

— Весьма рад, мистер Браун. Ваш багаж уже прибыл.

Тиму все это показалось на редкость забавным. Он мог бы сейчас даже обнять этого директора — так крохотная записочка в одно мгновение преобразила в его глазах весь мир.

Но Тим никого не обнял. Тим не рассмеялся. Да и как бы он мог это сделать? Он сказал серьезно и вежливо, как привык говорить за эти долгие грустные годы:

— Благодарю вас!

З А Б Ы Т Ы Е Л И Ц А

Во время кругосветного путешествия Тим привык к тому, что за ним всегда, словно тень, следовал один из сыщиков, а то и оба вместе. Они выполняли свое задание незаметно и даже довольно тактично. Тим не раз узнавал на улицах разных городов обоих этих господ, ведь их лица примелькались ему еще в Генуе. И это его уже не волновало, потому что он приучился разыгрывать во время путешествия послушного спутника Треча.

Теперь же, когда у него в кармане лежала драгоценная записочка, Тиму мерещился сыщик за каждой складкой портьеры. Он не решался достать и прочитать записку. Да и маскарадный костюм Джонни и его нарочитая сдержанность — все это заставляло Тима предполагать, что за его друзьями следят точно так же, как за ним самим.

Наконец — барон в это время прилег на часок отдохнуть — Тиму удалось скрыться в ванной комнате своего номера. Он задвинул задвижку, сел на край ванны и вынул записку из кармана.

Сложенная вчетверо бумажка была не больше почтовой марки. Когда Тим ее развернул, одна ее сторона оказалась исписанной микроскопическим почерком. Крохотные буквы невозможно было разглядеть невооруженным глазом. Нужна была лупа.

Но откуда было Тиму взять лупу? Складывая записочку снова вчетверо и пряча ее в карман, он напряженно думал. Попросить лупу у кого-нибудь из служащих отеля? Об этом сейчас же узнают сыщики. Купить? Сыщики тут же спросят в магазине, что сейчас купил этот мальчик. Как же достать лупу?

Тим услышал, что кто-то постучал в дверь и, очевидно, вошел в его номер. Он подумал, что это Треч, и на всякий случай нарочно спустил воду в уборной. Потом тихонько отодвинул задвижку и вошел в гостиную.

В гостиной стоял круглый стол и четыре кресла. В одном из них, прямо напротив Тима, сидела, вытянув шею, ярко накрашенная женщина, одетая до смешного пестро и броско. Ее волосы, похожие на солому, были завиты в локончики. В другом кресле, рядом с ней, сидел бледный юный верзила с огромной цветной бабочкой вместо галстука. Тиму вдруг показалось, что в комнате пахло перцем, тмином и анисом.

С мачехой и Эрвином эти люди имели лишь самое отдаленное сходство. И все-таки это были они.

Тим остановился в дверях, не произнося ни слова. Он никак не ожидал такого визита. Он не был подготовлен к тому, чтобы снова увидеть эти лица. Ему понадобилось всего лишь одно мгно-

вение, чтобы узнать их. Но прошло еще некоторое время, прежде чем он разглядел, как в этих изменившихся лицах проступали прежние черты. И тут он впервые в жизни увидел, что это глупые лица. Он вспомнил, вернее, снова услышал слова отца: «Презирай глупость, если она не добра». И теперь он ясно понял то, что только глухо и смутно чувствовал, когда был маленьким мальчиком. Он понял, что отец его уже тогда раскусил этих двоих, сидящих сейчас перед ним в креслах. Он понял, что ему удалось сохранить в детстве свой смех только потому, что с ним был отец.

Глаза Тима наполнились слезами; не от растроганности, а от того, что он долго не сводил взгляда с тех, кто сидел напротив. Лицо мачехи расплылось; перед глазами его стояло другое лицо — лицо той, которая подарила ему его смех: лицо матери. Черные волосы и блестящие черные глаза, смуглая кожа и веселые полу-круги возле уголков губ.

Так вот почему ему так понравились портреты в палатце Кандидо в Генуе! Это было узнавание, воспоминание. С картин итальянских художников, с каждого портрета, на него глядело лицо его матери. Это были портреты его прошлого, целых поколений его предков. А может быть, и его будущего? Да, на это он надеялся.

Мачеха при появлении Тима вскочила с кресла, засеменила, стуча высокими каблуками, ему навстречу и недолго думая повисла у него на шее. Тим, на которого нахлынули воспоминания о матери, в смятении обнял мачеху. Но теперь он уже не был больше бедным маленьким мальчиком из переулка. Он научился владеть и своим смятением, и своими порывами. Уже в следующую минуту он молча мягко отстранил мачеху. И она покорилась. Всклипнув разок-другой, она засеменила назад к столу, где лежала ее сумочка, торопливо достала из нее носовой платочек и несколько раз прижала его к глазам, опущенным наклеенными ресницами.

Теперь и Эрвин поднялся со своего кресла. Расхлябанной походкой двинулся он к сводному брату, подал ему мягкую, расслабленную руку и сказал:

— Здорово, Тим!

— Здорово, Эрвин!

Больше они ничего не успели сказать друг другу, потому что дверь вдруг распахнулась, и в комнату, запыхавшись, влетел барон.

— Кто это такие?

Конечно, барон догадывался, кто перед ним; и Тим прекрасно знал это. Тем не менее он вежливо представил ему своих непрошенных гостей.

— Разрешите познакомить вас с моей мачехой, фрау Талер, господин барон. А вот мой сводный брат Эрвин.

Затем он подчеркнуто официально, с хорошо заученным галантным движением руки представил им своего опекуна:

— Барон Треч.

Мачеха, подняв правую руку чуть ли не до подбородка Треча — очевидно, в расчете на поцелуй, — прошебетала:

— Очень приятно, господин барон!

Треч не обратил на ее руку никакого внимания.

— Не будем разыгрывать здесь спектакля, фрау Талер! Театр ваш, как говорят злые языки, все равно погорел.

Мачеха, открывшая было рот, чтобы запальчиво возразить барону, вдруг изменила тактику. Она обернулась к Тиму и, изобразив на своем кислом лице сладкое восхищение, отступила на шаг назад и сказала:

— Ты выглядишь как настоящий светский молодой человек, мой мальчик! Я очень горжусь тобою. Мы все прочитали о тебе в газетах. Правда, Эрвин?

Ее сын раздраженно пробормотал что-то вроде «м-да». Судя по всему, его отношение к матери ничуть не изменилось. Избалованный и зависимый от нее из-за своей беспомощности и неумения самостоятельно удовлетворять свои претензии к жизни, он в то же время стыдился ее в присутствии других. Он использовал ее животную любовь с большой выгодой для себя, но выносил эту любовь с трудом.

Тим был теперь рад, что эта любовь в свое время не распространилась на него. Она сломила бы его силу и сделала бы его неспособным к сопротивлению; он не выдержал бы того ада, каким была для него жизнь все эти последние годы. Эта встреча оказалась для Тима не просто полезной, она была ему необходима. Он снова увидел, что круг пройден, что он словно движется по спирали и сейчас находится как бы вновь у истока своего пути, только на несколько витков выше. Если начало пути — его старый дом в переулке, то он, крутыми тропинками взобравшись на гору, теперь смотрит на него оттуда сверху вниз — вон он, в глубокой долине. Тим видел, что его мачеха и Эрвин все еще стоят там, где он их оставил, что они не продвинулись ни на шаг. И хотя сейчас, в номере отеля «Времена года», они стояли с ним рядом, они были на самом деле так далеко от него, что он едва различал их голоса.

Как раз в эту минуту мачеха сказала:

— Мы теперь навсегда останемся с тобой и будем о тебе заботиться, Тим. Ведь ты законный наследник всего состояния, и завтра тебе исполняется шестнадцать лет. А это значит...

— Это вовсе не значит, что он становится совершеннолетним! — поучительно заметил барон.

Фрау Талер резко повернулась в его сторону. Глаза ее блес-

нули тем фальшивым блеском, который Тим так хорошо помнил с детства. Теперь он показался ему довольно тусклым и вполне безопасным. «О, как глупо страдать под гнетом глупости!» — подумал Тим.

Тем временем Треч с веселой улыбкой объяснял, почему Тим с наступлением шестнадцати лет еще не становится совершеннолетним.

— В этой стране, госпожа Талер, совершеннолетие наступает, когда человеку исполняется двадцать один год. И только тогда он может вступить в законное владение наследством. Вы, как видно, разузнали, что я являюсь подданным страны, где человек становится совершеннолетним в шестнадцать лет. Но это не имеет никакого отношения к вашему пасынку Тиму. Он подчиняется, как и прежде, законам не той страны, а этой. И только по исполнении двадцати одного года вступает во владение наследством.

Мачеха не перебивала барона. Пока он говорил, она не произнесла ни слова. Она только хлопала глазами и нервно теребила в руках свой платочек. Теперь она снова обернулась к своему пасынку и спросила, с трудом подавляя волнение:

— А разве у тебя не такое же подданство, как у барона?

Тим, глядевший на нее без всякого сочувствия, не расслышал вопроса, потому что был погружен в свои мысли. Он заметил только, что она что-то спросила. Чтобы не быть невежливым, он указал на кресла:

— Давайте сядем. Нам будет удобнее разговаривать.

Все молча заняли места вокруг стола.

Тим положил ногу на ногу и сказал:

— Я никогда еще не задумывался над тем, кто сейчас мой опекун. Когда барон, — он запнулся, — умер, было объявлено, что теперь мой опекун новый барон. Только сейчас мне пришло в голову, что ведь моя мачеха должна была дать на это согласие. Было это? Или...

Фрау Талер вдруг растерялась. Она беспомощно пробормотала:

— Знаешь, Тим, нам ведь пришлось так туго, когда ты ушел. Нам не везло, и тогда...

— ...и тогда фрау Талер передала мне опекунство по всем правилам закона, — договорил за нее Треч, — причем за приличное вознаграждение, которое она впоследствии употребила на покупку театра-варьете. А театр-то взял да и погорел.

— Но ведь в этом виновата не я, а обстоятельства, — всхлинула фрау Талер, и тут она принялась, как в прежние времена, трещать без передышки: — Да, конечно, я знаю, что по закону все в порядке, но ведь это мой ребенок, а мы теперь выброшены на улицу, я и мой сын, и вот...

На этот раз ее перебил Тим. Он сказал:

— Раз ты продала опекунство, теперь уже ничего нельзя изменить.

— «Продала... продала»! Не будь таким жестоким, Тим! Мы остались без денег, Тим!

— А сколько денег вам нужно теперь?

— Да кто говорит о деньгах? Мы теперь никогда не расстанемся, Тим!

— Нет,— ответил Тим.— Мы расстанемся. Я надеюсь, что мы видимся сегодня в последний раз. Но если я могу помочь вам деньгами, я охотно это сделаю. Сколько вам требуется?

— Заранее выражаю свое согласие,— сказал барон.

Но Тим сделал вид, что не расслышал его слов.

— Ах, Тим! — Снова это притворное всхлипывание.— Ведь ты теперь так безмерно богат! А мы, как твои родные, не можем вести полуголодную жизнь.

Барон разразился было смехом, но тут же прикрыл ладонью рот, прежде чем предательский смешок успел его выдать. Он хотел как следует посмеяться над ними, но вовремя сообразил, что смех его им хорошо знаком. А значит, необходимо срочно от них избавиться. И позаботиться о том, чтобы они никогда больше не встречались на его пути. Следовательно, надо платить. Поэтому он тут же сделал предложение:

— На Ямайке, фрау Талер, в моем владении находится процветающий морской курорт. Его посещают главным образом американские туристы. Шестьдесят тысяч долларов годового дохода. Как известно, Ямайка — остров вечной весны. Ваш бунгало стоит под пальмами на берегу моря.

«Прямо как путеводитель для туристов! — с удивлением подумал Тим.— Значит, и это он умеет!» Впрочем, он сразу понял, почему Треч решил услать их так далеко: от него не ускользнуло, как резко оборвал барон свой смех. Он не удивился даже тогда, когда барон подарил им два билета на пароход в каюте первого класса.

Мачеха, снова всхлипнув или, вернее, продолжая всхлипывать, сказала:

— Вы слишком добры, господин барон!

У Эрвина от одной только мысли о Ямайке разгорелись щеки. Он то и дело хлопал глазами — в точности как его мать.

— Прошу вас пройти со мной в мой номер, чтобы тут же подписать контракт,— сказал барон.

Он поднялся со своего кресла, подошел к двери и распахнул ее перед мачехой с иронической вежливостью.

Фрау Талер, стуча каблуками, засеменила вслед за ним, но, вовремя вспомнив про Тима, обернулась в дверях и спросила:

— Ты ведь нас не забудешь, Тим?

— Кажется, я вас уже забыл,— сказал Тим, но не слишком громко. Потом он подал ей руку и серьезно проговорил: — Желаю удачи на Ямайке!

— Спасибо, спасибо, мой мальчик.

Рот ее начал было растягиваться в улыбку, но, не успев улыбнуться, она оказалась уже за дверью.

Эрвин, пожалв Тиму руку, хотел последовать за матерью, но Тим задержал его, шепнув:

— Достань мне лупу и положи ее под красную скамейку на берегу Альстера, напротив входа в отель. Вот, держи! — Он выгреб из кармана все, что в нем было, и протянул деньги Эрвину.

Эрвин, рассматривая купюры, удивленно спросил:

— А это что за записочка?

— Ой! Она мне еще нужна! — чуть не вскрикнул Тим, но, к счастью, он сказал это шепотом.

Записочка снова перекочевала в карман Тима, а Эрвин двинулся к двери.

— Все будет в норме! — шепнул он с порога.— Молчу как могила!

Тим кивнул и запер дверь за своим сводным братом и за своим далеким прошлым. На английский замок.

Л и с т т р и д ц а т ы й

Б У М А Г И

Удивительно, с какой быстротой богатые и влиятельные люди улаживают те формальности в учреждениях, на которые так называемый «простой человек» нередко тратит целые месяцы.

Всего за один день в собственной юридической конторе акционерного общества барона Треча было оформлено множество важных документов, согласно которым:

Морской курорт на Ямайке передавался на равных правах фрау Талер и ее сыну Эрвину. В связи с этим Тиму пришлось увидеться с ними еще раз, всего на минутку. Эрвин, однако, успел ему шепнуть, что лупа уже лежит под скамейкой.

Пароходство «Гамбург — Гельголанд. Пассажирское», сокращенно именуемое ГГП, с этого же дня поступало в личную собственность Тима Талера. (Прежний владелец, старый господин Денкер, после подписания контракта горячо пожал Тиму руку, сказав: «Тьфу, тьфу, тьфу, чтоб не сглазить!» — и трижды плюнул через левое плечо.)

Пакет с акциями на гамбургское пароходство, незадолго до того полученный Тимом в Лондоне от мистера Пенни, переходил — и опять с этого же дня! — в собственность барона. Условный срок длительностью в один год в данном случае отпадал, так как барон Треч являлся владельцем акций с решающим голосом.

И наконец, последний контракт, заключенный в этот день, был контракт о наследстве. До сих пор барону успешно удавалось оттягивать его заключение, так как Тим никогда о нем не спрашивал.

Почему барон проявил вдруг готовность заключить этот контракт, Тим не знал, да его это и мало заботило. Сделки, контракты, богатство — до всего этого ему не было теперь никакого дела. Единственное богатство, которое сейчас его интересовало, был смех. Он предчувствовал, что крошечная записочка в его кармане — на ночь он спрятал ее под подушку — была ключом к его смеху, запертому на замок; поэтому ему не терпелось достать лупу из-под скамейки. Он то и дело потирал рукой лоб, чтобы обратить внимание барона на то, как утомили его бесконечные формальности по заключению трех контрактов.

— Если у вас болит голова, мы можем отложить заключение контракта о наследстве на завтра, — сказал, заметив это, барон. — Вы согласны, господин Талер?

Тим согласился не сразу. Для этого он был теперь слишком опытен. Он разъяснил, что, по его мнению, было бы лучше заключить контракт немедленно, но, к сожалению, он испытывает в эту минуту головную боль. А поскольку контракты надо подписывать с ясной головой, то, пожалуй, и в самом деле будет лучше подождать с этим до завтра.

Эта хитрость удалась, как он и рассчитывал. Подписание контракта отложили на завтра, и Тиму было разрешено, после того как он послушно проглотил две таблетки, пойти прогуляться по берегу Альстера перед отелем. («Свежий воздух творит чудеса», — сказал ему один из юристов.)

Тим знал, что где-то поблизости притаился сыщик, который не сводит с него глаз, и потому не бросился сразу поднимать лупу из-под красной скамейки. Купив в киоске газету, он сел с ней на скамейку. Где лежит лупа, ему удалось разглядеть еще раньше.

Читая газету, Тим держал ее так, что вкладной лист вскоре соскользнул с его колен и порхнул под скамейку. Тогда он нагнулся и вместе с газетным листом поднял лупу. Потом, спрятавшись за газету, украдкой сунул лупу в карман своего пиджака. Он носил теперь чаще всего костюм серый или в мелкую клетку.

Прошло не меньше пятнадцати минут, прежде чем Тим сложил газету и, оставив ее на скамейке для какого-нибудь прохожего,

вошел в отель. Портье вместе с ключом передал ему сложенную вчетверо бумажку. Это была записка от барона:

Если вы почувствуете себя лучше, приходите, пожалуйста, в мой номер.

Треч.

Тим решил подняться наверх в номер барона, ненадолго заглянув перед этим к себе: он только спрятал лупу в маленькую домашнюю аптечку, висевшую на стене в ванной, и, свернув в трубочку записку Джонни, сунул ее в полупустую стеклянную пробирку с таблетками от головной боли. Положив пробирку обратно в аптечку, он отправился к барону.

Обычно во время важных переговоров Треч держал в руке бумажку с основными пунктами. И на этот раз Тим увидел в его руке такую бумажку. На ней были написаны столбиком всего три слова. Тиму не удалось разглядеть их как следует, но первое слово было очень похоже на фамилию «Рикерт».

— Завтра, господин Талер,— начал барон,— истекает срок нашего небольшого договора относительно господина Рикерта. Если вы до завтрашнего дня не установите контакта с вашими гамбургскими друзьями, господин Рикерт будет вновь назначен директором пароходства. В связи с преклонным возрастом он может быть тут же с почетом переведен на пенсию с высоким месячным содержанием. К сожалению, мы с вами завтра же должны вылететь в Каир, так как одна египетская фирма заявляет протест по поводу названия маргарина «Пальмаро». Следовательно, если вы хотите поговорить со своими гамбургскими друзьями, вам надо сделать это еще сегодня. Но тогда наш договор потеряет силу, и господину Рикерту придется навсегда остаться докером.

— Докером? — с изумлением спросил Тим.

— Да, господин Талер, докером. Он дошел до этого. А это не так легко в его возрасте. Поэтому я думаю, что вы захотите освободить его от столь печальной участи и не станете искать встречи ни с Крешимиром, ни с рулевым Джонни, ни с самим господином Рикертом. Впрочем, может быть, я ошибаюсь?

Треч взглянул на Тима с боязливым вниманием. И Тим знал почему: как видно, кто-то из друзей уже нашел ключ к его смеху, и барон об этом догадывался. Сегодня барон старательно следил за тем, чтобы на губах его случайно не мелькнула улыбка.

— Господин Рикерт должен снова стать директором пароходства,— твердо сказал Тим.

— Значит, наш договор остается в силе, господин Талер?

Тим кивнул. Но его кивок был ложью. Он вовсе не собирался

избегать встречи с друзьями. Наоборот, надо было встретиться с ними еще сегодня. Завтра будет уже поздно. А господин Рикерт все равно станет теперь директором пароходства. Только не у барона, а в пароходстве Тима, которое сегодня утром перешло в его собственность, согласно контракту,— в пароходстве ГГП.

Треч заглянул в свою шпаргалку — было заметно, что он почти совсем успокоился,— и сказал:

— Пункт второй, господин Талер, касается...— Барон замялся, но потом все же договорил до конца начатую фразу:— Пункт второй касается вашего смеха.

Он снова испытующе посмотрел на Тима. Но Тим давно уже научился — и не у кого иного, как у самого барона,— скрывать свои чувства под маской равнодушия. Даже голос его не дрогнул, когда он спросил:

— Так что же с моим смехом, барон?

— Год назад, господин Талер, я проверил в Красном павильоне моего замка, в какой мере интересуется вас и интересуется ли еще вообще ваш смех. Я дал его тогда вам взаймы на полчаса и в результате этого маленького эксперимента узнал, что вы все еще сильно скучаете по своему смеху. Только что я тоже, незаметно для вас, поставил небольшой опыт. На этот раз результат получился гораздо более удовлетворительный. Вы добровольно отказываетесь от встречи с тремя единственными на свете людьми, которые знают о нашем контракте и, возможно, могли бы в случае необходимости дать вам полезный совет...

Барон с довольным видом откинулся в кресле.

— Очевидно, вы научились в течение последнего года ценить выше власть, богатство и приятную жизнь, чем такую безделицу, как смех.

Тим снова кивнул.

— Я предлагаю вам,— барон снова наклонился вперед,— заключить дополнительный контракт.

— Какой, господин барон?

— А вот какой, господин Талер. Я обязуюсь обеспечить вам подданство такой страны, где вы будете считаться совершеннолетним, начиная с сегодняшнего дня. Тогда вы сможете тут же вступить во владение наследством.

— А какие обязательства беру на себя я, барон?

— Всего два обязательства, господин Талер: во-первых, никогда не требовать назад смех; во-вторых, уступить мне половину наследства, включая акции с решающим голосом.

— Над этим предложением стоит подумать,— медленно сказал Тим, стараясь выиграть время.

Разумеется, он ни минуты не собирался думать над тем, чтобы скрепить штампом и печатью отказ от своего смеха на вечные

времена. Но никак нельзя было, чтобы Треч об этом догадался.

И вдруг Тиму пришла в голову счастливая мысль: если он начнет сейчас торговаться с бароном, тот окончательно поверит, что Тим навсегда отказался от своего смеха и убедился, что власть и богатство гораздо важнее на этом свете, чем какие-то раскаты и переливы в горле.

И Тим начал торговаться. Ему известно, заявил он, что барон мог бы до наступления его двадцать первого дня рождения принять различные меры, чтобы помешать ему вступить в права наследства. Синьор ван дер Толен уже обращал на это внимание Тима. Поэтому Тим в принципе согласен подписать дополнительный контракт. Однако он ставит свои условия: три четверти наследства, включая три четверти акций с решающим голосом.

Мимо внимания Тима не ускользнула мимолетная улыбка, промелькнувшая при этом на лице барона. Очевидно, барон был теперь совершенно уверен, что Тим окончательно отказался от своего смеха. Именно на это Тим и рассчитывал.

Они торговались добрых полчаса. В конце концов Тим уступил. Он требовал теперь три четверти наследства и половину акций с решающим голосом.

— Соглашайтесь на мои требования, барон, и мы подпишем завтра в Каире дополнительный контракт.

— К этой мысли я должен сперва привыкнуть, господин Талер. Завтра, когда мы будем в Каире, я дам вам окончательный ответ. А теперь,— барон улыбнулся,— я перехожу к последнему пункту.— Он поднялся, протянул Тиму руку и сказал: — Приношу сердечные поздравления по случаю вашего шестнадцатилетия! Если у вас есть какое-нибудь желание, господин Талер...

Желание? Тим задумался. Если этот день принесет ему самый дорогой подарок на свете — его смех,— у него, скорее всего, больше не окажется никаких богатств. Ведь пароходство он собирается подарить друзьям. Что же в таком случае попросить в подарок?

Наконец ему пришла в голову прекрасная мысль.

— Купите мне, пожалуйста, кукольный театр, барон!

— Кукольный театр?

— Да, барон! Кукольный театр, где дети могут как следует посмеяться.

Этим Тим себя выдал. Но барон понял его неправильно.

— Ага! — воскликнул Треч.— Понимаю! Вы тоже хотите купить себе немного смеха, и вам нужен театр, чтобы выбрать наиболее подходящий. Неплохая мысль! Это мне еще не приходило в голову.

Тиму показалось, что кто-то со всего размаха стукнул его по голове. Значит, барон всерьез мог подумать, что он, Тим Талер, после всего того, что ему пришлось пережить, способен украсть смех у какого-нибудь малыша.

«Это просто черт, а не человек! — подумал Тим. — Настоящий черт!»

На этот раз барон не мог бы не заметить смятения Тима. Но в эту минуту он отвернулся. Он уже звонил куда-то по телефону насчет кукольного театра. И не прошло получаса, как ему повезло. За приличное вознаграждение, предложенное бароном, оказалось возможным приобрести небольшой театр марионеток неподалеку от главного вокзала, уже не первый год влачивший довольно жалкое существование.

— Давайте поедem туда сейчас же, господин Талер, — сказал Треч. — Я захвачу с собой нотариуса и деньги: за подарки ко дню рождения надо платить наличными...

В маленькой комнатке с обшарпанными стенами, служившей, как видно, конторой театра, был подписан еще один контракт. Тим Талер становился отныне владельцем кукольного театра. Все это было похоже на чудеса, какие не каждый день происходят даже в самом кукольном театре.

Против обыкновения, барон и молодой человек отправились в отель пешком. По дороге Тим впервые спросил барона:

— Почему вам так нравится именно мой смех, барон? Так нравится, что вы отдаете за него полцарства?

— Меня удивляет, — заметил Треч, — что вы никогда раньше не задавали мне этого вопроса, господин Талер. Ответить на него не так-то просто. Формулируя мою мысль коротко, могу сказать следующее: когда вы были маленьким мальчиком из переулка, господин Талер, вы пронесли свой смех через столько непостижимых зол и невзгод, что он закалился и стал твердым, как бриллиант. Ваш смех не подвластен разрушению, господин Талер! Он несокрушим.

— Но ведь сам я подвластен разрушению, барон, — возразил Тим очень серьезно.

— Вот в том-то и дело, — сказал барон.

И прежде чем Тим понял смысл этого неприятного замечания, они уже подошли к отелю.

— Хэлло, мистер Браун, — приветствовал их директор отеля.

Барон в ответ рассеянно кивнул.

Наверху, перед дверью номера Тима, Треч остановился и спросил:

— А для чего вам, собственно, акции с решающим голосом, господин Талер? Ведь, согласно контракту, вы все равно должны уступить их мистеру Пенни.

«Опять он об этих контрактах! — с отчаянием подумал Тим. — Весь день рождения заполнен бумагами!» Его интересовала теперь одна-единственная бумажка на свете: свернутая в трубочку крошечная записочка в стеклянной пробирке с таблетками. Не так-то легко ему было ответить на вопрос барона. И все же, преодолев себя, он сказал:

— У меня есть кое-какие соображения, барон, в пользу того, чтобы мистер Пенни получил побольше акций с решающим голосом.

— Гм! — задумчиво произнес Треч. Затем он сказал: — У меня на сегодня намечено еще два совещания. А вы что собираетесь делать, господин Талер?

Тим потер лоб рукой.

— Головная боль все не проходит, барон. Я, пожалуй, пойду прилягу.

— Вот это правильно, — улыбнулся барон. — Сон — лучшее лекарство.

И он ушел.

А Тим с нетерпением открыл ключом дверь своего номера, вошел, снова запер дверь на ключ и бросился в ванную.

Л и с т т р и д ц а т ь п е р в ы й .

ТАИНСТВЕННАЯ ЗАПИСКА

Тим зажег в ванной только маленькую лампочку над зеркалом умывальника. Затем он достал лупу из аптечки и вынул из стеклянной пробирки записку. Сердце его колотилось так сильно, что казалось, вот-вот выскочит.

Но прежде чем приступить к чтению записки, молодой человек в элегантном сером костюме еще раз проверил, хорошо ли заперта дверь в ванную комнату. Потом он встал перед умывальником, взглянул в лупу на маленькую бумажку и превратился — да что там элегантный серый костюм! — в бесконечно взволнованного мальчика.

Лупа в его руках дрожала, и все же Тиму удавалось буква за буквой разбирать слова, написанные микроскопическим почерком. По мере того как он читал записку, он удивлялся все больше и больше.

Прибуди в «Гусь, гусь — приклеюсь, как возмусь!». То, что принцесса добыла, добуди. Путь проще, чем ты думаешь. Кто отговаривал от южного, тебе его покажет. Знакомый шофер караулит дом с часами. Дождись (черного!) часа трамваев. Опасайся

крысы и проводи ее. Путь прост, но выбирай черный ход и задворки. Доверься нам и приходи!

Тим опустил руку с запиской и лупой и сел на край ванны. Он все еще дрожал от волнения, но голова его была ясна. Он понимал, что записка зашифрована на тот случай, если она попадет в руки Треча. Значит, теперь оставалось только расшифровать скрытые намеки и тайные указания. Он снова подошел к умывальнику, встал под лампу и медленно прочел записку с начала, по отдельным фразам:

Прибуди в «Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!».

Это понять нетрудно. Надо прийти туда, где он смотрел представление кукольного театра. Значит, в трактир в предместье Овельгёне.

То, что принцесса добыла, добуди.

Это еще проще. Эта фраза заключала в себе самую важную и самую драгоценную весть. Это значило попросту: верни свой смех! А то, что это возможно, доказывала следующая фраза:

Путь проще, чем ты думаешь.

Но что могло значить вот это:

Кто отговаривал от южного, тебе его покажет.

Тиму пришлось напрячь память. И наконец, он вспомнил: Южный — ведь это лошадь! Последняя лошадь, на которую он ставил. А незнакомец, который не советовал тогда на нее ставить, — это Крешимир!

Значит, Крешимир знает, как вернуть смех! Тим догадывался об этом и раньше. Но то, что его догадка подтвердилась, потрясло его до глубины души. Ему пришлось снова сесть на край ванны. Было достаточно светло, чтобы и здесь дочитать записку.

Знакомый шофер караулит дом с часами.

Знакомый шофер был Джонни. В этом Тим не сомневался ни секунды. Но что такое «дом с часами»? К этой несложной загадке Тим искал ключ довольно долго, пока наконец не догадался, что речь идет о ратуше. Ратуша совсем близко от его отеля. Там, значит, Джонни и будет его дожидаться в такси, чтобы отвезти в Овельгёне.

Но когда? Это было пока что непонятно.

Дождись (черного!) часа трамваев.

Два приключения с трамваями были связаны у него с друзьями: одно — когда трамвай, в котором он ехал с господином Рикертом, свернул со своего обычного пути и второе — летающий трамвай в Генуе, который он видел вместе с Джонни. Как видно, имелись в виду оба случая. Ведь слово «трамвай» стояло во множественном числе.

Час трамваев... В какое же время это было? Летающий трамвай он видел примерно в полдень, часов около двенадцати. И когда он впервые увидел в трамвае господина Рикерта, тоже, кажется, был полдень.

Значит, двенадцать часов дня! А сейчас — Тим взглянул на свои часы — пять часов. Значит, ему приходится завтра? А может, он должен был прийти еще сегодня в полдень?

Но ведь здесь перед словом «часа» еще стоит слово «черного». В скобках и с восклицательным знаком. Что же это такое — «черный» полдень?

И снова ему пришлось хорошенько подумать над довольно простой загадкой.

Но и эта загадка была разгадана: «черные» двенадцать часов... Полночь! До этого времени оставалось еще долгих семь часов.

Остальное было понять совсем легко.

Опасайся крысы и проведи ее. Путь прост, но выбирай черный ход и задворки. Доверься нам и приходи!

Итак, Тиму следовало опасаться Треча и тайно выбираться из отеля, может быть, даже переодетым; слова «черный ход» и «задворки» придавали всему этому вкус приключенческого романа с злодеями и переодетыми героями.

Расшифровав эту таинственную записку, Тим почувствовал себя свободным как птица. У него возникло непреодолимое желание рассмеяться. И самое удивительное было то, что губы его при этом не остались плотно сжатыми, как обычно. Они дрогнули и чуть-чуть — а может быть, это только ему показалось? — раздвинулись в улыбке.

С чувством радостного испуга Тим вскочил и посмотрел в зеркало: возле уголков его рта появились два маленьких полукруга, как на итальянских картинах в палаццо Кандидо в Генуе. Это был еще не смех и даже не улыбка. Но полукруги около уголков губ были видны совершенно ясно. А ведь с момента заключения контракта под большим каштаном он больше ни разу их не видел.

Значит, что-то в этот день уже изменилось. Надежда, словно кисть художника, волшебю преобразила его лицо: в нем забрезжила улыбка!

Тим сунул записочку в карман своего пиджака, потушил свет и, выйдя из ванной, сел в кресло, положив ногу на ногу. Надо было хорошенько все обдумать.

Барон в это время находился недалеко от Тима — в павильоне на берегу Альстера. Он вел здесь переговоры с представителем той египетской фирмы, которая заявила протест против названия сортового маргарина «Пальмаро». Фирма требовала, чтобы маргарину Треча было присвоено какое-нибудь другое название.

Барон не проявлял в этом разговоре ни того хладнокровия, ни того спокойного превосходства, которые стали его второй натурой с тех пор, как он приобрел смех. Конечно, во многом это объяснялось тем, что сортовой маргарин, широко разрекламированный под названием «Пальмаро», уже начинал с неслыханной быстротой завоевывать миллионы покупателей. Однако барон ни за что не должен был показывать, насколько важно для него название маргарина. Необходимо было возражать рассеянno, с легкой улыбкой. Ведь как раз для таких случаев он и купил себе смех.

Когда Треч, решив в подходящий момент воспользоваться смехом, пустил в ход, как обычно, все свои раскаты и переливы, у него появилось вдруг неясное ощущение, будто на этот раз его смеху чего-то не хватает. На его собеседника этот смех, казалось, произвел, скорее, неприятное впечатление. Барон извинился и поспешно удалился в туалет. Здесь он встал перед зеркалом и воспроизвел смех Тима, внимательно наблюдая за своим отражением.

На первый взгляд все было по-прежнему. Но когда он вгляделся попристальней — барон специально повторил смех, не отрывая взгляда от своего лица, — итак, когда он вгляделся попристальней, он заметил, что не хватает маленьких полукругов возле уголков рта. Из-за этого смех звучал принужденно, искусственно, словно чужой.

У Треча возникло чувство, которое он совсем было позабыл за последние годы, — чувство страха. Впервые за много лет он снова ощутил что-то вроде угрызений совести. Но не потому, что он совершил зло (он не отличал добра от зла — для этого ему не хватало какого-то органа чувств), а потому, что заметил, какую глупость он допустил.

Этот драгоценный смех, эти рулады и переливы, смех взхлеб, смех мальчишки из переулка, блестящий и твердый, как бриллиант, он мог бы присвоить совсем другим, куда более простым способом: не выторговывать за право выигрывать споры, а просто...

Собеседник Треча, неожиданно войдя в туалет, увидел побледневшее, искаженное страхом лицо барона. Ему оставалось только предположить, что Треч так расстроился из-за названия сортового маргарина «Пальмаро». А Тречу оставалось только предположить, что представитель египетской фирмы предположил именно это. Создалось пренеприятное положение. Барон не решался на этот раз даже пустить в ход свой смех, потому что он больше не был в нем уверен. Поэтому, сделав вид, что его тошнит, он сказал:

— Мы обсудим этот вопрос завтра в Каире... Мне дурно. Как

видно, омары с майонезом...— Однако слова его звучали не слишком правдоподобно.

На этом он покинул туалет и, выбежав из павильона, помчался огромными скачками, словно гигантская саранча, к отелю. Прохожие, степенно прогуливавшиеся вдоль берега по аллее Девственниц,— напудренные дамы и элегантные господа, старающиеся попасть с ними в ногу,— при виде этой фигуры восклицали, качая головами:

— Кто же это так скачет по аллее Девственниц! Какая невоспитанность!

Но Треч ничего не слышал и не видел. Он чувствовал, что смех вот-вот ускользнет от него, и смутно догадывался, как это может произойти. Надо было спасти его, пока не поздно, вцепиться в него зубами и когтями! И он мчался вскачь по аллее Девственниц, не обращая внимания на прохожих и уличное движение, несясь как сумасшедший, ничего не видя перед собой, и вдруг споткнулся посреди мостовой перед отелем, услышал гудки, визг тормозов и испуганные возгласы, почувствовал словно ожог в бедре и, теряя сознание, крикнул:

— Тим Талер!

Этот неожиданный несчастный случай произошел не так уж случайно. Страх порождает неуверенность. Неуверенность — смятение. Смятение — несчастные случаи. И ничего нет удивительного, что барон попал под машину, когда начал бояться за свой смех. Впрочем, он был гораздо крепче и выносливее, чем могло показаться с первого взгляда. Кроме того, шоферу удалось в последнюю секунду затормозить. И Треч, собственно говоря, не попал под колеса. Он потерял сознание просто оттого, что упал.

Два сыщика, примчавшиеся, тяжело дыша, вслед за ним, осторожно погрузили его в санитарную машину, которая уже через пять или шесть минут прибыла на место происшествия. Они проводили барона до самой больницы, где он довольно быстро пришел в сознание. Первые слова, произнесенные им, вызвали полное недоумение у всех находившихся в палате. Он сказал:

— Хорошо смеется тот, кто смеется последним!

Затем вошел врач, и Треч усталым голосом сказал сыщикам, что теперь он может обойтись и без них.

— В больнице человека, как нигде, охраняет уважение! — добавил он в шутку.

При этом он чуть улыбнулся, и улыбка подействовала на него успокаивающе.

Сыщики вышли из палаты, и доктор внимательно осмотрел барона. Оказалось, что тот отделался ушибами и легким сотря-

сением мозга. Доктор назначил ему диету и постельный режим на несколько дней. Кроме того, он посоветовал барону не принимать никаких посетителей.

Несмотря на это, еще в тот же самый день к Тречу явился весьма странный посетитель. Это был маленький, плюгавенький человечек с очками в никелевой оправе на носу. У него было помятое лицо и помятый костюм. Дежурная сестра очень удивилась, что ее пациент, судя по всему чрезвычайно приличный господин, водит знакомство с подобными типами.

Треч задал человечку несколько вопросов и дал некоторые указания.

— Вы видели мальчика после той истории на ипподроме?

— Нет, господин барон.

— Тише, любезнейший. Я мистер Браун.

— Так точно, господин... мистер Браун. Я хотел еще вам сказать, что знаю мальчика по портретам в газетах.

— Это, по крайней мере, уже кое-что. И все же вам следует еще разок взглянуть на него, если это окажется возможным. Но, разумеется, так, чтобы он не заметил. Будем надеяться, что он вас не узнает. Нельзя сказать, чтобы эти очки в никелевой оправе сильно вас изменили.

— Так точно, господин... Браун.

— Итак, еще раз, милейший: крайняя осторожность! Нельзя, чтобы он заметил, что за ним следит еще кто-то, кроме наших домашних шпионов. Понятно?

— Так точно.

— Второй вопрос...

— Пожалуйста, мистер Браун.

— Это, так сказать, вопрос уже чисто личный: вы знаете сказку «Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!»?

— А как же! Мне же пришлось посмотреть ее в театре, когда я два года назад следил здесь, в Гамбурге, за мальчишкой, господин Ба... раун. Ведь он тогда пошел с этими Рикертами в кукольный театр. И представление называлось: «Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!»

— Ах, вот оно что! Это проясняет многое.

Барон на мгновение закрыл глаза. Он вновь увидел себя в такси рядом с Тимом и услышал слова шофера: «Быстро это у вас получилось! Почти так же быстро, как в сказке «Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!». Потом барон увидел перед собой лицо Тима. Оно сначала дрогнуло, потом стало каменным. Волнение было скрыто под маской равнодушия. (Этот прием Треч заметил уже давно.) Теперь он знал, почему шофер упомянул о сказке. А когда человечек в очках по его просьбе рассказал ему сказку, он понял еще гораздо больше.

Одним из самых удивительных талантов Треча была его память на числа. Она редко ему изменяла. Она и сейчас предоставила в его распоряжение номер такси, который он тут же записал на обрывке газеты.

Эту бумажку он передал посетителю.

— Если мальчик сядет в такси с этим номером, сейчас же сообщите мне. Спросите у дежурной сестры телефон моей палаты и запишите его на этой же бумажке. Понятно?

— Так точно, мистер Браун!

— Мой шофер пусть ждет с машиной у подъезда больницы. Известите его. Автомобиль пусть возьмет напрокат. Только ни в коем случае не машину нашей фирмы. Как только мальчик берет такси с этим номером, вы тут же дайте мне знать. Тут же! Несколько минут могут решить все!

— Так точно.

— Теперь можете идти!

Человечек повернулся и пошел к двери, но Треч еще раз его окликнул:

— Похоже, что они работают в переодетом виде. Возможно, мальчишка тоже переоденется. Я предупреждаю вас об этом, чтобы не было никаких случайностей.

— Хорошо, барон... Браун.

Человек ушел. Треч поднялся, дотащился до двери, тихонько запер ее, затем оделся и даже зашнуровал ботинки. Потом снова отпер дверь и едва успел лечь в костюме и в ботинках под одеяло, как зазвонил телефон.

В трубке раздался голос Тима Талера:

— Как вы себя чувствуете, барон?

— Отвратительно, господин Талер! — простонал Треч. — Переломы и тяжелое сотрясение мозга. Не могу пошевелинуться!

Затаив дыхание и крепко прижав трубку к уху, он ждал, что будет дальше. Но он услышал только спокойный голос Тима:

— В таком случае я вас больше не хочу утомлять. Выздоровливайте, барон, и будьте осторожны!

— О, в этом вы можете быть совершенно уверены, господин Талер! — Треч неслышно положил трубку на рычаг.

Затем он откинулся на подушку и взглянул в окно. Две ласточки носились в воздухе, обгоняя друг друга.

«Смех, — подумал Треч, — как птица. Только эту птицу никак не поймашь в сети». Потом он сказал вслух:

— Но и меня не поймашь!

ЧЕРНЫЙ ХОД И ЗАДВОРКИ

Окна Тима выходили во двор отеля. Поэтому он не слышал крика барона, когда произошла автомобильная катастрофа. Из-за всеобщего переполоха он очень поздно узнал о несчастном случае. После краткого телефонного разговора с Тречем у него возникло смутное чувство, словно эта авария тоже из приключенческого романа, как и все в этот день. Он немного стыдился этого чувства, когда думал о тяжелом состоянии барона, но ничего не мог поделать: оно почти вытеснило сострадание.

И следующий шаг, который собирался сейчас совершить Тим, был тоже из приключенческого романа. А собирался он сделать то, что приказывала ему записка («выбирай черный ход и задворки») и что предвидел Треч («возможно, мальчишка тоже переоденется»). Сейчас Тиму очень пригodiлось то обстоятельство, что в последний год барон гораздо щедрее, чем раньше, снабжал его деньгами на мелкие расходы. Тим позвонил горничной и, когда она вошла, предложил ей триста марок, если она сумеет быстро и незаметно доставить ему в номер поношенный матросский костюм: брюки клеш, свитер и матросскую шапку.

Горничная — она наверняка зачитывалась приключенческими романами! — сочла это таинственное поручение чрезвычайно захватывающим. Она сказала, что ее ухажер как раз служит в пассажирском флоте, — она встретится с ним сегодня вечером в восемь часов. У него она и возьмет все, что нужно.

— Хорошо, — сказал Тим, — а потом заверните, пожалуйста, эти вещи в свежее постельное белье и принесите их мне к девяти часам.

— Но ведь мы, мистер Браун, — ответила горничная (Треч и Тим были зарегистрированы в отеле как отец и сын Брауны), — никогда не меняем по вечерам постельное белье. Разве что приносим чистое купальное полотенце.

— Ну, тогда заверните, пожалуйста, в купальное полотенце. Важно только, чтобы они попали ко мне не позже девяти часов.

— А что мне сказать тому господину, который стоит в коридоре, господин Браун?

— Какому господину? — спросил Тим.

— Тому, который дал мне сто марок, чтобы я шпионила за вами и доносила ему, что вы делаете.

— А, господину сыщику! Скажите ему, что я попросил у вас таблетку от головной боли, а вы мне напомнили, что таблетки лежат в аптечке в ванной.

— Хорошо, мистер Браун!

— И вот еще что. Когда вы придете сегодня в девять часов вечера, вы ведь не будете считаться на дежурстве?

— Нет, а что?

— А не могли бы вы надеть вечером вашу форму?

— Я и сама собиралась это сделать, мистер Браун. У меня есть запасная форма дома. Я надену ее под пальто. А поверх наколки повяжу платок. Тогда мне не придется здесь переодеваться.

— Отлично,— сказал Тим, и возле уголков его губ появились два отчетливых маленьких полукруга.— Значит, я могу на вас вполне положиться?

— Вполне, мистер Браун. А я могу вполне рассчитывать на эти деньги?

— Вы получите их прямо сейчас.

С этими словами он достал из своего бумажника три ассигнации по сто марок и протянул их ей.

— Вы чересчур легкомысленны! — рассмеялась девушка.— За такие вещи никогда не платят вперед. Ну, да не беспокойтесь, я вас не подведу. Большое спасибо! И пока до свидания.

— До девяти! — сказал Тим.

Он запер за ней дверь и прилег на диван. Спать он, разумеется, не мог, но решил хотя бы отдохнуть.

Через несколько минут после того, как пробило девять, горничная вернулась в номер. Она была в черном халатике из искусственного шелка и в белой наколке. Купальную простыню она крепко прижимала к груди.

— Этот господин спросил меня, что мне у вас понадобилось,— шепнула она.— Я ответила, что вы просили сегодня днем принести вам к девяти часам чистое купальное полотенце.

— О, это очень мило с вашей стороны,— сказал Тим как можно громче. Потом шепнул: — Поклонитесь от меня вашему ухажеру из пассажирского флота!

— Спасибо, мистер Браун! Большое спасибо!

Закрывая за собой дверь, она еще раз подмигнула Тиму. И Тим подмигнул ей в ответ.

К счастью, поклонник горничной оказался не таким великаном, как Джонни. Он был, как видно, чуть побольше Тима. Но брюки легко удалось подтянуть кверху, немного укоротив подтяжки, а что касается свитера, то чем свободнее он сидит, тем лучше.

Взглянув в зеркало, Тим едва узнал себя в матросской шапке. Только одно его выдавало: слишком нежная кожа лица. Но и тут он быстро сообразил, как быть. На умывальнике в ванной лежал большой кусок пемзы. Тим натер докрасна щеки, а потом, зачерпнув земли из цветочного горшка, вымазал лицо. Затем

смысл землю и проделал всю эту процедуру сначала. Потом еще и еще раз. Результат получился вполне утешительный. Тот, кто взглянул бы сейчас на лицо Тима, наверное, решил бы, что он только что переболел оспой. Короче говоря, теперь Тим с головы до ног был матросом пассажирского флота.

Оставалось только как следует обдумать, что взять с собой. Ведь он никогда уже больше не вернется в этот отель. Тим понимал, что в ту самую минуту, как к нему возвратится смех, роль богатого наследника будет доиграна до конца. И это его нисколько не огорчало. Так что же взять с собой? Он решил не брать ничего, кроме некоторых документов: паспорта, контракта о проданном смехе, контракта о покупке пароходства ГГП и третьего контракта — о приобретении кукольного театра. Да еще таинственную крошечную записочку, исписанную микроскопическими каракулями. Аккуратно сложив бумаги, Тим засунул их в глубокий задний карман своих флотских брюк и тщательно его застегнул.

Итак, Тим был вполне готов к самому серьезному шагу в своей жизни. Тем временем стрелка часов подошла к одиннадцати. Да, оставалось еще одно дело: он быстро выкурил одну за другой три сигареты. Теперь от него пахло табаком и голос его стал немного сиплым. Вообще-то он не курил, но на столе в его номере всегда стоял палисандровый ящичек с сигаретами для посетителей.

Теперь надо было выйти из отеля так, чтобы этого не заметили шпики. Пока он курил, стрелка часов подвинулась к четверти двенадцатого. Вылезти из окна слишком рискованно — его могут увидеть. Значит, остается только один путь — через отель. Необходимо как-то отвлечь сыщика в коридоре. И Тим уже придумал, как это сделать. Он написал коротенькое письмоцо барону с пожеланием скорейшего выздоровления и позвонил мальчику-лифтеру. Тем временем стрелка дошла до половины двенадцатого. Мальчик, явившийся по звонку, был примерно одного возраста с Тимом, но казался гораздо моложе. Рыжий, курносый, с лукавым веснушчатым лицом, он очень понравился Тиму.

— Не согласитесь ли вы за двести марок разыграть небольшой спектакль?

Это были все его деньги, больше у Тима ничего не осталось. Лицо боя расплылось в улыбке.

— А что надо делать?

— Тут, поблизости от моей двери, стоит шпик...

— Ну как же, знаю, — сказал паренек и улыбнулся еще шире.

— Ну так вот, его надо отвлечь. Возьмите-ка вот это письмо и засуньте его за обшлаг рукава вашей куртки так, чтобы краешек торчал. Если сыщик спросит, кому вы несете письмо, — а уж

он обязательно спросит, я его знаю,— притворитесь растерянным и сделайте вид, что никому не должны его показывать. И тут же быстрым шагом направляйтесь по коридору за угол. Шпик, конечно, побежит за вами и станет предлагать вам деньги, чтобы вы дали ему прочесть письмо.

— Это уж наверняка, мистер Браун.

— Вот именно. Я в этом не сомневаюсь. И я очень прошу вас: переругивайтесь с ним до тех пор, пока я не выйду из номера и не улизну из отеля черным ходом. Письмо он, разумеется, может прочесть.

Курносый весело встряхнул рыжим чубом.

— Значит, мне надо задержать его минут на пять. Есть такое дело! Тем временем я могу с ним поторговаться. А потому с меня хватит и ста марок — больше не давайте.

Тим хотел было что-то возразить, но бой не дал ему и рта раскрыть.

— Да нет, правда не надо! Сто марок — это и так много. Посмотреть, как вы вырядились,— вряд ли вы собираетесь жить среди богачей. А значит, вам очень даже пригодятся на первых порах эти деньги.

— Может быть, вы и правы,— ответил Тим.— Ну что ж, большое спасибо. Вот письмо, вот сто марок. А когда вы замани-те шпики за угол, притворитесь, пожалуй, что у вас приступ кашля.

— Все будет о'кей, мистер Браун!

Бой сунул деньги в верхний карман куртки, а письмо — за обшлаг. Потом он протянул руку Тиму, хотя это было против правил, и сказал:

— Желаю удачи!

— Да, удача мне очень нужна,— серьезно ответил Тим и крепко пожал ему руку.

Когда бой вышел, Тим приложил ухо к двери и прислушался. Сердце его громко стучало. Наконец он услышал лающий кашель. Часы показывали без четверти двенадцать. Он осторожно приоткрыл дверь. В коридоре никого не было.

Тим выскользнул за дверь и, чтобы не терять времени, не стал ее даже запирасть. Сделав несколько шагов, он оказался на лестнице черного хода. «Выбирай черный ход и задворки»... Он выполнил всё в точности.

Никто не задержал его. Коридорная, когда он пробормотал на ходу: «Добрый вечер!», как видно, его не узнала.

Мостовая блестела под фонарем — моросил мелкий дождик. Какой-то человек с зонтом стоял на другой стороне улицы. В эту минуту он как раз отвернулся. В свете фонаря блеснул ободок его очков.



Только не бежать! Плестись, насвистывать — разыгрывать моряка. Тим огляделся, словно не зная, в какую сторону направиться и, насвистывая, повернул в сторону ратуши. Шагов за собой он не слышал. А обернуться назад не решался. Он шагал неторопливо, вразвалочку, пока не свернул в какой-то переулочек, и только тут бросился бежать.

Добежав до площади перед ратушей — часы на башне как раз начали бить полночь, — он остановился. Здесь, на площади, стояло в ряд несколько такси. Но лишь у одного из них был заведен мотор. Тим медленно подошел к этой машине и сразу узнал за рулем Джонни, хотя тот был тоже переодет.

Часы на башне ударили в последний раз. Наступила полночь — «черный час трамваев». Тим открыл дверцу и сел рядом с шофером.

— Извините, — сказал Джонни, — машина занята. Пересядьте, пожалуйста, в другую!

Говоря это, он даже не взглянул на пассажира; он с нетерпением все еще искал кого-то глазами на площади.

— «Прибуди в «Гусь, гусь — приклеюсь, как возьмусь!», — негромко ответил Тим.

Джонни так и подскочил на месте.

— Черт возьми, Тим! Ну и вид у тебя, парень!

— У горничной из отеля, Джонни, ухажер в пассажирском флоте.

— Кто-нибудь следит за тобой?

— Как будто бы нет.

Машина мчалась мимо редких освещенных витрин; затем у Рёлингсмаркта круто свернула направо, в сторону гавани.

— А за тобой, Джонни?

— Возможно, Тим. У меня уже примерно с час такое чувство, словно за мной наблюдают. Но это ведь только чувство, понимаешь? Пока я не заметил ни подозрительной машины, ни человека, который бы за мной следовал. И все-таки мы сейчас свернем в боковую улицу.

Теперь, рядом с рулевым, Тим почувствовал себя спокойнее. Он представлял себе раньше эту поездку ночью в такси гораздо драматичнее. И хотя они ехали сейчас по таинственным, темным переулкам, это были, пожалуй, самые безмятежные минуты за последние сутки — сутки, похожие на приключенческий роман.

Джонни вел машину твердой, уверенной рукой, все увеличивая скорость. Время от времени он поглядывал в зеркало. Нет, как будто никто их не преследовал.

Но машина, внезапно вынырнувшая откуда-то из переулка, уже ехала за ними на некотором расстоянии с потушенными фарами.

Несколько раз Тим пытался задать Джонни вопрос о Креши-мире. Но тот перебивал его:

— Погоди-ка, вот сейчас увидишь его самого! Погоди, Тим, очень тебя прошу!

— А можно спросить тебя, Джонни, про другое — не про Крешимира?

— Про что же?

Они проезжали уже район Альтоны.

— Откуда ты узнал, что мы с бароном прилетели на самолете?

Рулевой улыбнулся:

— Ты помнишь человека по имени Селек Бай?

— Еще бы!

— Он связался с нами по телефону и сообщил нам об этом. Когда приземлился ваш самолет, мы наняли все такси, стоявшие возле аэродрома, и вам пришлось волей-неволей сесть в мою машину, вернее, не мою, а моего тестя.

— А откуда вы узнали, что мы найдем такси? Ведь обычно мы ездим на машинах фирмы.

— Селек Бай знал, что вы прибываете в Гамбург инкогнито, Тим. Даже фирма не была извещена о вашем прибытии. Мысль напустить на барона твою мачеху тоже принадлежит Селек Баю. Пригодилось это тебе на что-нибудь?

— Нет, Джонни, ничего мне не помогло. И если уж Крешимир мне не поможет, тогда...

— Даю голову на отсечение, Тим... Погоди немного.

Они были уже совсем близко от шоссе, проходившего по берегу Эльбы, совсем близко от предместья Овельгёне.

Вдруг Джонни ни с того ни с сего рассмеялся.

— Что с тобой?

— Да я вспомнил про твою сделку с бароном! Как ты променял свои акции на пароходство! Я, конечно, тут же вмешался и сразу назвал пароходство, про которое знал наверняка, что его вот-вот продадут. Ты и в самом деле получил его?

— Контракт лежит у меня в кармане, рулевой!

— Здорово! ГГП — это ведь просто клад, а не пароходство! Если тебе понадобится рулевой...

Они уже выехали на шоссе, тянувшееся вдоль берега Эльбы, и теперь Джонни заметил в зеркало машину с потушенными фарами, следовавшую за ними на некотором расстоянии.

Он ничего не сказал Тиму, только еще увеличил скорость и теперь то и дело поглядывал в зеркало.

Тим что-то говорил, но Джонни его не слушал. Он увидел, что машина, шедшая сзади, тоже увеличила скорость и понемногу их нагоняет.

Тормоза заскрежетали и взвизгнули. Свободной рукой Джонни удержал Тима, чтобы тот не налетел лбом на ветровое стекло. Такси резко остановилось. Машина без фар пронеслась мимо.

— Вылезай! — рявкнул Джонни.

До них донесся скрежет и визг тормозов другой машины. Рулевой, схватив Тима за руку, потащил его за собой. Они помчались по шоссе, спустились бегом по крутой узкой лестнице вниз, к набережной, бросились вправо через кустарник, перемахнули невысокую каменную ограду, очутились в длинном пивном погребе, выскочили в другую дверь и, еще раз перескочив через ограду, побежали вниз по замшелой каменной лесенке, еще круче прежней.

— Что случилось, Джонни? Нас все-таки кто-то преследует?

— Молчи, Тим, береги дыхание. Мы выиграли время, надо этим воспользоваться. Внизу стоит Крешимир.

Тим споткнулся. Джонни подхватил его на руки и сбежал с ним с последних ступенек. Взгляд Тима упал на освещенную табличку, прибитую внизу лестницы: «Чертов спуск».

Джонни поставил Тима на землю и свистнул. Где-то поблизости раздался ответный свист.

— Тут же исполняй, что скажет Крешимир! — шепнул Джонни.

Из темноты вынырнули две фигуры: Крешимир и господин Рикерт.

— Давай руку, Тим! Держи со мной пари, что ты получишь назад свой смех. Быстрее! — Это был родной голос — голос Крешимира.

Тим в смятении протянул ему руку.

— Держу пари...

— Стой! — раздалось на самом верху лестницы. — Стой!

Но никого не было видно.

Крешимир сказал спокойно и твердо:

— Держу пари, что ты никогда не получишь назад своего смеха, Тим! На один грош!

— А я держу пари...

— Стой! — снова донеслось сверху.

— Не слушай, продолжай! — шепнул Джонни.

— А я держу пари, Крешимир, что верну назад свой смех! На один грош!

Джонни разбил руки спорящих. И вдруг наступила зловещая тишина.

Тим заключил пари, как ему подсказали, но он все еще не понимал, что случилось. Он стоял растерянный и онемевший. Три дорогих лица, едва освещенные светом далекого фонаря, были обращены к нему с выражением ожидания. Его же лицо на-

ходило в тени, только кусочек лба белым пятнышком светился в темноте.

Господин Рикерт не сводил глаз с этого бледного лба. Он уже видел однажды лицо Тима, освещенное точно так же. Во время спектакля кукольного театра — в задней комнате трактира, в нескольких шагах от которого они сейчас стояли. «Так человек природой награжден: когда смешно, смеяться может он!» О, неужели он может наконец смеяться?..» — с тревогой и надеждой думал господин Рикерт.

И Крешимир, и Джонни тоже не отрывали взгляда от освещенного лба Тима — единственного пятнышка на его лице, белевшего в темноте.

Тим стоял, опустив глаза в землю. И все-таки он чувствовал на себе эти спрашивающие взгляды. У него было смутное чувство, будто что-то должно сейчас подняться в нем, выйти из неволи, что-то тихое, легкое, свободное, словно птица, словно щебет ласточки, рвущейся на простор. Но сам Тим был как бы еще слишком тяжел для этого, и он чувствовал себя беспомощным. Да, он слышал их, эти переливы с веселым, захлебывающимся смешком на конце. Но он словно все еще не владел своим прежним смехом: скорее, этот смех овладел им. Теперь, когда наступил долгожданный, выстраданный за долгие годы миг, Тим почувствовал, что сам он еще к нему не готов. Нет, он не смеялся — его сотрясал смех. Пришел час его счастья, а он... он был отдан на произвол этому счастью. Тогда, в кукольном театре, он заметил, как внешне, мимикой и движениями, смех похож на плач. Теперь ему казалось, что смех и плач — это почти одно и то же: он плакал и смеялся одновременно. Слезы катились по его щекам; он бессильно опустил руки; он даже не смотрел на своих друзей. У него было такое чувство, словно он рождается заново.

И тут произошло нечто удивительное: Тим увидел сквозь слезы, застилавшие ему глаза, три светлых лица, приблизившиеся к его лицу, и вдруг почувствовал, что настоящее смешалось с прошлым. Он снова был маленьким мальчиком и стоял перед окошком кассы на ипподроме: он выиграл деньги, очень много денег. Он плакал от счастья, что выиграл, и от горя, что отец его умер и уже никогда больше не разделит с ним его счастья. И тогда он слышал скрипучий, гортанный голос: «Э, парень, кому привалило такое счастье, тому уж хныкать нечего...»

Тим поднял глаза. Из какого-то уголка его памяти должен был сейчас возникнуть человек с помятым лицом и в помятом костюме. Но образ этого человека то и дело расплывался. Вместо него перед глазами Тима вставал другой образ: живой, огромный Джонни. И когда он увидел рулевого Джонни, к нему снова вернулось настоящее: ночь перед трактиром в Овельгёне, свет

на лестнице, ведущей вверх, в темноту, и трое друзей — на их лицах, казалось, вот-вот проступит нерешительная улыбка.

Его возвращенный смех был словно буря. А теперь наступило затишье, буря улеглась. Тим снова почувствовал власть над своим смехом. Он вытер рукой слезы и спокойно спросил:

— Помните, господин Рикерт, что я обещал вам, когда уезжал из Гамбурга?

— Нет, Тим.

— Я сказал: когда я вернусь, я буду смеяться. И теперь я смеюсь, господин Рикерт! Я смеюсь, Крешимир! Джонни, я смеюсь! Только... — переливы со счастливым, захлебывающимся смешком помешали ему говорить. — Только я сам не пойму, как это случилось...

Друзья Тима, начинавшие уже бояться, как бы он не потерял от счастья рассудок, очень обрадовались, что он снова говорит так разумно.

— Ты давно уже мог бы смеяться, — улыбаясь, сказал Крешимир.

— Не понимаю.

— Ну-ка повтори, какое пари ты со мной заключил, Тим?

— Я поспорил с тобой, что получу назад свой смех.

— Верно. Что должно было случиться, если бы ты выиграл?

— Я получил бы назад мой смех. И я правда его получил!

— Но ты получил бы его и в том случае, если бы проиграл, Тим!

И тут Тима осенило. Он со смехом ударил себя по лбу и крикнул:

— Ну конечно! Ведь проигранное пари должно было вернуть мне мой смех. Значит, я мог поспорить с любым человеком, что получу назад мой смех! И все равно, проиграл бы я или выиграл, мой смех вернулся бы ко мне!

— Нет, парень, — сказал Джонни, — не так-то уж все это просто. Ты никак бы не мог поспорить с первым попавшимся человеком. Ведь тогда ты бы выдал себя, сказав, что твой смех тебе не принадлежит. А этого сделать ты не мог. Спорить можно было только с тем, кто сам догадался про твой контракт с Тречем.

— Со мной, — добавил Крешимир, — дело было верное! Успех был обеспечен!

Теперь, когда к Тиму снова вернулся его смех и он словно выздоровел, он понял вдруг, как все это было просто. А он-то в смятении и отчаянии столько лет пробирался окольными путями, вместо того чтобы выйти на прямую дорогу! Он-то разрабатывал запутанные планы, в которых ворочал акциями и миллионами! А смех, оказывается, можно было вернуть назад куда более

легким способом, и стоило это дешевле, чем сто граммов маргарина, — всего один грош.

Значит, так дешев смех, если считать на деньги. Но настоящую его цену не измерить никакими миллионами. «Смех, — сказал тогда Селек Бай, — это не маргарин, не товар для купли-продажи... Смехом не торгуют. Его можно только заслужить».

Л и с т т р и д ц а т ь т р е т и й

ВОЗВРАЩЕННЫЙ СМЕХ

Дождь уже не моросил, а лил как из ведра. Но никто из них этого не замечал. Никто не слышал и нетвердых тяжелых шагов по лестнице. Только сейчас, когда все на минутку замолчали, стало ясно, что кто-то ощупью спускается вниз по каменным ступенькам, и все, как по команде, обернулись.

По узкой лестнице, постепенно выступая из темноты, сходила вниз худощавая, шатающаяся фигура. В свете фонаря возникли длинные ноги в черных брюках и бледные руки с длинными пальцами; затем появилась белая манишка, и над ней длинный овал лица. Наконец вся фигура вынырнула из тьмы и стояла теперь полностью освещенная под табличкой с надписью: «Чертов спуск». В изнеможении она прислонилась к стене из тесаных камней.

Это был барон.

Еще мгновение — и из груди Тима вырвалась бы переливчатая трель. Это было и вправду смешное зрелище. Это был черт из кукольного театра — кукла, фигура настолько комичная, что вызвала чуть ли не сострадание.

Но Тим Талер — мальчик, который снова умел смеяться, — удержался от смеха.

Барон сел на ступеньку и взглянул — с поджатыми губами и белым как мел лицом — на людей, стоящих внизу. Тим поднялся к нему на ступеньку.

— Вам надо вернуться в больницу, барон.

Треч взглянул на него снизу вверх. Губы его были крепко сжаты.

— Вам нельзя здесь сидеть, барон!

Теперь наконец Треч раскрыл рот. Он спросил хрипло:

— На что вы спорили, господин Талер?

— На грош, барон.

— На грош? — Барон подскочил. Потом снова прислонился к стене. И вдруг взвизгнул каким-то бабьим голосом: — Да ведь вы же могли поспорить на все мое состояние, болваны!

Знакомый Тиму шофер сбежал вниз по лестнице:

— Господин барон, вам нельзя так волноваться!

— Дайте мне поговорить еще две минуты с молодым человеком! Потом можете везти меня в больницу.

— Я не отвечаю за последствия, господин барон!

Шофер поднялся на несколько ступенек и остановился в нерешительности. У подножия лестницы стояли Джонни, Крешимир и господин Рикерт — словно молчаливая стража Тима.

— Можно мне на вас опереться, господин Талер?

— Ну конечно, барон. Сил у меня достаточно.

Он сказал это с едва заметной улыбкой. Барон оперся о его плечо.

— Ваше наследство, господин Талер...

— Я от него отказываюсь, барон!

Барон запнулся, но всего на секунду, затем продолжал:

— Это вполне разумно и значительно упрощает дело. Благодаря вашему пароходству, я думаю, вы будете жить довольно прилично. Во всяком случае, не будете знать нужды.

— Пароходство, барон, я дарю моим друзьям.

Глаза барона удивленно расширились — это было видно даже сквозь темные стекла его очков.

— Так, значит, вам, господин Талер, наш контракт не принес никакой выгоды? Вы остались таким же бедняком, каким были? С погоревшим кукольным театром...

Теперь Тим разрешил себе усмехнуться:

— Вы правы, барон. Я кончил тем, с чего начал. Но то, чем я владею, приобрело для меня за последние годы ценность, не сравнимую ни с одной акцией в мире.

— О чем вы говорите?

Вместо ответа Тим просто рассмеялся. Барон почувствовал, как под его рукой дрожит от смеха плечо молодого человека. Он услышал в его смехе какие-то новые нотки. Более низкие звуки, более глубокие тона сопровождали, казалось, словно аккомпанемент, его светлый смех. Треч обернулся и махнул рукой шоферу. Тот поспешно спустился вниз и подставил барону свое плечо. Они начали медленно подниматься вверх.

— Счастливого выздоровления, барон! Поправляйтесь скорее! И спасибо за все, чему вы меня научили!

Треч не оборачивался. Шофер услышал, как он пробормотал:

— «Поправляйтесь! Будьте целы и невредимы!»! Как же! Будешь тут цел и невредим!

Тим глядел вслед барону, пока того не поглотила тьма. Друзья поднялись по лестнице и стояли теперь рядом с Тимом. Они тоже смотрели вслед уходящему Тречу. Джонни пробормотал:

— Богат, как черт, а вообще-то эх и бедняга! Ни черта у него, в сущности, нет, у старого черта!

И все четверо тоже стали взбираться вверх по ступенькам. Они слышали, как заработал мотор машины. Потом шуршание шин, ставшее было совсем явственным, начало удаляться.

И вот они вышли на шоссе, тянущееся вдоль Эльбы. На той стороне его чернел контур такси Джонни.

— Поставьте пока машину в мой гараж, Джонни,— сказал господин Рикерт,— а мы пройдемся немного пешком.

— Вы живете все там же, господин Рикерт? В белой вилле здесь, на шоссе? А барон мне рассказывал, что вы стали докером...

— Я и вправду стал докером, Тим. Завтра я тебе все объясню. Ведь ты, я думаю, не против погостить у нас, правда?

— Ну конечно, господин Рикерт! Ведь я должен доказать вашей маме, что я могу смеяться, если...— он отвернулся,— если она...

— Да что ты, Тим, она жива и здорова! И вполне бодр. Пошли!

Вход в виллу был ярко освещен. Белая дверь с полукруглым балконом над ней, охраняемая двумя белыми каменными львами, казалась светлым островом в море темноты, долгожданной родной землей после долгих скитаний по бурным неведомым морям.

Тим проглотил подступившие слезы, когда проходил мимо добрых львов. А когда дверь отворилась и навстречу ему вышла, опираясь на палочку, старенькая госпожа Рикерт с белыми кудряшками, ему пришлось взять себя в руки, чтобы не броситься с ревом ей на шею. Те невнятные звуки, которые вырвались из его груди, когда он остановился, подойдя к ней совсем близко, были чем-то средним между смехом и плачем. А может быть, они должны были означать: «Ну, госпожа Рикерт, что вы теперь про меня скажете?» Но понять этого не мог бы ни один человек на свете. Да никто и не старался ничего понимать.

Теперь команду приняла госпожа Рикерт.

— Ну как, все в порядке, Христианчик? — обратилась она к сыну.— И когда сын кивнул утвердительно, сказала, вздохнув с облегчением: — Ну, ребята, теперь нам есть что отпраздновать! Но сейчас мальчику пора в постель. Он прямо с ног валится от усталости!

И Тиму — хотел он того или нет — пришлось отправиться спать. Но тут оказалось, что это было самое правильное, потому что не прошло и несколько секунд, как он заснул крепким сном.

На следующий день госпожа Рикерт позаботилась о том, чтобы к моменту пробуждения Тима оказаться с ним наедине.

Это было нетрудно: Тим проснулся чуть ли не в полдень, когда все давно уже ушли на работу.

Они отлично позавтракали вдвоем. Госпожа Рикерт больше всего на свете любила завтракать и потому с удовольствием позавтракала во второй раз. А после завтрака Тиму пришлось рассказать ей со всеми мельчайшими подробностями все, что он пережил с момента отъезда из Гамбурга. И он это сделал с явным удовольствием.

Размахивая над головой газетой, он кричал по-итальянски:

— «Sensazione, sensazione! Барон Треч умер! Четырнадцатилетний мальчик — самый богатый человек на земле!»

«Как он возмужал! — подумала фрау Рикерт, глядя на Тима. — И как хорошо научился говорить на иностранных языках!» И снова принялась внимательно слушать его рассказ.

Тим рассказывал ей свои приключения так, словно это была комедия — веселый, смешной спектакль. Теперь, когда он снова владел своим смехом, многое из того, что раньше выглядело страшным, оказалось и в самом деле комичным. Он рассказывал о невероятных спорах с Джонни, о том, как разбилась вдребезги люстра в отеле «Пальмаро», о картинах в Генуе и в Афинах, о тайных переговорах и заговорах в замке, о Селек Бае, об афере с маргарином, о кругосветном путешествии, о возвращении в Гамбург, о мачехе с Эрвином и о «черном часе трамваев».

Затем наступил черед рассказывать госпоже Рикерт. И она приступила к этому делу с лукавой обстоятельностью:

— Знаешь, Тим, когда ты не вернулся тогда из Генуи и у нас здесь появился сперва Крешимир, а потом этот молодчага Джонни, я сразу догадалась, что все это неспроста. Но они не хотели мне говорить, что случилось. У меня, видите ли, порок сердца. Да ведь он у меня уже больше восьмидесяти лет, и мы с ним прекрасно спелись, этот порок и я. Ну вот, я и решила немножко пошпионить. И тут я нашла письмо, которое ты послал из Генуи с Джонни. Теперь-то уж я узнала чуть-чуть побольше...

Старушка считала теперь Тима уже не мальчиком, а молодым человеком и сперва пыталась говорить с ним «литературно», но вскоре опять сбилась на свою обычную гамбургскую скороговорку:

— Вот я и шпионю, вот я и подслушиваю, когда Христиан шепчется с Крешимиром и этим медведем Джонни. Правда, те не очень-то часто к нам приходили — ведь они работали в доках. Другой-то работы им не давали. Ничего не выходило! Прямо чертовщина какая-то! Ну настоящая чертовщина! Ну, в общем, все, о чем они там шушукались, мне тоже было известно. И я, конечно, знала, что моего сына сняли с работы, хотя они изо всех сил от меня это скрывали...

— А он правда стал докером? — перебил ее Тим.

— Да, это правда. Работал в порту рабочим. Ты ведь не знаешь, как у нас тут, в Гамбурге, Тим. У нас, если кого уволят, тут же начинаются сплетни. И такую напраслину на человека возведут, что его уж никто больше не возьмет на работу. Понятно?

Тим кивнул.

— Правда, у меня ведь есть наследство. Главным образом в бумагах.

— В акциях? — спросил Тим.

— Да, в акциях, малыш. Ты, выходит, немного разбираешься в этом? Ну, и мой сын вроде бы не должен был становиться портовым рабочим, раз я, можно сказать, богатая наследница. Но такой уж он человек. Без работы никак жить не может. А без порта и вовсе пропадет. Вот он и пошел в докеры. Но переодевался, уже когда приходил в док. Из порта выходит элегантным господином и таким же домой возвращается. Думает, я не замечу, что работа-то у него теперь другая. Все равно, мол, я дома сижу. А телефон-то на что же?

Тим не мог удержаться от смеха, и госпожа Рикерт сама рассмеялась.

— Не такая уж я старая дура... Ну, конечно, я старая дура, но не такая уж, как они думали. Ведь это я первая сговорила с Селек Баем, когда он сюда позвонил. Вот тут-то господа заговорщики мне все и рассказали. Ну, я, конечно, сделала вид, что ни о чем и не догадывалась. Смотрю на них, вытаращив глаза, и пишу: «Да не мо-ожет быть!» Ну и, знаешь, в таком духе. В общем, посвятили они меня в эту тайну. Я и записочку тебе написала. С лупой писала. Это мы еще в школе, девчонками, так писали — целые дни упражнялись. Я в этом деле была самая первая. Один раз даже целый роман переписала на двух тетрадных страничках. Честное слово!

— Да не мо-ожет быть! — расхохотался Тим.

— Ах вот как, ты надо мной смеешься, шалопай!

Раздался звонок, и госпожа Рикерт попросила Тима пойти посмотреть, кто пришел. Это был рыжий бой из отеля: обливаясь потом, он стоял перед дверью с чемоданами в руках.

— Мне велели передать вам ваши вещи, господин Талер, — сказал он, расплываясь в улыбке.

— Еще вчера вы называли меня мистером Брауном! Откуда же вы сегодня узнали, кто я такой?

Бой снова широко улыбнулся.

— А вы что, газет не читаете?

— Ах вот оно что!

Тим немного смутился. Потом он полез в карман, но рыжий решительно тряхнул головой.

— Можете с чистой совестью оставить это себе, господин Талер. Я могу заработать кучу денег в газете, если расскажу, как я вчера вечером отвлекал шпика. Можно мне это сделать?

Тим рассмеялся:

— Давай, раз тебе уж так не терпится.

— Большущее спасибо! Внести чемоданы?

— Спасибо, это уж я сам сделаю. Только не рассказывай в газете приключенческих романов.

— А на что? В этом нет никакой нужды. История и без того очень захватывающая! — Он снова протянул Тиму руку. — Итак, еще раз желаю удачи, Тим!

— Спасибо. Желаю удачи в газете!

Между двумя добрыми каменными львами смеющиеся мальчишки крепко пожали друг другу руки. Потом рыжий снова вскочил в машину, доставившую его из отеля, а Тим понес чемоданы в дом.

Еще в тот же самый день Тим отправился вместе с Джонни, Крешимиром и господином Рикертом к нотариусу — старому другу госпожи Рикерт, — и тот оформил документ, согласно которому пароходство «Гамбург — Гельголанд. Пассажирское», сокращенно называемое ГГП, передавалось на равных правах во владение Джонни, Крешимиру и господину Рикерту. Правда, этот документ вступал в силу не сразу, так как необходимо было выполнить еще целую кучу всяких формальностей, а это требовало времени, ведь Тим теперь уже не был наследником миллионера. Но на все это должно было уйти не больше двух недель. Так, по крайней мере, сказал нотариус.

Сначала друзья Тима очень противились этому подарку. Но когда Тим заявил, что в таком случае он вынужден будет подарить пароходство кому-нибудь другому, они согласились. И даже не без радости. Господин Рикерт был еще достаточно бодр и крепок, чтобы принять дела в конторе Денкера на Шестом мосту, а Джонни и Крешимиру было, конечно, куда приятнее работать рулевым и стюардом на своих пароходах, чем на чужих.

Когда все четверо вышли из конторы нотариуса — она находилась поблизости от Главного вокзала, — Джонни спросил:

— А ты чем думаешь теперь заняться, Тим?

Тим показал рукой направо:

— Вон в том старом доме помещается кукольный театр. Он мой. Я превращу его в бродячий театр марионеток.

— Для этого тебе нужен автобус, — сказал Крешимир.

— И переносная сцена, — добавил Джонни.

— И это, — заключил господин Рикерт, — подарим тебе мы, малыш. Никаких возражений, а не то придется тебе получить назад свое пароходство!

— Ладно, согласен! — рассмеялся Тим и серьезно прибавил: — Как здорово, что у меня вас целых трое!

— И Селек Бай! — заметил господин Рикерт.

— И Селек Бай! — весело согласился Тим. — А вообще-то надо бы послать ему телеграмму!

И, не откладывая дела в долгий ящик, они составили телеграмму...

В далекой Месопотамии старый Селек Бай радостно улыбнулся, прочитав:

К черту маргарин тчк Смех получают задаром тчк Я получил его тчк Большое спасибо за содействие тчк

Ваш Тим Талер.

Так в этот день закончилась история, которая в этот же день только началась для читателей газет и журналов. Правда, читатели узнали ее по сообщениям журналистов и репортеров в таком виде, как те ее поняли, а надо сказать, что большинство из них не поняли ее вовсе.

Господин Рикерт снова стал директором пароходства, Джонни — рулевым, а Крешимир — стюардом.

Что касается барона Треча, то о нем в последнее время приходится слышать очень редко. Надо думать, что он почти все время проводит в полном одиночестве и в плохом настроении в своем замке в Месопотамии. Он стал, говорят, сторониться людей и даже побаиваться их. Тем не менее он все же превосходно ведет коммерческие дела и заключает блестящие сделки.

О Тиме известно очень мало. С уверенностью можно сказать только, что он вместе со старенькой госпожой Рикерт написал пьесу для кукольного театра, которая называется «Проданный смех». Затем он исчез из Гамбурга, и ни одному репортеру не удалось узнать, куда его занесло.

Правда, кое-какие следы Тима кому-то все же посчастливилось обнаружить. На кладбище в одном из больших городов Германии возле мраморной плиты на одной из могил кто-то положил венок, на ленте которого написано: «Я вернулся, когда смог смеяться. Тим».

Последние сведения о Тиме поступили из одной булочной-кондитерской того же города. Несколько лет тому назад туда явился какой-то очень вежливый молодой человек. В первый момент хозяйка кондитерской даже его не узнала. Но когда она спросила, что ему угодно, он вдруг состроил мрачную гримасу и пробормотал:

— Я хочу ограбить директора водокачки, фрау Бебер!

— Тим Талер! — воскликнула пораженная булочница.

Но молодой человек приложил палец к губам и сказал:

— Тсс! Не выдавайте меня, фрау Бебер, меня теперь зовут Энрико Грандици, и я владелец самого веселого театра в мире — театра марионеток под названием «Ящик с маргарином».

— Ах, как забавно! — воскликнула фрау Бебер. — Я как раз вчера случайно попала на представление этого кукольного театра. Какой-то незнакомец прислал мне билет. А может быть, это... — Она пристально посмотрела на Тима. — А может быть, это был какой-нибудь знакомый?

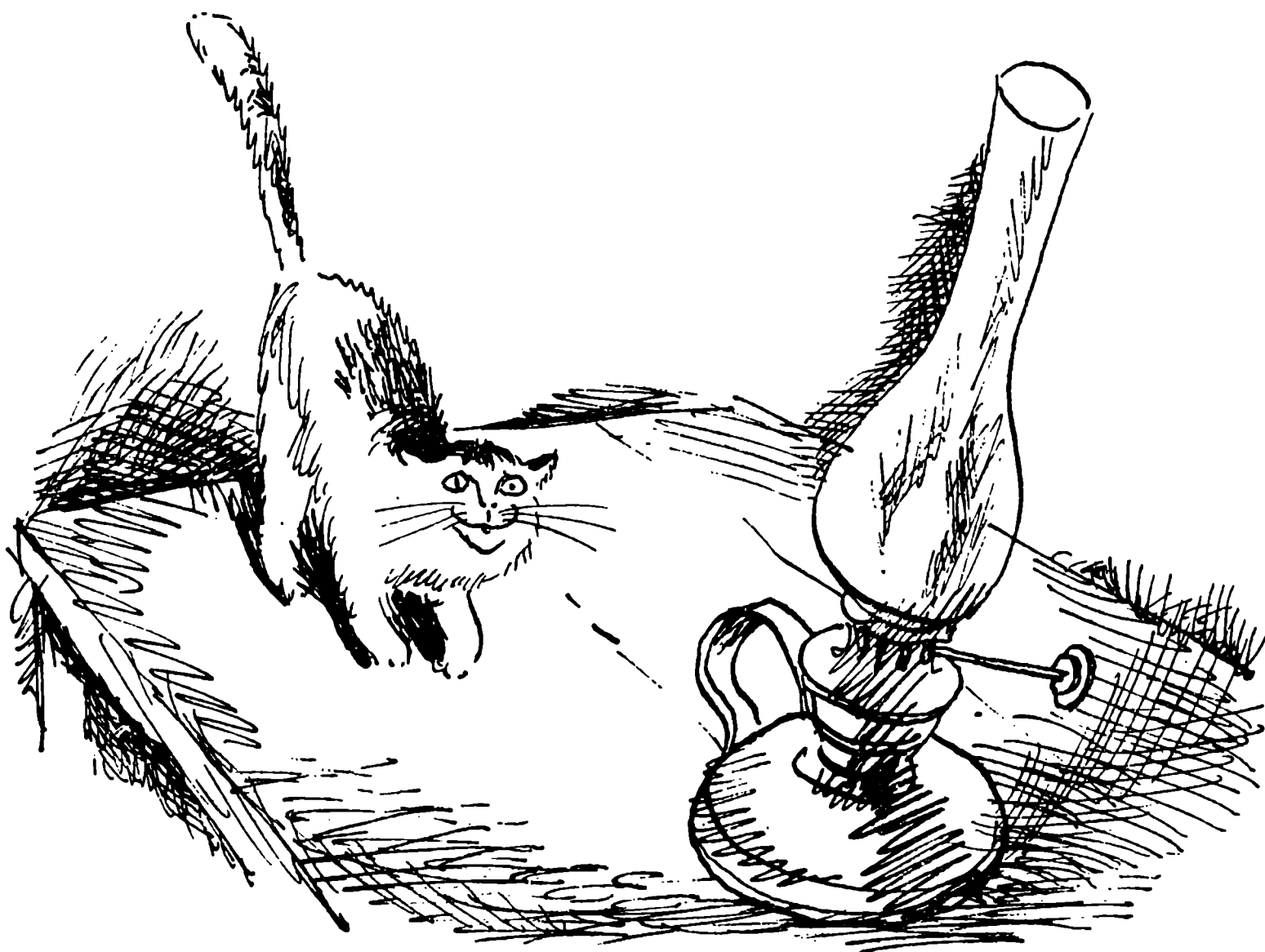
— Может быть, — ответил молодой человек, и возле уголков его губ появились два веселых полукруга.

— Там как раз шла пьеса о проданном смехе, — продолжала фрау Бебер. — Очень хорошее представление! Столько разных мыслей приходит в голову! Все думаешь, думаешь...

— О чем же вы думали, фрау Бебер? — поинтересовался молодой человек.

— Да видишь ли, Тим... Сказать тебе откровенно, сперва мне было как-то не по себе... Жутковато... Зато уж в конце я хохотала до слез! И тут я подумала: «Кто смеется, с тем сам черт не сладит!»

— Неплохо сказано, фрау Бебер, — заметил молодой человек. — Вот так и надо справляться с чертями! Только так и обломаешь черту рога!



Ян Грабовский

ЕВРОПА

1

Европа? Часть света? Так о чем пойдет речь — о географии, что ли?

Ничего подобного. Европа — это кот, вернее, кошка.

Она свалилась к нам как снег на голову. Вернее, как дождь. Было это ранней весной. Зарядил проливной дождь, и надолго. Было холодно. Уже несколько дней не хотелось носа на улицу показать. Собаку на двор не выгонишь.

Видали такую чудную погоду? Видали? Тогда не удивляйтесь, что Крися, моя племянница, изо всех сил старалась не скучать и, несмотря на это, скучала. Я заметил это по вопросам, которые она мне задавала. Не сказать чтобы они были особенно умные:

— А что было бы, если бы на дубе росли груши? А что было бы, если бы вода была не мокрая?

Слышали такие вопросы? Ну, так позвольте мне их вам не повторять. Я люблю Крису, и, поверьте мне, она девочка милая и неглупая. Но затянувшаяся непогода хоть кого выведет из равновесия.

Наконец Крисенька вытащила свою любимую куклу Розочку. Что-то ей не понравилось в куклиной юбке. Начались примерки, кройка, шитье. Ножницы шелкали, да и языку доставалось. Потому что Крися, когда что-нибудь делала, мучила свой язычок, будто именно на него взъелась. Прикусывала его то с одной стороны, то с другой. И если только язык шел в ход, можно было не сомневаться, что Крися чем-то серьезно занялась.

— Ты слышишь?

— Что?

— Послушай-ка!

Крися оставила свои лоскутки. Мы наострили уши. За окном слышался явственный писк.

— Ребенок плачет,— говорит Крися.

— Тогда, наверно, очень маленький.

— Наверно, ребенок,— повторяет Крися.— Темно на дворе, он заблудился и не может попасть домой. А там мама волнуется!

— Так зачем же она отпустила такого малыша?

— Потому что не могла с ним пойти. Может, у нее еще дети есть, больные? О боже, как плачет! Пойдем! Надо ему помочь. Возьмем его, погреем, узнаем, где живет...

Крися уже готова была выйти.

— Давай откроем окошко,— говорю ей.— Плачет-то за окном. Посмотрим, кто там такой.

— Нет, нет! Чего там смотреть! Надо принести малыша в комнату,— упрямо твердила Крися.

Она уже направилась к выходу.

— Погоди-ка,— говорю я ей, открывая окно.— Может, этот ребенок к нам сам придет.

Мы услышали жалобный писк, хныканье, плач. Но того, кто плакал, не было видно. Крися высунулась в окошко. Я посветил лампой.

— Вот он! Вот он! Господи, какой мокрый!

На подоконнике сидел котенок. Он весь пропитался водой и, видимо, озяб. С него так и лило, когда мы внесли его в комнату.

Вид у него был очень несчастный. Бедняжка плакал, широко открывая розовый ротик.

— Тетя Катерина, тетя Катерина! У вас есть огонь в кухне? Дорогая тетя, разведите огонь! — кричала Крися.

Она потащила котенка в кухню. Там, вдвоем с Катериной, они принялись вытирать его, сушить, кормить, поить.

Вы видели когда-нибудь мокрую кошку? Ох и безобразно она выглядит! Она перестает быть кошкой. Становится какой-то облизанной кишкой на четырех ногах. Ничего пушистого! Мерзость!

И наш гость в первую минуту показался мне очень некрасивым. Поэтому я решил познакомиться с ним лишь после того, как его туалет будет окончен.

Я зашел в кухню. На теплой плите лежал тряпичный сверток.

— Спит, — шепнула мне Крися. — Не буди его, дядя!

— погоди, дай котенку выспаться, — буркнула и Катерина, когда я потянулся к свертку. — Насмотришься досыта, когда бедняжка отдохнет!

«Ого, — думаю, — Крисенька завербовала Катерину на сторону кота!»

Учтите: наша Катерина всегда заявляла, что все кошки фальшивые твари, рассказывала, будто знала семью, где кошка задушила ребенка, твердила, что при одном виде кошки ей делается дурно.

— А как же нам быть с собаками? — спрашиваю.

— Пусть хоть одна попробует его тронуть, я ей покажу! — говорит Катерина. — Ты тут зачем? Кто тебя звал? — крикнула она на Тупи, который, привлеченный голосами в кухне, зашел поглядеть, что тут происходит, в надежде — не дадут ли, случайно, лишний раз вылизать миски?

Тупи исчез молниеносно. Тем более что Катерина схватила выбивалку. Выбивалки этой все собаки боялись как огня. Неизвестно почему. Никогда ни одну из них никто не тронул выбивалкой.

— Тетя, вы разбудили котеночка! — с укоризной воскликнула Крися, видя, что сверток пошевелился.

Она подбежала к плите. Склонилась над тряпками и Катерина. Обе пробовали убаюкать котенка. Но ничего у них не вышло.

Из свертка высунулась белая мордочка. Огляделась, с аппетитом зевнула. Потом вылез весь котенок. Посмотрел направо, посмотрел налево, посмотрел на нас.

— Смеется! Смеется! — крикнула Крися и хотела схватить котенка на руки.

— Вот еще — кошка смеется! — оборвала ее Катерина. — Не тронь его, Крися. Поглядим, что он сделает!

Малыш отряхнулся.

— Дядя, да ты погляди, какой хорошенький! Правда ведь, прелесть? — восхищалась Крися.

— Посмотрите, — говорю, — какое у него забавное пятно на спинке. Как будто у него там карта нарисована. Карта Европы.

— Да, да! Европа! — радовалась Крися. — Пусть так и называется — Европа. Дядя, пусть называется Европой! Не так, как все!

— Ладно. Европа так Европа, — согласился я.

Катерина возмущенно загромыхала кастрюлей.

— Слыханное ли дело, чтобы кто так называл кошку?! Да как можно так издеваться над божьей тварью? Все у нас не так, как у людей! Одна собака — Тупи, другая — Чапа, как на смех!

— Да тетя же... — начала Крися.

— И слышать не хочу таких глупостей! Брысь ты! — крикнула она на котенка, который покотился по плите пробку.

— Катеринушка, — говорю, — Европа — это часть света, в которой мы живем.

— Я не в Европе живу, а в Раве!

— И еще Европой звали красивую женщину, такую красивую, что, когда ей однажды захотелось покататься, греческий бог Зевс превратился в быка и сам катал ее на своей спине, понимаешь?

— Знать ничего не хочу про каких-то греческих чучел! Ладно, для вас Европа, а для меня Милок. Милок, и все. На, Милок, попей молочка!

Так и стал наш пятнистый котенок носить двойное имя: для нас с Крисей был Европой, для Катерины — Милком. Получалось, как будто у него есть имя и фамилия. Дальнейший ход событий показал, что его надо было звать Европа Милок, а не Милок Европа. Почему? Скоро сами узнаете.

2

Вы, конечно, знакомы с маленькими котятами и знаете, какие это веселые создания.

— А наша Европа — самый веселый котенок на свете, — твердила с глубоким убеждением Крися.

— Да, такого озорника, как наш Милок, я еще не видывала! — вторила ей Катерина.

Целых три дня шел дождь. Что в это время у нас творилось, трудно себе представить. Котенок наполнял собой весь дом. Только что прыгал по бумагам, а вот он уже на шкафу. Гоп! — и он на занавеске. С занавески — на буфет. Гуляет по стаканам, по бокалам. Как-то он прыгнул на горящую керосиновую лампу. Обжег себе лапки. Но и не подумал плакать, жаловаться. Взъерошил шерстку, посмотрел на лампу сердито и фыркнул: «Пфф! Пфф!» — да так сильно, что ламповое стекло, не выдержав кошачьего презрения, лопнуло и разлетелось вдребезги.

Котенок ездил в корзинке для бумаг, катал катушки по всем комнатам, разматывал все клубки. Катерина однажды целый день искала моток, который он затащил под кушетку в гостиную.

— Милок, смотри у меня! — грозила она ему.

Но что можно было поделаться с котеночком, который в ответ на все упреки лишь озорно косился на вас и смеялся во весь рот! Потом он потягивался, выгибал дугой спинку, хвост ставил трубой и с места прыгал вам на плечо. Потрется, ласково мурлыкая, о вашу щеку, раз, два — и его уже нет и в помине! Вот он, как бомба, упал среди кастрюль, в следующий миг сидит уже на печке, а спустя еще мгновение гоняет катушку под шкафом.

Не подумайте, однако, что котенок только забавлялся. Нет, он исследовал, изучал окружающий мир. И особенно занимали его три вещи.

Прежде всего — маятник настенных часов.

Котенок заметил его, когда сидел на шкафу. Притаившись, долго наблюдал за ним.

«Блестит и танцует! Интересная штука. Впервые вижу!»

Он осторожненько подкрался к часам. Часы были старые, с гириями. Котенок попробовал лапкой схватить маятник, но не мог дотянуться. Высунулся подальше и снова замахал лапкой.

— Киска, а ну-ка, брысь со шкафа! — говорю котенку.

Мне эти махинации не очень понравились, тем более что происходило это уже после случая с лампой.

Киска посмотрела на меня с презрением:

«Будет мне еще тут мешать, когда у меня такое интересное дело!»

Осмотрела часы с одной стороны, посмотрела с другой. Еще раз попробовала достать лапкой.

«Нет, так ничего не выйдет. Дай попробуем с полу!»

Одним прыжком она очутилась на полу. Подобралась вплотную к стене и смотрит вверх:

«Прыгнуть с земли, что ли?»

И как даст свечку! Едва не сорвала часы.

— А ну-ка, поди сюда, дружок, — говорю котенку. — Поломаешь мне часы. Знаем мы вашего брата!

Беру его на руки. Вырывается, царапается, фыркает от злости. Отдал его Крисе. Она его чем-то заняла. До вечера было тихо.

Катерина вносит ужин. С опозданием. Она не любит, когда ей об этом говорят, и все-таки начинает сама:

— Ах, батюшки, уже семь? Это, значит, я с бельем провозилась...

— Уже полвосьмого, — говорю.

— Как полвосьмого?! Как раз семь бьет!

Действительно, часы бьют. Бим! Бим! Бим! Считаем. Что такое? Семь, восемь... двенадцать, тринадцать, двадцать...

— Иисусе! Что же это? — кричит Катерина и — бух миску на стол.

А часы бьют и бьют.

Это котенок вцепился когтями в гирю для боя и едет с ней на пол. Как же тут часам не бить!

Я отцепил котенка. Он дал стречка под кровать. Но, думаете, испугался? Не тут-то было!

На другой день поутру — еще ставни были закрыты — слышу грохот и кошачьи вопли. Вскрываю с постели.

Часы едут по полу. Тянет их Европа, которая запуталась в цепочке и от ужаса кричит во все горло.

Прощайте, часы!

После часов Европа приступила к исследованию ванной. Едва услышав, что из крана льется вода, мчалась туда из самой отдаленной комнаты. Вскрывала на край ванны и впивалась глазами в водяную струю. Потом подбиралась как можно ближе и — хватать лапкой!

«Шумящая, прозрачная палка! И мокрая! Тьфу!» — кривилась она и отряхивала лапку.

Пробовала подобраться к струе с другой стороны, обойдя по краю ванну. Снова — хватать! И снова отряхивалась.

«Странно, странно! Где же у этой палки конец? — размышляла она и, нагибаясь, заглядывала в глубь ванны. — А, знаю!»

И забиралась под ванну. Там она долго искала конец струи. Потом опять — скок! И все повторялось сначала.

«Что за чудеса!» — думала Европа.

Наконец однажды она чуть не утонула. Решив схватить струю сразу двумя лапками, поскользнулась и бухнулась в почти полную ванну. Крися как раз собиралась купаться.

Сколько тут было плача, жалоб! Европа с перепугу орала так, словно с нее живьем шкуру сдирали.

Думаете, после купания она потеряла охоту к этим экскурсиям? Как бы не так!

На другой день она снова была в ванной. Исследовала дно ванны. Разгуливала, все внимательно осматривала и мурлыкала, словно чайник на плите.

Тут ей, видно, пришло в голову, что тайна скрыта не в ванне и не в кране, а в колонке. И без долгих размышлений она прыгнула прямо на раскаленный верх колонки.

«Яу! Ой-ой!» — крикнула она некошачьим голосом.

Долго потом бедняжка как ошалелая носилась по квартире.

И с тех пор уже избегала ванной. Тем более что в это время у нее нашлось другое занятие.

У Криси на окне стояла большая стеклянная банка. Там жили золотые рыбки. Европа целыми часами просиживала перед этой банкой.

Ей не давало покоя то, что вот она видит в прозрачной банке рыб, а добраться до них не может.

Вот какая-то рыбешка плывет прямо на нее. Европа притаилась, не спускает с нее глаз. «Ну вот сейчас поймаю, сейчас, сейчас! Прыгнуть — и все!» Кошечка напряженно ждет. Потом прыгает — и как мячик отлетает от стекла. Стукнулась головой о банку — вот и вся радость!

«Что ж, не удалось! Попробуем еще раз!» — говорит про себя Европа и подкрадывается к банке с другой стороны.

И снова — бах головой в стекло! И все-таки, несмотря на все удары судьбы, охота не прекращается.

На беду, кошке пришло в голову влезть на банку. Балансируя, как цирковой эквилибрист, прохаживалась она по краешку банки и, не спуская глаз с рыбок, обдумывала, как бы до них добраться. Всунет лапку — мокро. Вытянет ее поскорей и с отворачиванием стряхнет воду. А рыбы, как назло, плавают под самым носом. Ну вот же, вот они! Никак нельзя не сунуть лапку еще раз. И опять мокро! А испуганные рыбешки уходят на дно.

Европа решительно села на край банки.

«Ладно, будь что будет! Намокну — пускай, зато поймаю!» — решила она и наклонилась...

Результат?

Результатом было то, что банка брякнулась на пол, а Европа одним скачком очутилась на шкафу!

А уцелевших рыбок пришлось посадить в другую банку и запереть в кладовой...

— Крися, — говорю, — не слишком ли много хлопот с этой Европой? Банка-то ладно, а вот часы! Не знаю, можно ли их будет починить.

— Милосердие же не нарочно, — вмешивается Катерина. — Разве он что в кухне тронул хоть раз? Часы упали, потому что крючок ослаб.

— А банка?

— Если бы Европа знала, что банка может упасть, то она бы, наверно, ее не трогала, правда, тетя? — говорит Крися. — Вот вы, дядя, вчера сами разбили стакан. Все знают, что это вы нечаянно. Каждый может случайно разбить стакан. Это всем известно!

Всем, кстати, было известно и то, что я выпустил стакан из рук, потому что Европа неожиданно вскочила мне на плечо.

Но не ссориться же мне было с Катериной и Крисей! Я уж больше в дела Европы не вмешивался.

Знакомство Европы с нашими собаками произошло в первый же погожий день.

Европа вышла на порог. Солнышко пригрело, было светло и тепло. Кошечка с наслаждением потянулась. Огляделась. На пристенке, возле которого стояли собачьи миски, чирикали воробьи. Кошка припала к земле. Началась охота.

«Простите, барышня, что вы тут делаете?»

Европа оглянулась.

«Прочь, прочь!» — фыркнула она, увидев Чапу, который приближался к ней, вежливо виляя хвостиком.

«Не надо плевать, это нехорошо, — заметил ей Чапа и попятился. — Очень прошу меня извинить, но я хотел бы выяснить, откуда вы, барышня, взялись?»

«Из дома я пришла, из дома!» — объясняла ему Европа.

«Видите ли, мы, собаки, не верим никому до тех пор, пока не удостоверимся лично. Разрешите...» — шепнул Чапа и вытянул к кошке морду.

Понюхал. Но еще не поверил:

«Как будто пахнет нашей хозяйкой... И кухней... Простите, пожалуйста...»

И снова придвинулся ближе. Обнюхал кошечку с ног до головы.

«Да, да, да! Странно, но факт! Несомненно, несомненно! — удивлялся он и придвинул нос к самой кошачьей мордочке. — Молоко, слышнее всего молоко. Ну что ж, молоко тоже неплохо, хотя я предпочитаю мясо».

Он лизнул котенка в ухо.

«Простите, я умываюсь сама!» — пискнула Европа.

Но не отодвинулась. Чапа, пес веселый и вежливый, решил, что теперь, когда знакомство состоялось, можно и поиграть.

«Так вы охотились на воробьев? Вы совершенно правы! Эти бездельники вечно все таскают у нас из мисок! Айда за ними!»

И с такой готовностью бросился на воробьев, словно веселее игры не было. Прыгал, бегал. Оглядывается, а Европа не тронулась с места.

«Надоело вам, барышня? Тогда поиграем во что-нибудь другое. Я тоже не очень люблю гоняться за птицами. Еще ни разу не удалось мне ни одной поймать, — признался он откровенно. — Так во что будем играть? Я больше всего люблю французскую борьбу. Кто положит другого на лопатки, тот и победил. Поиграем? Ладно? Начали! Внимание!» И прыгнул на Европу.

Он моментально прижал ее к земле, кошка жалобно запищала.

«Защищайся, что ж ты!» — уговаривал ее Чапа и делал вид, что собирается ее укусить. Но кошечка плакала все жалобнее.
«Пусти, пусти! — кричала она. — Отстань!»

Чапа отскочил. Кошечка села и не на шутку разревелась.

«Никогда не думал, что ты такая плакса, — удивлялся Чапа. — Больно тебе? Что ж ты молчишь? Ну и странная ты личность!»

На дворе появились остальные собаки, и Чапа поспешил сообщить им новость:

«Знаете что? Тут есть какое-то такое, пахнет Крисей и теткой Катериной, ест только молоко и хнычет ни с того ни с сего!»

«Где, где?»

«А вон на завалинке. Слышите, как ревет?»

«Это кошка», — говорит Тупи. Он был солидный пес и Чапу ни во что не ставил.

«Кошка, кошка!» — передразнил с возмущением Чапа. — Ты погляди, как пахнет!»

Все собаки направились к рыдавшей Европе. Обнюхали ее сперва издали, потом долго водили носами по ее шерстке.

«Ну что? Ну что?» — допытывался Чапа.

«Гм, гм! Пахнет нашим домом, это точно».

«Так что же?»

«Так, значит, это наша кошка», — решил Тупи, самый сильный и самый старший.

«Понятно, наша», — согласились другие собаки.

«А как с ней играть?» — добивался Чапа.

«Никогда не играю с кошками», — с достоинством отвечал ему Тупи и пошел прочь.

За ним остальные.

Вот как Европа была принята на дворе. Обращались с ней вежливо, но и только.

Один Чапа завел с ней дружбу. Он был ужасный лакомка. Стоило звякнуть тарелкой, чтобы он все бросил и помчался на террасу, где мы в хорошую погоду ели. В этом отношении Европа ему не уступала.

Задолго до начала завтрака, обеда и ужина оба они уже сидели на террасе на скамейке.

— Ну, гости уже тут! Надо поторапливаться, — говаривала Катерина, заметив эту парочку.

И надо признаться, что они никогда не отнимали друг у друга кусков. Чапа только всегда проверял, что получила Европа, обнюхивая ее мордочку, когда она кончала есть.

«Ага, знаю, булка! С маслом! И мне, и мне!» — просил он, заглядывая нам в глаза и переступая от волнения с ноги на ногу.

Ворчал порой на Европу лишь один соседский Лорд, пес глупый и грубый, готовый жрать с утра до вечера. Он не позволял ей подходить к собачьим мискам.

Исподлобья глядел он на приближавшуюся Европу:

«Ты зачем? Не тронь! Пошла вон!»

И раз даже укусил ее. Европа закричала. Тут за нее вступился Тупи.

«Наш кот,— говорит он Лорду,— или не наш?»

«Ваш, но нечего ему тут вертеться!»

«А миска твоя?»

«Моя!»

«Ах, так?!» — крикнул Тупи, и в мгновение ока Лорд очутился на земле вверх ногами.

«Ай-ай, больше не буду!» — скулил он.

«Смотри у меня»,— пригрозил Тупи и пошел прочь.

А Европа сидела на крыше сарая и старательно умывалась.

С тех пор она могла делать на дворе все что хотела и так сжилась с собаками, что спала всегда исключительно в собачьей конуре.

Только раз у нее с собаками едва не вышел скандал. И из-за чего? Из-за мыши.

Вот как это было.

В одном месте пол сарая прогнил. И возле этой дырки Европа просиживала целыми часами. Она чуяла мышей. Но вместо того чтобы тихонько сидеть и терпеливо ждать, когда мышь выйдет из норки, она сама залезала в дырку. Только хвостик ее виднелся.

Однажды входит в сарай Куцый, приятель наших собак. Видит Европин хвост, мелькающий в отверстии.

«Кошечка, что ты там делаешь?»

Европа вышла из норы и на него с упреками:

«Ты мою мышь спугнул! Это ты во всем виноват!»

Куцый заглянул в дырку, понюхал.

«Есть,— говорит,— есть там мышь, не сомневайся».

«Я сама знаю,— говорит Европа,— третий день уже сижу у этой дырки».

«Да? — усмехнулся Куцый.— И до сих пор ее не поймала?»

«Попробуй сам!» — буркнула Европа.

Куцый ничего не ответил. Он повернулся и ушел. Подождал, когда Европа выйдет из сарая во двор. Шмыг туда! И уселся перед норой.

Ждет Куцый и ждет. Выглянула мышка. Куцый не шевельнется. А когда осмелевшая мышь начала подбираться к миске, пес — хап! — и сцапал ее.

С мышью в зубах он вприпрыжку выскочил во двор. Сбежались все собаки. Куцый милостиво позволил им обнюхать мышь.

Лорд хотел ее отнять. Больше в шутку, чем всерьез, потому что собаки неохотно едят мышей. Началась гонка по всему двору.

Вдруг на крыше сарая появляется Европа.

«Отдай мышь! Это моя мышь!» — кричит она Куцему.

Куцый не обращает внимания и продолжает носиться по двору. Увертываясь от Тупи, он оказался как раз под сараем.

Только этого Европа и ждала. Камнем свалилась она на собаку. Куцый бросил мышь. Пустился наутек. Но кошка вцепилась ему в затылок. Куцый — давай бог ноги. А Европа сидит у него на шее и лупит по морде!

«Ай, ай!» — скулит Куцый. Рванул, подскочил, сбросил с себя кошку — и поминай как звали.

Европа — за ним. Проводила его до самых ворот.

«Ну, ну, ну! — сказал Тупи. — Дала она ему взбучку! Я сам видел, как у него из носа кровь шла. Надо с кошкой поосторожнее!»

Европа вернулась запыхавшись. Подбежала к собачьей миске и принялась лакать похлебку.

«Такая маленькая и такая отчаянная!» — удивлялся Тупи, наблюдая за кошкой.

И хотя он не мог спокойно видеть, когда другой ест, — только высунул язык и облизнулся. А к миске подойти не посмел.

...Европа росла. Она перестала быть котенком, превратилась в красивую кошку.

С собаками она совсем сжилась. И многому от них научилась.

Даже ласкалась она так, как не ласкается ни одна кошка. Она не только терлась о людей, мурлыкала, танцевала кошачьи танцы, переступая с ноги на ногу, выгибаясь, извиваясь. Ведь это делает каждая кошка, правда?

Но Европа делала то, чего ни одна кошка не делает. Она лизала нам своим розовым язычком руки, щеки! Видали вы таких кошек?

От собак научилась она и бежать к воротам, как только там показывался кто-нибудь чужой. Мало того, ходила у ноги хозяина, как собака, и прыгала на грудь, когда кто-нибудь из нас возвращался домой.

Словом, кошка была не совсем обыкновенная. Неудивительно, что собаки наши ее полюбили.

А как она жила с другими собаками? Всяко бывало. С теми, которые приходили в гости к нам во двор, она была в хороших отношениях. Ведь все они были народ весьма приличный. Например, Амур. Это был пес, состоявший в родстве с самыми лучшими собачьими фамилиями. Морда у него была как у его дяди — гончака, мастью он был в другого дядю — волкодава, туловище необычайной длины явно напоминало о том, что в числе его близ-

ких родственников есть и таксы. А поскольку люди отрубили ему хвост, он походил и на фокса.

Помимо Амура, посещал нас рыжий барбос, которого неведомо почему звали Малиной. Шерсть у него была жесткая, как щетина, а хвост изящно завит в двойную баранку. Но душой общества был Куцый, тоже родственник фокса, волкодава, гончей и вдобавок ищейки. Был это умнейший пес, хитрец, каких мало. Он всегда умел так организовать игру, что все собаки с лаем носились по двору, а он один всегда был у цели, то есть у миски с едой. Его всюду любили, потому что он был весел, добродушен и большой мастер на выдумки.

Никогда игры на дворе не удавались так, как тогда, когда ими руководил Куцый.

Европа в это время обычно сидела на крыше сарая. Она не играла с собаками, а лишь наблюдала за игрой. И ни одной собаке не приходило в голову обидеть ее или хотя бы сказать ей что-нибудь неприятное.

Обижали ли ее другие собаки? Ну, среди собак, как и среди людей, попадают разные личности. В непосредственном соседстве с нами обитал один пес. Звали его Рекс, что, как вы знаете, по-латыни означает «король». Надо признаться, что кому-кому, а нашему Рексу имя это было весьма к лицу. Был это огромный, красивый, могучий волкодав. У него имелись какие-то дипломы, медали с выставок. Словом, король.

Но... Зазнался он, что ли? Пожалуй. Он всегда портил игру. Все гоняются друг за другом, а он стоит посреди улицы и брешет неизвестно на кого. Идет шуточная драка, а он всерьез оскалит зубы — и давай бог ноги! Трус был отчаянный.

Раз-другой он, незванный, появился у нас. Европа не показывалась. В третий раз он явился неожиданно, когда наши собаки и их гости играли в прятки. Ни о чем не спросив, он прямо стал прыгать на сарай, где, как обычно, лежала Европа.

«Кошка! Кошка! — лает. — Лови, держи!»

Амур бросил играть, приковылял на своих кривых лапах к сараю и говорит:

«Рекс, оставь ее в покое! Это их кошка!»

«А мне какое дело! Кот! Кот! Хватай кота!» — лает Рекс и старается вскочить на крышу.

Европа насторожилась, взъерошила шерсть и зашипела:

«Прочь, прочь! Что это такое?»

Тупи бочком подходит к Рексу.

«Рекс, отойди от нашей кошки!» — советует он волкодаву.

Куцый, который за словом в карман не лез и ругался, как торговка, тоже налетает на Рекса:

«Ах ты такой-сякой! Как ты себя ведешь в гостях?»

Всякая другая собака сразу бы образумилась и отстала. Но Рексу это и в голову не пришло. Он разинул пасть, подскочил и чуть не ухватил зубищами Европу.

Ну, это было уж слишком! Тупи вцепился ему в горло, Амур — в бок, а Куцый, который был небольшого роста и при этом весьма осторожен, занялся — и всерьез! — королевским брюхом.

Бой закипел. Набежали другие собаки. Подробностей сражения пересказывать вам не буду. Во всяком случае, факт, что Рекс с тех пор уже не мог демонстрировать свою красоту ни на каких выставках. Он вернулся домой без большого куска уха!

«Ай-ай-ай!» — визжал он, перебегая улицу.

«Будешь трогать нашу Европу?» — кричали вслед ему наши собаки.

«Хам, хам! — лаял Куцый, разрывая лапами землю. — Нельзя тебя пускать в приличное общество! Вести себя не умеешь!»

Любила ли Европа собак? Думаю, что да. Хотя должен заметить, что собачья дружба была ей довольно тягостна. Почему? Потому что благодаря собакам она была лишена более подходящего общества. Она скучала. Целыми днями дремала, позевывала. Вы хотите знать, страдала ли она от одиночества? Да, и очень. Представьте себе, что вы находитесь в обществе существ, которые не понимают ни вас, ни ваших забот и интересов. Вы им говорите про мышей в амбаре, а они вам отвечают: «Идем охотиться на кроликов!» Сами понимаете, что это не очень-то весело. С крыши Европа иногда видела и других кошек. По соседству с нами жил один белый кот. Иногда они беседовали, но издали. Европа, которая почти нигде не бывала, узнавала от него новости о помойках, сплетни о соседях. Она была бы рада побеседовать с ним с глазу на глаз, потолковать о том о сем. Но об этом не могло быть и речи.

Пусть бы показался на дворе какой-нибудь кот!

«Кот! Кот! — голосит пес, который первым его заметил. — Чужой кот! Чужой кот!»

И начинался содом! Все живое набрасывалось на пришельца. Миски, ведра взлетали в воздух. Преследователи вламывались в огород. Клумбы, грядки — все гибло.

«Обходи его! Забегай слева!» — кричал Тупи на Чапу, который пулей летел за котом.

«Вот, вот, вот!» — лаял в ответ фокс и уже готов был схватить чужого кота, а тот — скок! — и сидит уже на дереве.

И тут начиналась руготня:

«Ах ты такой-сякой! Зачем явился? Что, у нас своих кошек нет? Кто тебя звал? Слезай, сию минуту слезай, понял?»

Кот, естественно, и не думал слезать с дерева. Он сидел пол-

часа, сидел час. Собаки хрипли от лая. Тупи прибежал ко мне, тянул в сад, показывал перепуганного котофея.

«Достань его! Достань! — просил Тупи, прыгая вокруг меня и облизывая мне руки. — Еще будет ходить тут к нашей Европе! Нужен он ей! Достань его! Мы уж ему покажем, где раки зимуют!»

Я отзывал собак к другому дереву. Делал вид, что заметил там на ветке другого кота. Обманутые собаки прыгали на дерево, стараясь найти несуществующего кота. Тем временем несчастный узник исчезал.

Оттого-то Европа была одинока. У меня было предчувствие, что это плохо кончится.

Так и случилось.

Однажды утром Европа пропала. Как в воду канула. Молоко осталось невыпитым. На обед она не пришла. Не появилась и к ужину. Плохо дело!

Крися плачет. Катерина ходит злая, гремит кастрюлями:

— Это Рекс задушил Милочка! Ирод, а не пес!

С этой минуты между теткой Катериной и волкодавом началась война. Он не смел показаться ей на глаза. Доставалось ему щеткой и даже лопатой. Новая выбивалка была изломана о его спину в куски.

Прошло несколько недель. О Европе ни слуху ни духу. Крися безутешна. На нашем дворе произошли некоторые перемены: Куцый переехал к нам навсегда. Его хозяева уехали и не могли взять его с собой.

Наступили именины Криси. Праздновались они всегда торжественно, а тут Катерина решила особенно блеснуть.

— Сделаю шоколадный крем и пироги с вишнями — Крися их очень любит. Только ты, Ян, не позволяй Крисе ходить на кухню, а то сюрприза не выйдет, — предупредила она меня накануне.

Собрались гости. Веселье идет вовсю. Уже пора ужинать, все готово. Через минуту появится именинный крем.

— Боже праведный! Вон отсюда! Вон отсюда, проклятый! — несетя из кухни.

Мы все бежим туда. Крема как не бывало!

Куцый!

Куцый получил свое, конечно. Но крем пропал.

Пришлось пить чай без крема. Но и так было очень весело. Только поздним вечером гости разошлись.

Куцый не показывался весь день. Но так как он любил спать в кухне под печкой, в конце концов не утерпел и, когда все стихло, забрался в уголок. Исподлобья поглядывал оттуда на Катерину, и морда у него была явно обиженная.

«Сколько шуму — и из-за чего? Из-за такой малости. Да мне эта сладкая слизь и не понравилась! Еще и сейчас меня от нее тошнит».

Тетка Катерина заметила собаку, когда зажигала лампу.

— Ах, ты сюда залез! — грозно сказала она и направилась к Куцему, держа в руке порядочную лучинку.

Куцый вскочил. Но вместо того чтобы убежать во двор, потянул носом и побежал по лестнице вверх. Уселся на верхней ступеньке и лает. А сам все время поглядывает на Катерину:

«Прошу мне не мешать! Я знаю, что делаю! Откройте дверь чердака. Отоприте, говорю!»

Катерина бегом за мной:

— Воры! Конечно, воры! Куцый так и надрывается!

— Где?

— На чердаке. Залезли туда, куда никто не ходит, чтобы нас ночью обокрасть, ограбить, зарезать...

— Да не говори ты, Катерина, таких глупостей! — пытаюсь ее успокоить.

— Глупости? — обиделась она. — Не снились мне разве сливы? А когда мне сливы снятся, обязательно беда будет.

— Как они туда могли пробраться, когда там только и есть, что слуховое окно, в которое и кошке не пролезть!

— А сливы? Я же говорю, мне сливы снились! — отвечает мне на это тетка Катерина.

Вот и толкуй с ней! Беру свечку, иду. Куцый лает, из себя выходит. Отворяю дверь чердака. Собака кинулась туда и сразу пропала где-то в соломе. Я пошел за ней.

— Катерина, Катерина, позови Крися и сама иди сюда!

— Буду я еще ребенка звать!

— Крися, Крися, скорей иди сюда!..

Котят было трое. Один белый, а два рыженьких.

Кто их видел — сразу согласился бы, что самым подходящим именем для кошки было Европа Милочка! Такая она была милая мамаша.

— Какие прелестные! — восхищалась Крися.

— Уже видят! А глазки-то у них голубенькие, словно бусинки! Ропка, чудные у тебя дети! Как на картинке! — вторила Катерина.

Как видите, и Катерина примирилась с именем кошки, только сократила его по-своему.

— Ян, Ян, ты что же не хвалишь котят! Кошка бросит малышей, если их не похвалят! — напомнила мне она.

Я хвалил, восхищался. Но больше всех радовался Куцый. Он скулил от радости, лизал кошку, обнюхивал котят.

«Правда, они милые?» — мурлыкала Европа, поглядывая то на нас, то на Куцего.

— А где же твои жулики? — спрашиваю у тетки Катерины.

— Снились мне сливы, наверно, к тому, что Куцый у меня крем сожрет...

— Зато он Европу нашел! — вступилась за собаку Крися.

— Ну ладно уж, Куцый, иди сюда, — согласилась Катерина и погладила пса.

«Ура, Европа нашлась, Европа нашлась!» — отвечал ей Куцый, виляя хвостом и бегая то к кошке, то к Катерине и обратно.

Европа с детьми осталась на чердаке.

И, видимо, тетка Катерина хорошо знала кошек, а может быть, наша Европа была исключительно самолюбивой мамашей: стоило мне один день не побывать на чердаке, Европа появлялась у меня. Она клала передо мной на стол котенка.

«Видишь, какой красавец?» — мурлыкала она.

— Кися, кисонька! Чудесный котенок! — отвечал я.

Европа с гордостью смотрела мне в глаза, забирала пищащего детеныша и возвращалась на чердак.

Наконец однажды поутру, когда мы все сидели в кухне, вошла Европа. Мурлычет, кричит, оглядывается.

— Дядя, дядя, смотри! — кричит Крися.

— Она детей в кухню ведет! — сказала Катерина и развела руками от удивления.

Первым показался беленький. За ним двое остальных. Европа терлась о ноги тетки Катерины, подлизывалась.

«Дайте моим детям молока, пожалуйста! Они уже такие большие, что я их сама не могу прокормить!»

Так дети Европы вышли в свет.

Собаки наши приняли котят ласково. Заботливый Чапа даже старательно вымыл их. Правда, однажды вышло у него с ними небольшое недоразумение. Два рыжих котенка заняли корзину для картофельной шелухи — любимое место послеполуденного отдыха Чапы.

Сперва Чапа попробовал объяснить котяткам, что они залезли в чужие владения.

«Простите, но это моя корзинка!» — убеждает он их, виляя хвостом.

Уговоры не помогают: котята носятся по корзинке и превесело играют в прятки.

«Тогда простите», — повторяет Чапа и пробует, несмотря ни на что, забраться в корзинку.

Он сел с краешку. Котята ничего. Залез поглубже. Еще глубже, еще... Занял всю корзинку. Котята фыркнули и скок на ящик.

У Чапы вовсе не было охоты лежать в корзинке. Он проворчал:

«Буду я еще валяться, когда на свете столько интересного!»

А тут Куцый как раз выгреб откуда-то старую, побелевшую кость и со скуки грыз ее.

«Куцый, Куцый, дай косточку!» — просит Чапа. Глаза у него на лоб лезут — так ему эта кость понравилась. И вдруг что-то защекотало ему лоб. Он отряхнулся. Нет, опять что-то щекочет.

«Наверно, муха надоедная!» — думает Чапа и снова отряхивается, а глаз с кости не сводит, тем более что Куцый начал ее катать по двору и подбрасывать, явно приглашая его принять участие в игре.

И тут Чапу больно царапнуло. Он подскочил. Ящик закачался. Что-то ужасно острое впилося Чапе в голову.

Песик взвыл от боли.

«Ой, ой! Как больно! Колет! Щиплет!» — завизжал он, улепетывая во всю прыть.

«Не приставай к Европкиным детям!» — поддразнил его Куцый.

С тех пор котятки полностью завладели Чапиной корзинкой.

Однажды все европейское семейство играло на дворе. Мама лежала, как обычно, на крыше сарая. Было тепло. Она дремала и лишь время от времени открывала один глаз и посматривала по сторонам. Собаки спали. Чапа, вытянув все четыре ноги, дергался и глухо взлаивал во сне.

Ему снилось, что он ловит кролика.

Вдруг возле калитки появился какой-то пес. Совершенно незнакомый. Заглянул во двор, потом спрятался за забором. Потом высунул морду из-за угла, снова нерешительно шагнул вперед.

Порядочная собака, которая приходит в гости, никогда так себя не ведет.

Незнакомец, крадучись, как вор, наконец вошел. Шел он волчьей походкой — на самых кончиках когтей. Хвост у него был поджат. Он осмотрелся, увидел ведро с утиным кормом. Хлебнул оттуда раз, оглянулся, хлебнул еще раз. Потянул носом, долго принюхивался.

И, крадучись, оглядываясь исподлобья, начал подбираться к собачьей миске, к самой маленькой. Надо же было случиться, чтобы оттуда пил молоко беленький котенок.

Чужой пес оскалил зубы. Еще секунда — и он бросится на малыша!

Одним прыжком Европа очутилась у него на загривке. Но пес был большой, сильный, голодный и потому готовый на все.

Почувствовав когти Европы, ослепленный жестокими ударами

по глазам, он подскочил и упал на спину. Притиснул кошку к земле. Перевернулся. Ухватил ее страшными зубами.

Европа жалобно вскрикнула.

Все собаки бросились ей на помощь. Чужак должен был отпустить кошку и защищаться, потому что Тупи уже сидел у него на голове, Куцый рвал ему брюхо, Чапа впился в бок, а Амур схватил за горло.

Европа с трудом поднялась с земли. Душераздирающим голосом позвала детей.

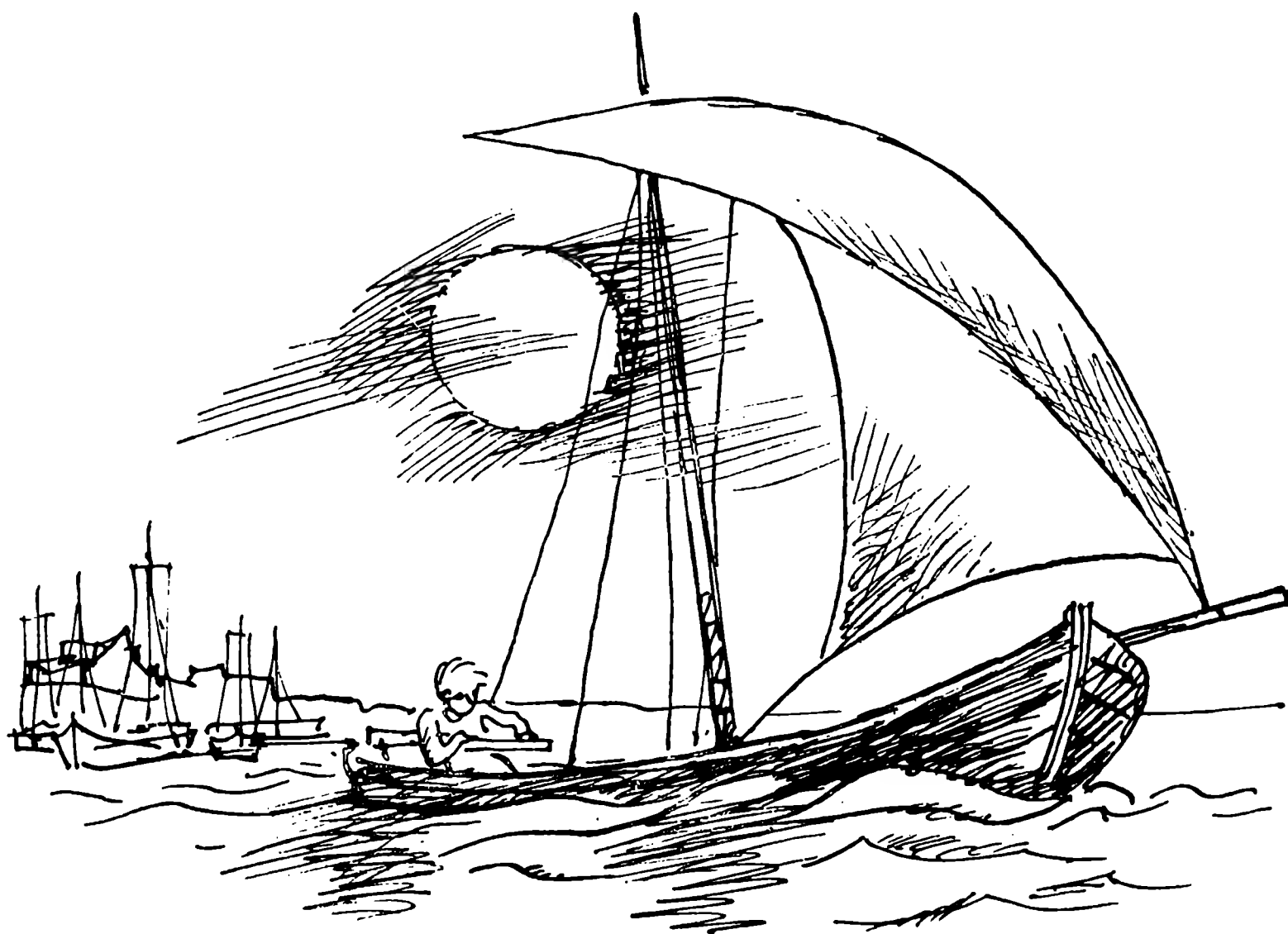
— Иисусе! Что там делается?! — кричала Катерина.

Мы вбежали во двор.

— Киска, кисонька, Ропонька! Что с тобой? — плакала тетка Катерина над Европой.

Я принес котят. Европа укрыла их своим телом. Подняла голову тяжело, с трудом. Облизала детей. И голова ее упала...

Но не думайте, что она заплатила жизнью за свою отвагу. Болела она очень долго. Но теперь снова, как прежде, спит на крыше сарая.



Бенно Плудра

ЛЮТ МАТЕН И БЕЛАЯ РАКУШКА

Слушайте предание о Белой ракушке!

Много-много лет тому назад над побережьем разразилась беда. С самой весны до поздней осени рыбаки ни разу не возвращались с уловом: ни одной сельди они не поймали, ни одного угря! Зима же нагрянула рано, сразу ударили морозы. Залив покрылся толстым льдом, в открытом море бушевали белые вьюги...

И так день за днем, день за днем. Казалось, не будет конца этой стуже. В рыбацких хижинах поселилась нужда. Ни щепотки муки в шкафу, ни ломтика сала, ни кружочка колбасы, ни кусочка сахара, ни крупинки соли. В кладовках — хоть шаром покати: пустые полки, пустые бочки. По ночам дети плакали в своих кроватях — они не могли уснуть от голода.



И вдруг случилось чудо. Из дальнего плавания вернулся Джон Хагенбринк! Десять лет его не было дома, все думали — он погиб. А он где только не побывал: и в Гренландии, и в Гонолулу, и в Сан-Франциско... Весь свет объездил! А теперь вернулся на родину и привез с собой счастье. Он привез с собою Белую ракушку.

— Глядите все! — сказал Джон Хагенбринк рыбакам. — Любуйтесь Белой ракушкой! Слушайте, как она поет. Все семь морей и океанов поют в Белой ракушке. Горю вашему пришел конец. Хотите верьте, хотите нет — Белая ракушка напоет вам весну, а вместе с весной — и рыбу и счастье.

Как он сказал, так и вышло. Ночью налетел шторм, взломал лед и угнал льдины в открытое море, а с ними и зиму.

Не прошло и трех дней, как рыбацьи лодки вернулись с первым уловом. Много рыбы поймали рыбаки — столько, сколько бывает в сказках! И каждая рыбка отливала серебром, как отливают серебром серебряные талеры.

Вот и кончилась нужда в рыбацких хижинах.

А бывалый моряк Джон Хагенбринк сказал:

— Это, люди добрые, Белая ракушка вам принесла! Она напела вам весну, а с весной — и рыбу и счастье. Ну, а раз мы народ благодарный, мы и отдадим Белую ракушку замуж за наш Залив. Пусть они празднуют свадьбу. Себе на радость, нам на счастье.

Так сказав, Джон Хагенбринк вскочил в лодку, выгреб на середину залива и бросил Белую ракушку в воду.

Там она лежит и по сей день — глубоко на дне морском, где раскинулись вечнозеленые подводные луга. Там она поет рыбакам весну, а вместе с весной — и рыбу и счастье...

На берегу залива, где люди передают друг другу это предание, стоит рыбацья деревушка. В ней живет рыбак по фамилии Матен. У этого рыбака растет сын, небольшой такой мальчуган. Зовут его Лют Матен, что значит Маленький Матен.

И у этого мальчугана большое горе. Но сам он такой маленький, что никто не верит в его горе. Нет никого, кто помог бы ему, кто бы его поддержал, — никого, сколько бы их там ни было, всех этих взрослых, таких больших и умных людей. Все они смеются над Лют Матеном. По головке гладят, а сами смеются над его горем. И никто его всерьез не принимает.

Что же это за горе у маленького Матена?

А вы посмотрите на залив. Вода гладкая-гладкая и блестит, как всегда по утрам. Вдали, куда ни кинешь взгляд, ряды серых палок. Это сваи, на которых натянуты черные просмоленные

сети неводов. Раскинув свои огромные крылья, притаились невода в тихой воде.

Наступит ночь, и вместе с приливом сюда приплывает угорь — длинная такая рыба, похожая на змею. Он не видит крыльев невода, наткнется на сеть и уйдет в сторонку. Острое рыльце его ищет, где бы проскользнуть. Но нигде нет прохода. А угорь все ищет да ищет. Извиваясь, он пробирается все дальше и дальше вдоль сети. А сеть, молчаливо-враждебная, подводит угря прямо к большой ловушке. Там, где кончается крыло невода, в глубине, — садок. А еще его называют котел. Это и есть большая ловушка для рыбы. Отсюда нет выхода — все пути для угря закрыты. Он заплывает в огромный мешок из сетей и выбраться уже не может.

Так вот почему такое горе у маленького Матена? Ему жаль угря, попавшего в ловушку? Да где там! Лют Матен — сын рыбака. Лют Матен знает: рыба в сети — счастье для рыбака. Это и заработок, это и хлеб. Нет, угорь в ловушке — не горе для маленького Матена.

А вы подсчитайте-ка, сколько неводов стоит в заливе!

Вон на Длинном берегу — два, у Больших камней — еще три, у Зеленой воды — четыре, вместе — девять. Подальше, уже почти в открытом море, стоят еще три. Девять и три — двенадцать. Двенадцать неводов в заливе. Сваи выстроились в ряд, как солдаты.

Вот с этого и начинается большое горе маленького Матена. Дело в том, что в заливе есть еще один невод — тринадцатый. Но его никто в счет не берет. Да и мало кто его видит. А кто видит, только смеется. Тринадцатый невод — это невод Лют Матена.

Невод Лют Матена стоит у Старого причала, в мелкой воде. С севера его защищают заросли камыша. Пять палок воткнуты в дно. Между ними болтается плохо натянутая сеть. Палки кривые, сеть старая. Жалким выглядит тринадцатый невод.

Но его поставил Лют Матен. Он сам подобрал палки, сам навесил сеть. Он очень старался — все, как положено, делал. И теперь он ждет, когда его невод принесет ему рыбу. Но все, кто про это знает, только смеются над Лют Матеном. Смеются, и все тут. Чепуха это, а не невод, глупая затея, детские игрушки! Набьется в него травы морской, ила всякого, а рыба никогда не попадет.

Так говорят люди. И смеются.

Где бы Лют Матен ни показался, кричат ему вслед:

— Эй ты, великий рыболов, каков улов?

Как же тут Лют Матену не злиться?

Как не горевать, что в его невод рыба не идет?

...Сентябрь.

Ночи уже холодные, солнце лениво подымается из красноватой дымки. На прибрежных лугах подолгу лежит роса.

Из воды торчат толстые полусгнившие сваи Старого причала. А вон и невод маленького Матена. Палки такие тонкие и кривые, что на них даже чайка никогда не сядет. Ну а вдруг все-таки сегодня попалась рыбка?

Подвернув штаны, Лют Матен шлепает по воде. Вот она ему по щиколотку, а вот уже и по колено. Надо повыше штаны закатать. Лют Матен старается идти быстрее. Вода прозрачная, и он хорошо видит крыло своего невода. Все в порядке. Сеть плотно прилегает ко дну. Рыбке нигде не проскользнуть.

А вот и садок. Лют Матен нагибается, хватает сеть и вытягивает. Садок пустой. Лют Матен и так и эдак его выворачивает, трясет — одна вода. Ничего. Опять ничего! А садок большой, сколько рыбы он мог бы поймать! И — ничего. Каждое утро — ничего. Две-три склизкие травинки — вот и весь улов. Лют Матен высвобождает их из сети. Потом вновь спускает ее в воду, смотрит, как она погружается, как, булькая, всплывают пузыри. И говорит громко:

— Эх, ты, опять ничего не поймала!

Но ведь бывают дни, когда и в большие невода рыба не попадает. И взрослые рыбаки порой пустые сети из моря поднимают. Ночью было тихо, безветренно, светила луна, а когда ночью светло, угорь в сеть не идет.

Лют Матен стоит по колено в воде и думает: «Вот возьму и не разозлюсь. Может, и у них сегодня ни одной рыбешки не попало. С чего это мне злиться? Нет, не стоит, ни к чему!»

Он медленно выбирается на берег. И все равно злится.

Этой еще тут не хватало! Марикен Гульденбрандт! Так прямо и бежит через луг к берегу со своим вороньим гнездом на голове. Красное клетчатое платье развевается. Марикен еще меньше маленького Матена. Но из-за гнезда на голове, завязанного ленточкой, кажется, что они почти одного роста. Волосы у Марикен светлые, такие же, как у Лют Матена, и кто их не знает, может подумать, что они брат и сестра. Но они еще лучше играют друг с другом, чем настоящие брат с сестрой. Да и сейчас Лют Матен обрадовался бы Марикен, попадись ему в сеть хотя бы самый маленький угорь. А так он стоит с пустыми руками, грустный и сердится, что навстречу ему бежит Марикен.

Что он ей скажет? Кого хочешь он может обругать, а ее не может. Марикен никогда над ним не смеется. Никогда не дразнит его «великим рыболовом». Она одна, как он сам, твердо верит: в его невод тоже когда-нибудь попадется рыбка. А пока не попало, Марикен вместе с Лют Матеном грустит и злится.

Что же он теперь ей скажет?

Волоча ноги, побрел он по теплой траве и даже не оглянулся. Только тогда и поднял голову, когда она подбежала.

— Ну как, — спрашивает она, — невод ходил смотреть?

— То-то и оно, — отвечает Лют Матен. — Промок вот, сама видишь.

Марикен все видит, и Марикен все понимает.

— Опять ничего не попало? — спрашивает она.

Лют Матен кивнул и нагнулся — ему не хочется смотреть Марикен в глаза. Ходит тут каждый день, спрашивает, а он всякий раз отвечает: «Ничего не попало. Зато завтра, вот увидишь, поймаю!»

Но сейчас Лют Матен ничего не говорит, только кивнул и нагнулся, будто что-то ищет в траве. А что ему искать? Скоро Марикен перестанет ему верить, еще и смеяться начнет, как все. Нет, лучше уж он ей ничего не скажет!

— Будто кто заколдовал твой невод, — говорит Марикен. — Хоть бы раз рыбка попалась. Нет! Сразу два угря!

— Почему два?

— А как же! Один тебе, один мне.

— Тогда пусть уж лучше сразу еще больше попадется — семнадцать!

— Семнадцать? — удивилась Марикен. — А это много?

Лют Матен кивнул.

— А сколько много?

— Чего сколько? Много, говорю, и все. — Лют Матен даже засопел. Он ведь еще в школу не ходит, вот он и не знает, сколько это — семнадцать. Наверно, очень много. Семнадцать...

— А на обед хватит? — не отстает Марикен.

— Еще бы!

Марикен задумалась. Она влезла на штабель старых, высохших свай, расправила платице в красную клеточку и сидит думает.

— А вдруг еще больше попадется? Вдруг мы сто угрей поймаем?

— Сто? — повторяет за ней Лют Матен. У него даже голова кружится — так это много. Всем бы в деревне досталось.

— Нет, твой невод сто угрей не удержит, — говорит вдруг Марикен. — Маленький он.

— Это мой-то? — насторожился Лют Матен. — Он и два раза по сто удержит. Точно.

А Марикен расселась на штабеле, будто принцесса какая. Смотрит на Лют Матена сверху, синие глазки так и сверкают.

— Знаешь, как я бы обрадовалась! А что бы ты с ними сделал, с этими угрями?

Теперь уже Лют Матен задумался. Правда, куда девать так много угрей? Может, съесть? Папа, мама, он сам и Марикен в придачу — за целый год бы не съели. Может, подарить кому-нибудь? Надо подумать. Лучше всего сдать в рыбкооп. Там рыбу прокоптят, упакуют в ящики и разошлют по всей стране. И будут продавать. И тогда все станут есть угрей, которых поймал Лют Матен. Вот здорово!

— Очень просто, — решительно говорит Лют Матен, — в рыбкооп отдам.

Рыбкооп — это производственный кооператив рыбаков. Но никто в деревне не говорит так длинно, все просто говорят «рыбкооп». И Лют Матен так говорит. Ведь у Лют Матена есть настоящий невод, поэтому он настоящий рыбак, как и все в деревне.

Марикен все еще сидит на штабеле. «Какой Лют Матен молодец!» — думает она. Улыбается и говорит:

— А вдруг ты уже завтра поймашь так много угрей? Правда, вдруг поймашь?

Лют Матен качает головой. Ему, конечно, хочется поверить в это, но почему-то не верится. Уже неделя, как стоит его невод. И за всю неделю ни одна рыбка не поймалась. А завтра вдруг поймается? Нет, разве чудо какое случится.

— Угри — они что хотят, то и делают, — говорит он Марикен. — Ночью теперь луна светит. А когда луна, они вообще ничего делать не хотят. Вот увидишь: взрослые сегодня тоже ничего не поймают.

Со стороны залива слышится стук мотора. Тук-тук-тук! Бойко так стучит мотор. А кругом тихо-тихо. Это мотобот вырывается к гавани. Выкрашенный в белую краску, он торопливо вспахивает воду. От Зеленой воды идет, где стоят большие невода.

Лют Матен его сразу узнал. Он его лучше всех мотоботов знает.

— Папка мой едет, — говорит он Марикен.

На носу мотобота написано «Лосось». Шесть рыбаков команды — бригада Матена-старшего. Отец Лют Матена — бригадир рыбаков.

Лют Матен бежит их встречать. Марикен — за Лют Матеном. Они бегут к гавани.

Интересно, что привез «Лосось»?

Над гаванью плавают запахи просмоленных сетей, рыбы и машинного масла. Из толстых бревен и досок здесь сооружен причал. К нему пришвартовались два мотобота — широкогрудые, надежные, как два верных друга. Борта чисто вымыты. На мачтах висят бурые сети. Над ними парят чайки. Кругом никого.

Только в сарае кооператива, где громоздятся ящики для рыбы, возится капитан Маун. Капитан Маун — бывалый рыбак. Он рыбачит уже лет пятьдесят. Волосы у него белые, а лицо темное от ветра и солнца. Но капитан Маун себя за старика не считает. Да и правда, какой он старик?

Сейчас капитан Маун переставляет ящики, готовит их для рыбы, которую привезет бригада Матена.

Лют Матен и Марикен внимательно смотрят, как он ящики ворочает. И тут, пока они так смотрели, капитан Маун возьми да и спроси:

— Эй ты, рыболов великий, поймал чего нынче?

— Когда луна светит, угри в сеть не идут, — сердито отвечает Лют Матен и морщит нос.

— Что верно, то верно, — соглашается капитан Маун, и его серые глаза лукаво поблескивают. — У всякого своя беда.

Теперь уже Лют Матен соглашается с ним:

— Ага! А то бы я знаете сколько поймал!

— Может, и поймал бы, — говорит капитан Маун. — Да теперь уже ничего не выйдет.

«Это как же так? — думает Лют Матен. — Ничего не выйдет? Нет, нет. Это мы еще посмотрим!»

Лют Матен отворачивается и не глядит больше на капитана Мауна. «Глаза вытаращит, если я завтра сто угрей притащу», — думает Лют Матен.

Тем временем «Лосось» разворачивается, чтобы причалить. Мотор стучит все реже и реже, потом вдруг снова часто, опять редко, еще реже и... затихает совсем. «Лосось» прижимается к бревенчатой стенке причала, чуть покачиваясь; дерево трещит, стонет. Наконец «Лосось» ошвартовался. Его крепко привязали двумя концами к столбам. В рулевой рубке стоит высокий рыбак, худощавый и широкоплечий. Лицо загорелое, обветренное, как у капитана Мауна. Непромокаемые рыбацкие штаны — до самой груди. Это отец Лют Матена.

— Эй, пап, это ты? — кричит Лют Матен.

— Эй, на суше! Лют Матен, это ты? — отзывается отец.

Они машут друг другу рукой. А рыбаки на мотоботе, все немного похожие на отца Лют Матена, тоже кричат:

— Эй, на суше! Лют Матен, это ты? — И тоже приветствуют Лют Матена, как настоящего рыбака.

Только Марикен стоит в сторонке, вроде она тут совсем чужая — такая чистенькая, аккуратненькая в своем платице в красную клеточку. Руки она спрятала за спину.

Молодой рыбак Ганнес Шульдхорн говорит:

— Гляди, Лют Матен, как бы твоя Марикен к нам в трюм не упала.

— Сам лучше гляди! — сердится Лют Матен. — И почему это моя Марикен?

Но тут же он наклоняется вниз, хочет заглянуть в трюм мотобота: много ли рыбы поймали? Он уже забыл о Ганнесе Шульдхорне. Трюм открыт, и Лют Матен заглядывает «Лососю» прямо в брюхо. А там ящик на ящике, и все полны рыбы до самых краев. Лют Матен губы поджал от досады.

Ведь все это рыба из больших неводов! Правда, бывает улов и побогаче, это Лют Матен определил сразу. Но «Лосось» привез рыбу, которую поймали большие невода. А там, где они стоят, луна светит так же ярко, как и здесь, у берега. А здесь, у берега, стоит невод Лют Матена.

Вот и все. Вот и все.

Совсем притих Лют Матен. Глаза его с грустью провожают ящики с рыбой, которые теперь путешествуют с рук на руки по причалу и дальше — к сараю капитана Мауна.

Вот поехали серебристые плотички с мелкими-мелкими чешуйками.

А вот зеленоватые гладкие окуни.

А вот и угри. И еще угри. И еще. Некоторые толщиной с руку Лют Матена.

Лют Матен молчит. Он молчит и думает о своем неводе.

— Не надивишься, Лют Матен? — спрашивает Ганнес Шульдхорн.

— А как твой улов? — интересуется другой рыбак.

Третий говорит:

— Я слышал, капитан Маун на большой телеге за твоим уловом к причалу ездил! Верно это или брехня?

И не то что они смеются над Лют Матеном, нет, они серьезно разговаривают. И все же Лют Матен чувствует: это они с подковыркой спрашивают. Издеваются над ним, на смех поднимают и Лют Матена и его невод. Вон еще и подмигивают друг другу. Лют Матен не на шутку рассердился.

Нашли себе шута горохового!

А отец тоже хорош! Не поможет Лют Матену в его беде.

Лют Матен смотрит в сторону весов.

Каждый ящик проделывает один и тот же путь: с мотобота на причал, с причала на весы, с весов в сарай, на ледник. У весов стоит отец Лют Матена, бригадир Матен. Он взвешивает и подсчитывает рыбу, а капитан Маун записывает.

Нет, не поможет отец Лют Матену — очень занят.

И только один раз бригадир Матен, повернувшись в сторону причала, сказал сыну:

— Не серчай, малыш! Невод у тебя ладный. Да угри больно склизкие.

Сказал, а сам смеется. Потом опять принялся считать гири, двигать ящики с рыбой. А Лют Матен думает: «Отец тоже смеется, как все. Никто не верит, что мой невод принесет рыбу».

Только был Лют Матен на причале — и нет его! Повернулся и убежал в луга.

Марикен за ним.

— Лют Матен! Лют Матен! — зовет она. — И я с тобой!

Но Лют Матен даже не оборачивается. Только пятки сверкают. Марикен что есть силы припустила за ним. Вот и догнала. Шагает следом и говорит:

— Ну что ты злишься, Лют Матен! Завтра знаешь сколько рыбы будет в твоём неводе!..

— А я и не злюсь, — говорит Лют Матен.

— Еще как злишься!

Теперь никто ничего не говорит. Молча топают они через луг.

Воздух прогрелся. Тепло. Небо чистое. На зеленых лугах светятся желтые лютики. Марикен собирает цветы.

Лют Матен со всех ног мчится к Старому причалу. Там он залезает на штабель полусгнивших свай. Сидит, уперев подбородок в колени, словно застыл, и смотрит на свой невод. Долго так смотрит. Лоб нахмурил, глаза злые и вместе грустные.

Все беды его оттого, что невод не приносит рыбы. В нем вся загвоздка!

Подошла Марикен. В руке букет из желтых лютиков. Сунула нос в прохладные желтые цветы и спрашивает:

— Тебе дать понюхать?

Но Лют Матен даже не посмотрел на цветы.

— Хочешь, подарю тебе букет? — предлагает Марикен.

Лют Матен отодвинулся подальше. Зачем ему цветы?

Марикен — девчонка. Девчонка и есть. Лезет с цветами, когда у него невод не ловит. Была бы она мальчишкой! Вот, к примеру, как Кауле Браминг. Можно было бы вместе с ней сети ставить... Вдвое больше могли бы невод поставить. Сразу бы и рыба попалась. В первую же ночь. А с Марикен разве невод поставишь? Марикен — девчонка. Цветы приволокла. Поднос сует.

— Отстань! — буркнул Лют Матен. — На кой мне твои цветочки!..

— Не хочешь — не надо, — ответила Марикен. И, прижав букетик к лицу, потерлась о него щекой. Обиделась Марикен.

Может, Лют Матену жалко теперь Марикен?

Уж очень упорно он от нее отворачивается, то взъерошит свой чуб, то пригладит. А потом соскользнул со штабеля и говорит:

— Что-то у меня с неводом не ладится. Все так говорят.

Марикен молчит. Лют Матен хмурит лоб. Не знает он, как ему быть. Совсем растерялся.

— И чего ты все сердишься? — неожиданно произносит Марикен.— Пусть себе говорят. Поглядим еще, как они глаза вытаращат, когда тебе невод столько угрей принесет!..

Но Лют Матен по-прежнему стоит хмурый. Не дает ему покоя этот невод.

Над заливом спустилась ночь. Угомонились и люди и звери. Луна совершает свой ночной полет.

Сонный ветерок запутался в ветвях вишни, что растет под окошком Лют Матена. Пошептался с ней и утих. А Лют Матен и не слышал, как он тут хозяйничал. Лют Матен крепко спит в своей кровати. Спит и видит сны. И такие это удивительные сны...

У стены стоит старинный матросский рундук. Прадедушка Лют Матена брал его с собой, когда, подобно Джону Хагенбринку, отправлялся на паруснике странствовать по белу свету. А теперь рундук, запертый, стоит в каморке Лют Матена. Только Лют Матен никогда не видел, что в нем лежит.

Но во сне... Рундук неожиданно раскрылся, и из него выскочил крохотный пингвин. Отряхнул свой черный фрак, почистил белоснежную манишку и заковылял прямо к Лют Матену. Остановился подле кровати и сказал:

«Это я, домовой».

«Домовой? Откуда ты вдруг взялся?»

«Я пришел издалека,— ответил пингвин.— Подними меня в свою кровать. Мы отправимся с тобой путешествовать. На паруснике».

«Как же так? — спросил Лют Матен.— Я сплю».

«Это тебе только кажется».

«Нет, правда. Я крепко сплю. Разве ты не видишь? Сейчас ночь. А ночью все люди спят».

В ответ пингвин давай подскакивать возле кровати. Все выше и выше!

«Подними меня! Мы с тобой поплывем под парусами!»

«Какие еще паруса!» Лют Матену стало смешно. Он смеется, а смеха своего не слышит. Как-то странно получается, когда смеешься во сне.

А пингвин смотрит и смотрит на Лют Матена снизу вверх. В его черных глазах-пуговках мерцает лунный свет. И вдруг Лют Матен перестает смеяться. Ему почему-то стыдно. Что пингвинчик о нем подумает?

«Ты не сердишься на меня? — спросил Лют Матен.— За то, что я над тобой смеялся?»

«Пустяки какие! Это у вас, у людей, так принято: не поняли

друг друга — и сразу смеяться. Над тобой ведь тоже смеются, правда?»

Лют Матен так и опешил. Сидит в своей кроватке и не может глаз оторвать от маленького пингвинчика.

«Знаю, знаю я,— сказал тот,— беда у тебя с неводом. Но я тебе помогу, беду твою я отведу. Никто не будет над тобой смеяться».

Лют Матену приятно это слушать. Но ведь пингвин такой маленький. Гораздо меньше Лют Матена. Разве он может ему помочь?

«А как ты мне поможешь?» — спрашивает Лют Матен.

Пингвинчик опять давай прыгать. Все выше и выше подпрыгивает. Но теперь Лют Матен уже не колеблется. Он протягивает пингвину руку. Прыг — и пингвин сидит у Лют Матена на коленях. Только сел, как они тут же пустились в путь.

Одеяло надувается, снова опадает и опять надувается. Лют Матен крепко держит его за уголки. И вдруг — чудо! Кроватка взмывает вверх и летит.

Но ведь тут стена! Сейчас они разобьются!

«Эге-гей, расступись!» — кричит пингвин.

И нет никакой стены. И каморки нет. И домика нет, где живут Матены. Лют Матен и пингвинчик летят над бескрайними лугами. Цветы, потревоженные во сне, встрепенулись. Ночные птицы спешат убраться с дороги. Высоко в небе летят Лют Матен и пингвинчик.

Крыши рыбацких хижин видны далеко внизу. Вон показалась гавань и в ней мотоботы на причале. Широко раскинулся залив. Он искрится в серебристом свете луны.

«Пингвин, а пингвин! Куда это мы летим?» — спрашивает Лют Матен.

«Мы летим за луной, Лют Матен. Мы ищем Белую ракушку». Белая ракушка... Белая ракушка...

Лют Матен крепко держит уголки одеяла. А пингвинчик глядит то вправо, то влево. Потом вперед.

Одеяло-парус раздувается. Они летят, как в сказке.

И вдруг внизу показываются большие невода. Грозно торчат черные сваи, под водой притаились натянутые сети, а на сваях сидят кормораны. Тихо сидят, не шелохнутся, только глаза их по-разбойничьи сверкают — как есть морские вороны!

Лют Матену трудно дышать, ему жарко.

А пингвин ничего, все такой же веселый.

«Ты не бойся, Лют Матен. Ведь мы с тобой ищем Белую ракушку».

Белая ракушка... Белая ракушка...

И вдруг стало светло-светло. Над заливом вспыхнул ска-

зочный свет, ослепительно яркий, искрящийся, переливчатый.

У Лют Матена сердце замерло. Он закрыл глаза — больно смотреть на такой яркий свет. Открыл и снова закрыл. А в груди у него будто поет: «Белая ракушка! Белая ракушка!»

Кроватка, только что летевшая над заливом, повисла в воздухе над водой. Легонькая такая, словно заколдованная.

«Лют Матен, Лют Матен! — говорит пингвин. — Позови Белую ракушку!»

«А как мне ее позвать?»

«Как хочешь, только позови!»

Лют Матен открывает рот, но ни звука не слышит. Ни слова. Как ни старается — не может он позвать Белую ракушку. Грустно стало Лют Матену. Грустно и страшно.

«Зови, зови ее! — торопит пингвин. — Зови, зови!»

Но Лют Матен не может позвать Белую ракушку, хотя и очень старается.

И тут волшебное сияние гаснет...

Вокруг Лют Матена темнота.

Он лежит в своей кроватке. Кроватка стоит в каморке.

В окошко заглядывает луна.

Проснулся Лют Матен. Сердце его стучит часто и громко. За окном сонно шепчет ветерок в листве вишни...

Лют Матен думает: «А где же сон?» Вон у стены стоит старый рундук. Лют Матен ощупывает одеяло — нет никакого пингвинчика.

Тогда маленький Матен закрывает глаза и ждет: не вернется ли сон? Ждет и ждет. Потом, чуть приоткрыв глаза, глядит сквозь ресницы. Нет, рундук все так же плотно закрыт — пингвин не выскакивает. Напрасно ждет маленький Матен. Отлетел его сон, погас, как волшебное сияние Белой ракушки...

Глубоко и ровно дышит Лют Матен. Наконец-то он уснул. А проснулся — на дворе уже шумное утро.

Это куры его разбудили. Раскудахтались тут как оглашенные. Прямо под окном. Петух кукарекает во все горло. Где-то далеко в лугах блеет овца.

Лют Матен щурится — уж очень яркое солнышко. Неохота ему просыпаться. Но вон у стены стоит старый морской рундук. Лют Матен широко раскрыл глаза.

Рундук! А где пингвин?

Ах, это ему только приснилось! Какой чудесный, волшебный сон! Постой, постой, а что же было во сне?

Лют Матен сел в кроватке. Сидит и думает. Посмотрел на рундук: углы обшиты железом, большой замок. Весь рундук поседел. Должно быть, от старости. Обтянули его парусиной, а она поседела от времени.

Но ведь во сне пингвинчик выскочил прямо из рундука! Крышка поднялась, и он выскочил. Во сне. А может, не только во сне?

Лют Матен взъерошил волосы. Вот ведь как! Не идет у него из головы этот рундук — и все тут! «Ну, погоди, доберусь я до тебя!»

Лют Матен вскочил с кровати и босиком побежал к стене, где стоит рундук. Оглядел его со всех сторон. Опустился на корточки и постучал. Правда, тихо так, вежливо.

Но никто не откликнулся. Лют Матен постучал посильней. Опять никакого ответа. Тогда Лют Матен изо всех сил хлопнул ладошкой по крышке рундука. А тот все равно молчит! Лют Матен сам хотел открыть крышку, попробовал приподнять ее. Даже лицо у него покраснело от натуги. Пальцы побелели, а крышка не поддается. Будто ее приклеили!

Ладно, хватит! С досады Лют Матен стукнул по рундуку ногой.

— Не буду я подглядывать. Все это враки про пингвинчика! Только во сне так бывает!

И в чем был, в ночной рубашке, босиком, Лют Матен бежит на кухню. Его мама хлопчет у плиты.

— Лют Матен,— журит она его, качая головой,— лето уже прошло, а ты бегаешь босиком по холодному каменному полу.

Кухня у Матенов старая, как и весь дом,— ей лет сто, а то и больше. Над плитой нависает дымоход, а на выкрашенных синей краской полках стоят облитые голубой глазурью тарелки, простые глиняные горшки и оловянные кружки. На подоконнике цветет герань. Ну, ей-то еще не сто лет!

Мама у Лют Матена красивая и молодая. На щеках у нее ямочки, а волосы — чистое золото. Когда же она смотрит на своего сына, она ласково улыбается. Лют Матену это приятно.

— Ну что, малыш, не выспался?

Лют Матен зевает и потягивается. Он стоит босой на полу и скребет себе живот.

— Каша еще не готова?

— Ты сперва обуйся,— говорит ему мама.— Умойся, причешись, почисти зубы.

Справившись со всем этим, Лют Матен, чистенький, прибранный, садится за стол.

Над его тарелкой поднимается пар — в ней манная каша, а посередине — сахарный островок.

Лют Матен водит ложкой по тарелке. Вот и нет островка. Но Лют Матен все водит и водит ложкой — то влево, то вправо, то влево, то вправо. Что это с ним сегодня?

Лют Матен думает.

Мама вышла из кухни. Она рядом, в комнате, вытирает пыль. Лют Матен спрашивает через открытую дверь:

— Мам, а что там внутри прадедушкиного рундука?

— Да ничего. Так, всякая всячина.

— Какая всячина?

— Ну, мелочь всякая. Все, что дедушка собирал, когда по белу свету путешествовал. Ракушки, кораллы... Старинные книги...

Говоря это, мама передвигает стулья, открывает окно, голос ее слышится то близко, то издали.

— А что еще там есть? — спрашивает немного погодя Лют Матен.

— Старый компас, должно быть, трубки прадедушкины и много-много камушков, самых диковинных, с Огненной Земли.

— А еще что? — снова спрашивает Лют Матен и ждет, притаившись. Ложка застыла в воздухе.

— Может, и еще что есть. Я уж целую вечность в прадедушкин рундук не заглядывала.

Лют Матен снова задумался. Вот наконец опять заработала ложка, но Лют Матен все еще думает. Потом вдруг спрашивает:

— А пингвина там нет?

— Пингвин? Где?

— В прадедушкином рундуке.

— Пингвина? — Мама мельком заглядывает в кухню. — А ты кашу почему не ешь? И что это с тобой сегодня? Никак не проснешься. — Она снова уходит в другую комнату.

Лют Матен слышит, как она говорит оттуда:

— Тоже выдумал — пингвин в рундуке! Он там и не поместится. Он ведь большой, пингвин-то.

— А бывают и маленькие совсем, с мой палец, не больше.

— Ну, вот что — хватит. Ты тут болтаешь всякую чепуху, а каша небось уже остыла? Ешь!

Лют Матен снова начинает работать ложкой, глотает кашу и молчит. Но все время думает о том, что видел во сне. Рассказать маме или не стоит? Да она все равно не поверит. Улыбнется и скажет: «Ну что ты все выдумываешь? Ешь лучше кашу!»

Так Лют Матен за завтраком ничего и не рассказывает маме. Молча глотает он свою кашу.

А как же его сон? Как пингвин?

Тарелка уже пуста. Лют Матен сыт. И сон его отлетел.

Лют Матен слез со стула, вытер рот, достал из уголка подле кухонного шкафа маленькую оцинкованную бадейку, крикнул маме:

— Я пошел! — и был таков.

Вот он шагает по лугам, ноги уже мокрые от обильной ро-

сы. Капельки ее переливаются на солнце, и цветы стоят — будто умылись. Но Лют Матен не видит ничего — ни капелек росы, ни цветов. Он ищет свой сон.

Ребята кричат ему вслед:

— Эй, великий рыболов! Покажи-ка свой улов!

Пускай кричат. Лют Матен не бросает в них камнем, не грозит кулаком. Он даже не оборачивается.

Лют Матен ищет свой сон.

Так он добирается до берега, где стоит Старый причал на гнилых сваях, а в маленькой бухточке — его невод. Еще издали видно — ничего не изменилось. Нет, что-то не так. Там внизу около самого невода скачет Марикен Гульденбрандт. Машет руками и кричит:

— Лют Матен, у тебя рыбка попалась!

Лют Матен со всех ног бросается к воде. Даже бадейку забыл — вон она катится по траве. Пробегает мимо Марикен — и прямо в воду. Брызги летят во все стороны.

У садка-ловушки Лют Матен останавливается. В зеленой воде стоит черная сеть. Лют Матен выдергивает ее из воды.

В большой, очень большой сети трепещет совсем маленькая рыбка — молоденькая серебряная плотичка. Не сто угрей и не семнадцать, а одна-единственная плотичка. Маленькая, ладненькая, серебристая плотичка. И Лют Матен не может оторвать глаз от нее, будто он клад какой нашел.

— Марикен! — кричит он. — Марикен!

Берет рыбку в руку, выносит ее на берег и тут же пускает в бадейку, зачерпнув сперва немного воды из залива.

Минуту-другую плотица лежит на боку, будто и неживая совсем. Но вдруг она дергает хвостом, один раз, другой, широко раскрывает рот и — поплыла, повернувшись спинкой кверху. Вон она уже плещется в бадейке.

А Лют Матен и Марикен смотрят, как она плещется.

— Ты рад? — спрашивает Марикен.

У Лют Матена глаза блестят, щеки разрумянились. Он даже сказать не может, как он рад.

Будто далекое воспоминание, всплывает перед ним его сон, а с ним и волшебное сияние Белой ракушки...

Лют Матен хватает Марикен за руку, но сияние не дает ему говорить.

Марикен встревожена:

— Что это с тобой, Лют Матен?

Лют Матен ничего не может сказать. Он так искал Белую ракушку, искал ее во сне, видел волшебное сияние... А потом?

Лют Матен сидит не шелохнувшись, словно застыл. Марикен отдергивает руку.

— Да что это с тобой, Лют Матен?

В бадейке плещется серебристая рыбка.

И Лют Матен говорит:

— Марикен, я знаю, как все с плотичкой получилось. Я знаю, как она ко мне в невод попала.

— Так уж и знаешь?

— Я все видел во сне.

— Во сне? — говорит Марикен тихо-тихо и даже рот забыла закрыть от удивления.

— Я видел во сне, как я искал Белую ракушку. И со мной был еще кое-кто. Пингвин. Маленький, как вот этот палец.

— Ну и выдумал!

— Честное слово! А раз ты мне не веришь...

— Что ты, что ты, Лют Матен! Верю, — торопится сказать Марикен: уж больно ее любопытство разбирает. — И тебе вправду все приснилось? И пингвин такой маленький, с палец?

— И еще я много чего видел. Только Белую ракушку я не мог позвать. И все погасло...

— А пингвин?

— Пропал куда-то.

Марикен тихо вздыхает.

— Знаешь, Марикен, он умел говорить. И потом, он был волшебником. Он хотел сделать так, чтобы никто больше надо мной не смеялся.

Оба молчат и смотрят на плотичку в бадейке. Голова к голове. Золотистые волосы Марикен переливаются на солнце.

Немного погодя Лют Матен говорит:

— Теперь никто не будет смеяться! Вот она, моя плотичка! Это мой невод ее поймал. Белая ракушка так повелела.

— Чего это она повелела?

— Чтобы плотичка в невод попалась.

— Белая ракушка так повелела?

— Она самая. — Лют Матен кивает головой. — Я же во сне видел, как я ее искал.

Снова оба молчат. Лют Матен смотрит на плотичку, а Марикен смотрит на Лют Матена.

Марикен не знает, что ей и думать. Ведь Лют Матен такой молодец, и сон ему такой интересный приснился. Пингвина он во сне видел, с палец. И как Белая ракушка лежит на дне залива, и не простая, а волшебная — она чудеса может творить...

А с плотичкой никакого чуда не было. Марикен это хорошо знает. И сон тут ни при чем. И совсем не чудом она в невод попала. Марикен сама ее туда посадила. Сегодня утром, рано-рано, когда еще туман над заливом висел, она принесла плотичку и пустила в воду. Как раз там, где садок-ловушка невода Лют

Матена. Уж очень Марикен хотелось порадовать Лют Матена.

А ему возьми да и приснись Белая ракушка. И этот пингвин...

Марикен еще очень маленькая девочка, но она ведь дочка умного учителя Гульденбрандта. И все-таки она совсем растерялась и не знает, что делать. Она смотрит и смотрит на Лют Матена, даже не моргает совсем, все смотрит, смотрит. Лют Матену становится как-то не по себе, и он спрашивает:

— Ну, чего свои жабы глаза выпучила?

Марикен заливается краской:

— Сонная ты тетеря! И пингвина никакого не было! Все это враки!

— Вот ты как! — сердится Лют Матен. — А плотичка?

— Плотичка? Подумаешь, плотичка махонькая!

— Вот ты, значит, какая! Ну и убирайся!

Тишина стоит над заливом. Горе и вражда. Марикен и Лют Матен поссорились.

В небе пищит чайка. На горизонте стучит мотор мотобота.

Марикен встает. Марикен хочет уйти. Она одергивает платье, разглаживает складки, переминается с ноги на ногу, но уходить не уходит.

Лют Матен упрямо смотрит на бадью, глаз не сводит с плотички.

Плотичка кружит и плещется, кружит и плещется.

Ну что такого сказала Марикен? «Подумаешь, плотичка!» А Лют Матен страшно обиделся. Он сидит возле своей бадейки и очень сердится, однако виду не подает.

Вдруг рядом с ним на траве останавливаются чьи-то ноги. Босые. С длинными пальцами. Хорошо с такими пальцами по деревьям лазать! В деревне только у одного мальчишки ноги с такими пальцами. Лют Матен поднимает голову и видит веселое загорелое лицо. Скулы широкие, зубы так и сверкают — сразу видно, парень бойкий. Это Кауле Браминг. Лучший друг Лют Матена. Был когда-то.

— Чего это у тебя? — спрашивает Кауле Браминг.

— А ты погляди, — отвечает Лют Матен. — Плотва.

— Я и сам вижу, что плотва. А ты скажи, откуда она у тебя?

— Из невода. А ты думал, откуда?

— Из невода? Вот насмешил! — Кауле Браминг смеется, а Лют Матену смех его кажется похожим на блеяние козы. Он отворачивается.

Да, были они когда-то друзьями — Лют Матен и Кауле Браминг. Да вот невод их разлучил. Кауле и знать ничего не хотел об этом неводе. Он сразу сказал: «Мурá твой невод! Вот удочка — это дело. Твоим неводом ничего не поймаешь!» Так и кончилась их дружба. Ни одного слова хорошего они уже друг

другу не сказали. А теперь Кауле, видите ли, пришел, болтает тут всякую чушь да еще ногами прямо в бадейку лезет, пальцами шевелит.

— Перестань! — говорит Лют Матен.

Кауле слушается. Но глаз от плотички не отрывает. И медленно так говорит:

— Плотва, она, конечно, плотва и есть. Да не из твоего невода.

Лют Матен делает вид, будто ничего не слышал.

Чуть поодаль стоит Марикен. «Хоть бы слово сказала, — думает Лют Матен. — Она же знает, что плотва в невод попалась. Сама ее первая увидела. А молчит».

А Кауле Браминг опять за свое:

— Таракана проглочу, если докажешь, что плотва в невод попалась. Не из него она.

Какой нашелся!

Лют Матен не выдержал и крикнул:

— Проваливай! Будешь тут языком трепать!

— Говорю тебе: не из твоего невода плотва.

— А я доказать могу, что из моего. Захочу и докажу.

— А ну-ка, захоти! — говорит Кауле, выуживая из кармана засахаренные орешки и один за другим отправляя их в рот. — Давай, давай доказывай!

— Тебе? Тебе я ничего доказывать не стану, — говорит Лют Матен.

— Потому как ничего доказать не можешь.

— А что, если я сама видела? — вдруг говорит Марикен.

— Чего, чего ты видела? — набрасывается на нее Кауле.

— А вот видела! — настаивает Марикен.

Лют Матен рад-радешенек.

Кауле Браминг молча набирает в руку засахаренные орешки. Набрав целую горсть, закидывает их себе в пасть, глотает и говорит:

— Тогда, значит, кто-то нарочно подсадил тебе в невод плотву. А может, ты сам подсадил, а?

Надо же быть таким негодяем! Лют Матен даже подскочил на месте.

— Хитрый какой! — кричит он. — Завидно тебе, вот и все!

— Чего это мне завидовать? Ты пошевели мозгами: в твой невод ни одна рыба сама не пойдет. И старик мой то же говорит.

— «Старик, старик»!..

— Вот видишь, тебе и сказать нечего. Да разве это невод? Так, игрушки. Все говорят.

Ладно, все! Лют Матен молча подхватывает свою бадейку. Дурак набитый этот Кауле!

Лют Матен уходит. В руке у него качается бадейка. Вода плещется. Рыбка кружит. Ну и пусть Кауле давно уже в школу ходит! Ну и пусть его старик хваленый рыбак! Все равно Лют Матен знает: это его невод поймал рыбу. А если кто сомневается, пускай спросит Марикен Гульденбрандт. Она первая плотичку увидела. Хорошо, что у него есть Марикен.

Видно, Лют Матен уже позабыл, что они только что поссорились.

— Айда со мной! — говорит Лют Матен. — Всем плотичку покажем. Хочешь, понеси ее немного.

Марикен надо бы обрадоваться. А она ничуть не рада. И никуда не собирается идти. И бадейку нести не хочет. Чего это она нос воротит? И глаза отвела. Вон выдернула травинку, тербит ее, а сама ни с места.

— Ты один иди, Лют Матен, — говорит она. — Мне домой пора. Правда, пора.

Травинка полетела в бадейку Лют Матена. Марикен бежит. Платице развевается.

Лют Матен удивленно глядит ей вслед. Ничего он не понимает. Почему Марикен убежала? Лют Матен вылавливает стебелек из бадейки, а сам думает: «Поди тут разберись с этими девчонками!»

Кауле Браминг тоже смылся. Вот он влез на Старый причал, где воткнута его тоненькая бамбуковая удочка. Кауле ложится рядом и чуть подергивает леску.

— Удил, удил Кауле, да ничего не выудил! — кричит ему Лют Матен, топая через зеленый луг к деревне.

Бადейка с плотвой раскачивается у него в руке.

Над лугом бескрайнее синее небо. Плынут куда-то белоснежные облака... Лют Матену очень весело. Ему хочется скакать от радости, петь. Но нельзя: еще расплещешь воду в бадейке! И Лют Матен шагает осторожно, размеренно, будто в руке у него самый что ни на есть драгоценный сосуд.

Вон опять ему ребята навстречу.

— Эй, великий рыболов! Покажи-ка свой улов! — кричат они ему хором и тут же умолкают, увидев плотву в бадейке.

Трое, четверо, пятеро ребят и девочек — кто поменьше, кто постарше — склонились над бадейкой Лют Матена.

А ведь и верно: плотва!

— Откуда она у тебя, Лют Матен?

— Невод мой поймал.

— Правда, из твоего невода?

С удивлением смотрят ребята на Лют Матена. Ну, а так как он даже не останавливается, все они скачут рядом с ним, кто справа, кто слева — со всех сторон.

— Чего скачете? — прикрикнул Лют Матен. — Еще воду из-за вас разолью!

Но ребята все равно толпятся, толкаются. Кричат, перебивая друг друга:

— А у Лют Матена рыбка в неводе!

— Лют Матен плотву поймал!

Шумной гурьбой шагают они по лугу до самой деревни.

Лют Матен — герой дня. Пыльный деревенский проселок — дорога победы. Крик и гомон ребят лучше всякого оркестра:

— А у Лют Матена рыбка в неводе!

Судачили хозяйки у плетня — перестали судачить.

Шел рыбак — обернулся.

Спала собака в конуре — пулей вылетела на крик, лает, надсаживается.

Ребят вокруг Лют Матена все больше и больше — по деревне плывет облако пыли на ребячьих ногах.

Сегодня у Лют Матена самый счастливый день в его жизни!

А в бадейке, поблескивая серебром, кружит маленькая рыбка.словно этот шум ее и не касается.

Вот вся ватага подошла к дому Матенов. Белые, залитые солнцем стены. Поблескивают небольшие оконца. На камышовой крыше сидит скворец. Фррррр — и нет его.

Шумная тучка пыли испугнула скворца.

Позади белого домика на зеленой траве лежат белые простыни — для отбели, рядом с ними стоит корзина, а рядом с корзиной — мать Лют Матена. Прямо на нее надвигается тучка пыли. Бог ты мой! Сколько же тут грязных ног!

— За забором постойте! — кричит фрау Матен детям. Она боится, как бы ребятня ее простыни не затоптала.

Но детям нет дела до ее простыней. Они подбегают к фрау Матен, кричат, что-то объясняют, и среди всего этого гомона молча стоит Лют Матен с бадейкой в руке. Он тут меньше всех.

— Плотичка! — говорит он.

— Своим неводом поймал! — поясняют ребята.

Фрау Матен, позабыв о простынях, тоже склоняется над бадейкой.

А ведь и правда плотичка!

— Скажи пожалуйста! — восклицает фрау Матен. — Настоящая плотичка. Ты сам ее своим неводом поймал?

— Да.

— Вот уж отец удивится, Лют Матен!

Лют Матен тяжело вздыхает. Еще как удивится! Отец — рыбак, ловит рыбу большим неводом. Никогда он невод Лют Матена всерьез не принимал. А теперь вот Лют Матен плотву принес. И ничего тут не скажешь. Еще как удивится!

Лют Матен тащит бадейку в дом. Мать шагает впереди — двери придерживает.

Ребята убегают со двора. По всей деревне они разнесут радостную весть — невод Лют Матена рыбку принес!

Куда же теперь Лют Матену свою рыбку девать?

А вот куда. На кухне у окна стоит скамья, на ней ведра с водой. Тут отец сетку с угрями кладет, когда из гавани домой приходит. И на это же самое место ставит Лют Матен свою бадейку. Спокойно и уверенно — так, мол, и надо. Никогда еще Лют Матен так не гордился, никогда с таким нетерпением не ждал отца.

— Ну как, Лют Матен, доволен? — спрашивает мать.

— Для начала неплохо, — солидно отвечает сын. — Завтра и поболее попадется, бадья мала будет.

Мать улыбается, но Лют Матен этого не видит.

Тихо на кухне. В окна льется полуденный свет, в прозрачной золотистой водичке, словно заколдованная, стоит рыбка.

— Какая она спокойная! — говорит мама. — Знаешь, Лют Матен, не пойму я что-то — такая маленькая и совсем одна попалась в твой невод.

— А вот попалась!

— Да, ты прав, конечно. Но чудно мне что-то!

Быстро взглянув на мать, Лют Матен насторожился. Неужели она тоже будет говорить, как Кауле Браминг?

— Ничего чудного тут нет. Маленькая там или не маленькая, а мой невод ее поймал. Марикен тоже видела.

— Ладно уж, — говорит мама, поглаживая Лют Матена по голове.

Но этого он терпеть не может. Лют Матен отстраняет руку матери.

— Эх, ты, заладил: «Мой невод, мой невод...»

Лют Матен слышит, как отец открывает наружную дверь. Вот он вошел в кухню, большой, спокойный рыбак Матен, хозяин большого невода, бригадир мотобота «Лосось». Ему даже нагибаться приходится, когда он переступает порог.

— Здорово, здорово! — говорит отец. — Как дела у тебя? — спрашивает он Лют Матена и вешает шапку на крючок у дверей. — На причале говорили, будто в твой невод рыба попалась? — Он смотрит на сына, улыбается. — Верно люди говорят или зря болтают? А, Лют Матен?

Ничего не болтают. Все чистая правда. Только как бы об этом лучше сказать отцу? Лют Матен словно застыл у окна. Сердце стучит громко — Лют Матену кажется, будто на весь дом слышно.

— Плотву, говорят, твой невод принес? — повторяет отец и подходит к скамье, на которой стоят ведра с водой. — Гляди-ка,

место-то уже занято! Бадеечка! А в бадеечке плотва. Что правда, то правда — плотва!

Отец и так и эдак ее рассматривает, в затылке почесал, за ухо себя подергал. Видно, не знает, как быть.

Лют Матен молча следит за ним, стоя у окна. Ждет, когда отец его похвалит. Но отец не хвалит. Он только качает головой, перекладывает сетку с угрями из одной руки в другую, снова заглядывает в бадейку и опять качает головой.

— Твой невод, говоришь, принес плотву? — снова спрашивает он.

Ну вот! Тоже не верит! А еще отец!

— Нынче утром, — говорит вдруг Лют Матен, вновь обретая дар речи.

— Твой невод?

— Мой! — отвечает Лют Матен, уже начиная сердиться на отца.

— Ну, хоть ты-то поверь ему! — замечает мать. Она режет лук и мясо на столе.

Тут-тук — стучит нож. Мать торопится. У нее еще белье не убрано. Это Лют Матен со своей плотичкой нарушил ее распорядок дня.

Отец говорит:

— Никак этого быть не могло. Не пойдет плотва в твой невод.

— А вот взяла да и пошла! — настаивает Лют Матен.

— Стало быть, что-то не так!

— А ты спроси Марикен. Вот спроси! — сердится Лют Матен. Он даже глаза прищурил. — Марикен сама видела плотичку в моем неводе. Первая увидела.

Но отец не сдается. Спокойно и очень серьезно он говорит:

— Можешь уж мне поверить, сынок: в твой невод плотва не пойдет. И никакая другая рыба тоже не пойдет. А если он тебе и принес плотву, значит, кто-то ее туда посадил. Пошутить хотел и подсадил. Только так оно и может быть. Не иначе.

Да, Лют Матен, только так — и не иначе. Никакой тебе похвалы, ничего... Сказал, и все.

Отец берет ковш, зачерпывает воды, засучивает рукава и принимается мыть руки — медленно, основательно.

Сказал, и все... Разве ему догадаться, как больно он сделал сыну?

Радости как не бывало! Лют Матен стоит у окошка грустный-грустный.

А глаза так и жжет. Это слезы. Слезы гнева.

— Ты что это, Лют Матен? Неужто обиделся? Напрасно, ни к чему.

Но Лют Матен не любит, когда его жалеют. Он встает и молча покидает кухню. Ему хочется побыть одному.

Выйдя из кухни, Лют Матен забирается на поленницу, сложенную около сарая. И здесь, где его никто не видит, он плачет.

Солнце начинает припекать. Жужжат мухи. Где-то далеко-далеко перекрикиваются ребята. Все как обычно, как каждый день. Но только не для Люта Матена.

Вон вышла из дому мама — должно быть, за корзиной с бельем. Оглядывается. Его, Люта Матена, ищет.

— Лют Матен, где ты? — зовет она.

С корзиной в руке она исчезает за дверью. Проходит немного времени, и показывается отец. Он выглядывает на улицу, смотрит, не спрятался ли Лют Матен за сараем.

А Лют Матен взял да и присел на корточки — сразу стал маленький-маленький. Он вытирает слезы, а то как бы отец не заметил. Но отец не видит Люта Матена.

Скрипнув, хлопнула за ним дверь.

Лют Матен выбирается из-за поленницы. Он знает: сейчас снова выйдет мать, а за ней отец. Станут вместе искать Люта Матена, а ему вовсе не хочется, чтобы его поймали, как кролика. К тому же глаза у него заплаканы. А он не плакса.

На лужке Лют Матен устраивается полежать. Трава мягкая. Будто красивые парусники, плывут по синему небу облака...

Тут его и находит мать:

— Вон ты, оказывается, где, Лют Матен!

Немного погода подходит отец.

— Завтра утречком с нами пойдешь. К дальним неводам. Договорились? — спрашивает он.

«Что это он вдруг? — думает Лют Матен. — Сколько раз отца просил: возьми меня к большим неводам. Никогда не брал. А сегодня сам предлагает. Небось жалеет. А вот Лют Матен не хочет, чтобы его жалели...»

Снова он смотрит на облака и ничуть не радуется.

Час за часом бежит — глядишь, и солнышко садится!

Наступает вечер того самого дня, который принес Люта Матену столько радости, а потом столько горя.

Снова в ветвях вишни шепчется сонный ветерок, на окошке играют блики уходящего дня. Снова Лют Матен лежит в своей кровати. Но сегодня он никак не может заснуть.

Он следит за игрой теней на окне. Прислушивается к шепоту ветра. Остался Лют Матен один на один со своим горем.

Значит, не может его невод рыбу ловить?

Взрослые — они умные, много знают. А вот о чем мечтает такой маленький мальчишка, как Лют Матен, — этого им не понять.

Неужели его невод ни одной рыбки поймать не может?

На окне по-прежнему играют тени, шепчет сонный ветерок, а у стены стоит старый матросский рундук. Прошлой ночью из него выскочил маленький пингвин. Во сне. Вместе они полетели искать Белую ракушку. А наутро невод Лют Матена принес плотву. Наутро после того, как он видел сон.

А вдруг пингвин сегодня ночью опять придет?

А вдруг Лют Матен сможет позвать Белую ракушку?

А вдруг они с пингвином добудут Белую ракушку?

Лют Матен лежит затаив дыхание. Вот он приподнялся и сел в постели. Сидит, не шелохнется. Только сердце стучит громко-громко.

А что будет, если они увидят Белую ракушку?

А что будет, если он сам найдет Белую ракушку?

Она обязательно поможет Лют Матену, и никто не станет больше над ним смеяться.

Лют Матен не отрываясь смотрит в окно.

Где-то там, глубоко на дне залива, лежит Белая ракушка.

А вдруг она ждет Лют Матена?

Лют Матен тихонько выбрался из постели. Тихонько оделся. Тихонько вылез в окно.

А тут прохладно. Лют Матена знобит. Он раздумывает. В теплой мягкой постели легко мечтается. И все мечты такие смелые, отважные. А вот теперь как быть? Нет, Лют Матен должен найти Белую ракушку! Он спрыгнул в холодную росистую траву и припустил во весь дух.

В окне у родителей еще горит свет. Свет падает на Лют Матена и словно бы спрашивает: «Куда это ты бежишь в такую пору, Лют Матен?»

Но Лют Матен не оглядывается.

Вон он несется через луга.

В гавани горят все огни. А над заливом ночь. Там тихо и темно.

Лют Матен бежит к тому месту на берегу, где привязаны рыбацкие лодки. Там и лодка Матенов.

А позади из тьмы выползает огромная оранжевая луна.

«Ну и лунища!» — думает Лют Матен. Сказать по правде, ему немного страшно.

Но вон там, у свай, совсем недалеко от берега, плавно покачивается лодка Матенов. Хорошая лодка — как верный друг. И Лют Матен уже ничего не боится...

Он подвертывает штаны и бредет по воде к отцовской лодке.

Воздух ночью холодный, и поэтому вода кажется теплой. Но все равно зуб на зуб не попадает. Да и неудивительно — на какое дело маленький Матен отважился!

Забравшись в лодку, Лют Матен немного успокаивается. Он поднимает мачту, натягивает парус. Затем, как это всегда делает отец, снасти. Нет, надо еще парус подтянуть — это ему тоже отец показывал. И вот он решительно скидывает канат со сваи, к которой принаитована лодка.

А теперь дуй, попутный ветерок!

И веселый неугомонный ветер, что как раз гулял над заливом, сразу заплясал в парусе, захлопал, надул его, и лодка бежит по воде — сперва медленно, а потом все быстрее, быстрее. Она уносит с собой Лют Матена, как прошлой ночью во сне кроватка.

Но все остальное совсем не похоже на сон.

Вода шлепает о борта лодки. У ночи холодные лапы. Да и пингвина нет, а он так хорошо знал дорогу! За все теперь Лют Матен сам в ответе.

Хорошо бы ему найти Белую ракушку!

Вот уже огни гавани слились в одну полосу. Свет в окнах рыбацких домов тускнеет. Чайки, словно и неживые совсем, медленно проплывают мимо по черной воде. Впереди висит луна, такая большая и оранжевая, что делается страшно.

Лют Матен, Лют Матен, куда ты держишь путь?

Подумай хорошенько, Лют Матен! Сейчас ночь, а ты совсем один.

В домике рыбака Матена тикают старые ходики. Маятник качается: тик-так, тик-так. Бригадир Матен достает ключи и идет заводить часы. Так он делает каждый вечер, перед тем как лечь спать.

А фрау Матен пока отправляется в каморку сына. Надо поглядеть, как спит Лют Матен, поправить одеяло, полюбоваться его спящей мордашкой.

Она тоже делает это каждый вечер, перед тем как лечь спать.

И вдруг — вот ужас!

Нет Лют Матена!

Кроватка пуста!

Окно распахнуто!

Фрау Матен закрывает лицо руками. Нет, она не ошиблась — Лют Матен исчез. Вон на полу его ночная рубашка.

Фрау Матен бросается к окну. Она кричит, зовет. В ветвях вишни по-прежнему шепчет сонный ветерок, кругом тяжелая немая тишина. На небе перемигиваются тусклые звезды.

— Лют Матен! Лют Матен! — зовет мать.

Но ей никто не отвечает.

Из соседней комнаты прибегает отец.

— Убежал он! В окошко! Оделся и убежал!

Отец поднимает с пола ночную рубашку. Кладет на кровать.

И ничего не говорит. Даже не смотрит на мать. Тревога за Лют Матена лишила его дара речи.

— Хоть бы слово сказал! — умоляет его мать.

— Что уж тут говорить! — отвечает отец и выходит на кухню.

Там он снимает с крючка шапку, надевает рыбацью робу.

— Пойду поищу. А всё этот невод виноват. Совсем мальчонку с ума свел.

Мать тоже хочет идти искать Лют Матена. Она берет шерстяной платок, накидывает на плечи. Но отец говорит с порога:

— Ты лучше здесь сиди. Вдруг он домой прибежит.

Но в это отец и сам не верит. Он шагает прямо через большой луг — так он еще никогда не ходил.

Мать, оставшись дома одна, не может выдержать мучительного ожидания. Она идет к соседям, стучит в окна, в двери.

— У нас Лют Матен пропал! Помогите искать!

А сам Лют Матен, из-за которого весь переполох, плывет на лодке по ночному заливу.

Луна поднялась повыше, она уже не такая ярко-оранжевая, стала поменьше, вся блестит и сверкает, будто талер серебряный, а Лют Матен гонится за ней на отцовской лодке.

Вдали мелькают огоньки — то погаснут, то опять зажгутся. Если бы не луна, Лют Матен сбился бы с дороги. Это она указывает ему, какой держать курс. Это она ведет его по заливу точно так же, как было во сне. И где-нибудь на сверкающей лунной дорожке Лют Матен найдет Белую ракушку. Из таинственной глубины она будет сиять волшебным сиянием, сверкать и переливаться.

Все будет так, как он видел во сне.

Под надутым парусом Лют Матен несется вперед. Парусный конец тянет его к себе, румпель руля давит на грудь.

Ветер крепчает. Он свистит, пригибает мачту к воде. Но Лют Матену ничуть не страшно. Он летит и летит вперед. Руки совсем застыли, а он и не замечает. Лицо решительное, губы сжаты. В груди его звенит песнь подвига. Скоро-скоро он увидит волшебное сияние Белой ракушки...

Ну а если не увидит? Как быть, если Белой ракушки и вовсе нет на свете?

Да ведь взрослые так много о ней говорят!

Но это могут быть и побасенки, Лют Матен.

А как же плотва в неводе?

А вдруг тебе ее кто-нибудь подсадил?

Это потому, что Кауле Браминг и отец так говорят?

Нет, нет, Лют Матен не попадется на эту удочку. Он найдет Белую ракушку. В Белую ракушку он верит, а все остальное — прочь!

Лодка несется по волнам, нос ее с шумом разрезает воду. Парус надут.

Лют Матен все видит, все знает. И как бьет волна, и откуда дует ветер. Зорок его глаз, надежна рука.

Вдали проплывают красные и зеленые огоньки — это мотоботы. С неба упала звезда — вспыхнул длинный хвост и исчез. Из темноты выныривают чайки, парят над лунной дорожкой и скрываются в темноте, не оставив следа...

Лют Матен несется по лунной дорожке. Лют Матен зорко следит за водой.

Но где же Белая ракушка?

Впереди набегают белые клубы тумана, а вода в заливе черная-черная, будто затеяла недоброе... И нигде никакого сияния, нигде нет Белой ракушки.

И вдруг Лют Матен вздрагивает от ужаса...

Из белесой туманной дымки вырастает частокол свай. На них натянуты сети. Они растут на глазах. Они несутся прямо на него...

Лют Матен застыл на месте. Он не может ни о чем думать, не в силах что-либо сделать. Лодка с ходу врежется в большой невод.

Чуть-чуть покачнулась, что-то затрещало, и наступила мертвая тишина. Лодка стоит, опутанная сетями и тросами.

Лют Матен боится шелохнуться. Как же это могло случиться? И что ему теперь делать?

Где-то далеко позади остались береговые огни, далеко-далеко в стороне красные и зеленые светлячки мотоботов.

И еще дальше — луна, такая теперь чужая и холодная, светится в небе.

Куда же это она завела Лют Матена?

Лодка крепко застряла между сваями. Лют Матену одному не сдвинуть ее с места. Крепкие тросы цепко держат ее. И сколько бы их ни дергал Лют Матен, они не поддаются. Тут уж надо, чтобы кто-нибудь из взрослых их распутал. А где их возьмешь теперь, взрослых?

И где же Белая ракушка?

Разве она не видит — Лют Матен попал в беду.

Неужели не придет ему на помощь? Не подаст знака?

Лют Матен ждет. Но никто не подает знака. Вода все такая же черная, она шлепает и шлепает о борта, а на сетях качаются морские водоросли.

Нет, не подала знака Белая ракушка. Оставила Лют Матена одного. Один он, совсем один посреди огромного залива.

На мачте полощется парус. Лют Матен спускает парус. И чтобы хоть чуточку согреться, закутывается в парусину. Так

он сидит и с тоскою смотрит на далекие береговые огни. Парусина мокрая, но мало-помалу она согревается, и Лют Матену уже не так страшно.

Лют Матен устал. Так ему горько, так грустно, как никому на всем свете. Но вот, словно большое мягкое одеяло, его окутывает сон. Спит Лют Матен и даже не замечает, что по щекам его бегут слезы.

Он не знает, спит он или не спит, когда на корму лодки плавно опускается чайка. Она стоит на тоненьких ножках, повернув клюв в сторону.

«Редкий ты у нас гость, ничего не скажешь,— говорит она.— Что это ты здесь делаешь — ночью, среди сетей?»

Она поворачивает клюв влево, потом вправо.

«А отец твой знает, где ты? Гляди, попадет тебе от него!»

Но Лют Матен спит себе, завернувшись в парусину. Крепко спит. Он так устал, что не может ответить чайке. Даже во сне.

А она то одно перышко поправит, то другое почистит. И вдруг поднимает клюв и говорит:

«А Белой ракушки и нет вовсе. Ну, той, что ты ищешь. Нет ее, нет ее, нет ее...»

И сразу умолкает. Подтянула одну лапку, спрятала под крылышко, а сама стоит себе, поглядывает вокруг. Лют Матен и рад, что никто его не тревожит,— можно хорошенько выспаться.

Но тут все как загремит: бум-бум, трах-тарарах! Лодка ударяется о лодку — вот-вот Лют Матен пойдет ко дну...

Чайки сразу и след простыл. Лют Матен открывает глаза и видит, как его отец перепрыгивает из своей лодки к нему. Рядом борт о борт с ним стоит лодка капитана Мауна. Паруса ее хлопают, как крылья огромной птицы.

— Эй ты, рыболов великий! — зовет капитан Маун.

А отец ворчит сердито:

— Ну и натворил ты дел, Лют Матен! Среди ночи в залив — да прямо в наши сети! В своем ли ты уме, сынок?

Грозен голос отца. Маленькому Матену, свернувшись под парусиной, хочется стать еще в три раза меньше.

Отец упирается руками в ближайшую сваю. Капитан Маун помогает ему багром. Вместе распутывают они запутавшиеся сети, и лодка медленно выскальзывает из невода.

Лют Матен выбирается из своей парусины. Ему холодно, он ежится, но это мало помогает. Холодно, холодно!.. И только под толстой отцовской курткой ему становится тепло.

Так они и сидят рядом — бригадир Матен и сынок его Лют Матен. А лодка скользит по заливу. Вон как парус пузо выпятил! Впереди на носу горит фонарь.

В кильватере идет лодка капитана Мауна. У нее под носом белые водяные усы. А фонарь на форштевне ярко освещает даже парус.

Но ничего этого Лют Матен не видит. Он прикорнул под отцовской курткой, укрывшись до самых ушей. Один нос торчит наружу. Нос холодный, а сам в тепле, даже ноги. Лют Матену хорошо, как дома. Вон низко-низко над водой мерцает звездочка. А как тихо вдруг стало!

— Спишь, Лют Матен? — спрашивает отец.

Лют Матен качает головой.

— Скажи-ка мне, сынок, и чего это тебя ночью к неводу понесло?

— Так просто, — отвечает Лют Матен.

— Послушай, нехорошо это. Ведь так и до беды недалеко. Таким малышам, как ты, ночью в заливе делать нечего.

Лют Матен только сопит в ответ. Да и что ему говорить?

— Потихоньку от отца с матерью, никому не сказавшись, взял да удрал. Мать до смерти перепугалась. Нехорошо ты поступил. И чтоб этого за тобой больше никогда не водилось!

Лют Матен упорно молчит. Тогда отец строго спрашивает:

— Ты слышал, что я сказал?

— Слышал.

Немного погодя отец снова спрашивает:

— Ты чего в заливе подглядеть хотел? Может, угрей в свой невод переманить надумал?

Лют Матен молчит. Он плывет на лодке домой, тепло укутанный толстой рыбацкой курткой. Но расспросы отца снова пробудили обиду.

Вот и все... Белой ракушки он не нашел!

А завтра ребята будут еще больше над ним смеяться. И громче всех этот Кауле Браминг!

Грустно Лют Матену сидеть под курткой. На низком небе мерцает звезда. Лют Матен молча смотрит на нее.

Отец, должно быть, думает, что Лют Матен уснул. Он укутывает его потеплей. Но Лют Матен не спит. Вдруг он спрашивает. Очень тихо спрашивает:

— А мой невод не может ловить рыбу?

Отец гладит его по голове, и Лют Матен не уклоняется.

— Спи, спи, сынок! Про твой невод завтра поговорим. Как он сейчас поставлен — в него рыба никогда не пойдет.

— Никогда?

— Никогда, — отвечает отец. — А теперь прижмись ко мне крепче и спи.

Но Лют Матен не может спать.

Проходит еще немного времени, и он опять спрашивает:

— Пап, а есть Белая ракушка?

Отец смеется. Смеется где-то глубоко в горле, как он всегда смеется, когда ему что-нибудь кажется чудным.

— А ты опять за свое, Лют Матен?

— Нет, папа, ты скажи: есть Белая ракушка или как?

— У нас-то? В нашем мелком заливе? Нет, сынок. Нет ее.

— А почему тогда говорят, что есть?

— Да так, болтают от нечего делать. Спи!

Нет, не будет Лют Матен спать! Не выходит у него из головы Белая ракушка и его невод. Вот и отец говорит, что никогда в него рыба не пойдет и что нет на свете Белой ракушки. Где уж тут спать?

Взгляд его снова останавливается на мерцающей звезде. Чуть покачиваясь, лодка несется к берегу.

В гавани горят фонари.

Во многих рыбацких домах светятся окна. Это рыбаки поднялись, чтобы идти искать Лют Матена.

А отец его сам нашел. И на лодке привез.

Все рады. Все удивляются маленькому Матену.

Но сам Лют Матен ничего не слышит, никого не видит.

Лют Матен заснул.

Тихо стало над заливом.

Тишина на берегу.

Тихо стоят сети в воде.

Притих и Лют Матен...

На следующее утро он сидит над своей манной кашей с сахарным островком. То вправо ложкой поведет, то влево островок отведет. О многом надо подумать Лют Матену. Лицо у него бледное, маленькое какое-то...

Мать, взглянув на него, говорит:

— Не нравишься ты мне сегодня. И надо же было темной ночью в залив уплыть! Мы тут все за тебя так боялись.

— Луна светила,— мрачно отвечает Лют Матен.

— Не хвастай! — упрекает его мать.— Не найди тебя отец, бог знает где бы ты сейчас был. И с чего это тебя туда понесло?

Но Лют Матен молчит. Ничего он никому не скажет. И никто никогда не узнает, зачем он ночью уплыл в залив.

Медленно, ложка за ложкой, Лют Матен прихлебывает кашу. А мама все говорит и говорит. Должно быть, страх свой за него хочет выговорить. Но Лют Матен совсем ее не слушает.

— Уж не обиделся ли ты? — журит его мама.

— На что? — отвечает он.

— Поглядишь на тебя — и правда подумаешь, что обиделся. Лют Матен опускает голову. Не хочет, чтобы мать видела

его лицо. Он думает о том, как бы ему поскорей убежать из дому и добраться до Старого причала.

Вот и ложка застучала быстрее. Тарелка пуста. Лют Матен отодвигает ее. Минуту еще он сидит молча, теребя клеенку, но вдруг встает и решительно говорит:

— Я пошел.

— Куда это? Опять на берег?

— А что, нельзя разве?

Мать молча смотрит на него. Должно быть, думает: «Лют Матен, Лют Матен, и когда ты у меня образумишься?»

— Вон твоя плотичка. Что мне с ней делать? — спрашивает она, убирая со стола.

Ах да, плотичка! Лют Матен смотрит на скамью у окна. Нет, не хочется ему и думать о плотичке! Прошлая ночь все перевернула. Все мечты развеяла. Нет никакой Белой ракушки. И невод его никогда не принесет рыбы. Вот какие дела нынче утром на белом свете!

— Выпустим ее в залив, — говорит он наконец и берет свою бадейку.

Плотва делает один круг, другой... Ловкая, серебристая.

Но Лют Матен и не смотрит на нее.

— Я пошел, — говорит он. И уходит.

Едва переступив через порог, он бросается бежать — поскорей бы отделаться!

Да, сегодня его путь через деревню не назовешь победным!

Лют Матен бежит так быстро, как только может. Он боится, как бы рыбаки не стали его расспрашивать... И ребята опять начнут кричать ему вслед дразнилки... И все опять будут над ним смеяться.

Лют Матен мчится что есть духу. В вытянутой руке, будто что-то позорное, бадейка с плотичкой.

Но сегодня деревня словно вымерла. Никто не попадается навстречу Лют Матену.

На лугу пасутся овцы. Они поднимают голову и молча смотрят на него. Даже не блеют. Дивятся, должно быть: «Кто это так спешит по траве?» А Лют Матена уже и след простыл.

Вода в бадейке плещется, плотичка в смертельном страхе носится взад и вперед. Лют Матен бежит и бежит, будто за ним кто гонится.

Никем не замеченный, он добегают до берега залива.

Тихо тут. Широко раскинулся залив. Лют Матен вдыхает его покой.

Солнце уже растопило остатки утренней дымки. Вода сверкает и блестит, отражая чистое небо.

А Лют Матен устроился на камешках, где легонько плещут-

ся волны. Вон и невод его. Палки покосились. Какие они тонкие, кривые! Серенькая сеть болтается. Маленький у него невод. Жалкий какой-то!

И чем дольше Лют Матен смотрит на свой невод, тем тяжелее делается у него на душе. Маленький не маленький, а ставил-то он его сам. Старался. Надеялся. Мечтал...

А невод ничего не принес. Одну беду он Лют Матену принес и насмешки. Вот только вчера плотичку поймал. Но в плотичку Лют Матен тоже уже не верит. Пусть себе плавает по заливу.

Он заходит поглубже в воду, чтобы плотичке было где развернуться. Набегают волна, и рыбка с испугу уходит на дно бадейки. Это залив ее поманил. Теперь рыбка взмывает вверх — и нет ее. Вон она уже резвится в вольной воде.

Лют Матен швыряет пустую бадейку на берег.

Так, первое дело сделано. Теперь за второе. Невод. Надо и его уничтожить. Прямо сейчас!

Шел он, шел, шагов трех не дошел — и вдруг последний проблеск самой последней надежды заставляет его остановиться. Словно кто-то тихо нашептывает ему: а что, Лют Матен, если сейчас твой невод угря поймал? Только одного угря. Не сто и не семнадцать. Только одного-единственного!

Но нет, не верит в это Лют Матен. Однако хотя и не верит, но к шепоту прислушивается. И при этом вспоминает о Белой ракушке. Чуть-чуть, конечно. В самый что ни на есть последний раз. Но и теперь, в самый-самый последний раз, его снова постигает разочарование.

Нет в его неводе угря! Ловушка пуста. Лют Матен держит в руках старую сеть. Вода стекает с нее, капает. Мечта отлетела. Пусть и невод сгинет навсегда!

Лют Матен выдергивает палки — первую, вторую, третью, четвертую, пятую... Поднимает сеть и скатывает ее. Оттаскивает и бросает в камыши мокрый, тяжелый моток. Палки летят вслед. Все! Все! Конец.

Пусть и сеть и палки — все сгинет в камышах. Нет у Лют Матена больше никакого невода! Сам великий рыболов его уничтожил.

Но хотя и нет невода, горе Лют Матена от этого не уменьшилось. Оно стало еще больше.

На берегу стоят двое и не верят глазам своим — Марикен и Кауле Браминг.

Марикен кричит:

— Что ты делаешь, Лют Матен!

Лют Матен вздрагивает.

— Ничего не делаю, — отвечает он и страшно злится. — Не-

чего вам тут глазеть! Я вам не обезьяна в зоопарке. Не видели вы меня, что ли?

— Насчет обезьяны это ты неплохо сказал,— замечает Кауле Браминг.

Вот бы Лют Матену палку сейчас! Жаль, все палки только что выбросил. Как запустил бы в Кауле Браминга!

Мрачнее тучи Лют Матен выбирается из воды.

Марикен спрашивает:

— Что ж ты со своим неводом сделал?

Кауле кричит издали:

— А правда, ты ночью по заливу на лодке катался?

Лют Матен никому не отвечает. Неохота ему, и все. Пусть оставят его в покое.

— Станный ты сегодня какой-то,— говорит Марикен.— И невод свой поломал. Зачем это, Лют Матен?

А Кауле говорит:

— Знал бы я, что ты ночью на лодке удерешь, я бы с тобой поплыл.

«Еще бы! — думает Лют Матен.— На такое ты всегда готов. А вот про невод и слышать не хотел. Только смеялся, как дурачок».

Но отвечать Лют Матен не отвечает.

Полдень. Солнце высоко-высоко. Залив сверкает, и с той стороны, где расставлены большие невода, приближаются мотоботы. Впереди с грохотом несется «Лосось». Вон он уже подходит к гавани. Но сегодня Лют Матен не побежит его встречать. Не увидят его сегодня рыбаки.

— Лют Матен, ты что, язык проглотил? — снова спрашивает Марикен.

А Кауле Браминг объясняет:

— Это оттого, что он ночью по заливу плавал!

Лют Матен по-прежнему молчит. Он садится на свою опрокинутую бадейку. Не отрываясь глядит на то место, где стоял его невод.

«Лосось» уже скрылся за кооперативным сараем. Мотор его тукает еще пять раз и умолкает. Значит, концы уже брошены и принайтованы. Это все Лют Матен и не глядя знает. А как бы ему хотелось побежать сейчас на причал.

— Прямо как будто это и не ты, Лют Матен! — удивляется Марикен.— А плотичка твоя жива?

— Зажарил он ее,— язвит Кауле Браминг.

Но и на это Лют Матен не отвечает.

— Во что бы нам поиграть? — спрашивает Марикен.

— «Ганс шляпу потерял»,— сразу же предлагает Кауле.— Пусть Лют Матен и будет Гансом.

— А ты шляпой! — не выдерживает Лют Матен.

Марикен взбирается на штабель свай. Садится, расправив юбочку, и щурится от солнца.

Кауле зажимает пальцем ноги камешек и швыряет его в воду. Камешек летит далеко-далеко, чуть ли не до Старого причала. В этом деле с Кауле никому не сравниться. А вот невод ставить — это не дозовешься!

Тяжело маленькому Матену. Невод свой он загубил. Никто не хотел ему помочь, никто его всерьез не принимал. Одна Марикен над ним не смеялась.

Лют Матен поворачивается к Марикен. Но видит он не Марикен, а своего родного отца. Марикен сидит высоко на штабеле, а из-за штабеля и выходит сейчас бригадир Матен.

Он пришел из гавани. Рыбачья роба расстегнута, шапка сдвинута на затылок. Солнце припекает. Отцу жарко.

— Ну как, мелюзга? — спрашивает он. — Что поделываете? Хотел посмотреть на твой невод, Лют Матен.

— Нет больше невода, — отвечает Кауле Браминг.

— Лют Матен сам его сломал! — кричит Марикен, слезая со штабеля.

— Ишь ты! Быстро это он. Я и не думал, — говорит отец, потирая шею.

А Лют Матен как сидел на бадейке, так и остался на ней сидеть. Когда все кончилось, тогда и пришел посмотреть!

Сколько дней здесь невод стоял, никогда не приходил. А теперь пришел!

Отец спрашивает:

— Вот тут он у тебя был? На мелководье? Да тут и самый хороший невод ничего не поймает. А ведь самым хорошим ты свой невод небось не назвал бы? Правильно я говорю?

Лют Матен не хочет и смотреть на отца. Вот он какой, оказывается! Знал все заранее и ни словечка не сказал: так, мол, детские игрушки! А теперь... Нет теперь никакого невода! Нечего о нем спрашивать.

Заметив, что Лют Матен нахмурился, отец улыбается и кладет ему руку на плечо:

— Ты не серчай, Лют Матен. Дело поправимое.

— Как это — поправимое?

На минуту воцаряется молчание. Отец задумчиво смотрит прямо перед собой. И вдруг, взглянув по очереди на всех детей — на Лют Матена, Марикен и Кауле Браминга, — говорит:

— Слушайте, Лют Матен, Марикен и Кауле Браминг! Вот что я вам скажу. Если есть у вас охота и вы не бросите все на другой же день и если вы мне это обещаете, то мы с вами вместе поставим новый невод.

Дети не отрывают глаз от бригадира Матена. Марикен как открыла свой маленький рот, так и забыла закрыть. А Кауле Браминг — сразу видно — не верит, сомневается: неужто бригадир рыбаков это вправду?

Зато у Лют Матена такое лицо, будто наступил и день рождения, и Новый год сразу.

— Всамделишный невод? — спрашивает он. — На глубокой воде?

— Как положено, — кивая, отвечает отец.

— На настоящих сваях? Таких, как вы ставите?

Отец снова кивает:

— А как же? Делать так делать! Все как полагается. Но и не чересчур большой. Вы и сами-то не больно велики.

— Ну-ну! Не так-то и малы!

Кауле выпрямляется и сразу делается немного больше. А Марикен повыше задирает свой курносый нос.

Зато Лют Матен ничего не делает. Большой там или маленький — это ему все равно. Они будут ставить невод, настоящий. И на глубокой воде. Далеко-далеко в заливе. Вместе с отцом. Вот это самое главное.

Неожиданно он вскакивает и кричит:

— А я знаю, где мы его поставим! У Зеленой воды — вот где!

— Тише, тише! Ишь ты, разбежался! Сперва пойдемте-ка к причалу и соберем все, что нам для этого надобно.

Всякие бывают истории. Бывают и с настоящим концом. После них можно поставить точку и «Конец».

А вот после нашей истории я уже слышу, как вы спрашиваете: а что дальше-то было? С Лют Матеном? С Марикен и Кауле Брамингом? И с бригадиром Матеном? Невод-то они поставили?

Но, по правде сказать, я знаю, как все было, только еще на два дня вперед.

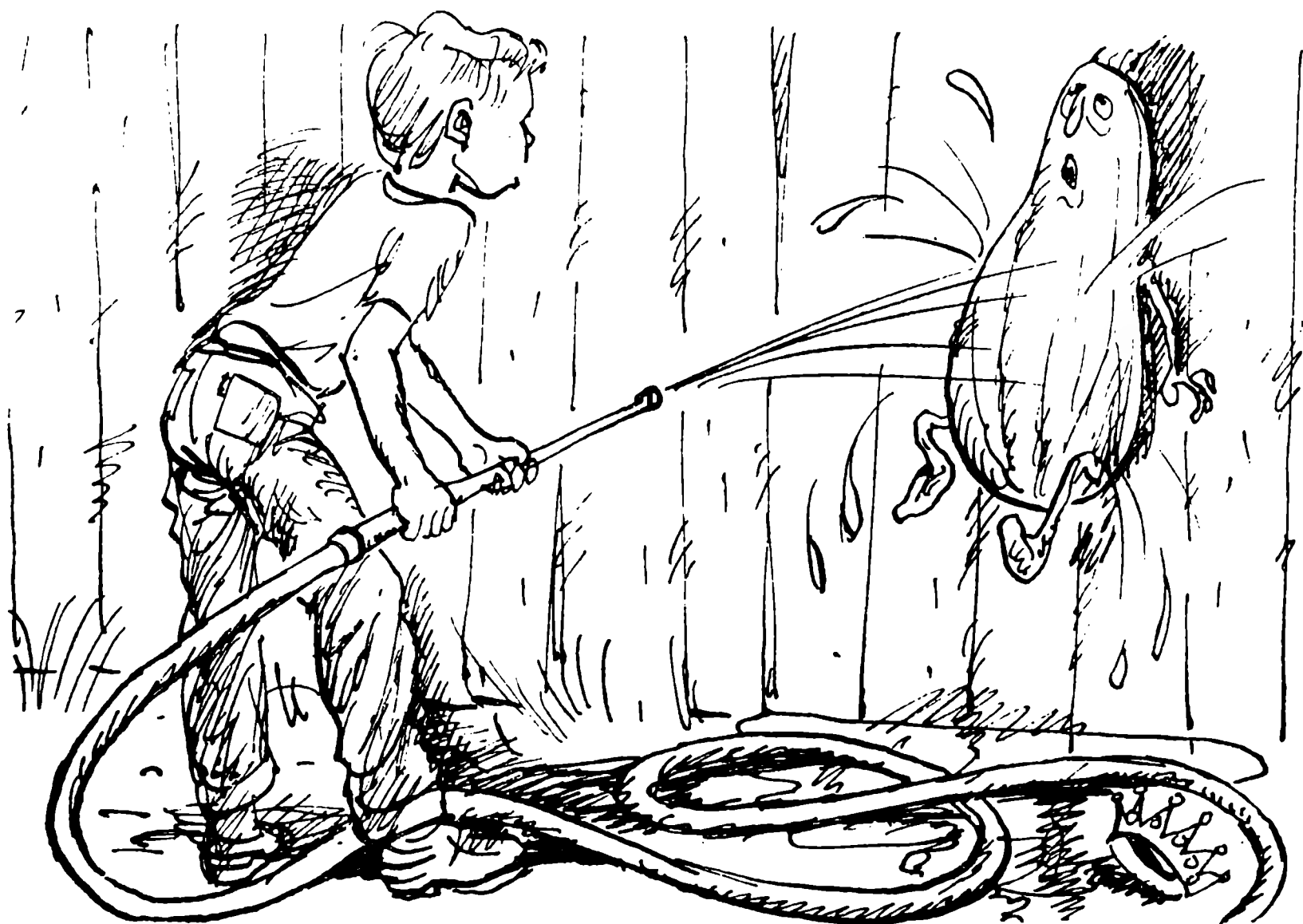
В первый день вечером новый невод уже стоял в заливе.

На второй, рано утром, они все вместе поехали на лодке выбирать сети. А в сетях — двадцать три угря.

Что ж, на этом, стало быть, и кончилась наша история?

Или не кончилась?

Ведь далеко в заливе стоит настоящий ребячий невод — сколько он еще рыбы поймает?



Кристине Нёстлингер

ДОЛОЙ ОГУРЕЧНОГО КОРОЛЯ!

ВМЕСТО ПРЕДИСЛОВИЯ

Мой дед сказал, что кому-то из нас нужно записать эту историю.

Что ж, он абсолютно прав. Сделать это вызвалась Мартина. Но все ее благие намерения свелись к покупке розовой бумаги и зеленой ленты для пишущей машинки. Она сказала, что еще не начинала, так как очень сложно эту историю *р а з б и т ь* н а *п е р и о д ы*.

Самое главное — верно расчленить историю на периоды, сказал ей учитель немецкого. Лично мне тысячу раз наплевать на всякие периоды! А раз уж у меня одна нога в гипсе и я все равно не могу ходить в бассейн, запишу-ка все это я сам.

ГЛАВА ПЕРВАЯ ИЛИ № 1

согласно периодизации учителя немецкого

Я расскажу про нас.— Кто громыхал на кухне.—

Главный редактор знать об этом не хочет.—

Фотоаппараты тоже не проявили интереса, хоть их целых пять штук.

Началось все гораздо раньше. Но мы об этом узнали лишь в прошлогоднее пасхальное воскресенье за завтраком. Сперва громыхнуло. «Наверное, в кухне что-нибудь опрокинулось», — подумал я. Мама пошла посмотреть, а когда вернулась, она вся дрожала, а мы...

Впрочем, сначала я должен представить нас. Мы — это дед, и мама, и папа, и Мартина, и Ники, и я.

Деду почти семьдесят, в результате недавнего инсульта у него одеревенела нога и перекосился рот. Однако и с кривым ртом он сегодня такое загнуть может — почище, чем многие другие с изумительно прямыми. Дед — отец папы.

Папе скоро сорок, и он заведует отделом в одной фирме по страхованию автомобилей. Мама говорит, что на службе папа имеет право наорать максимум на трех сотрудников. Поэтому-то он так много разоряется дома, считает дед.

Маме тоже около сорока. Но выглядит она значительно моложе. Она крашеная блондинка и весит всего пятьдесят кэгэ. У нее почти всегда хорошее настроение. Иногда она злится и ворчит: она, мол, для нас только прислуга, вот пойдет работать, тогда мы узнаем, почем фунт лиха.

Мартина ходит в пятый класс гимназии. Она худая, длинноногая, и волосы у нее белокурые. Причем настоящие. Она плохо видит, потому что челка свисает ей прямо на глаза. Она влюблена в Бергера Алекса, своего одноклассника. Папа скандалит: видите ли, у Бергера Алекса длиннющие патлы. Мама считает, что это ничего не значит. Мартина так и так в классе лучшая, а с первой любовью, как правило, в брак не вступают. По сравнению со своими одноклассницами Мартина не такая уж дура.

Ники наш младший брат. Чаще я зову его просто Ник. В школе он сейчас проходит, сколько будет дважды два, хотя знал он это уже три года назад. Недавно он вызвал грандиозный переполох, когда прямо посреди урока арифметики поднялся, сказал «до свидания» и спокойноенько удалился. Причем двинулся отнюдь не домой, а к старому Хуберту, нашему плотнику. Там он стружку сгребал в кучи. Мечта у него такая: стать плотником. Учительница позвонила маме и сказала, что Ники грозит пара по поведению.

Меня зовут Вольфганг, мне двенадцать лет. Учусь я во втором классе гимназии. Мартина говорит, что с моей вывеской лучше на улице не показываться. Лично мне до лампочки, как я выгляжу. Все равно, как хотелось бы, мне уже не выглядеть. Поэтому я и не ношу пластинку для исправления прикуса, хотя она обошлась родителям в пять тысяч шиллингов. Как у меня зубы растут, мне теперь безразлично. До сих пор я всегда ходил в успевающих. А сейчас классным руководителем сделали Хаслингера, и он меня адски невзлюбил. Он лепит мне по математике и географии одну двойку за другой. Больше всего я обожаю плавание. Я занимаюсь в секции плавания. Тренер говорит, если я прилично поднажму, то годика через два могу стать чемпионом района по плаванию на спине — среди юниоров.

Мы купили дом с садом. Уже три года, как мы здесь живем. А с долгами все еще не расквитались. Пока папа разделается с ними, он превратится в дряхлого старца, повторяет мама. Так что всем приходится экономить, а дед со своей пенсии покупает нам и обувь, и штаны, и платья для Мартины. Это адски приятно, ведь деду ну совершенно безразлично, размалевана футболка красно-бело-голубыми полосками или на ней оттиснут знаменитый боксер. Штанов на три номера больше — на вырост — он тоже не покупает. Прошлым летом он подарил Мартине бикини, последний крик моды. Папу это разъярило:

— Пусть уж моя дочь прямо голышом бегает!

А дед захихикал и сказал:

— Наконец-то моему сыночку хоть одна разумная мысль в голову пришла!

Папа адски рассердился, но промолчал — при нас он не хочет ссориться с бабушкой. Он пошел на кухню к маме и там ругался, но мама сказала, что теперь все девочки носят бикини.

Ну, про нас я уже достаточно порассказал. Думаю, самое время вернуться к событиям пасхального воскресенья. Итак, в прошлом году, в воскресенье на пасху во время завтрака, помню, прибежала мама из кухни и вся дрожит. Ее так страшно трясло, что, глядя на нее, Мартина до смерти перепугалась и уронила пасхальное яйцо в чашку с кофе.

Дедушка спросил:

— Что с тобой, невестушка? (Дед всегда зовет маму невестушкой.)

Тут опять раздался оглушительный грохот, и папа крикнул:

— Ники, немедленно прекрати!

Всегда, когда что-то бахает или грохает, папа произносит: «Ники, немедленно прекрати!» Честно говоря, чаще всего он прав, но на сей раз это был не Ники. В кухне снова загрохотало. Ники

заканючил, что это не он, Мартина выловила из кофе яйцо, а мама, которую все еще била дрожь, сказала:

— В кухне, в кухне...

Мы хором спросили:

— Что в кухне?

Но мама не могла вымолвить ни слова. Тогда дедушка встал и направился в кухню. А за ним Мартина, Ник. И я — тоже. Я решил, что это, скорее всего, лопнула труба, а может, за газовой плитой завелась мышь. Или гигантский паучище. Именно их мама боится больше всего на свете. Но это оказалась не батарея, и не мышь, и не паучище, и все мы выкатили глаза совершенно по-идиотски. В том числе и папа, прибежавший вслед за нами.

На кухонном столе восседало нечто, приблизительно с полметра ростом. Если бы у этого существа не было глаз, и носа, и рта, и рук, и ног, его можно было принять за огурец-исполин или за не слишком крупную усохшую тыкву. Его голову увенчивала корона. Золотая корона с рубиновыми камушками на каждом зубчике. Ручки его были упрятаны в белые нитяные перчатки, а ногти на ногах отсвечивали красным лаком. Коронованный тыкво-огурец отвесил поклон, уселся по-турецки и проговорил низким голосом:

— Наз носовать король Куми-Ори Фтор из роду Подземлинги!

Не могу в точности описать, что тут произошло: просто не видел остальных, настолько сам струхнул.

Я не подумал: «Быть того не может!» Я даже не подумал: «Ну и шут — сдохнуть можно от смеха!» Мне вообще ничего в голову не пришло. Ну ничегошеньки! Хубер Йо, мой приятель, говорит в таких случаях: «Замыкание в извилинах!» Пожалуй, лучше всего мне припоминается, как папа трижды сказал «нет». Первый раз очень громко. Второй — нормально и третий — чуть слышно.

Папа любит повторять: «Раз я сказал нет, значит, нет». Но сейчас его «нет» не произвело ни малейшего впечатления. Не-то-тыква-не-то-огурец продолжал как ни в чем не бывало восседать на столе. Он сложил ручки на животе и повторил:

— Наз носовать король Куми-Ори из роду Подземлинги!

Дед первым пришел в себя. Он приблизился к куми-орскому королю и, сделав книксен, сказал:

— Чрезвычайно польщен нашим знакомством. Мое имя Хогельман. В этом доме я — дедушка.

Куми-Ори протянул вперед свою правую ручку и сунул ее деду под нос. Дед посмотрел на ручку в нитяной перчаточке, но так и не сообразил, чего Куми-Ори хочет.

Мама предположила, что у него болит рука и необходим компресс. Маме вечно кажется, что кому-нибудь обязательно нужен либо компресс, либо пилюли, либо, на худой конец, горчичники. Но Куми-Ори вовсе не нуждался в компрессе, и рука его была совершенно здоровой. Он помахал перед дедушкиным носом нитяными пальчиками и сказал:

— Мы прививкли, что нам кашный урюк целыйватт!

Дедушка сказал, ни за что на свете он августейшую ручку целовать не станет: он позволил бы себе это в лучшем случае в отношении очаровательной дамы, а Куми-Ори никакая не дама, тем более очаровательная.

На зеленоватой коже Куми-Ори выступила тыквенно-желтая сыпь, и он прокричал в гневе:

— Мы носовать зебя Его Левачество!

Дед такими глазами взглянул на Огурцаря (так я его сразу прозвал), какими смотрит только на ненавистных ему людей, после чего Огурцарь размахивать ручонками прекратил. Он поправил свою зубчатую корону и сказал:

— Наз прогнили возздавшие подоные! Мы паразит временно убежанища! — И добавил: — Мы очень ус тать... от минога валнушек!

Тут он зевнул, закрыл свои красные пуговичные глазенки и вильнул головой, точно наш дед, перед тем как заснуть у телевизора. При этом он сонно прогундосил:

— Мы хахочем адеялу и подголовник!

Ники помчался в свою комнату и прикатил оттуда дребезжащую кукольную колясочку. Мартина выкинула из нее весь хлам: черствую горбушку, три спортивные сумки, заплесневелый соленый огурец, один носок Ники. И — слава тебе господи! — мой ученический билет, который вот уже три недели я безуспешно разыскивал. Косточки от слив она оставила. Я подхватил куми-орского главаря под мышки, потому что он уже крепко спал и иначе просто грохнулся бы со стола. Он разбух, как сырое тесто в целлофановом пакете. Меня прошиб холодный пот. Я положил Куми-Ори в коляску, а мама прикрыла его посудным полотенцем. Между прочим, корону с драгоценными камнями мама сунула в холодильник — в морозилку. И мы этому нисколько не удивились. Можете себе представить, как мы все обалдели. Один Ник не обалдел. Такого с ним вообще никогда не случается. Он утверждает, что под его кроватью живут шесть львов, слон и семь гномов. А у кого под кроватью проживают гномы, того никакой Куми-Ори с панталыку не собьет.

Ник вытолкал колясочку на веранду, уселся возле нее и пропел:

— Ротик, носик, огуречик — вот и вышел человек! —

И еще: — Спи, усни, увидишь сон: твой отец был фон барон!

Король Куми-Ори Второй продрых все пасхальное воскресенье. Во сне он мерно и негромко всхрапывал.

Папа позвонил в газету, которую он всегда читает. Но редактора не было, так как была пасха. На месте оказался только вахтер. Он рассмеялся и посоветовал папе приберечь эту историю до следующего первого апреля.

Папа прорычал:

— Это неслыханная дерзость. Вы еще за нее ответите!

Он швырнул трубку на рычаг и сказал, что позвонит главному редактору прямо домой. Всегда лучше иметь дело с начальством, а не с низшими чинами.

Мне пришлось сходить за газетой, а Мартине проверить, действительно ли «Доукоупил» пишется с двумя «оу». Это у главного редактора такое имечко.

Потом папа изучал телефонную книгу. Там оказалось сразу десять Йозефов Доукоупилов. Против одного значилось: «портной», другой был «эксперт», третий «парикмахер» и четвертый — «д-р мед.». Двое Доукоупилов проживали в Зиммеринге, и папа сказал, что это не те, кто ему нужен, ибо Зиммеринг насквозь пролетарский район. Остальные четыре номера папа обзвонил. Дважды никто не брал трубку. Потом ответила одна женщина. Она сказала, что Йозеф Доукоупил ее сын, и что он уехал на рыбалку, и что она ничего не имела бы против, если б он стал главным редактором, но он, к сожалению, бренчит на рояле в баре «Черный кот». Последний Доукоупил был тот самый, и дома он тоже был. Папа рассказал ему все о Куми-Ори и попросил срочно прислать к нам репортера и фотографа: газете гарантирована сенсация. Однако главный редактор поверил папиным словам ничуть не больше, чем перед этим его вахтер. От гнева папа смертельно побледнел и повесил трубку.

— Ну, что он сказал? — спросил дед и ехидно улыбнулся.

Папа ответил, что при нас, детях, он не может повторить этого — такое это неслыханное хамство. Но мы-то как раз все слышали, потому что главный редактор вопил как оглашенный.

Дед прикинулся возмущенным: ему просто не верится, как такой в высшей степени респектабельный господин из такой в высшей степени респектабельной газеты мог сказать нечто в высшей степени хамское. Но на самом деле ему хотелось позлить папу. Они всегда ссорятся из-за газеты. Папа читает ту, которая не нравится деду, а дед читает ту, которую не выносит папа.

Мама собралась было позвонить в дедушкину газету, но тут уж и папа и дед запротестовали. Дед сказал, у его газеты есть более важные задачи, нежели оповещать своих читателей об изгнанных огурцах. Из-за сплошной нервотрепки мама забыла о поджарке.

Она не зажгла духовку, и к обеду поджарка была жесткой и холодной. Мы ели бутерброды с колбасой и вчерашний картофельный салат.

У папы пять фотоаппаратов. Это его хобби. Самый новый устроен так, что уже через тридцать секунд после съемки из него можно вытянуть готовый цветной снимок. Папа зарядил этот аппарат, прокрался на веранду и сфотографировал куми-орского короля. Он надумал послать главному редактору фото Куми-Ори. Но когда снимок был готов, Куми-Ори на нем не оказалось — только пустая коляска да ножка стола. Папа сделал еще одну попытку и еще одну — и каждый раз на пленке проявлялась пустая коляска. Тогда он взял «лейку», «роллей-флекс»¹, японскую камеру и яростно общелкал спящего Куми-Ори со всех сторон. С фотовспышкой и без нее. На черно-белой пленке и на цветной. На девятимиллиметровой и на двадцатитрехмиллиметровой. Потом он проявил пленки в стиральной машине и отпечатал несколько снимков с увеличением. Но до какого размера он ни увеличивал, Куми-Ори видно не было.

К вечеру бельевой бак был переполнен папиными снимками — сплошные пустые колясочки и ножки стола.

Дед сказал, что Куми-Ори, очевидно, не фотогеничен, а мама высказалась так:

— Выходит, незачем больше названивать ни в газету, ни на телевидение. Коли сенсация не зафиксирована на снимке, для читателей она никакого интереса представлять не будет.

ГЛАВА ВТОРАЯ ИЛИ № 2

согласно периодизации учителя немецкого

Выясняется, зачем нужны королевские короны.—

Выясняется, что подвал служит не только для хранения картошки.—

А еще выясняется, что в нашем семействе опять нет единомыслия.

Во время ужина Куми-Ори все еще спал. А мы тем временем смотрели по телеку детективчик. Наш разоспавшийся гость так выбил папу из колеи, что он забыл нам это запретить. Как раз в тот момент, когда инспектор уголовного розыска поднял решетку водосточной трубы, чтобы залезть в нее и преследовать гангстеров, детская колясочка на веранде стала тихонько покачиваться. Огуречный король проснулся. Ники завез его в комнату. Дед вырубил детективчик на самом интересном месте.

¹ Марки фотоаппаратов.

— Где наша макарона?! Мы не моги без макарона! — завопил Куми-Ори. Он в ужасе схватился за голову.

Сперва мы никак не могли сообразить, где корона. Потом Ники вспомнил: это ж мама, совершенно потеряв голову, сунула корону в морозилку. Ники достал корону. Она была вся ледяная. Куми-Ори заорал как резаный, когда Мартина напялила на него корону. Тогда папа стал подогревать ее зажигалкой. Но слишком раскалил.

Все это время Огурцарь ныл, что корона нужна ему немедленно, без короны он все равно что голый, и не может соображать, и жить тоже не может. Наконец корона стала в меру теплой для огуречно-королевского чела. Куми-Ори надел ее и забрался на кресло, на котором папа всегда сидит у телевизора. Он положил ногу на ногу, сцепил ручки на брюшке и обратился к папе:

— Ты очун пара жен? Мы рассказывать, кто мы и что тут хахочем?

Папа кивнул.

Мартина спросила:

— Почему это он все время говорит «мы»? Ведь он один!

Папа сказал, что это такая грамматическая форма «множественное монархическое», но Мартина этого не поняла.

Мама объяснила ей:

— Монарх есть нечто большее, чем простые смертные. Поэтому он вместо «я» говорит «мы». И ему говорят вместо «ты» — «вы», а он говорит простым смертным вместо «ты» — «он».

Мартина никак не могла понять этого, я — тоже. Тут дед шепнул нам:

— Котелок не варит, вот он так и говорит.

Это Мартина поняла. И я тоже. Куми-Ори откашлялся и начал рассказ. Продолжался он долго. Очень уж у Куми-Ори манера выражаться странная. Не сразу его поймешь. Разумеется, у нас возникла куча вопросов. Но постепенно, к полуночи, картина с грехом пополам прояснилась.

Вот она: король Куми-Ори Второй появился из нашего подвала, из нижнего. У нас их два. В верхнем мы храним картошку, зимние груши, банки с конфитюром, заезженный трехколесный велик Ника тоже там стоит. Еще там есть полки с дедушкиным инструментом и, конечно же, дверца в нижний подвал. Прямо за ней начинается крутая лестница. Папа строго-настрого запретил нам пользоваться этой лестницей. Хотя она совершенно безопасна. Разве что чуточку сырая и скользкая. Но папа, перед тем как купить дом, во время осмотра поскользнулся именно на этой лестнице и вывихнул себе лодыжку. А раз он вывихнул лодыжку, нам уже в нижний подвал ни-ни. Иначе наверняка мы бы давным-давно обнаружили куми-орцев.

В нижнем подвале, значит, и обретался король Куми-Ори со своими приближенными — подвале́цами и подвали́зами. И подвале́людом — его подданными, которые отныне не желают быть его подданными. Огуречный король рассказал нам, что и он, и подвализы, и подвалецы к подданным относились с неизменным вниманием, дружелюбием и симпатией. Как отцы родные. Однако те проявили черную неблагодарность и взбунтовались. Подвализы и подвалецы бежали. Гонимые животным страхом, они пропустили так шустро, что о Куми-Ори Втором просто-напросто не успели подумать. А зачинщиком всего восстания был один вреднящий подвалец, который и прежде был на подозрении. Он настропалил подвалюд. И вот теперь брошенный всеми Куми-Ори искал в нашей кухне политического убежища.

А еще Куми-Ори сказал, что на этой неделе придут звать его обратно: все равно подданным без него никак не обойтись.

— Почему же это подданные не могут обойтись без его величества? — спросил дед.

— Топому они лупые-прелупые, им нужен приказчик, он наприказит, а они выделывают, — разъяснил Огурцарь.

— Ну, ну, — сказал дед, — они, значит, глупые! А, собственно, почему это они глупые?!

Куми-Ори пожал своими огуречными плечиками.

— Тогда, Ваше Овощное Величество, я объясню вам сейчас, почему ваши подданные глупые! — взревел дед и подался из кресла всем корпусом вперед.

— Отец, я прошу тебя, — крикнул папа, — это же совершенно неинтересно! Не заводи, бога ради, свои старые песни!

Мама тоже сказала, что из-за политики деду не следует так нервничать, это может отразиться на его сердце. А затем Куми-Ори рассказал, что во всех старых домах с подвалами обитают огуречно-тыквенные человечки и везде есть свои огуречно-тыквенные короли. В огромных старинных замках живут даже огуречные кайзеры. Правда, в последнее время, вздохнул он, подданные то и дело совершают путчи.

Дед заметил, что это называется не путч, а революция.

— Нет, — сказал Куми-Ори, — нет! Их путчит, их путчит! Путч! Путч!

— Революция! — рявкнул дед.

— Путч! Путч! Путч! — повизгивал Куми-Ори.

— Какого черта, — сказал папа, — это ведь одно и то же!

Мартина сказала:

— Если кто-то приходит с солдатами, закрывает парламент, сажает в тюрьмы неугодных граждан и газетам запрещается печатать все, что они хотят, то это путч. А когда подданные вышвыривают короля, открывают парламент, назначают выборы

и издают газеты, где каждый может писать, что он думает, то это революция!

Папа спросил, где это она понахваталась такой ереси. Мартина сказала, что это не ересь. Если бы она знала это еще перед экзаменом по истории, то получила бы пять баллов.

При случае, сказал папа, он выскажет новому учителю истории, что он о нем думает. Куми-Ори целиком и полностью был на папиной стороне.

Ближе к полуночи Куми-Ори объявил, что он опять безумно устал, но спать одному в отдельной комнате ему ни в коем случае нельзя: вдруг подданные решили убить его и крадутся по пятам! В колясочке тоже особенно не поспишь, очень уж она скрипит и дребезжит. Монарх может посреди ночи проснуться и испугаться. И он решил:

— Мы будем сопеть в один каравай с одним из вафов!

— Только не со мной! — крикнул я, потому что вспомнил, как Огурцарь весь раздувается, а лежать в одной постели с кислым тестом выше моих сил.

Папа сказал, что Куми-Ори может переночевать у него. Это уже было довольно странно. Еще более странным было то, как он это сказал:

— Ваше Левачество могут спокойно переночковать в мой каравай. Я буду охранять сон вашево Левачества!

При этом он не улыбнулся, даже украдкой. Я обратил внимание, что он вообще не позволяет себе шуток в адрес этого сморчка.

ГЛАВА ТРЕТЬЯ ИЛИ № 3

согласно периодизации учителя немецкого

Про то, что я увидел в папиной комнате.—

Папа хочет на завтрак такое, чего ни один человек не ест.—

Как ломается традиция.

В пасхальный понедельник я проснулся рано. Ник еще спал. Я приложил ухо к двери, за которой спали мама и Мартина: там тоже было тихо. Но в папиной комнате раздавался громкий двухголосый храп. Я осторожно приоткрыл дверь. В кровати, щека к щеке, спали папа и Огурцарь. Корона покоилась на одеяле, папа крепко держал ее правой рукой, а Огурцарь — левой. Я прикрыл дверь и пошел на кухню. В кухне сидел дед. Он пил молоко из кружки и подъедал крошки от пирога, оставшиеся в «чуде».

Я тоже налил себе кружку молока, а дед поделился со мной крошками от пирога. Себе он взял коричневые, мне отделил желтые. Мы сидели, уставившись, словно загипнотизированные, на «чудо», и метали в рот сладкую труху; время от времени дед бормотал:

— Ну и чудно, ну и чудно!

Когда дед так говорит, это вовсе не значит, что ему и впрямь что-то кажется чудным, как раз наоборот.

— Ты его перевариваешь? — спросил я деда.

— Кого именно? — спросил дед, хотя прекрасно знал, кого я имею в виду.

— «Кого-кого»... Его светлость Тыкву Огуречную — вот кого.

Дед сказал:

— Нет.

Тут в кухню зашла мама. Волосы ее были накручены на бигуди, на щеке багровел толстый рубец. Но не настоящий — это бигуди так отпечатались. Видимо, она всю ночь пролежала щекой на бигуди. Одной рукой мама растирала рубец, а другой процеживала кофе через ситечко.

То, что ни мы ей, ни она нам не сказали «доброе утро», дело обычное. С мамой можно заговаривать не раньше, чем она выпьет чашку кофе. До этого момента она не произносит ни слова.

Кофе был готов, и мама отпила первый глоток.

— Доброе пасхальное утро, — сказала она, продолжая массировать бледнеющий рубец. Потом, будто беседуя сама с собой, пробормотала:

— Ну и чертовщина же мне ночью приснилась!

Я сказал:

— Если тебе приснилась огуречина с короной, то это никакой не сон!

— Жаль, — сказала мама. Она помешала в чашке, хотя пьет всегда кофе без молока и сахара и мешать там было нечего.

Просидели мы так довольно долго. Мама — помешивая в чашке, а мы с дедом — поклевывая крошки.

Затем возник Ник. А так как у мамы по утрам реакция замедленная, то она слишком поздно обнаружила, что Ник достал из холодильника клубничное мороженое. Мама ужасно накричала на уплетающего мороженое Ника, Ник захныкал и заныл, что сейчас пасха, — на кой тогда пасха нужна, если даже мороженого вволю поесть нельзя.

Тут и Мартина вошла и раздраженно сказала, что от такого ора весь утренний сон насмарку. Она взяла у Ника вазочку с мороженым, переложила его в бокал для пива, побрызгала сверху содовой водой и заявила: теперь это, мол, пломбир с содо-

вой, лучшего завтрака для детей не придумаешь и пусть он ради всех святых соблаговолит заткнуться. Но мама выплеснула пломбир с содовой в раковину. При этом она шумела, что если мы полагаем, будто можем творить все, что вздумается, то глубоко заблуждаемся. Потом мама взяла себя в руки, и Ник получил какао, а Мартина заварила себе крепчайший чай для успокоения нервной системы.

Я выглянул в окно. Небо было голубым, с единственным сиротливым облаком. В проулке, перед нашей садовой калиткой, стоял господин Павлица и насвистывал. Павлица ежедневно в восемь часов стоит перед нашим домом и свистом подзывает своего пса. В четверть девятого пес появляется, и Павлица перестает свистеть.

Когда пес явился, я подумал: сейчас четверть девятого, опять-таки небо голубое, пора одеваться. Потому что в девять часов каждый год мы отправляемся на пасхальную автопрогулку. Это традиция, сказал папа. И ехать обязан каждый, даже с насморком; да мы, честно говоря, уже и забыли, когда последний раз отбрыкивались, так как толку от этого чуть. Папа просто из себя выходит, если кому-нибудь из нас вздумается забастовать, — разве можно нарушать традицию! Для прогулки мама и Мартина обряжаются в вышитые крестьянские платья, мы с Ником влезаем в кожаные ковбойские штаны.

Как раз когда я об этом размышлял, в кухню вошел папа. Он сказал «доброе утро» и полез в шкафчик под раковиной, где мы держим картошку и лук. Он вытащил короб с картофелем и стал шуровать в нем обеими руками.

— Что ты там ищешь? — спросила мама.

— Прошлогодний картофель! — ответил папа.

— Прошло... что? — спросила мама с нескрываемым ужасом.

Папа сказал, что он ищет клубни с побегами, то есть прошлогодную, проросшую картошку.

Мама сказала, у нас бывает только первосортная, свежая картошка. Но папа продолжал рыться как ни в чем не бывало. Маме хотелось знать, зачем это папе понадобилась проросшая картошка, и папа растолковал: она нужна ему на завтрак.

— Ты будешь есть на завтрак сырые клубни? — воскликнул Ник в диком восторге.

— Я пока еще нет, — сказал папа. — Король Куми-Ори желают!

Ники подлетел к кухонной тумбочке, распластался на пузе и выудил из нее шесть картофелин с длинными бледными ростками:

— Они тут с рождества! Как, годится?

Папа сказал, что в самый раз, но вообще-то суперсвинство

давать картошке гнить с рождества. Это ли не наглядное свидетельство крайней бесхозяйственности! Потом он велел нам поторопиться и не забыть прихватить дождевики. И пускай мама запакует старый плед, а бабушка заправит переносный холодильник, и пускай Мартина положит в багажник бадминтон, я протру заднее стекло машины, а Ник дверные ручки, и пусть мама, не дай бог, опять не забудет острый нож, и бумажные салфетки тоже.

— А огуречный король что будет делать, когда мы уедем? — спросил Ник.

Папа заявил, что Огурцаря мы возьмем с собой, и мне придется посадить его к себе на колени. Я как гаркну изо всех сил «нет» и сразу еще раз «нет».

— Тогда он будет сидеть на коленях у Ника! — решил папа.

Ник ничего против не имел. Но мама, в свою очередь, заявила, что, поскольку Ник все равно будет сидеть на коленях у нее, ей как-то не очень хочется, чтобы сверху водрузился еще и Огурцарь. Она ведь не основание пирамиды бременских музыкантов.

Папа вопрошающе посмотрел на Мартину. Мартина покачала головой. Тут же заодно покачал головой и дед. Папа вскипел. Один из нас обязан взять Куми-Ори, кричал он. Сам он не может его взять, потому что сидит за рулем.

— Он мне не симпатичен, — проворчал дед.

— Он липкий, как сырое тесто! — сказал я.

— У меня Ник на коленях. С меня хватит! — отрезала мама.

— У меня при виде его мурашки по спине бегают! — воскликнула Мартина.

Папа совсем распалился. Мы неблагодарные, бушевал он, у нас нет ни стыда ни совести. Он метался между кухней и ванной комнатой и при этом мылся, брился, одевался. Застегнув последнюю пуговицу, он застыл перед нами с угрожающим видом:

— Так кто же возьмет короля на колени?

Дед, мама, Мартина и я замотали головами. Это был вообще первый случай, когда ни один из нас не подчинился папе. Мы сами очень этому удивились, но еще больше удивился папа. Он даже изумленно переспросил. Но это ничего не изменило. Тогда папа, взбешенный, ринулся в свою комнату, взял на руки Куми-Ори, отнес его в гараж и посадил в машину на заднее сиденье. Нику он сказал:

— Пошли, Ник, мы едем одни!

В нашу сторону он нарочно не взглянул. Папа так рванул машину из гаража, что передним левым колесом смял куст роз, опрокинул гипсового гнома и тачку. Он вылетел из ворот на улицу, как будто собирался выиграть Гран-при Монако.

Проросшие картофелины одиноко лежали на кухонном столе. Мама побросала их в помойное ведро, одновременно упрекая нас,

что мы ее совсем не поддерживаем и что вот уже дети наносят удар в спину, выуживая картошку из тумбочки. Затем мама решила устроить себе роскошный выходной. Она пошла досыпать.

Дед позвонил своему другу, «старине Бергеру». Они уговорились встретиться за утренней кружкой пива и сыграть партию-другую в кегли.

ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ ИЛИ № 4

согласно периодизации учителя немецкого

Пасхальный понедельник не по традиции.—

Обстановка на фронтах накаляется.—

После громкого спора — тихий компромисс.

Я отправился на тренировку. Мама снабдила меня мелочью, чтобы я мог купить себе на обед в буфете пару сосисок с горчицей. Только в буфет я не пошел. Хубер Эрих, парень из нашей секции, позвал меня обедать к себе. Он как раз один остался. Родители с младшей сестрой укатили на пасхальную прогулку. Его отец, в отличие от нашего, не придает традициям такого уж большого значения.

Вообще дома у Эриха очень многое совсем не так, как у нас. Эриху не приходится по сто раз спрашивать, можно ли ему забежать к товарищу. Эрих говорит, он волен делать чуть ли не все что захочет. Но, говорит Эрих, в этом есть и отрицательные стороны. В их семье, во всяком случае. Взять, к примеру, его маму. Она тоже делает, что ей заблагорассудится. А ей то стирать неохота, то гладить. Она считает, Эрих не перетрудится, если разок сам выгладит себе рубашку.

Не берусь судить, можно ли перетрудиться, выгладив рубашку. Сам я еще ни одной не выгладил, даже утюга ни разу в руках не держал. Что там ни говори, а у Эриха адски весело. Его комната — настоящая страна Кавардакия. По всему полу валяются книги, и карты, и трусы, а вперемешку навалены учебники. На одной стене он нарисовал фломастером снежного человека. А на двери огромными буквами вывел: «Взрослым вход воспрещен!»

Мы сделали себе омлет с ветчиной. Затем отправились в кино на «Сыграй мне смертельное танго». А потом заглянули в «И-го-го» — говорят, там можно классно посидеть, потягивая через соломинку кока-колу.

В «И-го-го» сидела Мартина с Бергером Алексом и куча других ребят из нашей школы. В «И-го-го» всегда торчит полшколы.

Взрослые сюда не суются, очень уж тут шумно. Но Мартина и я очутились здесь впервые. Папа не позволял нам ходить в «И-го-го». Он говорил, детям в забегаловках делать нечего. Но кто-кто, а Мартина давно не дитя. А «И-го-го» никакая не забегаловка. Все там только колу пьют. Он говорил, это разъедает желудок. Что бы это такое значило, я точно не знаю. Во всяком случае, он был бы рад, если б мы пили только самодельный сок из слив. А наш сливовый сок хуже уксуса, да и живот от него сводит.

Мы с Мартиной собрались домой, когда уже стало смеркаться. Мартина рассказала мне, что Анни Вестерманн завидует ей из-за Бергера Алекса, а я ей рассказал, что улучшил свой результат в кроле на одну десятую секунду. Рассказал я ей также про «Смертельное танго», которое посоветовал обязательно посмотреть. Мы так здорово понимали друг друга, что я пообещал ссудить ей денег на кино.

Когда мы пришли домой, папина машина уже стояла в гараже. Мама возилась на кухне. Она отбивала шницели. Она их с такой свирепостью колошматила, что весь стол ходуном ходил.

— Злится, что мы так поздно появились! — шепнул я Мартине.

Но я ошибся: она общалась с нами вполне благодушно. Должно быть, мама сердилась на кого-то другого.

Ник сидел на веранде, дед еще не приходил. Папа был в своей комнате, а куми-орский владыка возлежал на тахте в гостиной и созерцал кукольное телепредставление.

Я прошел мимо него. Он сказал:

— Ламчик, лукируй мои снеготочки! — Жестом он указал на свои ноги. На большом пальце красный лак облез.

Я сказал Куми-Ори:

— Мы вам не прислужаем! — И двинулся дальше.

Зашел на веранду выведать у Ника, как прошла прогулка. Ник сразу сник. Он рассказал, что в машине Куми-Ори стало плохо, оказалось, он не переносит езду. От солнечных лучей у него на лужайке закружилась голова, а когда они решили пообедать в пансионе, то хозяин их с Огурцарем в ресторан не пустил, и они ушли несолоно хлебавши.

— Слушай-ка, Ник, — спросил я, — ты, случайно, не в курсе, как папа думает поступить с этой тыквой-мыквой?

Ник ответил:

— Папа будет оберегать его и поможет ему вернуться на престол!

— Колоссально! — сказал я. И добавил: — Да он сам в это не верит, распапулечка наш.

Ник завелся:

— Как он сказал, так и сделает. Папа все может!

Тут мама позвала ужинать. Из своей комнаты вышел папа. Он положил себе в тарелку шницель, три картофелины и снова удалился. Он так всегда делает, когда на нас сердится. Куми-Ори сполз с тахты и засеменил за папой. Позже папа еще раз выходил и прошел напрямиком в кухню.

Мама бросила ему вслед:

— Прошлогоднюю картошку я выбросила в помойку!

Некоторое время папа из кухни не появлялся. Потом он проследовал через нашу комнату, неся в руках проросшую картошку. Лицо его выражало ожесточенную непримиримость.

Мартина с перепугу выронила вилку.

— Он и впрямь копался в помойном ведре, — выдавила она.

— Хотя ему от одного его вида плохо делается! — сказал Ник. И добавил: — Наверно, он просто без ума от этой огуречины!

— Ради меня, во всяком случае, — со слезами в голосе проговорила мама, — он в помойном ведре ни разу в жизни не копался!

Вечером, когда мы уже улеглись, у папы с мамой вышел крупный разговор. В моей комнате все было слышно. Мартина и Ник проникли ко мне: им тоже хотелось все знать.

Мама сказала, король должен убраться. Как — это ее не интересует. Но в доме она его больше не потерпит.

Папа сказал, он его приютит, чего бы это ему ни стоило; он требует, чтобы мама была с королем приветлива и нас настраивала в том же духе.

Мама кричала, нам папа не позволяет держать ни кошки, ни собаки, ни даже морской свинки или золотой рыбки, хотя общение с животными благотворно влияет на детей. А теперь для себя самого завел ни рыбу ни мясо!

Папа кричал, при чем тут рыба и мясо, когда речь идет о несчастном короле, попавшем в беду!

Мама вопила, плевать она хочет на несчастных королев-пострадальцев!

Папа вопил, он не оставит несчастного короля-пострадальца, потому что он сердцем чувствует страдания другого.

Мамин голос зазвенел. Это он-то чувствует страдания другого! Да ее от этих слов душит хохот! После чего она долго и громко смеялась, но звучало это не слишком весело.

Тут папа дико захохотал. Именно этого она и не в состоянии понять! Она вообще ничего не понимает, а папу и подавно, потому что ей и невдомек, как чудовищно важно иметь в доме такого вот куми-орского короля!

К ним присоединился дед. Он привел родителей в чувство. Папа и мама пришли к компромиссному соглашению. Но в чем

оно заключалось, трудно было разобрать, так как они уже говорили нормальными голосами. Мы поняли меньше половины. Одно было ясно: Куми-Ори остается в папиной комнате и из нее не выходит. Папа опекает и обслуживает его. Проросшую картошку закупают он же. Что касается мамы и нас, то лучше бы этого Куми-Ори вообще не было. Единственный пункт, по которому договоренность достигнута не была, это — станет ли мама убирать папину комнату?

Перед тем как пойти к себе, Мартина сказала:

— Если б у этого Огурцаря была душа, его давно бы и след простыл. Не может он не видеть, что из-за него сплошные скандалы!

Нику это было недоступно.

— Дураки вы, — хмыкнул он. — Король — законная игрушка!

ГЛАВА ПЯТАЯ ИЛИ № 5

согласно периодизации учителя немецкого

Я опишу свои злоключения с папиными подписями.—

И как не мог заснуть.— И как в конце концов заснул.—

Подозрение, которое, к сожалению, не удалось осмыслить.

На следующий день у меня не было времени подумать об Огурцаре. Шел последний пасхальный денечек. Скопилось адски много невыполненных заданий, к тому же назрела одна особая проблема.

Дело вот в чем: недели три назад нам раздали контрольную по математике. И хотя в каждом примере я напутал самую малость, Хаслингер вкатил мне единицу. А под ней нацарапал: «Подпись отца». И три восклицательных знака. От всех других ему и подписи матери больше чем достаточно. Но так как меня он невзлюбил, то решил доконать подписями отца.

Ну а теперь я уже никак не мог показать папе этот кол. За последний кол мне от него здорово влетело. Он сказал, если я принесу еще один, то не видать мне бассейна как своих ушей. И денег на карманные расходы — тоже.

Поэтому я дома о единице даже не заикался и на очередную математику явился без папиной подписи. В наказание Хаслингер задал мне четыре уравнения со многими неизвестными — и тоже с подписью отца. На следующий день я сдал Хаслингеру четыре уравнения со многими неизвестными и тетрадь для классных работ — без папиной подписи. Тогда Хаслингер увеличил наказа-

ние до восьми уравнений. Разумеется, с папиными подписями.

От урока к уроку долги росли в арифметической прогрессии. К завтрашнему дню за мной уже числилось шестьдесят четыре уравнения и шесть подписей отца! А шесть папиных автографов заполучить в шесть раз труднее, чем один. После того как из-за Куми-Ори все пошло наперекосяк, я вообще не мог к нему сунуться.

Деду и маме говорить об этом не стоило. Несмотря ни на что, они все-таки могли передать папе.

Хубер Эрих выдвинул идею — все папины подписи подделать. На его взгляд, это сущие пустяки. Он поступает так всегда. Но Эриху куда проще. Он уже с первого класса ходит в отстающих. И давным-давно начал подделывать подписи. Настоящую подпись его отца учителя в глаза не видели. Я попробовал в блокноте скопировать папину подпись. Но она у него жирная, размашистая, никто ее не подделает!

Я прямо до ручки дошел. От моего взгляда в стене, кажется, должны были образоваться дыры. С особым удовольствием я бы сейчас повыл. А из головы все не шел разговор с Шубертом Михлом, состоявшийся две недели назад по дороге из школы. Мы тащились, как черепахи, поругивая Хаслингера и всю школу. Неожиданно Михл спросил:

— Как думаешь, Вольфи, Хаслиингер хочет завалить тебя только по математике или по географии тоже?

За всю свою жизнь я не пугался так, как тогда. Что я могу загреметь на второй год, у меня, честное слово, раньше и мысли такой не было. Да мне это в голову прийти не могло. А ведь если подумать, такой поворот дела был очень даже возможен. Я сложил свои отметки по математике — кол, кол, пара, пара, кол, кол — и разделил полученную сумму на шесть (столько я еще могу сосчитать!). А по географии отметки за контрольные давали и того хуже — одну и одну десятую. В среднем!

Михл пытался утешить меня.

— Хаслиингер ведь еще два зачета устроит, — предположил он. — Напишешь последние работы на трояк — считай, проскочил!

Да у Михла просто фантазия разыгралась. На трояк у Хаслингера?! Скорее мир рухнет в тартарары. Всю оставшуюся дорогу я не проронил ни слова. И не прислушивался больше к утешавшему Михлу. Мой мозг свербил одна мысль: «Навторойгод, навторойгод, навторойгод...» Поэтому в пасхальные каникулы я ничего не учил. Стоило мне открыть портфель и достать тетрадь, как в голове начинало гудеть: «Навторойгод, навторойгод, навторойгод...»

Я действительно каждый день пытался. Результат был один и тот же. В голову не шло ничего, кроме «навторойгод». А заки-

нешь портфель в угол — сразу на душе легче становится. И мысли самые разные так и бурлят в голове.

Но сегодня каникулы кончались, и что-то должно было случиться. Я сидел на столе, вертя в руках блокнот, исчерканный папиными подписями (фальшивыми). В комнату вошла Мартина. Ей нужна была моя точилка для карандашей, чтоб все ее карандашики имели изящные носики.

Мартина обожает такие штучки. Ее школьные принадлежности всегда опрятны до отвращения: и тебе запасной стержень для авторучки, и тетради обернуты, в портфеле крошки или там жевательной резинки днем с огнем не найдешь. Даже на треугольниках ничего не выцарапано. Цветные карандаши у нее один к одному. Как она этого достигает, ума не приложу. Красный превращается у меня в огрызок, когда к коричневому я еще не притрагивался.

Как я уже сказал, Мартина зашла за точилкой. Она все-таки заметила листки, испещренные псевдопапиными подписями, хотя я прикрыл их рукой. А она ведь не без понятия. Сразу смекнула, что к чему.

— Это совершенно бессмысленно, — сказала она. — Так ты себе еще больше напортишь.

— А ты можешь представить, — спросил я, — что сегодня вечером я подойду к папе и выложу ему пять несделанных дозаданий и кол в придачу?

Этого Мартина представить не могла. Она тоже несколько раз попыталась скопировать папину подпись. Вышло не лучше, чем у меня. Мартина пообещала непременно что-нибудь придумать. Но на это ей нужно дня два-три. Я же должен, для отвода глаз, сказать Хаслингеру, что папа в отъезде и вернется лишь к концу недели. А если я захочу, она сама ходит к Хаслингеру и подтвердит, что отец действительно уехал. Невозможно было представить, что Хаслингер в это поверит; все же на душе стало легче. Особенно после того, как Мартина пообещала мне помочь, чтобы я не выпал в осадок — на второй год. Она возьмет меня на буксир. А Хаслингера мы уж как-нибудь нейтрализуем — так она сказала.

За ужином царило гробовое молчание. Папа, хотя и вышел к столу, не проронил ни слова. Соответственно и мы помалкивали. После трапезы папа подобрал в кухне последнюю проросшую картофелину и уже подпорченную головку чеснока и направился в свою комнату. На пороге он спросил нас:

— Как ваши школьные дела? Все ли готово к завтрашнему дню?

Ник пробубнил пасхальный стишок. Что-то про свечечки, куличики и ангельские личики. Мартина толкнула меня:

— Самое время все сказать!

Я сделал шаг в папину сторону. В одной руке он держал картошку, а другой ласково трепал Ника по головке. Папа перевел взгляд на меня. Между его взглядом и хаслингеровским не было абсолютно никакой разницы.

— Тебе что-нибудь нужно? — спросил он.

Взгляд Мартины буквально подталкивал меня в спину. Но я отрицательно мотнул головой и ушел к себе в комнату.

— Трус, — прошипела вдогонку Мартина.

В этот вечер я еще долго не мог уснуть. Пытался забыться то на правом боку, то на левом. И на спине, и на животе. Не спится, и все тут. Часы на ратуше пробили полночь. Я решил подумать о чем-нибудь необыкновенно приятном. Как я, к примеру, стану чемпионом по плаванию на спине среди юниоров. Мне виделась восторженная толпа болельщиков и среди них ликующий папа. Но тут из душевой кабины вылез Хаслингер. В правой руке он держал мою тетрадь для классных заданий и угрожающе ею размахивал. Он пробился через восторженные толпы прямо к папе и попросил его поставить везде свои подписи. В этом месте папа ликовать перестал. Летом мы, наверное, отправимся в Италию. Воображение рисовало такую картину: я жарюсь на солнышке и лижу мороженое. Но Хаслингер и здесь все испортил. Он возник рядом со мной, как джинн из бутылки, и заблажил на весь пляж:

— Хогельман! Не загорать! Второгодники должны быть бледнолицыми!

Я вспомнил, как чудесно было вчера в «И-го-го», но тут же увидел восседающего на музыкальном автомате Огурцаря. Он заговорщицки шепчет мне:

— Мы гордимь вашей папе про вашенские выходыли!

Так хотелось помечтать о чем-нибудь адски хорошем, а какая чертовщина из этого получилась! Внезапно мне стало не по себе. Померещилось, будто в комнате что-то шуршит и поскрипывает. Зажечь настольную лампу и оглядеться я не решался. Мои пятки торчали из-под одеяла. Я бы с удовольствием подтянул ноги. Мне было неприятно, что какая-то часть тела не прикрыта, но я не осмеливался даже пальцем пошевелить. Так я пролежал целую вечность, вслушиваясь в шорохи и скрипы. Изредка мимо окна проезжала машина, тогда на потолок ложилась узенькая полоска света. Она перемещалась от стены к стене. От нее тоже делалось жутковато.

Папа говорит, мальчик в моем возрасте уже ничего не должен бояться. А дедушка считает, что вообще ничего не боятся только законченные идиоты.

Мама боится пауков, майских жуков, неоплаченных счетов и

электропроводов. Когда Ник бегают по ночам в одно место, он не спускает воду, боясь шума. Мартине страшно возвращаться поздно домой по слабо освещенной аллее. А дед боится заработать еще один инсульт: тогда он не сможет ходить или говорить или даже умереть.

Папе тоже бывает страшно. Он вида не подает, но я-то не раз замечал. Например, когда он во время обгона никак не может пристроиться в свой ряд, а навстречу, лоб в лоб, мчится лимузин. Или когда он думал в прошлом году, что у него рак желудка. Узнав результаты обследования, папа так развеселился, что было видно, какого страху он натерпелся перед этим.

Все это я себе говорил, пока слышались шорохи. Тем не менее в душе я радовался, что поблизости не было никого, кто бы мог мой страх заметить. С другой стороны, очутись здесь кто-нибудь, я бы, наверное, и не струсил, и мне захотелось, чтобы кто-нибудь оказался рядом.

Раньше, когда я был маленький, я всегда бежал к маме, если ночью мне вдруг становилось страшно, и дальше спал у нее в постели. Даже сейчас помню, как это приятно.

Прокрутив все это в памяти, я заснул. Что-то мне снилось. Сейчас я уже не знаю, что именно. Знаю только, что это был очень добрый сон.

Когда утром Мартина заколотила в дверь с криком «вставай», мне адски не хотелось открывать глаза: так уютно было во сне. Но Мартина постучала еще раз — она это проделывает ежедневно, — и мне пришлось встать. Сразу в башке закопошились папины подписи, задачки и Хаслингер. Я страшно разозлился на свое железное здоровье. Захотелось иметь такие же железы, как у Ника. Мама бы тогда с ходу поверила, что у меня в горле ломит.

Притащился в ванную и отпихнул Мартину от умывальника. Не то она б до восьми выдавливала угри на носу. А потом плакалась, что у нее нос как морковка. Мартина заперла дверь в ванную и говорит:

— Вольфи, дубина, ты что, ошалел?

— С какой стати я должен ошалеть? — спросил я.

Мартина вынула из кармана халата измятую бумажку. Да это листок из блокнота, на котором я экспериментировал с папиными подписями. Мартина сообщила, что листок валялся на полу в гостиной. Там она и обнаружила его минут десять назад.

Я точно знал: все исписанные листочки были тщательно скатаны мною в маленькие горошины и выброшены в корзину. В гостиной я не мог их обронить ни при каких обстоятельствах. Однако было уже полвосьмого, а мы еще не сели завтракать.

Времени, чтобы обсудить это происшествие с Мартиной, не оставалось. Но во мне все-таки зародилось подозрение. Страшное

подозрение. Я вдруг вспомнил ночные скрипы и шорохи. Может быть, мне это вовсе и не почудилось.

Никаких улик у меня не было, но я невольно произнес:

— Ну, несчастная огурчушка, если я тебя застукаю, то вместе с короной в морозилку засажу.

ГЛАВА ШЕСТАЯ ИЛИ № 6

согласно периодизации учителя немецкого

*Попытаюсь объяснить, из-за чего у нас с Хаслингером
разгорелся сыр-бор и почему это дело кажется мне пропащим.—
История сложная и довольно путаная, на нее потребуется целая глава.*

Мы с Мартиной брели в школу. Мартина все хотела убедить меня, что Хаслингер не такой уж лютый зверь и что мне абсолютно ничего не угрожает.

— Ну что он тебе сделает? — внушала она. — Ну, седьмую подпись отца потребует. Где шесть, там и семь — тебе не все равно?

Примерные ученики вроде Мартины будто не от мира сего: о проблеме колов и подписей они не имеют ни малейшего представления. Поэтому я даже не пытался объяснить ей, какую развеселенькую жизнь может устроить мне Хаслингер.

Перед школьными воротами у меня в мозгу зашевелилась мыслишка: а не проще ли сбежать? Когда по телеку передают о розысках ребенка, всегда говорят: «Пусть он немедленно возвращается домой. Никто его и пальцем не тронет!»

Увы, я так долго раздумывал, где лучше всего укрыться на пару деньков, что опомнился перед дверью в класс. Тут и звонок прозвенел. А потом оказалось, что все тревобления были напрасными. Не перевелась еще на земле чудеса! Хаслингер заболел. Вместо него урок вел учитель Файкс. Он битый час гонял нас по латыни. Я семь раз добровольно вызывался отвечать; на душе у меня был праздник.

На перемене после урока Славик Берти, мелкий пакостник, все вздыхал:

— Жаль, Хаслингер слег. Я просто помирал от нетерпения. Сегодня он закатил бы Хогельману сто двадцать восемь уравнений!

Для ребят из класса, кроме моих друзей, конечно, наши стычки с Хаслингером сплошной цирк. Славик даже заключил пари с Шестаком. Кто знает, может, и я бы посмеялся вволю, не коснись это меня самого.

Со стороны наверняка выглядит препотешно, когда Хаслингер еще с порога бросает «садитесь!», а затем впивается в меня взглядом и говорит:

— Хогельман Вольфганг!

Я поднимаюсь и говорю:

— Да, господин учитель!

Хаслингер стоит около доски, я у задней парты. Мы глядим друг на друга. Это длится три минуты — Берти засекал по часам. После чего Хаслингер говорит:

— Хогельман Вольфганг, я ведь жду!

Тут я опять говорю:

— Да, господин учитель,— беру тетрадки, выхожу к доске и вываливаю перед Хаслингером грудку уравнений с очень многими неизвестными.

Хаслингер бегло просматривает их и вопрошает:

— Хогельман Вольфганг, что-то подписей вашего отца не видно! (Хаслингер обращается ко всем нам на «вы».)

Стою я и на Хаслингера ноль внимания, весь ушел в рассматривание темного паркета, надраенного до антрацитового блеска. Там, где я всегда останавливаюсь, одна паркетина отошла. Когда наступаешь на нее правой ногой, она противно визжит.

Хаслингер говорит:

— Хогельман Вольфганг, вы ничего не хотите мне сказать?

Я тяжело переступаю на правую ногу и опять вперяюсь взглядом в пол.

В этом месте Хаслингер срывается:

— Долго я еще буду ждать?!

Я ничего не отвечаю. А что тут можно сказать? Стою и монотонно поскрипываю паркетинкой.

Этак примерно через минуту Хаслингер грохочет:

— Двойная порция уравнений, и марш на место!

Я удаляюсь на последнюю парту. Хаслингер нервно поправляет галстук, плотнее прижимает к переносице дужку серых очков и, глотая широко открытым ртом воздух, обращается к остальным:

— Начнем наше занятие!

Арифметика никогда не была моим коньком, это выяснилось уже в начальной школе. В прошлом году я тоже не блистал. Но свой трояк имел железно.

В том году уроки у нас вел Бауер. Он готов был по сто раз объяснять все, что мне непонятно. До тех пор, пока до меня не доходило. А вот Хаслингера, если я чего-то не понимаю, уже не спросишь. У нас с ним отношения — хуже некуда. Я, очевидно, действую на Хаслингера, как красная тряпка на быка. При моем появлении в нем вся желчь поднимается. В нашем классе он только

год, но я знаю его с тех пор, как мы поселились в этом районе. Он живет недалеко от нас, за углом. Ребята из нашего переулкa дали ему прозвище Круглая Серота. Потому что он весь серый. Волосы, глаза, кожа костюм и шляпа. Зубы у него, правда, желтые. Я и знать не знал, что он преподает математику, а тем более — что однажды он станет моим классным руководителем. Когда Хаслингер, о котором я и понятия-то не имел, что его так зовут, как манекен, вышагивал по нашему переулку, он мне всегда на нервы действовал. Другим ребятам тоже. Мы швыряли ему в спину гнилые яблоки и косточки от вишен. Улюлюкали. Один раз я даже пнул из рогатки в его серую шляпу. Но попал не в шляпу, а в левое ухо. Еще мы Круглую Сероту пихали, когда он мимо проходил. Мы тут же делали вид, что ссоримся. Один из нас давал другому пинка, и тот летел прямо на Круглую Сероту. Потом он говорил: «Ой, простите, пожалуйста!» — и мы, давась от смеха, разбегались.

Еще в этом году, за день до начала учебного года, я запустил в Круглую Сероту из-за забора целлофановым мешочком с водой. Водяной снаряд разорвался у него на правом плече, с того бока он вымок до нитки.

Когда на следующий день на первое занятие в класс вошел директор, а вслед за ним Хаслингер, я адски сдрейфил. Но всю жестокую правду мне еще предстояло постичь. Я-то подумал, что у Круглой Сероты вконец лопнуло терпение и он пришел с жалобой по поводу целлофанового мешочка. Я лихорадочно соображал: каяться или отпираться? Но тут директор произнес:

— Славныя май рэбэтишчки! (Ну и пляшут гласные у нашего директора! Он нарочно их постоянно искажает, полагая, что оно так звучит благороднее.)

Значит, он говорит:

— Славныя май рэбэтишчки! Вмэста Боуэрэ с вами бодет энімэцца Хэслингер! Этнынэ он клясснэй пэдагуг! Ёе надэсь, вэ палэдите!

Я думал, меня хватит удар. Хаслингер сказал:

— Садитесь.

Директор сказал:

— Дэ свідэние.— и вышел.

Хаслингер вызывал нас пофамильно, и каждый должен был встать, чтобы он мог с нами познакомиться. Когда он произнес «Хогельман», мне уже некуда было отступать. Я медленно поднялся. Хаслингер взглянул на меня и процедил:

— Так, так. Вас, стало быть, Хогельман зовут!

Больше он ничего не сказал. Но его взгляд сказал мне все.

Я дико разозлился на свою судьбу. Ну почему такое всегда случается со мной! Сами посудите: во втором «А» — Дворак и

Майсел. Во втором «Б» — Бирнингер и Дайкс. И в первом «В» — Андрош, Новотны и Шпиль.

Все они издевались над Хаслингером похлеще, чем я. Андрош — тот больше всех из кожи лез! Новотны и Шпиль вообще были зачинщиками! Но с них — как с гуся вода! Им не поставят нового классного руководителя! Только я такой везучий! Только мне мог директор преподнести на блюдечке такой сюрприз, как Хаслингера!

Мартина — она у нас дома единственная, кто в курсе дела, — MARTINA сказала мне: нечего, мол, становиться в позу обиженного. Сам во всем виноват. Не нужно было к нему приставать: он мне ничего плохого не сделал. Ежели человек тощ, сер и зубы у него желтые, это еще не повод над ним глумиться. А что каждый старался другого переплюнуть, не оправдание. В лучшем случае — дурацкая отговорка.

Хорошо ей рассуждать! А где она была три года назад, когда мы только начинали задирать Хаслингера! Она тогда лишь похихикивала над моими рассказами. Теперь нужны мне ее проповеди как рыбке зонтик! С тех пор как Хаслингер сделался моим классным руководителем, я в него не то что мешочка с водой — косточки вишневой не бросил.

ГЛАВА СЕДЬМАЯ ИЛИ № 7

согласно периодизации учителя немецкого

Выясняю, что Огурцарь не соблюдает условий компромисса.—

Моя сестрица и ее кадр насквозь промокают;

но я не этого хотел, когда брался за садовый шланг.—

У примерных учениц тоже есть жизненные проблемы.—

Ругательства помогают, но ненадолго.

Изумительный, бесхаслингеровский день быстро прикатил к финишу. Я решил было подождать Мартину перед школьными воротами, но заметил Бергера Алекса, который маячил тут же. Поскольку он железно поджидал Мартину, я развернулся и двинулся к дому один.

Калитка нашего сада была заперта. Я перемахнул через забор. Дверь в дом тоже была заперта. Я забрался внутрь через открытое кухонное окно. Вообще-то у меня есть целая связка ключей на все случаи жизни — от дома, от сада, от подвала, от гаража, от чердака. Мне ее папа подарил на двенадцатилетие. Вся связка держится на подвеске — красном гоночном автомобильчике, который

к тому же превращается в карманный фонарик и еще гудит. Но вот уже неделю я не мог найти ключи. Они как сквозь землю провалились. А спрашивать маму, не видела ли она их, когда убирала, я не хотел. Она бы сразу решила, что я их потерял и они попали в руки матерого взломщика. Она бы лишилась сна и вынудила папу врезать новые замки: очень она взломщиков боится.

Итак, через кухонное окно я залез в дом. На столе лежали две записки. Одна от мамы, что она задерживается у парикмахера, так как новый способ завивки и отбели волос требует больше времени, и что нам следует разогреть на обед тушеную капусту.

Другая записка от деда. Текст такой: «Ушел встречать Ника. Потом идем в городской парк! Салют! Дед!»

Дед всегда заходит за Ником в школу. Иначе Ник просто не дойдет до дома. С большей радостью он завернет к Хуберту, нашему плотнику.

Я подумал: «А ведь, кроме меня, дома ни души», но сразу вспомнил, что где-то рядом Куми-Ори. Подошел к папиной комнате и посмотрел в замочную скважину. Ничего не видно и не слышно. Тогда я открыл дверь и осмотрелся. Повсюду заглянул, даже в шкаф, и под кровать, и в корзину для бумаг, — Огурцаря нигде не было. Значит, Огурцарь не выполняет условий соглашения между мамой и папой и за милую душу шастает по дому, когда папы нет.

Я весь дом перевернул, разыскивая Огурцаря. Мало-помалу во мне росла надежда на то, что куми-орские подданные захватили короля и вздернули его. Через кухонное окно я вылез обратно в сад. Оглянулся по сторонам — куми-орского короля нет как нет.

У калитки стояли Мартина с Алексом. Было похоже, что между ними кошка пробежала. Это меня здорово удивило. Обычно они ходят рука об руку, и Алекс, как овечка, взирает через свои окуляры на Мартину, а Мартина, как овечка, взирает из-под своей бахромы на Алекса, при этом они нежно воркуют. Но сегодня они не ворковали, а громко препирались. И глядели отнюдь не овечками — тиграми.

До меня донесся голос Алекса:

— Если ты позволяешь им обращаться с тобой, как с грудным младенцем, значит, так тебе и надо, что они обращаются с тобой, как с грудным младенцем! — И еще: — Не давай запрещать себе самые безобидные вещи!

Мартина:

— Легко тебе говорить, когда отец сделал вам ручкой. С мамой и я договорилась бы! — И еще: — Можешь тогда Анни Вестерманн прихватить, кретин лохматый! Ей все позволено!

Разумеется, они еще очень многое высказали друг другу, но я четко уловил только это. Снова лезть в дом через кухонное окно

было лень. Я хотел взять ключи у Мартины. Едва я шагнул к калитке, как вдруг вижу: под кустом сирени, совсем рядом с калиткой, что-то красновато поблескивает. Драгоценные камушки в короне Огурцаря!

Огурцарь затаился под кустом и подслушивал, как Алекс с Мартиной выясняли отношения. Он был настолько поглощен подслушиванием, что меня вовсе не заметил.

«Ну, подлая тыква-мыква, погоди!» — пронеслось в моей голове. Сначала я хотел звездануть ему камнем по кумполу. Но не был уверен, выдержит ли огуречная черепушка. Королевские мощи под сиреневым кусточком никак не входили в мои планы. У меня под ногами, в траве, змеился садовый шланг. Я поднял его, прокрался к Куми-Ори и включил воду. Сначала сбил струей с Огурцаря корону, а потом стал окатывать его с головы до ног. То ли напор воды был чересчур сильным, то ли Куми-Ори оказался хиловат, но струя намертво припечатала Куми-Ори к забору. Он висел, как припиленный, и орал не своим голосом:

— Гусьпади Гоглимон, помажите меня! Ваша ламчишка меня угаражать!

Я невольно улыбнулся и подумал: «Долго же тебе звать придется. Он сидит небось в своем автострахе и считает!»

Я пустил воду на всю железку. Тут калитка распахнулась, и Мартина, злая-презлая, ринулась на меня с криком:

— Ты что, рехнулся, юный придурок!

Она была мокрая как мышь. Волосы растрепались и налипли на лицо, платье и все остальное — хоть выжимай. Бергер Алекс просунул голову в калитку. С него могла натечь хорошая лужа. Вода жирными струями лилась с длинных косм. Серый свитер растянулся и стал черным — вот как он вымок. Алекс проорал:

— Тебе с твоим чокнутым братцем лечиться надо, курица мокрая!

И ушел.

— Извини, пожалуйста, — сказал я Мартине, продолжая поливать Огурцаря, — если я вас немного обрызгал, но я должен вправить мозги его огуречному величеству и расквитаться с ним за все!

Мартина увидела Огурцаря, припиленного к забору. Она посоветовала остановиться, не то я отправлю его на тот свет. Я завернул кран. Но без особой охоты. Огурцарь шмякнулся на землю, стряхнул с себя воду, как собака после купания. А потом кэ-эк даст деру.

Мартина подбежала к кусту сирени, схватила корону и запустила ее вслед улетающему монарху.

Я крикнул:

— Держи свою драгоценную корону! Крути педали, пока не дали! Хиляй на полусогнутых!

Мартина проблеяла «бэ-э-эа» и показала язык.

Куми-Ори поймал на лету корону, напялил ее на свой черепок и юркнул за угол дома.

— В жизни такого удовольствия не получал,— сказал я Мартине, сладко потягиваясь.

Мартина все еще крутилась около сирени.

— Вольфи, глянь-ка сюда,— позвала она.

Я поглядел. Под сиреневым кустом что-то краснело: автомобильчик-подвеска от моих ключей. А рядом лежала связка.

— Ты что, посеял их здесь? — спросила Мартина.

Я покачал головой:

— Не имею привычки прятаться под кустами и подслушивать. А посему ключей под кустами не теряю.

Мы посмотрели друг на друга. Мартина скрипнула зубами:

— Лучше бы папа вместо Огурцаря завел дюжину гадюк!

Я сунул ключи в карман, заметив, что она права.

После этого Мартина переоделась, и мы разогрели тушеную капусту. Капуста получилась бы просто объедение, если б Мартине не взбрело в голову приготовить ее по-индонезийски. Она брала с полочки, где у мамы хранились специи, все, что попадалось под руку, и швыряла в капусту. Капуста от этого не стала лучше. Она стала странноватой. Даже не берусь в точности описать, какой именно.

Ну, к примеру, поджарка из свинины — это вкусно, и пирожки с абрикосами — вкусно. И картофельные оладьи тоже. Чечевичная похлебка — это невкусно. Шпинат — невкусно, и рубец — тоже невкусно. Про тушеную капусту нельзя было сказать, вкусная она или невкусная. По вкусу она вообще не напоминала что-либо, имеющее к еде хотя бы отдаленное отношение. Но я ее все-таки съел. Очень уж хотелось сделать Мартине приятное.

Сама Мартина к тушеной капусте даже не притронулась, не из-за вкуса, а потому, что чувствовала себя несчастной. Она рассказала, что у них с Бергером Алексом все кончено. После того как он заявил, что такой кадр не может представлять для него интереса: и вечером-то у нее ни минуты свободной, и даже в субботу никуда с ней не выберешься. А ему нужна спутница для пикников и летних ночных карнавалов. А еще он со своим другом и палаткой думает летом отправиться в Югославию, и Мартина должна решить, едет она или нет. Если нет, то он возьмет с собой Анни Вестерманн.

Мартина говорила об этом, а у самой из глаз слезы капали, и она их все время вытирала. Я буквально остолбенел: мне всегда казалось, что у Мартины во всем полный порядок. Ведь она в

классе первая ученица. Вот уж не представлял, что у нее тоже есть проблемы.

Мартина пообещала подтянуть меня по математике и найти средство против хаслингеровской немилости.

Я бы тоже с огромной радостью придумал какую-нибудь штуку для Мартины или пообещал ей что-нибудь приятное. Как минимум — утешил бы. Но я не знал, как надо утешать. Ник — совсем другое дело. Ему дают конфетку и говорят: «Ники, хныки, две клубники, в лес удрали к землянике...»

Так как слов утешения я не знал, то начал ругаться.

— Тупица, — сказал я. — Бестолочь безмозглая, чурбан неотесанный.

— Это ты обо мне? — всхлипнула Мартина.

— Нет, что ты! — успокоил я. — О Бергере Алексе, очкастом баране и всех остальных недоумках, тупых, как табуретки!

— Да, — сказала Мартина, — и об Огурцаре, этой то ли луковице, то ли репке, об этой подлой брюкве, об этом гусе лапчатом!

— Амеба пучеглазая! — сказал я.

— Хунта подпольная! — сказала Мартина.

Ох и отвели мы душу! Все известные нам ругательства перебрали. И даже новые изобрели. Они хоть и не блистали остроумием, зато были крепкими. А это главное.

Настроение поднялось. Даже посмеяться захотелось. Мы нафантазировали, как снесем Огурцаря обратно в подвал или сдадим в полицию и скажем: «С наилучшими пожеланиями от нашего папочки!» Или заспиртуем Огурцаря в кабинете естествознания.

А еще мы решили, что превратим жизнь Бергера Алекса в ад и доведем его до самоубийства. И что Хаслингер скоро заболеет и проболит до самой пенсии. И что мы все выскажем папе, и что папа станет совсем-совсем другим. Однако мы прекрасно понимали: это лишь пустые мечты.

ГЛАВА ВОСЬМАЯ ИЛИ № 8

согласно периодизации учителя немецкого

Наш дом стал как чужой. —

Под разобранными часами с маятником можно найти все, что душе угодно. —

Мама лишается терпения, но потом вновь обретает его.

В последующие дни дома ничего особенного не произошло. Да что в том хорошего! Наоборот, настроение у всех было подавленное. Даже Ник им проникся. Он болтал раза в два меньше

обычного. От маминой жизнерадостности не осталось и следа. Обед — лучший показатель. Свиную поджарку она подала с лапшой, а пудинг из манки получился комковатый. Дед часами читал газеты или сидел в кегельбане. Папа либо торчал в автострахе, либо запирался у себя в комнате. А мама просто помешалась на уборке. Она чистила, полировала и пылесосила как заведенная. От носа к подбородку, огибая уголки рта, пролегли морщины — это потому, что она постоянно хмурилась.

Сплошной кошмар! Еще кошмарнее, что я чувствовал себя в доме, как вор во время кражи. Мартина ощущала нечто подобное. Открывая дверь, мы злобно озирались: кто тут? Раздавался треск — мы вздрагивали. В голове стучало: это Огурцарь шпионит!

Когда мы решали уравнения и по ходу дела обсуждали что-нибудь постороннее, то перешептывались, чтобы нас не подслушал Огурцарь — или папа. Особого различия мы уже не делали.

Мама, должно быть, воспринимала все, как и мы. Однажды ночью я проснулся и почувствовал, что сосет под ложечкой. Пошел в кухню. Адски хотелось чего-нибудь пожевать. Свет в кухне я не включил: в холодильнике все равно горит лампочка. Я как раз пытался выловить огурец из банки. Неожиданно дверь распаивается, и мама резким голосом кричит:

— Ага, попался, стервец! Вот я тебе сейчас!

Она включила свет. На ней ночная рубашка. В правой руке выбивалка для ковров. Вид свирепый. Бигуди на голове прыгают. Я струхнул и, заикаясь, пролепетал:

— А можно взять еще один огурец?

Мама выронила выбивалку. Она прислонилась к стене. Сказала тихо:

— Ах, это ты... Мне показалось...

Я спросил:

— Что тебе показалось?

А сам в это время искал огурец, который секунду назад уронил с перепугу. Что ей показалось, мама так и не сказала. А я обнаружил свой огурец под кухонным столом.

— Тебе показалось, — сказал я, — будто в кухне рыскает Куми-Ори!

— Это все мое больное воображение, — повысила голос мама, — а посему мне лучше идти спать, иначе я пропущу самый полезный полуночный сон.

Мартина тоже пробовала заговорить с мамой об Огурцаре и папе. Но мама делалась непроницаемой, как стена. Всякий раз она повторяла: до Куми-Ори ей никакого дела нет, он ее совершенно не интересует, а папа пусть поступает, как ему заблагорассудится. И она не позволит, чтобы при ней о папе отзывались

дурно. Не детского ума это дело. К тому же полным-полно отцов еще хуже, чем наш (факт, который мы и не пытались оспаривать).

Дед был непроницаем, как мама. Он не намерен забивать себе мозги каким-то беглым овоще-фруктом, заявил он.

Я завелся:

— Это нечестно с твоей стороны! Ты ведь не меньше нашего ненавидишь Огурцаря. Ну так заставь папу шугануть его как следует! Ты же папин папа, ты единственный, кто может ему что-то сказать!

Но на дедушкин взгляд, с определенного возраста родному ребенку уже ничегошеньки не прикажешь и не предпишешь.

— Кроме того, — сказал он, — дело слишком далеко зашло! Куми-Ори следовало вытурить в первый же день! Мой сын по самую шею увяз в этом сиропе!

Мне хотелось знать, почему это дело зашло слишком далеко, а его сын увяз по самую шею в сиропе — и в каком именно.

Дед сказал, что говорить об этом еще рано, потому как это пока одни предположения. И пусть я оставляю его в покое. Ему нужно дочитать передовую в своей газете.

На этом цепь неприятностей не оборвалась. Внезапно исчез дневник Мартины. И те письма, что она получила от Бергера Алекса по случаю примирения. А мои почтовые марки как корова языком слизала. Четвертое напоминание из библиотеки тоже непонятно куда запропастилось.

Я сказал Мартине:

— А помнишь листок с подделанными папиными подписями? Кому понадобилось вытаскивать его из корзинки?

Мартина сказала:

— А связка ключей?

— Айда! — воскликнул я.

— Айда! — крикнула Мартина.

Дело было после обеда. Дед и мама сидели в гостиной. Мама вязала свитер Мартине. Мы проскочили мимо них, держа курс прямо на папину комнату.

Мама отложила спицы. Она сказала громко и отчетливо:

— Нечего вам делать в папиной комнате!

— Есть чего! Есть чего! — огрызнулась Мартина. Она шла напролом, как танк. Мы ворвались в папину комнату.

Куми-Ори сидел на письменном столе и носком наводил блеск на камушках в короне.

Это был лучший папин носок.

— Верни мой дневник, подлая тварь, — прорычала Мартина.

— И мне повестку из библиотеки! — рявкнул я.

Огурцарь нервно задергался:

— Мы ничивошку не заберливали!

— Они у тебя, это ж и дураку ясно! А ну, выкладывай их сюда!

— Мы ничивошку не выкувалдывать, ни за свете что на!

Тут я вырвал корону из его лап и поднял над головой.

— Вот что, душа твоя малосольная,— сказал я тихо,— или ты тащишь сюда наши вещи, или я засандаю твою корону в окно, да так, что она застрянет на самом высоком суку дуба!

— Ламчик, отдуй мою макарону самым быстрицким арбузом! Я дернул головой и зловеще осклабился.

Король Куми-Ори, скуля и поеживаясь, перебрался со стола на кресло и оттуда на пол. Он зло прохрюкал:

— Нам поразрез ножны ваши вещучки! Мы их напрячем и повыкожем гусьпадин Гоглимон, вы семь я без стыда и зависти. Мы вам делать вреддом, когда времена назвереют!

— У ти, бозе мой! — сказал я.— Руки короткие, чтобы нам навредить! А ну, тащи вещи!

Куми-Ори захлюпал носом. Но я сделал вид, будто сейчас запущу корону в окно. Тут-то он и открыл, где вещи лежат.

— Ваша вещучки подлежат каравайть!

Под папиной кроватью стояла коробка. В ней лежали часы с маятником, которые папа как-то разобрал, а собрать так и не удосужился. Среди гаечек и шурупов мы отыскиали дневник, письма, напоминание из библиотеки и марки. Я бросил под ноги Куми-Ори корону. И мы покинули комнату. Не преминув хлопнуть на прощанье дверью.

— Право же,— сказал дед, лукаво жмурясь,— воспитанные дети дверями не хлопают!

Мама с испугом глядела на нас. Лицо ее залила краска, и она спросила:

— Нет ли там, случайно, среди прочего нескольких бумажек?

— Бумажек? — Я не уловил, что имелось в виду.

— Ну да, таких бумажечек, бумажулек.

Мама начала выходить из себя. Тогда Мартина пролистала дневник и действительно нашла три бумажки.

Первая была счетом из дома мод «Леди». На ней значилось: «Пальто дамское, модель «Рио» — 3200 шиллингов».

А мама-то утверждала, что новое пальто досталось ей по дешевке: всего за тысячу шиллингов!

Вторая бумажка оказалась извещением, но не из библиотеки, а из магазина электротоваров. В ней сообщалось, что мама задерживает с одиннадцатым взносом за купленную в рассрочку посудомойную машину.

Я обалдел. Нам мама рассказывала, что эту машину она получила в подарок ко дню рождения от ее старенькой тетушки Клары.

Третья оказалась заявлением о приеме в клуб книголюбов «Азбука». Причем я совершенно четко вспоминаю, как мама рассказывала, будто с треском выставила приставучего клубного агента за дверь — для полного счастья ей только клуба еще не хватало!

Мы отдали маме все три бумаги. Мама сказала нам спасибо. И деду:

— Ну, я, кажется, уже дошла! — Голос ее высоко зазвенел.

Дед ласково потрепал ее по плечу:

— Только не раскисай, невестушка, прошу тебя!

Но мама раскисла. Она, что называется, в голос завывала.

— Это все из-за Куми-Ори, — рыдала она.

Это не так, сказал дед. Это она себе внушила. Куми-Ори хоть и прегнусный гном, но на нормальную семью, на такую, какой, собственно, она и должна быть, Куми-Ори не смог бы оказать столь гнусного влияния.

Мы и есть нормальная, вполне примерная семья, упорствовала мама.

Мартину вдруг прорвало:

— Нет, нет, мы не такие. Мы самая отвратительная семья! По телевизору смотри только то, что захочет папа! Кушай только то, что захочет папа! Носи только то, что захочет папа! Смеяться можно лишь тогда, когда этого захочет папа!

И хоть она здесь малость перегнула палку, я согласился с ней в ту же секунду:

— Мартина уже взрослая, а ей ни в «И-го-го» нельзя, ни на танцы! Палатка ей тоже улыбнулась! И карнавал в летнюю ночь! И губы красить нельзя! И макси-пальто ей не видать как своих ушей!

— Вот именно, вот именно! — подхватила Мартина. И указала на меня: — А бедный парень совсем уже превратился в неврастеника, по ночам вскрикивает. Все потому, что у него нет шести папиных подписей. А он уравнения, между прочим, щелкает, как семечки. У него если не получается, так только от страха, что папа не пустит его на тренировку в бассейн!

Мама тихо осела на диван, прямо на вязальные спицы. Она уставилась на нас, открыв рот, при этом она вытягивала из-под себя погнутые спицы.

— Какая палатка? Какой карнавал? — выдавила она, запинаясь.

Мартина сдула со лба челку.

— Палатка в настоящий момент дело десятое, так как Алекс все равно порядочная дубина, но... — Она взяла меня за плечо и подтолкнула к маме. — Но вот Вольфи — не десятое дело! Ему нужно шесть папиных подписей, а у него духу не хватает попро-

сильно их. Не исключено, он на второй год засядет. А со своими проблемами он только ко мне и может сунуться, бедняжка!

Мартина крепко прижала меня к себе. Мы стояли обнявшись, как люди, которым приходится прощаться навек. Адски приятно сознавать, что у тебя такая сестра! Но я не был вполне уверен, стоило ли все так про меня расписывать.

Мама явно растрогалась. Она ковыряла погнутой спицей в волосах и пришептывала:

— Хорошенькие пироги!

Я внимательно следил за ней: она не сердилась. Ну, я ей и выложил начистоту всю историю с Хаслингером.

На это ушло довольно много времени, потому что мама то и дело перебивала меня. Примерно так: «Что, что, Круглая Серота, он твой новый математик?! О боже, о боже, о боже!» При этом от сильного волнения она запускала обе вязальные спицы в свою новую прическу.

И еще так: «Шестьдесят четыре уравнения? И даже с десятой степенью? Потом все снова разделить? Пока не узнаешь, что в числителе?» Она терла себе нос и постанывала.

Или так: «С какой это стати ему понадобились подписи отца? У нас в стране, слава богу, равноправие!»

Она ударяла кулаком по столу, а между тирадами всякий раз вставляла: «Но, по правде, на второй год ты ведь не останешься? Да?»

Мартина заверила маму, что по правде на второй год я не останусь. Маму это успокоило. А поскольку женщины и мужчины равноправны, ей захотелось поставить шесть своих подписей вместо папиных. И деду захотелось поставить шесть подписей за папу, ведь его, как и папу, зовут Рудольф Хогельман.

— А внизу я подпишу: «Дедушка», — весело сказал дед. — А не понравится им это, тогда, тогда...

— ...тогда я сама пойду в школу, — заявила мама, — и он у меня узнает, что такое равноправие!

Настроение у нас резко поднялось. Тут вернулся с чьего-то дня рождения Ник. Мы прикусили языки, так как никогда нельзя знать наперед, что Ник передаст папе или королю Куми-Ори.

Дед успел шепнуть мне на ухо:

— Вольфи, когда твоя Серота Хаслингер поправится, я схожу к нему. Или лучше я... Впрочем, ладно, знаю, как поступить. В любом случае дело у нас пойдет на лад!

Ник уловил обрывок последней фразы. Он всегда слышит все, что ему слышать не следует.

— Какие дела? Какие дела? — спросил он. — Я тоже хочу знать! О каких таких делах вы тут говорили?

— Мы говорили о том, — отдельно произнес я, — каким образом лучше всего закупоривать, законопачивать и зашивать ушки маленьким мальчикам.

Ники расхныкался. Я подарил ему жевательную резинку, потому что сам себе показался последней свиньей. Ник, по сути, славный малый. А то, что он не разобрался в сложившейся ситуации, в его возрасте не мудрено.

ГЛАВА ДЕВЯТАЯ ИЛИ № 9

согласно периодизации учителя немецкого

*Мартина верит в Ромео и Джульетту. —
Звонок от фрау Шестак. — Воспоминания в сумерках.*

С тех пор как мама и дед узнали о конфликте с Хаслингером, у меня гора с плеч свалилась. К тому же я совершенно перестал бояться, так как спокойно мог решить любое уравнение. Я прорешал весь задачник, каждый пример. А в примерах с дробями я без пяти минут гений, сказала Мартина.

Мы решали как очумелые. Мартина пришла к выводу, что для нее самой это просто благо. Умственная работа поможет ей быстрее залечить душевную травму, нанесенную Бергером Алексом. Этот Бергер Алекс был, как говорится, самым крупным разочарованием в ее жизни.

— Надо быть справедливыми, — сказала Мартина. — В случае с Алексом нельзя всю вину валить только на папу, хотя он и занял неверную позицию. Если бы Алекс любил меня по-настоящему, он продолжал бы любить меня, несмотря на все домашние неурядицы, — вспомни Ромео и Джульетту!

Их имена не больно много мне говорят. Я знаю только, что они оба в финале пьесы каким-то образом покончили с собой. Поэтому я был рад, что Мартина разлюбила Алекса.

— Но папа все равно не прав, — продолжила Мартина, — потому что он ополчился на Алекса из-за его длинных волос и круглых дешевых очков. А кто судит о людях по таким чисто внешним признакам, тот далек от справедливости!

Недостаток Алекса, по мнению Мартины, состоит в том, что он еще не созрел для отношений «Он + Она». Я в этих делах ни бум-бум. Но мне было до чертиков приятно, что у нас с Мартиной такие хорошие отношения «Он + Она» и что это = (равняется) ежедневным занятиям по математике.

Хаслингер все еще болел, у него какая-то штуковина в пече-

ни — долгая канитель. По математике у нас теперь молодой учитель, вот уж кто молодчага! Меня он считает хорошим учеником. После того как Славик Берти сказал ему, что я в классе самый никудышный, он полез в мою тетрадь. И слегка ошалел. Как он выразился, для него это кроссворд. У одноклассников челюсти отвисли от изумления. Они загалдели: со мной, должно быть, занимался маг и чародей. А Шестак, самый слабый в классе, если не считать меня, долго выклянчивал адрес чудо-репетитора. Он никак не хотел верить, что со мной занималась только моя сестра. Шестак сказал:

— Ну, поздравляю. Теперь все видят, что потрясный симпомпончик еще и в математике петрит дай бог каждому!

Я в душе порадовался, что мою сестру считают потрясным симпомпончиком.

Как-то — дело было вечером — у нас зазвонил телефон, а папа в это время шел из кухни через прихожую, держа в руках проросшую картошку. Он взял трубку.

— 46-65-625. Хогельман у аппарата, — отрапортовал он.

Папа по телефону всегда так обстоятельно докладывается. Странно, что он еще и адрес не называет.

Он напряженно принял к трубке, и на лице его появилось выражение полной растерянности. Через каждые две секунды он повторял: «Да, да, фрау Шестак» и «Ну что вы, ну что вы, фрау Шестак». Наконец он сказал:

— Целую ручку, фрау Шестак, всего доброго, фрау Шестак, — и повесил трубку.

Мы знаем только одну фрау Шестак — мать Шестака, с которым я учусь. Папа всегда адски любезен с Шестакими, потому что господин Шестак — директор автостраха. Но не того, где служит папа.

Положив трубку, папа перевел взгляд на нас, затем он откашлялся. Заметно было, что с нами он разговаривает через силу. Он сказал:

— Я с фрау Шестак говорил!

Надо же, а мы и не догадывались! Особенно после того, как он только что раз сто произнес «фрау Шестак».

Далее папа сказал:

— По всей видимости, моя дочь гениальная репетиторша! Но разве в этом доме можно хоть что-нибудь друг от друга узнать? Стоишь, понимаешь, у телефона как круглый идиот и ни черта не понимаешь! В принципе я против того, чтобы несовершеннолетние девочки зарабатывали деньги. Лучше бы Мартина больше внимания уделяла занятиям. Она еще тоже всех высот не достигла. Но мне пришлось сделать исключение — только ради семьи Шестак! — Папа в упор взглянул на Мартину: —

Завтра позвонишь фрау Шестак и обговоришь с ней все в подробностях! Деньги положишь на сберкнижку!

Мартина сделала большие глаза:

— Что я должна обговорить? Какие такие деньги?

Папа уже двигался к своей комнате. Он обернулся:

— Со следующей недели ты будешь заниматься по математике с Титусом Шестаком. А деньги, которые за это получишь, пойдут на сберкнижку! — Уже держась за ручку двери, он добавил: — Во всяком случае, часть денег! — И скрылся в своей комнате.

— Папа, папа! — закричал Ник. — Ты забыл королевский ужин!

Возле телефона лежала проросшая картошка. Ник взял картошку и помчался к папе. Я слышал, как папа сказал:

— Спасибо, мой дорогой сыночек!

Мартина рвала и метала. Она ничего не имеет против занятий с Титусом Шестаком, совсем наоборот. Она уже давно подумывала об учениках. Просто везде, как правило, приглашают семи-восьмиклассников. Даже против откладывания части денег на сберкнижку она ничего не имеет, но она против того, чтобы папа все так просто за нее решал. Он мог бы, на худой конец, поинтересоваться, хочет она этого или нет. И вообще тактичный отец прямо в начале телефонного разговора сказал бы: «Милая фрау Шестак, это уж как моя дочь решит. Одну секундочку, я приглашу ее к аппарату!»

Мама успокаивала Мартину. Главное, говорила она, что занятия с Титусом Шестаком ей не претят и что за них деньги идут.

Я вышел в сад. Люблю побродить иногда по растворяющемуся в вечерних сумерках саду. Окно папиной комнаты было открыто, только наглухо зашторено. До меня доносились голоса папы и Ника. Ник смеялся. Я не стал подходить к окну. Я ведь не шпик какой-нибудь, вроде куми-орского предводителя. Мне стало грустно. Я подумал: «Бедный Ник! Пока еще все у тебя в жизни прекрасно. Пока еще у тебя дивные отношения с папой. Но через пару лет все это уйдет!»

Я-то сам отлично помню, как мы с папой жили душа в душу. Хорошее было времечко. Маленьких детей папа обожает. Он и в домино с тобой сыграет, и конструктор соберет и разберет, и сказочку расскажет. И на прогулках всегда было весело-превесело. Он в прятки с нами играл. И в салочки. И я верил, что у меня замечательный папа.

Даже не могу припомнить, в какой, собственно говоря, момент наши отношения дали трещину, но его вдруг абсолютно все перестало устраивать. То я слишком плохо мылся, то невежливо отвечал. Я завел дурных друзей, отпустил слишком длинные волосы,

ногти на моих руках были грязные. Жевательная резинка его раздражала. Мои джемперы казались ему слишком пестрыми. А школьные отметки слишком плохими. Я слишком мало бывал дома. А если был дома, то слишком много смотрел телевизор. А если и не смотрел телевизор, то встречал во взрослые разговоры или спрашивал о вещах, меня никакой стороной не касающихся. А если я совсем ничего не делал, то он попрекал меня тем, что я совсем ничего не делаю, а только слоняюсь из угла в угол.

Мартина говорит, с ней это точно так же происходило. Корень зла в том, считает она, что папа не может усвоить простую истину: дети — люди, как и все; у них есть свои взгляды и желание быть самостоятельными. Папе это не по нутру. Почему так получается, Мартина тоже не знает.

ГЛАВА ДЕСЯТАЯ ИЛИ № 10

согласно периодизации учителя немецкого

Я решил добраться в этом деле до самого дна.—

Дно находится на большой глубине.—

*Песочных формочек Ника ждут там как манну небесную,
и они действительно появляются с неба.*

С того момента, как мы отобрали свои вещи у куми-орского короля, он больше не объявлялся. Полагаю, он теперь прочно засел в папиной комнате. Во всяком случае, скрипы и шорохи прекратились. Вещи Мартины и мои были в целости и сохранности.

На улице пригревало уже совсем по-весеннему. В один прекрасный день после школы — дед ушел на кегли — ко мне подкатился Ник. Он попросил укрепить ему качели на дубе. Мартины дома не было. Она сидела у Шестака Титуса, давала ему доп. урок. Титус, говорит Мартина, твердый орешек. Он не схватывает все на лету, как я. И вообще, он ее в упор не видит и не слышит. Она знай себе тараторит без умолку, вдалбливает ему, что минус на минус дает плюс, а он сидит как сфинкс и кивает и думает при этом наверняка о чем-то другом. Когда она его потом спрашивает, что дает минус на минус, он смотрит на нее, как баран на новые ворота.

Да, так вот, приладил я качели для Ника и стал его раскачивать, потому что ему самому слабó раскачаться как следует. Вдруг Ник меня спрашивает:

— Вы все еще ненавидите славного королика?

Я сказал:

— Ник, сделай одолжение, не говори об огуречной черепушке, как родного брата прошу!

Но Ник не повел себя как родной брат. Он еще бог знает сколько нес всякую околесицу. Будто Огурцарь мечтает о малиновой мантии. Он видел в сборнике сказок у Ника сказочного короля в мантии из парчи. И теперь желает такую же. И что Мартина вполне могла бы сшить Огурцарю мантию. Нику так хочется повеселить Огурцаря, а то он такой несчастный, и глаза у него все время на мокром месте.

— Знаешь, Вольфи,— сказал Ник,— бедный король совсем нос повесил. Он ведь думал, что подвалюд позовет его обратно. А подвалюд все не идет да не идет. Король-то у нас уже ой-ой-ой как давно! Эти подданные и впрямь дрянные людишки, а?

Я бросил качели и, развернувшись на сто восемьдесят градусов, пошел. Вообще-то я хотел пойти в бассейн, но тут мне в голову пришла идея. Я подумал: «А проверю-ка, в конце концов, не загнул ли Огурцарь насчет куми-орских подданных».

Странно, как это мне раньше в голову не пришло.

Я вернулся домой. Прокрался мимо кухонной двери. В кухне возилась мама. Мне не хотелось, чтобы она видела, как я лезу в подвал

Я осторожно потянул на себя дверцу. Потом включил подвальное освещение и бесшумно прикрыл ее за собой. Спустился по лестнице в верхний подвал. Здесь все как обычно: полки с дедушкиным инструментом, трехколесный велик Ника, баночки с конфитюром. Я подошел к дверце нижнего подвала.

В ней было выпилено квадратное отверстие, так примерно пятнадцать на пятнадцать сантиметров. Дед уверял, что это, вне всякого сомнения, сделано для кошки. Прежний хозяин дома, очевидно, держал кошку и дыру вырезал, чтобы кошка могла сновать туда-сюда.

Теперь же кошачий лаз был залеплен какими-то странноватыми комочками земли. Несколько месяцев назад, когда я последний раз спускался в подвал, дырка еще была. Я попробовал открыть дверцу. Она не поддавалась. Я не стал ее дергать, чтобы Ник или мама не услышали. Я выбрал из дедушкиного набора длинный остроносый напильник и просунул его под дверцу (мой учитель физики сказал бы: «Применен закон рычага!»).

С законом рычага получилось законно — замок с хрустом отделился от двери. Но дверь не сдвинулась ни на миллиметр. Я тянул изо всех сил. Все, чего я достиг,— дверца отошла на толщину пальца. Она была приклеена по периметру к дверной раме густой сетью липких коричневых ниточек. Вход замуровали

совсем недавно — нити еще сырые. Можно было четко определить, что заклеивали дверь изнутри, со стороны нижнего подвала.

Я взял с дедушкиных полок здоровые садовые ножницы и в два счета отчищал всю липкую сеть.

Дверца поддалась.

В нижний подвал мы электричества не проводили. Я включил карманный фонарик, он же гоночный автомобиль, и полез вниз. Ступени были сырые и скользкие. И все стены кругом тоже сырые. Лестница оказалась очень длинной. Я считал ступеньки, их было тридцать семь. Тридцать семь очень высоких ступенек. Я очутился в довольно просторном помещении. Посветил фонариком на стены. Выглядели они зловеще — сплошь в выбоинах, трещинах, буграх, подтеках. От света фонарика по стенам поползли причудливые тени.

Внизу, в углах, я обнаружил множество отверстий. Каждое диаметром сантиметров пятнадцать — двадцать. На одной стене на уровне колена зияла огромная дыра шириной в полметра. По ее окружности шла чудная отделка из микроскопических шариков — то ли земляных, то ли глиняных.

Я посветил в украшенное отверстие и увидел просторный ход, также выложенный улиточьими ракушками, камушками и подземными корневыми побегами. А дальше виднелась узкая норка. Но ее я различал с трудом: свет от фонарика туда почти не доставал.

Я лег на землю и пустил луч в одну из маленьких норок. Внутри зашуршало и закопошилось. Даже показалось, будто что-то промелькнуло. А может, это только показалось? Я вышел на середину подвала и сказал:

— Ау, есть тут кто-нибудь?

Шуршание возобновилось.

Я опять:

— Ау, ау.

При этом сознаю всю нелепость своего положения. Эхо дважды повторило «ау», «ау». С удивлением отметил, что мне нисколько не страшно.

В норках что-то заерзало, донесся легкий шепот.

Предельно четко и предельно спокойно я сказал:

— Я ваш друг! И не собираюсь причинять вам зла, куми-орские подданные!

Положение мое было теперь глупее не придумаешь. В голове пронеслось: «Выступаешь ну чисто как миссионер в девственном лесу!»

Тут меня осенило: а вдруг куми-орцы нормального языка не понимают? Тогда я попробовал так:

— Я ваша другзятин! Мы ниче хотим и нежелатин заделать вам обижанец, куроимские погребешки!

Шепоток усилился и перерос в слитное глухое бормотание. Я крикнул:

— Вылизывайте сюда! Ничехвост вашастому не заделаем!

Неожиданно из одной норки раздался тоненький голосок:

— Эй вы, голова два уха! Перестаньте молоть чепуху. С нами можно разговаривать нормальным языком!

Мое положение стало уже таким, что я готов был провалиться сквозь землю — еще глубже. Я промямлил:

— Извините, но у нас там, в комнате, один типчик — так он такие перлы выдает, ну я и подумал...

В большой норе поднялся сильный гомон. Затем из отверстия высунулись пять маленьких человечков. Они смахивали на куми-орского короля, только были не огуречно-тыквенного цвета, а картофельно-серо-коричневого. Я посветил на них. Они зажмурились и заслонили глаза руками. Их руки отличались от лапок Огурцаря. Для лилипутского роста руки куми-орцев казались просто крупными грубыми лапищами с толстыми мясистыми пальцами.

— Чего тебе от нас нужно? — спросил один из пяти

— У нас наверху ваш король, — ответил я.

— Во-первых, нам это известно, — сказал другой член пятерки, крайний слева.

— Во-вторых, он уже для нас не король, — сказал его сосед.

— В-третьих, мы ничего о нем слышать не желаем, — сказал тот, что стоял посередине.

— В-четвертых, у нас дел невпроворот. Так что не мешай нам, — сказал четвертый.

— В-пятых, мы прекрасно обходимся без посторонних и не имеем ни малейшего желания якшаться со всякими любопытствующими, — сказал последний.

Я стоял огорошенный, не зная, что возразить, но, так как мне все же очень хотелось разговорить куми-орцев, я задал вопрос:

— Не могу ли я быть вам хоть чем-нибудь полезен? Вы мне гораздо симпатичнее, чем этот бритый гусь в короне. С удовольствием сделал бы для вас чего-нибудь!

В норках сразу стало тихо.

Тот, что стоял посередине, воскликнул:

— Граждане Куми-Ории! Верите ли вы мальчику?

Из всех дыр выставились серо-коричневые головки куми-орцев и повернулись ко мне. Я постарался изобразить на лице максимально приветливое выражение, осклабился, как овечка, и опять показался себе миссионером в девственном лесу. Граждане Куми-Ории разглядывали меня с нескрываемым любопыт-

ством. В норах вспыхнул и погас доброжелательный ропот.

— Должны ли мы доверять ему? — спросила пятерка из большой норы.

Отовсюду раздалось:

— Да, да!

Меня распирала гордость оттого, что удалось произвести на куми-орцев хорошее впечатление.

— Добро, — сказал один из пяти, — мы доверяем ему.

Все пятеро выпрыгнули из большой дыры, и каждый пожал мне руку. Ладони у них были твердые, сильные. Не то что сырое тесто. Подошли куми-орцы из маленьких нор, обступили меня. Были они все серо-коричневые, ростом меньше Огурцаря и суше, но вот руки и ступни ног у них были покрупнее огурцарских.

Я спросил еще раз, чем можно им помочь.

Один куми-орец сказал, что им понадобятся инструменты. До них дошел слух, что наверху, на земле, есть инструменты. В таких вещах у них острая потребность, им уже очень давно все приходится делать вручную: и копать, и прорывать ходы, и перемешивать раствор, и все-все. Еще несколько иголокгодились бы. И пожалуй, пара мотков проволоки. Все пойдет в дело. Они думают построить школу, ратушу и стадион. Да еще им предстоит перекопать подземные картофельные поля.

В былые времена, поделился со мной другой гражданин Куми-Ории, в те времена, когда Огурцарь был еще государем-правителем, у них не было ни школы, ни ратуши, ни стадиона. Они сиднем сидели на одном месте, как болванчики, и безостановочно скатывали во рту мелкие земляные шарики. Из них и строился огромный дворец для Огурцаря. Слюна куми-орцев вязкая, как клейстер, она-то и скрепляла шарики-кирпичики. Огурцарский дворец они мне показать не могли, потому что он находился внутри стены, за большой норой. Но один куми-орец указал на облицовку норы и грустно-прегрустно сказал:

— Только над этим трудились всю жизнь три поколения моей родни!

Пока господствовали Подземлинги, дети куми-орцев не имели права посещать школу. Школа была доступна лишь деткам подвалцов и подвализ. А на подземных картофельных полях куми-орцам дозволялось выращивать картошки ровно столько, чтобы не протянуть ноги. Все остальное время они должны были выжевывать и слюнявить украшения для королевского дворца.

А еще один гражданин Куми-Ории объяснил мне: у них теперь дел невпроворот, потому что слишком многое приходится навестывать. Сплошь да рядом чего-то не хватает. Но они справятся, заверили меня пятеро из большой норы.

Я бросился в верхний подвал и сгреб в кучу все, что могло

пригодиться куми-орцам. В три приема я перетаскал вниз целую гору.

Самую большую радость вызвали песочные формочки Ника. Они привели куми-орцов в неописуемый восторг. Куми-орцы сказали, что при случае я могу запросто навестить их еще раз. И они мне очень-преочень благодарны. Один даже пообещал поставить мне памятник. Но другие подняли шум — памятники у них теперь отменены. Я заявил, что памятник мне и даром не нужен, а формочки Ника совсем бросовые и все равно никакой ценности не имеют. Да у него и новые есть.

Наверх я вылез перепачканный с головы до ног. Мама сказала, что от меня идет какой-то дурной запах. Хотела бы она знать, где это меня носило. Я промолчал, потому что это бы ее только лишний раз выбило из колеи. Но Мартине я открыл все без утайки, и мы тут же порешили насобирать где только можно старые песочные формочки — у друзей и так, где придется. Я говорю:

— Слушай, Мартина, а если нас спросят, зачем нам эта дребедень?

Мартина рассмеялась:

— Скажем, что для негритянских детей! В это они как пить дать поверят!

ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ ИЛИ № 11

согласно периодизации учителя немецкого

*В школе поговаривают, будто у меня шарики за ролики заехали.—
Даже не представлял, что существует такое «бескорыстное» отношение к неграм.—*

Засоряю мусоропровод.— Маме ничего не удается у нас выведать.—

В этой главе, ради разнообразия, нервы сдают у деда.

Ребята из нашего класса начали поговаривать: «У Вольфганга Хогельмана шарики за ролики заехали!» Во-первых, я ни с того ни с сего стал здорово решать задачи. И во-вторых, я попросил всех принести мне старые формочки и совочки.

Хубер Эрих, которому везде психология мерещится, сказал, что ему тут все яснее ясного: мозг Вольфганга в настоящий момент разламывается от уравнений. Все клетки мозга, все маленькие серенькие клеточки считают как осатанелые. Но делать им это неохота. С бóльшим удовольствием они занялись бы чем-нибудь другим. В силу этого в маленьких сереньких клеточках разгорается тоска по годам детства, когда им не приходилось как осатане-

лым считать и считать. И серенькие клеточки подают Вольфи команду: собирай формочки и совочки. Они заинтересованы, чтобы Вольфи снова впал в детство. Тогда им не придется перенапрягаться! Это заявление всех рассмешило. А расскажи им, зачем я на самом деле собираю формочки, они бы и подавно сочли меня психом.

Кстати, Титус Шестак притащил мне шестнадцать сверкающих, совершенно новеньких песочных наборов. Все — его младшей сестры, которая свихнулась на почве приобретательства. Каждую неделю она получает новый набор. Требуя их, она визжит, как наш школьный звонок. Фрау Шестак сказала, что уж лучше платить двадцать шиллингов в неделю (цена одного набора) — здоровье дороже.

Короче говоря, у меня уже собралось тридцать шесть наборов: формочки, ведерки, грабли, совки. Я выпросил у дворника здоровенный мешок, чтобы дотащить все это до дома.

По дороге мне повстречалась грузная дама. Грузная дама спросила, что я собираюсь делать с таким огромным мешком игрушек. Я кротко ответил:

— Все собрано для бедных негритянских деток.

Грузная дама пришла в восторг, сказала, что это восхитительно, очаровательно и что она тоже непременно должна внести свою лепту. Она затащила меня в высокий дом, и я против воли поплелся за ней на пятый этаж. Через старомодную переднюю мы прошли в кухню. Там стояла длинная скамья, оказавшаяся на поверку рундуком. Она открыла его и извлекла на свет целую кучу всякого барахла: обрезки материи, поношенные носки, песочные часы, бечевку для сушки белья, пластмассовое ведерко, пустые горчишницы, грязное белье, соломенную шляпку и облезлых мишек, которыми играли еще при царе Горохе, и много-много прочей рухляди. Одновременно она приговаривала:

— Куда же запропастились формочки? Они тут уже лет десять вылеживаются!

Заодно она показала мне фотокарточки ее Гансика. На одной он сидит с лопаточкой в песочнице, на другой — направляется на конфирмацию, на третьей — женится, на четвертой держит на руках нового маленького Гансика.

Она снова принялась искать, бормоча:

— Да, надо делать добрые дела! Добрые дела! Для бедненьких негритят! — И еще: — У них ведь там в пустыне так много песка и ни одного ведерочка, ни одного совочка!

Наконец обнажилось дно рундука. Формочек в нем так и не оказалось. Я мечтал поскорее вырваться отсюда, торчать здесь вовсе не входило в мои планы. Как назло, грузная дама вцепилась в меня, как клещ. Она подыщет для негритят что-нибудь другое,

успокоила она. Я попытался внушить ей, что нас интересуют исключительно игрушки для песочницы, но она пропустила мои слова мимо ушей. Она сунула мне под мышку дряхлого, полысевшего мишку. Она сказала, я не должен быть таким скромником, она-де от всего сердца, ведь речь идет о бедненьких неграх!

Какое-то время в кухне вертелась еще одна женщина. Ей якобы нужно было одолжить яйцо. По-видимому, она услышала о моей коллекции. Когда я спускался по лестнице с мышкой и разбухшим мешком, все двери распахивались и люди вытаскивали вещи для негров. Я увиливал, как мог, но тщетно. Из всех дверей доносились обеденные запахи. Я уже изрядно проголодался.

Когда я наконец выбрался на улицу, то уже был обладателем не только формочек, совков и облезлого медведя, но и трех кукол без глаз, двух — без волос и еще одной — без руки, а также паровоза без колес, серой выцветшей пижамы, кувшинчика «напейся, но не облейся» без носика, пакета сухого молока, книжки-картинки с изображениями маленьких негритят и пары разношенных шлепанцев. Весь хлам эти «добряки» рассовали по целлофановым пакетикам. Я бы с великим удовольствием бросил их прямо у подъезда, но, как нарочно, следом за мной спускалась дворничиха. Увешанный пакетами, как Дед-Мороз, я побрел по улице, не сворачивая. Пакеты трещали и лопались. Барахло сыпалось на тротуар. По дороге я трижды делал попытку избавиться от него, но всякий раз меня кто-нибудь нагонял с криком:

— Ай-ай-ай, такой маленький, а уже такой рассеянный! Все свои вещи растерял!

Я говорил спасибо и опять превращался в Деда-Мороза. Как это все-таки удивительно! Неделю назад из моего кармана выпали две пятишиллинговые монеты. Никто за мной тогда не несся на всех парах, чтобы вручить их мне!

У садовой калитки меня поджидала мама. Она волновалась, потому что я никогда так поздно не приходил.

— С этим «старье берем» я тебя в дом не пущу! — сказала она.

Я упрекнул ее в плохом отношении к негритянским детям. Она, сказал я, бойкотирует сбор пожертвований в пользу негров. Мама вытащила из одного пакета полинялые пижамные штаны. Одной штаниной, судя по всему, уже давно наводили глянец на обувь.

— Негритянские дети плевать хотели на это утильсырье!

— Что правда, то правда, — согласился я и запихнул все, что принес, в мусоропровод. Разумеется, кроме формочек и совков.

Мама адски удивилась. Она высказалась в том духе, что, мол, большей глупости и нарочно не придумаешь: он, видите ли, ходит, подбирается лишь затем, чтобы забивать мусоропровод в собственном доме.

В этот момент появилась Мартина, и глаза у мамы совсем округлились, потому что Мартина тоже тащила куль с песочными наборами. Увидев нас, она еще издали прокричала:

— У меня семнадцать штук!

— У меня тридцать шесть! — гордо объявил я.

— Итого пятьдесят три, — сказала мама, — теперь негритянские дети смогут перелопатить всю Сахару!

Покачивая головой, она ушла в дом.

Я прихватил оба куля и рванул в подвал. Мартина осталась караулить наверху у двери. Лестница была скользкая, и я кубарем скатился по ней в нижний подвал. Не ушибся, потому что приземлился на кули. Я сразу подошел к большой дыре и прокричал:

— Приволок пятьдесят три набора!

Куми-орцы высыпали из нор. То-то была радость! Они удивленно разглядывали целлофановые пакетики и спрашивали, что это за материал. Я пообещал объяснить им все в другой раз, а то сейчас опаздываю к обеду и вовсе не хочу, чтобы мама, чего доброго, принялась меня разыскивать и чтобы ей, чего доброго, пришло в голову наведаться в нижний подвал.

Куми-орцам тоже не захотелось, чтобы мама наведалась в нижний подвал. Один из них даже сказал мне:

— Да, да, ваша правда! У нас по горло внутренних проблем, мы не в силах выдерживать еще и давление извне!

Я спросил, можно ли мне в следующий раз привести с собой сестру. Особого восторга по этому поводу куми-орцы не выразили, но сказали, что если она приблизительно такая, как я, то они уж как-нибудь потерпят.

Я поднялся наверх. Мартина еще дежурила у двери. Все было тихо. Я зверски проголодался. От одной мысли о предстоящем обеде у меня слюнки текли.

Деда и Ника дома не оказалось. Они ушли на выставку игрушечных железных дорог. У Ника уроки заканчиваются намного раньше, чем у меня и Мартины. На обед были спагетти. Когда у нас на обед спагетти, мама почти всегда ругается с нами. Она говорит, мы едим, как свиньи, потому что мы не наматываем макароны на вилку, а ссасываем их прямо с тарелки. Но ведь именно в этом весь smak!

За обедом мама вообще суровее. Она нам запрещает говорить о самых обычных вещах. Даже если у тебя живот болит — сиди и помалкивай. Если тебе за столом приспичило высморкаться, она в ужасе хватается за голову. Но сегодня мама не сердилась, хотя чавкали мы, как полк солдат. Она спросила:

— Куда вы дели формочки? В саду их уже нет!

— Они в саду, только за домом, — соврал я.

— Нет, там их нет, — сказала мама.

Мартина втянула в рот целую макаронную бороду и, с трудом ворочая языком, выдавила:

— Я отнесла их к себе в комнату.

— Нет и еще раз нет! — громко произнесла мама.

— Выходит, кто-то наши вещички украл! — сказал я с неподдельным возмущением.

— Кто же? — спросила мама.

— Может, негритянские дети? — предположила Мартина.

Мама обиделась. Она заявила, что считает себя хорошей матерью, и у нас все основания доверять ей во всем. Мы сказали, что она действительно хорошая мать, но это еще не основание во всем ей доверять. А поскольку она хорошая мать, она это поняла и не обиделась. После макаронной оргии мы вымыли и вытерли посуду, чтобы мама видела, какие мы хорошие дети. Тут домой вернулись дед и Ник. На выставке они видели исключительно дивные поезда, рассказывал Ник. Мама хотела положить деду спагетти, но дед сказал, что у него пропал аппетит. Ему ничего не хочется. Выглядел дед совершенно разбитым и больным. Левая рука у него мелко дрожала. Рот перекашивало еще сильнее. С ним это бывает, когда он очень взволнован.

Дед ушел в свою комнату, вместо обеда он решил вздремнуть.

Мама спросила Ника:

— Это ты деда расстроил?

Ник сказал, что деда он не расстраивал, что дед уже всю дорогу домой был не в духе, хотя Ник говорил с ним об исключительно дивных вещах. Дед даже сказал Нику, он, возможно, уйдет в дом для престарелых, потому что мы не семья, а какой-то сумасшедший дом.

— Дорогой младшенький братец, — обратилась Мартина к Нику, — что это за исключительно дивные вещи, о которых ты рассказывал деду?

Ник раскололся:

— Ну правда же, совершенно исключительно дивные вещи! Что мы скоро купим большой-пребольшой американский автомобиль марки «шевроле»! И проведем центральное отопление! А я получу велосипед с десятью передачами! А в саду мы построим бассейн с подогревом!

— Бред сивой кобылы, — сказал я.

— Ничего не бред! — обиделся Ник. — Сам увидишь! А если будешь себя лучше вести, то и тебе можно будет купаться в нашем бассейне!

— Мы что, по лотерее выиграем? — поинтересовалась мама. — Или банк обчистим?

— Нет, — сказал Ник, — нет, я думаю, мы этого делать не будем. С какой стати?

— А откуда же тогда, позволь узнать, мы возьмем денежки на машину, и на бассейн, и на велик с десятью передачами, и на центральное отопление? — спросила Мартина.

Этого, сказал Ник, этого он, к сожалению, и не может открыть. Он и так уже лишнего наговорил. Он может нам только сказать, что все мы очень скоро будем невероятно гордиться папой и наконец поймем, как несправедливо по отношению к нему вели себя. У меня в голове затенькали колокольчики. Я хоть и не догадался, что стоит за словами Ника, но, откуда ветер дует, понять было нетрудно.

— Ну-ка, братец младшенький, сознавайся, — потребовал я, — ты деду свою тайну, часом, не открыл, а?

Ник зарделся.

— Я деду почти всю тайну открыл. Из-за железных дорог я вообще забыл, что это тайна. Но дед мне твердо пообещал никому ее не выдавать. В том числе и вам!

Мама тяжело вздохнула. Мартина подбивала маму уломать Ника — пусть все расскажет как на духу. Уломать Ника вообще-то пара пустяков. Надо только сказать ему:

— Ну и пожалуйста, твоя тайна меня все равно не интересует! Как и ты сам. Да я вообще с тобой три дня разговаривать не буду!

Но мама сказала: равноправие так равноправие, нас ведь она не принуждала сознаться, куда мы дели пятьдесят три песочных набора и что означает вся эта чертовщина со сбором пожертвований в пользу негров. Однако сейчас самое важное — быть особенно приветливыми и внимательными к дедушке. Иначе у него опять сердце сдаст. Врач предупреждал: когда у него подергивается рот и дрожит левая рука — это сигнал опасности.

Ник, если захочет, все жилы из тебя вытянет. Он расхныкался: скажи ему, где теперь пятьдесят три песочных набора, и все тут. Он, видите ли, хочет иметь такую же коллекцию, как негры. И вообще, какие у нас от него могут быть секреты?

— У тебя ведь есть! — сказал я ему.

— Но я такое честное-пречестное слово дал, что никому ничего... — Ник откровенно распустил нюни.

— Кому же это ты слово дал? — спросила мама.

Ник выглядел несколько затравленным. Он силился понять, является ответ на этот вопрос тоже частью тайны или нет.

— Ты папе слово дал? — допытывался я. — Или дражайшему монарху?

Ник стиснул зубы. Я посмотрел ему в глаза. Какой же он еще ребенок! Притворяться ни на грамм не умеет. В глазах его читался утвердительный ответ. Ясное дело: он дал слово и папе, и Огурцарю.

Мама прикрикнула:

— Да оставьте вы бедного мальчика в покое! Он и так уже всякую ориентацию в жизни потерял!

— Не он один у нас в семье в таком положении! — сказал я Мартине, но от Ника отстал. Я даже не съехидничал, когда он проходил мимо, неся в папину комнату проросшую картошку.

В ДВЕНАДЦАТОЙ ГЛАВЕ

*царит такая неразбериха,
что периодизация учителя немецкого трещит по всем швам*

*Одно ясно: мне в этой главе все-таки удастся вырвать
у Ника тайну. То, что из этого вышло, напоминает не
нормальный семейный разговор по душам,
а, скорее, скандал невиданной силы!*

Я себе места не находил — думал: почему деда перекорежило? Я подошел к дедушкиной комнате и прислушался. Так как было тихо и никто не храпел — а дед всегда храпит во сне, — я постучал. Дед впустил меня. Я уселся на кровать и сказал, что мне нужно поговорить с ним. Хочется узнать тайну Ника — не из пустого любопытства, а просто раз на деда это так подействовало, значит, тайна действительно страшная и надо принять контрмеры.

Дед закурил сигарету. Он сказал, что Ник нес ахинею. До конца он так ничего и не понял. Но четко вырисовывается одно: куми-орский беглец прямо от злости лопается из-за того, что его подданные не явились с повинной. В отместку он задумал разделаться со своим народом. Да только сделать это сам он не может, потому что он вообще ничего не может. И папа выразил готовность взять все в свои руки.

Я спросил:

— Что же он замыслил? (Всегда, когда дело принимает особенно серьезный оборот, я мгновенно тупею и перестаю соображать.)

— Хм, папа хочет уничтожить куми-орцев в нижнем подвале, — сказал дед.

— Никогда! — завопил я.

— Так Ник утверждает!

— Зачем ему это нужно? Они ведь ему ничего плохого не сделали! Как раз сейчас они роют просторную норку под школу для своих детей! И ничего другого они не хотят, как только жить в мире да иметь несколько детских формочек и совков.

Я все выложил деду про нижний подвал. Потом я опять спросил, чего ради папа идет на такое злодеяние.

— А за это Куми-Ори презентует ему американский автомобиль, центральное отопление, бассейн и не знаю, что там еще!

— Но у Куми-Ори ни гроша за душой!

Дед пожал плечами. У него самого это в голове не укладывается, сказал он. Но допрашивать Ника он не стал.

— А как он думает разделаться с ними? — спросил я.

— Там как-то с водой все связано, — вяло ответил дед.

После разговора с дедом я держал совет с Мартиной. Мы единодушно решили, что не выпустим Ника, пока он всего не скажет. Даже если мама будет против. Я затащил Ника в свою комнату, и мы принялись его обрабатывать. Я — кнутом, Мартина — пряником.

Я напирал:

— А ну, выкладывай свою тайну, щенок, не то я из тебя яблочное повидло сделаю!

Мартина пела медовым голоском:

— А мы это лучше скажем любимой сестричке, а не то любимая сестричка неделю с тобой и словом не обмолвится!

На сей раз сверхугроза не подействовала. Ник молчал как заговоренный. Тут я, очень даже кстати, вспомнил испытанный прием: «Я-ни-одному-твоему-слову-не-верю!» Я сказал:

— Куми-орский король нашему папе только дырку от бублика может подарить, у мерзкой замухрышки за душой ни шиллинга!

На это Ник клюнул. Он воскликнул:

— Куми-орскому королю никаких денег для этого не нужно, потому что у короля есть друг, куми-орский кайзер из автостраха. А кайзер держит в кулаке генерального директора автостраха. Генеральный директор в порядке поощрения выдвинет папу на пост директора! И тогда папа сам все сможет купить!

У меня язык к гортани присох. Мартина побледнела от ярости. А Ник позеленел с досады, когда сообразил, что проболтался.

— А каким образом папа думает уничтожить куми-орцев? — осведомилась Мартина.

Но из Ника ничего уже и клещами было не вытянуть. Оставалось одно: мы взяли Ника за шиворот и потащили в подвал.

Я прошипел:

— Вот сейчас, маленький и бессердечный брат, мы спустимся в подвал, чтобы ты своими глазами увидел тех, кого твой добрейший папочка и твой милейший король собираются сжить со света!

Ник упирался руками и ногами. Он вопил, что боится и подвала и его злых обитателей, он будет кричать, пока мама не прибежит. Но раскричаться мы ему не дали. Мартина намертво зажала его рот ладонью. Я прихватил карманный фонарик. Мы отво-

локли лежащегося Ника в нижний подвал. Он дрожал, как цу-
цук. Уж не знаю, со страха или от подвального холода. Мартина не
отходила от него ни на шаг.

Подойдя к большой норе, я прокричал:

— Со мной брат и сестра! Они хотят с вами познакомиться!

Из норы вылезли пять куми-орцев. Они поклонились и ска-
зали:

— День добрый, друзья.

Другие куми-орцы тоже повывлезали из своих нор. Они при-
ветливо кивали нам. В руках у всех мы увидели лопаточки и
грабли.

Куми-орцы были разгорячены работой, настроение у них было
явно праздничное. Щуплый темно-серый куми-орец провозгла-
сил:

— О друг, приветствуем тебя! Благодаря твоим стараниям
мудрым, мы детский сад построили сегодня!

Похожий на арбуз добавил:

— Не сегодня-завтра школа будет готова!

А серо-коричневый в пятнышках сказал:

— Послезавтра мы перекопаем картофельное поле, чтобы
больше уродилось самой отборной картошки и наши дети были
сыты.

Потом куми-орцы подвели нас к норе-школе.

— Ребятки, ну-ка выйдите к нам, пожалуйста! — крикнул
в норку один из куми-орцев.

В норке поднялась возня, кто-то прыснул. И оттуда выкати-
лась стайка совсем крошечных снежно-белых куми-орчиков.
У них были светло-голубые глаза, румяные щеки и нежно-лило-
вые ротки.

У Ника вырвалось:

— Ой, симпатяги какие! Они гораздо симпотешнее белых
мышек!

— Они прежде всего симпотешнее твоего Огурцаря! — ска-
зал я.

Но Ник меня уже не слушал. Он лег на землю и принялся
играть с куми-орчиками.

В куми-орцах было столько задора и усердия, что у меня про-
сто духу не хватило рассказать им про папу и Огурцаря. Они
были преисполнены планов и надежд. Один куми-орец из большой
норы поделился со мной:

— Через год, дружище, ты наш подвал не узнаешь. — И под-
робно расписал, где и что они построят и как обеспечат себя
пищей. — С голодом у нас будет покончено раз и навсегда, —
сказал он.

— А с твоими инструментами мы таких нор накопаем, что нам

никакая зима не будет страшна,— сказал его сосед по большой норе.

Мартина дернула меня за рукав. Она прошептала:

— Ну скажи им!

Я откашлялся, но с чего начать, так и не представлял. А еще мне было совестно. За папу.

— Говори, не тяни резину! — наседала Мартина.

— Ты что-то хочешь нам сказать, друг? — спросил третий из большой норы.

Отступить было некуда.

— Мой папа и Огурцарь, бывший ваш государь, решили с вами разделаться.

В подвале сразу воцарилась напряженная тишина. Куми-орцы сбились в кучу. Бросив на них беглый взгляд, можно было принять их за горку крупного картофеля. Но я не сводил с них глаз и отчетливо видел, как они трясутся от страха.

После паузы один из пятерки протиснулся ко мне. Он спросил

— Что задумал твой отец и последний из Подземлингов?

Ник все еще лежал на земле. В руке он держал двух куми-орских детенышей и нежно обдувал их розовые носики, а куми-орчики покатывались со смеху.

— Ник, послушай, что я тебе скажу,— серьезно начал я,— ты просто обязан немедленно открыть нам, что именно задумали папа и Огурцарь, иначе поздно будет. И симпотешные беленькие малышки погибнут

Ник сел. Несколько раз сглотнул слюну. Взглянул на трепыхающиеся в ладонях белые комочки и сказал:

— Они хотят подстроить прорыв водопроводной трубы. Завтра или послезавтра. Вода хлынет в нижний подвал и затопит норы и все остальное. А куми-орцы, как сказал король, плавать не умеют. Они сговорились, что сделают это, когда папа возьмет отгул. К обеду папа спустится в верхний подвал, а потом представит дело так, будто обнаружил течь в трубе. Тогда он вызовет пожарную команду, и она выкачает воду из нижнего подвала. Но к тому времени все куми-орцы уже захлебнутся!

Тот, кто задал вопрос, повернулся к своим:

— Граждане, только не поддавайтесь панике!

Куми-орцы и так стояли словно парализованные, от страха они стали светло-серыми. Только белые крохи резвились как ни в чем не бывало.

— Граждане, как нам защитить себя?

Один сказал:

— Может быть, мы успеем выучиться плавать?

Один сказал:

— Или построить лодки?

Еще один:

— Или наглухо задраить вход в подвал?

Однако, прикинув так и эдак, они сошлись на том, что все это бессмысленно. Такие крохотули за сутки плавать не научатся. Да и где возьмешь воду для тренировок? Лодок, сколько нужно, тоже враз не построишь. А задраить старую, прогнившую дверь, чтобы вода не просачивалась, совсем уж нереально.

Мартина посоветовала на время потопа перебраться всем в верхний подвал. Чем не выход?

Куми-орцы только головами покачали. Один объяснил:

— Какой же смысл возвращаться на пустое место? Все будет разрушено — и детский сад, и школа! Все! Кругом грязь непролазная. Норы завалены! А картошка — единственное наше пропитание — сгниет в земле! Как жить дальше?

Щуплый куми-орец спросил меня:

— Друг, скажи, а почему твой папа хочет помочь последнему Подземлингу?

Я поведал ему об автостраховском кайзере, о директорском кресле для папы.

Что тут поднялось! Граждане кричали, перекрывая друг друга:

— Этот изолгавшийся подлец! Этот гнусный Подземлинг! Этот подлый лгун!

Тут-то мы и узнали, что на всем белом свете нет больше ни одного куми-орского кайзера, даже короля и того нет. Они последние из куми-орцев прогнали своего короля.

Самый длинный куми-орец растолковал нам: куми-орцы не могут жить в бетонированных подвалах. Им нужна земля, глина и сырость. А сам подвал должен быть очень глубоким и не иметь окон.

Пятнистый куми-орец сказал:

— Об автострахе спросите меня! Десять лет прошло, как я удрал оттуда. Там все из бетона, почва обезвожена. Нору не выроешь никакими силами. Климат иссушающий. Картошка уже давным-давно не растет. Все куми-орцы, у кого голова на плечах, ушли из тех мест. Осталась жалкая горстка куми-орцев, которые мало-мальски применились к тамошним условиям. Все они высохшие, как мумии, и белые, как мел. Питаются архивными делами, сложенными в штабеля. В узких нишах, между бумажными горами, они и живут. Все поголовно выжили из ума и разучились говорить! Ходить и то разучились! Они перекатываются по подвалу и издают пискливые нечленораздельные звуки. А еще они частенько охотятся друг за другом, норовя напасть из-за угла и убить!

Остальные куми-орцы закивали головами.

— Они не могут добыть для папы директорский пост? — спросил Ник.

— В этом смысле они могут ровно столько же, сколько мы! — воскликнул полосатый куми-орец.

Мартина сказала:

— С вами ничего не случится. Ручаюсь. Или папа поймет, как он заблуждался, или.. — Она осеклась, не найдя, что сказать.

— Или мы расстроим его планы! — подхватил я.

— Честное слово! — добавил Ник.

Это обещание успокоило куми-орцев. С какой трогательной доверчивостью они благодарили нас! В глазах карликового народа мы, конечно же, выглядели могущественными великанами. Наверняка они считали, что защитить их для нас пара пустяков. Они не знали нашего папочку.

Когда мы лезли по лестнице вверх, MARTINA тяжело вздыхала:

— Расстроить папины планы! Как будто это раз плюнуть!

Ник карабкался за нами по высоким ступеням и отдувался, как тюлень. Он пропыхтел:

— Вот именно — раз плюнуть! Если ничего не поможет, я засяду в нижнем подвале, и меня уже никакими силами не вытащишь оттуда! Не захочет же папа меня утопить!

Мы были уже в верхнем подвале, когда услышали, как папа ставит машину в гараж.

— В атаку, марш! — скомандовал я. И отдельно Нику: — Ну, Ник, держись в сражении молодцом, не выдай!

Ник набылся:

— Я папу нисколько не боюсь.

Хотел бы я так легко утверждать это.

В тот момент, когда мы открыли дверь из подвала, папа отпер входную дверь. Обе эти двери стоят прямехонько друг против друга. Папа уставился на нас, но ничего не сказал. Он стал вешать пальто и шляпу на крюк. Но поскольку он не сводил с нас глаз, то, естественно, шляпа и пальто оказались на полу. Папа этого даже не заметил. Он продолжал разглядывать нас, словно никогда прежде не видел.

Мартина сказала:

— Мы из нижнего подвала.

Папа упорно молчал. Тут я крикнул, но при этом совершенно не узнал своего голоса — такой он был сиплый-хриплый:

— Мы рассказали куми-орцам, что ты собираешься сделать!

Ник выпалил:

— Не топи их. У них белые детеныши с лиловыми ртами!

Папа все еще молчал. Тут из кухни вышла мама.

— Случилось что-нибудь? — спросила она.

— Да нет,— буркнул папа.

Во мне будто что-то прорвалось. Я как заору:

— Ничего не случилось! Если не считать, что папа хочет устроить потоп! А директором ему все равно не быть — авто-страховых кайзеров нет в природе! Там же кругом бетон! Куми-орцы погибнут ни за что!

После этих слов я бросился к маме на шею и разрыдался. Позже Мартина вспоминала, что меня трясло, как отбойный молоток. Мама поглаживала меня и успокаивала, приговаривая:

— Ну будет, будет, будет...

Понемногу я утих. И отпустил мамину шею. Мартина уговаривала папу. Я поспешил ей на помощь. К нам присоединился Ник. Когда бываешь возбужден до такой степени, как мы тогда, на ум приходит лишь половина того, что хочется сказать, зато говорится все раза в два громче. Так что уломать папу с помощью разумных доводов не удалось.

Мама тоже не выдержала и потребовала объяснить ей, что значит вся эта галиматья с потопом.

Подошел дед.

Он-то и объяснил маме, в чем дело, а мы, перебивая друг друга, подбрасывали деду подробности, которых он еще не знал.

Так же хором мы высказали папе, что мы о нем думаем. А когда мама вошла в курс дела, и она высказала папе, что она думает по поводу прорыва трубы. А дед сказал:

— Никак понять не могу, что именно я упустил в воспитании сына.

В прихожую высунул нос Огурцарь. Но дверь не открыл, остался за порогом. Он не рисковал ввязываться в семейное побоище, а только подмигивал папе. Я услышал, как он прошептал:

— Гусьпади Гоглимон, все они наврушали, все наврушали!

Но папа будто вовсе и не замечал Огурцаря. Он ни разу не цыкнул на нас, не закричал, не заорал. Слова не произнес.

Папа нагнулся. Поднял с полу пальто и шляпу. Он нырнул в пальто и нахлобучил шляпу, открыл дверь и вышел. Даже дверью не шваркнул. Какое-то время мы стояли молча, слушая, как папа открывает гараж, заводит машину и выруливает на улицу.

Мама всегда уповает на лучшее. Она называет себя оптимисткой. И в этот раз она осталась оптимисткой. Когда папа выезжал за ворота, она сказала:

— Вот увидите, сейчас он все как следует обмозгует и, когда вернется, будет в полном порядке!

— Ох, невестушка, твоими устами да мед пить! — сказал дед. Вздохнул и ушел к себе в комнату.

Огурцарь все еще топтался на пороге гостиной.
— А ну брысь отсюда! — рыкнул я на него.
Огурцарь драпанул, как заяц.
Ник стоял понурый.
— Тебе, может быть, жалко? — спросила Мартина.
Ник совсем скуксился.
— Я же люблю его! — прошептал он.
— Нельзя любить всех без разбору, — сказал я, — тех, кто подличает, вообще любить стыдно!
Но в душе я не был до конца уверен в своей правоте.

СТРИНАДЦАТОЙ ГЛАВЫ

периодизация учителя немецкого отменяется за ненадобностью

Мы ждем. Долго-долго. И естественно, все это время разговариваем. —

*Поскольку для целой главы событий маловато,
я еще опишу, что произошло в школе на следующий день.
А произошло нечто поразительное, из ряда вон выходящее.*

К ужину папа все еще не объявился. Мы прождали его до девяти, потом сели ужинать одни. Мамин оптимизм не иссякал. Она сказала:

— Я вам говорю! Раз папы так долго нет, значит, он все досконально продумывает и взвешивает! Он одумается, я вам говорю!

К одиннадцати часам — Ник уже давно отправился спать — мамин оптимизм весь вышел. То и дело она поглядывала на часы и каждую минуту причитала:

— Только бы с ним ничего не случилось! Когда он не в себе, то гоняет как безумный!

Больше мама ничего не говорила, но по ее лицу было видно, что ей рисуются самые жуткие картины.

Дед делал вид, что ему не рисуется ничего жуткого, но он уже два часа водил глазами по редакционной статье. Я понял: мыслями он с папой, а газету держит для отвода глаз.

Мной владели неясные чувства. Собственно, было их только два: злость на папу и страх за папу. Каждые последующие четверть часа злость таяла, а страх рос. Во мне вспыхнуло множество задушевнейших воспоминаний, связанных с папой.

Мартина забилась в угол дивана и кусала ногти. Вдруг она всхлипнула:

— Но мы ведь все равно должны были сказать ему это!
Мама проворчала:

— Конечно! Дала бы я ему портить водопроводные трубы за здорово живешь!

В полночь мама позвонила в полицию. Но там не очень-то беспокоились папиным исчезновением. Маме сказали:

— Почтеннейшая госпожа, если мы станем разыскивать всех почтеннейших господ, не вернувшихся домой к полуночи, то мы уже больше ничем не сможем заниматься!

Мама попыталась втолковать им, что папа в этом отношении совсем особенный человек, домой он является всегда в одно и то же время, хоть часы проверяй. На что последовал ответ:

— Да, да, почтеннейшая, это мы тоже не раз слышали!

Все же маме сообщили, что на всю округу зарегистрирован лишь один несчастный случай: бензовоз врезался в «фольксваген». Маму это успокоило, к ней опять вернулся оптимизм. Она высказала предположение, что папа заночевал в какой-нибудь гостинице и там доходит до нормы.

— Он добрый человек,— сказала она.— Да-да! Он не такой плохой, как вы думаете!

Мы ей не возражали, но и не поддакивали. Все равно маму уже было не остановить, она выдала целую речугу, подобную Ниагарскому водопаду: и что жизнь у него складывалась нелегко, и что дед всегда предпочитал папе дядю Герберта, а папа, несмотря на свои способности, все еще занимает жалкий пост и жутко из-за этого страдает, и что, если у него такой плохой вкус и ему нравится одежда, которая нам претит, то это не вина его, а беда. Вообще-то он ведь не скупой. Просто мечтает разделаться с долгами, поэтому так экономит.

— Это вы должны понимать! — воскликнула она.

Мартина сказала:

— Вот те на! Ты же сама всегда упрекала его в скупости!

Тут мама стихла, а дед сказал, что пора идти спать, не то утром мы все на свете проспим.

Я и впрямь адски вымотался. Я встал и хотел было пойти к себе, как вдруг дверь папиной комнаты приоткрылась. От радостного испуга у меня мурашки по спине побежали. Первая моя мысль: «Это, наверное, папа пришел и через окно залез к себе в комнату».

Но оказалось, дверь открыл не он, а Огурцарь. Огурцарь хмуро огляделся и спросил:

— Гиде гусьпади Гоглимон?

— Гусьпади Гоглимон туты нетути,— съязвила MARTINA.

Огурцарь сказал:

— Мы ощущиваем голодуху! Целая сутка во рте ни кошки!

И посмотрел на нас с укором.

Мама показала в сторону кухни:

— Проросшая картошка под мойкой!
Куми-ори весь скукожился от потрясения:
— Мы сами никокаду! Мы никокаду сами!
— Тогда ходи голодный! — посоветовал я.

Но ему этого что-то не захотелось. Он прошел в кухню, затем вернулся, волоча рюкзак с картошкой, и, надутый, проковылял мимо нас.

Хотя лег я поздно, проснулся чуть свет. Первым делом я заглянул в папину комнату. По полу рассыпана картошка, а Огурцарь храпит в папиной кровати. Папы не было.

Я бросился к маме. Там уже сидела Мартина. Они мне рассказали, что еще раз звонили в полицию, и полицейские обзвонили даже все больницы. Но папы нигде не было. Значит, в аварию он не попал.

Я спросил маму:

— Как по-твоему, он решил уйти от нас?

По-маминому, так быть не должно.

— Наш папа не таков. У него ответственности за семью — хоть отбавляй!

В школе в этот день я, наверное, был похож на лунатика и иногда даже не знал, в каком мы в данную минуту находимся кабинете. А на третьем уроке осрамился — дальше некуда. Сижую, значит, и сам с собой разговариваю. Все думаю, как там дома, пришел ли папа, дошел ли он до нормы. Вдруг Фриц, сосед по парте, толкает меня.

— Вольфи! — шипит. И еще раз: — Вольфи!

Я оглядываюсь на него.

Он показывает одними губами:

— Тебя к доске!

Я встаю и иду к доске. О чем меня спросили, ни малейшего представления не имею. Шестак — он сидит на первой парте — шепчет мне:

— Сердце, сердце нарисуй!

Ну, я взял тогда мел и нарисовал на доске огромное сердце с изящным мыском внизу. Класс гоготал и визжал, как стадо обезьян. Тут только до меня, как до жирафы, стало доходить, что у нас сейчас анатомия и что я должен нарисовать человеческое сердце с предсердиями, желудочками и клапанами, а не пряник сердечком. Но было уже поздно. Учитель заорал, чтоб я садился и чтоб впредь ломал комедию где-нибудь в другом месте.

Это меня взбодрило. Еще больше взбодрило меня сообщение, что Хаслингера видели в коридоре. Он и в самом деле явился к нам на пятый урок. Вид у него был — краше в гроб кладут, и похудел он минимум на десять кэгэ. А лицо из-за болезни печени стало изжелта-лимонным.

Хаслингер уселся за учительский стол. Обычно он во время урока ходит.

— Хм, ну вот я и вернулся,— сказал он.

Вероятно, он рассчитывал увидеть радость на наших лицах. Но никто не обрадовался, потому что с молодым преподавателем куда веселее.

Затем Хаслингер обратился к Шестаку:

— Шестак, расскажите-ка, что вы тут без меня прошли.

Титус собрался уже отвечать. Но Славик Берти успел-таки вставить:

— Простите, господин учитель. Вы забыли об уравнениях и подписях у Хогельмана!

Я был готов задушить этого мелкого пакостника. Но Хаслингер смотрел эдак задумчиво, как будто силился вспомнить, о каких, собственно, подписях и уравнениях идет речь.

Я поднялся и сказал:

— Простите, господин учитель, я не знал, что вы сегодня придете!

Хаслингер сказал «ну, ну», затем поднял на меня глаза и произнес:

— Мой юный коллега, замещавший меня во время болезни, сегодня подходил ко мне. Он не считает вас полным профаном; наоборот, по его мнению, вы не лишены математических способностей. Так что прошу к доске, Хогельман, расскажите-ка, что вам было задано в последний раз?

Титус, довольный, плюхнулся на место, а я понуро побрел к доске. Хаслингер гонял меня до звонка. Я сделал всего лишь одну ошибку, совсем пустяковую. Чем дольше я решал, тем желтее и изможденнее делалось Хаслингерово лицо. А когда зазвенел звонок, он сказал:

— Просил бы вас пройти со мной в кабинет географии!

Я прошел за Хаслингером в кабинет географии. Во время перемены Хаслингер всегда там уединяется, даже когда у него нет уроков. Как сейчас, например. В учительскую он никогда не заходит.

Хаслингер подошел к большому глобусу и крутанул его. Он сказал:

— Пока я болел, вы очень выросли, очень!

Потом он сказал, что он старый и больной человек. К тому же тридцать семь учеников в классе — это не фунт изюма. Разорваться он не может.

Я подумал: «Дорогой Хаслингер, кому-кому, а мне жаловаться на недостаток внимания не приходилось!» Хаслингер говорил, вращая глобус:

— Знаете, Хогельман, прошу меня только очень правильно

понять. Я полагаю, мой молодой коллега, вот... сегодня ведь дидактические методы иные, но, если бы вы... я полагаю... то я бы вам, безусловно, тоже, вот...

Я даже приблизительно не мог представить, что это такое — дидактические методы. Но одно я понял: Хаслингеру грустно. Он думает, это новый преподаватель научил меня решать уравнения. И ему неловко, он ведь на мне уже крест поставил.

Я рассказал Хаслингеру, что вместе с родной сестрой каждый божий день вкалывал до умопомрачения.

— Ах, вон оно что! — пробормотал Хаслингер. Он уже выглядел не таким утомленным. — Ах, вон оно что, с сестрой! До умопомрачения! — И еще добавил: — Видите, юноша! Терпение и труд — все перетрут! — И он весело крутанул глобус.

Я не знал, должен ли еще здесь торчать или могу идти. Только я собрался об этом спросить, как он сам обратился ко мне:

— Хотите, я сделаю вас дежурным по географическому кабинету?

Правду говоря, никаким дежурным быть я не хотел, нет у меня особого желания вытирать пыль с глобусов, свертывать карты. Но куда не денешься, пришлось промямлить: «Да, да, с удовольствием» — и принять почетную должность.

Хаслингер показал мне, как нужно протирать глобус, как аккуратно скатывать географические карты и в какой последовательности следует убирать в шкаф наглядные пособия, чтобы их не повредить. Одновременно он рассказал, что до сего дня у него был такой замечательный и прилежный дежурный, такой чистюля, но, к сожалению, он «приезжающий», то есть ученик, который в школу и из школы ездит на поезде, потому что живет очень далеко. А по новому расписанию его поезд отходит теперь раньше, и чистюля опоздает на поезд, если будет протирать глобусы.

Потом Хаслингер как-то через плечо посмотрел на меня и спросил:

— Вы, Хогельман, надеюсь, не «приезжающий»? А?

— Я? Нет! Не-е-т! — сказал я, заикаясь.

— А вы далеко от школы живете? — спрашивает Хаслингер.

— Нет, — отвечаю, — мы живем около старого городского собора, за углом!

— Вот оно что, — говорит Хаслингер, — так мы соседи, получается!

Из кабинета географии я выполз, как во сне. Хаслингер, оказывается, и знать не знает, где я живу! Он меня, выходит, и не признал вовсе! Значит, невлюбил он меня просто как учитель ученика! Если бы я не волновался за папу, я был бы, наверное, очень счастливым человеком. Не хочу кривить душой: чуточку счастливым я все-таки себя чувствовал.

Я зашел за портфелем в уже опустевший класс. Все давным-давно ушли. Долго же мы проворковали с Хаслингером!

Стрелой слетел с третьего этажа, отвешивая по пути поклоны гипсовым бюстам классиков, установленным на лестничных площадках.

А внизу, в просторном вестибюле, который примерные ученики называют актовым залом, я остановился и сделал громко «бэ-э-э-э».

В это время мимо проходил наш истопник.

— Это ты от злости так мычишь? — спросил он меня.

— Да нет, — сказал я, — школа не такая уж муть зеленая, как иногда кажется!

А он сказал:

— Сперва надо хоть разок убрать всю школу и растопить печи, тогда сразу станет ясно, муть она или не муть.

Перед воротами меня дожидалась Мартина. Она сказала, одной ей идти домой страшновато: вдруг папа все еще не вернулся? У меня язык чесался — так хотелось передать ей нашу беседу с Хаслингером, но я не успел, потому что мы неслись как угорелые. Обычно на дорогу домой у нас уходит двенадцать минут. На сей раз мы уложились в семь.

Кусок ЧЕТЫРНАДЦАТОЙ ГЛАВЫ

я напишу как пьесу

Воспользуюсь тем, что именно здесь вели рассказ Ливка и Лавуга,

и при помощи двосточий сэкономлю на уже набивших оскомину

«он сказал», «говорит он», «заявила она».

Начну я, правда, как всегда — без двосточий

Как я уже сказал, домчались мы до дома за семь минут. Мама поджидала у входа. Она встретила нас словами:

— Папу должны доставить с минуты на минуту!

— То есть как — доставить? — спросила Мартина.

Мама была совсем-совсем растерянной.

— Звонили Ливка и Лавуга. Они сказали, что доставят его, и просили нас не волноваться, — пояснил Ник.

— И еще ему нужен покой, — всхлипнула мама, — это Ливка и Лавуга тоже сказали. А больше ничего!

Вскоре перед нашим домом затормозила легковушка. Из нее вылезли Ливка и Лавуга. Они вместе с папой работают. Я их уже сто лет знаю. Ливка веселый, а Лавуга смешной. Вдвоем они вытащили из машины папу. Папа был адски бледен. На лице светились два здоровых фингала. Ливка и Лавуга подхватили

его под руки. Они поставили папу посередине, а руки его завели себе за шею. Таким макаром они доволокли его до тахты. Папа рухнул как подкошенный. Мама еле-еле стянула с него пальто, костюм и ботинки. Потом она укрыла его шерстяным пледом.

— Ты не хочешь чего-нибудь проглотить? — спросила она. — Или, может, лучше компресс сделать?

Но папа уже не был в состоянии ответить, хочет он чего-нибудь проглотить или компресс. Он спал без задних ног. Он храпел и время от времени стонал.

Мама упростила Ливку и Лавугу хоть немного посидеть. Мама, дед, Лавуга и Ливка уселись за большим столом. Мартина и я опустились прямо на ковровую дорожку. А Ник залез на тахту и уселся у спящего папы в ногах. Он сидел возле папы, как пес господина Павлицы, когда господин Павлица загорает у себя в саду.

А еще Ник малость смахивал на ангела-хранителя, которого в католических календарях изображают парящим над детскими кроватками. Мне думается, все мы были просто счастливы, что Ник так рьяно охранял папу. Это лишало его возможности трепать языком, иначе он наверняка поведал бы Ливке и Лавуге массу подробностей, о которых никто, кроме членов семьи, знать не должен.

Мама принялась расспрашивать Ливку и Лавугу, что и как, собственно, произошло. И по рюмочке виски она им тоже не забыла налить. Лавуга сказал, ему сегодня нельзя, потому что он за рулем. Тогда мама принесла ему колу. Но Лавуга все-таки потом виски пил, а к коле не притронулся.

Теперь я изложу по порядку весь рассказ Ливки и Лавуги. Опустию только, как папа стонал на заднем плане и как Ник в таких случаях поправлял папино одеяло. На том, что Лавуга, пока рассказывал, успел опустошить до крошки вазочку с печеньем, я тоже не буду заострять внимания. Как мама через слово охала, ахала и причитала «обожеобожеобоже» — об этом я тоже умолчу.

Рассказ папиных коллег Ливки и Лавуги

(К слову сказать, Ливка — маленький и худой, а Лавуга — высокий и тоже худой.)

Л а в у г а. Видите ли, милостивая государыня, дело это довольно темное, трудно рассказывать. Сегодня в девять утра я с актами о списании...

Л и в к а. Уважаемый коллега, мне сдается, начинать-то нужно со вчерашнего вечера!

Л а в у г а. Да, ваша правда. Может быть, вы тогда сами... Я знаю, вы в таких делах всегда точнее...

Л и в к а. Вчера к концу рабочего дня коллега Хогельман был еще вполне в настроении.

Л а в у г а. Как бог свят, как бог свят, сударыня, могу подтвердить. Коллега Хогельман даже рассказал мне внизу, в холле, анекдотец. Уморительнейший. Просто блеск!

Л и в к а. Еще он говорил, что сразу же поедет домой. Но, видимо, передумал. Полчаса спустя его уже опять видели в конторе.

Л а в у г а. Но мы этого вчера, разумеется, не знали, нам об этом только сегодня рассказал господин Бокк, наш портье. Что касается меня, то захожу я сегодня утром в кабинет к Хогельману — дело неотложное, сложное, связанное с возмещением убытков, — а коллеги Хогельмана нет как нет! Дама, которая сидит в приемной, некая фрау Каспарек, она мне и говорит: «Господин Хогельман еще не появлялся!» А мне для срочного дела о возмещении убытков одна официальная бумажка просто позарез нужна. Я думал, она лежит на столе у коллеги Хогельмана, но ее там, увы, не оказалось.

Л и в к а. Коллега Лавуга, я вас умоляю! Фрау Хогельман это совсем не интересно. Короче, коллега Лавуга видит, что ни шляпы, ни пальто вашего супруга в комнате нет.

Л а в у г а. И это мне и Каспарек показалось подозрительным. Стоим мы и только руками разводим. Вдруг звонит телефон. Портье Бокк спрашивает, скоро ли господин Хогельман собирается вернуть ему ключи от подвала, которые он ему дал вчера вечером. Мы с Каспарек уже не знаем, что и подумать.

Л и в к а. Каспарек и Лавуга пришли ко мне в кабинет и все рассказали. Потом мы выяснили у Бокка, что вчера после работы, когда все разошлись по домам, Хогельман еще раз побывал в конторе. Сперва он поднялся к себе в кабинет, а потом пришел к Бокку и попросил у него ключ от подвала.

Л а в у г а. Бокк уверяет, с виду коллега Хогельман был совершенно подавленный и расстроенный, он выглядел просто больным. И вроде бы бормотал что-то такое...

Л и в к а. «Я должен своими глазами увидеть!»

Л а в у г а. Бокк спросил его, что именно желает коллега Хогельман увидеть своими глазами; вместо ответа коллега Хогельман посмотрел этак весьма странно...

Л и в к а. И сказал: «Господин Бокк! У меня такое чувство, что я иду по следам одного чудовищного надувательства!»

Л а в у г а. После чего коллега Хогельман с ключами направился в подвал, а Бокк пошел поливать цветы. Бокк у нас ярый цветолоб.

Когда Бокк полил все цветы и вернулся, то решил, что Хогельман уже, очевидно, ушел домой и по рассеянности сунул

в карман ключи от подвала. Во всяком случае, о подвале он больше не вспоминал. А я, я и говорю Бокку, что мне известна педантичность господина Хогельмана. Никогда в жизни, это я вам говорю, Хогельман не сунет в карман по забывчивости ключи от подвала, и не забудет пальто, да еще чтобы не явиться на следующий день в контору!

Л и в к а. Тут Каспарек как закричит! А вдруг, предполагает она, его вчера в подвале хватил удар! Мы галопом вниз, в подвал. Лавуга, Каспарек, Бокк и ваш покорный слуга. Дверь подвала распахнута...

Л а в у г а. И да будет позволено мне так выразиться, нам открылась картина ужаса и опустошения. Иными словами, все выглядело просто-таки страшно!

Л и в к а. Высокие штабеля папок раскурочены, все архивные дела свалены с полок и раскиданы по полу, везде искромсанные в клочья листы бумаги, документация!

Л а в у г а. Кроме того, кругом трещало и шуршало, как во время пожара.

Л и в к а. Бумага шуршала. Насчет пожара вы хватили.

Л а в у г а. Дорогой коллега, я уже сорок лет живу среди бумажного хлама. Уж я-то знаю, как может шуршать нормальная бумага. То шуршание нормальным не назовешь! Причем откуда-то снизу исходил звук, такой странный-престранный!

Л и в к а. Вполне возможно, это посвистывали крысы. В подвалах всегда водятся крысы. Почти все дела были жутко обкусаны!

Л а в у г а. Ну вот, тогда я буквально побрел вброд по бумажной реке. Каждый шаг давался с трудом, а с гор изгрызенных актов на меня сыпались бумажные хлопья. Тем не менее я выкрикивал: «Коллега Хогельман! Коллега Хогельман! Где вы?» Тут я услышал стон. У меня аж мурашки по спине побежали! Брр!

Л и в к а. А потом он нашел его и крикнул нам, что он его нашел.

Л а в у г а. Как бог свят! Я нашел его! Собственно, нашел я одни ноги! Они торчали из-под горы папок. Я позвал: «Коллега Хогельман! Это вы?» Вместо ответа из бумажных недр донесся глухой стон.

Л и в к а. Одним словом, выгребли мы коллегу Хогельмана. Он, видимо, был еще в сознании, но, судя по взгляду, не понимал, где он и что с ним. И что совершенно необъяснимо, рот его был забит обрывками бумаги. Мы их вытащили.

Л а в у г а. И вот после этого коллега пробормотал нечто удивительное, совершенно удивительное. Он, должно быть, бре-

дил. Он бормотал: «У них действительно нет кайзеров. Они сумасшедшие. У них действительно нет кайзеров».

Л и в к а. Он то и дело повторял эти слова и иногда горько всхлипывал: «Надули, надули, надули!»

Л а в у г а. Когда мы выгребли коллегу Хогельмана, случилось еще нечто чудовищное. Каспарек вдруг как завизжит, ну как, как... Словом, изо всех сил.

Л и в к а. Ее укусили. Невероятно, но факт. Каспарек выдернула ногу из-под груды актов. Нога и в самом деле кровоточила. Каспарек, продолжая визжать, стала пробиваться к выходу.

Л а в у г а. Знаете, просто нет никакой возможности передвигаться, когда весь пол завален по пояс бумагами. Ну так вот, потом мы вытащили коллегу Хогельмана из подвала, а он дорóгой опять говорил что-то несуразное.

Л и в к а. Он кричал: «Живей, живей, а то они вернутся! Поднажмите, коллеги мои, не то страхолюдины вернутся!»

Л а в у г а. Когда мы уже выбрались из подвала, у него вырвалось: «Коллеги, еще немного, и вы бы опоздали». Тут он потерял сознание.

Вот что рассказали нам Лавуга и Ливка. Они выпили еще по рюмочке виски и доели печенье. По их разумению, события вполне могли развиваться таким образом: папа, скорее всего, раскрыл какое-то жульничество, связанное со страхованием автомобилей. Причем большой давности. Это и побудило его вернуться в контору в надежде, что в подвале в старых делах ему удастся отыскать какие-то следы обмана. Там ему стало дурно, и он упал в обморок. А когда очнулся и увидел рядом с собой крыс, то лишился сознания вторично. Крысы и впрямь изрядная мерзость.

Жаль только, что столь честолюбивые коллеги, как господин Хогельман, никогда и никому не доверяются, если им удастся наткнуться на что-нибудь любопытное, иначе его давно бы уже нашли.

Мама с готовностью согласилась, что это и впрямь достойно сожаления.

Мы тоже поспешили заверить Ливку и Лавугу, будто все дело в крысах.

Ливка сказал, этот случай должен послужить уроком для автостраха. Они уже сегодня везде насыплют ДДТ или другой порошок. Потом Лавуга сказал еще, директор автостраха просил передать папе, чтобы он как следует отдохнул и скорее поправлялся, поскольку фирма нуждается в таких добросовестных, преданных делу сотрудниках, как папа.

За сим Ливка и Лавуга удалились, и я смог наконец-то выпить Лавугину колу.

ЭТА ГЛАВА ПОСЛЕДНЯЯ, ПЯТНАДЦАТАЯ

*Хорошо, что история подходит к концу:
завтра утром мне снимают гипс с ноги
и я уже вряд ли так скоро засяду за писание.
В последней главе я расскажу, как Ник помог всем нам
выпутаться из затруднительного положения.*

После того как Ливка и Лавуга удалились, мама осмотрела папу. Папа стонал гораздо реже. Но мама все не могла успокоиться. Она позвонила доктору Биндеру, который нас лечит. Доктор Биндер не заставил себя ждать, живет он в двух домах от нас. Он измерил папе давление, пульс, температуру. Папа ненадолго пришел в сознание, устало обвел всех взглядом, пробормотал:

— Господи, дома! — и сразу же опять забылся.

Доктор Биндер сказал, что у папы давление, пульс и температура в пределах нормы. Но потом все же взял карманный фонарик и посветил папе в глаза. Перед этим он, как вы понимаете, приподнял папины веки, потому что папа лежал с закрытыми глазами. Какие-то рефлексы навели профессора Биндера на мысль, что у папы сотрясение мозга. И не такое уж легкое, впрочем, и не слишком тяжелое — среднее. Он прописал папе полный покой. По его словам, не повредил бы компресс на голову. Но он сказал это исключительно ради мамы, зная мамину страсть к компрессам. А перед уходом доктор Биндер сказал маме:

— Ваш супруг, сударыня, вероятно, в будущем и не вспомнит о происшествии. Так иногда бывает при сотрясении мозга. Не исключено, что в его памяти образуются и более существенные провалы.

— Ой, как это было бы прекрасно! — брякнула мама.

— То есть как прекрасно? — спросил доктор Биндер оторопело.

Маме пришлось, запинаясь, объяснить, что она имела в виду совсем другое. Дед закашлялся, прикрыв рот платком, чтобы не было видно, как он улыбается.

Напоследок доктор Биндер еще сказал:

— Пожалуйста, старайтесь задавать вашему супругу как можно меньше вопросов, когда он придет в себя. Затемните комнату. Будьте с ним ласковы и предупредительны. Он нуждается в крайне бережном обращении!

После ухода доктора дед созвал нас на семейный совет. Мы пошли на кухню, чтобы не беспокоить папу и чтоб нам никто не

мешал. Мы отлично понимали, о чем нам нужно советоваться, но брать инициативу в свои руки никому не хотелось. Дед первым не выдержал:

— Что мы имеем на сегодня? Отец ваш вернулся! Кризис позади. Скоро он опять встанет на ноги. Но до того, как он очухается, надо довести дело до логического конца!

До Ника, судя по всему, еще не дошло, что мы собрались обсудить, так как он задал вопрос:

— Что значит — довести дело до логического конца?

— Огурцарь, — сказала мама.

— Пусть он убирается! — крикнула Мартина, и мы с дедом дружно закивали.

Но как лучше всего избавиться от Огурцаря, придумать мы так и не смогли. Мама, хотя и кричала громче всех, что она его не потерпит больше в доме, сама же созналась: она не то что Огурцаря — мухи обидеть не может. И ей не хочется, чтобы мы ему делали больно. Надо быть добрыми и терпимыми, сказала она.

Дед заметил, что в случае с Огурцарем на одной терпимости и доброте далеко не уедешь, но дельного предложения от него тоже не последовало. Семейный совет пришлось отложить на следующий день. Единственное, до чего мы договорились: папа спит эту ночь в гостиной, а Огурцаря мы запрем в папиной комнате. Мы не хотели, чтобы папа встречался с Огурцарем. После совета Мартина надела самое красивое платье. И щипцами для завивки превратила свои лохмы в мелкие бараньи колечки. Так, видите ли, нравится Станеку Курти. С ним она и собиралась в кино. Мама выразила сомнение: понравилось бы папе, что Мартина идет на последний сеанс?

Мартина сказала:

— Во-первых, в школу завтра не идти. Значит, я все равно рано спать не лягу. Во-вторых, моим нервам нужна разрядка, а в-третьих, Курти стрижется коротко!

По тому, как было произнесено «Куууртиии», я определил, что Курти начисто вытеснил Бергера Алекса.

Дед вышел из дома вместе с Мартиной. Он пошел в кафе почитать зарубежные газеты за прошлую неделю. Мама заявила, что на ее нервную систему сегодня выпала чересчур большая нагрузка. Она приняла снотворное и легла в постель. Перед этим она укрыла папу вторым пледом.

Я остался в кухне с Ником. Откровенно говоря, с большим удовольствием я бы залег у себя в комнате и дочитал до конца детективчик, который начал уже месяц назад. Но Ник что-то совсем раскис и сник, мне не хотелось оставлять его одного. Я думал, мне удастся немного растормошить его. Но Ник не

желал, чтобы его тормозили. Он уставился в одну точку, потом, помолчав, сказал:

— Вольфи, мне нужно ненадолго выйти.

— Привет горячий,— сказал я,— таким шпингалетам запрещается высовывать нос из дома в полдевятого вечера.

— Но мне адски нужно!

— Ничего тебе не нужно, тютя — валеный сапог.

Ник взглянул на меня почти враждебно. Тут меня внезапно пронзило. Как же гадко я себя веду и как гнусно говорю с Ником! «Прямо как взрослый»,— пронеслось в голове. Я вдруг понял: оказывается, вести себя по-скотски очень просто.

— Тебе что, в самом деле куда-то нужно?

Ник кивнул.

— Могу я составить компанию?

Ник покачал головой.

— Ты надолго?

— Нет, минут на пятнадцать,— сказал Ник.

— Без дураков?

— Без дураков!

И он вышел из кухни. Через кухонную дверь мне было видно, как он направился в чулан. Оттуда он вернулся с детским рюкзаком. Открыл тумбочку под раковиной и набил рюкзак проросшей картошкой. На меня он не смотрел. Я делал вид, будто тоже его не замечаю. Затем Ник с рюкзаком из кухни вышел. И дверь за собою плотно прикрыл. Я не двигался с места. Я ждал. Сначала все было тихо. Примерно через минуту в прихожей что-то скрипнуло: колеса от кукольной колясочки. А потом раздался жалобный голос Огурцаря:

— Этва мы не хахочем! Мы не хахочем этва! Хахочем остоловаться здесь!

И голос Ника:

— Так, к сожалению, не получится!

Я выглянул в окно. На улице была сплошная темень. Только освещенное кухонное окно отбрасывало гигантскую светлую тень на усыпанную гравием дорожку. Через пятно света прошел Ник, толкая перед собой колясочку. В ней с короной на голове и с детским рюкзаком за спиной сидел король Куми-Ори.

Ник пересек светлый квадрат и исчез в темноте. Я остался сидеть у окна. Я ждал, каждую секунду поглядывая на часы. Через пятнадцать минут ровно Ник с колясочкой возник в светлом квадрате. Теперь колясочка была пустая.

Я запер за Ником дверь. Хотя я и решил не задавать ему никаких вопросов, но не удержался:

— Куда ты его сплавил?

Ник тихо сказал:

— Он вылезать не желал. Он не понял, что мы его больше не хотим. Он был злой и ругался. Я его высадил у одного подвального окошка. Из него пахло плесенью. Он там наверняка приживется. После я сразу домой побежал!

Я восхищенно посмотрел на Ника. Тут я заметил, что у него вся правая щека разодрана.

— Он меня саданул, когда я вытаскивал его из коляски,— объяснил Ник.

Я чуть было не сказал Нику: «Ники, хныки, две клубники», но понял, что Ник из этого уже вырос. Поэтому я сказал:

— Ну, ладно. По кроватям!

ПОСЛЕСЛОВИЕ

На тот случай, если это кому-нибудь интересно: папа абсолютно здоров. Иногда у него, правда, разбалливается голова. Как раз сейчас он сидит в гостиной, спорит с дедом, чья газета лучше. Он уже вышел на работу. Директор фирмы объявил ему благодарность: ведь только после происшествия с папой всем стало ясно, какой адский бич эти крысы. Так что в самый последний момент удалось спасти наиболее важные архивные дела.

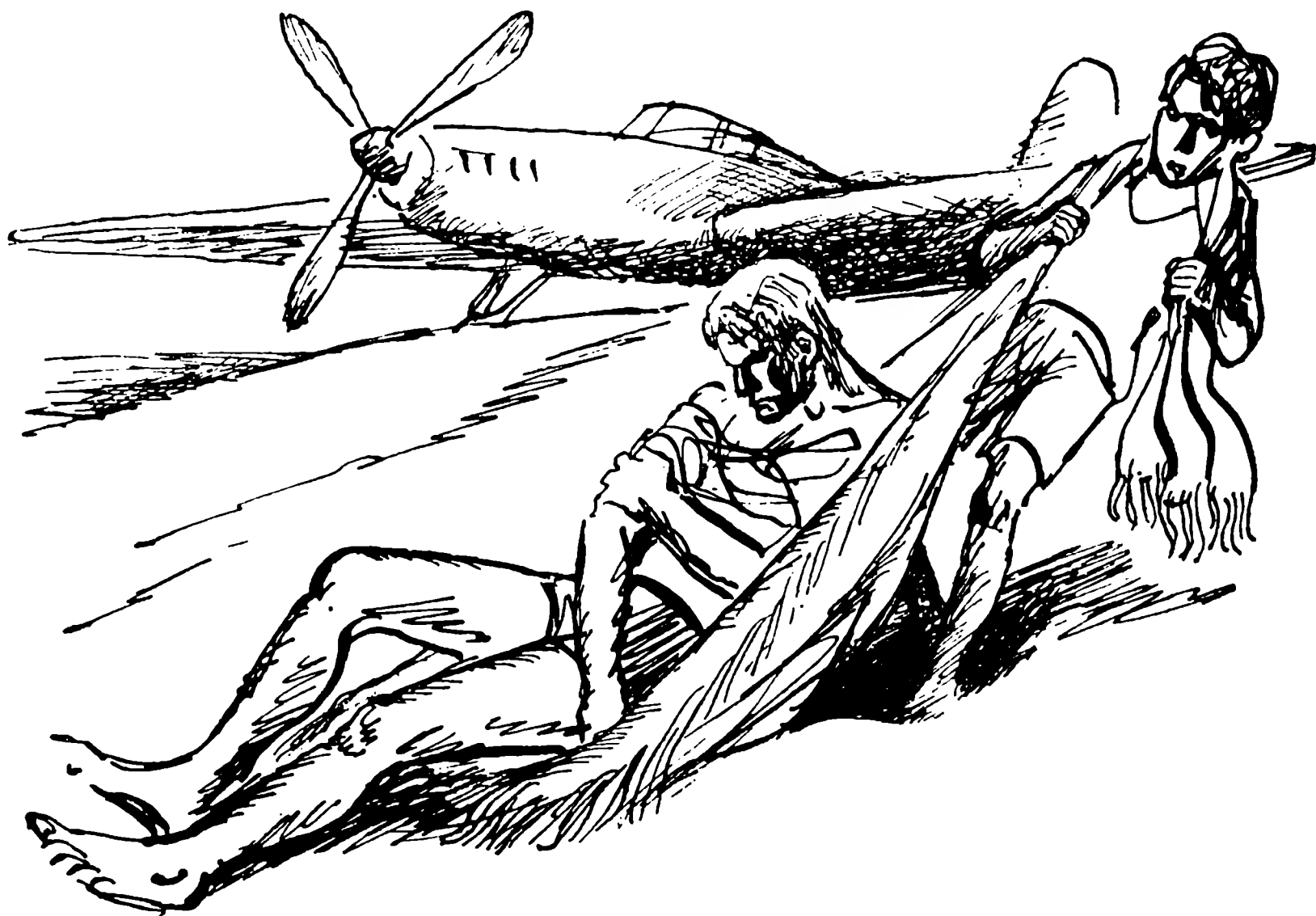
Было ли у папы действительно сотрясение мозга, для меня вопрос. Лично я в это не верю. Знаю четко лишь одно: папа без всякого напряжения может вспомнить абсолютно все. Он только делает вид, что ничего не знает. Потому что ему это неприятно. Но я за ним наблюдал. В первый же день, когда ему разрешили вставать, он в своей комнате все вверх дном перевернул. Все полочки в шкафу выдвинул, все дверцы пооткрывал, под кровать заглядывал. И возбужденно бормотал:

— Где этот подлый обманщик? Где мошенник? Я еще доберусь до него!

Тут мне папу стало жалко. Я сказал, будто не ему, а так, высматривая что-то из окна:

— Ник оттаранил Огурцаря из дома! Раз и навсегда!

Папа промолчал... Он только глубоко-глубоко вздохнул и снова лег в постель. А потом он заснул.



Джеймс Олдридж

ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ

Хорошо, если, налетав за двадцать лет не одну тысячу миль, ты и к сорока годам все еще испытываешь удовольствие от полета; хорошо, если еще можешь радоваться тому, как артистически посадил машину: чуть-чуть отожмешь ручку, поднимешь легкое облачко пыли и плавно отвоюешь последний дюйм над землей. Особенно когда приземляешься на снег — плотный снег очень удобен для посадки, — и хорошо сесть на снег так же приятно, как прогуляться босиком по пушистому ковру в гостинице.

Но с полетами на ДС-3, когда старенькую машину поднимаешь, бывало, в любую погоду и летаешь над лесами где попало, было покончено. Работа в Канаде дала ему хорошую закалку, и не удивительно, что кончал он свою летную жизнь над пустынями Красного моря, летая на «фейрчайльде» для нефтеэкспорт-

ной компании «Тексегипто», у которой были права на разведку нефти по всему египетскому побережью. Он водил «фейрчайльд» над пустыней до тех пор, пока самолет совсем не износился. Посадочных площадок не было. Он сажал машину везде, где хотелось сойти геологам и гидрологам, — на песок, на кустарник, на каменистое дно пересохших ручьев и на длинные белые отмели Красного моря. Отмели были хуже всего: гладкая с виду поверхность песков всегда бывала усеяна крупными кусками белого коралла с острыми как бритва краями, и, если бы не низкая центровка «фейрчайльда», он бы не раз перевернулся из-за прокола камеры.

Но все это было в прошлом. Компания «Тексегипто» отказалась от дорогостоящих попыток найти большое нефтяное месторождение, которое давало бы такие же прибыли, какие получало Арамко в Саудовской Аравии, а «фейрчайльд» превратился в жалкую развалину и стоял в одном из египетских ангаров, покрытый толстым слоем разноцветной пыли, весь иссеченный снизу узкими надрезами, с потертыми тросами, с каким-то подобием мотора и приборами, годными только на свалку.

Все было кончено: ему стукнуло сорок три года, жена уехала от него домой на Линнен-стрит в городе Кембридже, штата Массачусетс, и зажила как ей нравилось: ездила на трамвае по Гавард-сквер, покупала продукты в магазине без продавца, гостила у своего старика в приличном деревянном доме, — одним словом, вела жизнь, достойную порядочной женщины. Он обещал приехать к ней еще весной, но знал, что не поедет, так же как знал, что не получит в свои годы летной работы, особенно той, к какой он привык даже в Канаде. В тех краях предложение превышало спрос, даже когда дело касалось людей опытных: фермеры Саскачевана учились летать на своих «пайперкэбах» и «остерах». Любительская авиация лишила куска хлеба многих летчиков. Они кончали тем, что нанимались обслуживать рудоуправления или правительство, но такая работа была слишком нудной, чтобы привлекать его на старости лет.

Так он и остался ни с чем, если не считать равнодушной жены, которой он не был нужен, да десятилетнего сына, родившегося слишком поздно и, как в глубине души понимал Бен, чужого им обоим, — одинокого, неприкаянного ребенка, который в десять лет чувствовал, что мать им не интересуется, а отец — чужой человек, резкий и немногословный, не знает, о чем с ним говорить в те редкие минуты, когда они бывали вместе.

Вот и сейчас дело обстояло не лучше, чем всегда. Бен взял с собой мальчика на «остер», который бешено мотало на высоте в две тысячи футов над побережьем Красного моря, и ждал, что мальчишку вот-вот укачает.

— Если тебя стошнит,— сказал Бен,— пригнись пониже к полу, чтобы не запачкать всю кабину.

— Хорошо.— У мальчика был очень несчастный вид.

— Боишься?

Маленький «остер» безжалостно швыряло в накаленном воздухе из стороны в сторону, но перепуганный мальчишка все же не терялся и, с ожесточением посасывая леденец, разглядывал приборы, компас, прыгающий авиагоризонт.

— Немножко,— ответил мальчик тихим, застенчивым голоском, не похожим на грубоватые голоса американских ребят.— А от этих толчков самолет не сломается?

Бен не умел утешать сына, он сказал правду:

— Если за машиной не следить и не проверять ее все время, она непременно сломается.

— А эта?..— начал было мальчик, но его сильно тошнило, и он не мог продолжать.

— Эта в порядке,— с раздражением бросил отец.— Вполне годный самолет.

Мальчик опустил голову и тихонько заплакал.

Бен пожалел, что взял с собой сына. У них в семье великодушные порывы всегда кончались неудачей: оба они были такие — сухая, плаксивая, провинциальная мать и резкий, вспыльчивый отец. Во время одного из редких приступов великодушия Бен как-то попробовал поучить мальчика управлять самолетом, и хотя сын оказался очень понятливым и довольно быстро усвоил основные правила, каждый окрик отца доводил его до слез...

— Не плачь! — приказал ему теперь Бен.— Не смей плакать! Подыми голову, слышишь, Дэви! Подыми сейчас же.

Но Дэви сидел, опустив голову, а Бен все больше и больше жалел, что взял его с собой, и уныло поглядывал на расстилавшееся под крылом самолета бесплодное пустынное побережье Красного моря — непрерывную полосу в тысячу миль, отделявшую нежно размытые краски суши от блеклой зелени воды. Все было недвижимо и мертво. Солнце выжигало здесь всякую жизнь, а весной на тысячах квадратных миль ветры вздымали в воздух массы песка и относили его на ту сторону Индийского океана, где он и оставался навеки на дне морском.

— Сядь прямо,— сказал он Дэви,— если хочешь научиться, как идти на посадку.

Бен знал, что тон у него резкий, и сам удивлялся, почему он не умеет разговаривать с мальчиком. Дэви поднял голову. Он ухватился за доску управления и нагнулся вперед. Бен убрав газ и, подождав, пока не сбавится скорость, с силой потянул рукоятку триммера, которая была очень неудобно расположена на этих

маленьких английских самолетах — наверху слева, почти над головой. Внезапный толчок мотнул голову мальчика вниз, но он ее сразу же поднял и стал глядеть поверх опустившегося носа машины на узкую полосу белого песка у залива, похожего на лепешку, кинутую на этот пустынный берег. Отец вел самолет прямо туда.

— А почему ты знаешь, откуда дует ветер? — спросил мальчик.

— По волнам, по облачку, чутьем! — крикнул ему Бен.

Но он уже и сам не знал, чем руководствуется, когда управляет самолетом. Не думая, он знал с точностью до одного фута, где посадить машину. Ему приходилось быть точным: голая полоска песка не давала ни одной лишней пяди, и опуститься на нее мог только очень маленький самолет. Отсюда до ближайшей туземной деревни было сто миль, и вокруг — мертвая пустыня.

— Все дело в том, чтобы правильно рассчитать, — сказал Бен. — Когда выравниваешь самолет, надо, чтобы расстояние до земли было шесть дюймов. Не фут и не три, а ровно шесть дюймов! Если взять выше, то стукнешься при посадке и повредишь самолет. Слишком низко — попадешь на кочку и перевернешься. Все дело в последнем дюйме.

Дэви кивнул. Он уже это знал. Он видел, как в Эль-Бабе, где они брали напрокат машину, однажды перевернулся такой «остер». Ученик, который на нем летал, был убит.

— Видишь! — закричал отец. — Шесть дюймов. Когда он начинает снижаться, я беру ручку на себя. На себя. Вот! — сказал он, и самолет коснулся земли мягко, как снежинка.

Последний дюйм! Бен сразу же выключил мотор и нажал на ножные тормоза. Нос самолета задрался кверху, и машина остановилась у самой воды — до нее оставалось шесть или семь футов.

Два летчика воздушной линии, которые открыли эту бухту, называли ее Акульей — не из-за формы, а из-за ее населения. В ней постоянно водилось множество крупных акул, которые заплывали из Красного моря, гонясь за косяками сельди и кефали, искавшими здесь убежища. Бен и прилетел-то сюда из-за акул, а теперь, когда попал в бухту, совсем забыл о мальчике и время от времени только давал ему распоряжения: помочь при разгрузке, закопать мешок с продуктами в мокрый песок, смачивать песок, поливая его морской водой, подавать инструменты и всякие мелочи, необходимые для акваланга и камер.

— А сюда кто-нибудь когда-нибудь заходит? — спросил его Дэви.

Бен был слишком занят, чтобы обращать внимание на то, что говорит мальчик, но все же услышал вопрос и покачал головой:

— Никто! Никто не может попасть сюда иначе, чем на легком самолете... Принеси мне два зеленых мешка, которые стоят в машине, и прикрывай голову. Не хватало еще, чтобы ты получил солнечный удар!

Больше вопросов Дэви не задавал. Когда он о чем-нибудь спрашивал отца, голос у него сразу становился угрюмым: он заранее ждал резкого ответа. Мальчик и не пытался продолжать разговор и молча выполнял, что ему приказывали, внимательно наблюдая, как отец готовит акваланг и киноаппарат для подводных съемок, собираясь снимать в прозрачной воде акул.

— Смотри не подходи к воде! — приказал отец.

Дэви ничего не ответил.

— Акулы непременно постараются отхватить от тебя кусок, если подымутся на поверхность, не смей даже ступить в воду!

Дэви кивнул головой.

Бену хотелось чем-нибудь порадовать мальчика, но за много лет ему это ни разу не удалось, а теперь, видно, уже было поздно. Когда ребенок родился, начал ходить, а потом становился подростком, Бен почти постоянно бывал в полетах и подолгу не видел сына. Так было в Колорадо, во Флориде, в Канаде, в Иране, в Бахрейне и здесь, в Египте. Это его жене, Джоанне, надо было постараться, чтобы мальчик рос живым и веселым.

Вначале он пытался привязать к себе мальчика. Но разве добьешься чего-нибудь за короткую неделю, проведенную дома, и разве можно назвать домом чужеземный поселок в Аравии, который Джоанна ненавидела и всякий раз поминала только для того, чтобы потосковать о росистых летних вечерах, ясных морозных зимах и тихих университетских улочках родной Новой Англии! Ей ничего здесь не нравилось: ни глинобитные домишки Бахрейна при ста десяти градусах по Фаренгейту и ста процентах влажности воздуха, ни оцинкованные поселки нефтепромыслов, ни даже пыльные, беспардонные улицы Каира. Но апатия, которая все усиливалась и наконец совсем ее извела, должна теперь пройти, когда она вернулась домой. Он отвезет к ней мальчонку, и, раз она живет наконец там, где ей хочется, Джоанне, может быть, удастся хоть немного заняться ребенком. Пока что она не проявляла к нему интереса, а с тех пор, как она уехала, прошло уже три месяца.

— Затяни этот ремень у меня между ногами, — сказал он Дэви.

На спине у него был тяжелый акваланг. Два баллона со сжа-

тым воздухом весом в двадцать килограммов позволят ему пробыть на глубине в тридцать футов больше часа. Глубже опускаться и незачем: акулы этого не делают.

— И не кидай в воду камни,— сказал отец, поднимая цилиндрический водонепроницаемый футляр киноаппарата и стирая песок с его рукоятки.— Не то всех рыб распугаешь. Даже акул... Дай мне маску.

Дэви передал ему маску с защитным стеклом.

— Я пробуду под водой минут двадцать. Потом поднимусь, и мы позавтракаем, потому что солнце стоит уже высоко. Ты пока что обложи камнями оба колеса и посиди под крылом, в тени. Понял?

— Да,— сказал Дэви.

Бен вдруг почувствовал, что разговаривает с мальчиком так же, как разговаривал с женой, чье равнодушие всегда вызывало его на резкий, повелительный тон. Ничего удивительного, что бедный парнишка сторонится их обоих.

— И обо мне не беспокойся! — приказал он мальчику, входя в воду; взяв в рот трубку, он скрылся под водой, опустив киноаппарат, чтобы груз тянул его на дно.

Дэви смотрел на море, которое поглотило его отца, словно мог что-нибудь в нем разглядеть. Но ничего не было видно, только изредка на поверхности появлялись пузырьки воздуха.

Ничего не было видно ни на море, которое далеко вдали сливалось с горизонтом, ни на бескрайних просторах выжженного солнцем побережья. А когда Дэви вскарабкался на раскаленный песчаный холм у самого высокого края бухты, он не увидел позади себя ничего, кроме пустыни, то ровной, то слегка волнистой. Она уходила, сверкая, вдаль, к таявшим в знойном мареве красноватым холмам, таким же голым, как и все вокруг.

Под ним был только самолет, маленький серебряный «остер»; мотор, остывая, все еще потрескивал. Дэви почувствовал свободу. Кругом на целых сто миль не было ни души, и он мог посидеть в самолете и как следует все разглядеть. Но запах бензина снова вызвал у него дурноту, он вылез и облил водой песок, где лежала еда, а потом уселся у берега и стал глядеть, не покажутся ли акулы, которых снимал отец. Под водой ничего не было видно, и в раскаленной тишине, в одиночестве, о котором он не жалел, хотя вдруг его остро почувствовал, мальчик раздумывал, что же с ним будет, если отец так никогда и не выплывет из морской глубины.

Бен, прижавшись спиной к кораллу, мучился с клапаном, регулирующим подачу воздуха. Он опустился неглубоко, не больше

чем на двадцать футов, но клапан работал неравномерно, и ему приходилось с усилием втягивать воздух. А это было изнурительно и небезопасно.

Акул было много, но они держались на расстоянии. Они никогда не приближались настолько, чтобы можно было как следует поймать их в кадр. Придется приманить их поближе после обеда. Для этого Бен взял в самолет половину лошадиной ноги; он обернул ее в целлофан и закопал в песок.

«На этот раз,— сказал он себе, шумно выпуская пузырьки воздуха,— я уж наснимаю их не меньше чем на три тысячи долларов».

Телевизионная компания платила ему по тысяче долларов за каждые пятьсот метров фильма об акулах и тысячу долларов отдельно за съемку рыбы-молота. Но здесь рыба-молот не водится. Были тут три безвредные акулы-великаны и довольно крупная пятнистая акула-кошка; она бродила у самого серебристого дна, вдали от кораллового берега. Бен знал, что сейчас он слишком деятелен, чтобы привлечь к себе акул, но его интересовал большой орляк, который жил под выступом кораллового рифа: за него тоже платили пятьсот долларов. Им нужен был кадр с орляком на подходящем фоне. Кишащий тысячами рыб подводный коралловый мир был хорошим фоном, а сам орляк лежал в своей коралловой пещере.

— Ага, ты еще здесь! — сказал Бен тихонько.

Длиною рыба была четыре фута, а весила один бог знает сколько; она поглядывала на него из своего убежища, как и в прошлый раз — неделю назад. Жила она тут, наверно, не меньше ста лет. Шлепнув у нее перед мордой ластами, Бен заставил ее попятиться и сделал хороший кадр, когда рассерженная рыба неторопливо пошла вниз, на дно.

Пока что это было все, чего он добивался. Акулы никуда не денутся и после обеда. Ему надо беречь воздух, потому что здесь, на берегу, баллоны не зарядишь. Повернувшись, Бен почувствовал, как мимо его ног прошелестела плавниками акула. Пока он снимал орляка, акулы зашли к нему в тыл.

— Убирайтесь к чертям! — заорал он, выпуская огромные пузырьки воздуха.

Они уплыли: громкое бульканье спугнуло их. Песчаные акулы пошли на дно, а «кошка» поплыла на уровне его глаз, внимательно наблюдая за человеком. Такую криком не запугаешь. Бен прижался спиной к рифу и вдруг почувствовал, как острый выступ коралла впился ему в руку. Но он не спускал глаз с «кошки», пока не поднялся на поверхность. Даже теперь он держал голову под водой, чтобы следить за «кошкой», которая постепенно к нему приближалась. Бен неуклюже попятился на узкий, поднимавший-

ся из моря выступ рифа, перевернулся и преодолел последний дюйм до безопасного места.

— Мне эта дрянь совсем не нравится! — сказал он вслух, выплюнув сначала воду.

И только тут он заметил, что над ним стоит мальчик. Он совсем забыл о его существовании и не потрудился объяснить, к кому относились эти слова.

— Доставай из песка завтрак и приготовь его на брезенте под крылом, где тень. Кинь-ка мне большое полотенце.

Дэви дал ему полотенце, и Бену пришлось смириться с жизнью на сухой, горячей земле. Он чувствовал, что сделал большую глупость, взявшись за такую работу. Он был хорошим летчиком по неразведанным трассам, а не каким-нибудь авантюристом, который рад погоняться за акулами с подводным киноаппаратом. И все же ему повезло, что он получил хоть эту работу. Два служивших в Каире авиаинженера американской компании Восточных воздушных линий организовали поставку кинофирмам подводных кадров, снятых в Красном море. Инженеров перевели в Париж, и они передали свое дело Бену. Летчик в свое время помог им, когда они пришли посоветоваться насчет полетов в пустыне на маленьких самолетах. Уезжая, они оплатили услугой за услугу, сообщив о нем телевизионной компании в Нью-Йорке; ему дали напрокат аппаратуру, и он нанял маленький «остер» в египетской летной школе.

Ему нужно было быстро заработать побольше денег, и вот появилась такая возможность. Когда компания «Тексегипто» свернула разведку нефти, он потерял работу. Деньги, которые он бережливо копил два года, летая над раскаленной пустыней, дали возможность жене прилично жить в Кембридже. А того немногого, что у него оставалось, хватало на содержание его самого, сына и француженки из Сирии, которая присматривала за ребенком. И на маленькую квартирку в Каире, где они жили втроем. Но этот полет был последним. Телевизионная компания сообщила, что запаса отснятой пленки ей хватит надолго. Поэтому его работа подходила к концу, и у него больше не было причин оставаться в Египте. Теперь уже он наверняка отвезет мальчика к матери, а потом поищет работу в Канаде — вдруг там что-нибудь да подвернется, если, конечно, ему повезет и он сумеет скрыть свой возраст!

Пока они молча ели, Бен перемотал пленку французского киноаппарата и починил клапан акваланга. Откупоривая бутылку пива, он снова вспомнил о мальчике.

— У тебя есть какое-нибудь питье?

— Нет, — неохотно ответил Дэви. — Воды нет...

Бен и тут не подумал о сыне. Как всегда, он прихватил с собой из Каира дюжину бутылок пива: оно было чище и безопаснее для

желудка, чем вода. Но надо же было взять что-нибудь и для мальчика!

— Придется тебе выпить пива. Открой бутылку и попробуй, но не пей слишком много.

Ему претила мысль о том, что десятилетний ребенок будет пить пиво, но делать было нечего. Дэви откупорил бутылку, быстро отпил немножко прохладной горькой жидкости, но проглотил ее с трудом. Покачав головой, он вернул бутылку отцу.

— Не хочется,— сказал он.

— Открой банку персиков.

Банка персиков не может утолить жажду в полуденный зной, но выбора не было. Поев, Бен аккуратно прикрыл аппаратуру влажным полотенцем и прилег. Мельком взглянув на Дэви и удостоверившись, что он не болен и сидит в тени, Бен быстро заснул.

— А кто-нибудь знает, что мы здесь? — спросил Дэви отца, когда тот снова собирался опуститься под воду.

— Почему ты спрашиваешь?

— Не знаю. Просто так.

— Никто не знает, что мы здесь,— сказал Бен.— Мы получили от египтян разрешение лететь в Хургаду; они не знают, что мы залетели так далеко. И не должны знать. Запомни.

— А нас могут найти?

Бен подумал, что мальчик боится, как бы их не изобличили в чем-нибудь недозволенном. Ребятишки всегда боятся, что их поймают с поличным.

— Нет, пограничники нас не найдут. С самолета они вряд ли заметят нашу машину. А по суше никто сюда попасть не может, даже на «виллисе». — Он показал на море: — И оттуда никто не придет, там рифы...

— Неужели никто-никто о нас не знает? — тревожно спросил мальчик.

— Я же говорю, что нет! — с раздражением ответил отец, но вдруг понял, хотя и поздно, что Дэви беспокоит не возможность попасться, он просто боится остаться один. — Ты не бойся,— проговорил Бен грубовато.— Ничего с тобой не случится.

— Поднимается ветер,— сказал Дэви, как всегда, тихо и слишком серьезно.

— Знаю. Я пробуду под водой всего полчаса. Потом поднимусь, заряджу новую пленку и опущусь еще минут на десять. Найди, чем бы тебе покуда заняться. Напрасно ты не взял с собой удочки.

«Надо было мне ему об этом напомнить»,— подумал Бен, погружаясь в воду вместе с приманкой из конины. Приманку он

положил на хорошо освещенную коралловую ветку, а камеру установил на выступе. Потом он крепко привязал телефонным проводом мясо к кораллу, чтобы акулам было труднее его оторвать.

Покончив с этим, Бен отступил в небольшую выемку, всего в десяти футах от приманки, чтобы обезопасить себя с тыла. Он знал, что ждать акул придется недолго.

В серебристом пространстве, там, где кораллы сменялись песком, их было уже пять. Он был прав. Акулы пришли сразу же, учуяв запах крови. Бен замер, а когда выдыхал воздух, то прижимал клапан к кораллу за своей спиной, чтобы пузырьки воздуха, лопаясь, не спугнули акул.

— Подходите! Поближе! — тихонько подзадоривал он рыб. Но им и не требовалось приглашения.

Они кинулись прямо на кусок конины. Впереди шла знакомая пятнистая «кошка», а за ней две или три акулы той же породы, но поменьше. Они не плыли и даже не двигали плавниками, они неслись вперед, как серые струящиеся ракеты. Приблизившись к мясу, акулы слегка свернули в сторону, на ходу отрывая куски.

Он заснял на пленку все: приближение акул к цели; деревянную манеру разевать пасть, словно у них болят зубы; жадный, пакостный укус — самое отвратительное зрелище, какое он видел в жизни.

— Ах вы гады! — сказал он, не разжимая губ.

Как и всякий подводник, он их ненавидел и очень боялся, но не мог ими не любоваться.

Они пришли снова, хотя пленка была уже почти вся отснята. Значит, ему придется подняться на сушу, перезарядить кинокамеру и поскорее вернуться назад. Бен взглянул на камеру и убедился, что пленка кончилась. Подняв глаза, он увидел, что враждебно настроенная акула-«кошка» плывет прямо на него.

— Пошла! Пошла! Пошла! — заорал Бен в трубку.

«Кошка» на ходу слегка повернулась на бок, и Бен понял, что сейчас она бросится в атаку. Только тут он заметил, что руки и грудь у него измазаны кровью от куска конины. Бен проклял свою глупость. Но ни времени, ни смысла упрекать себя уже не было, и он стал отбиваться от акулы киноаппаратом.

У «кошки» был выигрыш во времени, и камера ее едва задела. Боковые резцы с размаху схватили правую руку Бена, чуть было не задели грудь и прошли сквозь другую его руку, как бритва. От страха и боли он стал размахивать руками; кровь его сразу же замутила воду, но он уже ничего не видел и только чувствовал, что акула сейчас нападет снова. Отбиваясь ногами и пятясь назад, Бен почувствовал, как его резануло по ногам: делая судорожные движения, он запутался в ветвистых коралловых зарослях. Бен

держал дыхательную трубку правой рукой, боясь ее выронить. И в тот миг, когда он увидел, что на него кинулась одна из акул помельче, он ударил ее ногами и перекувырнулся назад.

Бен стукнулся спиной о надводный край рифа, кое-как выкатился из воды и, обливаясь кровью, рухнул на песок.

Когда Бен пришел в себя, он сразу вспомнил, что с ним случилось, хотя и не понимал, долго ли был без сознания и что произошло потом,— все теперь, казалось, было уже не в его власти.

— Дэви! — кричал он.

Откуда-то сверху послышался приглушенный голос сына, но глаза Бена застилала мгла — он знал, что шок еще не прошел. Но вот он увидел ребенка, его полное ужаса склоненное над ним лицо, и понял, что был без сознания всего несколько мгновений. Он едва мог шевельнуться.

— Что мне делать? — кричал Дэви.— Видишь, что с тобой случилось!

Бен закрыл глаза, чтобы собраться с мыслями. Он знал, что не сможет больше вести самолет: руки горели, как в огне, и были тяжелые, как свинец, ноги не двигались и все плыло, как в тумане.

— Дэви,— еле выговорил Бен, не открывая глаз,— что у меня с ногами?

— У тебя руки...— услышал он невнятный голос Дэви,— руки все изрезаны, просто ужас!

— Знаю,— зло сказал Бен, не разжимая зубов.— А что у меня с ногами?

— Все в крови, изрезаны тоже...

— Сильно?

— Да, но не так, как руки... Что мне делать?

Тогда Бен поглядел на руки и увидел, что правая почти оторвана совсем; он видел мускулы, сухожилия, крови почти не было. Левая была похожа на кусок жеваного мяса и сильно кровоточила; он согнул ее, подтянул кисть к плечу, чтобы остановить кровь, и застонал от боли.

Он знал, что дела его совсем плохи.

Но тут же понял, что надо что-то делать: если он умрет, мальчик останется один, а об этом страшно даже подумать. Это еще хуже, чем его собственное состояние. Мальчика не найдут вовремя в этом выжженном краю, если его вообще найдут.

— Дэви,— сказал он настойчиво, с трудом пытаясь сосредоточиться,— послушай... Возьми мою рубашку, разорви ее и перевяжи мне правую руку. Слышишь?

— Да.

— Крепко перевяжи мне левую руку над ранами, чтобы остановить кровь. Потом как-нибудь привяжи кисть к плечу. Так крепко, как сможешь. Понял? Перевяжи мне обе руки.

— Понял.

— Перевяжи крепко-накрепко. Сначала правую руку и закрой рану. Понял? Ты понял...

Бен не слышал ответа, потому что снова потерял сознание; на этот раз беспмятство продолжалось дольше, и он пришел в себя, когда мальчик возился с его левой рукой; напряженное, бледное лицо сына было искажено ужасом, но он с мужеством отчаяния старался выполнить свою задачу.

— Это ты, Дэви? — спросил Бен и услышал сам, как неразборчиво произносит слова. — Послушай, мальчик, — продолжал он с усилием, — я тебе должен сказать все сразу, на случай, если опять буду без сознания. Перебинтуй мне руки, чтобы я не потерял слишком много крови. Приведи в порядок ноги и стащи с меня акваланг. Он меня душит.

— Я старался его стащить, — сказал Дэви упавшим голосом, — да не могу, не знаю как.

— Надо стащить, ясно? — прикрикнул Бен, как обычно, но тут же понял, что единственная надежда спастись и мальчику и ему — это заставить Дэви самостоятельно думать, уверенно делать то, что ему надо сделать. И как-то внушить это мальчику. — Я тебе скажу, сынок, а ты постарайся понять. Слышишь? — Бен едва слышал сам и на секунду даже забыл о боли. — Тебе, бедняга, придется все делать самому, так уж получилось. Не расстраивайся, если я на тебя закричу. Тут уж не до обид. Не надо обращать на это внимание, понял?

— Да. — Дэви перевязывал левую руку и не слушал его.

— Молодчина! — Бену хотелось подбодрить ребенка, но ему это не слишком-то удалось.

Он еще не знал, как найти подход к мальчику, но понимал, что это необходимо. Десятилетнему ребенку предстояло выполнить дело нечеловеческой трудности. Если он хочет выжить. Но все по порядку...

— Достань у меня из-за пояса нож, — сказал Бен, — и пережь все ремешки акваланга. — Сам он не успел пустить в ход нож. — Пользуйся тонкой пилкой, будет быстрее. Не порежься.

— Хорошо, — сказал Дэви, вставая. Он поглядел на свои вымазанные в крови руки и позеленел. — Если ты сможешь хоть немножко поднять голову, я стащу один из ремней, я его расстегну.

— Ладно. Постараюсь.

Бен приподнял голову и удивился, как трудно ему даже шевельнуться. Попытка двинуть шеей снова довела его до обморока;

на этот раз он провалился в черную бездну мучительной боли, которая, казалось, никогда не кончится. Он медленно пришел в себя и почувствовал какое-то облегчение.

— Это ты, Дэви?..— спросил он откуда-то издалека.

— Я снял с тебя акваланг,— услышал он дрожащий голос мальчика.— Но у тебя по ногам все еще течет кровь.

— Не обращай внимания на ноги,— сказал Бен, открывая глаза.

Он приподнялся, чтобы взглянуть, в каком он виде, но побоялся снова потерять сознание. Он знал, что не сможет сесть, а тем более встать на ноги, и теперь, когда мальчик перевязал ему руки, верхняя часть туловища тоже была скована. Худшее было впереди, и ему надо было все обдумать.

Единственной надеждой спасти мальчика был самолет, и Дэви придется его вести. Не было ни другой надежды, ни другого выхода. Но прежде надо обо всем как следует поразмыслить. Мальчика нельзя пугать. Если сказать Дэви, что ему придется вести самолет, он придет в ужас. Надо хорошенько подумать, как сказать об этом мальчику, как внушить ему эту мысль и убедить выполнить все, что надо, пусть даже механически. Как ощупью найти дорогу к объятому страхом, незрелому сознанию ребенка? Он пристально посмотрел на сына и вспомнил, что уже давно как следует на него не глядел.

«Он, кажется, парень развитой»,— подумал Бен, удивляясь странному ходу своих мыслей. Этот серьезный мальчик был чем-то похож на него самого: за детскими чертами скрывался, быть может, жесткий и даже необузданный характер. Но бледное, скуластое лицо выглядело сейчас несчастным. Когда Дэви заметил пристальный взгляд отца, он отвернулся и заплакал.

— Ничего, малыш,— произнес Бен с трудом.— Теперь уже ничего!

— Ты умрешь? — спросил Дэви.

— Разве я так уж плох? — спросил Бен, не подумав.

— Да,— ответил Дэви сквозь слезы.

Бен понял, что сделал ошибку. Нужно говорить с мальчиком, обдумывая каждое слово.

— Я шучу,— сказал он.— Это ничего, что из меня хлещет кровь. Твой старик не раз бывал в таких переделках. Ты разве не помнишь, как я попал тогда в больницу в Саскатуне?..

Дэви кивнул:

— Помню, но тогда ты был в больнице...

— Конечно, конечно. Верно.— Он упорно думал о своем, силясь не потерять снова сознание.— Знаешь, что мы с тобой сде-

лаем? Возьми большое полотенце и расстели его возле меня, я перевалюсь на него, и мы кое-как доберемся до самолета. Идет?

— Я не смогу втащить тебя в машину, — сказал мальчик. В голосе его звучало уныние.

— Эх! — сказал Бен, стараясь говорить как можно мягче, хотя это было для него пыткой. — Никогда не знаешь, на что ты способен, пока не попробуешь. Тебе, наверно, пить хочется, а воды-то и нет, а?

— Нет, я не хочу пить...

Дэви пошел за полотенцем, а Бен сказал ему все тем же тоном:

— В следующий раз мы захватим дюжину кока-колы. И лед.

Дэви расстелил возле него полотенце; Бен дернулся на бок, ему показалось, что у него разорвались на части руки, и грудь, и ноги, но ему удалось лечь на полотенце спиной, упершись пятками в песок, и сознания он не потерял.

— Теперь тащи меня к самолету, — едва слышно проговорил он. — Ты тяни, а я буду отталкиваться пятками. На толчки не обращай внимания, главное — поскорее добраться!

— Как же ты поведешь самолет? — спросил его сверху Дэви.

Бен закрыл глаза: он хотел представить себе, что переживает сейчас сын. «Мальчик не должен знать, что машину придется вести ему, — он перепугается насмерть».

— Этот маленький «остер» летает сам, — сказал он. — Стоит только положить его на курс, а это нетрудно.

— Но ты же не можешь двинуть рукой. Да и глаз совсем не открываешь.

— А ты об этом не думай. Я могу лететь вслепую, а управлять коленями. Давай двигаться. Ну, тащи.

Он поглядел на небо и заметил, что становится поздно и поднимается ветер; это поможет самолету взлететь, если, конечно, они сумеют вырулить против ветра. Но ветер будет встречный до самого Каира, а горючего в обрез. Он надеялся, надеялся всей душой, что не задует хамсин, слепящий песчаный ветер пустыни. Ему следовало быть предусмотрительнее — запастись долгосрочным прогнозом погоды. Вот что выходит, когда становишься воздушным извозчиком. Ты либо чересчур осторожен, либо действуешь без оглядки. На этот раз — что случилось с ним не часто — он был неосторожен с самого начала и до конца.

Долго взбирались они по склону; Дэви тащил, а Бен отталкивался пятками, поминутно теряя сознание и медленно приходя в себя. Два раза он срывался вниз, но наконец они добрались до самолета; ему даже удалось сесть, прислонившись к хвостовой ча-

сти машины, и оглядеться. Но сидеть было сущим адом, а обмороки все учащались. Все его тело, казалось теперь, раздирали на дыбе.

— Как дела? — спросил он мальчика; тот задыхался, изнемогая от напряжения. — Ты, видно, вконец измучился.

— Нет! — крикнул Дэви с яростью. — Я не устал.

Тон его удивил Бена: он никогда не слышал в голосе мальчика ни протеста, ни тем более ярости. Оказывается, лицо сына могло скрывать эти чувства. Неужели можно годами жить с человеком и не разглядеть его лица? Но сейчас он не мог позволить себе об этом раздумывать. Сейчас он был в полном сознании, но от приступов боли захватывало дух. Шок проходил. Правда, он совсем ослабел. Он чувствовал, как из левой руки сочится кровь, но не мог шевельнуть не только рукой или ногой, но даже пальцем (если у него еще остались пальцы). Дэви самому придется поднять самолет в воздух, вести его и посадить на землю.

— Теперь, — сказал он, с трудом ворочая пересохшим языком, — надо навалить камней у дверцы самолета. — Передохнув, он продолжал: — Если навалить их повыше, ты как-нибудь сумеешь втащить меня в кабину. Возьми камни из-под колес.

Дэви сразу принялся за дело. Он стал складывать обломки кораллов у левой дверцы — со стороны сиденья пилота.

— Не у этой дверцы, — сказал Бен. — У другой. Если я полезу с этой стороны, мне мешает рулевое управление.

Мальчик кинул на него подозрительный взгляд и с ожесточением снова принялся за работу. Когда он пытался поднять слишком тяжелую глыбу, Бен говорил ему, чтобы он не перенапрягался.

— В жизни можно сделать все, что угодно, Дэви, — произнес он едва слышно, — если только не надорвешься. Не надрывайся...

Он не помнил, чтобы давал раньше сыну такие советы.

— Но ведь скоро стемнеет, — сказал Дэви, кончив складывать камни.

— Стемнеет, — открыл глаза Бен. Было непонятно, то ли он задремал, то ли опять потерял сознание. — Это не сумерки. Это дует хамсин.

— Мы не можем лететь, — сказал мальчик. — Ты не сумеешь вести самолет. Лучше и не пытаться.

— Ах! — сказал Бен с той нарочитой мягкостью, от которой мальчику становилось еще страшнее. — Ветер сам отнесет нас домой.

Ветер мог отнести их куда угодно, только не домой, а если он задует слишком сильно, они не увидят под собой ни посадочных знаков, ни аэродромов — ничего.

— Давай,— снова сказал он мальчику.

И тот опять принялся тащить его, а Бен стал отталкиваться, пока не очутился на самодельной ступеньке из коралловой глыбы у дверцы. Теперь оставалось самое трудное, но отдыхать не было времени.

— Обвяжи мне грудь полотенцем, лезь в самолет и тащи, а я буду отталкиваться ногами.

Эх, если бы он мог двигать ногами! Верно, что-нибудь случилось с позвоночником; он уже почти не сомневался, что в конце концов все-таки умрет. Важно было протянуть до Каира и показать мальчику, как посадить самолет. Этого будет достаточно. На это он ставил свою единственную ставку, это был самый дальний его прицел.

И только надежда помогла ему забраться в самолет: он вполз в машину, согнувшись пополам, теряя сознание. Потом он попытался сказать мальчику, что надо делать, но не смог произнести ни слова. Мальчика охватил страх. Бен это почувствовал и сделал еще одно усилие.

— Ты не видел, я вытащил из воды киноаппарат или оставил его в море?

— Он внизу, у самой воды.

— Ступай принеси его. И маленькую сумку с пленкой.— Тут он вспомнил, что спрятал заснятую пленку в самолет, чтобы уберечь ее от солнца.— Пленки не надо. Возьми только аппарат.

Просьба его звучала буднично и должна была успокоить перепуганного мальчика. Бен почувствовал, как накренился самолет, когда Дэви спрыгнул на землю и побежал за аппаратом. Он снова подождал, на этот раз уже дольше, чтобы к нему полностью вернулось сознание. Надо было вникнуть в психологию этого бледного, молчаливого, настороженного и слишком послушного мальчика. Ах, если бы он знал его получше!..

— Застегни покрепче ремни,— сказал он.— Будешь мне помогать. Запоминай. Запоминай все, что я скажу. Запри свою дверцу...

«Снова обморок»,— подумалось Бену. Он погрузился на несколько минут в приятный легкий сон, но все же старался удерживать последнюю нить сознания. Он цеплялся за нее: ведь в ней одной было спасение сына.

Бен не помнил, когда он плакал, но теперь вдруг почувствовал на глазах слезы бессилия. Нет, он не намерен сдаваться. Ни за что!..

— Расклеился твой старик, а? — сказал он и даже почувствовал легкое удовольствие от своей откровенности. Дело шло на лад. Он нащупывал путь к сердцу мальчика.— Теперь слушай...

Он снова ушел далеко-далеко, а потом вернулся.

— Придется тебе взяться за дело самому, Дэви. Ничего не поделаешь. Слушай. Колеса свободны?

— Да, я убрал все камни.— Дэви сидел, стиснув зубы.

— Что это нас потряхивает?

— Ветер.

О ветре он совсем забыл.

— Вот что надо сделать, Дэви,— сказал он медленно.— Передвинь рычаг газа на дюйм, не больше. Сразу. Сейчас. Поставь всю ступню на педаль... Хорошо. Молодец! Теперь поверни черный выключатель около меня... Отлично! Теперь нажми вон ту кнопку, а когда мотор заработает, подвинь рычаг газа еще немного... Стой! Поставь ногу на левую педаль. Когда мотор работает, дай полный газ и развернись против ветра. Слышишь?

— Это я могу,— сказал мальчик, и Бену показалось, что он услышал в голосе сына резкую нотку нетерпения, чем-то напоминавшую его собственный голос.

— Здорово дует ветер,— добавил мальчик.— Слишком сильно, мне это не нравится.

— Когда будешь выруливать против ветра, отдай вперед ручку. Начинай! Запускай мотор.

Он почувствовал, что Дэви перегнулся через него и включил стартер, и услышал, как чихнул мотор. Только бы он не слишком резко передвинул ручку, пока мотор не заработает! «Сделал! Ей-богу, сделал!» — подумал Бен, когда мотор заработал. Он кивнул, и от напряжения ему сразу же стало плохо. Бен понял, что мальчик дает газ и пытается развернуть самолет. А потом его всего словно поглотил какой-то мучительный гул; он почувствовал толчки, попробовал поднять руки, но не смог и пришел в себя от слишком сильного рева мотора.

— Сбавь газ! — закричал он как можно громче.

— Ладно! Но ветер не дает мне развернуться.

— Мы встали против ветра? Ты повернул против ветра?

— Да, но ветер нас опрокинет.

Он чувствовал, как самолет раскачивается во все стороны, попытался выглянуть, но поле его зрения было так мало, что ему приходилось целиком полагаться на мальчика.

— Отпусти тормоз,— сказал Бен. Об этом он забыл.

— Готово! — откликнулся Дэви.— Я его отпустил.

— Ну да, отпустил! Разве я не вижу? Старый дурак... — выругал себя Бен.

Тут он вспомнил, что из-за шума мотора плохо слышно и ему надо кричать.

— Слушай дальше! Это совсем просто. Тяни ручку на себя и держи ее посередине. Если машина будет подскакивать, ничего. Понял? Замедли ход. И держи прямо. Держи ее против ветра, не

бери ручку на себя, пока я не скажу. Действуй. Не бойся ветра...

Он слышал, как усиливался рев мотора, по мере того как Дэви давал газ, чувствовал толчки и покачивание машины, прокладывая себе дорогу в песке. Потом она стала скользить, подхваченная ветром, но Бен подождал, пока толчки не стали слабее, и снова потерял сознание.

— Не смей! — услышал он издалека.

Он пришел в себя — они только что оторвались от земли. Мальчик послушно держал ручку и не дергал ее к себе; они с трудом перевалили через дюны, и Бен понял, что от мальчика потребовалось немало мужества, чтобы от страха не рвануть ручку. Резкий порыв ветра уверенно подхватил самолет, но затем он провалился в яму, и Бену стало мучительно плохо.

— Поднимись на три тысячи футов, там будет спокойнее! — крикнул он.

Ему следовало растолковать сыну все до старта: ведь теперь Дэви будет трудно его слышать. Еще одна глупость! Нельзя терять рассудок и непрерывно делать глупости!

— Три тысячи футов! — крикнул он. — Три.

— Куда лететь? — спросил Дэви.

— Сперва поднимись повыше. Выше! — кричал Бен, боясь, что болтанка снова напугает мальчика.

По звуку мотора можно было догадаться, что он работает с перегрузкой и что нос самолета слегка задран; но ветер их поддерживает, и этого хватит на несколько минут. Глядя на спидометр и пытаясь на нем сосредоточиться, он снова погрузился в темноту, полную боли.

Его привели в себя перебои мотора. Было тихо, ветра больше не было, он остался где-то внизу, но Бен слышал, как тяжело дышит и вот-вот сдаст мотор.

— Что-то случилось! — кричал Дэви. — Слушай, очнись! Что случилось?

— Подними рычаг смеси.

Дэви не понял, что нужно сделать, а Бен не сумел ему это вовремя показать. Он неуклюже повернул голову, поддел щекой и подбородком рукоятку и приподнял ее на дюйм. Он услышал, как мотор чихнул, дал выхлоп и снова заработал.

— Куда лететь? — снова спросил Дэви. — Почему ты мне не говоришь, куда лететь?!

При таком неверном ветре не могло быть прямого курса, несмотря на то, что тут, наверху, было относительно спокойно. Оставалось держаться берега до самого Суэца.

— Иди вдоль берега. Держись от него справа. Ты его видишь?

— Вижу. А это верный путь?

— По компасу курс должен быть около трехсот двадцати! —

крикнул он; казалось, голос его был слишком слаб, чтобы Дэви мог услышать, но он услышал.

«Хороший парень! — подумал Бен. — Все слышит».

— По компасу триста сорок! — закричал Дэви.

Компас находился наверху, и шкалу его было видно только с сиденья пилота.

— Вот и хорошо! Хорошо! Правильно! Теперь иди вдоль берега и держись его все время. Только, бога ради, ничего больше не делай, — сказал Бен; он слышал, что уже не говорит, а только неясно бормочет. — Пусть машина сама делает свое дело. Все будет в порядке, Дэви...

Итак, Дэви все-таки запомнил, что нужно выровнять самолет, держать нужные обороты мотора и скорость! Он это запомнил. Славный парень! Он долетит. Он справится! Бен видел резко очерченный профиль Дэви, его бледное лицо с темными глазами, в которых так трудно было что-либо прочесть. Отец снова вгляделся в это лицо. «Никто даже не позаботился сводить его к зубному врачу, — сказал себе Бен, заметив слегка торчащие вперед зубы Дэви (тот болезненно оскалился от напряжения). — Но он справится», — устало и примиренно подумал Бен.

Казалось, это был конец, итог всей его жизни. Бен провалился в пропасть, за край которой он ради мальчика так долго цеплялся. И пока он валился все глубже и глубже, он успел подумать, что ему повезет, если он на этот раз выберется оттуда вообще. Он падал слишком глубоко. Да и мальчику повезет, если он вернется назад. Но, теряя почву под ногами, теряя самого себя, Бен еще успел подумать, что хамсин крепчает и надвигается ночь, а сажать самолет уже придется не ему... Теряя сознание, он повернул голову к дверце.

Оставшись один на высоте в три тысячи футов, Дэви решил, что уже никогда больше не сможет плакать. У него на всю жизнь высохли слезы.

Только однажды за свои десять лет он похвастался, что отец его летчик. Но он помнил все, что отец рассказывал ему об этом самолете, и догадывался о многом, чего отец не говорил.

Здесь, на высоте, было тихо и светло. Море казалось совсем зеленым, а пустыня — грязной; ветер поднял над ней пелену пыли. Впереди горизонт уже не был таким прозрачным — пыль поднималась все выше, — но он все еще не терял из виду море. В картах Дэви разбирался. Это было несложно. Он знал, где лежит их карта, вытащил ее из сумки на дверце и задумался о том, что он будет делать, когда подлетит к Суэцу. Но, в общем, он знал даже и это. От Суэца вела дорога в Каир, она шла на запад через

пустыню. Лететь на запад будет легче. Дорогу нетрудно разглядеть, а Суэц он узнает потому, что там кончается море и начинается канал. Там надо повернуть влево.

Он боялся отца. Правда, не сейчас. Сейчас он просто не мог на него смотреть: тот спал с открытым ртом, полуголый, весь залитый кровью. Он не хотел, чтобы отец умер; он не хотел, чтобы умерла мать, но ничего не поделаешь: это бывает. Люди всегда умирают.

Ему не нравилось, что самолет летит так высоко. От этого замирало сердце, да и самолет шел слишком медленно. Но Дэви боялся снизиться и снова попасть в ветер, когда дело дойдет до посадки. Он не знал, как ему быть. Нет, ему не хотелось снижаться в такой ветер, не хотелось, чтобы самолет опять болтало во все стороны. Самолет не будет тогда его слушаться. Он не сможет вести его по прямой и выровнять у земли.

Может быть, отец уже умер? Он оглянулся и увидел, что тот дышит порывисто и редко. Слезы, которые, как думал Дэви, все уже высохли, снова наполнили его темные глаза, и он почувствовал, как они текут по щекам. Слизнув их языком, он стал следить за морем.

Бену казалось, что от толчков его тело пронзают и разрывают на части ледяные стрелы; во рту пересохло, он медленно приходил в себя. Взглянув вверх, он увидел пыль, а над ней тусклое небо.

— Дэви! Что случилось? Что ты делаешь? — закричал он сердито.

— Мы почти прилетели, — сказал Дэви. — Но ветер поднялся выше, и уже темнеет.

Бен закрыл глаза, чтобы осознать, что же произошло, но так ничего и не понял: ему казалось, что он уже приходил в себя, указывал курс мальчику, а потом снова терял сознание. Пытка качкой продолжалась и усиливала боль.

— Что ты видишь? — крикнул он.

— Аэродромы и здания Каира. Вон большой аэродром, куда приходят пассажирские самолеты.

Качка и толчки оборвали слова мальчика; казалось, потоком воздуха их поднимает вверх на сотню футов, чтобы затем швырнуть вниз в мучительном падении на добрые две сотни; самолет судорожно раскачивался из стороны в сторону.

— Не теряй из виду аэродром! — крикнул Бен сквозь приступ боли. — Следи за ним! Не спускай с него глаз.

Ему пришлось крикнуть это дважды, прежде чем мальчик расслышал; Бен тихонько твердил про себя: «Бога ради, Дэви, теперь ты должен слышать все, что я говорю».

— Самолет не хочет идти вниз,— сказал Дэви; глаза его расширились и, казалось, занимали теперь все лицо.

— Выключи мотор.

— Выключал, но не получается. Не могу опустить ручку.

— Потяни рукоятку триммера,— сказал Бен, подняв голову кверху, где была рукоятка. Он вспомнил и о щитках, но мальчику не удастся их выпустить, придется обойтись без них.

Дэви пришлось привстать, чтобы дотянуться до рукоятки на колесе и сдвинуть ее вперед. Нос самолета опустился, и машина перешла в пике.

— Выключи мотор! — крикнул Бен.

Дэви убрал газ, и ветер стал с силой подбрасывать планирующий самолет вверх и вниз.

— Следи за аэродромом, делай над ним круг,— сказал Бен и стал собирать все силы для того последнего усилия, которое ему предстояло.

Теперь ему надо сесть, выпрямиться и наблюдать через ветровое стекло за приближением земли. Наступила решающая минута. Поднять самолет в воздух и вести его не так трудно, посадить же на землю — вот задача!

— Там большие самолеты! — кричал Дэви. — Один, кажется, стартует...

— Берегись, сверни в сторону! — крикнул Бен.

Это был довольно никчемный совет, но зато дюйм за дюймом Бен приподнимался; ему помогало то, что нос самолета был опущен. Привалившись к дрожащей дверце и упираясь в нее плечом и головой, он упорно, из последних сил, карабкался вверх. Наконец голова его очутилась так высоко, что он смог упереться ею в доску с приборами. Он приподнял насколько смог голову и увидел, как приближается земля.

— Молодец! — закричал он сыну.

Бен дрожал и обливался потом, он чувствовал, что из всего его тела осталась в живых только голова. Рук и ног не было.

—левой! — кричал он. — Дай вперед ручку! Нагни ее влево! Гни больше влево! Гни еще!.. Хорошо! Все в порядке, Дэви. Ты справишься. Влево! Жми ручку вниз...

— Я врежусь в самолет.

Бену был виден большой самолет. До самолета было не больше пятисот футов, и они шли прямо на него. Уже почти стемнело. Пыль висела над землей, словно желтое море, но большой четырехмоторный самолет оставлял за собой полосу чистого воздуха, значит, моторы запущены на полную мощность. Если он стартовал, а не проверял моторы, все будет в порядке. Нельзя садиться за летной дорожкой: там грунт слишком неровный.

— Стартует...

Бен с усилием открыл глаза и кинул взгляд поверх носа машины, качавшейся вверх и вниз; до большого ДК-4 оставалось всего двести футов, он преграждал им путь, но шел с такой скоростью, что они должны были разминуться. Да, разминуться. Бен чувствовал, что Дэви в ужасе потянул ручку на себя.

— Нельзя! — крикнул он. — Гни ее вниз...

Нос самолета задрался, и они потеряли скорость. Если потерять скорость на такой высоте, да еще при этом ветре, их разнесет в щепы.

— Ветер! — кричал мальчик; его личико застыло и превратилось в трагическую маску.

Бен знал, что приближается последний дюйм и все в руках у мальчика...

Оставалась минута до посадки.

— Шесть дюймов! — кричал он Дэви; язык его словно распух от напряжения и боли, а из глаз текли горячие слезы. — Шесть дюймов, Дэви!.. Стой! Еще рано. Еще рано... — плакал он.

На последнем дюйме, отделявшем их от земли, он все-таки потерял самообладание; им завладел страх, им завладела смерть, и он не мог больше ни говорить, ни кричать, ни плакать; он привалился к доске; в глазах его был страх за себя, страх перед этим последним головокружительным падением на землю, когда черная взлетная дорожка надвигается на тебя в облаке пыли. Он силился крикнуть: «Пора! Пора! Пора!» — но страх был слишком велик. В последний, смертный миг, который снова вернул его в забытие, он ощутил, как слегка приподнялся нос самолета, услышал громкий рев еще не заглохшего мотора, почувствовал, как, ударившись о землю колесами, самолет мягко подскочил в воздух, и настало томительное ожидание. Но вот хвост и колеса коснулись земли — это был последний дюйм. Ветер закружил самолет, он забуксовал и описал на земле круг, а потом замер, и наступила тишина.

Ах, какая тишина и какой покой! Он слышал их, чувствовал всем своим существом. Он вдруг понял, что выживет, — он так боялся умереть и совсем не хотел сдаваться.

В жизни наступают решающие минуты и остаются решающие дюймы, а в истерзанном теле летчика нашлись решающие дело кости и кровеносные сосуды, о которых люди даже и не подозревали. Когда кажется, что все уже кончено, они берут свое. Египетские врачи с удивлением обнаружили, что у Бена неисчерпаемый запас сил, а способность восстанавливать разорванные ткани, казалось, была дана летчику самой природой.

Все это потребовало времени, но что значило время для жизни,

висевшей на волоске?.. Бен все равно ничего не признавал, кроме приливов и отливов боли и редких просветов сознания.

— Все дело в адреналине, — раскатисто хохотал кудрявый врач-египтянин, — а вы его вырабатываете, как атомную энергию!

Казалось, все было хорошо, но Бен все-таки потерял левую руку. («Странно, — думал он, — я бы мог поклясться, что больше досталось правой руке!») Пришлось справиться и с параличом, который курчавый исцелитель упорно называл «небольшим нервным шоком». Потрясение превратило Бена в неподвижный и очень хрупкий обломок — поправка не могла идти быстро. Но все-таки все шло на лад. Все, кроме левой руки, которая отправилась в мусоросжигалку, но и это бы ничего, если бы за ней не отправилась туда же и его профессия летчика.

Однако, помимо всего, был еще мальчик.

— Он жив и здоров, — сказал врач. — У него не было шока. — Кудрявый египтянин отпускал веселые шутки на прекрасном английском языке. — Он куда подвижнее вас.

Значит, и с парнишкой все в порядке. Даже самолет уцелел. Все обстояло как нельзя лучше, но решала дело встреча с мальчиком: тут все либо начнется, либо кончится. И может быть, навсегда.

Когда привели Дэви, Бен увидел, что это был тот же самый ребенок, с тем же лицом, которое он так недавно впервые разглядел. Но дело было не в том, что разглядел Бен: важно было узнать, сумел ли мальчик что-нибудь увидеть в своем отце.

— Ну как, Дэви? — робко спросил он сына. — Здорово было, а?

Дэви кивнул. Бен знал: мальчуган вовсе не думает, что было здорово, но придет время, и он поймет. Когда-нибудь мальчик поймет, как было здорово. К этому стоило приложить руки.

— Расклеился твой старик, правда? — спросил он.

Дэви кивнул. Лицо его было по-прежнему серьезным.

Бен улыбнулся. Да, что уж греха таить, старик и в самом деле расклеился. Им обоим нужно время. Ему, Бену, теперь понадобится вся жизнь, вся жизнь, которую подарил ему мальчик. Но, глядя в эти темные глаза, на слегка выдающиеся вперед зубы, на это лицо, столь необычное для американца, Бен решил, что игра стоит свеч. Этому стоит отдать время. Он уж доберется до самого сердца мальчишки! Рано или поздно, но он до него доберется. Последний дюйм, который разделяет всех и вся, нелегко преодолеть, если не быть мастером своего дела. Но быть мастером своего дела — обязанность летчика, а ведь Бен был когда-то совсем неплохим летчиком.

Р А С С К А З Ы





Шандор Татаи

МИШКА НАХОДИТ СВОЮ ДОРОГУ

Когда раздали табели за первую четверть, одним с благодарностями, другим с замечаниями, и классный руководитель стал спрашивать всех восьмиклассников, кто из них хотел бы учиться дальше, а кто решил избрать себе трудовую профессию, Мишка объявил, что он будет слесарем-механиком. Теперь, сидя на корточках с удочкой в руках и глядя на зеленовато-серую гладь Балатона, Мишка размышлял: и почему он, собственно говоря, выбрал именно эту профессию? Одно было для него ясно: ни в гимназию, ни в другое учебное заведение он идти не хотел. И так уж по горло был сыт книгами. Пусть учатся отличники да примерные ученики, те, кто постоянно тянут руку, желая блеснуть своими знаниями. С него хватит и того, что в ремесленном еще придется копать в книгах...

«И все-таки почему я решил стать слесарем-механиком? Вот Марци знает почему. Он вечно возится с замками, разбирает

до винтиков любую машину, любой механизм, все, что только попадает в руки. Марци, даже не глядя, может сказать, какая автомашинка мчится по дороге. Ему и глядеть не надо, он по звуку узнает. Конечно, ему легко: его отец работает на автобазе, а старший брат тракторист. А мой отец...»

Мишка залез поглубже в камыши и лег животом на камни, которые натаскал сюда еще тогда, когда можно было купаться в озере. Он нарочно соорудил это укрытие, чтобы со склона крутого холма, возвышавшегося за шоссе и железной дорогой, откуда доносилось звяканье мотыг работавших на винограднике людей, его не могли заметить. Ведь там был и его отец — тяжелой мотыгой он тоже дробил каменистый суглинок, и не хватало бы, чтобы отец заметил здесь Мишку, принесшего в начале недели два замечания в дневнике!

Солнце светило ярко, но стоило спуститься пониже, как в бок задувал не сильный, но пронизывающий восточный ветер; здесь же, под защитой стены из камыша, было хорошо. Впрочем, камышовая защита была хороша еще и тем, что стоило только затаракать моторной лодке речной милиции, как Мишке, не имевшему разрешения на рыбную ловлю, достаточно было только вытащить удочку да отползти немного в сторону, в густые заросли камыша. Правда, в этом случае попадаешь в трясину, но не велика беда.

Если лов шел хорошо, то Мишку ничто на свете не интересовало, кроме рыбы; летело время весело, и день проходил незаметно.

Но сегодня ни одна жалкая щука не желала попадаться на крючок, и поэтому в голову лезли разные неприятные мысли: школа, заданные уроки, замечания и, наконец, еще и это — какую профессию себе избрать. О слесаре-механике ему подумалось потому, что однажды летом он спросил у своей старшей сестры Эсти, за кого бы та хотела выйти замуж, и Эсти сказала: только за слесаря-механика. Они, дескать, хорошо зарабатывают и после работы могут еще работать, ремонтируя машины частникам. В два счета можно собрать себе мотоцикл, а то и автомашину. Купит такой слесарь драндулет со свалки и до тех пор ремонтирует и чистит, пока тот не поедет... А жена виноградаря — на что она может рассчитывать? Ну хорошо, хлеб, конечно, будет, ну еще одежда да поросята. Со временем, может быть, удастся скопить денег и на дом. Но стоит ли ради этого так надрываться, гнуть спину?

«Черт побери! У нее ухажер наверняка какой-нибудь механик! Ну а если не механиком, то кем же тогда?»

Откровенно говоря, Мишку интересовала только рыбалка. Ради нее он мог подняться до рассвета. Мог часами просиживать на берегу под палящими лучами солнца или на холодном ветру,

дрожать под дождем и даже безропотно сносить нагоняй дома, когда затемно возвращался домой.

Конечно, есть люди, для которых рыбная ловля — профессия, но одно дело рыбалка, хоть и запрещенная: ею человек занимается по собственному желанию, и совсем другое дело мучиться целый день на лодке или судне под дождем и на ветру, тащить из воды сеть, а зимой вести подледный лов даже тогда, когда с Балатона дует резкий ветер. Одно дело — подводить к берегу карпа, попавшего на крючок, и опять-таки другое дело — перелопачивать на промысле центнеры рыбы и таскать пятидесятикилограммовые корзины.

Иногда по вечерам отец, когда бывал в хорошем настроении, начинал объяснять, что, мол, и работа на винограднике далеко не простое дело. Правда, тяжелы мотыга и кирка, но зато сколько радостей ожидают в жизни того, кто ухаживает за виноградными лозами! Нынче молодежь, которая трудится на виноградниках, и горя не знает: появляются все новые и новые машины, с помощью которых можно подобраться куда угодно. Недалек тот час, когда и рыхление почвы станет забавой, и опрыскиватель уже не нужно будет качать — знай лишь направляй на листья синие струйки.

Мать, заслышав такой разговор, в сердцах говорила:

— Ты хочешь, чтоб и твой сын не достиг большего, чем ты?

Нет, мать ни за что на свете не хотела, чтобы ее сын пошел по стопам отца. Она и сама была дочерью виноградаря, бедного поденщика у помещика. Все беды и несчастья, которым мать бывала не раз свидетельницей в детские годы, она связывала с этой профессией. Как будто люди, обрабатывающие виноградники, обязательно всегда и везде должны нищенствовать...

— Я все устрою, сынок, не бойся, — сказала она однажды. Летом она работала уборщицей в доме отдыха электростанции Айка, и у нее было много хороших знакомых на предприятии. — Неужели я не добьюсь хотя бы того, чтобы моего сына приняли туда на работу? Да я хоть к самому директору пойду, так что не печалься, сынок!

Мать Мишки была такой женщиной, которая, стоило ей чего-нибудь задумать, как сразу же старалась это и выполнить. Мишка потому и сидел сейчас так спокойно на берегу озера с удочкой, что мать утренним автобусом уехала в Айку, и он был, по сути дела, предоставлен самому себе. Главное — вернуться домой до прихода отца и Эсти и накормить кур, так как эта обязанность полностью была возложена на него.

Вдалеке прогрехотал пятичасовой поезд. Мишка быстро собрал рыболовные снасти и помчался домой, сделав небольшой крюк, чтобы отец не заметил его со склона холма.

Мать вернулась лишь поздно вечером. По ее лицу было вид-

но, что она принесла нерадостную весть. Поставив корзину, молча сняла и сложила платок.

— Ну как, мать, дела? — начал нетерпеливо расспрашивать отец. — Рассказывай, чего добились.

— Ничего, — заговорила наконец она, чуть не плача. — Да еще стыда набралась и готова была сквозь землю провалиться от позора. Обещали все сделать, были добры и внимательны ко мне — я ведь говорила, что там есть приличные люди и ко мне хорошо относятся, а только под конец, когда спросили, какие отметки в табеле у этого бездельника и мне пришлось сказать правду, покачали головой и заявили, что одного желания недостаточно. Даже с тройками и то с трудом принимают, ну, а тот, кто еле-еле переползает в восьмой класс, — тому и думать нечего попасть на их предприятие. И тут уж они ничего не могут поделать, даже если бы речь шла об их собственных детях. Вот на том и кончился наш разговор. Кто бы мог подумать! Разве в наше время спрашивали, какой аттестат у того, кто хотел бы стать учеником слесаря?

А затем началась головомойка. Дескать, проклятому мальчишке родители дали все для того, чтобы он мог спокойно учиться. Ведь как было раньше? Как только в семье бедняка подрастал ребенок, он должен был идти работать. Весной, только начиналась страда на полях и на виноградниках, ребята когда ходили в школу, а когда и нет. Мишка же ничего этого не знал; даже летом его не посылали подвязывать виноград. И где же его благодарность? Хоть бы учился хорошо, а то ведь на уме только что игры да рыбалка...

— В этом мы сами виноваты, — сказал отец, — но теперь уже поздно жаловаться, после драки кулаками не машут. Раньше говорили: не каждому быть епископом. Ну а мы можем добавить: и слесарем-то не каждый может стать.

Отец был спокойным по характеру человеком, и в его словах не чувствовалось ни малейшего огорчения.

— Ну, раз так, пойдешь со мной — будешь работать на винограднике, да хорошенько. Это я говорю потому, что и виноградарем может стать далеко не каждый встречный и поперечный. Для этого, во-первых, нужна сила, во-вторых, терпение, а еще сердце да разум, и не меньше, чем для того, чтобы гайки крутить. Но прежде всего должна быть добросовестность. Тогда и жизнь будет в радость. Впрочем, вы не умеете ценить то, что открывается перед вами.

Мишка тогда еще не понял смысла отцовских слов. Да у него и времени не было задумываться над ними, потому что мать так раскричалась, что в кухне дрожали стены. Конечно, и Эсти вторила ей, восхваляя слесарное ремесло. Словом, двум мужчинам самое время было помолчать.

— Ну,— снова заговорил отец, когда наконец женщины малость успокоились,— вы правы в том, что парень должен учиться, и учиться лучше, потому что нет на земле такой профессии, которой помешали бы знания.

Однако мать так этого дела не оставила. Добрые друзья все же пообещали ей, что, если Мишка в оставшуюся часть учебного года возьмет себя в руки и по окончании школы сможет представить приличный аттестат, то для него найдется место в слесарно-механическом цехе.

Через несколько дней она так встретила сына, вернувшегося из школы:

— Слушай меня внимательно, Мишка. Сейчас хорошенько пообедай, затем погладь брюки, почисти ботинки, возьми книжки и отправляйся к господину Ковачу, учителю. Три раза в неделю будешь ходить к нему на час, он тебе поможет. Я хочу, чтобы в конце года ты принес домой аттестат с четверками. Понял? Никаких отговорок, что тебе то непонятно да это. Господин Ковач все тебе объяснит. Тебе же только остается взяться за ум и прилежно заниматься.

Старый учитель-пенсионер Арон Ковач жил высоко на винограднике, в простом, но уютном домике. Мишка знал его. Временами учитель наведывался в деревню за покупками с палкой и плетеной сумкой в руках. Он казался добродушным человеком, и, однако, ничего худшего, чем ходить после школы к нему, для Мишки нельзя было и придумать. Зимой еще куда ни шло, но вот наступит весна, а ему придется в самые лучшие для рыбалки дни смотреть на водную гладь озера лишь со склона виноградника.

Ну, да теперь все равно были бы тщетны любые обещания и заверения, что он будет учиться и без репетитора. Приходилось поступать так, как решила мать.

Зима уже приближалась, но в укрытом от ветра уголке виноградника, где жил господин учитель Ковач, еще приветливо светило солнце.

Мишка, к своему глубокому изумлению, нашел старого учителя среди виноградных кустов, где тот усердно работал мотыгой. Он так увлекся работой, что даже не заметил Мишку. Мальчик медленно приближался к нему, держа под мышкой учебники. Он осмелился поздороваться со стариком, лишь когда очутился совсем рядом с ним.

И только тогда старый учитель взглянул на него.

— Ну что, пришел? Правильно. Вот только пройду этот ряд до конца, и сразу же приступим к работе. Немного затянул я с окапыванием, но не потому, что поленился. Не подумай этого. Просто я ждал, когда опадут виноградные листья. И сейчас я

укрываю виноградные кусты и одновременно закапываю опавшую листву. Что же я, стало быть, сделал? Вернул ее земле. А земля за это отблагодарит.

Мишке понравилось, что не нужно сразу садиться за урок. Приветливые слова немного приободрили его.

— А разве господин учитель тоже должен окапывать виноградник? — спросил он.

— Должен? Почему должен? Кто может заставить меня? Никто! Пенсионер — сам себе хозяин. Разумеется, если есть здоровье да если разумно распоряжаться своей жизнью. Я работаю потому, что труд доставляет мне радость.

Мишка задумался над этими словами. Сколько старых людей тратят время на то, чтобы обработать свои сады или виноградники! Но есть ли такие, которые в шестидесятилетнем возрасте начинали бы слесарничать? Если и есть, то таких наверняка очень мало.

— Ну, на сегодня хватит! — Старый учитель аккуратно почистил мотыгу деревянным ножом и отнес ее в сарайчик, где хранился инструмент. — А теперь послушаем-ка, по каким предметам ты не успеваешь.

— По истории и языку.

— История и язык! Что ты говоришь? Ты что же, учиться не любишь?

Мишка опустил голову.

— Я просто не хочу учиться дальше, после школы, — сказал он.

— Значит, теперь ты будешь ко мне приходить, чтобы стать слесарем, верно? Что ж, ничего не скажешь, профессия хорошая. Если б не было землешца — не было бы хлеба; не было бы слесаря — не было бы машин...

С этого времени Мишка начал регулярно ходить на занятия в домик с виноградником. На первых порах он делал это с неохотой, но чем дальше, тем больше ему был по душе учитель Ковач. Тот не только объяснял ему заданный урок, но и рассказывал о всяких интересных вещах.

В таблице за полугодие уже сказался результат их совместных занятий, и этот успех воодушевил Мишку.

— Вот увидишь, мама, в конце года у меня и троек не будет, ни одной.

В один из февральских дней, войдя в домик учителя, Мишка увидел господина Ковача на кухне. Старый учитель сидел, обложенный аккуратно нарезанными виноградными лозами одинакового размера, а на подносе перед ним лежали одинаковые кусочки лозы величиной с ладонь.

— Что вы делаете, дядя Арон? — спросил он.

— Разве ты, Мишка, не видишь, что я прививаю виноград? — удивился учитель. — Твой отец зарабатывает хлеб виноградарством, а ты даже не разбираешься в этом? Это большая ошибка. Впрочем, она свойственна вам, юнцам. Ваши отцы трудятся ради вас, а вы даже не удосуживаетесь поинтересоваться поближе их трудом. Ты, наверное, даже не знаешь, что виноград нужно прививать.

— Это-то я знаю... Вот только зачем?

— Зачем? Ну, вот послушай. Это же ведь целая история, а ты как раз слаб по истории. Сто лет назад из далеких краев в Венгрию завезли вместе с виноградными лозами, которые высаживали здесь, и вредного червя, филлоксеру. Филлоксера распространялась так, как в нынешние времена колорадский жук, только она была намного опаснее. Даже опаснее саранчи, потому что саранча перемещается, а филлоксера нет. Вот она и угнездилась здесь и уничтожила самые лучшие в стране сорта винограда. Именно самые лучшие, потому что в песке не жил проклятый червь, острый кварц ему не по вкусу. А настоящее хорошее вино дает лишь виноград, растущий на связанном грунте на склонах холмов, и вот от этих-то виноградников за одно-два десятилетия ровным счетом ничего не осталось. Много бедных виноградарей разорилось в те времена. Этой беде можно было помочь только одним способом. Нужно было отыскать такие сорта дикого винограда, корни которого филлоксера не ест, и вот к ним прививают теперь благородную виноградную лозу.

Острый нож блеснул в руке дяди Арона; легко, как масло, срезал он твердый слой лозы. Два быстрых поворота ножа на черенке дикой лозы, два на привое; затем старый учитель наложил черенки один на другой и плотно зажал их.

— Это так называемая прививка английским способом, — проговорил он. — Если умело сделать, то они и так удержатся, но для надежности мы перевяжем их мочалой, тем более что время у нас есть.

— Дядя Арон, дайте и мне попробовать. Острый нож у меня есть. Видите? — И Мишка вытащил из кармана ножик со сточенным узким лезвием.

И все же это был прививочный нож, которым, возможно, пользовался еще его дедушка. Мишка выудил его со дна ящика стола. Нож был ржавый, и его пришлось точить и шлифовать до тех пор, пока тот не стал пригодным для резания сала.

— Гм! Для того чтобы резать сало, он достаточно остер, но для прививок туп, как палка. Вот сталь, что правда, то правда, хороша. Ну, подожди, мы сейчас хорошенько его наточим, потому что для любой работы самое главное — хороший инструмент.

И пока шел урок по языку, дядя Арон точил ножик, вначале

на крупнозернистом наждачном камне, а затем на мелкозернистом. И наконец, направил его на ремне. Нож стал таким острым, что им хоть сейчас брейся. А когда покончили с занятиями, дядя Арон дал Мишке пучок негодных лоз.

— Ну, давай, Мишка, нарежь их аккуратно косыми пластинками, как это делаю я.

— Только резать?

— Конечно, потому что вначале нужно научиться нарезать пластинки.

Лишь на следующем уроке Мишка стал делать срезы, и только на следующей неделе ему было разрешено соединять свежие дикие и культивированные лозы. Мишка сделал штук десять привоев. Это было в понедельник. В среду он уже сделал двадцать, а в пятницу тридцать.

Погода еще не позволяла сажать привой прямо в землю. Дядя Арон подготовил ящики с опилками и мхом и в них положил привои для проверки результатов их работы. Привои обрызгали водой и оставили в теплой кухне.

— Ну, скоро увидим, насколько ты оказался умелым, Мишка. Мы пометили твои привои. Если ты хорошо их сделал, то через две недели на привитой лозе начнут набухать почки.

В тот вечер к Мишке сон не шел. Когда потушили лампу, он приподнялся на локте и спросил отца:

— Папа, а сколько лет живет виноградная лоза?

— Что это тебя вдруг озаботило? — заворчала мать.

Но отец с готовностью ответил:

— Лет девяносто, а то и все сто. А вообще, кто его знает, потому что еще при жизни моего деда здесь погиб весь виноград.

«Значит, и отец знает. Странно, что он никогда не говорил об этом».

— И сколько вина дает лоза в год?

— Хорошая лоза должна дать и литр.

— Сто лет — сто литров вина... — пробормотал Мишка, скорее, самому себе.

— Но мы не даем им столько лет расти: как только лоза стареет, на ее место высаживаем новую.

— Жаль, — задумчиво протянул Мишка и про себя все же решил вести счет до ста лет. «Если даже десять моих привоев выживут, то это значит, десять, помноженные на сто, — тысяча литров вина. А потом и от этих лоз можно отрезать новые пластинки для прививок, и так бесконечно... Значит, виноград от моих лоз может плодоносить и тысячу лет, а то, кто знает, вообще пока существует жизнь на земле...»

Мишка еле мог дождаться того срока, когда появятся почки на его привоях. Как только он приходил в домик на винограднике,

первым делом бежал к ящикам. Разумеется, он не мог ничего видеть, потому что все лозы были прикрыты тонким слоем опилок.

— Терпение, терпение, — успокаивал его в такие минуты дядя Арон. — Скоро уже мы увидим, насколько ты был ловок. А пока прилежно занимайся, чтобы к тому времени, когда надо будет высаживать черенки, мы освободились.

И вот однажды в понедельник, после того как они закончили уроки, дядя Арон сам позвал его на кухню взглянуть на ящики. Он осторожно счистил пальцем опилки с двух черенков, под которыми было помечено, что это Мишкины привои. И Мишка чуть не взвизгнул от радости: большинство почек хорошо набухло; некоторые даже начали давать беловато-зеленые росточки.

Когда под вечер Мишка вернулся домой, домашние не знали, чем и объяснить, отчего у него такое хорошее настроение, он был ласков и послушен. Да и мать была хорошо настроена: в этот день она была в школе и принесла оттуда радостную весть: учителя прямо не узнают Мишку — так он взялся за ум в последнее время. Мать сказала, что после пасхи она еще раз поедет в Айку. Если и дальше так все пойдет, его наверняка возьмут в слесарно-механический цех.

Мишка ничего не ответил матери, но, когда они остались с Эсти вдвоем, он сказал ей:

— Ты знаешь, о чем я думаю?

— Откуда мне знать, если ты не говоришь.

— Если слесарь или механик сделают станок, то через несколько лет он превратится всего лишь в металлолом, а вот вырастишь виноградную лозу — и она будет давать урожай и через сто лет.

— Ишь чего придумал! — рассмеялась Эсти, а потом посерьезнела: — Уж не раздумал ли ты стать слесарем?

— Не скажу, что раздумал. Просто так пришло в голову...

Через несколько дней Мишка принес от старого учителя книгу в желтом переплете. После ужина он подсел с ней к лампе и погрузился в чтение. Эсти удивилась этому, так как ее брат не очень-то любил читать. Она взяла в руки книгу и посмотрела. На обложке была нарисована виноградная гроздь и бочка. Эсти громко прочла заголовок:

— «Виноград и вино». Нет, вы только посмотрите, чем он занимается, вместо того чтобы учиться!

Отец тоже взял книгу, повертел ее в руках, потом полистал ее.

— Хм, а ведь правда... Сущая правда то, что здесь написано...

Мишка так и не получил в тот вечер назад книгу — настолько отец ею увлекся.

В эти дни на виноградниках всю уже шла работа. На склонах холма только и слышалось повизгивание садовых ножниц.

А на деревьях весело щебетали птицы, подбадривая работающих.

В одно из воскресений отец Мишки в благодарность за успешные занятия с сыном помогал старому учителю обрабатывать его виноградник. А в следующее воскресенье и Мишка тоже работал на участке дяди Арона.

— Вот видишь, Мишка,— говорил учитель,— скоро мы выкопаем те привои, которые я сделал в прошлом году, и аккуратно посадим их здесь. Но сначала точно определим место для каждой лозы. С точностью до сантиметра. Так, чтобы ряды кустов выглядели как стройные ряды солдат. И оставим небольшое место для наших свежих привоев, которые мы делали вместе: они пригодятся на будущее. Я вижу, у тебя успешно идут дела с учебой. В школе, я слышал, тебя хвалят. Коли и дальше так дело пойдет, то ты, если будет охота, сможешь помочь мне в весенних работах на винограднике... Я помогаю тебе учиться, а ты мне поможешь немножко на винограднике. Это называется взаимная выручка. Договорились?

— Отлично! — радостно воскликнул Мишка.

Когда они закончили урок, дядя Арон достал из чуланчика с инструментами длинный шпагат, на обоих концах которого были закреплены заостренные колышки. Около чуланчика у стены стояла большая связка свеженарезанных ясеневых палочек. Они выбрали палочку попрямее и обрезали ее точно в метр длиной. Потом Мишка подхватил остальные, и они направились на участок.

Натянув шпагат, они стали втыкать в мягкую землю на расстоянии одного метра друг от дружки прямые, как стрелы, палочки. Затем дядя Арон отмерил от каждой по метру в обе стороны, а Мишка, идя вслед за ним, тотчас же втыкал в отмеченные места палочки. Через час колышки стояли в строгом порядке, и впрямь напоминая солдат в строю.

На следующий день у них не было занятий, но дело, начатое Мишкой с дядей Ароном, было поинтереснее рыбалки. В этот день он рано пришел из школы, быстро пообедал и уже был на винограднике у старого учителя, когда солнце стояло еще высоко над головой. Дядя Арон подкапывал мотыгой прошлогодние корневые привои. Мишка стал по одному вытаскивать их из разрыхленной земли. Большинство привоев пустили обильные корни и дали сильные побеги. Мишка вкладывал в лунку по одному привою. Потом они удобрили и полили посадки.

— Ну, а теперь пригреем их,— проговорил дядя Арон.

Мишка уже знал, что означало это шутливое выражение: вокруг посаженных привоев они насыпали из земли небольшие холмики.

— Вот так,— сказал дядя Арон, когда они закончили работу.— Теперь будем ждать, когда полезут новые побеги. Когда же

они наберут силу, мы откопаем их, и вот тогда-то начнется закладка виноградника.

Несколько дней спустя ясным апрельским днем они занялись посадкой в землю новых привоев. С большим нетерпением ожидал Мишка того часа, когда они разорят ящики с привоями. И какова была его радость, когда он увидел, что из шестидесяти сделанных им привоев более сорока дали небольшие побеги, а на концах лоз появились маленькие и тонкие, как волоски, корни!

Мишке не надо было много объяснять, как нужно управляться с ними, закапывать в ямочки, вырытые еще утром дядей Ароном. Когда он вырывал прошлогодние привои, он хорошо запомнил, как они были посажены.

— Видишь, Мишка, эти привои мы на будущий год посадим сюда, на место выродившихся кустов. Так мы постепенно обновим весь виноградник. Вполне возможно, конечно, что мне уже не доведется дожить до этого урожая, но кому-то он пойдет на пользу, и, надо думать, тот человек помянет меня добрым словом...

Наступили теплые весенние дни, за ними пришли тихие майские дожди; виноградные лозы на всем холме буквально на глазах давали обильные молодые побеги. Мишка мог наблюдать, как сначала появлялись листочки, потом цепляющиеся один за другой усы и, наконец, на них — первые крохотные гроздья.

Иногда Мишка выходил на берег — порыбачить, но все реже и реже. Большую часть своего времени он проводил со старым учителем, ставшим для него не только педагогом-наставником, но и другом.

Во время повторения в школе учебного материала Мишка так ловко расправлялся с ним, что учителя и удивлялись, и радовались его успехам. В годовой аттестат Мишки не попала ни одна тройка. И если бы за ним не тянулся хвост старых грехов, то он, пожалуй, окончил бы восьмой класс на «отлично».

В семье была большая радость. Мать тотчас же затеяла печь слоеный пирог с черешней — любимое лакомство Мишки. Потом заявила, что завтра же поедет с его аттестатом в Айку. Мишка ничего не ответил, промолчал. Дома, правда, он вообще не отличался особой разговорчивостью. Но на этот раз его упорное молчание всем бросилось в глаза.

— Уж не заболел ли ты, сынок? — спросила мать, погладив Мишку по голове. — А вернее всего, ты просто переутомился — слишком много занимался. Ну, не беда, завтра ты уже можешь спать сколько душе угодно.

Однако Мишка спал недолго. Он проснулся на рассвете, когда мать отправилась к первому автобусу. Только она закрыла за собой дверь, он вскочил с постели, и, когда отец, собираясь на виноградник, стал готовить себе завтрак, Мишка подошел к нему:

— Папа, заверни что-нибудь и на мою долю. Мне тоже хочется пойти с тобой на участок.

— А что мать на это скажет, когда вернется домой?

— А какая беда, если я пойду? Ведь я все равно теперь свободен.

— Это верно, — согласился отец. — Ну ладно, пошли, но только тихо, пока спит Эсти, а то она начнет допытываться...

— Она подумает, что я пошел на рыбалку, — улыбнулся Мишка. — Я нарочно даже спрятал свою удочку.

В небе звонко щебетали птицы, когда отец с сыном медленно брели вверх по дорожке, вьющейся по склону крутого холма, засаженного виноградом. У отца тоже было отличное настроение; он шел и насвистывал, как вдруг взгляд его упал на листья одного виноградного куста. Он сошел на обочину и сорвал лист. Посредине листа желтело пятно величиной с однофоринтовую монету.

— Ты знаешь, что это такое, сынок?

— Знаю, — ответил Мишка. — Пероноспора.

— Что-то рано она объявилась. Придется как следует поработать опрыскивателем. Сейчас как раз и начинается горячая пора на виноградниках. Опрыскивать, окапывать, привязывать. И так вплоть до августа. Тогда наступит тихое, спокойное время окончательного созревания винограда. Вот тогда, сынок, начнутся самые приятные недели — знай себе наблюдай за результатами своего труда да следи за тем, как набухают, наполняются соком ягоды.

— Папа, — собравшись с духом, заговорил Мишка, решив сказать то, к чему давно готовился, — а ничего, если я не буду слесарем?

— Не будешь слесарем? А кем же ты хочешь стать?

— Может, самым обыкновенным виноградарем, а может, и чем-то больше. Словом, я хочу посвятить свою жизнь только виноградарству.

— Вот как? Тебя что же, научил этому старый Арон Ковач?

— А разве это плохо?

— Да нет, почему же. Твой отец всю жизнь занимается виноградом. И дед тоже, и кто знает, сколько еще наших прадедов занимались виноградом. И никто из них не жалел об этом, не стыдился. Хотя в те поры жизнь была устроена так, что они знали: кроме лопаты и мотыги, им больше ничего не суждено увидеть. А сейчас разве имеет какое-нибудь значение, где ты родился, чей ты сын! Перед тобой открыты все дороги — за какую работу ни возьмешься, пожалуйста, работай в меру своих сил и ума. А если о силах и об уме говорить, то и они больше всего человеку помогают сейчас там, где он охотнее всего работает...

Некоторое время они шли молча. Потом отец начал насвисты-

вать песенку, словно дрозды, чей пересвист раздавался на придорожных деревьях, передали ему свой мотив.

Там, где две дорожки слились в одну, они повстречались с группой девушек, спешивших на привязку винограда. Девушки тотчас же подхватили мелодию и запели:

На холме живу, лозами я печь топлю,
Бадачоньскую красотку уж давно люблю.
У нее глаза, как звезды ясные, горят,
И меня зовет и манит девушки той взгляд.



Морли Каллагэн

ДЕЛОВОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

В то лето, когда двенадцатилетний Люк Болдуин приехал жить к своему дяде Генри в дом на берегу речки, рядом с лесопилкой, он постоянно помнил о своем обещании, которое он дал умирающему отцу: стараться быть похожим на дядю во всем. И поэтому он пристально наблюдал за ним.

Дядя Генри, который служил управляющим на лесопильном заводе, был высокий, плотный человек весом чуть меньше ста килограммов. Кожа лица у него была обветренная, кирпичного цвета. Хотя он производил впечатление очень крепкого человека, здоровье у него было неважное. Его донимали боли в спине и плечах, которые ставили в тупик докторов.

Самое первое, что Люк узнал о дяде, было то, что все его уважали. Когда он разговаривал со своими рабочими с лесопилки, они всегда слушали его почтительно и внимательно. Его жена Хелен, тетка Люка, добродушная полная женщина, очень простая,

иногда говорила племяннику: «Старайся быть таким, как твой дядя Генри. Он такой практичный — просто чудо. Во всем он благоразумен, все делает не спеша».

По лесопилке Люк ходил за дядей Генри не только потому, что ему нравился чистый, свежий запах, который шел от напиленных бревен и кучи опилок. Ему еще нравился твердый, уверенный тон, каким дядя разговаривал с рабочими.

Иногда дядя Генри останавливался и рассказывал Люку о разных видах древесины. «Всегда старайся понять суть дела, — говорил он. — Если тебе это удалось, ты будешь знать, что полезно, а от чего пользы не жди, и тогда никто не сможет тебя одурачить».

Он показывал Люку, как на лесопилке идет в дело все, что имеет хоть малейшую ценность. Люк слушал его и думал: «Есть ли еще хоть один человек на земле, который так же хорошо знает, от чего будет польза для дела и что можно отшвырнуть за ненадобностью?»

Дядя Генри сразу же понял, что Люку нужен велосипед, чтобы ездить в школу, которая находилась за две мили от их дома, в городе, и он купил племяннику хороший велосипед. Он знал, что Люку нужна хорошая, добротная одежда. Он знал совершенно точно, сколько денег необходимо тете Хелен на хозяйство, знал цену любых товаров, знал, сколько нужно платить за стирку белья для всей семьи.

По вечерам Люк сидел в столовой и смотрел, как дядя пишет какие-то цифры в своей черной записной книжке, которую он всегда носил в жилетном кармане. Люк знал, что дядя Генри подсчитывает прибыль от любой сделки, заключенной за день, даже самой незначительной. Люк решил, что, когда он вырастет, он тоже станет человеком, которого все уважают за деловой характер. Но, конечно, Люк не мог постоянно наблюдать за дядей и учиться у него. Часто, глядя на дядю Генри, Люк вспоминал отца, и тогда ему делалось одиноко. И он стал придумывать для себя другую, тайную жизнь здесь, на лесопилке. Спутником и другом его была одиннадцатилетняя шотландская овчарка по кличке Дэн, слепая на один глаз и слегка хромавшая на левую заднюю лапу. Дэн уже сильно растолстел и стал медлительным. Он очень привязался к Люку. Его единственный глаз был янтарного цвета, шерсть тоже была цвета янтаря. Когда по утрам Люк уезжал в школу, старая овчарка провожала его примерно с полмили, а когда днем мальчик возвращался домой, Дэн ждал его у ворот.

Иногда они играли около мельничной запруды или уходили по берегу ручья к озеру. Люк никогда не чувствовал себя одиноким, когда собака была рядом.

На реке у них стояла старая весельная лодка, которая была их пиратским кораблем, а они оба были пиратами; Люк подавал

команды капитану Дэну, и казалось, что пес понимал их и с энтузиазмом вилял хвостом. Его янтарный глаз был неизменно бдителен, в нем светились ум и одобрение.

Потом они забирались в кусты на другом берегу речки и играли в охотников за тиграми. Конечно, старая овчарка была плохим охотником: она была слишком медлительна и ленива. Дядя Генри не брал ее с собой, даже когда шел охотиться на кроликов и других мелких животных.

Они вылезали из кустов, ложились на сыроватый берег реки, покрытый травой, и чувствовали себя друзьями. Люк что-то рассказывал собаке (он говорил серьезно), а овчарка, как ему казалось, улыбалась ему своим единственным глазом. Лежа на траве, Люк поведал собаке много такого, чего он бы не стал рассказывать своему дяде и тете Хелен. И дело не в том, что все, о чем он говорил, было таким уж важным: он рассказывал о себе то, что рассказывал бы отцу или матери, если бы они были живы. Потом друзья шли домой ужинать, а после ужина они обычно спускались с холма к дому мистера Кемпа и спрашивали старика Кемпа, можно ли им пойти вместе с ним загонять домой его четырех коров. Старик всегда был рад им. Ему нравилось смотреть, как Люк и овчарка бежали вокруг коров, а мальчику казалось, что они скачут на лошадях по просторам у подножия Скалистых гор.

Дядя Генри не обращал особого внимания на собаку. Только однажды, споткнувшись о нее на веранде, дядя покачал головой и задумчиво произнес:

— Бедняга, она свое отжила. Теперь от нее никакого толку нет — только ест, спит да под ногами болтается.

Однажды (это было в воскресенье, во время летних каникул) вся семья, вернувшись из церкви, пообедала, а потом все вышли на веранду, где спала овчарка. Люк сел на ступеньки веранды, прислонившись спиной к столбу, на котором держалась крыша, дядя Генри уселся в кресло-качалку, а тетя Хелен устроилась в гамаке. Люк, не отрывая глаз от собаки, похлопал по ступеньке ладонью. Он хлопнул три раза. Это был сигнал — овчарка, подняв голову, с трудом встала, слабо помахала хвостом, показывая, что она услышала, и направилась к Люку через всю веранду. Но собака еще не совсем проснулась, а ее слепой глаз был со стороны качалки. Когда она проходила мимо, ее левая лапа попала под кресло. С ужасным визгом собака прыгнула вниз по ступенькам и, хромя, скрылась за углом. Там она остановилась, потому что услышала шаги Люка, который бежал за ней. Едва Люк дотронулся до собаки рукой, как она успокоилась. Она начала размеренно лизать его руку, как бы прося прощения.

— Люк, — позвал дядя Генри резким тоном, — приведи собаку сюда.

Когда мальчик привел овчарку на веранду, дядя кивнул и сказал:

— Спасибо, Люк.

Потом он вынул сигару, закурил ее, сложил свои большие руки на коленях и начал покачиваться в качалке. Он нахмурился и пристально посмотрел на Дэна. Очевидно, он решал что-то очень важное, что-то, что имело отношение к собаке.

— Что случилось, дядя? — нервно спросил Люк.

— Собака совершенно ослепла, — ответил дядя Генри.

— Совсем нет, — быстро ответил мальчик. — Просто она повернулась к вашему креслу слепым глазом, вот и все, дядя.

— И зубов у нее уже больше нет, — продолжал дядя Генри, не обращая внимания на слова Люка. Повернувшись к гамаку, он позвал жену: — Хелен, сядь, пожалуйста, я тебе хочу кое-что сказать.

Когда тетя поднялась и подошла к нему, он продолжал:

— Хелен, я как раз на днях думал об этой собаке. Она не только почти ослепла; ты заметила, что, когда мы приехали из церкви, она даже не залаяла?

— Это правда, Генри, она не лаяла.

— Сейчас от нее мало толку, даже как от сторожевой собаки.

— Бедняга, мне ее так жаль!

— И для охоты она уже не годится. И потом, тебе не кажется, что она много жрет?

— Да столько, сколько и раньше, Генри.

— Стало быть, ясно, что эту собаку держать накладно. Пора от нее избавиться.

— Всегда очень трудно придумать, как избавиться от собаки, Генри.

— Я как раз об этом думал. Некоторые считают, что лучше всего собаку застрелить. Но у меня уже почти год нет патронов для ружья. Отравить собаку — уж очень тяжелая смерть. Пожалуй, самое простое — утопить ее, да и времени это много не займет. Я поговорю с кем-нибудь из ребят с лесопилки, попрошу заняться этим делом.

Люк бросился на землю, обнял старую овчарку за шею и закричал:

— Дядя Генри, Дэн — замечательная собака! Вы не знаете, какая она хорошая!

— Она просто очень старая собака, сынок, — спокойно сказал дядя Генри. — Рано или поздно приходится избавляться от каждой собаки. Надо быть практичным. Я тебе достану щенка, сынок. Маленькую собаку и умную, расход на которую себя оправдывает. Этот щенок будет расти вместе с тобой.

— Мне не нужен щенок! — крикнул Люк, отворачиваясь.

Собака закружилась вокруг него, залаяла. Потом она начала лизать затылок Люка своим длинным розовым языком.

Тетя Хелен, поймав взгляд мужа, приложила палец к губам.

— Старые собаки вроде нашего Дэна часто уходят в кусты, как бы подыскивая место, куда они придут умирать. Ведь правда, Генри?

— Верно, — быстро согласился он. — По правде говоря, когда Дэн вчера куда-то исчез, я об этом подумал.

Он зевнул и, казалось, забыл о собаке.

Но Люку было страшно, потому что он знал характер дяди. Он знал, что, если дядя решил, что от собаки нет проку и что нужно избавиться от нее, он будет стыдиться самого себя, если не сделает этого по каким-то сентиментальным соображениям. В глубине души Люк признавал, что ему не удастся разжалобить дядю Генри. И он решил, что ему остается только спрятать собаку от дяди, увести ее из дома, кормить, когда поблизости не будет дяди Генри.

На следующий день, около полудня, Люк увидел, как дядя шел с лесопилки, направляясь к дому, и рядом с ним шел старый рабочий Сэм Картер. Сэм Картер был человек лет шестидесяти, мрачный сутулый тугодум с седой бородой. Он носил голубой комбинезон и рубашку такого же цвета. Люк вдруг увидел, как дядя дал Сэму сигару, а тот положил ее в карман. Люк никогда раньше не видел, чтобы дядя давал Сэму сигары или просто обращал на него внимание.

После обеда дядя Генри сказал как бы между прочим, чтобы Люк взял свой велосипед и съездил в город купить ему сигар.

— Я возьму с собой Дэна, — сказал мальчик.

— Лучше не надо, сынок, — ответил дядя. — Тогда у тебя весь день до вечера уйдет на то, чтобы съездить в город. Мне нужны сигары. Ну, поезжай, Люк.

Тон дяди был таким обыденным, и Люк почти поверил, что дядя не собирается отделаться от него. Конечно, он должен был сделать то, что ему было сказано. Он еще ни разу не осмелился не выполнить распоряжение дяди. Но когда он сел на велосипед и проехал почти четверть мили по тропинке, которая шла вдоль берега реки до самой дороги, ведущей в город, он вдруг опять вспомнил эту сцену — как дядя Генри дал старику Картеру сигару.

Люка охватило беспокойство. Он затормозил, слез с велосипеда и в раздумье остановился на дороге, залитой солнцем. Старик Картер был сухой человек, ко всему безразличный. Уж он-то не пожалеет собаку. И Люк вдруг почувствовал, что не может ехать в город, пока не убедится, что с овчаркой ничего не случилось в его отсутствие.

С того места, где он остановился, Люк мог видеть дом дяди, который стоял на другом конце поля.

Люк оставил велосипед в кювете и направился к дому. Он хотел подобраться к нему как можно ближе, чтобы Дэн мог услышать его свист. Он остановился метрах в пятидесяти от дома. Мальчик свистнул и подождал, но собаки нигде не было видно. Может быть, она спит перед домом или даже убежала на лесопилку? Свистел он тихо, и Дэн мог не услышать свист из-за громкого визга пил. Несколько минут Люк никак не мог придумать, что же делать, потом решил вернуться на дорогу, сесть на велосипед и вернуться к тому месту, где тропинка скрещивалась с дорогой. Там он мог оставить велосипед, подняться вверх по тропе и, прячась в высокой траве, пробраться почти до самого дома. Оттуда можно было видеть фасад дома и лесопилку, оставаясь незамеченным.

Он проехал по тропинке метров сто, и, когда выбрался на то место, где река круто поворачивала к дому, сердце его затрепетало, и он остановился как вкопанный: на реке, на самом глубоком месте, покачивалась старая лодка, а в ней сидели Сэм Картер и овчарка.

Старик в голубом комбинезоне курил сигару. Собака с довольным видом сидела около него. Время от времени она дружески лизала руку старика. На шее Дэна была веревка. Вся эта картина показалась Люку страшным сном. Все в ней было нереальным — так все ее участники были довольны, спокойны, даже дым от сигары вился в воздухе на редкость миролюбиво. Но когда Люк крикнул: «Дэн, плыви скорее сюда!» — и собака прыгнула в воду, он заметил, что левая рука Сэма была глубоко погружена в воду — в ней он держал веревку, а на конце ее был привязан тяжелый камень. Люк страшно закричал:

— Не надо! Прошу вас, не надо!

Но в это время Картер уже бросил камень в воду — Люк крикнул слишком поздно. Из-за визга больших пил на лесопилке старик не расслышал его. И все-таки он чего-то испугался — Картер тупо уставился на берег реки, потом вдруг опустил голову и начал быстро грести к берегу.

Люк смотрел на овчарку. Было похоже, будто она собирается нырять на небольшую глубину, только вдруг ее задние лапы забились над поверхностью воды, потом исчезли. Люк смотрел на нее, всхлипывая и дрожа: он чувствовал, что у него украли счастливую, скрытую от людей сторону его жизни на лесопилке. Он смотрел, как тонет собака, и, казалось, делал все по какому-то заранее обдуманному плану: шарил в карманах — искал свой складной нож, раскрыл его, стащил штаны, сбросил ботинки, что-то яростно бормоча про себя и моля, чтобы Сэм Картер побыстрее исчез из виду.

Старик добрался до берега меньше чем за минуту и воровато

скрылся за излучиной, как будто чувствовал, что мальчик следит за ним. Но Люк не отрывал глаз от того места, где Дэн скрылся под водой. Как только старик исчез из виду, Люк соскользнул вниз по берегу и прыгнул в воду; солнечные лучи освещали его худенькое тело, в глазах горело нетерпение. Люк спешил на глубину. Он согнулся и нырнул в воду. Его глаза начали привыкать к серо-зеленой дымке, к цвету песка на дне и подводных камней.

Он уже чувствовал боль в легких, как вдруг увидел тень от собаки, которая плавала на туго натянутой веревке, привязанной к камню. Он полоснул веревку ножом. Удар получился несильным, потому что вода тормозила движение. Люк схватил веревку левой рукой и начал резать ее. Внезапно собака начала медленно подниматься на поверхность. А потом и голова мальчика вынырнула из воды. Он жадно глотал воздух и одновременно подтягивал к себе веревку и бил рукой по воде. Он очень быстро отплыл с глубины, и вскоре ноги его коснулись дна.

Люк тащил собаку из воды. Шатаясь, он брел к берегу, спотыкаясь на каждом шагу, потому что Дэн был тяжелый и неподвижный, словно мертвый.

Он выполз на берег и выбрался на траву, где лег на землю, крепко прижимая к себе овчарку, пытаясь согреть ее своим телом. Но Дэн лежал без движения, его зрячий глаз был по-прежнему закрыт. Тогда Люк решил действовать, как опытный, знающий дело человек. Он встал на колени, перевернул собаку на брюхо, сжал ее коленями.

Дрожащими руками мальчик нащупал ее мягкие бока и начал нажимать на них, то откидываясь назад и выпрямляясь, то наклоняясь вперед всем телом. Он надеялся, что так сумеет выкачать воду из легких собаки. Ему приходилось читать когда-то, что утопленников, которых считали мертвыми, удавалось спасти именно таким способом.

— Ну, Дэн, ну давай, старина, — мягко уговаривал он.

Когда из пасти собаки вылилось немного воды, сердце Люка дрогнуло, и он стал приговаривать:

— Тебе нельзя умереть, Дэн! Нельзя, нельзя! Я не дам тебе умереть!

Он продолжал нажимать на бока собаки, неустанно наклоняясь вперед и выпрямляясь. Из пасти вылилась еще вода. Он почувствовал, как тело овчарки слегка дрогнуло.

— Ну вот, Дэн, ты жив, — прошептал он. — Здорово. Давай, старина, не сдавайся.

Неожиданно собака закашлялась, откинула назад голову и открыла свой зрячий глаз. Они смотрели друг на друга. Потом собака, резко упершись лапами в землю, попыталась подняться,

закачалась, но все-таки поднялась и застыла в оцепенении. Потом она отряхнулась, как любая собака отряхивает шерсть, повернула голову, посмотрела на мальчика и слабо лизнула его в щеку своим красным языком.

— Ложись, Дэн,— приказал Люк.

Когда овчарка легла на землю около него, Люк закрыл глаза, спрятал лицо в ее влажную шерсть и никак не мог понять, почему мускулы рук и ног его начали нервно дрожать,— реакция была запоздалой, ведь все уже осталось позади.

— Лежи, Дэн,— мягко сказал он.

Люк вернулся к тропинке, подобрал одежду, потом опять вернулся туда, где лежала собака, и оделся.

— Кажется, нам лучше уйти отсюда, Дэн,— сказал он.— Не высовывайся из травы. Идем.

И он пополз в высокой траве. Остановились они метрах в семидесяти пяти от того места, где он раздевался.

Потом он услышал голос тети, она звала его:

— Люк, Люк! Иди сюда, Люк!

— Тихо, Дэн,— прошептал мальчик.

Прошло несколько минут, и он услышал голос дяди Генри: «Люк, Люк!» — и потом дядя начал спускаться по тропинке. Они видели, как он остановился, массивный, внушительный, положив руки на бедра. Дядя смотрел вниз, потом повернулся и пошел назад к дому.

Мальчик лежал и смотрел, как солнце освещало шею дяди Генри, и радость, которую Люк испытывал при мысли, что овчарка спасена, уступила место отчаянию. Он знал: если даже его простят за то, что он спас собаку, то все равно он помешал плану дяди. Дядя Генри решил избавиться от Дэна, и через несколько дней он каким-либо способом отделается от него, как он отделялся от всего на лесопилке, что, по его мнению, было ненужным, на что не имело смысла тратить деньги.

Мальчик повернулся на спину и стал смотреть на облака, которые почти не двигались. Ему стало страшно. Он не мог вернуться домой, не мог он и уйти в лес и спрятать там овчарку и кормить ее. Конечно, собаку пришлось бы привязать, иначе Дэн вернулся бы домой.

— Кажется, нам некуда пойти, Дэн,— печально шепнул он.

А Дэн в это время следил за бабочкой, которая порхала над их головами. Люк немного приподнялся и посмотрел сквозь заросли травы на угол дома. Потом он повернулся и стал смотреть в другую сторону, на широкое голубое озеро. Вздохнув, он опять лег на землю, и долгие часы они лежали там, пока на лесопилке не замолкли пилы.

— Мы больше не можем здесь оставаться, Дэн,— сказал

мальчик наконец.— Нам нужно уйти как можно дальше отсюда. Держись плотнее к земле, дружок.

И они поползли сквозь траву, все больше удаляясь от дома. Когда их уже не могли видеть из дома, Люк поднялся на ноги и рысцой побежал через поле к дороге, покрытой гравием,— эта дорога вела в город.

Пока они бежали, собака время от времени оглядывалась назад, как бы спрашивая, почему Люк бежит так — устало, еле переставляя ноги, опустив голову.

— Меня ноги не держат, Дэн, вот в чем дело,— объяснил собаке Люк.— И я никак не придумаю, где тебя спрятать.

Когда они проходили мимо домика, где жил мистер Кемп, они увидели старика — он сидел на веранде. Люк остановился. Он подумал о том, что раньше мистер Кемп любил их обоих, что Люк всегда с удовольствием помогал ему загонять коров по вечерам. И Дэн всегда бывал вместе с ними. Он посмотрел на старика, который сидел на веранде, и сказал с беспокойством:

— Я бы хотел, Дэн, чтобы на него можно было положиться. Хорошо бы, он оказался круглым идиотом, разиней и не стал бы рассуждать, стоишь ли ты чего-нибудь или нет. Ну, идем.

Он решительно открыл ворота, но в глубине души чувствовал робость и свою незначительность.

— Здравствуй, сынок. Ну, что ты мне хочешь сказать? — приветствовал его с веранды мистер Кемп.

Это был худой, жилистый мужчина в темно-коричневой рубашке. У него были седые растрепанные усы, морщинистая кожа, похожая на голенище, но глаза его всегда смотрели дружелюбно и весело.

— Могу я с вами поговорить, мистер Кемп? — спросил Люк.

— Ну конечно. Говори.

— Это насчет Дэна. Дэн — замечательная собака, но вы, конечно, это знаете не хуже меня. Я хотел у вас спросить: можно, чтобы он жил у вас?

— Почему он должен жить у меня, сынок?

— Видите ли, дело в том,— начал мальчик, с трудом подыскивая слова,— что дядя мне больше не разрешает держать его дома... говорит, что собака слишком стара.— Губы его задрожали, и он, не останавливаясь, рассказал старику всю историю.

— Так, так,— медленно сказал мистер Кемп, поднялся, вышел на лестницу и сел прямо на ступеньки.

Он начал поглаживать голову собаки.

— Конечно, Дэн — старая собака, сынок,— спокойно сказал он.— И рано или поздно от старой собаки приходится избавляться. Твой дядя это знает. Может быть, он прав: Дэн не стоит тех денег, которые на него тратят.

— Он ест мало, мистер Кемп, только один раз в день.

— Мне не хочется, Люк, чтобы ты думал, что дядя Генри жестокий, бесчувственный человек,— продолжал мистер Кемп.— Он неплохой человек... Может быть, только чересчур практичный и резкий.

— Кажется, да,— согласился Люк, нетерпеливо ожидая, что же скажет старик дальше, и верил тому, что видел в его глазах.

— Может быть, имеет смысл сделать ему деловое предложение?

— Что... что вы имеете в виду?

— Видишь ли, мне, в общем, нравится, как ты по вечерам загоняешь домой моих коров,— сказал мистер Кемп, улыбаясь каким-то своим мыслям.— По правде говоря, мне кажется, что мне вообще незачем ходить с тобой, когда ты их загоняешь. Допустим, я буду тебе платить семьдесят пять центов в неделю. Ты согласен заводить моих коров в загон каждый вечер?

— Ну конечно, мистер Кемп.

— Вот и хорошо, сынок. С тобой сделку мы заключили. Теперь слушай, что ты должен делать: ты пойдешь домой, и, прежде чем он рот раскроет, ты ему прямо скажешь, что пришел к нему с деловым предложением. Скажи это, как настоящий мужчина, как я это тебе говорю. Предложи ему семьдесят пять центов в неделю за кормежку собаки.

— Но дяде не нужны семьдесят пять центов, мистер Кемп,— с тревогой в голосе сказал мальчик.

— Конечно, нет,— согласился старик.— В этом-то все и дело. Будь с ним откровенным. Помни, что он ничего не имеет против Дэна. Нажимай на это, сынок. Потом ты мне скажешь, что вы решили,— добавил он, весело улыбаясь.— Ведь ты же хоть капельку знаешь своего дядю, верно? Все будет в порядке. Мне так кажется.

— Попробую, мистер Кемп,— сказал Люк.— Большое вам спасибо.

Но он не очень верил в успех, хотя и знал, что Кемп — умный старик, который не станет его обманывать; Люк все-таки не верил, что семьдесят пять центов в неделю соблазнят его состоятельного дядю.

— Идем, Дэн,— позвал он и медленно направился домой.

Когда они поднимались вверх по тропинке, тетя Хелен, стоявшая у окна, закричала:

— Генри, Генри, о господи, Люк с собакой вернулись!

Шагов за десять от дома Люк остановился и нервно ждал, когда выйдет дядя.

Дядя Генри стремительно вышел из дома, но, когда увидел

овчарку и Люка, он резко остановился, побледнел, и челюсть его отвисла.

— Люк,— прошептал он,— но ведь у собаки был камень на шее.

— Я вытащил ее из воды,— опасливо ответил мальчик.

— Ага, ясно,— сказал дядя Генри, и постепенно краска опять появилась на его лице.— Ты ее вытащил из воды, да? — переспросил он, все еще косо поглядывая на собаку.— Ты не должен был делать этого. Видишь ли, я приказал Сэму Картеру утопить ее.

— Подождите минутку, дядя Генри,— сказал Люк, стараясь говорить твердо. Он почувствовал себя увереннее, когда тетя Хелен тоже вышла на улицу и остановилась за спиной мужа. Взгляд у нее был не сердитый, и мальчик продолжал, осмелев: — Я хочу сделать вам деловое предложение, дядя Генри.

— Что ты хочешь сделать? — спросил дядя Генри, чувствуя себя до сих пор неуверенно: ему было не по себе из-за того, что мальчик и собака стояли прямо перед ним.

— Деловое предложение,— быстро заговорил Люк.— Я знаю, что в вашем доме расходы на Дэна себя не оправдывают. По-моему, кроме меня, никому до него нет дела. Поэтому я буду вам платить семьдесят пять центов в неделю за его кормежку.

— О чем ты говоришь? — спросил дядя Генри в изумлении.— Где ты возьмешь семьдесят пять центов в неделю, Люк?

— Я буду по вечерам загонять домой коров мистера Кемпа.

— Ради бога, Генри,— взмолилась тетя Хелен с несчастным видом.— Пусть эта собака останется у него.

Она бросилась назад в дом.

— Нечего об этом разговаривать! — крикнул ей вслед дядя Генри.— Мы в этом вопросе должны проявить твердость.

Но он и сам был потрясен, охвачен чувством беды, которое разрушало в нем чувство уверенности. Он медленно сел в свою качалку, ладонью похлопывая себя по лицу. Ему хотелось пойти на уступки, сказать: «Ладно, можешь оставить собаку дома», но ему было стыдно этого чувства слабости и сентиментальности. Он упрямо сопротивлялся ему, он отчаянно пытался сделать так, чтобы душевное волнение его обернулось просто нормальным, полезным чувством здравого смысла. И поэтому он раскачивался в кресле и размышлял. Наконец он улыбнулся.

— Ты плутишка с головой, Люк,— медленно сказал он.— Ты это неплохо придумал. Я, кажется, согласен принять твое предложение.

— Вот здорово, дядя Генри, спасибо!

— Я принимаю твое предложение потому, что эта история,

как мне кажется, тебя кое-чему научит,— задумчиво продолжал он.

— Да, дядя Генри.

— Ты поймешь, что даже самым умным людям ненужная роскошь стоит денег, добытых тяжелым трудом.

— Мне все равно.

— Когда-нибудь тебе придется это уразуметь. И я думаю, что ты это поймешь, потому что в тебе, конечно, есть практическая жилка. Меня это радует. Ну, ладно, сынок,— сказал он, улыбнулся с облегчением и вошел в дом.

Повернувшись к собаке, Люк тихо прошептал:

— Ну, что ты об этом скажешь?

Когда мальчик сел на ступеньки, собака примостилась рядом с ним, и он слышал в доме голос дяди — он разговаривал с тетей Хелен. Глаза Люка сияли от радости. А потом он начал раздумывать: почему мистер Кемп так хорошо понимал характер дяди Генри? Он стал мечтать о том, как будет когда-нибудь таким же умным, как старый мистер Кемп, и тогда он научится вести себя с людьми. Возможно, он уже оценил некоторые дядины качества, которые ему так необходимо было понять, по мнению его отца.

Положив голову на шею собаки, он поклялся себе, что, кем бы он ни стал, у него всегда будет немного денег для того, чтобы суметь защитить все, что ему дорого, от практичных людей.



Шарль Вильдрак

ВРАГ

— Ты ведь уже приготовил уроки, — сказала мне мать. — Сбегай в лавочку и купи мне на два су¹ толченых сухарей.

— Хорошо, мама.

Мать дала мне медную монету, и я пошел. В то время фунт хлеба стоил четыре су.

Пританцовывая и прыгая со ступеньки на ступеньку, я галопом спустился по лестнице, каждую ступеньку отмечая для ритма скороговоркой: «На два су сухарей! Сухарей на два су!» После этого я уже был уверен, что не забуду поручения; кроме того, это меня забавляло — прыгать сразу через три ступеньки, цепляясь за перила. Но когда я очутился в узком коридоре нижнего этажа, в конце которого были видны просвет улицы, тротуар и прохо-

¹ Су — французская монета.

жие, я тотчас же вспомнил о Фийо и остановился, охваченный тоской.

Чтобы отогнать злую судьбу, я несколько раз быстро пробормотал: «Пусть его не будет у дверей! Пусть его не будет у дверей!» А потом, осторожно выглянув на улицу, внимательно осмотрел сначала наш тротуар — по нему мне предстояло идти, — затем тротуар на противоположной стороне, до ворот дома № 17, который находился невдалеке от нас. Фийо мог стоять там много часов, засунув руки в карманы и прислонившись к дверному косяку или прижавшись к выемке в стене.

Хорошо! На этот раз его не было. Я вздохнул с облегчением и побежал за сухарными крошками — побежал по нашему тротуару, чтобы пересечь улицу против самой булочной.

Возвращаясь домой, я убедился, что путь по-прежнему свободен, и шел не торопясь, перебирая в голове подробности той истории, которую кончил вчера читать.

Вдруг я вздрогнул: за мной была погоня. Ну конечно, это Фийо, это он гнался за мной изо всех сил. Засунув поглубже в карман кулек с сухарями, я пустился наутек.

На этот раз мне удалось спастись от врага. С бьющимся сердцем, запыхавшись, я кинулся со всех ног в темноту коридора и слышал, как за мной заскрежетали по асфальту подкованные гвоздями башмаки Фийо и с разбегу ударились в запертую дверь. Но чаще всего меня дубасили на протяжении двадцати метров костлявыми кулаками в спину и в поясницу. Под градом этих ударов я обращался в бегство.

Между мной и Фийо никогда не было никакой ссоры, никаких объяснений. Два года назад мы учились с ним в одном классе, но относились друг к другу с полным равнодушием. Потом он почему-то переменил школу, и я встречал его только на улице: он хмуро стоял в одиночестве, не отходя от подъезда дома № 17.

Однажды он погнался за мной со злым остервенением, и потом это стало повторяться каждый раз, когда он встречался со мной: он видел, что я не способен оказать ему сопротивление. Но, гонясь за мной, нанося мне удары, он ни разу не удостоил меня ни единым словом, обходился без угроз и оскорблений. Очевидно, он ненавидел меня, сам не зная за что; может быть, из-за моего передника, который казался ему слишком чистеньким, или моих начищенных башмаков.

Но он соблюдал в наших столкновениях известные правила, установленные им самим, нечто вроде законов охоты или правил уличного движения. Так, он никогда не позволял себе хотя бы на один сантиметр переступить через порог нашего дома или преследовать меня в коридоре. Если он, например, видел, что я несу

хлеб, бутылку с чем-нибудь или сетку с картошкой и со всякими другими вещами, что могло бы мне помешать бежать или защищаться, он не нападал на меня. Самое большое, что он позволял себе в подобных случаях, — это испугать меня, делая вид, что бросается в драку, и отметить в свою пользу еще одно очко; но он никогда не отходил при этом от дверей своего дома.

Если он видел, что я играю на улице с двумя-тремя приятелями, он тоже не трогался с места, а только смотрел на нас с презрительным видом. Может быть, он считал, что игра — тоже священная вещь, как хлеб или молоко? Или он боялся, что в такие минуты я окружен защитниками?

Иногда мне случалось проходить мимо него по тротуару в обществе родителей, совсем близко от него. В таких случаях он притворялся, что не видит меня, и я отвечал ему тем же. Дома я ничего не говорил о Фийо и его нападениях — не говорил даже матери, которой обычно поверял свои тайны и горести. Сделать это мешало мне какое-то странное чувство, в котором были перемешаны застенчивость, гордость и немножко стыда.

Но однажды вышло так, что я, сам того не заметив, наполовину открылся перед отцом.

В тот теплый, медленно наступавший июньский вечер мы сидели с ним у окна на нашем четвертом этаже, погруженные в игру, которую мы называли игрой в автомашины. Она заключалась в том, что каждый из нас должен был по очереди угадывать, куда — направо или налево? — свернет в конце улицы пробегавшая мимо машина.

Надо было набрать двадцать очков. Если выигрывал я, то получал конфету, если отец — ему разрешалось выкурить сигарету. Но и в тех случаях, когда он проигрывал, я великодушно разрешал ему покурить, не в порядке награды, а в виде утешения. Разумеется, у нас бывали и «утешительные» конфеты.

Автомобилей на улице долго не было. Высматривая их, я вдруг увидел Фийо. Как обычно, он стоял у своего дома, скрестив ноги и прислонившись к двери.

Накануне, когда я проходил мимо семнадцатого номера, он довольно сильно потрепал меня. Тайна становилась слишком тяжелой. Я чувствовал потребность хоть немного облегчить свою душу, хоть чуть-чуть приоткрыть свою тайну.

Фальшивым тоном, как бы между прочим, я сказал отцу:

— Видишь мальчишку вон там, у ворот семнадцатого дома?

— Вижу. Ну и что?

— Бегу я вчера из лавки домой, тороплюсь, потому что мама меня ждала, а он как бросится за мной! Я никак не мог понять, что ему от меня надо. Он догнал меня, как раз когда я вбегал в нашу дверь, и здорово стукнул кулаком по спине.

— А ты ему дал сдачи?

— Нет...

Это нерешительное «нет» означало: «Дать сдачи Фийо! Плохо же ты его знаешь!»

— Как? — переспросил отец. — Ты получил по шее и не дал сдачи? Позорно бежал от этого сопляка? Ведь он меньше тебя ростом!

Я покраснел и стал врать.

— Да нет, я просто очень спешил. Я нес в руках петрушку. Понимаешь, букетик петрушки, за которым меня мама послала. И потом, знаешь, мне совсем не было больно. Наверно, он хотел поиграть. Я его знаю, его фамилия Фийо. Мы с ним вместе во втором классе учились. Он впервые так поступил со мной. Но я не советовал бы ему это продолжать...

— В добрый час, — сказал отец.

Но он хорошо меня знал и, по-видимому, поверил мне только наполовину, потому что прибавил:

— Видишь ли, сынок, если теперь, когда тебе уже скоро одиннадцать лет стукнет, ты позволишь всякому нахалу так обращаться с собой, потом этому конца-краю не будет. Ты станешь их жертвой на всю жизнь. Позже, когда ты поступишь в полк, ты пропадешь, если не покажешь себя с самого начала настоящим мужчиной. Будь хорошим товарищем с хорошими парнями, но сумей дать отпор всякой дряни, или ты сделаешься козлом отпущения и будешь на посылках у разных грубиянов. Злые люди почти всегда трусы. Они нападают только на тех, кого они считают неспособными дать отпор... А как же, сынок, наши машины? Ты уже две прозевал. Теперь твоя очередь играть...

Партия продолжалась, но я все думал о словах отца.

Ах, как он был прав! Почему я стал постоянной жертвой Фийо, его добычей? Потому что убегал от него. Значит, если при первом же случае я не окажу ему сопротивления, то всю свою жизнь буду получать затрешины и оплеухи. А ведь он и вправду не был выше меня, скорее даже ниже ростом. Конечно, длинный — это еще не значит сильный. Но разве он сильнее меня? Ведь я не имел никакого представления о его силе и не пытался никогда это узнать. Ему просто достаточно было на меня напасть — и он показался мне навеки непобедимым. Мне стало стыдно. Стыдно за свою трусость. Что подумал бы отец, если бы знал всю правду?..

Вечером, в постели, я поклялся, что при первом же случае встречу Фийо лицом к лицу. И если я получу на этот раз по роже, я тоже дам ему сдачи. Все было лучше, чем это вечное унижение, этот постоянный страх. А может, Фийо — именно такой трус, о

каких говорил отец? Ведь он ни разу не преграждал мне дорогу, не становился передо мной лицом, а всегда давал мне пройти мимо своего дома — и только тогда перебегал через улицу, бросался за мной вслед и колотил кулаком в спину.

Очень хорошо! Больше я не буду бегать от него. Теперь я встречу его грудью. Меня даже стало лихорадить от принятого решения, и я долго не мог уснуть. Я и страшился этой драки и жаждал ее, как своего освобождения.

Настало утро. Я не получил никаких поручений, но мне разрешили пойти поиграть на улице. О какой игре могла идти речь? Призывы товарищей не доходили до меня: я озабоченно искал Фийо. Но он как сквозь землю провалился. Я отважился даже отойти довольно далеко от нашего дома и не раз проходил мимо ворот семнадцатого номера.

«Тем лучше», — вздохнул я и пошел домой. Мать удивилась, что я так рано вернулся. Но я сказал, что не с кем было играть.

Правда, нельзя было сказать, что я ждал Фийо очень долго, но в конце концов я был удовлетворен, даже горд немного: я выполнил свой долг. И этот первый этап с врагом закалил меня и успокоил. Ведь если Фийо не оказалось на улице — это была не моя вина. Спускаясь по лестнице, я уже не заклинал судьбу: «Пусть его не будет на улице! Пусть его не будет у дверей!» Правда, я и не говорил: «Пусть он там будет!» Я честно решил не влиять на судьбу.

Следующий день был четверг. Взглянув с утра в окно, я вздрогнул всем телом: Фийо мрачно стоял на своем посту!

Внутри меня властный, мужественный голос неустанно повторял: «Иди туда! Иди туда! Необходимо, чтобы ты пошел туда сейчас же!» Но другой голос, голос маленького мальчика, возражал: «Не сейчас, а после обеда! Он будет торчать тут целый день, ведь сегодня четверг!»¹

С бьющимся сердцем я дважды обошел вокруг стола, не осмеливаясь подойти к окну. Потом, как автомат, направился в комнату матери.

— Мама, у тебя нет никаких поручений? — спросил я. — Я могу в лавку сходить.

— Нет, мой милый. А в чем дело?

— Мне нужно купить резинку. У нас завтра урок рисования, а у меня нет резинки.

— Ну и купи. Только осторожно переходи улицу.

Я медленно спустился по лестнице, подняв голову и сжимая кулаки. Путь к отступлению был отрезан. Я твердо произнес два

¹ В четверг у французских школьников нет занятий.

раза: «Пусть он будет там! Пусть он не отходит от дверей!»

Я не колеблясь вышел на улицу. Фийо не видел меня: он повернулся спиной к улице и смотрел в коридор своего дома. В это мгновение проезжала повозка, на каких в Париже развозят лед. Она медленно двигалась в сторону Фийо. Я пошел рядом с ней и таким образом миновал дом № 17 незамеченным. Потом я вошел в лавку, где продавались газеты и писчебумажные принадлежности, и лавочник вручил мне резинку за два су. После этого, не спуская глаз с Фийо, я снова стал переходить на свою сторону. Я приближался к нему не торопясь, но чего стоил для меня каждый шаг!

Он заметил меня только тогда, когда я оказался перед самой дверью его дома. Я смотрел на него в упор, и он кинулся на мостовую мне навстречу. Мне невольно захотелось убежать, но в ту же минуту я подавил это желание.

Прежде чем Фийо приблизился ко мне, я бросился навстречу, выставив вперед оба кулака, думая только о том, как бы защитить себя от его удара. Я крепко ухватил его за плечи, и между нами образовалось расстояние на вытянутую руку. Фийо не мог ни ударить меня, ни освободиться; он тоже вцепился мне в плечи, и так мы топтались на одном месте, сгорбившись и пытаясь оттолкнуть друг друга. На одно мгновение Фийо отпустил мое плечо, чтобы нанести удар. Удар без всякой силы пришелся мне около шеи. Но Фийо ослабил свои усилия, и я заставил его отступить на один шаг. Тогда он стал толкать меня обеими руками. Ни он, ни я не произнесли ни слова. Теперь я видел совсем близко его коротко стриженную белокурую голову, его прямой и тонкий нос, его искаженный рот. Мои пальцы вцепились в его сильно потертый бархатный отложной воротник, выпущенный на черный передник, который лоснился от грязи.

Он яростно толкал меня, но ему едва-едва удавалось сдвинуть меня с места. Мгновение спустя я оттолкнул его на целый шаг, потом еще на один. Тогда он плюнул в меня. Я ответил ему тем же; между нами началось отвратительное соревнование, которое длилось до тех пор, пока у нас не иссякла слюна. Видеть свой плевок на бледной щеке Фийо, покрытой пушком, мне было еще противнее, чем ощущать его плевки на своем лице.

Но теперь мне удалось заставить противника попятиться, и он уже не сопротивлялся. Так я теснил его до конца тротуара, и он споткнулся о канавку на краю мостовой.

В это время какая-то женщина бросилась, чтобы разнять нас, и, так как Фийо опять плюнул в меня, она обозвала его противным мальчишкой, пристыдила нас обоих и пошла прочь.

Фийо вытер лицо передником, а я вынул носовой платок. Потом он опять яростно прыгнул и стукнул меня; я ответил тем же.

— Попробуй только,— сказал я.

Я чувствовал, что эти слова тут не к месту, но старался говорить угрожающим тоном, чтобы заставить Фийо держаться в границах приличия.

— Теперь ты видишь, что я сильнее тебя,— сказал я.— Если ты опять будешь приставать, я тебя буду гнать до самых твоих дверей.

— Дудки,— пожал он плечами,— ты сам знаешь, что я всегда могу тебе надавать тумаков, пока ты убегаешь от меня.

— Этого больше не будет: я не боюсь твоих тумаков. Теперь я буду ждать тебя, как сегодня. Увидишь!

Я отошел от него уверенной походкой, с твердой решимостью больше ему не уступать, хотя я и косил глазами и был начеку, все-таки опасаясь внезапного нападения с тыла. Однако, обернувшись через несколько шагов, я увидел, что Фийо вернулся к своей двери и потирает ушибленную ногу. Он, вероятно, оцарапал ее о выступ тротуара.

Я переживал гордость победителя. В тот же вечер за ужином, как бы между прочим, я ввел отца в курс событий.

— Знаешь, папа, мальчишка, которого я тебе показал тогда, он опять хотел напасть на меня сзади. Но я его схватил за шею и толкал до самой двери. Он просто на ногах уже не держался. О, я ему не сделал очень больно, но уверен, что теперь ему больше не захочется меня трогать.

— Вот это другое дело! — одобрил отец.

— Какие драчуны эти мальчишки! — поморщилась мать.

Фийо больше на меня не нападал. Когда я проходил мимо, он равнодушно смотрел на меня, как будто невыносимо скучал или думал о чем-то другом.

Глядя на него, я тоже испытывал тревогу и, что более странно, чувство жалости и даже симпатии. Прежние обиды уже не шли в счет, теперь я чувствовал, что, в свою очередь, нанес ему обиду, и мне было стыдно за нас обоих, за тот поединок.

Наблюдая издали за Фийо так, чтобы он меня не видел, я чувствовал, что он чем-то опечален. Впрочем, разве и до нашей драки он не был таким же?

* * *

Была середина дня, и я возвращался из школы. Свернув на нашу улицу, я вдруг увидел, что навстречу движется похоронная процессия. «По последнему разряду»,— определил я с видом знатока, когда разглядел жалкую черную бахромку на катафалке. Дело в том, что на днях один приятель притащил изумительный

каталог¹ магазина похоронных принадлежностей, и мы с увлечением рассматривали катафалки всевозможных моделей и всех рядов. Теперь мы здорово разбирались в этом.

Я остановился у края тротуара, чтобы посмотреть на процессию. Это были похороны бедняка. Казалось, что лошади покрашены в черную краску, как желтые ботинки, почищенные мазью. На гробе, прикрытом простым черным покрывалом, лежали два дешевых веночка из бисера.

Я стащил с головы берет и вдруг увидел, что за гробом, держась за руку какого-то человека с горестным лицом, идет Фийо. Это был, вероятно, его отец. Вместе с ним шло еще несколько человек, и среди них я узнал консьержку² из семнадцатого номера.

Проходя мимо, Фийо серьезно посмотрел на меня и приветствовал кивком головы, я ответил ему тем же.

А когда я подошел к дому № 17, то увидел, что несколько ребят с нашей улицы читают наклеенное на дверях траурное извещение в черной рамке.

— Кто умер? — спросил я, приближаясь.

— Мать Фийо, — ответил мне кто-то из ребят. — Смотри, его имя здесь тоже указано: Жюльен Фийо. Мы его сейчас видели, когда процессия тронулась. И знаешь, его отец плакал. У Фийо тоже слезы текли, но видно было, что он сдерживается, чтобы не плакать у всех на глазах.

На следующий день, выйдя из булочной, я столкнулся нос к носу с Фийо.

— Я тебя поджидал, — сказал он, — я видел, как ты пошел в булочную. Знаешь, я хотел поблагодарить тебя за то, что ты остановился во время похорон и снял шапку.

Он произнес эти слова тихим голосом и очень церемонно, а я смотрел на креповую повязку у него на рукаве, на его осунувшееся, ставшее восковым лицо одиннадцатилетнего мальчика, который только что потерял мать.

Я не знал, что ответить, мне захотелось плакать. Наконец я пробормотал с комком слез в горле:

— Так уж полагается... снять шапку.

— Да, так полагается. Но я видел, что некоторые этого не сделали. Видно, они считали, что похороны недостаточно богаты. Но были и такие, что сняли шапки. Очень многие. И женщины крестились... Вот ты тоже снял шапку, хотя, может быть, и сердился на меня. Ты даже остановился, чтобы подождать нас. Вот я тебя и благодарю.

¹ К а т а л о г — перечень. Здесь: каталог в виде книги, где помещены фотографии различных похоронных принадлежностей.

² К о н с ь е р ж к а — привратница, швейцар.

У меня едва хватило сил пробормотать:

— Да я нисколько не сержусь на тебя... и я хорошо понимаю, какое у вас горе.

На его лоб набежала мимолетная складка, он всхлипнул и пошел рядом со мной, продолжая говорить:

— Конечно, это очень тяжело, но для мамы лучше, что она умерла. Все так говорят, и папа тоже. Уж слишком она мучилась, и это тянулось много месяцев. Выздороветь она уже не могла. У нее был рак. Знаешь, что такое рак? Не знаешь? Это когда все внутренности разъедает. И это так больно, что люди все время кричат. Когда у мамы были приступы, она сдерживала себя, пока у нее хватало сил. Из-за меня... Или просила, чтобы я уходил из дому. Потом я уже не ждал, чтоб она об этом говорила, сам убегал. Когда я видел, что ей очень больно, я говорил, что иду играть на улицу. И только я закрывал дверь, как она начинала кричать. От этого можно было с ума сойти.

Он замолчал на мгновение и потом продолжал снова с глухой яростью:

— Я сделал бы все, что угодно, чтобы только ей не было больно, мог бы дом поджечь, убить кого-нибудь. У ворот, где ты меня видел, я еще слышал ее крики, потому что мы живем в нижнем этаже, во дворе. Но мне приходилось оставаться там, слушать и ждать, когда ей делалось легче и она переставала кричать. Тогда я шел домой. Сам понимаешь, мне было не до игры...

— Ах, разумеется,— сказал я совсем тихо.

Он посмотрел на меня, замедлил шаг и нерешительным тоном, чего-то смущаясь, спросил:

— Скажи, ты помнишь? Когда я за тобой до самой двери гонялся... Ты, наверно, спрашивал себя, зачем это я так... Это от злости. Понимаешь, чтобы сорвать на ком-нибудь свою злость. Когда я увидел тебя в первый раз, ты проходил мимо с таким спокойным и довольным видом, а моя мама кричала, и я хотел тебя в порошок стереть... или самому превратиться в порошок. А потом... я придумал одну вещь... Только мне стыдно тебе это говорить. Потому что это очень глупо.

— Скажи, Фийо,— попросил я.— Ты все-таки скажи!

Он глубоко вздохнул, как это делают дети, когда у них тяжело на душе, и решился:

— Я даже рад, что ты будешь это знать. Я вроде как бы игру придумал, хотя это совсем не было игрой. Я сказал себе: «Он и есть мамина болезнь...» И вот каждый раз, когда ты проходил мимо, я преследовал тебя. Ты, верно, подумаешь, что я немного не в своем уме, но когда я тебя догонял, мне казалось, что я делаю что-то, что облегчает мамины мучения. Ты видишь, это дурацкое объяснение, но ты меня поймешь...

— Конечно, я понимаю,— запротестовал я от чистого сердца.— На что угодно можно решиться, когда мать так страдает.

— Ты был прав, когда сказал, что надо это прекратить,— продолжал Фийо после короткого молчания,— потому что это не мешало матери еще больше страдать и мучиться. Ну, а потом гоняться за тобой стало для меня каким-то развлечением. Я делал это, даже не сознавая, что делаю. А забавляться, когда твоя мать кричит от боли,— самое последнее дело, и это приносит несчастье.

Мы дошли до дома № 17.

— Еще раз благодарю,— повторил Фийо торжественно.

Он крепко пожал мне руку, как это делают на похоронах родственники покойника.

Потом мы с Фийо стали друзьями.



Герхард Хольц-Баумерт

ЗА ЧТО МЕНЯ ПРОЗВАЛИ «АЛЬФОНС — ЛОЖНАЯ ТРЕВОГА»

Когда мама и папа сказали, что на осенние каникулы я поеду в деревню к дяде Гансу, я сперва очень обрадовался. По-настоящему-то я никогда не жил в деревне, никогда и животных вблизи не видал — одного Попку. А он мне надоел.

В первый раз я ехал по железной дороге без взрослых, и не немножечко, а целых четыре часа! Но тут случилась маленькая неприятность: ветер вырвал у меня из рук носовой платок, которым я махал родителям на прощание. И сразу же у меня начало капать из носу. Еду и не знаю, куда деваться. Сперва попробовал поправить дело рукавом. Все бы хорошо, но это не понравилось тетеньке, которая сидела напротив. Я стал шмыгать носом, но это не понравилось дяденьке, который сидел рядом. Тогда я махнул рукой на все и думаю: «Ну и пускай капает!» Но тут подвернулся контролер.

— И не стыдно тебе? — говорит. — Неужели ты не замечаешь, что у тебя из носу течет? Кажется, уже не маленький!

...На станции меня встретил дядя Ганс, и мы с ним сразу пошли осматривать деревню. Больше всего мне понравился скотный двор сельскохозяйственного кооператива. Там было очень светло и чисто. Правда, со мной и тут стряслась беда.

Я стоял в проходе между коровами и серьезно разговаривал с дядей Гансом. Мне было интересно узнать про дойку коров. Никак я этой техники раскусить не мог.

Вдруг чувствую: что-то теплое и шершавое прикоснулось к ноге. Я — кричать. С перепугу споткнулся и угодил прямо в кормушку. Лежу и вижу над собой слюнявые морды коров. Так и дуют мне в лицо теплым воздухом.

— Караул! Помогите! Они кусаются! — заорал я во всю мочь.

А дядя Ганс и остальные крестьяне только хохочут, за животики держатся.

— Корова его лизнула, а он с перепугу в ясли свалился... Кусаются, говорит! Ха-ха-ха!

Кое-как я выбрался из кормушки. Злой-презлой! И твердо решил не делать ничего такого, над чем крестьяне смеялись бы. Надо доказать им, какой я мировой парень. А когда на следующий день (до чего же быстро в такой маленькой деревушке все всё узнают!) ребяташки кричали мне вслед: «Эй ты, кусачая корова», я закусил губу и поклялся: «Вы меня еще узнаете!»

И несколько дней спустя я себя показал. В полдень тетя Марта, жена дяди Ганса, вручила мне большой синий бидон с кофе и целую корзину еды. Все это она велела отнести дяде Гансу в поле.

— Они там в картошке сидят, за березовой рощей, — сказала она, напутствуя меня.

Я что-то никак не мог понять ее. Дядя Ганс — и сидит в картошке?! Да как же он в нее, такую маленькую, забрался?

— Эх ты, городской! — пристыдила меня тетя Марта. — Они там картошку копают, понял теперь?

Я кивнул, но про себя подумал: «Смешно! У нас копают только ямы, а картошку ведь собирают!»

Тетя Марта объяснила мне, как идти, и я пустился в путь. Сперва я прошел всю деревню, потом зашагал вдоль выгона, но от коров держался подальше — я еще не забыл свои злоключения на скотном дворе. А вот и лес. Хорошо в лесу! Но как подумаешь о диких свиньях — сразу как-то муторно делается. Говорят, они очень свирепые. Иду и все присматриваюсь и примериваюсь к деревьям. На всякий случай, конечно. Если кабан выскочит, я прыг на дерево — и спасся. И очень это даже кстати было. Вдруг слышу: что-то шуршит в кустах. Я мигом подскочил к большой сосне. Думал, взберусь на верхушку, но ствол оказался слишком толстым, и высоко влезть мне не удалось. Так некоторое время я и висел, будто игрушечная обезьянка, у которой веревочка лопнула,

даже глаза зажмурил. Но все обошлось. А шуршал в кустах, оказывается, заяц. Он и сам не меньше моего испугался. Вот, думаю, дурацкая история! Из-за какого-то зайца штаны себе разорвал. Здоровая дырка, главное. И обед дяди Ганса теперь с песком — корзинку-то я уронил, когда на дерево лез.

Хорошо еще, что дикие свиньи больше не показывались. Но мне все-таки приятно было, когда кончился лес и я увидел перед собой поле. А вон и березовая рощица, за которой должны работать дядя Ганс и его бригада.

Но что это? Над рощицей подымается дым! Нет, я не ошибся: там где-то горит. Вон и еще дым, и еще! Лесной пожар! Со всех ног я пустился бежать в деревню. Теперь-то, думаю, я вам докажу, на что я способен. Я должен спасти лес! Я должен спасти деревню! Про меня напечатают в пионерской газете, и весь класс позеленеет от зависти. А может, меня наградят медалью? Я и правда здорово бежал. И диких свиней совсем не боялся.

Скоро у меня стало колоть в боку. До чего же, должно быть, больно бегать чемпионам! Я, как настоящий чемпион, наклонил голову и широко раскрыл рот. Стало вроде легче бежать. Чтобы сократить путь, я пустился прямо через выгон. Коровы размахивали хвостами, хлопали ушами и глупо таращили на меня глаза.

— Эй вы, коровы! Дорогу! Лес горит!

Коровы замычали. А я прошмыгнул под плетень и был таков! Неважно, что я при этом распорол и вторую штанину. Я же спасал деревню!

Тетя Марта вся побелела от страха, когда я ворвался на кухню.

— Альфонс, неужели тебя ребята избили? На кого ты похож!

Она взяла мою рубашку, и у нее в руках оказались две половинки. Я и не заметил, как рубаху разодрал.

— Да это пустяки! — крикнул я. — Деревня... Я должен спасти деревню!..

Тетя Марта раскрыла рот, а сказать ничего не может, только головой качает. А я напыжился изо всех сил да как крикну:

— Пожар! Тетя Марта, пожар!

— Господи Иисусе! Где?

— Лес горит!

Тетя Марта — сразу бежать. Ее деревянные туфли так и постукивали. Я — за ней. А неплохо она бегала! Недалеко от деревенского пруда она остановилась у сарая и давай стучать по висевшему там куску рельса.

— Пожар, пожар! Лес горит! — кричала она.

— Своими глазами видел! — подтверждал я.

Вся деревня мигом превратилась в разворошенный муравейник. Первыми выскочили из домов ребятишки, за ними — женщины. Наконец появились и мужчины. На бегу они натягивали на се-

бя пожарные куртки. Бургомистр был у них начальником пожарной дружины. Он выбежал в одних подтяжках, со шлемом на голове. Мне велено было поскорее рассказать, где горит. Пожарные отперли сарай, и мы дружно выкатили насос. Тут же пригнали лошадей.

— Вот дурачье! — кричал бургомистр. — Ставь назад насос! На кой он нам в лесу? Там же воды нет!

Тогда все схватили лопаты. Подъехала телега, и шесть добровольцев пожарной дружины вскочили на нее. И я тоже. Мне надо было дорогу показывать.

Лошади сразу припустили галопом. Но я крепко держался. Дружинники все никак одеться не могли и ругались. Один забыл пояс, другой был в деревянных туфлях, а бургомистр даже куртку позабыл надеть и долго этого не замечал.

А когда заметил, крикнул:

— Стой!

Кучер натянул вожжи, телега разом остановилась, и мы попадали друг на друга.

— Я, поди, куртку-то забыл, — сказал бургомистр и поправил шлем, съехавший ему на нос. — А, черт с ней! Трогай! Ведь лес горит!

Тут уже я крикнул:

— Стой!

Лошади остановились, и мы еще раз стукнулись головами; бургомистру опять шлем съехал на нос.

— Чего стоим? — кричали дружинники.

Я сказал:

— Тут можно дорогу сократить, если прямо через выгон ехать.

Дружинники как-то странно посмотрели на меня.

Бургомистр потер нос и проворчал:

— Это что же, мы на телеге через изгородь сигать будем? Так, что ли? Вот дурень!

И мы помчались через лес. Вдруг я заметил что-то на дороге. Сперва я даже не понял что, а когда разглядел, было уже поздно. Под колесами хрустнуло. Это были бидон и корзина с едой для дяди Ганса.

— Стоп! — закричал я.

Кучер натянул вожжи. Мы все опять повалились друг на друга, а бургомистр даже вскрикнул — так больно ему шлем по носу ударил.

— Черт бы тебя побрал! Чего там опять стряслось?

— Весь обед дяди Ганса пропал, — объяснил я, спрыгнул с телеги и побежал назад.

Бидон был расплюснут, как блин, и гороховый суп весь вы-

лился. Я даже заревел от злости. И как это меня угораздило дядин обед посреди дороги оставить?

Дружинники кричали:

— Давай! Садись! Что с воза упало, то пропало!

Мы выехали на поле, промчались через березовую рощицу и очутились на том самом поле, где дядя Ганс работал со своей бригадой. Увидев пожарную телегу с дружинниками, они побросали работу и подбежали к нам.

Я хотел им все объяснить, но бургомистр крикнул:

— Эй, мужики! Все садись! Лес горит!

Я дернул его за подтяжку.

— Замолчи! — рыкнул он на меня. — Ты уж и так два раза задерживал нас по пустякам.

Все мужчины из бригады дяди Ганса вскочили на телегу, кучер развернул, и мы поскакали дальше.

Только теперь дядя Ганс меня заметил. Почему-то он очень долго рассматривал расплющенный бидон у меня в руках и мою разорванную рубаху.

— Это же он пожарную тревогу поднял! — кивнул на меня бургомистр, потирая свой красный нос.

— Стойте! — крикнул я. — Стойте!

Кучер резко натянул вожжи. Все снова повалились вперед, и бургомистру опять шлем по носу ударил.

— Дьявол! — выругался он. — С меня хватит!

— А пожар? — спросил я.

— Да где, где горит-то? — закричали все дружинники разом.

Я показал назад, в поле. Там ведь и вправду горело. Повсюду были сложены какие-то кучи, и от них подымался синий дым.

— Да вон же! Везде горит!

Дружинники переглянулись. Бургомистр стащил шлем с головы. Кто-то засмеялся. За ним — другой. Под конец рассмеялся и дядя Ганс, а потом и бургомистр. От смеха они все стали красные-красные. И только слезы вытирали.

Бургомистр шлепал ладонью по шлему и приговаривал, хрипя от смеха:

— Это ж ботву картофельную жгут! Пойми: ботву! Какой же это пожар?

С тех пор деревенские ребята уже не дразнили меня кусачей коровой, а называли «Альфонс — ложная тревога». Я попросил дядю Ганса не писать об этом домой. На свои карманные деньги я куплю ему новый бидон. И картошку я теперь больше не люблю: увижу и сразу вспоминаю про ложную тревогу. А уж если ребята в школе об этом пронюхают, как пить дать, в газете про меня напишут — только в «уголке смеха», конечно.



Май Нгы

ВЗРОСЛЫЙ

Если бы спросили у Зунга: «Что бы ты пожелал, будь у тебя книга желаний, какие бывают в сказке,—что ни захочешь, все сбудется?» — Зунг, не задумываясь, ответил бы: «Хочу стать взрослым!»

Не удивляйтесь, друзья, ведь Зунг сказал бы чистейшую правду.

Зунг — самый старший. Его сестрички — Лан и Хунг — совсем еще малышки. А ему уже семь с половиной, и он учится в первом классе.

Вообще-то Зунг мальчик смывленный и послушный. Но есть у него два больших недостатка: он очень любит гулять и не может равнодушно смотреть на сласти.

Давно уже хочется Зунгу стать взрослым. Потому что он так считает: если ты взрослый, то во всем тебе полная свобода. Гуляй сколько хочешь, ешь конфеты сколько влезет!

Взглянул как-то раз отец на календарь, который висел на стене, и очень удивился:

— Что такое, сегодня только третье, а кто-то уже все листки до пятнадцатого оборвал! Ну-ка признавайтесь, чья это работа?

Хунг, предательница, конечно, тут же прямо пальцем на Зунга показывает:

— А я знаю, а я видела! Это Зунг. Он стул подставил и залез!

Отец повернулся к Зунгу:

— Это ты оборвал календарь?

— Да...

— Что за шалости такие! Кто тебе разрешил? Вечно ты балуешься!

— Я не балуюсь...

— Разве это не баловство — календарь оборвать!

Зунг совсем красный от стыда сделался:

— Потому что я хотел... мне один мальчик сказал... — И замолчал, совсем расстроился, наклонил голову, в пол смотрит.

Мама пожалела Зунга:

— Иди поешь, потом поговорите...

Поели. Отец подозвал к себе Зунга:

— Ну так как, расскажешь, почему оборвал листки у календаря?

— Я хотел, чтобы месяц поскорей прошел, тогда бы и год скорее кончился.

— Вот так штука! А для чего тебе это?

Мама — она укачивала Лан, самую младшую сестренку, — вмешалась:

— Наверно, ты хочешь, чтобы поскорее Новый год пришел?

Зунг замотал головой:

— Нет, не Новый год. Я хочу побыстрее стать взрослым.

Тут только отец все понял. Он очень громко засмеялся. И так стало Зунгу стыдно, что он готов был удрать куда глаза глядят.

А отец снова спрашивает:

— Говоришь, хотел побыстрее вырасти, потому и оборвал календарь?

— Ага...

— Неправильно это, сын. Время, годы и месяцы, — оно ведь не в календаре спряталось и лежит. Оно ведь идет... У него свои законы. И никто не может его подтолкнуть, чтобы побежало быстрее, никто не может и задержать его, остановить. Даже если ты все листки сразу у календаря оторвешь или переведешь стрелку часов на целый круг, все равно время не пойдет быстрее. Скажут часы шестьдесят раз «тик-так» — вот тебе и минута, а шестьдесят минут — это уже час, двадцать четыре часа — вот и день, а тридцать дней — целый месяц... Ну как, понял?

— Понял...

— Ну а зачем же ты все-таки так торопишься стать взрослым?

Зунг долго колебался, прежде чем решился поведать свою мечту. А потом все же рассказал.

Отец не стал смеяться, он даже не улыбнулся. Он очень удивился и даже не совсем понял.

Да сказать по правде, такое и понять-то трудновато, потому отец и переспросил:

— Значит, ты решил, что взрослые могут сколько угодно гулять и кушать конфеты?

— Ага!

— Нет, сынок, не так все. Быть взрослым — это значит трудиться, отдавать свой труд людям, обществу. Вот что это значит, а ты говоришь — гулять сколько вздумается. Ты подумай сам: разве я гуляю, когда хочу? Посмотри-ка, днем я на работе, вечером на занятиях или на собрании, а если нет, то дома с вами. Только уж когда совсем-совсем свободен или очень устал, иду немного погулять. А если бы я все время бездельничал, знаешь, как бы мне досталось от всех дядей и тетей, с которыми я работаю! Или вот ты про конфеты говоришь. Так ведь и взрослые не все время конфеты едят. Это дурная привычка. Если есть такие, что без перерыва конфеты сосут, с них пример брать не надо. Лет через десять подрастешь — узнаешь, что быть взрослым совсем не так просто и легко. Это даже трудно, сын...

* * *

Но ждать десять лет не пришлось. Зунг стал взрослым через год с небольшим после того разговора. Это случилось тогда, когда Вьетнам начали бомбить американские самолеты.

Дома у Зунга тогда произошли большие перемены. Прежде всего Зунга и его сестренку эвакуировали — их отправили в деревню к бабушке. Потом отец получил повестку и ушел в армию. Перед отъездом он целый день пробыл с ребятами.

Зунгу он сказал:

— Зунг, я теперь буду от вас далеко. Когда вернусь, не знаю. Я иду воевать против агрессоров. Мама тоже далеко, вы остались только с бабушкой. Бабушка старенькая, а Хунг и Лан совсем еще малышки. Придется тебе, мой сын, и учиться, и бабушке помогать, и за малышами последить. Ведь ты теперь остаешься за взрослого. Понял, сын?

— Понял...

— Обещаешь мне, что все сделаешь, о чем я тебе говорил?

— Да, папа, обещаю.

Зунг посмотрел на ставшее серьезным лицо отца, заглянул в его глаза.

Нет, отец вовсе не шутил. Он действительно относится теперь к нему, как к взрослому, поэтому и говорит с ним так: он верит ему и надеется на него.

И тут отец взял Зунга за руку и пожал ему руку. Зунг так растерялся, что чуть было не заплакал, но вовремя вспомнил, что теперь он взрослый, и спохватился: ведь взрослому плакать не пристало.

Он сжал губы и изо всех сил заморгал, чтобы не потекли слезы.

С тех пор Зунг стал совсем другим. Там, где он теперь жил — хоть это и деревня, — было много мест, вполне подходящих, с его точки зрения, для прогулок. Взять, например, хотя бы пруд с лотосами. Он был в самом начале деревни, совсем близко. Летом лотосы очень хорошо пахли, а листья их, большие и зеленые, раскинувшись по воде, покрыли весь пруд.

Деревенские ребята очень любили удить там рыбу или просто кататься на лодке, взятой у старика сторожа, и грызть вкусные молодые побеги лотоса.

Или, к примеру, перед динем¹ в тени развесистых бангов² каждый вечер собирался базар. И хотя был он не очень многолюдный, но ребята там отыскивали для себя немало интересного.

И вот Зунг теперь совсем никуда не ходил — ни к пруду, ни на базар. Возвращаясь из школы и, пока бабушка готовила еду, смотрел за малышами, а после обеда принимался за уроки.

Частенько ему очень хотелось бросить все и скорее побежать гулять. Но он заставлял себя думать так: «Я взрослый, у меня есть еще дела, которые я не успел закончить, поэтому я пойти не могу».

Вот, например, как было однажды. Вечером маленькая Хунг попросила, чтобы он повел ее погулять, посмотреть на базар.

Но Зунг упорно отказывался. Он упрямо мотал головой и твердил: «Нет». Хунг все не унималась, и тогда бабушка попросила:

— Зунг, пойди погуляй с ней — и сам погуляешь.

— Но мне еще уроки нужно приготовить!

— Ну ладно, оставайся тогда, я сама с обеими пойду...

И бабушка увела Лан и Хунг.

Зунг остался дома один. Он уставился на лежащие перед ним

¹ Д и н ь — место общих собраний.

² Б а н г — дерево, напоминающее гигантский фикус.

на столе книжки и тетрадки. Как ему не хотелось сейчас учить уроки! Вот бы прогуляться! Хоть чуточку! Но нет, нужно сначала приготовить уроки. И он решительно уткнулся в книгу.

Однако долго усидеть он не смог.

Что-то не давало ему покоя, и никакие задачки в голову не лезли.

В конце концов Зунг захлопнул учебник и решительно встал. «Будь что будет, пойду прогуляюсь». Но уже у ворот он вновь засомневался и остановился в нерешительности. Хорошо, что как раз в этот момент вернулись бабушка и девочки.

Зунг вздохнул с облегчением и со спокойной душой снова сел за учебники.

Однажды ночью, когда Зунг уже крепко спал, его вдруг разбудила бабушка:

— Зунг, Зунг, проснись!

Бабушке долго пришлось его расталкивать, пока наконец он с трудом открыл глаза:

— Что случилось, бабушка?

— У Лан сильный жар, я не знаю, что с ней!

Зунг тут же вскочил и подбежал к сестренке.

Ой-ой, как покраснелись у нее щечки, как она тяжело дышит и какое горячее у нее тельце!

— Бабушка, что теперь делать?

Зунг был очень напуган.

— Посиди у ее постели, внучек, а я пойду за медсестрой.

Но Лан вцепилась в бабушкину руку и ни за что не хотела ее отпускать.

Как ни уговаривала ее бабушка, как ни баюкала, чтобы она уснула, ничего не помогало, Лан только еще громче плакала.

Вдобавок проснулась Хунг и, испугавшись, тоже захныкала.

Зунг выглянул в окно — ночь черная-пречерная, ничегошеньки в ней не видно. Потом снова посмотрел на Лан: так жалко сестренку! Что же делать? Ах, если бы была тут мама!

Зунг с решительным видом, плотно сжав губы, встал.

— Бабушка, ты оставайся. Я пойду за сестрой.

— Как можно, ночь такая темная сегодня!

— Ничего, пойду.

Зунг сказал это очень уверенно. Он пошарил под кроватью и достал оттуда большую палку.

Уже во дворе он почувствовал, что ему очень страшно: вокруг было так темно, а до дома, где жила медсестра, нужно идти через поле!

Сколько ужасов поджидало его на дороге! Но тут он услышал, как в доме бабушка сказала Лан:

— Спи, маленькая, дай я тебя укрою, Зунг пошел за сестрой,

она тебя вылечит! Хунг, а ну-ка хватит хныкать, ложись спать, живо!

Зунг потоптался немного и пошел.

Еще ни разу не выходил он ночью из дому и уж тем более никогда не ходил один ночью по чужой, незнакомой деревне, где тропинка все время точно ускользала из-под ног.

Густые кусты, торчавшие повсюду, Зунгу в темноте казались притаившимися в засаде людьми. Почему-то именно сейчас на память приходили все рассказы о чертях и злых духах. Он втянул голову в плечи, но назад не повернул, упрямо шел вперед, то и дело спотыкаясь от страха и чувствуя, как в груди громко-громко стучит сердце.

Было очень темно, Зунгу часто приходилось останавливаться, чтобы найти все время терявшуюся тропинку, и эти мгновения были самыми страшными — ему казалось, что кто-то стоит у него за спиной.

«Но ведь я же взрослый, я взрослый, а взрослые не боятся!» — твердил он себе, чтобы успокоиться, и продолжал путь.

Он вышел уже за околицу.

Стало немного светлее, вверху ярко блестели звезды. Дул прохладный, приятный ветерок, поблескивала вода на поле, где только что была высажена рисовая рассада.

Но за деревней все же было страшнее. Там, в деревне, вокруг люди, в темноте можно было различить дома и даже было слышно, как хрюкает свинья или возятся на насесте куры.

А тут, в поле, было совсем-совсем пустынно, только трещали кузнечики.

И дорога была неровной, по ней трудно было идти. Она была вся в рытвинах и колдобинах, оттого что по ней обычно проходили буйволы.

Зунг то и дело спотыкался и падал, ему было так больно, что хотелось заплакать. Но он боялся остановиться, замедлить шаг и торопливо, чуть не бегом, шел вперед, ощупывая палкой дорогу.

Он шел и шел, спина его стала мокрой от пота, а полю почему-то не было конца. Наверно, он потерял тропинку и заблудился.

Зунг испугался не на шутку. Теперь, даже если захочешь, не вернешься, да к тому же как вернуться, если дома Лан в жару? Нет, нужно обязательно найти дом, где живет медсестра. «Никаких чертей нет, и духов нет тоже, откуда им взяться, ведь отец никогда про них не говорил! И вообще взрослые не боятся чертей, ничего не боятся, а я взрослый! Не надо бояться, иди вперед!» — уговаривал себя Зунг.

Зунг кружил и кружил, а тропинку все найти не мог.

Выплыла из облаков луна и осветила маленькую фигурку Зунга, затерянную среди огромного поля. Луна помогла Зунгу, он

нашел дорогу в деревню. У самого ближнего дома в окнах горел свет.

Зунг, обрадованный, побежал прямо туда. Это оказался дежурный пост отряда обороны.

Громкий женский голос спросил:

— Кто идет?

— Это я, я!..

— Кто такой?

Зунг побежал к вышедшей ему навстречу девушке и, едва переводя дух, сказал:

— Меня зовут Зунг, из той деревни, я эвакуированный. У моей сестренки температура, я ищу медсестру...

— Почему же ты сюда забрел, ведь медсестра не в этой деревне?

— Я заблудился, я шел, шел...

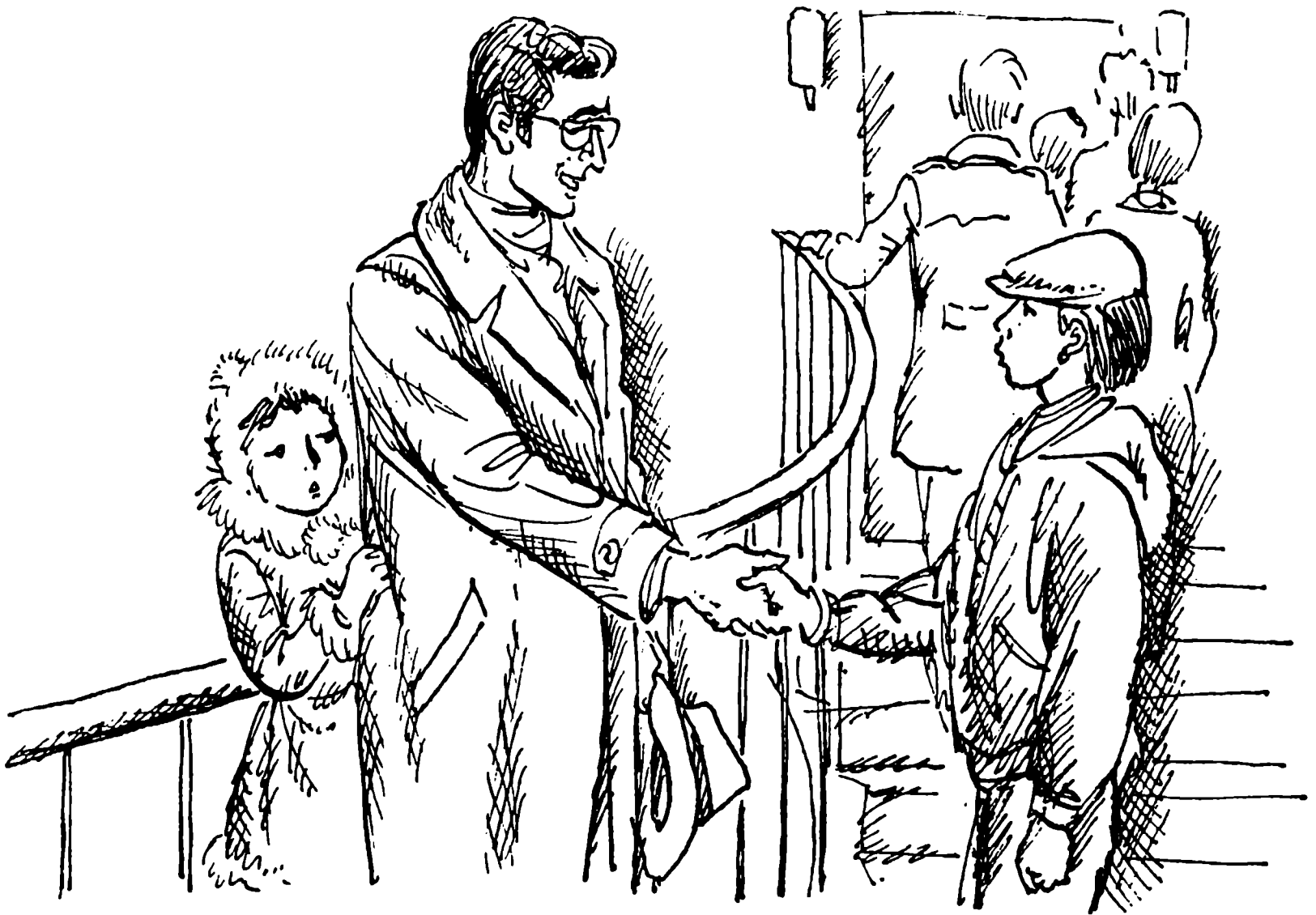
— Ой, бедняга! А она ведь совсем в другом месте! Такой малыш — и один ночью ходить не боится! Подожди-ка, я тебя провожу.

Девушка позвала подругу заменить ее на посту и велела Зунгу идти за ней. В деревне уже запели первые петухи...

...Медсестра, сделав Лан укол, погладила ее по головке и сказала бабушке:

— Ничего, ей сейчас станет лучше. Вы не волнуйтесь. Я завтра приду снова.

Она обернулась, чтобы попрощаться с Зунгом, и увидела, что Зунг, свернувшись калачиком, уже спит. Наверно, после такого долгого и трудного путешествия спалось ему очень крепко.



Петр Незнакомов

НЕОЖИДАННАЯ ВСТРЕЧА

Маргаритке давно хочется сходить в кино посмотреть какой-нибудь интересный мультипликационный фильм. Как-то раз прохожу я мимо кинотеатра «Цанко Церковский», вижу — висит яркая афиша. Тут-то я и вспоминаю Маргариткино желание. Я и сам любитель веселых, забавных фильмов. Зная, что после двух часов дня мы оба свободны, я решаю составить дочке компанию. Возвращаюсь домой и, едва переступив порог, размахиваю билетами. Маргаритка бросается мне на шею.

— Вот это отец! — кричит она. — А я уже потеряла всякую надежду. Хотела просить бабушку, но ты же знаешь, она тяжела на подъем, ее с места домкратом не сдвинешь...

— Ш-ш-ш-ш-ш! — строго останавливаю я Маргаритку и отстраняю от себя ее руки. — Разве можно про бабушку так говорить?

— Это я от тебя слышала.

— Никогда я ничего подобного не говорил! Откуда это у тебя такие выражения?

— Говорил. Помнишь, ты хотел с мамой и с бабушкой в театр пойти? Ты тогда сказал: «Ну и тяжелы вы на подъем, домкратом вас с места не сдвинешь!»

— Ну, довольно тебе,— несколько смущенно говорю я.— Почему ты должна повторять, как попугай, глупости, которые иногда говорят взрослые?

Маргаритка смотрит на меня с удивлением:

— А откуда я знаю, что глупость, а что нет?

Попав в затруднительное положение, я стараюсь переменить разговор.

— Давай-ка скорее поедим, нам надо спешить. А об этом поговорим в другой раз.

Мы обедаем второпях и без четверти два подходим к кино-театру. Входим в фойе, и... какая неожиданность!.. Вы можете догадаться, кого мы встретили? Нет, конечно. На лестнице, ведущей на балкон, держа руки в карманах длинных штанов, стоит наш главный разведчик — тот самый Тошко, который вместе с нами летом пережил столько приключений на Ропотамо.

— Здравствуй, Тодор! — весело приветствую я парня и подаю ему руку.

— Здравствуй, профессор! — оправляется от смущения Тошко: он здоровается со мной и снова засовывает руки в карманы.

Маргаритка в это время неизвестно почему прячется у меня за спиной.

— А-а-а! — удивляюсь я.— Что же это, вы забыли друг друга, что ли? Вы бы хоть поздоровались!

Тошко неохотно вынимает из кармана руку. Маргаритка так же неохотно пожимает ее и опять прячется у меня за спиной.

— Ну, ты что тут подделываешь, Тодор? — спрашиваю я.

— Взял билет на «Случай на границе», на четыре часа.

— Ты, выходит, где-то недалеко живешь?

— Где там! У самого Русского памятника.

— И сам пришел сюда?

— А то как же! Что я, маленький ребенок?

В это время Маргаритка меня дергает сзади за пальто:

— Папа, послушай, что я тебе скажу.

— Ну, говори!

— На ушко.

Я наклоняюсь, не в силах понять, в чем тут дело.

— Папочка, давай выйдем немножко на улицу! — шепчет она.

— Зачем?

— Так просто.

— Глупости! Разве тебе не хочется поговорить с Тошко? Такими друзьями были в Приморском! Тодор, почему ты у нее не спросишь, где лодка?

— А чего тут спрашивать? — говорит Маргаритка. — Лодка лежит дома. Папа, давай выйдем, ну, я прошу тебя! Тут очень душно! До свидания, Тошко!

— До свидания! — холодно отвечает Тошко и, безразлично насвистывая, удаляется.

Что бы это могло означать, черт возьми! Или тут что-то такое, чего я не могу понять? Ведь они расстались в Приморском очень сердечно, обещали приходить в гости друг к другу, откуда же сейчас эта холодность?

Мы с Маргариткой выходим на улицу.

— Ну? — спрашиваю я. — Что это за история? К чему все это?

— Так просто.

— Как это — так просто! Я тебя спрашиваю, что все это значит?

Маргаритка смотрит в землю и смущенно тербит платочек.

— Отвечай же!

— Что... А то, что он мальчишка.

— Ну и что из этого? Разве в вашем классе нет мальчишек?

— Есть, но там другое... Да и они уже не хотят с нами играть.

— Вот те на! А почему они не хотят с вами играть?

— Потому что мы девчонки.

— Кто тебе внушил эти глупости? Разве в пионерской организации вас делят на девчонок и мальчишек?

— Не делят, но...

— И правильно делают, что не делят. Ну-ка, пойдем обратно, и ты увидишь, вы опять станете такими же друзьями, какими были.

Глаза Маргаритки наполняются слезами.

— Папочка, прошу тебя, не надо!

— Но почему? — начинаю я выходить из себя.

— Ох, как ты не понимаешь! Он же будет... смеяться надо мной.

— Как то есть будет над тобой смеяться! С какой стати? Что же в тебе смешного?

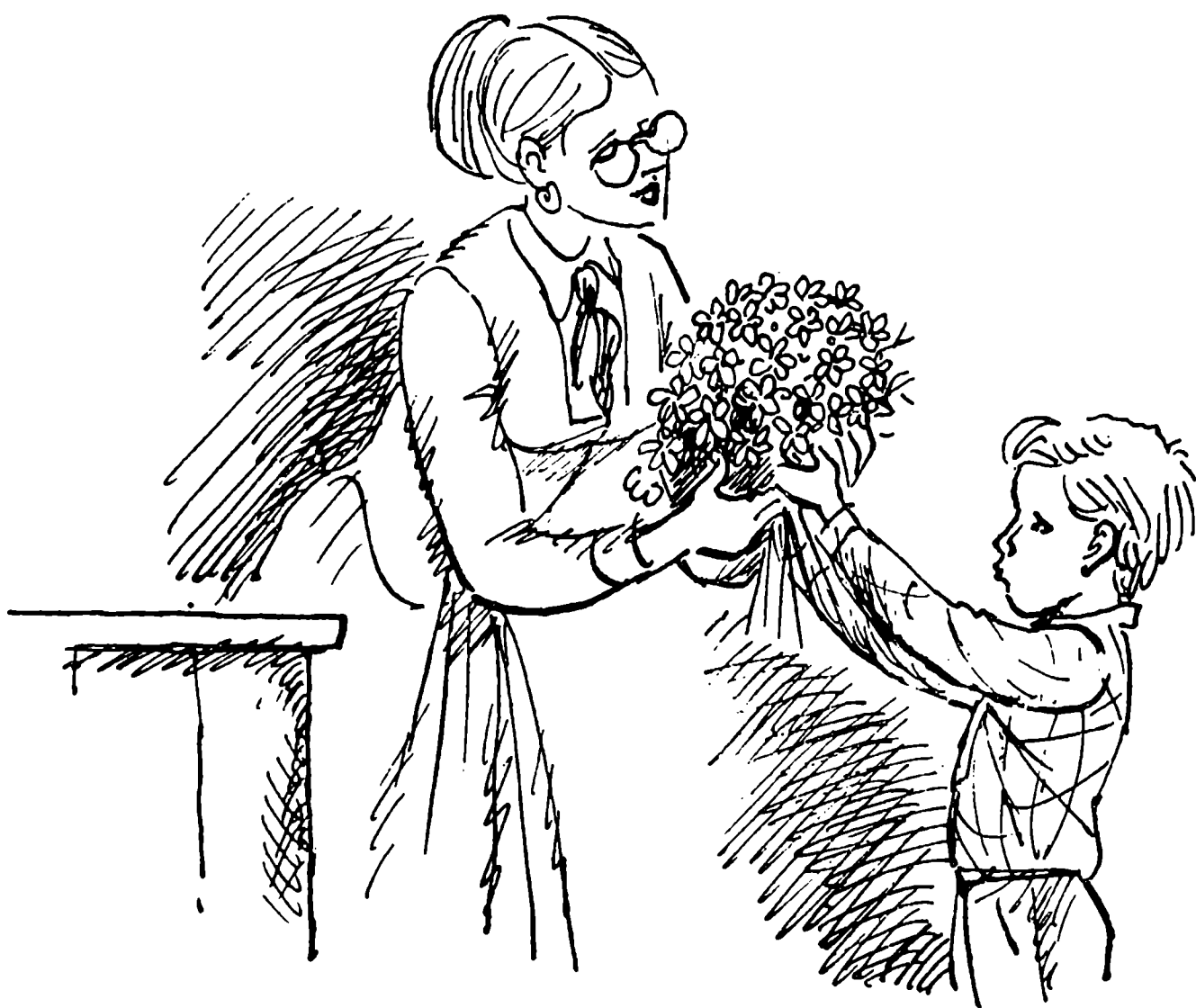
Маргаритка молчит, по ее щекам скатываются слезы. Я кладу ей на плечо руку и привлекаю к себе:

— Что с тобой, моя девочка? Признайся папе и увидишь, тебе полегчает.

— Он... он...— всхлипывает у меня на груди Маргаритка,— ведь он увидит, что я хожу смотреть детские картины... Да еще с отцом... как ребенок какой-нибудь... Знаешь, как над нами смеются...

— Ох, глупышка, глупышка! — усмехаюсь я, поглаживая ее светлую головку.— Так вот оно в чем дело, глупышка ты моя...

И вдруг я понял, что как-то совершенно незаметно Маргаритка перестала быть ребенком. Об этом надо будет серьезно поговорить с мамой. Нам необходимо призадуматься. Да, да, необходимо призадуматься. Ведь Маргаритке уже одиннадцать лет.



Роза Лагеркранц

ПОСЛЕДНИЙ ДЕНЬ

Между тем весна идет, со дня на день лето начнется! Не успели оглянуться, как уже июнь, июнь на пороге и конец занятий!

Когда наступает последний день, Самюэль Элиас встает на восемь минут раньше обычного, спускается во двор и собирает цветы для учительницы. Это папа ему посоветовал. Самюэль Элиас не знает, как они называются — маленькие такие белые звездочки! С черной точечкой посередине!

Учительница просто счастлива, когда он перед началом представления тихонько подходит и протягивает ей букетик. Она сейчас же идет за стаканом с водой и ставит цветы на кафедре, чтобы видели все дети и их родители. С того места, где сидит Самюэль Элиас, цветы видно отлично, но в ту самую минуту, когда он говорит себе, что они очень красиво смотрятся, к нему поворачивается его худший друг, у которого никогда не хватило бы сил

встать на восемь минут раньше, чтобы собрать цветы для учительницы!

— Слышишь! — шепчет он и так настойчиво ловит взгляд Самюэля Элиаса, что тому сразу ясно, что речь идет о каком-то важном деле! — Знаешь что?

— Нет, а что?

Самюэль Элиас уже чувствует, что надо быть готовым к новому подвоху!

— А то, что у тебя котелок не варит! — шепчет Магнус. — Думать надо, разве можно такие дарить!

Он показывает на белые цветочки в стакане и уверяет Самюэля Элиаса, что там внутри, где кончаются белые лепестки, сидят крохотные букашки, которые заползают людям через уши прямо в мозг и пожирают его!

Но на этот раз ему не провести Самюэля Элиаса!

— Чушь, — фыркает Самюэль Элиас. — Отдохни!

— Что ты сказал? — спрашивает Магнус.

— Я сказал: отдохни.

Магнус хмурится.

— Послушай! — зловеще бормочет он. — Ты что, в самом деле хочешь, чтобы учительница осталась без мозга?

Тут же он отворачивается, потому что слышно шум и грохот — это начался спектакль и пора играть подозреваемых.

А это не такое уж простое дело! Во всяком случае, для Самюэля Элиаса, потому что мысли в его голове упорно расползаются по закоулкам, вместо того чтобы выходить вперед, как им положено! Ему стоит огромных усилий направлять их в нужную сторону и в то же время выглядеть жутко подозрительным, как того требует пьеса! И если кто-то портит представление в этот торжественный день, так это не Самюэль Элиас, а Арне-Ларне Ялин! Арне-Ларне поручена роль сугроба в пьесе «Весна», и в самый разгар спектакля он должен растаять. Но у него вдруг начинает идти кровь носом, и он совершенно теряется, стоит как столб под белой простыней, хотя девочка, играющая солнце, сияет изо всех сил! Сколько она ни усердствует, сугробу все нипочем, если не считать, что простыня медленно розовеет! Спектакль заходит в тупик, и папа Арне-Ларне, подбежав к сугробу, сдергивает простыню, и все видят горько плачущего актера с капающей из носа кровью.

Воцаряется страшный сумбур, в это самое время Магнус снова поворачивается к Самюэлю Элиасу и мрачно напоминает ему об опасности, которая грозит мозгу учительницы!

Тем временем Арне-Ларне срочно оказывают помощь, все утешают его, и многие ребята говорят, что розовые сугробы даже красивее белых. А Самюэль Элиас, дождавшись конца суматохи,

снова тихонько подходит к кафедре и теребит пальцами белые звездочки, озабоченно глядя на учительницу.

— Какие чудесные цветы ты принес! — поворачивается она к Самюэлю Элиасу, остановив наконец злополучное кровотечение. — Ты не знаешь, как они называются?

— Не знаю, — вздыхает Самюэль Элиас. — И не такие уж они чудесные, как вы думаете!

— Восхитительные цветы! — заверяет она его, широко улыбаясь.

Самюэль Элиас смотрит на ее улыбку, потом взгляд его поднимается выше, вдоль носа и лба, туда, где расположен мозг учительницы.

Затем он берет двумя руками букет и идет с ним к мусорной корзине.

— Ты забираешь цветы обратно? — звучит за спиной голос учительницы, и он, кивнув, садится на корточки и сует букет в кучу мятой бумаги и карандашных огрызков.

— А почему? Ты сожалеешь о том, что подарил их мне?

Самюэль Элиас сидит на корточках возле мусорной корзины и соображает, что ответить.

— Да, — говорит он наконец.

— Но почему? Я тебе чем-нибудь досадила?

Снова мудреный вопрос. Она досадила ему? Самюэль Элиас пытается припомнить хотя бы один такой случай, но, так как ничего подобного не было, он качает головой, встает и возвращается к Магнусу, который встречает его ласковой улыбкой. Самюэль Элиас тоже слегка улыбается; ведь теперь ему не надо опасаться ни за чьи мозги! Однако в ту самую минуту, когда он садится на место, Магнус вскакивает со своей парты, подбегает к мусорной корзине, выхватывает оттуда букет и возвращает его в стакан с водой на кафедре. Что это на него вдруг нашло?

— Разве можно выбрасывать цветы, которые тебе больше не принадлежат! — говорит Магнус в ответ на вопросительный взгляд учительницы.

Можно подумать, что он совершенно забыл про зловредных букашек.

Но в эту самую минуту из середины букета как раз выпархивает на легких крылышках что-то гадкое и направляется к голове учительницы! С виду совсем безобидная букашка, но сердце Самюэля Элиаса замирает в груди. Потом оно снова начинает колотиться, и он бросается на выручку.

— Берегитесь! — кричит Самюэль Элиас и размахивает руками, пытаясь перехватить букашку в воздухе.

К счастью, она поворачивает в другую сторону и направляется прямо к Магнусу Пильбуму и его лоснящемуся правому уху.

Нырять внутрь и явно не желает оттуда выбираться, сколько Магнус ни кричит и ни дергает себя за ухо. Единственный итог его усилий — капелька крови на пальце. Дети с грохотом вскакивают со своих мест и окружают Магнуса, наседая друг на друга. Им явно не терпится посмотреть, как содержимое Магнусовой головы превратится в насекомый корм. Самюэль Элиас вынужден посторониться, чтобы его не растоптали. И ведь все равно никто ничего не видит. Кроме учительницы, которая, сжав голову Магнуса мертвой хваткой, заглядывает ему в ухо.

Что представляется там ее взору, никому не ведомо, но учительница просит дать ей спичку. Кто-то из родителей выполняет ее просьбу, она принимается ковырять спичкой в злополучном ухе, и Магнус орет так, что окна чуть не лопаются. Но учительница знай себе продолжает ковырять и в конце концов извлекает наружу зловредную тварь. Пытливо изучает ее взглядом знатока природы и возвещает, поглаживая пальцем раздавленную букашку:

— Окрыленный муравей!

Все переводят дух. У Самюэля Элиаса словно гора с плеч сваливается, и в голове его после короткого перерыва снова оживают мысли, поначалу какие-то расплывчатые и вопросительные. А как сейчас ведут себя мысли в голове Магнуса? Может быть, носятся как угорелые зигзагами после того, как их покусал муравей?

Со смешанным чувством восторга и испуга дети славят песней наступившее лето, после чего учительница, как и все учителя в стране в этот день, произносит напутственную речь, призывая их бережно относиться ко всему живому в природе.

— Но самое уязвимое из всех созданий,— говорит она,— это человек, потому что человек постоянно столько всего переживает!

Дальше не происходит ничего особенного. Во всяком случае, ничего кровопролитного, если не считать, что Пер-Ула Эгген самую малость обрезает себе палец, уронив на пол стеклянную салатницу, которую они купили на собранные деньги в подарок учительнице, чтобы она не забывала своих учеников, когда будет смотреть на нее и есть помидоры, огурцы и прочую зелень. Правда, салатница, к сожалению, разбивается на тысячу осколков, но потом уже точно ничего не происходит.

На улице прошел дождик, и, когда они идут домой из школы, вокруг деревьев кружатся и жужжат мошки. Или это скрипки? Самюэль Элиас не знает, что и думать, потому что ему чудится, что у мошек и скрипок очень похожие голоса. Он слышит это впервые в жизни и просит Магнуса тоже послушать, однако Магнус даже его не слышит, идет, зажимая руками не только правое,

но и левое ухо. И вряд ли он замечает, что деревья обсыпали черные тротуары белыми лепестками и воздух пахнет сладкой лакрицей.

Вечером мама Магнуса идет с ним в кафе, чтобы утешить его после не совсем удачного торжества по случаю окончания учебного года, и даже разрешает ему взять с собой Самюэля Элиаса. Она предлагает им выбрать любое блюдо по вкусу, и Самюэль Элиас выбирает тарталетку с креветками, а Магнус — тарталетку с ветчиной. Правда, управившись со своей порцией, Магнус начинает жалеть и даже злиться, что он тоже не взял тарталетку с креветками.



Премчанд

ИГРА В ЧИЖИК

1

Не важно, согласятся или не согласятся со мной друзья, получившие английское воспитание, но я считаю, что игра в чижики лучше всех других игр. Даже теперь, когда я вижу детей, играющих в чижики, у меня появляется сильное желание присоединиться к ним.

Для этой игры не нужно ни ровной лужайки, ни корта, ни деревянного молотка, ни сетки. Срезали ветку с любого дерева, сделали чижики, и игра началась, даже если вас всего двое. Самый большой недостаток английских игр — это то, что принадлежности к ним слишком дороги. Не истратив по крайней мере сотни рупий, вы не сможете назвать себя игроком. То ли дело игра в чижики — превосходное развлечение, не требующее ни пайсы. Но мы настолько помешались на всем английском, что с пренебрежением относимся ко всему своему. В наших школах ежегодно толь-

ко на игры с каждого ученика взимается по несколько рупий. И никому не придет в голову, что лучше играть в индийские игры, не требующие никаких затрат. Английские игры предназначены для тех, у кого много денег. Зачем забивать головы детям бедняков этими развлечениями? Правда, есть опасность выбить чижиком глаз. А разве, играя в крикет, нельзя разбить голову, отбить внутренности, поломать ноги? Я до сих пор ношу на лбу метку от чижика, но среди моих друзей есть и такие, которые поменяли крикетную битку на костыли. В конечном счете это дело вкуса. Мне же из всех игр больше всего нравится чижик.

Когда я думаю о детстве, то самое сладостное воспоминание связано с этой игрой. Рано утром убежишь, бывало, из дому, заберешься на дерево, найдешь подходящую ветку, срежешь и вырежешь из нее чижик и биты. Восторг и страсть толпы игроков, подача и прием, споры и ссоры и та простая обстановка, в которой полностью отсутствует различие между «прикасаемыми» и «неприкасаемыми»¹, между богатыми и бедными, в которой нет места аристократическим замашкам, высокомерию, чванству,— все это забудется лишь тогда, когда... когда...

Дома сердятся. Отец, усевшись на чауке, поглощает лепешки, словно срывая на них свой гнев. Мать гонится за мною до самых ворот. По их мнению, мое мрачное будущее, словно разбитая лодка, мечется по волнам. А я увлечен игрой и забываю умыться и поесть. Чижик — всего-навсего маленькая палочка, но в ней сосредоточена прелесть всего мира и восторг всех зрелищ.

Среди моих товарищей был мальчик Гая. Это был худой высокий паренек года на два старше меня, с очень длинными и тонкими, как у обезьяны, пальцами, обладавший обезьяньей ловкостью и живостью. Как бы высоко и далеко ни летел чижик, Гая бросался на него, как ящерица на букашку. Не знаю, были ли у него родители, где он жил и чем питался, но славился он как чемпион нашего клуба игроков в чижик. Победа той партии, в которую входил Гая, была предрешена заранее. Увидев его еще издали, мы все бросались ему навстречу, приветствовали и старались привлечь на свою сторону.

Однажды мы с Гая играли вдвоем. Он подавал, а я водил. Удивительное дело: подавать мы могли без усталости целый день, водить же надоедало уже через минуту. Для того чтобы избавиться от этой неприятной обязанности, я пускался на хитрости, простительные в этом случае, хотя они и противоречили правилам игры. Но все было тщетно, я никак не мог отводить, а без этого Гая не отпускал меня.

Что же делать, если просьбы не действуют на него? Я побежал

¹ Неприкасаемые — представители низших каст в Индии.

домой, Гая бросился за мной, поймал меня и сказал, замахнувшись палкой:

— Не уйдешь, пока не отводишь! Подавать-то ты любитель, а как отыгрываться — удирать!

— А если ты будешь подавать весь день, так мне весь день и водить?!

— Да, так весь день и не уйдешь.

— Что же мне, теперь не есть и не пить?

— Да! Пока не отводишь, никуда не пойдешь.

— Что я тебе, слуга, что ли?

— Да, слуга.

— Вот возьму и пойду домой! Что ты мне за это сделаешь?

— Как же ты уйдешь домой? Ты что, смеешься надо мной?

Я отводил, а теперь води ты.

— Раз так, отдай гуаву, которую я тебе вчера дал.

— Она давно у меня в животе.

— Вынимай из живота. Зачем съел мою гуаву?

— Гуаву ты мне сам дал, я ее и съел. Я у тебя ее не просил.

— Не буду отыгрываться, пока не вернешь мою гуаву.

Я считал, что справедливость на моей стороне. В конце концов, я дал ему гуаву не просто так, а с какой-то целью. Кто же оказывает любезность бескорыстно? Даже милостыню дают с каким-то расчетом. Какое Гая имеет право требовать, чтобы я отыгрался, если он съел мою гуаву? Давая взятку, люди что-то получают взамен. Не думает ли Гая, что он даром присвоил мою гуаву? Гуава стоила пять пайс. Такие деньги вряд ли есть даже у отца Гая. Гая поступал совершенно несправедливо.

А Гая упорствовал и продолжал тащить меня:

— Отводи, тогда уйдешь. Не признаю никаких гуав.

На моей стороне было сознание своей правоты: он настаивал на несправедливом деле. Я вырвался и хотел бежать. Он снова поймал меня. Я выругался. Он ответил еще более крепкой бранью и, не ограничившись этим, стукнул меня несколько раз. Я выбил ему зуб. Он ударил меня палкой по спине. Я заревел. Против такого оружия Гая устоять не мог и убежал. Я тут же вытер слезы, забыл про ушибы и, улыбаясь, побежал домой. Я был сыном начальника полицейского участка, поэтому даже в то время мне показалось оскорбительным быть избитым парнем из низшей касты. Но дома я никому не пожаловался.

Вскоре моего отца перевели на новое место. Я так обрадовался возможности увидеть новый мир, что даже разлука с друзьями не огорчала меня. Отец был опечален — старое место приносило ему большой доход. Мать тоже расстроилась — здесь все было деше-

во, и к тому же она сдружилась с женщинами нашего квартала. А я не помнил себя от радости. Расписывал мальчишкам, что там, куда мы едем, таких низких домов, как в этом местечке, почти нет. Там здания так высоки, что достигают до неба. Там в английской школе учителя, который побьет ученика, сажают в тюрьму. Широко раскрытые глаза и удивленные лица моих друзей говорили о том, как высоко я поднялся в их глазах. Разве мы, превращающие правду в вымысел, можем понять способность детей превращать вымысел в правду? Как завидовали мне мои неудачливые друзья! Они словно говорили мне: «Тебе, братец, повезло, ты уезжаешь, а мы должны жить и умереть в этой заброшенной деревне».

2

Прошло двадцать лет. Я стал инженером. Однажды, совершая инспекционную поездку по району, я попал в ту самую деревню и остановился в помещении почты. Едва я увидел прежние места, как в моем сердце пробудились сладостные воспоминания детства. Я взял трость и отправился погулять. Мне хотелось осмотреть места моих детских игр.

Под впечатлением нахлынувших на меня воспоминаний детства, я жаждал повидаться со старыми друзьями.

Но оказалось, что в деревне все, кроме названия, стало незнакомым. Там, где раньше были развалины, теперь стояли каменные дома, где раньше росло старое фиговое дерево, теперь разросся красивый сад. Деревня очень изменилась. Вряд ли я узнал бы ее, если б не знал названия и местонахождения. Так и хотелось припасть к земле, зарыдать и сказать ей: «Ты забыла меня. Я и сейчас хочу видеть тебя в твоем прежнем облике».

Вдруг на открытой площадке я заметил нескольких мальчиков, играющих в чижик. На мгновение я совершенно забыл обо всем. Забыл, что занимаю высокий пост, одет по-господски, окружен почетом и наделен властью.

Я подошел к играющим и спросил у одного из мальчишек:

— Послушай, мальчик, не живет ли здесь человек по имени Гая?

Мальчик испуганно ответил:

— Какой Гая? Гая — чамар?¹

— Да, да, он самый, — подтвердил я без особой уверенности. Раз кого-то зовут Гая, то, наверно, это и есть мой знакомый.

— Да, живет.

— Ты можешь его позвать?

¹ Ч а м а р ы — название одной из низших каст в Индии.

Мальчик убежал и вскоре вернулся с темнокожим великаном. Мужчина был в пять локтей ростом. Я узнал его еще издали, хотел пойти навстречу и обнять, но, подумав, остался на месте. Когда он подошел, я спросил:

— Скажи, Гая, ты узнаешь меня?

Гая поклонился:

— Конечно, саркар¹, узнаю. Почему не узнать? Как выживаете?

— Очень хорошо. Расскажи о себе. Что ты делаешь теперь?

— Работаю конюхом у господина депутата.

— Где все наши друзья: Матаи, Мохан, Дурга? Ты знаешь о них что-нибудь?

— Матаи умер. Дурга и Мохан стали почтальонами. А как вы?

— Я районный инженер.

— Вы, саркар, и раньше проявляли большие способности.

— А теперь тебе случается играть в чижик?

Гая посмотрел на меня вопросительно:

— Разве теперь до чижика, саркар? Вздохнуть некогда; только и думаешь, как заработать на хлеб.

— Давай сыграем сегодня вдвоем, ты да я. Ты подавай, а я буду принимать. Я тебе должен одну игру. Хочу сегодня отыгаться.

Только после долгих уговоров Гая согласился. Он — бедный рабочий. Я — высокопоставленный чиновник. Что общего между нами? Бедняга смущался, да и я чувствовал неловкость. Не потому, что я собирался играть с Гая, — меня смущало то, что окружающим эта игра покажется необычной, они превратят ее в спектакль и вокруг нас соберется большая толпа любопытных. Что за удовольствие играть при такой толпе? Но я не мог отказаться от игры. В конце концов решили, что мы уедем подальше и поиграем где-нибудь наедине. С удовольствием поиграем и насладимся забавой детства. Мы с Гая сели в автомобиль и выехали в поле. С собой захватили топорик. Я все это делал очень серьезно, но Гая воспринимал мою затею как шутку. Его лицо не выражало ни интереса, ни удовольствия. Возможно, ему мешала разница в нашем положении.

Я спросил его:

— Скажи откровенно, Гая, ты когда-нибудь вспоминал обо мне?

— Как я мог вспоминать о вас, хузур? Разве я достоин этого? Когда-то мне довелось играть с вами, но какое это имеет значение? — смущенно сказал Гая.

¹ С а р к а р — господин (при обращении).

Меня такой ответ опечалил.

— Однако, Гая, я часто вспоминал тебя. Особенно твою палку, которой ты здорово угостил меня. Ты помнишь этот случай?

Гая с сожалением ответил:

— То было детство, саркар, не напоминайте об этом.

— Вот как! А для меня это одно из самых приятных воспоминаний тех дней. То чувство, которое я испытал, отведав твоей палки, теперь не может быть вызвано ни почетом, ни богатством.

Мы отъехали от деревни мили на три. Нас окружала тишина. На западе на много миль простиралась равнина, где когда-то мы рвали нежные цветы, сплетали из них серьги, вешали себе на уши. Вечернее небо было окрашено шафрановым закатом. Я забрался на дерево и срубил сук. Моментально были вырезаны биты и чижик.

Игра началась. Я положил чижик в ямку и ударом палки подбросил его вверх. Чижик пролетел мимо Гая. Он растопырил руки, будто ловил рыбу. Чижик упал где-то позади него. И это был тот самый Гая, в руки которого чижик раньше словно сам летел! Где бы он ни стоял — справа, слева, — чижик обязательно попадал прямо в его ладони. Будто у Гая была власть над чижиками. Он ловил их все без исключения — новые и старые, маленькие и большие, заостренные и тупые. Словно в его руках был какой-то магнит, который притягивал чжики. Но сегодня чижик все время летел мимо. К тому же подавать начал я и пускался на всевозможные уловки. Недостаток умения я восполнял нечестностью: продолжал бить даже после промаха, хотя по правилам игры следовало передать подачу Гая. Если после слабого удара чижик падал недалеко, я хватал его и ударял второй раз. Гая прекрасно видел все мои хитрости, но ничего не говорил, как будто забыл правила игры. Раньше он очень метко кидал чижик, и тот, звеня, ударялся о палку. Точно у чижика, пущенного рукой Гая, была одна задача — стукнуться о палку. Но сегодня чижик не попадал в цель. Он падал то справа, то слева, то впереди, то сзади палки.

Один раз после получасовой игры чижик ударился о палку. Я сжульничал, сказал, что чижик не попал в палку, он прошел совсем рядом с палкой, но все же не задел ее.

Гая не выразил никакого недовольствия.

— Возможно, не попал, — спокойно сказал он.

— Стал бы я обманывать, — согласился я.

Случись мне так сжульничать в детстве, да разве я остался бы в живых! Этот же самый Гая схватил бы меня за горло. Но сегодня с какой легкостью я обманывал его! Вот осел! Все пере-забыл.

Вдруг чижик вновь ударился о палку, и с такой силой, точно выстрелили из ружья. При таком доказательстве в первый момент

у меня не хватило духа сжульничать. «Но почему бы еще раз не попытаться солгать? — подумал я. — Что я теряю? Поверит — хорошо, нет — придется передать подачу. Сославшись на темноту, я легко избегу необходимости водить».

Гая, радуясь удачному попаданию, закричал:

— Попал, попал! Слышали, как стукнулся?

Я притворился непонимающим:

— Ты видел, что попал? А я не заметил.

— Даже слышно было, саркар.

— А может, чижики стукнулся о какой-нибудь камень?

Сам удивляюсь, как с моих губ сорвалась эта фраза. Это было все равно что назвать день ночью. Мы оба слышали, как звонко ударился чижики о палку, но Гая тотчас согласился со мной:

— Да, наверно, попал в какой-нибудь камень. Если бы ударился о палку, был бы другой звук.

Я снова начал подавать. Но после такого явного обмана почувствовал сострадание к наивности Гая. Поэтому, когда чижики в третий раз коснулся палки, я великодушно решил передать подачу.

— Уже темно, отложим игру на завтра, — сказал Гая.

Я подумал: «Завтра будет много времени, кто знает, как долго придется водить. Лучше закончить это дело сейчас».

— Нет, нет. Еще совсем светло. Начинай подавать.

— Чижики не будет видно.

— Ничего, увидим.

Гая начал подавать, но теперь он совершенно разучился бить по чижику. Он дважды ударил и дважды промазал.

Меньше чем за минуту он проиграл подачу. Бедняга целый час бегал за чижики, а сам не играл и минуты.

Я проявил великодушие:

— Бей еще. Первый раз прощается.

— Нет, брат, темно стало.

— Ты разучился играть. Неужели никогда не играешь?

— Где же выкроить время для игры?

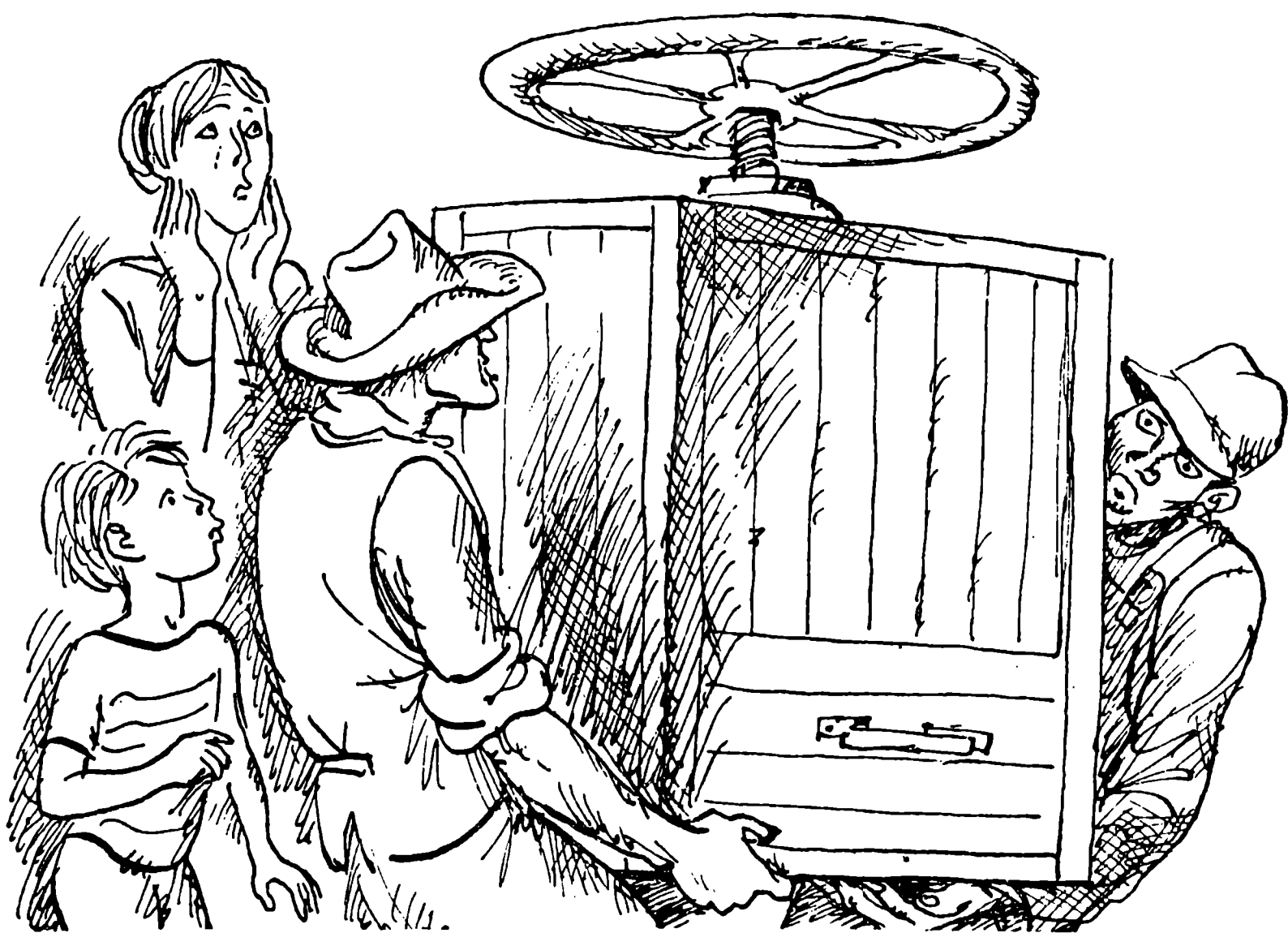
Мы уселись в машину и уже с зажженными фарами вернулись в деревню. По дороге Гая сказал мне:

— Завтра у нас будет игра в чижики. Все прежние игроки соберутся. Вы придете? Я созову игроков, когда вам будет угодно.

Я ответил, что вечером буду свободен, и на следующий день отправился смотреть состязание. На площадке собралось несколько десятков человек. Некоторые оказались товарищами моего детства. Но большая часть собравшихся были юноши, которых я не знал. Игра началась. Сидя в автомобиле, я наблюдал за матчем. Сегодня игра Гая, его мастерство поразили меня. Когда он бил, чижики летел высоко в небо. В его движениях не было и

следа вчерашней скованности, нерешительности, вялости. То искусство игры, зачатки которого были у Гая в детстве, теперь достигло зрелости. Если бы он вчера так подавал мне чирик, я бы, наверно, заплакал от огорчения. От удара его палки чирик летел на двести ярдов.

Один молодой человек из новичков сплутывал. По его словам, он поймал чирик на лету. Гая утверждал, что чирик ударился о землю и, подпрыгнув, отскочил. Дело доходило до драки, но юноша отступил. Он испугался, увидев разъяренное лицо Гая. Я не участвовал в игре, но от игры других испытывал то же наслаждение, как когда-то в детстве, когда мы играли, забыв обо всем на свете. Теперь мне стало ясно, что вчера Гая не играл, а лишь делал вид, что играет. Он просто не принимал меня всерьез. Я плутывал, играл нечестно, но он совершенно не сердился: ведь он не играл, а развлекал меня, потакал моим капризам. Подавая, он щадил меня. Теперь я был для него важным чиновником, и это создало между нами стену. Теперь я мог пользоваться его вниманием, уважением, но не мог рассчитывать на дружбу. В детстве я был ему ровня, между нами не было никакого различия. Теперь, когда я достиг высокого положения, я мог рассчитывать только на его снисхождение, он не считал меня равным себе. Он стал взрослым, а я остался ребенком.



Эрскин Колдуэлл

КАК МОЙ СТАРИК ОБЗАВЕЛСЯ УПАКОВОЧНЫМ ПРЕССОМ

У переднего крыльца нашего дома раздался оглушительный грохот, будто кто-то вывалил нам груды камней на ступеньки. Дом чуть дрогнул на фундаменте, а потом все сразу стихло. Мы с мамой были в это время на заднем крыльце и никак не могли понять, откуда такой шум. Мама испугалась, уж не начинается ли светопреставление, и велела мне быстрее крутить ручку стиральной машины, не то приключится невесть что и она не успеет отжать и развесить белье миссис Дадли.

— Мне хочется посмотреть, что там такое, — сказал я, изо всех сил крутя ручку. — Можно, ма? Можно, я сбегаю посмотрю?

— Крути, крути, Вильям, — сказала она, мотая головой и запихивая в машину комбинезон мистера Дадли. — Там будь что будет, а белье я все-таки повешу.

Я что есть мочи вертел ручку, а сам прислушивался. У переднего крыльца кто-то громко говорил, но слов разобрать было нельзя.

И как раз в эту минуту из-за угла дома выбежал мой старик.

— Моррис! Что случилось? — спросила мама.

— Где Хэнсом? — еле переводя дух, выговорил мой старик. — Куда Хэнсом девался?

Хэнсом Браун — это наш работник негр, который живет у нас с тех пор, как я себя помню.

— Где ему быть? На кухне убирается, — сказала мама. — А зачем он тебе понадобился?

— Я без Хэнсома не справлюсь, — ответил папа. — Мне его сейчас надо, сию минуту.

— Па, давай я тебе помогу, — сказал я, бросив ручку. — Можно, па?

— Вильям! — сказала мама, хватая меня за локоть и подтаскивая к отжималке. — Делай, что тебе велено! Крути!

В эту минуту из-за кухонной двери показалась голова Хэнсома. Мой старик сразу его углядел.

— Хэнсом, — сказал папа, — бросай все и беги к переднему крыльцу. Ты мне нужен.

Хэнсом не сдвинулся с места и поглядел на маму, выжидая, как она отнесется к тому, что он бросит все свои дела на кухне. Но мама запихивала в отжималку старое ситцевое платье миссис Дадли и была так этим занята, что ничего ему не сказала. Мой старик схватил Хэнсома за рукав и стащил его вниз по ступенькам во двор. Мы и оглянуться не успели, как они оба скрылись за домом.

Мне очень хотелось пойти с ними, но я взглянул на маму — и духу не хватило проситься во второй раз. Кручу ручку что есть мочи, лишь бы поскорее отжать белье.

Не прошло и нескольких минут, как мы услышали скрип двери, и потом в передней что-то грохнуло. Точь-в-точь будто крыша провалилась.

Мы с мамой бросились в дом посмотреть, что там творится. Вбегаем в переднюю и видим: мой старик и Хэнсом волокут огромный, тяжелый ящик, выкрашенный ярко-красной краской, как товарные вагоны, и с большим железным колесом на крышке. Он был не меньше старинной фисгармонии и такой же дурацкий с виду. Хэнсом налег на эту машину, она пролезла в дверь и всей своей тяжестью села на пол гостиной, так что портреты на стенах заходили ходуном. Мы с мамой тоже протиснулись в дверь одновременно с этим большим красным ящиком. Мой старик стал рядом с ним, поглаживая его рукой и тяжело переводя дух, точно собака, все утро гонявшаяся за кроликами.

— Моррис! Господи помилуй! — сказала мама, обходя ящик кругом и стараясь понять, что это за штука.

— Ну как, хороша вещица? — спросил мой старик, отдуваясь после каждого слова. Он сел в качалку и с восхищением уставился на ящик. — Правда, хороша?

— Па, где ты его достал? — спросил я, но он будто и не слышал меня.

Хэнсом ходил вокруг ящика и заглядывал в щели, стараясь рассмотреть, что там внутри.

— Подарили его тебе, что ли, Моррис? — спросила мама, отступив к стене, чтобы как следует разглядеть эту громадину. — Где ты такое раздобыл?

— Купил, — сказал папа. — Вот только что, несколько минут назад. Агент, который продает их, заехал сегодня утром к нам в город, и я с ним сторговался.

— Сколько же это стоит? — озабоченно спросила мама.

— Пятьдесят центов наличными, а остальное в рассрочку по пятидесяти центов в неделю.

— А на сколько недель рассрочка? — спросила мама.

— На целый год, — ответил он. — Это недорого. Есть о чем говорить — тьфу! Не успеешь оглянуться, год прошел. Мы и не заметим, как все будет выплачено.

— А что это такое? — спросила мама. — Для чего оно?

— Это упаковочный пресс, — ответил он. — Прессует бумагу. Кладешь в него всякий хлам — ну, скажем, старые газеты или еще что-нибудь, потом завинчиваешь до отказа вот это колесо, и бумага выходит из-под низа готовой кипой, спрессованная и перевязанная проволокой. Замечательное изобретение!

— Мистер Моррис, а что вы будете с ней делать, когда она выйдет из-под низа? — спросил Хэнсом.

— Как что? Продавать, конечно, — сказал папа. — Тот же агент будет заезжать к нам раз в неделю и скупать у меня бумагу. Пятьдесят центов вычтет, а что сверх того — на руки.

— Вот здорово! — сказал Хэнсом. — И вправду замечательная штука!

— Где же ты наберешь столько бумаги? — спросила мама.

— Эка! — сказал мой старик. — Есть о чем думать! Ненужная бумага везде валяется. Старые газеты, да мало ли что еще! Оберточная от покупок и та годится. Несет по улице ветром какой-нибудь обрывочек, и его туда же. Это золотое дно, а не машина.

Мама подошла к ящику поближе и заглянула внутрь. Потом крутанула разок колесо и зашагала к двери.

— В гостиной ей не место, — сказала она. — Моррис Страуп,

будьте любезны вытащить эту уродину из моей парадной комнаты.

Папа кинулся за ней.

— Подожди, Марта! Ведь лучше помещения не придумаешь! Что же ты хочешь? Чтобы я вытащил ее во двор — пусть гниет и ржавеет под открытым небом? Такую ценную машину!

— Убрать немедленно, не то я велю Хэнсому изрубить ее на дрова, — сказала мама и, спустившись во двор, пошла к заднему крыльцу.

Мой старик вернулся назад и долго смотрел на упаковочный пресс, проводя обеими руками по гладко обструганным доскам обшивки. Он стоял молча, а потом вдруг нагнулся и приподнял его. Я и Хэнсом взялись с другой стороны. Втроем мы вынесли его из гостиной на переднее крыльцо. Папа опустил свой конец ящика, и мы тоже.

— Ну вот, — сказал папа. — Тут его и солнцем не будет палить и дождем не замочит.

Он взялся за большое колесо на крышке.

— Хэнсом, неси сюда всю ненужную бумагу со всего дома, — сказал папа, — сейчас и начнем.

Мы с Хэнсом прошли по комнатам и собрали все, что нам попало на глаза. В одном чуланчике нашелся ворох старых газет; я вынес их оттуда, и папа затолкал все сразу в загрузочную воронку. Хэнсом раскопал где-то оберточную бумагу и вернулся с целой охапкой. Мой старик принял ее у Хэнсома и тоже запустил в машину.

— Оглянуться не успеем, как наберется кипа фунтов на сто, — сказал он. — А дальше будет чистая прибыль. Призадумайся, куда деньги девать. На следующей неделе, когда этот агент снова приедет в Сикамору, надо, пожалуй, купить у него еще три-четыре таких прессы. Разве с одним управишься? Столько денег загребем, что придется часть положить в банк. Эх! Не знал я раньше, как деньгу зашибают! Оказывается, проще простого! Вот напрессую побольше, а там можно будет все дела побоку и на покой.

Он замолчал и подтолкнул Хэнсома к двери.

— Хэнсом, нечего прохлаждаться, тащи бумагу!

Хэнсом побежал в комнаты и стал шарить по всем комодам, чуланам и за умывальником. Я нашел на столе в гостиной несколько старых журналов и принес их папе.

— Молодец, сынок! — сказал он. — Старые журналы такой же хлам, как и старые газеты, а весят больше. Тащи их сюда.

Когда я вернулся со следующей порцией журналов, мой старик объявил, что теперь их и на вторую кипу хватит. Мы крепко закрутили пресс, и Хэнсом обвязал новую кипу проволокой. Папа сбросил ее на пол и велел Хэнсому положить на первую.

Через час в углу крыльца у нас лежали три кипы прессованной бумаги. Хэнсом сказал, что теперь во всем доме не сыщешь ни клочка, и мой старик отправился на поиски сам. Он долго пропада́л где-то и наконец вернулся с целой охапкой молитвенников, которые мама закупила для своего класса в воскресной школе. Мы содрали с них переплеты, потому что они были коленкоровые, а мой старик сказал, что всучивать тряпье вместо бумаги нечестно. После этого он опять отправился в комнаты и вышел оттуда с пачками писем, перевязанными ленточками. Ленточки он сорвал, а письма затолкал в пресс. Когда и это было спрессовано, время подошло к полудню, и папа решил сделать передышку на часок.

После обеда мы опять принялись за работу. Мы несколько раз обшарили весь дом, но ничего бумажного не нашли, кроме отставших обоев в одной комнате, и папа велел их сорвать, потому что они все равно старые и только уродуют стены. Потом он послал нас с Хэнсом к миссис Прайс спросить, не найдется ли у нее ненужной бумаги. К миссис Прайс нам пришлось сходить два раза. Под конец все мы так устали, что папа сказал:

— На сегодня хватит — поработали.

Тогда мы втроем сели на ступеньки и пересчитали кипы, сложенные в углу. Их было семь. Папа сказал, что для начала это недурно, и если дальше пойдет так же, то скоро мы будем богаче всех в городе.

Мы долго сидели на ступеньках и радовались, глядя на спрессованную бумагу, и мой старик сказал, что завтра надо встать пораньше и к вечеру наготовить не семь кип, а все двенадцать. Потом мама тоже вышла на крыльцо и увидела сложенную штабелем прессованную бумагу. Мой старик повернулся к ней, думая, что она тоже порадуетя, глядя, как мы много наработали в первый же день.

— Моррис, откуда же это взялось столько бумаги? — спросила она, подходя к кипам и трогая их рукой.

— Со всего дома собрали, Марта, — ответил папа. — Теперь нигде ничего не валяется, весь хлам убрали до последнего клочка. А сколько этой бумаги было запихано по разным уголкам! Только мышинные гнезда разводить. Хорошо, что я купил этот пресс. И в доме стало чище: все прибрано.

Мама расковыряла одну кипу и что-то вытащила оттуда. Это был журнал.

— Моррис! Что же это такое? — сказала она, оборачиваясь. И вытащила еще один журнал.

— Вы знаете, Моррис Страуп, что вы наделали? — сказала мама. — Загубили все мои рецепты и все мои выкройки, которые я сберегала с первого дня замужества.

— Да зачем тебе такое старье? — сказал папа.

Хэнсом попятился к двери. Мама оглянулась.

— Хэнсом, развяжи все до одной, — сказала она. — Я хочу посмотреть, что вы еще у меня взяли? Хэнсом! Делай, как приказано!

— Подожди, Марта... — сказал папа.

— Ма, разве нельзя продать эти газеты и журналы, ведь они старые? — спросил я.

— Молчать, Вильям! — сказала мама. — Нечего отца выгораживать.

Хэнсом развязал верхнюю кипу, и молитвенники вперемешку с журналами посыпались на пол. Мама нагнулась и подняла одну книжку.

— Господи помилуй! — вскрикнула она. — Да ведь это новые молитвенники для воскресной школы! На них деньги собирали по подписке! Люди мне доверились, думали, что уж у меня-то в доме все будет в целости. А теперь полюбуйтесь!

Она расшвыряла газеты и журналы, грудой валявшиеся на полу. Потом ухватилась за другую кипу. Хэнсом хотел было развязать проволоку, но она сама рванула ее.

— А это что? Моррис! — еще громче крикнула мама, глядя на одно из писем, которые мы запустили в пресс.

— Так, какие-то бумажонки, я их в чулане нашел, — ответил папа. — Все равно крысы и мыши съедят.

Мама вся покраснела и тяжело опустилась на стул. Минуты две она молчала. Потом окликнула Хэнсома.

— Хэнсом, — сказала она, покусывая губы и прижимая к глазам краешек фартука, — сию минуту развяжи эту кипу.

Хэнсом перепрыгнул через ворох бумаги на полу и дернул проволоку. Письма грудой упали к маминым ногам. Она нагнулась и подняла целую пачку. Потом пробежала глазами несколько строк в первом же попавшемся письме и закричала не своим голосом.

— Марта, что с тобой? — спросил папа, вставая со ступенек и подходя к ней.

— Письма! — сказала мама, прижимая краешек фартука к глазам. — Любовные письма от моих прежних поклонников! И все твои письма, Моррис! Что же ты наделал!

— Да ведь это бог знает какое старье, Марта, — сказал папа. — Хочешь, я тебе новые напишу, только прикажи.

— Не нужно мне новых! — закричала мама. — Я старые хочу! Она так громко заплакала, что папа не знал, как ему быть. Он прошелся по крыльцу взад и вперед.

Мама нагнулась и набрала с пола целый фартук писем.

— Марта, я тебе еще напишу, — сказал папа.

Мама встала.

— Если ты свои письма ни во что не ставишь,— сказала она,— так, по крайней мере, не трогай бы тех, что мне мои поклонники писали.

Она подхватила фартук с письмами и ушла в комнаты, громко хлопнув дверью.

Мой старик заходил по крыльцу, ступая прямо по газетам и молитвенникам и подкидывая их ногами. Он долго молчал, потом подошел к прессу и провел обеими ладонями по гладко выструганным доскам обшивки.

— Эх, сынок! Зря пропадает бумага! — сказал он.— И чего мама так расстроилась из-за каких-то старых писем? Приехал бы агент на следующей неделе и столько бы нам денег отвалил!



Лодонгийн Тудэв

ПЕРВЫЙ КОНЬ

— Вот твой конь,— сказал как-то отец, указывая на новорожденного жеребенка.

— А не лучше ли отдать ему жеребенка от пятнистой кобылы? — возразила мать.

— Нет. Ты посмотри на этого — едва успел появиться на свет, как сразу же попытался подняться на ноги,— ответил отец.

Я ликовал. Еще бы! Обзавестись собственным конем было заветной мечтой каждого мальчишки в нашей округе. Замечательное слово «конь» входило в первый десяток слов, которые я научился говорить. Под топот конских копыт проходило мое детство.

— Монгол рождается на коне и умирает на коне,— частенько говаривал отец.

Самой первой лошадкой мне служил хорошо обтесанный волнами нашей реки камень-голыш. Я нашел его на берегу и долгое время изображал из себя всадника, зажав камень между пальца-

ми. Позднее я вылепил конька из мыла, а когда пришла очередь пасти ягнят, лошадьё мне служило кнутовище до тех пор, пока не додумался кататься верхом на ягненке. Высматривал самого сильного и забирался ему на спину. Ездил я и на овцах, и на козах. Но что это была за езда! Одно только название. Понукаешь, бывало, козла, понукаешь, а он ни с места.

Тут кстати будет вспомнить об одной выдумке моего младшего брата. Мать дала ему имя Мунагар-бор, что означает Смуглый пестик. Странное имя, не правда ли? Оно пришло матери в голову, очевидно, потому, что нос у братишки был шишечкой и очень напоминал кончик пестика.

Сперва мальчика так и звали — Мунагар-бор, потом незаметно имя сократили, и оно превратилось в Мунагар. Это был смысленный и ловкий парнишка.

Как-то раз он предложил мне:

— Знаешь что, аха¹, покатаемся-ка на баране. Он вечно ходит по пятам за нашей рыжей овцой-лысухой. В полдень, когда стадо пригонят домой, мы этого барана крепко привяжем. А когда овец опять угонят на пастбище, наш баран затоскует. Тут мы его отвяжем, заберемся ему на спину, тогда увидишь, как он помчится вдогонку за своей рыжухой.

Предложение Мунагара мне очень понравилось. Мы так и сделали. Во время полуденной дойки хорошенько привязали барана и пошли в юрту, чтобы попросить у матери сухого творога. Заполучив несколько кусков этого лакомства, мы вернулись к барану. И что же? Разъяренное животное выделяло чудовищные выкрутасы, чтобы освободиться от привязи. Еще бы — ведь отару уже угнали на пастбище и он остался один!

В мгновение ока мы взобрались ему на спину и выдернули колышек, державший веревку. Как мы только не свалились! Мы судорожно вцепились в густую жесткую шерсть. Бежал наш баран ничуть не хуже хорошего жеребца.

А на пастбище возле рыжей овцы уже стоял другой баран. Наш баран при виде его немедленно нагнул голову к земле, намереваясь затеять драку. Но и его соперник был не из пугливых. Удар его крутых крепких рогов пришелся нам по ногам. С громким воплем мы повалились на землю.

Эту сцену увидал наш сосед Ванчик. Вечером он вдоволь посмеялся над нами в присутствии взрослых.

— Посмотрите на них, хороши наездники! Ха-ха-ха, если бы вы видели их верхом на баране!

— Это правда, что вы оседлали барана? — спросил дедушка Мана.

¹ А х а — старший брат.

— Правда!

— И это называется быть мужчиной! — укорил он нас. — Да мы в свое время начинали ездить верхом с трех лет, да не на каком-нибудь паршивом баране, а на настоящем коне. Нет, теперешних детей родители слишком долго нянчат.

Вскоре после этого разговора отец и подарил мне жеребенка — это была кобылка. Я полюбил ее сразу. Бегал к ней каждый день, заботился о ней и выбрал ей хорошее имя — Быстроногая.

Счастье делает человека щедрым. Свою козу, долго служившую мне лошадкой, я подарил младшему брату. Хорошенькая была коза, с острыми копытцами, с ошейником на стройной шее.

Скоро жеребенок превратился в маленькую лошадку.

— Не пора ли приучать ее к седлу? — спросила мать.

А лошадка и так была совсем ручная и нисколько не дичилась.

Люди удивлялись:

— Лошадь-то совсем домашняя!

Однажды мы с братом решили поехать верхом подальше от дома. Наша Быстроногая мчалась стрелой, копыта ее даже искры из камней выбивали. Разве была у кого-нибудь еще на свете такая замечательная лошадь, как у нас? Конечно, нет!

Стояла весна. Прошлой ночью выпал последний в том году снег и до утра не успел растаять. Все вокруг было белым-бело, так что резало глаза. А вот и горный перевал. У обона, небольшой кучки камней, насыпанных в честь духов здешней местности, мы спешились и, подражая старым людям, добавили к обону несколько камешков. Пусть духи радуются. Пригрело солнце, и снег стал быстро таять, от земли шел пар и пряный запах.

— Давай с тобой сделаем «растущий ком», — предложил братишка.

Вы, конечно, знаете, в чем прелесть этой старой детской игры? Забираетесь в горы, из подтаявшего снега делаете снежок и пускаете его по косогору вниз. По пути снежок обрастает новым снегом, и в долину скатывается уже большой ком, нередко достигающий размеров юрты и способный преградить течение ручья или небольшой речушки.

Пока мы играли, прошло немало времени. А тут и голод дал себя знать. Пора было возвращаться.

Лошадь наша мчалась как ветер, и домой мы поспели к обеду.

— Если идти пешком, то мы не вернулись бы и до вечера, — сказал братишка. — А так никто из взрослых и не заметил нашей отлучки.

— Верно! — согласился я. — Лошадь — значит скорость.

Так я узнал, что у всадника большие преимущества перед пешеходом.



Вэнс Палмер

УЛОВ

Раздевшись, мальчуган направился к лужам, которые остались после отлива на плоской скале. Под ногами были подсыхающие теплые камни, шелковистый полуденный ветерок поглаживал кожу. Подняв длинную водоросль, похожую на просоленную виноградную лозу, мальчик завертел ее над головой и, обдавая себя прохладными брызгами, пронзительно завизжал от восторга.

— Подальше от края, старина, — предостерег его мужчина, подняв голову от жестянки с наживкой.

Ну к чему эти разговоры, подумал мальчуган, нахмурившись, и раздавил пальцами морскую виноградину. Что он, младенец?

Эти лужи его вполне устраивали: воды в них по пояс и сквозь нее просвечивают всякие интересные вещи — актинии, разноцветные водоросли, кучи песка, словно озаренные зеленоватым

неоновым светом. Из гротика в гротик шныряют яркие полосатые рыбешки, из щелей между камнями высовываются узорчатые крабы, а иногда прошмыгнет и желтовато-серый угорь с гусиной головой.

Прибой, с ревом обрушивающийся на скалу во время прилива, теперь ворчал у ее края, как усталый зверь, изредка взметая тучи брызг, которые испарялись, не успев упасть. Ярдах в двухстах от нее полумесяцем раскинулся пляж, на песке виднелось несколько коричневых тел, за пляжем, на склоне горы, домики с красными крышами прятались в зарослях банксий. Еще дальше, около устья реки, был отель с террасами и теннисным кортом.

Сонный покой воздуха, пронизанного солнцем, не нарушала ни одна морская птица. Даже мужчина, сонно отведя удочку назад, чтобы закинуть ее в глубокое место, казалось, не сознавал, что делает. Стоя на краю скалы, голый мальчик сосредоточенно глядел на него: плотный человек в голубой рубашке и трусах цвета хаки, на голове нахлобучена фетровая шляпа, в уголке рта торчит изогнутая трубка.

«Возьмите его с собой на скалы, Брайан,— услышал он, как мать шепнула после завтрака.— Он просто обожает ходить с вами. Это последняя возможность».

Все утро она была какая-то тихая и печальная. Может, потому, что завтра на рассвете уезжает Брайан? При мысли об отъезде Брайана ему самому делалось горько. Завтра приедет из города отец, и не будет больше пикников на берегу, кончатся путешествия на песчаные косы, во время которых мама веселилась, как девчонка, а Брайан греб и распевал смешные песенки. Отец не любит кататься на лодке. Он всегда поест — и долго спит. И почти никуда не выходит, разве только изредка возьмет клюшки и отправится играть в гольф на поле около соленого озера.

Леска просвистела в воздухе, грузило шлепнулось в воду за дальними камнями, где было глубокое место. Мужчина, зажав в зубах потухшую трубку и надвинув шляпу поглубже на глаза, устроился поудобней и стал ждать. Через пятьдесят ярдов, которые отделяли его от мальчика, донеслось грубовато-дружелюбное:

— Как вода, Лео?

— Хор-о-ошая, Брайан!

— Не очень холодно?

— Нет, только когдаходишь... Посмотри, здесь меня целиком покрывает.

— Ладно, осторожно, не порежь ноги о кораллы. Давай на этот раз обойдемся без неприятностей.

«Почему он не может забыть?» — подумал мальчик, растянувшись в мелкой луже, так что глаза его оказались на одном уровне с водой. Он прекрасно пснял, что хотел сказать Брайан, они с ма-

мой никак не могут простить ему того случая. Это произошло прошлым летом, в день отъезда Брайана; надо было посмотреть, вывели или нет новую спортивную машину Брайана из гаража отеля, — вот он и залез на верхнюю перекладину веранды, держась за водосточную трубу. Вдруг нога соскользнула, и больше он ничего не помнит, только боль в спине, когда мама, схватив его на руки, бежала по лужайке к отелю. Брайану пришлось везти их за десять миль к доктору, обратно возвращались уже поздно ночью, и, когда машина тряслась по бревенчатому мосту, они по свету в доме узнали, что из города приехал отец. Ух и злой же он был, когда стоял у ворот, освещенный фарами!.. И злился не из-за сломанной ключицы, а вообще на них на всех. И остаток каникул был вконец испорчен.

При мысли об отце над мальчиком, плескавшимся в сверкающей на солнце ямке, на какой-то миг нависла холодная тень. Почему всем делается не по себе, когда он приезжает? Почему он не может быть таким же веселым, как Брайан, насвистывая, болтать с рыбаками у мола и во время поездок на отмель придумывать игры, гоняя раков-отшельников?

«Папа спит, Лео, не шуми... Убери с веранды эти ракушки и водоросли, пока папа не видел...»

Как часто после таких замечаний у него все застывало внутри и он уныло брел за дом к акациям, — ничего не оставалось, как упасть на редкую траву и мечтать, чтобы укусила змея!

Мальчик перебирался из одной лужицы в другую, заглядывая в пещерки позади колыхающихся водорослей. В поисках прозрачной гальки и раковин он переворачивал большие камни. Тут были разные раковины: каурии с зеленоватыми спинками, по которым бежали золотые полосы, большие арабские змеиные головы, которые под пальцами были как бархат. Картонная коробка, где он их держал, была уже набита почти доверху и пахла так, что ему приходилось прятать ее под домом.

— Что еще за мерзость притащил этот мальчишка? — всегда спрашивал отец, сидя на веранде у своей спальни и потягивая носом.

«Завтра он будет здесь. Он приедет вскоре после завтрака, вылезет из автобуса около магазина и сразу поднимет шум, если я буду без сандалий. Прошли хорошие времена».

Люди в пестрых халатах вереницей спускались из пансиона к пляжу. В полуденном воздухе еле слышно звучало их щебетанье; среди кустов банксии они были похожи на попугаев. Море уже отошло далеко, и в мокром песке, как в огромном зеркале, отражалось небо. Вернулись чайки и, аккуратно обходя камни, прохаживались по песку, время от времени останавливаясь, чтобы поглядеть на свои перевернутые отражения. Мужчина не-

подвижно стоял на плоском камне, удочка торчала прямо перед ним, у ног стояла банка с наживкой. «Он, наверное, уже больше часа удит,— сказал себе мальчик,— и до сих пор ничего не поймал. А хочется ему что-нибудь поймать? Похоже, что он и не думает о рыбе. Он смотрит на лодку далеко в море, и удочка у него в руках повисла».

— Эй, Лео!

— Все в порядке! Я здесь!

— Присмотри за удочкой немного, ладно? Я хочу поплавать перед уходом.

Как заяц из чащи, мальчик выскочил из лужи и побежал по скале. Трепеща от гордости, он ухватился за блестящее удилище с никелированной катушкой. Никогда еще он не держал ее в своих руках; на песчаной отмели они удили просто лесками. И ни разу не попалось ничего порядочного, только мелкие мерланы да изредка камбала. А здесь, в глубокой воде у скал, косяками ходили большие тунцы, а однажды даже проплыл кит, и за ним касатки. Сколько самых невероятных возможностей открывалось перед мальчуганом!

— А что, если клюнет, Брайан? Если большая клюнет?

Мужчина улыбнулся.

— Ну что же, держи тогда крепче.

— Тащить не надо?

— А ты сможешь? Я думаю, лучше позови меня. Я буду неподалеку.

Он взял купальные трусы и пошел переодеваться за камни у подножия скалы. Он скрылся из виду, и мальчик был подавлен свалившейся на него ответственностью. Его голые ноги точно приросли к скале, каждый мускул напрягся и трепетал в ответ на легкое подрагивание лески в чуть колышущейся воде. Он раньше и не предполагал, что удочка — это часть его самого; она была совсем живая, она вырастала из его тела и нежными нитями была привязана к его сердцу. Ах, если бы клюнуло, пока нет Брайана! Пусть хотя бы мелкая рыба.

Мужчина разделся и теперь шел вдоль мыса к соседней бухточке. Солнце освещало его густые темные волосы, загорелое мускулистое тело. Он что-то перевернул босым пальцем и нагнулся посмотреть. Постоял и поглядел на лишайник, свисающий с утеса. Он как будто не торопился купаться.

Пусть подольше не приходит, в душе молился мальчик. Не надо. Пусть не приходит.

Через некоторое время удочка у него в руках помертвела. Он стал наматывать леску на катушку, пока не почувствовал тяжесть груза, и тут опять появилось легкое подрагивание, и трепет по руке передался сердцу, от чего кровь веселее потекла по

жилам. И хотя солнце уже садилось и по коже пробежали мурашки, он весь горел от ожидания. Даже если он ничего не поймает, все-таки будет что рассказать маме.

«Мы удили по очереди. Пока Брайан купался, я удил со скалы. С крайней скалы, куда ходят взрослые».

Или: «У Брайана не клевало, и он попросил меня попробовать. Он говорит, если бы мы удили во время прилива, то оба наловили бы по ведру».

Пахло наживкой, подсыхающими лужами, водорослями, нагретыми солнцем. По мере того как море отступало, плеск воды все замирал. Блестящее зеркало песка потускнело. Купальщики из пансиона поднялись на свой утес. Руки у мальчика затекли, тело онемело. Может, можно сесть и зажать удочку между колен?

Вдруг леска со свистом рванулась с катушки, раздался всплеск и удилище так дернуло, что оно почти перегнулось пополам.

— Брайан! — завопил он. — Брайан, у меня клюет!

Ответа не было. Он повалился на скалу, расшиб колено, опрокинул жестянку с наживкой, но не выпустил удочку из рук.

— Брайан! Скорей, Брайан! Мне не удержать!

Он с трудом поднялся на ноги, чувствуя, что борется с диким и непобедимым чудовищем, вроде тех, которых ему приходилось видеть во сне. Из его горла вырывались бессвязные вопли. Как сквозь туман он увидел, что Брайан торопливо бежит к нему по скалам, услышал, что далекий голос просит его держать крепче. Но удочка согнулась, будто вот-вот треснет; леска металась по воде как сумасшедшая.

— Ладно, старина, — спокойно произнес над ним голос. — Теперь давай я.

Над ним уже стоял Брайан — ловкий и всемогущий Брайан — и протягивал руку за удочкой.

— Черт, на этот раз ты поймал здоровую рыбу.

— Тунца?

— Нет, помельче, но зато и порезвее.

Задыхаясь, мальчик подбежал к воде. Рыба еще сопротивлялась, но леса неумолимо тянула ее к берегу. Около скалы она сделала последнее усилие сорваться; опять запела катушка. Выдержит ли кетгут вес этой махины? Воспользовавшись набегающей волной, мужчина рванул, и вот рыба лежит на краю скалы, выпучив глаза, колышущаяся глыба серебра.

Вне себя от радости мальчик опустился рядом с ней на колени.

— Вот громадина, правда, громадина, Брайан? Нам еще ни разу не попадалась такая крупная... Никому такая крупная не попадалась. Сколько она весит?

— Фунтов восемь. Может, и все десять... Неплохо для спиннинга.

— И ведь это я ее поймал, да, Брайан?

— Конечно. А я... У меня даже не клюнуло.

Возбуждение сменилось в душе мальчика благоговейным страхом. Он почти испугался своей неожиданной силы. Это ведь не какой-то мерлан из тех, что суетятся в мелководье; это было чудище, вырванное из таинственной жизни морских глубин. И оно попало на крючок благодаря ему!

— Ну, а теперь одевайся,— сказал мужчина.— Ловля окончена.

Они шли домой по сглаженному отливом песку, погруженные в молчание; Брайан крепко держал за жабры морского окуня. Мальчик то и дело искоса поглядывал на рыбу.

— Брайан, можно я ее понесу, когда подойдем к дому?

— Конечно. Это твоя рыба... Чья же еще? Я донесу ее до ворот, а в дом ты сам ее втащишь. Все равно мне еще надо сбегать в отель переодеться.

Он был какой-то рассеянный, ему, видно, не хотелось разговаривать. Сам примолкнув от волнения, мальчик вприпрыжку бежал вперед, поминутно оглядываясь. Они подошли к скале, за которой начиналась зеленая низина, спускавшаяся к реке. Вот отель с красной крышей и широко раскинувшимися пристройками. И почти напротив, через реку,— дом его матери.

Мальчуган не чуял под собой ног. Он жил уже той минутой, когда он со своей рыбой в руках взберется на крыльцо и вбежит в гостиную, где с книгой лежит на кушетке мама. Он уже видел, как она испуганно уронит книгу и вскочит: «О Лео! Откуда у тебя такое страшилище?»

Очень бесстрастно он ей ответит: «Это морской окунь. Его поймал я. Брайан говорит, около десяти фунтов. А сам он час удил и ничего не поймал».

Гордость распирала его, ослепляя. Его подняло на гребне волны и вынесло из детства на сияющий берег. Он так ясно видел эту сцену в гостиной. Изумление в маминых глазах, когда она спрыгнет с кушетки, обнимет его за плечи и с трепетом скажет: «О Лео!»

Отныне все пойдет по-другому. Она уже не сможет обращаться с ним, как с ребенком. И теперь, когда они поедут на отмель, он сам сядет за весла, один будет бегать днем на мол, где рыбаки чинят свои сети, и спать будет уходить, только когда ему самому захочется, а картонную коробку с ракушками поставит в своей комнате, чтобы, как проснешься, она была под рукой. Даже папа, когда завтра приедет...

— Ну как, старина?

Оставив мужчину у ворот, он со своим грузом взобрался на крыльцо. Колени его дрожали, но он чувствовал себя силачом.

Но мама, вопреки его ожиданиям, не лежала на кушетке. В пышной розовой нижней юбке она пудрила нос перед зеркалом в спальне. Услышав его шаги, она поспешно обернулась и потом опять очень внимательно и озабоченно начала вглядываться в зеркало и, казалось, ничего, кроме собственного отражения, не видела.

— Ах, Лео, почему ты так долго задержался с Брайаном? Уже почти шесть часов.

Она словно не заметила рыбы. Он чуть не задохнулся от обиды.

— Посмотри!

Она положила пуховку и отряхнула пальцы. Поворачиваясь, она пригладила ладонями волосы на затылке. Потом ее взгляд остановился на рыбе, на выпачканной рубашке сына.

— Что это? Славная треска! Долежит ли она до завтра? Но что ты сделал с чистой рубашкой, Лео, милый! И зачем ты прижимал к себе эту рыбу... Ты весь в крови и чешуе. Снеси рыбу на кухню, если Джесси там, пусть почистит... И быстренько беги переоденься. Мы будем обедать с Брайаном в отеле.

Она распахнула дверцу шкафа и задумчиво посмотрела на висевшие там платья, похожие на сброшенные змеиные кожи. Даже плечи у нее опустились под тяжестью задачи, которую нужно было решить.

Резко повернувшись, мальчик пошел на кухню и швырнул окуня на стол. Оттуда он понуро отправился на задний двор. Побродив там немного без всякой цели, он забрался в узкий проход между гаражом и забором. За ним, почуяв запах рыбы, последовал котенок и стал тереться о его ноги.

«Пусть она идет; я не пойду,— говорил себе мальчик.— Я буду сидеть здесь. До ночи».

Никогда у него на душе такого не было: буря, восстание, молния, пронзавшая грозовые облака. Зачем мама на него посмотрела так, будто ничего не заметила, кроме вымазанной рубашки? Он даже не смог ей сказать, что сам поймал эту рыбу, которую она назвала треской. И пусть — теперь уж он никогда ей об этом не расскажет.

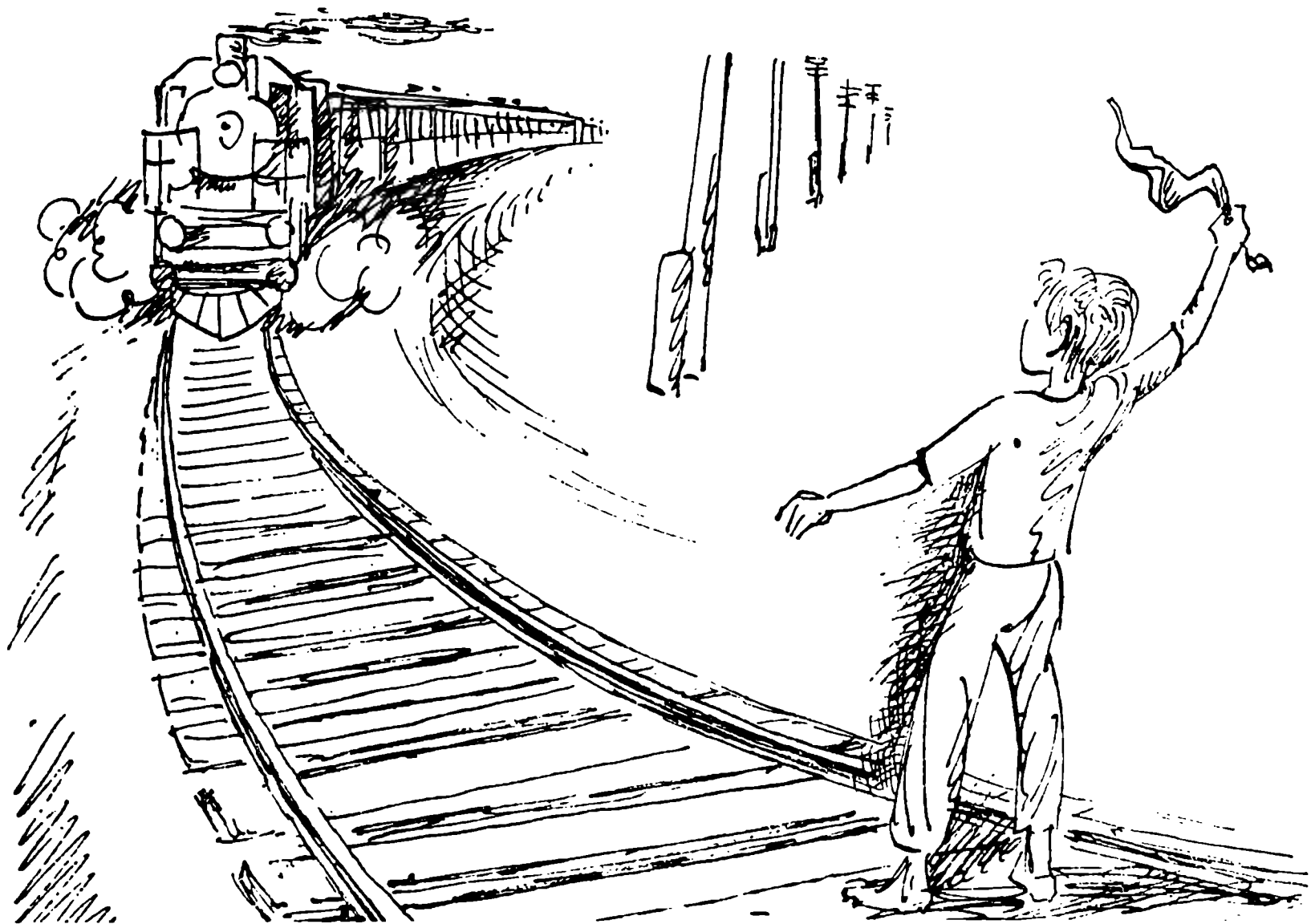
Вдруг он обнаружил, что незаметно очутился около кухонного стола и смотрит на своего окуня. Он стал как-то меньше, гораздо меньше... и каким-то противным; глаза застыли, чешуя высохла и потускнела. Он поднял рыбу за хвост. Она застыла, стала твердая, как будто из дерева.

— Лео! — позвала мать из спальни.— Куда же ты пропал, милый?

Темная волна захлестнула его. Схватив рыбу, он бросился, спотыкаясь, с заднего крыльца к воротам и по низкой зеленой траве к молу. Уже начался прилив, вода пробиралась по песку, пенилась у рыхлых берегов устья. Мальчик постоял на краю, сжав губы, глядя на волнующуюся воду, которая гнала перед собой кайму плавучих водорослей; потом размахнулся и бросил рыбу вниз. Она сначала скрылась под водой, потом всплыла на боку, уставившись на мальчика выпученным глазом.

— Что случилось, сынок? — крикнул рыбак, подняв голову от сетей.— Испортилась, что ли?

«Испортилась»,— хотел он произнести, но что-то застряло у него в горле. Сухими глазами, с окаменевшим лицом, с застывшей душой он стоял и смотрел, как отхлынувшая волна подхватила рыбу и вынесла ее в море.



Рудо Мориц

СЛУЧАЙ НА БОЛОТЕ

Июньское солнце припекало. Андрей Грегор возвращался с пионерского сбора. На сердце у мальчика было легко, и ему казалось, что он не шел, а летел в дрожащем от жары воздухе. Ему хотелось досыта накупаться в солнечных лучах, а потом птицей влететь в тень елового леса. Мальчик не спеша брел вдоль железнодорожной насыпи, а когда деревня осталась позади, свернул к лесу. Чужой человек мог бы здесь попасть в беду: с виду никакой опасности — над травой мелькают крылья мотыльков, кое-где торчит одинокая ольха или осина, зеленеют островки кустарника; но это были предательские болотистые места. Через несколько шагов у Андрея зачавкало под ногами, а в просветах между подушками кислой травы жирно заблестела ржавая вода.

Андрей всегда ходил только по краю болота. Он помнил, как в ту осень, когда он пошел в школу, в болоте утонула телка. Ко-

гда люди прибежали на зов пастуха, болото уже затянуло животное.

Вот почему Андрей так осторожно обходил теперь эти места. И вдруг... Что это? Или он ослышался? С болота долетел зов: «По-мо-ги-ите!» Крик доносился то сильнее, то слабее, словно человек кричал уже из последних сил.

Андрей остановился. В голове у него как молния мелькнули рассказы бабушки о трясиных, о блуждающих огоньках и светлячках, которые заманивают людей в такие места. «А, все это сказки! — подумал он. — Тут нужна помощь! Что делать? Бежать за кем-нибудь или самому...»

С болота снова слышался голос. Казалось, это хрипло кричал ребенок. У Андрея задрожали колени. В голове начало стучать. Самое верное — это бежать за людьми в деревню. А что, если не успеют прибежать вовремя?

Нет, Андрей должен сам убедиться, что можно сделать, а потом решить, как быть.

Легкими, осторожными шагами он ступил в болото. Но вдруг под ногами зачавкало... У Андрея по телу побежали мурашки. Ему страшно захотелось вернуться, но он пересилил себя и двинулся дальше. Ржавая вода поднялась до щиколоток. Еще два шага — и Андрей ушел в нее по колено. «Надо дотянуться до кустов, — подумал он, — там будет легче!»

Андрей с трудом подобрался к ним. Ему нужна была палка, с ней бы он чувствовал себя уверенней. Мальчик стал высматривать ветку, которую он смог бы использовать.

Но тут снова донесся плачущий голос:

— Помогите!

С болью слушал Андрей эти крики. И он что было сил закричал:

— Э-эй! Кто та-ам?

— Скорей сюда! Помогите! — отозвался голос с болота.

— Иду-у! — громко ответил Андрей, лихорадочно высматривая подходящую ветку.

Наконец на глаза попала толстая кривая ветвь. Такая бы не дала ему провалиться. Всем телом мальчик налег на нее, но она лишь согнулась. Андрей пробовал еще и еще раз. У самого корня что-то затрещало. Еще немного, и ветка надломилась. Андрей отер вспотевший лоб и снова взялся за нее.

Работал он лихорадочно, рвал сук с той силой, которая появляется у человека в трудные минуты. Если б только можно было встать на что-нибудь твердое; ноги все время скользили и проваливались в трясину. Но сук должен уступить, хочет он этого или нет! И внезапно, сухо треснув, он оторвался.

Андрею казалось, что он движется страшно медленно. Но нуж-

но было идти осторожно. Стоило лишь на секунду забыться, и он проваливался выше колен.

Крик звенел где-то совсем рядом. Это был детский голос.

— Держись! — Андрей попытался подбодрить ребенка.

Наконец Андрей увидел его — и окаменел: Йозё!

Это был мальчик из соседней деревни, на два года моложе Андрея. Кто не знал эту веснушчатую рожицу с вечно растрепанным чубом! Непоседливое существо, Йозё всегда во что-нибудь ввязывался.

Но теперь он торчал по пояс в трясине, раскинув в стороны руки, чтобы дольше удержаться на поверхности.

Что делать? Йозё был на большом расстоянии от кустов. Когда он увидел Андрея, он крикнул:

— Помоги, Андрейка!

И Андрей сделал шаг, другой, потом еще один... и начал медленно, но безостановочно проваливаться куда-то вниз. С помощью ветки он быстро выбрался назад. Нет, он не дастся! Если бы какая-нибудь веревочка!.. Привязал бы за ветку, тогда можно было бы легко вытащить Йозё. Андрей обшарил свои карманы, но не нашел даже обрывка бечевки. А ведь часто носил с собой целые мотки...

— Скорей, Андрейка!.. Чего же ты ждешь? — просил Йозё и стал рваться из трясины.

— Я не могу к тебе... — тихо сказал Андрей, сжав губы. Он был в отчаянии.

— Сделай что-нибудь.

Внезапно Андрей решился. Он бросит сук Йозё, — тогда тот еще некоторое время продержится, а он полетит за помощью.

— Не уходи! — всхлипнул Йозё, когда Андрей сказал ему об этом.

— Нужно... Хватай!..

Андрей примерился, размахнулся и... облегченно вздохнул. Сук плюхнулся возле Йозё.

— Держит? — спросил он, когда мальчик схватился за сук.

— Держит... Немного держит, — говорил Йозё, стуча зубами.

— Сейчас приду, Йозё, еще немного потерпи! — кричал Андрей уверенным голосом, а сам уже продирался через кусты назад.

Горький плач Йозё толкал его в спину — скорей, скорей! Теперь уже было все равно, провалиться по щиколотку или выше колен. Лишь бы скорее выбраться на твердую землю и лететь, лететь... В последний раз Андрей обернулся и крикнул:

— Приду, не бойся!

Но теперь, когда он увидел, как далеко деревня, он почувствовал, как сердце у него сжалось. «Не добегу... Не добегу...» — сту-

чало в ушах, и страх охватил мальчика. Но Йозё не должен погибнуть!

Андрей бежал что было сил и неотрывно смотрел на далекую деревню. Но деревенские домики по-прежнему оставались маленькими. Казалось даже, что деревня отступает перед ним. А вокруг ни души. Андрею стало жарко, он на бегу развязал пионерский галстук и расстегнул рубашку. Легкий ветерок погладил ему грудь, и бежать стало легче.

Вдруг воздух прорезал хриплый голос гудка. Поезд! Андрей бросил взгляд на высокую насыпь, где в тихом ожидании лежали рельсы. Через мгновение по ним прогремит поезд. Пассажирский или товарный?.. Но это все равно: и на том и на другом есть люди! А люди — это помощь для Йозё!

Андрей резко повернул к железнодорожной насыпи. Со стороны деревни приближался поезд, окутанный сизым дымом.

Мальчик взбежал вверх по крутому откосу и остановился между серебряными рельсами. В руках у него трепетал на ветру пионерский галстук.

Поезд был еще далеко, но рельсы звенели, и дрожала насыпь. Грохот усиливался с каждой секундой. Паровоз вырастал. Это был могучий великан, который выплывал из облака дыма. «Только бы увидели, только бы увидели...» — шумело в голове у Андрея, когда он высоко над головой поднял алый галстук. Тут он понял, что произойдет, если его не увидят. Ему очень захотелось скатиться кубарем с насыпи, но вдруг над будкой паровоза вылетел белый клубок пара и сразу же заревел гудок. Люди увидели его! Андрей чувствовал, как дрожат колени, но не двинулся с места, а только быстро махал галстуком из стороны в сторону. В висках у него била кровь, как будто ей стало тесно в жилах и захотелось вырваться на свободу.

А вдруг машинист не остановит? Или не сможет остановить! А Йозё тонет в болоте...

Паровоз стремительно мчался вперед, гудок гудел не переставая, словно разъяренный зверь. Перед глазами Андрея пошли темные круги. Они вертелись с головокружительной скоростью. Мальчик едва держал галстук над головой...

Пришел он в себя только тогда, когда сердитый машинист закричал ему в лицо:

— В чем дело? Смотри, чтобы я тебя не выпорол! Ты понимаешь, что значит остановить поезд?

— Тонет!.. Там, там... тонет! — пробормотал он.

— Кто тонет? — не понял человек в замасленном комбинезоне, однако посмотрел в ту сторону, куда показал мальчик.

Но вдали только зеленел лес и нигде не было видно воды.

— Говори, парень, кто тонет! — потряс он Андрея за плечо.

Андрей уже пришел в себя и отрывисто сказал, где Йозё и что с ним. Резко повернувшись, машинист бросился в будку паровоза. Через минуту он появился снова, неся в руке длинную крепкую веревку. В другой он держал лейку, первый предмет, который попался ему под руку. Крикнул кочегару, чтобы держал паровоз под паром, и схватил Андрея за руку:

— Бежим, парень!.. Ты пионер? — спросил он, когда увидел в руке у Андрея красный галстук. Видно, ему хотелось как-то загладить свою резкость.

— Да, да, бежим, дядя!

Они прибежали к болоту. Здесь стояла тишина.

Андрея затрясло. Ждет его мальчик или уже вода крутится над ним? Он приложил руки ко рту и закричал изо всей силы:

— Йо-зё!

Жив или нет?

И тут из-за кустов донесся скорее стон, чем крик:

— Ан-дрей-ка!..

— Мы идем, Йозё!.. Мы идем! — крикнул Андрей, и горло его сжалось.

Он бросился вперед, шатаясь, иногда падая в ржавую маслянистую воду, но мигом вскакивая и пробираясь дальше. Машинист шел следом огромными шагами, не замечая, что штаны его промокли, а ботинки полны густой грязи.

Наконец они прорвались через заросли кустов. Йозё был уже по плечи в воде. Он судорожно сжимал сук, который ему очень помог. Андрейка не опоздал...

Машинист быстрыми движениями привязал веревку к лейке, крикнул:

— Хватай, парень! — и бросил.

Лейка упала около Йозё, залив ему лицо грязной жижей. Йозё схватил веревку, и машинист стал ее тянуть. Андрей хотел помочь, но машинист оттолкнул его:

— Не надо, у меня одного пойдет лучше!

Йозё понемногу вырывался из трясины. Он попробовал идти, но ноги не слушались мальчика. Веревка сделала свое дело.

Когда Йозё приблизился к своим спасителям, они схватили его под руки и потащили из болота. С него ручьями лилась вода, падали куски тины. Зубы стучали от холода, а может быть, и от пережитого страха.

Они донесли его до насыпи и положили на теплую траву. Солнце возвращало ему жизнь.

Машинист шагнул к Андрею и подал ему замасленную руку.

— Извини, — сказал он приглушенным голосом. — Извини, что сначала нагрубил. Как тебя звать? — Он провел рукой по

щеке мальчика.— Ты герой, Андрей! Не всякий смог бы так долго выстоять перед идущим поездом.

Андрея переполнило радостное чувство. Какая-то неизвестная сила выпрямила его, и вдруг у него задрожал подбородок.

— Ну, будь здоров! — И машинист пошел к паровозу.

На последней ступеньке он еще обернулся и напомнил Андрею, чтобы он скорее отвел Йозё домой, ведь он мог заболеть.

— Он не из нашей деревни, — нерешительно ответил Андрей.

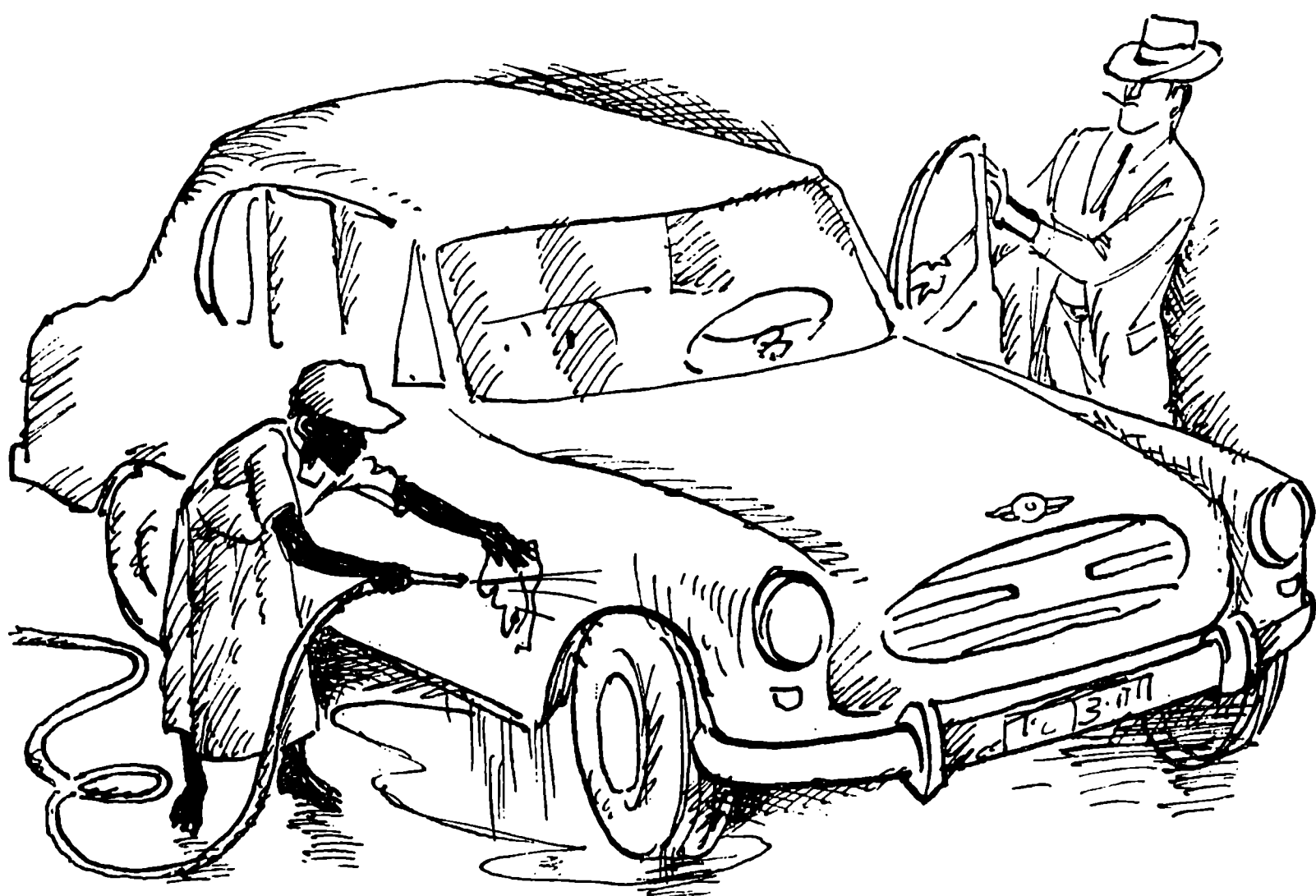
Когда машинист узнал, откуда Йозё, он весело закричал:

— Мы остановимся около твоей деревни! Иди сюда, мокрая курица, отвезу тебя домой! Согреешься тут у котла.

Андрея так и кольнуло. Вот это да! Ехать в будке машиниста! Он хотел что-то сказать, но тут раздался гудок и поезд стал набирать скорость. Когда состав исчез за поворотом, Андрей все еще смотрел ему вслед и махал рукой. В глубине души он завидовал Йозё, который уехал на паровозе.

Андрей постоял немного в наступившей тишине и потом повернул к деревне. В лес он уже не пошел. И всю дорогу домой он представлял себе мокрого Йозё, который ощупывает в будке всякие колесики и ручки. А машинист добрый. Он, наверное, позволит Йозё посвистеть паровозным свистком.

Андрейка тоже попробовал посвистеть, но у него не получилось.



Питер Абрахамс

ОТРОЧЕСТВО

(Из романа «Пароль: «Свобода!»)

В перерыве на второй завтрак я обычно мыл у кузницы машину мистера Вайли. За это он давал мне шиллинг в конце недели. А мой начальник, мастер Дик, повысил мне зарплату до трех шиллингов, так что каждую субботу я приходил домой с четырьмя серебряными монетами в кармане. Половину я вносил за стол, двенадцать пенсов оставлял себе на карманные расходы, и еще один шиллинг тетушка Матти откладывала для меня про черный день. Случалось, она брала займы из моих сбережений, но прежде непременно спрашивала разрешения и всегда возвращала долг в мою скромную казну, бережно хранившуюся у нее в матраце.

Однажды, когда я вымыл машину, мистер Вайли сказал: — Там у меня на столе бутерброды, возьми.

Он отъехал, и я пошел в контору. Девушка в очках с толстыми

линзами жевала в углу завтрак, уткнувшись в книгу. Она подняла глаза, когда я вошел.

— Мистер Вайли разрешил мне взять это.— Я показал на бутерброды.

— Ну что ж, бери.

Я взял пакет с бутербродами и повернулся к двери.

Она окликнула меня.

Я остановился и обернулся.

— Миссис?..

— Мисс, а не миссис! «Миссис» говорят только замужней женщине.

Ее улыбка придала мне смелости.

— Мы говорим так всем белым женщинам, миссис.

— Значит, вы говорите неправильно. Говори мне «мисс».

— Да, мисс.

— Ну вот, так лучше... Сколько тебе лет?

— Одиннадцатый, мисс.

— Почему ты не ходишь в школу?

— Не знаю, мисс.

— Ты умеешь читать и писать?

— Нет, мисс.

— Ну что ты заладил — «мисс» да «мисс». Перестань.

— Хорошо, мисс.

Она засмеялась.

— Сядь. Если хочешь, ешь свои бутерброды здесь.

Я присел на краешек стула у двери.

— И тебе никогда не хотелось учиться?

— Не знаю, мисс.

— Хочешь, я тебе прочитаю?

— Да, мисс.

Она перевернула страничку в книге, которая лежала у нее на коленях, посмотрела на меня и принялась читать вслух. Это был Шекспир в изложении Чарльза и Мэри Лэм, издания 1807 года.

История Отелло сразу захватила меня, а по мере того как белая мисс читала, полностью овладела всеми моими чувствами. Я мысленно перенесся в страну, где храбрый мавр жил и любил и где погубил свою любовь.

Девушка закрыла книгу.

— Нравится?

— О да!

— Вот видишь. В этой книге много таких историй. Если б ты ходил в школу, ты смог бы прочесть их сам.

— А я смогу потом найти такую книгу?

— Конечно, книг много.

— Таких, с такими же историями?

— И таких. Книг тысячи тысяч.
— Тогда я иду в школу!
— Когда? — Глаза у нее заблестели.
— В понедельник.
— Начало положено! — Она рассмеялась. — А почему ты до сих пор не учился?
— Не знаю.
— Ты же видел, что другие дети ходят в школу?
— Никто не рассказывал мне про такие истории.
— Ах вот оно что! Истории...
— Когда я научусь читать и писать, я сам стану сочинять такие же...

Она улыбнулась, а потом вдруг выпрямилась, взяла со стола ручку и открыла книгу.

— Как твоя фамилия?
— Абрахамс, мисс, Питер — так мое полное имя. Питер Абрахамс.

Она что-то надписала на книге.

— Смотри, я поставила здесь твое имя.

Я посмотрел.

— Мое, мисс?

— Да. Я написала: «Из книг Питера Абрахамса». Это тебе.

— А где мое имя?

— Вот эти два слова. — Она показала. — Ну, бери же!

Я взял книгу. Я держал ее очень бережно. Я шагнул к двери, оглянулся. Она покачала головой и засмеялась. И вдруг затихла.

— О боже! — произнесла она и снова покачала головой.

— Спасибо, мисс. Спасибо!

У нее странно блестели глаза за толстыми стеклами очков.

— Иди! — сказала она. — Ступай... В добрый час...

Я растерянно топтался у двери. Она плачет? Но почему?

— Еще раз спасибо, мисс. Спасибо!

— Но вы же видите, сэр, он пропустил половину занятий. Уже середина семестра, и у меня переполнен класс. И потом, такой верзила! Он и по возрасту перерос четвертый... Где ты был, когда начинался учебный год?

— Я работал, мисс.

— ?!

— Ну конечно, конечно. Ведь у нас образование обязательно только для белых и никому нет дела до того, ходит этот мальчишка в школу или нет. Почему я должен вам все это говорить?! Неужели мне нужно приводить вам цифры неграмотности среди вашего же народа? Вы туземка, и я еще должен рассказывать вам о положении вещей, которое вам известно лучше, чем мне!

— Нет, сэр... Но...

— Я знаю. В вашем классе в три раза больше учащихся, чем должно быть; у вас не хватает грифельных дощечек и карандашей; некоторым верзилам пора самим иметь детей и отпустить бороду; у вас не хватает парт; вы не в силах уследить за всей этой оравой. Я все знаю. Но вы только задумайтесь: мальчишка на работе слышит, как кто-то читает книгу, и желание прочесть ее самому приводит его сюда! Он говорит: «Примите меня, я хочу учиться». А мы покажем ему на дверь только потому, что он не отвечает каким-то требованиям? У нас в стране столько талантов, что мы можем позволить себе бросаться ими?.. Слушайте! У меня есть идея! Мы примем его в школу и заставим его и других переростков проходить три дня за один... Мальчик! Питер!

— Сэр?

— Не боишься тяжелого труда?

— Нет, сэр.

— Я задам тебе работу! Ты у меня узнаешь, почем фунт лиха, но я обещаю: к концу года ты будешь читать и писать. Условия жесткие. Если ты будешь замечен в расхлябанности, лени, я велю учительницу послать тебя ко мне и высеку розгой! Крепко высеку! Согласен?

— Да, сэр.

— Ну вот, мальчик и я — мы оба торопимся. Помогите нам. У нас нет лишнего времени... Берите его!

— Слушаю, сэр.

— Хэлло! Еще один?

— Да. Они с директором торопятся. Директор изобрел новую систему: переростки проходят трехгодичный курс обучения за год.

— Бог ты мой!

— С ума сойти, да и только.

— Одного у старика не отнимешь: он болеет за образование цветных. Виссер — единственный директор, о котором я могу это сказать за все годы, что здесь работаю. А он бур! Ты знаешь, на него хотели надеть смирительную рубаху...

— Да. Бурский поэт, мечтатель, безумец. Ему легко сидеть за своим столом и сочинять прекрасные программы. Всю черную работу приходится делать нам.

— Не унывай, деточка. Не такой уж он плохой. Пойду утихомирю свою ораву. Пока.

— Заходи.

— Садитесь. Вот наш новый ученик, Питер Абрахамс. Дайте ему место в углу на последней парте. Подвинься, Адамс.

- С вашего позволения, мисс...
- Да?
- Здесь нет места. Мы так стиснуты, что почти нельзя писать, руку не высвободишь.
- Питеру нужно место. Потеснитесь как можете.
- Слушаю, мисс.
- Так, а теперь поднимите руку, у кого целые грифельные дощечки. Так, значит, ни у кого нет?
- Они все потрескались, мисс.
- Неважно, если они потрескались. Один, два... Только у троих?
- У меня моя собственная, мисс.
- Ты хочешь сказать, Маргарет, что ты сама себе купила дощечку, а не получила ее в классе?
- Да, мисс.
- Так и говори. Ну, хорошо, можешь опустить руку, Маргарет.
- С вашего позволения, мисс...
- Да, Томас?
- У меня дощечка треснула посередине. Я могу дать половинку этому...
- Питеру. Очень мило с твоей стороны, Томас. Благодарю тебя. А ты, я вижу, перебрался на парту Джонса? Но он придет завтра и попросит тебя пересесть.
- Он больше не придет, мисс. У него отца в тюрьму посадили, и Джонсу теперь придется работать, чтобы помогать матери... Такое несчастье! Вы так любили Джонса, не правда ли, мисс?
- Довольно, Адамс. Благодарю, Томас. А у тебя есть отец, Питер?
- Нет, мисс.
- Тебе тоже нелегко приходится?
- Не очень, мисс.
- Вот возьми этот талон. На большой перемене дети выстроятся в очередь в буфете, встань вместе с ними, покажешь талон и получишь бесплатный завтрак. Все. Можешь идти на свое место.
- Спасибо, мисс. Простите, я причинил вам лишнее беспокойство.
- Вернись, Питер. Я хочу, чтобы у тебя и мысли не было, будто ты причиняешь здесь кому-нибудь беспокойство — мне или кому бы то ни было! Ты понял?
- Да, мисс.
- Мы здесь для того, чтобы учить вас и помогать вам. Очень сожалею, если ты что-нибудь не так понял из нашего разговора. Тебе ведь тоже случается иной раз говорить не то, что ты думаешь, не так ли?

— Да, мисс.

— Ну так вот, забудь об этом. И никому не рассказывай, что я и та, другая учительница говорила о директоре.

— Слушаю, мисс.

...Эй, би, си, ди, и, эф, джи, эйч, ай, джей, кей...

.
потом «уай» и «зет» стоит — вот и весь наш алфавит...

Дважды один два-а-а...

Дважды два четы-ы-ре — моют пол в квартире.

Дважды три шесть — негде в комнате присесть.

Дважды четыре восемь — не опаздывать в школу просим!

Дважды шесть двенадцать — вовсе не тринадцать.

Дважды девять восемнадцать.

Дважды десять двадцать...

К — буква.

О — буква.

Т — буква, вот.

Поставьте их рядом, и у вас будет «кот».

— Разрешите спросить, мисс...

— Да?

— Все на свете книги составлены из букв?

— Да, все на свете книги составлены из букв.

— Ии-сусе Христе!

— Что?!

— Ничего, мисс, благодарю вас.

— Эй, посмотрите-ка, нашей голодной команды прибыло. Он из нашего класса. Эй, Питер Абрахамс! Потянуло похлебать со скотиной кофейных помоев? А знаешь, они плюют в чашку, чтоб полнее было...

— Ха-ха-ха!

— Ш-ш-ш! Старина Виссер подслушивает.

— Поди-ка сюда! Да, да, именно ты! Никуда ты не убежишь, трусишка! Я тебя узнал. Иди сюда!

— Сэр?

— Я слышал, что ты сказал. А что, если я тебя теперь исключу?

— Я ничего дурного не имел в виду, сэр.

— Ну конечно же! В этом вся беда с вами, и с этой страной, и со всеми нами! Мы никогда ничего дурного не имеем в виду. Мы наносим обиды, унижаем людей, оскорбляем, лжем и никогда

при этом не имеем в виду ничего дурного. На тебя ведь всегда смотрят свысока — тебя это ничему не научило? Тебе тоже хочется смотреть свысока на кого-нибудь другого? Убирайся! Если я еще раз услышу что-нибудь в этом роде от тебя или кого-нибудь другого... Преподаватель!

— Да, сэр.

— Неужели мы не можем уберечь детей от грубости их соучеников, хотя бы на время, пока они принимают пищу?

— Увы, сэр.

— Их третируют, потому что они бедней своих собратьев. Чванливость одних угнетенных перед другими!

— Не будем с ним играть. У него волосы курчавятся, как у кафра.

— Ну и пошел к черту! У тебя прямые, зато ты чернокожий!

— ...Вот и вся история про Иосифа, который был справедлив ко всем людям.

— Это было на самом деле, сэр?

— Да.

— Почитайте нам, пожалуйста, еще, сэр.

— У меня целых три класса, вам известно?

— Да, сэр.

— Ну так ступайте, меня ждут другие дети, а у вас сейчас урок истории...

— А, Абрахамс. Нас хватило всего на полгода, постепенно начинаем сдавать?

— Нет, сэр.

— Ты хочешь сказать, что твой учитель лжет?

— Боже упаси, сэр.

— Прискучило упорно трудиться? Дальше первой ступени идти не хочешь?

— Почему же, сэр?

— Тогда выкладывай, в чем дело.

— Арифметика, сэр. Не дается она мне, сэр.

— А ты пытался?

— Да, сэр.

— Запись в журнале говорит, что ты не проявляешь к арифметике должного интереса.

— Я пытался, сэр.

— Ты хочешь сказать, что здесь написана ложь?

— Нет, сэр. Я хочу сказать, я изо всех сил старался заинтересоваться.

— Но тщетно?

— Да, сэр.

— Ты, конечно, знаешь, что не я составляю школьные программы.

— Да, сэр.

— Ну так вот, пока ты не достигнешь определенного уровня знаний по арифметике, никакие высокие оценки по остальным предметам тебе не помогут. Таков закон, и не я его придумал. Я стараюсь, сколько могу, помочь тебе пробиться, и ты должен посидеть над арифметикой. Захочешь — найдешь время за счет других предметов.

— Мне нравятся другие предметы, сэр.

— Знаю. Но чтобы попасть, куда ты нацелился, придется заниматься и тем, что тебе не по душе... Куда ты собираешься поступить? Чем думаешь заняться дальше?

— Те истории, сэр...

— Истории?! Ты про книгу, которую тебе подарила та молодая дама?

— Да, сэр.

— А ты не начал забывать их?

— Я теперь пытаюсь их читать, сэр.

— Ну и что-нибудь понимаешь?

— Не очень много.

— Что ж, все в твоих руках. Между тобой и теми будущими знаниями, которые помогут тебе понять эту книгу, стоит арифметика. Как лев, преграждающий тебе путь! Тебе остается либо повернуть вспять, если ты не справишься с ним, либо сразить его и двигаться вперед. Третьего не дано. Творцы наших законов об образовании не позаботились о поэтах. Желаю тебе сразить этого льва и продолжать путь. Арифметика не нужна поэту, но тебе необходимо сдать экзамен... Я обещал тебя выпороть, если тебя когда-нибудь пришлют ко мне, и я должен сдержать свое обещание. Спусти штаны, повернись спиной, и да поможет тебе жгучая боль от розги сразить этого льва...

— Хэлло, Питер.

— Хэлло, Эллен.

— Пошли на другой конец спортплощадки, там меньше народу...

— Не могу.

— Ну пожалуйста... Может, ты просто не хочешь?

— Я хочу, но не могу.

— Почему?

— Зачем спрашивать, когда ты прекрасно знаешь, что я должен стоять в очереди.

— Не сердись!



- А ты не задавай ненужных вопросов.
- Я спросила только потому, что тебе не обязательно стоять в очереди.
- Я хочу есть.
- Я принесла лишние бутерброды.
- Для меня?
- Да.
- Почему?
- Ты мне нравишься. Ты лучший мальчик во всем классе.
- У других отметки лучше.
- Только по предметам, которые ты не любишь. И кроме того, я слышала, как учитель говорил, что ты самый умный. Я с ним согласна. Пошли? Я не хочу, чтобы все видели, что я принесла тебе завтрак.
- Я думал, ты беднее меня, а ты просто беднее.
- Еды у нас хватает. Там, где мама работает, выбрасывают уйму пищи, и мама может приносить домой сколько угодно. Я взяла для тебя бутерброды с курицей. А я все равно не стану толще, как меня ни корми. Пожалуй, мне лучше сразу сказать тебе, что у меня слабые легкие...
- Почему?
- На, бери бутерброды. Тут никто не видит. Пошли вон под то дерево... Вкусно?
- Ммм...
- Я рада. Я буду приносить тебе все самое вкусное... А на потом я прихватила еще кое-что сладкое.
- Мне нечего тебе дать.
- А мне и не нужно ничего. Я просто хочу дружить с тобой, если я тебе нравлюсь. Вот почему я и сказала тебе сразу про легкие. Моя бабушка учит меня, что надо всегда говорить правду. Но даже если я тебе не нравлюсь, я все равно буду каждый день приносить тебе завтрак. «Каждый день» — это, конечно, до тех пор, пока мама будет жить с нами. Она может уйти, и тогда все это кончится... Я тебе нравлюсь? Ты не сказал.
- Да.
- Правда? Перекрестись!
- На, смотри!
- Мне и самой так казалось, но я не была уверена. Только я знала, ты никогда не признался бы, если б я не спросила. А ведь девочке нелегко признаться мальчишке, что он ей нравится.
- Мальчику тоже.
- Но не такому, как ты... Бери и мой бутерброд, пожалуйста. Я все равно не съем. А мужчина должен есть больше, чем женщина. Я всегда рассказываю о тебе бабушке. Она хочет, чтобы

я пригласила тебя к нам. Но ты можешь не приходить, если не хочешь...

— Я хочу. Я сегодня понесу твои книги.

— Ладно. О, я так рада, что ты больше не будешь стоять в этой очереди. Я чуть не плачу, когда слышу, что они там говорят.

— У меня есть волчок и несколько настоящих мраморных шариков. Возьми.

— Нет, не надо. Просто будем дружить.

— Давай. Я считаю, ты самая красивая девочка во всей школе.

— Я темная, и у меня курчавые волосы.

— Ну и что ж такого? Ты мне нравишься.

— Я хочу, чтобы ты стал первым учеником в классе. Ради меня.

— Нет. Первой будешь ты. Ладно? Мне тоже этого хочется.

— Я постараюсь, если тебе этого действительно хочется.

— Ты будешь первой, я вторым, а старина Арендси — третьим. Я хочу, чтобы я мог гордиться своей девушкой.

— Хорошо. Я постараюсь... Звонок. Боже, нам придется нестись со всех ног. Мы опоздаем.

— Давай руку.

— Не так быстро, пожалуйста. А то я закашляюсь.

— ...Старый Виссер пыжится от гордости за своих подопечных. Почти вся дюжина сдала экзамены за два класса. А первая пятерка даже сделала бы честь второму классу нормальной школы. Он хочет дать всем почувствовать, что эта ужасная зубрежка стоила потраченного на нее времени.

— Все-таки он добрый человек... Чего тебе, Питер?

— Мистер Виссер сказал, что вам, может быть, захочется посмотреть на награду, которой он удостоил меня за мое сочинение.

— О... дай взглянуть. Я не знала, что была объявлена награда... За что же? О, Джон Китс, «Стихи». Прекрасная книга. Но ведь тебе, наверное, еще не прочесть ее.

— Мистер Виссер велел мне сказать вам, что когда-то я не смог прочесть Шекспира даже в переложении и что именно это привело меня сюда, в школу. Он просил вас прочесть мне что-нибудь.

— Изволь. «...Пойду с тобой, чтоб быть поводырем тебе, чтоб в нужный час быть обок, рядом, чтобы помочь твоей беде...» Говорит это тебе о чем-нибудь?

— Нет, мисс. Но мистер Виссер сказал, что когда-нибудь я это пойму.

— Ух, этот старик! Это его-то считают безумным и ему не доверили руководить школой для белых!.. Ступай, Питер, беги...



Станислав Стратиев

ОДИНОКИЕ ВЕТРЯНЫЕ МЕЛЬНИЦЫ

Лето близилось к концу, стоял август, и мама раскатала тесто для лапши. Нарезав тесто тонкими полосками, она вынесла их во двор, разостлала простыни и оставила лапшу сохнуть на солнце. Желтые корочки блестели в солнечных лучах, впитывали свет и тепло, понемногу съеживались и трескались.

Лапша высыхала, а я стоял под черешней с длинным прутом в руках и охранял ее от кошек и птиц. Птицы, да и кошки тоже, очень любят лапшу и только того и ждут, чтобы я зазевался, — мигом начинают клевать и с хрустом жевать лапшу.

Мама пошла на базар и велела до ее возвращения глаз не спускать с лапши, в противном случае из меня никогда не выйдет великий человек. Все великие люди отличались исключительной внимательностью.

— И все великие люди стерегли лапшу? — недоверчиво спросил я.

— Самые великие, — сказала мама, — стерегли.

— И три мушкетера? — не верил я.

— Три мушкетера только этим и занимались, — с полной серьезностью подтвердила мама и отправилась на базар.

Когда я стоял так и отпугивал птиц, по улице прошел Атанас-дурачок. Он переваливался, как утка, и смотрел на мир широко раскрытыми глазами.

Атанас очень любил смотреть. Остановится, например, перед каким-нибудь цветком и начнет его разглядывать. Смотрит, смотрит, мы бы уж на его месте триста раз ушли, а он все стоит и стоит. Пока он смотрит, к цветку подлетает бабочка, покружится и садится. Атанас смотрит и на бабочку. Разглядывает ее спокойно, внимательно, не спеша. Бабочки не боялись его и садились на цветы под самым его носом, а потом долго не улетали. Атанас никогда не пытался поймать бабочку или сорвать цветок, на который смотрел.

— Атанас! — крикнул я. — Эй, Атанас, что делает королева Клара?

— Крадет кларнеты! — ответил Атанас. — Король Карл и королева Клара крадут кларнеты!

Этой скороговорке научил его один студент, которому они сдавали комнату. Он многому учил Атанаса, но Атанас запомнил только то, что ему нравилось.

— Ты куда, Атанас? — спросил я. — К королеве? Может, она попала в беду? Или ей угрожает опасность?..

Атанас махнул рукой, засмеялся и зашагал вверх по улице. У меня за спиной ржали кони, били копытами и земля летела из-под копыт. Мир трепетал от нетерпения, прекрасный и юный, качались огромные зеленые листья черешни, а я стоял и караулил какую-то дурацкую лапшу.

— К черту лапшу! — крикнул я и вскочил на коня.

Он встал на дыбы, пронзительно заржал и полетел к замку королевы.

— Продержитесь еще немного, мадам! — крикнул я. — Я скоро!

Под конскими копытами валялись растоптанные маргаритки и стебли травы, грива развевалась на ветру, а в ушах свистел ветер. Из соседнего леса вдруг выскочили всадники кардинала и бросились мне наперерез.

— Господа! — крикнул я. — Какие вы на самом деле господа — это еще вопрос, но чтобы не терять даром времени, вот вам моя перчатка! Защищайтесь!

Моя кружевная перчатка попала в ухо коню. Он испугал-

ся и сбросил седока. Остальные всадники веером окружили меня.

Шпаги сверкали на солнце, весело звенели шпоры, свистел вокруг зеленый ветер, а в глазах людей кардинала солнечными зайчиками вспыхивал страх.

— По одному, господа! — кричал я, и шпага моя носилась как молния. — Всем услужу, не беспокойтесь! Даю вам честное слово!

Кардинальские красавчики побежали по скошенному полю к реке, а я пришпорил коня, направив его к замку, поднимавшему свои гордые башни на ближнем холме. У ворот конь весь в мыле в изнеможении рухнул на землю. Я перешагнул через него и со шпагой наголо помчался по лестнице замка. Испуганные слуги в ливреях падали на колени на персидские ковры.

— Мадам, вы свободны! — крикнул я своим прекрасным голосом королеве, рыдавшей у готического окна.

— Мадам, вы свободны! — крикнул еще кто-то, и я узнал голос Атанаса-дурачка.

Королева подняла глаза. Они были полны слез. Я обернулся и увидел рядом с собой Атанаса...

— Одну минутку, мадам! — виновато сказал я и спрыгнул с коня. — Одну минутку, а то лапша пропадет!

Королева смотрела непонимающими глазами.

Куры набросились на лапшу и оживленно ее клевали. Я разогнал их прутом и сказал Атанасу:

— Атанас, это что такое? Почему ты не стережешь лапшу?! Королеву я освободил и без тебя.

— Мадам, вы свободны! — радостно крикнул Атанас. — Даю вам честное слово!

Казалось, слова эти ему нравились. Он очень любил с нами играть, хотя был гораздо старше нас.

Хотя я вовсе в этом не уверен. Он был гораздо старше только по документам, а на самом деле не старел. Возраст его оставался прежним, и время пролетало мимо, не меняя его. Точно оно не замечало его, а может, они просто были друзьями. Атанас был вечно молод, ничего в нем не менялось — рост оставался прежним, на лице не прибавлялось морщин, глаза блестели по-мальчишески. Таким и нарисовал его Человек, который никогда не говорил неправды, — с молодыми, блестящими глазами. И не будь этого портрета, мы бы так ничего и не узнали об Атанасе и вообще просто не заметили бы его.

— Королева свободна, Атанас, — сказал я, — но мы прозевали лапшу. Смотри, сколько склевали куры.

— Королева свободна! — повторил Атанас.

— Добрый день, Атанас! — сказала моя мама, которая, ока-

зывается, уже вернулась с базара.— О какой королеве вы говорите? О Кларе? Той самой, что крадет кларнеты?

— Королева свободна! — улыбнулся Атанас.— Даю вам свое честное слово.

— Ага! — понимающе сказала мама.— Мой сын опять где-то пропадал. Хотя я просила его не сводить глаз с лапши...

— Я...

— И куры склевали лапшу. Пока он освобождал королеву, они сделали свое дело.

— Я совсем ненадолго...

— Да, конечно, замок был совсем близко, в двух шагах?

Я понурил голову и делал вид, что ужасно раскаиваюсь.

— А когда зимой лапша кончится, ты сбегашь к королеве, чтобы она нам дала займы пять-шесть кило, а? — спросила мама.— Раз замок так близко...

Атанас воспользовался паузой и выскользнул за ворота. Опустив голову, я гадал, какое на этот раз последует наказание.

Я знал, что мама на меня не сердится. Но как говорила она иногда отцу, наказание имеет воспитательный эффект. А мальчик с нашей улицы должен быть воспитанным, другого выхода просто нет. Слушая эти слова, отец усердно кивал головой и очень удачно делал вид, что согласен. Стоило маме посмотреть на него, она не выдерживала и заливалась смехом.

Я старался походить на отца и держаться в точности как он, но, кажется, мне это не удавалось, потому что мама не засмеялась.

— Побегать, конечно, хорошо! — сказала она.— Но ведь надо зимой что-то есть.

— Еще не все потеряно! — ответил я.— Будем есть кур, ведь лапша у них внутри!

Мама засмеялась, погладила меня по голове и отвела глаза, чтобы я их не видел. Но и не видя их, я знал, что они полны слез.

— Мадам! — сказал я, чтобы ее развеселить.— Я буду теперь внимательным! Даю вам свое честное слово!

Мама рассмеялась и вошла в дом.

А я снова сел на коня и понесся вперед, на этот раз к ветряным мельницам. Только я пустился в путь, как во дворе появились Гурко, Тоня и Атанас-дурачок, они тоже уселись на коней, и все вместе мы помчались к ветряным мельницам. Мы ведь только что прочитали «Дон Кихота».

Наши латы сверкали на солнце, наши росинанты ржали и летели по пыльным дорогам, наши рыцарские копья со свистом рассекали воздух.

Мы были разгневаны на злых великанов за все несправедливости, совершенные ими: за то, что добрые страдают, а злые торжествуют; что у одних всего много, а у других ничего нет;

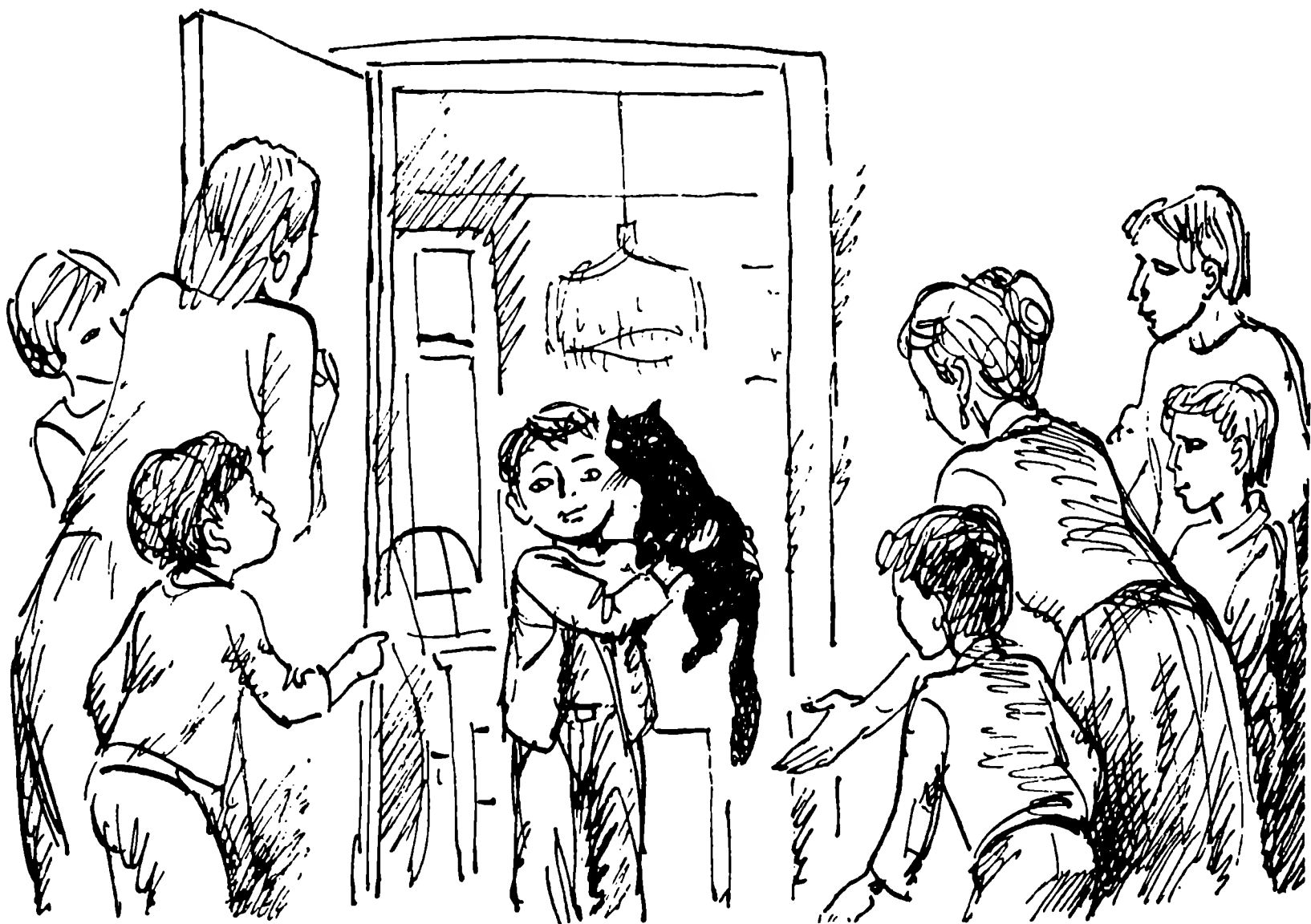
за то, что правда закована в пещере железными цепями, а неправда бродит по свету; что много еще на свете людей с печальными глазами и робкой походкой; за то, что великаны околдовывают наших дульциней и отнимают их у нас...

Так мчались мы в конце августа, неслись по зеленым лугам; росинанты наши летели навстречу злым великанам, которые угрожающе надвигались на нас, становились все больше и больше. Но сердца наши не дрогнули. Они были полны гнева и негодования, мы были юны, и глаза наши сверкали, а руки сжимали рыцарские копья....

Август приходит снова и снова; я смотрю на зеленые поля — они пусты. Мы давно выросли, женились, стали мудрее, а некоторые, без сомнения, станут великими людьми — они всегда необыкновенно внимательны, хотя нет уже у них домашней лапши, которую нужно стеречь.

И только Атанас-дурачок не стареет, и глаза у него блестят по-мальчишески, и он все еще мчится куда-то и, проносясь мимо нас, кричит: «Вперед! Мадам, вы свободны!!!»

Но мы только усмехаемся, а он летит вперед, навстречу одиноким ветряным мельницам.



Альваро Юнке

МАРТИН НИЧЕГО НЕ УКРАЛ!

Мартин и все другие дети из их квартала прекрасно знали его. Это был большой черный кот, с глазами как две монетки, тихого и ласкового нрава. Ребята, проходя мимо, всегда наклонялись и гладили его по мягкой шерстке, а он выгибал спину и терся об их ноги с дружественным мурлыканьем. Так что, когда в то утро, о котором пойдет речь, внезапно раздалось отчаянное мяуканье, все детское население квартала переполошилось. Бедный Фалучо (так звали черного кота), он умрет с голоду! Какой ужас! Да, так и будет! Наверняка!

На третий день после того, как хозяин уехал, по ошибке заперев Фалучо в пустой комнате, мяуканье стало раздаваться почти непрерывно и сделалось каким-то особенно жалобным. Это слабое, протяжное, жалобное мяуканье словно острый нож резало ребячьи сердца, несмотря на то что на совести некоторых маль-

чишек квартала лежало по несколько кошачьих и собачьих жизней, загубленных во время многочисленных браконьерских вылазок. Но ведь Фалучо был такой тихий, такой добрый, такой приятный кот!..

Случилось нечто ужасное. Дело в том, что хозяин Фалучо был портной — полусумасшедший, вечно пьяный старик. По временам он уезжал куда-то и обычно запирали свою комнату, а кота оставлял соседке. Но на этот раз он забыл про кота, и бедняга Фалучо, оказавшись запертым в пустой комнате, подышал от голода и жалобно мяукал, взывая о помощи. Ребята, дрожа от сострадания, собирались возле двери портного и разговаривали с Фалучо через замочную скважину. Кот отвечал им неизменным мяуканьем, которое, казалось, слышалось все более и более издалека: он слабел. Так прошло пять дней. Ребята ломали голову, обдумывая различные планы спасения затворника: взломать дверь, проделать внизу дырку, чтобы можно было просовывать ему мясо?..

Как-то вечером, подойдя к двери, ребята заметили, что мяуканье совсем стихает. Они поняли: близок конец. Но когда же вернется портной? Старый пьяница! Почему знать, может, он и совсем не вернется, свалился где-нибудь на дороге и помер?

Ребята не отходили от двери портного. Время от времени они окликали пленника:

— Фалучо! Фалучито!..

В ответ слышалось все то же печальное мяуканье. Ребятам казалось, что, пока они будут таким образом звать кота, а кот отвечать им, он не умрет.

— Это не важно, если он в этот раз помрет,— сказал один мальчик, самый маленький.— У кошки семь жизней — так пословица говорит. В этот раз он помрет, а потом опять воскреснет, а потом опять помрет... Пока он будет помирать семь раз, дедушка портной вернется.

— Лучше уж пусть он ни разу не помирает,— ответил другой мальчик, настроенный менее радужно.— Надо его спасти! Но как?

— Давайте взломаем дверь, а?

— Давайте!

Восемь мальчишек навалились плечом на проклятую дверь.

— Разом! Посильней!

Восемь плеч разом ударились о дерево. Бесполезно — дверь не поддавалась... Вдруг Мартин, с лицом, осветившимся внезапным вдохновением, воскликнул:

— Подождите, ребята, я спасу его!

И опрометью побежал домой. Вернулся он с огромной связкой ключей:

— Ну-ка, посмотрим, не подходит ли какой-нибудь из них? Он вставил ключ в замочную скважину... Нет! Другой... То же нет! Еще один... Ничего не получается!

Затаив дыхание, вытянув шеи, товарищи ждали. Лица их были бледны от волнения, глаза блестели, а сердца, объединенные в одном благородном порыве, с каждой минутой бились все сильнее. Весь дрожа от возбуждения, сознавая всю ответственность высокой задачи, которую он сам взял на себя, Мартин пробовал один ключ за другим. Может быть, этот?.. Нет, не подходит! Или вот этот, побольше?.. Опять осечка! Он снова и снова вставлял в замочную скважину какой-нибудь ключ и пытался повернуть его — ничего не выходило.

А мальчик, самый младший из всей компании, тот, который верил, что у кошки семь жизней, присел на корточки и, пригнувшись к самому полу, через дверь успокаивал пленника:

— Скоро откроем, Фалучо. Подожди еще немножечко, мы тебя спасем. Не помирай, Фалучито! Еще немножечко не помирай, пожалуйста!

И вдруг ключ повернулся в замке! Мартин толкнул дверь — и она открылась. Ах, какое тут всех охватило ликование, какой радостный крик огласил воздух! Мартин вошел в комнату и вернулся, неся на руках кота, или, вернее, тень, оставшуюся от кота, которая едва слышно мяукала, словно стонала. Мартин торжествующе поднял кота в воздух: он видел однажды, как пожарный вот так же поднял в воздух девочку, спасенную им из огня. Он был встречен восторженными криками товарищей и восклицаниями сострадательных соседок, окруживших плотным кольцом отважных спасителей и вполне разделявших с ними их благородное ликование.

— Ура! Да здравствует Фалучо! Фалучито наш дорогой! — кричали мальчишки.

— Бедняжечка, до чего исхудал! — восклицали женщины.

— Да здравствует Мартин! — крикнула восторженно какая-то девушка.

А одна женщина поцеловала Мартина в лоб, утирая слезы.

— Давай его сюда! — потребовала соседка портного. — Я дам ему молока.

Мартин, раздвигая рукой толпу, гордым шагом героя двинулся по направлению к говорившей, неся на плече тихонько мяукавшего, словно жалующегося кота и сияя радостью от сознания выполненного долга.

Дверь комнаты портного осталась открытой настежь.

Словно им никогда в жизни не приходилось видеть кота, лакающего молоко, двадцать детей, пятнадцать женщин и десять мужчин столпились вокруг Фалучо. Все вытягивали шеи, чтобы

взглянуть на него, а Фалучо тем временем пил блюдо за блюдцем и просил еще. Люди говорили:

— Бедняжка, как он проголодался! Если б он еще день просидел, не выжил бы!

Затевались споры:

— Ну да, не выжил бы! Кошка может сорок дней без пищи просидеть.

— Без пищи — да, но без воды — ни в коем случае!

— Да кошкам пить вовсе не обязательно.

— Не говорите глупостей, приятель. Какой же зверь может жить и не пить?

— А рыбы?

— Ой, потеха, вы только послушайте, что он такое чешет! Это спорили мужчины.

И вдруг перед ними вырос полицейский.

Что здесь происходит? Ему объяснили. Полицейский, высокий и тощий индеец, сделал испуганное лицо.

— Это взлом! Взлом — серьезное преступление! — воскликнул он и, достав блокнот и карандаш, стал допрашивать: — Кто открыл дверь?

Кто-то указал на худенького, очень бледного и дрожавшего мальчика: так выглядел в эту минуту Мартин, с которого вмиг слетела вся героическая осанка.

— Ваше имя? — спросил полицейский, подходя к нему.

— Зачем?

— Зачем? Вы знаете, что вы сделали? Вы посягнули на частную собственность! Это тягчайшее преступление! Если б вы были совершеннолетний, вам пришлось бы порядочно годков в тюрьме просидеть — лет десять, не меньше.

Десять лет! Эти два слова ударили мальчика, словно два камня. Они оглушили его. Десять лет! «Но ведь десять лет — это взрослому, — подумал он. — А несовершеннолетнему? Да тоже, наверно, не меньше пяти... Пять лет тюрьмы! Пять лет!»

Он забыл обо всем на свете, кроме одного: надо бежать! Он бросился бежать, но полицейский стал догонять его, крича:

— Это хуже! Если с побегом, то это еще хуже!..

Дело приняло серьезный оборот. К отцу Мартина явился для переговоров полицейский чиновник. Отцу пришлось идти вместе с сыном в участок. Составили акт. Необходимо было дожидаться возвращения старика: не заметит ли он какой-нибудь пропажи у себя в комнате. Потому что, хотя мальчик клялся, что ничего там не трогал, но... кто знает?!

Прошло два дня. У двери дома, где жил портной и комнату которого снова заперли, стоял полицейский.

Мартин, подавленный, испуганный, не решался носа на улицу показать. Другие ребята, прижавшись друг к другу и таинственно шепчась, наблюдали за полицейским с противоположной стороны улицы. Они боялись, что будут взяты под подозрение как сообщники. «Десять лет!» — сказал полицейский.

На третий день приехал старик. Полицейский сообщил ему о случившемся с просьбой уведомить полицию, если он обнаружит какую-нибудь пропажу.

Старик обнаружил пропажу коробки сигарет.

Когда Мартин узнал, что его обвиняют в воровстве, он возмутился.

— Вранье! — закричал он. — Я ничего не брал! Я только вынес кота. Это все видели. Я вошел, взял кота и сразу вышел. Старик врет!

Да, старик, вероятно, врал... Но ему, мальчишке, разве кто-нибудь поверит? Мартин прочел недоверие в глазах отца, почувствовал его в словах матери, в улыбке бабушки...

Только бабушка ему поверила:

— Портной неправду говорит. Этот мальчик ничего не украл. Этот ребенок ничего плохого не способен...

Полицейский, присутствовавший при разговоре, прервал ее:

— Если он был способен взломать дверь, то он мог также взять сигареты.

Мартин протестовал:

— Нет, нет, ничего я не брал!..

Бабушка, уверенная в невинности своего любимого внука, настаивала:

— Он взломал дверь, потому что хотел спасти кота. У этого ребенка доброе, благородное сердце!

— Очень возможно, что это так, сеньора, но портной обвиняет его...

Необходимо было как-нибудь уладить дело. Старик требовал за пачку сигарет два песо, и отец Мартина дал ему их, не обращая внимания на яростные протесты сына:

— Не давай ему ничего, папа! Он все врет, папа! Я ничего не украл, папа!

Но почему же ему не верят? Почему старику верят, а ему — нет? Потому что ему девять лет, а старику шестьдесят? Мартин совершенно не мог понять, почему это возраст дает такие преимущества!

Мартин пришел в отчаяние. Ему казалось просто непостижимым, что ему не верят. Разве правда — такая простая, такая чистая, такая ясная! — не написана на его лице, красном от нескрываемого возмущения, не звучит в его голосе, хриплом от справедливого гнева?

Он не понимал, как это взрослые могут быть так непонятливы, так слепы и глухи. Когда полицейский и портной ушли, он закричал:

— Но папа, почему же ты мне не веришь? Ты веришь, что я украл пачку сигарет, папа?..

Он ждал ответа. Отец как-то неопределенно пожал плечами:

— Да кто тебя знает!..

Мартин охватил неудержимый гнев. Он разразился громким плачем, в отчаянии топая ногами и задыхаясь от сознания собственного бессилия. Он чувствовал, что эта несправедливость задушит его, как дикий зверь, вцепившийся когтями ему в горло.

Мать, не понимая причины такого припадка ярости, вмешалась в разговор и сердито закричала:

— Хватит, иди в постель! В постель, если не хочешь, чтоб я тебя поколотила!.. Иди ложись, я говорю!

Они еще угрожают ему! За то что он, ни в чем не повинный, защищался от клеветы, за то, что он отстаивал свою детскую честь, такую же священную, как и честь взрослого человека, — за это его еще и наказывают?! Но ведь это же ужасно — из-за такой несправедливости впору повеситься! Мартин подумал, что, если бы сейчас молния небесная поразила его мать, это было бы справедливой карой за такую несправедливость!

Но никакого чуда, которое мгновенно доказало бы его правоту, не произошло, и Мартину пришлось идти в постель, чтобы лежать там без дела целый день в наказание за преступление, которого он не совершал, мучаясь сознанием невозможности опровергнуть порочащее его обвинение.

В этот день он отказался от обеда.

Бабушка зашла к нему в комнату и взяла его за руку.

Мартин ей сказал:

— Ты ведь не веришь, что я украл, правда, бабушка?

— Нет, деточка, я не верю. Я знаю, что ты не способен воровать.

— Хорошо, бабушка, я доволен... — Больше Мартин ничего не мог сказать.

Горько плача, он прижался к бабушке, а она гладила его по голове и тоже украдкой вытирала слезы.

И тогда братишка, крошечный бутуз, который терся между действующими лицами описываемой нами трагедии, замечая многое и не будучи сам замечен, понимая многое, хотя его не считали еще способным что-либо понимать, — братишка, который внимательно следил за последней сценой между бабушкой и внуком, вдруг решительно вышел из комнаты и направился в столовую, где родители обедали в полном молчании, чувствуя, быть может, на своих плечах тяжесть несправедливости, которую только что

совершили от непонимания, из гордости, от презрения к правам детства. И братишка, росту от горшка два вершка, еще не совсем крепко стоящий на подгибающихся ножках,— братишка, язык которого еще с трудом ворочался, неуклюже произнося немногие, самые простые, слова, вдруг, пораженный горем старшего брата, превратился в маленького мыслящего человечка и, встав напротив матери, сжав свои крошечные кулачки, вытянувшись во весь рост, закричал, великолепный в своем справедливом гневе, потому что верил в то, что говорил, верил со всей силой своего сознания, внезапно пробудившегося к жизни в большом мире:

— Мартин ничего не украл! Ничего не украл! Ничего не украл!..



Томико Инуи

ДРОЗДЫ

Кадзуко с шумом раздвинула дверь в прихожую и сразу же почувствовала запах жаркого. Неужели гости? Она быстро вымыла руки и побежала в столовую, где собралась вся семья.

— Что так поздно, доченька? А к нам дедушка из деревни приехал...

Перед низким столиком, на том месте, которое обычно занимал отец, скрестив ноги, сидел загорелый старичок в деревенской одежде. Вид у него был усталый.

— Где ты так долго пропадала? — нетерпеливо спросил ее Дзюн, младший братишка.

Кадзуко поклонилась дедушке, которого видела впервые.

— Дело была занята, — ответила она брату. — Не гуляла же. И узнала кое-что интересное...

Остальное Кадзуко хотела рассказать маме. Мама наполнила чашку Кадзуко рисом.

— А что интересное? — не унимался Дзюн.

— Я слышала птичьи голоса. Настоящие птичьи голоса. Их записали на пленку в горах.

За ужином Кадзуко всегда рассказывала, что с ней случилось за день. Так уж повелось в их доме.

— Знаешь, мама, сегодня мы были в кружке любителей птиц. Нас пригласил туда студент Оно. Ну, тот, что живет в доме Итиро. Вообще-то это кружок для взрослых... Но нам тоже дали послушать голоса птиц, показали разные чучела. Ты видела дроздов, мама? Оказывается, их всегда ловили сетями, и до войны и раньше, и почти всех истребили. Но вот уже пять лет, как существует закон об их охране. И их снова стало больше.

— Да, я где-то слышала об этом, — сказала мама.

— Но знаешь, мама, в последнее время появились люди, которые говорят, что нужно отменить этот хороший закон. Они говорят, будто дрозды приносят вред посевам.

— Но мы учили в школе, что дрозды полезные птицы. Они едят вредных насекомых, — вмешался в разговор Дзюн.

— А знаете ли вы, что ловля дроздов — это единственный промысел для некоторых людей в горах? — вмешался в разговор дедушка. — Больше им не на что жить.

— Но нам говорили в школе... — хотела было возразить Кадзуко, но дед перебил ее:

— С давних пор в горах ставили сети на птиц. Ведь земли-то там мало. Чем жить будешь? После войны это дело запретили. Однако некоторые тайком ловят дроздов и продают в городе. И мне кажется, многие в Токио были бы недовольны, если бы они не смогли купить дроздов. Ведь они очень вкусные.

«Дрозды вкусные?.. Что это он говорит, даже слушать жутко», — подумала Кадзуко.

— Для тех, кто пьет саке, нет закуски вкуснее, чем дрозды, — поддержала деда мама.

На глазах Кадзуко навернулись слезы: как могла ее мама сказать такое!

В углу комнаты стоял старый мамин шкаф. Только сейчас Кадзуко заметила, что он похож на шкафы с чучелами птиц, которые она видела сегодня в кружке любителей птиц. Вдоль стен стояли коричневые шкафы с экспонатами. Старый служитель открыл им несколько из них. Там, словно живые, стояли разные птицы.

А когда ребята увидели витрину с южноамериканскими колибри, у них просто дух захватило от изумления. Как они были великолепны, эти птички! Золотистые с голубым отливом, краснова-

то-зеленые, напоминающие по цвету радужных жучков-листогрызов, с лиловым хохолком на голове в виде короны, они сверкали, как драгоценные камни.

Пение птиц они слушали в большой комнате на первом этаже. Можно было закрыть глаза и слушать, как поют птицы где-то в горах, где журчит горная речка.

«Слышите, это зорянка,— радостно пояснял всем человек, записавший все это на пленку.— А вот запела малиновка».

«А это зяблик поет».

«Да что вы, это не зяблик!» — спорили взрослые, словно дети.

Потом встал человек и тихим голосом стал говорить о дроздах.

«Некоторые люди,— говорил он,— заявляют, будто дрозды приносят вред посевам и поэтому-де нужно отменить закон, запрещающий охоту на них. Но знатокам птиц ясно, что разговоры о вредности дроздов — ерунда. Если закон будет отменен, многие снова будут ловить дроздов сетями. Возьмем, к примеру, журавля. Ведь когда-то Япония была царством этих птиц. Во времена Эдо журавлей было множество. Охота на них тогда была запрещена. С конца прошлого века журавлей становится все меньше и меньше, и теперь их можно увидеть только в деревне Ясиро, в провинции Ямагути да еще в двух-трех местах. Когда они, усталые, прилетали из-за Японского моря и опускались на берег, люди тут же хватали их. Потому-то они и стали сейчас редкостью. Так и с дроздами будет. Их станет все меньше и меньше прилетать в Японию, и тогда, сколько ни ратуй за них, сколько ни оберегай, будет поздно. Некоторые говорят, что дрозды выводят молодняк в холодной Сибири, а не в Японии, поэтому-де в нашей стране можно и охотиться на них. Однако чем меньше дроздов улетает в Сибирь, тем меньше их прилетает обратно».

Когда ребята возвращались домой с занятий кружка, Итиро предложил: «Давайте пошлем письмо министру земледелия. Попросим его не отменять закон об охране дроздов».

«Давайте,— тотчас же согласилась Митико.— Завтра же на классном собрании всем и скажем об этом».

«И я дома расскажу и попрошу всех выступить против отмены закона», — решительно сказала тогда Кадзуко...

А теперь... Дедушка вон что говорит, а мама, всегда такая добрая и внимательная, на этот раз оказалась на стороне торговцев жареными дроздами!

Кое-как дожевав рис, Кадзуко поблагодарила за угощение и поспешила выйти из комнаты.

На следующий день во время большой перемены на спортивной площадке Митико спросила Кадзуко:

— Что у вас дома сказали о дроздах?

— У нас? Папа приехал поздно, а мама нас не поддержала...

— Как это — не поддержала?

— Да так вот, не поддержала, и все. И вообще я что-то уж и не знаю, как быть...

— Почему? Правда, и мой отец тоже сильно рассердился, когда я ему рассказала обо всем. «Не ребячье это дело, — сказал он, — совать свой нос в политику или в законы».

— Вы что же, не собираетесь рассказать ребятам о дроздах? — недовольно спросил Итиро.

— Откуда ты взял? — ответила Митико.

Итиро не унимался:

— Так выступите вы на собрании или нет?

«Что же я могу сказать?» — подумала Кадзуко. Ее одолевали сомнения. Вчера вечером она невольно подслушала разговор отца с дедом. Оказалось, что дедушка приехал к отцу, чтобы взять у него немного денег взаймы. Крестьяне, у которых было очень мало земли, решили купить сообща коров и организовать кооператив по продаже молока. Однако они истратили деньги на холодильник и другое оборудование, рассказывал он, залезли в долги, а правительство и не собирается выполнять обещание о ссуде.

Конечно, она не хотела, чтобы изменили закон, запрещающий охоту на дроздов. Ведь тогда дроздов совсем истребят и они больше не будут прилетать в Японию на зимовку. Но она знала теперь, как тяжело живется крестьянам. Она не могла не задуматься над словами деда, что многие люди вынуждены ловить и продавать дроздов, чтобы самим не умереть с голоду...

— Ты что, онемела? Вот уж не знал, что ты такая трусиха, — сказал Итиро. И, сделав сальто на турнике, сердито спрыгнул на землю, так что турник задрожал.

— Неправда, я не трусиха...

— Ты как флюгер на крыше. Вчера больше всех возмущалась, а сегодня... — презрительно бросил Итиро.

«Ничего-то ты не знаешь! Ты и понятия не имеешь, как живется крестьянам», — подумала Кадзуко.

Разозлившись на Итиро, она решила спрыгнуть по другую сторону от турника и, перевернувшись на переκладине, хотела ухватиться за нее обеими руками, но сорвалась и тяжело упала на песок. В глазах у нее потемнело, голова закружилась.

Через несколько минут ее уже несли через шумный школьный двор в кабинет врача. Там ей дали красные сладковатые пилюли, положили на кушетку. Кадзуко изо всех сил старалась сдержать слезы, но то и дело всхлипывала. Незаметно для себя она заснула.

А когда проснулась, солнце было уже высоко.

Во дворе раздавались веселые крики ребят.

«Собрание в классе, наверно, уже кончилось,— подумала она рассеянно.— Интересно, что же решили ребята?»

Тут дверь тихонько отворилась, и на пороге появилась Митико.

Окончательно проснувшись, Кадзуко поднялась с кушетки. Уже ничего не болело, только голова немного кружилась.

— Тебе лучше?

— Да, уже все в порядке.

Когда они шли по коридору, Кадзуко спросила Митико, что решили ребята: заступаться за дроздов или нет?

— Мы с Итиро всем ребятам рассказали, но им еще не все понятно из наших объяснений. Поэтому мы решили — да и учитель нас поддержал — разделиться на группы и собрать сведения о дроздах. Итиро и Рёсаку пойдут в редакцию газеты, а мы с тобой и Кумико могли бы зайти в министерство сельского хозяйства. Сходим и к тому человеку, который рассказывал нам о дроздах.

Прошло несколько дней.

Ребята собрались перед маленьким домиком, в углу двора дома, где жил Итиро.

— Это мой брат построил домик,— гордо объяснила им маленькая Кикуко, сестренка Итиро.— А доски ему разные люди дали.

«Дом» был чуть побольше собачьей конуры. Это был удивительный дом из разных дощечек, весь облепленный заплатками.

Все с восхищением рассматривали домик, но никто не собирался туда влезать. Тогда Итиро на правах хозяина пригласил:

— Заходите все в домик. Самое удобное место для совещания. Я войду последним и запру дверь.

Затолкав всех в домик, Итиро с трудом закрыл дверь и задвинул задвижку. Сквозь кривое окошечко и щели в стенах проникал дневной свет. Ребята переглянулись.

Увидев, что среди собравшихся нет Кадзуко, Итиро заметно погрустнел. С тех пор как Кадзуко сорвалась с турника, он больше не видел в школе ни ее, ни Дзюна, а Митико, которая наведалась к ним в дом, чтобы узнать, в чем дело, сказала, что Дзюн лежит больной, а Кадзуко отец увез в деревню к родственникам.

Итиро оглядел всех собравшихся и, усевшись на корточки на пол, предложил:

— Ну-ка рассказывайте, кто что узнал!

— Мы ходили в министерство сельского хозяйства, в департамент леса,— начала Митико.— Спросили там, что едят дрозды. Сначала с нами и разговаривать не хотели, но потом один служащий нам все очень любезно объяснил. У него оказалась таблица всего того, что поедает дрозд. Оказывается, в желудке дрозда

было обнаружено всего четыре процента зерна, зато тридцать три процента его рациона составляли разные насекомые, которые вредят посевам риса. Этот дяденька сказал нам, что дрозды вовсе не вредная, а полезная птица...

— Они прилетают в ноябре, а улетают весной, и за это время каждый съедает шестьдесят тысяч вредных насекомых,— тихо добавила застенчивая Кумико.

— Хорошо, все это мы занесем в таблицу и покажем всему классу.

— А ты что узнал, Рёсаку?

— Мы были в редакции газеты,— рассказал Рёсаку.— Там мы узнали, что закон этот — он будет называться «Некоторые изменения в законе об охоте»,— внесли в парламент люди, которые хотят пройти в парламент и на следующих выборах. Торговцы дроздами обещают им помочь пробраться в парламент, если они помогут добиться отмены закона. Нынешний закон очень мешает торговцам дроздами, поэтому они выдумали, что дрозды — птица вредная. Они говорят также, что многим, мол, не на что жить, потому что охота на дроздов запрещена.

— А много ли людей лишилось заработка из-за того, что запретили ловить дроздов? — спросил Итиро.

— Говорят, не больше двух тысяч по всей стране,— ответил Рёсаку, заглядывая в записную книжку.

— Значит, и в редакции против того, чтобы отменяли нынешний закон? — радостно воскликнула Митико.

— Против-то против, но и они сказали на прощание: «А что ни говори, дрозды-то вкусные!» Я прямо расстроился.

Ребята рассмеялись, увидев смущенное лицо Рёсаку.

В это время они услышали чьи-то шаги, и в дверь постучали.

— Это ты, Кикуко? — спросил тотчас же Итиро.

За дверью молчали.

— Эй, кто там? Отвечай, Кикуко, ты это?

Но опять никто не ответил, только застучали еще громче. Всем стало немножко не по себе.

Итиро вдруг рассмеялся. Отодвинул задвижку и открыл дверь. В домике сразу же стало светло от теплых лучей полуденного осеннего солнца. На пороге, улыбаясь, стоял студент Оно, который жил в мансарде дома Итиро.

— Что, испугались! Что у вас тут за собрание?

— А я сразу догадался, что это вы. Табачным дымом запахло. Зачем вы пришли к нам? — спросил чуть-чуть сердито Итиро.

— Да уж не затем, чтобы мешать. Просто я подумал, что раз уж вы решили заседать, так не лучше ли пройти ко мне в комнату? Кроме того, хозяйка приготовила кое-что вкусное. А Кикуко

говорит, что она не позволит принести вам ничего сюда, потому что вы захватили ее домик... Так что на вашем месте я бы вышел.

Ребятам и самим надоело сидеть в тесном домике, и они с радостью покинули его.

В простой, украшенной лишь полкой с книгами мансарде студента Оно ребята рассказали ему все, что узнали.

— Молодцы, — похвалил их студент. — Вы столько собрали нужных сведений, что теперь все в классе поймут, в чем дело. Я даже не предполагал, что рассказ господина Ямакавы произведет на вас такое впечатление.

Кстати, я встретил его сегодня. Помните, высокий такой?.. Любопытную историю он мне рассказал. Неподалеку от острова Миякэдзима в архипелаге Идзу находится маленький островок. Местные жители зовут его Самбондакэ. Там живут удивительные птички с хохолками на голове. Это морские воробьи. Они охраняются законом, как редкие птицы. Но вот с некоторых пор американцы устроили там полигон для стрельбы из орудий. Каждый день ухали пушки: бум, бум! Бедные птицы со страху перестали нести яйца. А это единственный островок, где они обитают. Об этом узнал один американский солдат, любитель птиц, который служил на американской военной базе в Татикаве. Вместе с японскими любителями птиц он организовал движение за то, чтобы перенести полигон в другое место. Иначе ведь удивительные морские воробьи были бы истреблены. Этот солдат, по имени Мойер, написал даже письмо в американское общество любителей птиц, обратился к ним за помощью. Полигон с островка Самбондакэ перенесли в другое место. Но это еще не все. Этот полигон расположился теперь на острове, который находится значительно южнее Самбондакэ. А там проходит южная граница, где обитают кацуодори — птицы, очень похожие на больших чаек. Ниже этой линии они уже не селятся. «Теперь, — сказал господин Ямакава, — мы собираемся снова выступить с требованием убрать оттуда американский полигон. Таким образом, получается, что в Японии вообще нет места, где американцы могли бы устраивать военные полигоны». — «Конечно, — поддержал я тогда господина Ямакаву в шутку, — ведь японские острова вдобавок густо населены такими редкостными людьми, как японцы...»

Слушая рассказ студента Оно, ребята уплетали вкусное печенье, которое принесла им мать Итиро.

Потом все пошли по домам, чтобы подготовить таблицы для классного собрания.

Дедушка пригласил отца Кадзуко в деревню. Крестьянам из кооператива нужно было посоветоваться с ним о чем-то. И отец решил взять с собой Кадзуко.

Она впервые была в такой глухой горной деревушке, и все в доме дедушки казалось ей удивительным. Дедушка выглядел еще более усталым и худым, чем в Токио.

Папа сразу же завел оживленный разговор с крестьянами, собравшимися в доме, на Кадзуко никто не обращал внимания, ей стало скучно, и она пошла искать своего двоюродного брата Сюхэя. Заглянув в темную кухню, она увидела свою тетю, которая разводила огонь в очаге.

— Вот жалость какая, — сказала тетя, — вы приехали, а Токиё и Сюхэй все еще где-то в поле.

Ребята вернулись домой только вечером, когда уже стемнело, и тут же принялись колоть дрова и носить воду корове. У них было столько хлопот, что они не успели ни о чем поговорить с сестрой.

— Папа, почему дети в горах так много работают? — спросила Кадзуко у отца, ложась спать.

— Видишь ли, отец Сюхэя погиб во время войны. Так что хозяйство легло на их плечи. Вот и приходится работать. В деревне ребята вообще помогают дома по хозяйству. И я в детстве помогал... — сказал папа.

Кадзуко молча лежала с открытыми глазами на жестком матраце, укрывшись тощим одеялом.

Где-то далеко в горах ухала сова. «Мама и Дзюн, наверно, уже спят давно там, в Токио», — подумала она.

— Тебе здесь, наверно, скучно, доченька, — сказал папа, закуривая в постели сигарету. — Вот сходим завтра с дедушкой и Сюхэем за грибами и поедем домой.

Погода на другой день выдалась хорошая. Был погожий осенний день. Деревья стояли в желто-красной листве, еще цвели дикие хризантемы, небо было кристально ясно. Впереди шли дедушка и Сюхэй с огромными корзинами за спиной, за ними Кадзуко с отцом. Они поднимались на ту самую гору, которая была видна с веранды дедушкиного дома.

Когда они шли по дубовой роще, из-под ног вдруг вспорхнула маленькая птичка и, чирикнув, улетела.

— Черный дрозд! — воскликнула Кадзуко.

— Да нет, это зяблик, — поправил ее Сюхэй.

«Фьють-фьють!» — прозвучало в ясном, прозрачном воздухе там, где пламенела листва кленов.

Все помолчали.

— Кадзуко тоже ведь любит птиц, — вспомнил дедушка. — Я рассказал тут Сюхэю, что Кадзуко говорила в Токио о дроздах, так он тоже на меня накинулся, отругал за дроздов. «Хватит, говорит, ловить дроздов. Такие славные птицы! Если их истребят, что станет с полями? Кто будет уничтожать вредных насекомых?» — вот что сказал наш Сюхэй.

Сюхэй не слышал, что о нем говорили. Он шел шагов на двадцать впереди. Это он нарочно убежал вперед, как только речь зашла о нем.

— А помнишь, отец, как я в детстве помогал дяде Сё? Он ловил сетью дроздов, а я должен был сворачивать им шеи,— сказал папа.— Помню, чуть не плакал я...

— Наш Сюхэй — добрый паренек,— продолжал дедушка.— Скворечники развешивает на деревьях, птенцов подбирает, которые из гнезда выпали, заботится о них, кормит... А что, Кадзуко, вы уже послали письмо министру сельского хозяйства? Ребята из школы, где учится Сюхэй, вот уж месяц, оказывается, как отправили министру письмо. Весь класс подписался.

Тут они поднялись, наконец, на просторное горное плато. Под лиственницей, опустив на землю корзинку, стоял Сюхэй. Он делал что-то странное. Сложив ладошки в виде трубочки, он издавал звуки, похожие на звук флейты.

— Тю-тю-тю,— пел он.

«Тюпин-тюпин-тюпин»,— раздалось в ответ издалека. Красивые птички величиной с воробья слетались на лиственницу. Их собралось штук двадцать. Они прыгали с ветки на ветку и оглушительно щебетали. Их щебетанье, словно дождь, обступило четырех людей, стоявших под лиственницей.

Кадзуко и ее отец как зачарованные глядели на руки Сюхэя. А он все пел и пел в золотых лучах горного солнца, и птички, не боясь людей, приветливо распевали на ветвях, помахивая вверх и вниз хвостиками. «Этот мальчик и птицы — они как хорошие друзья»,— подумала Кадзуко.

Вечером Кадзуко уехала с отцом в город, увозя с собой корзинку, полную грибов и каштанов.

Вся семья собралась за столом. Папа пришел в тот день рано, и ужинали все вместе. Вдруг их внимание привлек голос радиокомментатора:

«...Проект «Некоторых изменений закона об охоте», который внес на рассмотрение парламента депутат Хирано, предусматривал разрешение охотиться на черных дроздов, дроздов певчих, дроздов-деряб. Но прежде чем началось обсуждение, в парламент стали приходить тысячи писем от различных культурных организаций, от детей, учителей и других граждан. Все были против отмены старого закона. Обсуждение было снято с повестки дня, проект похоронен...»

Мама и папа сразу заулыбались.

— Кадзуко, ты слышишь, все обошлось, все хорошо! — воскликнули они в один голос.

А отец рассказал, что против этого законопроекта выступили и ученые, и священники, и журналисты, и все дети Японии, поэтому депутаты, поддерживающие его, замяли обсуждение, заявив, что «у них не осталось времени».

— Ура! — подпрыгнула Кадзуко. Она знала, что среди писем, которые послали ребята начальных и средних школ, были письма ее товарищей по классу и письмо из сельской школы, в которой учился Сюхэй.

Вернувшись тогда из деревни, Кадзуко тотчас же побежала к Итиро расспросить его, как идут дела.

Он рассказал ей, что Митико и Рёсаку все как следует разузнали и убедили весь класс, что нужно выступить в защиту дроздов. Когда Итиро узнал от Кадзуко о дедушке и разговоре с ним, он понял, что напрасно назвал ее флюгером.

Ребята из их класса написали тогда двадцать семь писем и в конце октября послали министру сельского хозяйства. Не прошло и двух месяцев, как проект был снят с обсуждения. Дрозды могут теперь жить спокойно под охраной закона. И все это благодаря усилиям всех людей, которые развернули широкое движение протеста. Кадзуко радовалась. Ведь она тоже помогла спасти птичек.

— Задавала, задавала! — закричал Дзюн. — Задавала, нос задрала!

— Вот я тебе! — Кадзуко хотела было наподдать брату, но тут дверь распахнулась: на пороге, счастливые и сияющие, стояли ее друзья Митико и Итиро. Услышав по радио передачу, они прибежали сообщить о радостном известии.



Анисиа Миранда

ПЕЧАЛЬ

Когда Карлос Вальдес пришел в наше общежитие, он сказал, что сам он из Мансанильо и что в семье у них пятеро детей.

Он часто рассказывал нам о том, что у них было несколько маленьких земельных участков, которые они обрабатывали всей семьей, а сейчас их земля и земли других крестьян объединены в земельный кооператив. Две его сестры учатся тоже в Гаване, один брат летчик, а дома остались отец, старший брат и мама.

— Я как-нибудь познакомлю вас с моей старухой,— говорил он нам,— во всем мире нет ее красивее и добрее. Она нам всегда говорит, что любит всех нас одинаково, но я знаю, что меня она любит больше всех, ведь я самый младший.

Нас вдруг стало беспокоить, что Карлос никогда не получает писем из дома. Его сестры не приходят навестить его, хотя живут тоже в Гаване, и он не навещает их.

Так что я сам спросил его:

— Слушай, Карлос, тебе твоя мама не пишет писем?

— Она очень занята, ведь ей некому помочь теперь в работе по дому.

— Почему же ты не напишешь им?

— Я не люблю писать письма, ты знаешь, я терпеть не могу рассказывать о том, что уже произошло.

— Ты можешь не рассказывать, если тебе это не нравится, но напиши просто, что у тебя все в порядке.

— Ладно, на днях напишу.

И Карлос написал своей маме письмо. Он теперь регулярно писал письма, как я, и мы вместе ходили на почту отправлять письма.

Я почти каждую неделю получал известия из дома, да не только я, почти все ребята, кроме Карлоса. А ведь он отослал уже пять писем, мы вместе опускали их в почтовый ящик. Я не хотел говорить с ним об этом. Раз он спокоен, зачем пугать его. Остальные ребята тоже забеспокоились, особенно после того, как почтальон принес назад одно из писем, посланных Карлосом. Почтальон объяснил нам, что по адресу, указанному на письме, нет никого с фамилией родителей нашего Карлоса.

Когда Карлос пришел, мы передали ему, что сказал почтальон, но это несколько не обеспокоило его.

— Почтальон что-то перепутал. Нашу семью знают все вокруг,— сказал он нам очень спокойно.

Мы не знали, что и думать, нас удивляла беспечность Карлоса.

Но с этого дня Карлос, как и все мы, стал по утрам поджидать почтальона. Почтальон приходил, раздавал письма и выслушивал один и тот же вопрос:

— Есть что-нибудь Карлосу Вальдесу?

— Нет, сынок. Наверно, завтра будет.

Но писем Карлосу не было, вернее, были, но это были письма, которые он каждую неделю посылал и получал обратно.

Мы стали замечать, что он грустит. Нам стало стыдно: ведь нам казалось, что он не любит свою маму, не беспокоится о ней. Мы не знали, как утешить его. Когда в его присутствии приходил почтальон, кто-нибудь спрашивал его:

— Есть что-нибудь Карлосу Вальдесу?

И вот однажды самый разумный и спокойный из нас перед началом уроков сказал:

— Я считаю, Карлос, что будет лучше, если мы расскажем обо всем Сонии и попросим ее написать, может быть, даже от имени дирекции школы, чтобы нам сообщили, не случилось ли что с твоими родителями, с твоей семьей.

— Ты что, с ума сошел? — закричал Карлос, вскочив с места. — Ты представляешь, как испугается моя старуха, если получит письмо от дирекции?!

— Тогда попроси разрешения и езжай домой в конце недели, — предложил ему я.

— Вы прямо дураки какие-то! Моя мама всю жизнь билась, чтобы мы могли учиться... Да она умрет, если сейчас увидит меня. Ведь она подумает, что я бросил школу!

Мы замолчали, потому что в класс вошла Сония, наша учительница по истории, и начался урок.

Прошло две или три недели, и однажды вечером, когда Карлос в столовой готовил уроки, мы собрались в спальне и решили действовать, не говоря ни слова Карлосу. На следующий день, когда Сония пришла в класс, Хуан встал из-за парты и сказал:

— Товарищ Сония, мы хотим попросить вас об одном одолжении.

— В чем дело, вы хотите поехать куда-нибудь на экскурсию?

— Нет, мы бы хотели, чтобы вы или кто-нибудь из дирекции написали письмо семье Карлоса, потому что с тех пор, как он приехал сюда, он ни разу не получал писем из дома. А все письма, которые он посылает, возвращаются обратно.

Прежде чем Сония ответила, Карлос встал из-за парты с опущенной головой, вышел из класса и бросился бежать вверх по лестнице к спальне. Мне показалось, что он заплакал. Мы не знали, что делать, а от того, что мы слышали от Сонии, мы просто онемели.

— О каких письмах и о каких родных Карлоса вы говорите? Ведь у Карлоса никого нет, он круглый сирота...

Я не могу даже описать, что творилось в классе в течение этих последних минут. Потом мы все двадцать пять человек, что жили в общежитии, поднялись в спальню. Сония пошла вместе с нами.

Карлос лежал на кровати, глядя в потолок, по щекам его текли слезы. И тогда Хоакин, самый маленький в группе, сказал такое, от чего мы все чуть не расплакались.

— Карлос, хочешь, я буду твоим братом?

И Карлос ответил:

— Друг, как же я буду твоим братом, если ты беленький, как ибис¹, а я черный, как головешка?

Кое-кто из нас рассмеялся, а кто-то смахнул слезу.

Никто ни о чем не расспрашивал, но напряжение как будто спало. Но ненадолго.

Думали мы, думали, но так ничего и не придумали.

Сония на уроках нам рассказывала, что теперь на Кубе нет ни

¹ Ибис — птица с белым оперением, живущая на Кубе.

сирот, ни бездомных детей, потому что для всех открыты школы. Все дети — и те, что живут в школьных общежитиях, и те, у которых есть семьи, — все они братья. Она много еще что говорила, но это нисколько не облегчило создавшегося положения.

Впервые мы почувствовали, что такое настоящее горе. Мы все огорчали наших родных, но то, что мы узнали, не могло сравниться ни с чем. Нами овладела настоящая печаль.

И опять малыш Хоакин, которого мы прозвали ибисом, решил все. Он сделал то, что никто из нас не догадался сделать.

Когда пришел почтальон, он вручил Хоакину письмо, тот прочел его и вдруг закричал:

— Вот и все! Ребята, все в порядке! Все в порядке!

— Что в порядке? — спросил я его.

— Все, теперь у Карлоса есть семья!

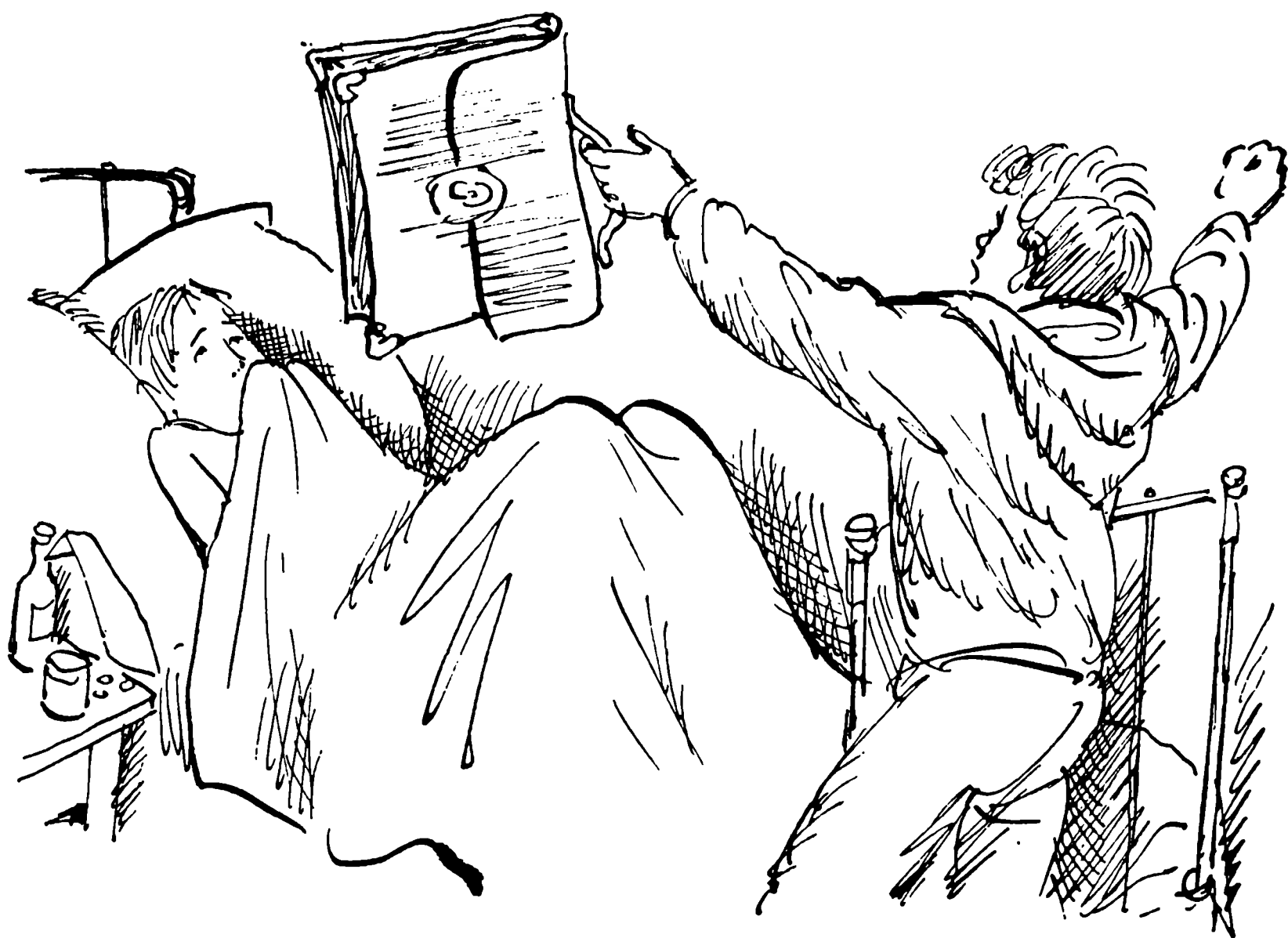
— Послушай, такими вещами не шутят, — обратился к нему Хуан.

— Какие шутки? Никаких шуток! Я написал маме, рассказал ей обо всем, и она мне в этом письме ответила, что не против иметь еще одного сына. А теперь у Карлоса и вправду пять братьев, ведь нас в семье пятеро.

Мы смеялись и радовались как безумные, а Хоакин побежал искать Карлоса. Мы видели, как в глубине двора они обнялись, и слышали голос Хоакина:

— Карлос, ведь ничего, что ты черный, как головешка, а я беленький, как ибис? Правда, мы можем быть братьями.

Через несколько дней начались каникулы. Ученики школы разъезжались по домам. Карлос уезжал вместе с Хоакином домой. Он ехал знакомиться со своими новыми родителями.



Октав Панку-Яш

ЖЕЛАЮ ВАМ НЕ БОЛЕТЬ!

— Не пугайтесь. У вашего сына обычная простуда, у детей это часто бывает. Лечение — чай, аспирин, растирания спиртом, два-три дня полежать.

Школьный доктор собрался уходить. Папа подал ему пальто, мама спросила, не лучше ли поить меня липовым отваром; доктор на это сказал, что можно и отваром, значения не имеет; бабушка посоветовала ему быть осторожнее на улице, потому что гололед. У двери доктор обернулся и сказал мне:

— До свидания, молодой человек! Об уроках не беспокойся. Я поговорю с вашим классным руководителем. Послезавтра кто-нибудь из твоих товарищей навестит тебя и введет в курс пройденного. Поправляйся!

Дорогие друзья и товарищи! С вашего разрешения я не буду описывать, как я болел и как меня лечили. Было скучно и про-

тивно. После маминых чаев я дал себе клятву, что когда выздоровею, то до самых выпускных экзаменов (сейчас я только еще в шестом классе) не возьму в рот ни капли чая. Что касается папиного аспирина, то в будущем, если мне по пути попадется аптека, я перейду на противоположную сторону улицы. А бабушкины советы я даже и вспоминать не хочу.

Наконец мне стало лучше. Постельный режим кончился, предстояло идти в школу. Я посмотрел расписание. Ага, история. Отметка мне пока не выставлена. Значит, обязательно спросят. Что задано? Я вспомнил обещание врача и решил спокойно ждать, когда меня навестят.

Часа в четыре прибыл мой добрый, дорогой, восторженный друг и сосед по парте Тудорел Кристя. Он еще не вошел, а я уже знал, что это он: гроыхнула калитка (он, очевидно, открывал ее ногой), послышался веселый свист, потом завизжал Белолобый (Тудорел не щадил бедного пса и «дружески» пинал его прямо в морду), потом я услышал такое зычное «целую руку» (это он приветствовал мою бабушку), что сразу проснулся ребенок нашего соседа, который после кричал без умолку чуть не час (ребенок, а не сосед, конечно!), и наконец с треском распахнулась дверь моей комнаты.

— Аве¹, Мишу! Тудорел Кристя приветствует тебя! Ну как, жив-здоров? Молодец, хвалю! Я пришел просветить тебя насчет уроков. Держу пари, что тебя в первую очередь интересует история. Ну и урок у нас был, м-м! — Тудорел сложил пальцы в щепоть и звучно чмокнул их. — Красота!.. Мечта поэта!.. Восьмое чудо света!.. Речь шла о великих днях! Ах, как он рассказывал! Да что говорить! Сам знаешь, какой это лектор, наш Паску! А взгляд, а жесты! Он смотрел в глубину класса, и перед тобой представало поле битвы, он простирали руки, и ты видел, как стягивались войска, он поднимал указательный палец, и тебе слышались звуки горна... Красота!.. Поэзия!.. Мы сидим ни гугу. Не шевелимся, не дышим... Ах, что за урок, какой урок!

Я слушал Тудорела как зачарованный. Он жестикулировал, стащил с меня одеяло, кулаком наподдал абажур, сбил в кучу ковер и под конец в пылу восторга уронил свой портфель мне на голову.

— Ах, что за урок, вот это был урок! Изумительная эпоха! Какие героические времена!

Я уже приготовился записать тему урока, но в ту минуту зазвонил телефон.

— Это мне звонят, — сказал Тудорел и схватил трубку.

¹ А в е — здравствуй (лат.)

Последовал короткий разговор неизвестно с кем, и в заключение было сказано:

— Сейчас иду! Бегу, чешу, лечу, мчусь, как ракета!

И мой друг, мой добрый, дорогой, восторженный сосед по парте Тудорел Кристя сгреб свой портфель, пожелал мне успешных занятий и умчался, как ураган, оставив дверь настежь.

Я опомнился, когда был уже один. Что же надо учить по истории? Понятия не имел. Но мне недолго пришлось плакаться на горькую судьбу. Минут через пятнадцать после исчезновения Тудорела мама объявила, что ко мне пожаловала гостья. Точнее, Миоара Дэнеску.

Миоара робко постучалась и только после троекратного «заходи» отважилась войти. Она принесла букетик подснежников, робко протянула его мне с таким видом, точно это были не цветы, а рюмка рыбьего жира. Она наотрез отказалась сесть возле кровати, ушла в другой конец комнаты и оттуда спросила то-неньким тихим голоском:

— Как мне тебя жалко... Бедный, ты, наверное, мучился?

— Да вовсе нет!

— Значит, ты стойкий. Конечно, мучился, я знаю, ты просто не хочешь сказать. Болеть — это такое несчастье, такое несчастье...

Она достала из рукава розовый платочек и вытерла глаза.

— Ты плачешь? — спросил я, растрогавшись.

— Да, — сказала она и растрогалась еще больше меня. — Я все время думала о тебе, пока ты был болен. Пришла рассказать, что было на уроках.

— Спасибо, я ждал тебя.

— Я так переживаю, так переживаю...

— Ну что ты, не надо, — стал я успокаивать ее. — Я уже поправился, да ничего серьезного и не было, обыкновенный грипп. — Тут я сразу перешел к делу: — Скажи, что задано по истории?

Но Миоара даже не слышала вопроса.

— Грипп? — Она вздрогнула, точно я сказал ей, что у меня перелом основания черепа. — Грипп! Это ужасная болезнь, какие бывают осложнения! Бедный ты, бедный!

И она опять пустила слезу. Когда успокоилась, начала шарить в портфеле, достала оттуда записку и дала ее мне, глядя в сторону.

— Это я тебе написала на уроке истории. Прочти, когда я уйду.

— Вот спасибо, — обрадовался я, думая, что там написано задание. — Какая ты заботливая, просто не знаю, как я тебе благодарен.

— Не за что. Ты же был так серьезно болен... так серьезно...

И, прижимая платок к глазам, Миюара вышла из комнаты чуть ли не на цыпочках — наверное, боялась нарушить мой покой.

Я живо развернул записку. Вот ее содержание:

«Как ты себя чувствуешь? Я решила тебе написать. После обеда я приду и принесу задание. Ты живешь все там же? Не переехал? Миюара».

Вот и все. Больше ни единого слова.

Я разорвал записку на клочки.

Вопрос, что я буду делать завтра на уроке истории, мучил меня куда сильнее гриппа.

Я разволновался, чувствовал, что у меня начинает болеть голова, и вдруг услышал:

— Скажите, здесь живет товарищ Михай, ученик шестого класса школы номер...

Ах, как меня обрадовал этот знакомый голос! Голос моего знаменитого одноклассника, лучшего ученика нашего класса, всегда серьезного Ганибала Ионеску, который был гордостью всей школы.

— Рад приветствовать тебя,— важно обратился ко мне Ганибал,— поздравляю с выздоровлением. Как первый ученик, я счел своим долгом прийти и рассказать тебе, что задано.

— Спасибо. Это очень мило с твоей стороны... Я даже не ожидал, что ты...— Решив не тратить времени на всякие любезности, я сказал напрямик: — Если тебе не трудно, давай начнем с истории, меня она интересует прежде всего.

— Хорошо,— кивнул он,— объясню, что задано по истории.

И мой выдающийся одноклассник Ганибал стал прохаживаться по комнате, заложив руки за спину.

— Дорогой мой,— начал он,— тема завтрашнего урока истории необычайно интересна, но прежде чем перейти к ней, я должен предостеречь тебя от некоторых неточностей. По моему непросвещенному мнению — я еще не успел обсудить этот вопрос с преподавателем, но сам поинтересовался,— было бы ошибкой считать дату 6 апреля 1787 года началом правления Николае Маврогеня. Перед тем как идти к тебе, я побывал в библиотеке, проверил в «Исторических анналах». На шестнадцатой странице в четвертом абзаце там указывается, что, по мнению некоторых историков — не буду скрывать, таково и мое мнение,— более точной датой следует считать 5 апреля вечером.

По сути дела, мой дорогой, этот вопрос не имеет прямого отношения к нашей теме, но он проливает новый свет на Александру Морузи, сына Константина Морузи, состоявшего



К стр. 614

в родстве с Маврогенем по материнской линии. Вывод, который вытекает отсюда, не совсем приятный, если мы...

— Будь добр,— отважился я прервать его лекцию,— скажи мне все-таки, если тебе не трудно, что задано на завтра?

— Если мне не трудно? — сурово повторил Ганибал.— Я считаю оскорбительным, когда меня прерывают, просто оскорбительным! Тема урока? Ты найдешь ее в любом учебнике, можешь узнать у кого угодно. Я хотел предостеречь тебя от ошибок, дорогой мой. Но при таких условиях я лишен возможности, просто лишен всякой возможности!

И он ушел, ушел так же, как и пришел: важно прошествовал медленной поступью, глядя в пространство с глубокомысленным видом, размышляя о высоких материях, которых мне вовек не постичь.

Я позвал маму, хотел попросить у нее таблетку от головной боли. Но вместо нее — представьте себе мое изумление! — вошел мой веселый товарищ Тэсикэ Джорджеску. Наконец-то, наконец после стольких безуспешных попыток я узнаю, что мне учить по истории. Голова сразу перестала болеть. Я вмиг повеселел.

— Тэсикэ, друг! Тэсикэ, мой спаситель! Как хорошо, что ты пришел! Я так ждал тебя...

— Да ну? — удивился он.— Вот не знал, а то бы я еще утром прилетел.— И он заговорщицки добавил: — Я сегодня прогулял. Пришел к тебе узнать, что задали по истории. Кто-кто, а ты наверняка должен знать. Не может быть, чтобы ребята не зашли к тебе.

Словом, я заканчиваю: дорогие друзья и товарищи, бойтесь гриппа! От всей души желаю вам не болеть!



Мануэль Рохас

СТАКАН МОЛОКА

Опираясь на перила палубы, моряк, казалось, кого-то ждал. В левой руке у него был завернутый в белую бумагу пакет, весь в жирных пятнах. В правой руке его дымилась трубка.

Из-за вагонов появился худой мальчик, подросток. Он остановился, посмотрел в сторону моря и пошел вдоль причала. Шел он медленно, засунув руки в карманы брюк, задумчиво глядя себе под ноги.

Когда он поравнялся с кораблем, моряк крикнул ему по-английски:

— Эй, послушай!

Мальчик поднял голову и, продолжая идти, спросил:

— Что?

— Есть хочешь?

Мальчик замедлил шаг, будто хотел остановиться. Наступило

минутное молчание. Казалось, он не знал, что ответить, но потом, грустно улыбнувшись моряку, сказал:

— Спасибо, моряк. Я не голоден.

— Ну и хорошо.

Моряк вынул изо рта трубку, сплюнул, сунул ее обратно в рот и стал смотреть в другую сторону. «Неужели я похож на нищего?» — думал мальчик. Краска стыда залила его лицо, и он быстро пошел прочь, почти побежал, только бы не раскаяться...

Тем временем на пристани появился настоящий портовый нищий — голубоглазый, светловолосый, с длинной спутанной бородой, в лохмотьях и рваных башмаках. Моряк крикнул ему:

— Хочешь есть?

Не успел моряк закрыть рта, как нищий, увидя жирный сверток, с загоревшимися глазами, громко закричал:

— Да, сеньор, очень!

Моряк засмеялся, и пакет, пролетев по воздуху, упал в протянутые руки голодного бродяги. Не поблагодарив моряка, бродяга уселся на землю, развернул еще теплый пакет и, увидев, что в нем, стал весело потирать руки. Портовый бродяга может и не знать английского, но он всегда знает те немногие слова, при помощи которых можно выпросить еду у всякого, кто говорит на этом языке.

Мальчик, проходивший недавно мимо, остановился невдалеке и наблюдал эту сцену. Он тоже хотел есть. Вот уже три дня, долгих три дня он ничего не ел. Не гордость мешала ему стоять в обеденное время у корабельных трапов и ждать, когда кто-нибудь из моряков выкинет сверток с огрызками кукурузных лепешек и кусками мяса. Ему было стыдно и боязно. А когда ему предлагали объедки, он мужественно отказывался, чувствуя, что голод становится все сильнее.

Шесть дней бродит он по улицам и пристаням этого порта. В Пунта-Аренас он сбежал с корабля, где служил юнгой, и прожил там месяц, помогая рыбаку-австрийцу ловить раков. И как только в порт прибыло судно, идущее на север, он тайком пробрался в трюм и спрятался там.

На следующий день его обнаружили и отправили работать в кочегарку, а в первом же порту высадили и оставили, словно груз без адреса, без сентаво в кармане.

Пока судно стояло в порту, его иногда подкармливали, но потом... На узких, темных и душных улицах на каждом шагу попадались грязные таверны и бедные гостиницы. Люди жили здесь как в каменных мешках, без воздуха, оглушаемые нескончаемым грохотом. Этот огромный город не привлекал его. Он казался ему мрачной тюрьмой.

С детства он страстно любил море, а море умеет согнуть и

сломать жизнь таких вот одержимых, как сильная рука ломает хрупкую тонкую ветвь. Хоть лет ему было мало, он не раз уже плавал на разных судах вдоль берегов Южной Америки. Выполняя разную работу, он стал опытным моряком, но это вряд ли могло пригодиться ему на суше.

После отплытия судна он слонялся по пристани, надеясь, что подвернется работа. Он был согласен на любую, лишь бы только продержаться и не умереть с голода, пока не найдется на какое-нибудь судно. Но работы не было. Редко какой корабль заходил в этот порт, да и на те, что заходили, его не брали.

Тут толкалось много народу: нищих и бродяг, среди которых были моряки без контрактов, сбежавшие, как он, с корабля, списанные за какие-нибудь проступки и просто бездельники, живущие неизвестно на что. Одни воровали, другие попрошайничали, одни жили в ожидании каких-то необыкновенных дел, другие уже ничего не ждали.

Тут были представители самых редких и экзотических рас и народов, в существование которых не поверишь, пока сам не увидишь их.

На следующий день, устав от ожидания, мучимый голодом, он отправился на поиски пропитания.

Проходя по пристани, он увидел судно, которое прибыло в порт накануне ночью и сейчас грузило зерно. Цепочка людей с тяжелыми мешками на спине протянулась от вагонов через пристань к судну. У люка в трюм стоял приемщик, принимавший груз.

Мальчик молча смотрел, не решаясь заговорить с боцманом, потом все-таки подошел и попросился на работу. Его приняли, и он смело присоединился к грузчикам, став звеном этой цепи.

Первую половину дня ему работалось легко, но потом он почувствовал усталость, у него кружилась голова. Когда он шел по сходням, ему казалось, что под ним между бортом и стенкой причала пролегла пропасть, на дне которой плескалось море, покрытое нефтью и отбросами. Стоило ему только глянуть туда, и ноги его подкашивались под тяжестью груза.

Во время короткого отдыха одни пошли перекусить в таверну, другие ели то, что принесли с собой, он же лег прямо на землю, стараясь забыть про голод.

Наконец рабочий день кончился. Он сидел на мешках, вконец измученный, покрытый потом, совсем без сил. Народ расходился, а когда ушел последний грузчик, мальчик приблизился к боцману и смущенно, ничего не рассказывая о себе, попросил уплатить ему за работу, и если можно, то и вперед.

Боцман ответил, что платят обычно после того, как погрузка

закончена, а для этого придется поработать весь следующий день. Еще целый день!

— Но если тебе нужны деньги, я мог бы одолжить сентаво сорок,— добавил боцман.— Больше у меня нет.

Мальчик грустно улыбнулся, поблагодарил боцмана и ушел. Отчаяние овладело им. Он хотел есть и только есть!

Сгибаясь от голода, точно от удара хлыста, он брел сквозь голубой туман, застилавший ему глаза, шатаясь, точно пьяный. Ему было так плохо, что он не мог ни кричать, ни стонать, но боли не было, была только гнетущая тоска. Будто что-то тяжелое навалилось и давит.

Вдруг он почувствовал внутри какое-то жжение и остановился. Наклонился вперед, напрягая все силы, понимая, что падает. Перед глазами поплыли знакомые, дорогие сердцу картины: дом и сад, где прошло детство, лицо матери, братьев. Все это исчезало и вновь появлялось. Потом, когда сознание вернулось к нему, он разогнулся, выпрямился, глубоко вздохнул и почувствовал, что жжение утихает. Но через час все это может опять повториться.

Он ускорил шаг, будто хотел убежать от нового приступа. Надо поесть, непременно поесть. Все равно где. Пусть в него тычут пальцами, пусть побьют, пусть в тюрьму посадят, лишь бы поесть. «Есть, есть, есть...» — без конца повторял он.

Он не побежит, нет, он просто скажет хозяину: «Сеньор, я голоден, я очень голоден, но мне нечем платить... Делайте со мной что хотите!»

Он вышел из порта, побрел в город и на одной малолюдной улице увидел маленькое кафе с мраморными столиками. Здесь было светло и чисто. Хозяйка в белоснежном фартуке стояла за стойкой...

Можно было поесть в одной из таверн возле пристани, но там всегда толпился портовый люд: пьяницы, игроки, нищие, а здесь было тихо.

В кафе он заметил лишь одного посетителя. Это был старичок в очках, который сидел словно приклеенный и читал газету, уткнувшись в нее носом. На столе перед ним стояла недопитая чашка молока.

Мальчик ждал, когда старик уйдет, и прогуливался взад-вперед по тротуару, чувствуя, как в желудке у него опять начинается жжение. Прошло пять, десять, пятнадцать минут. Он устал и прислонился к двери кафе, с ненавистью глядя на старика. Что он там нашел в газете? Ему казалось, что старик — его враг, который все о нем знает и сидит там назло ему. Войти бы в кафе да выругать его, обозвать как-нибудь, сказать, что за такую плату так долго в кафе не сидят. Только бы он поскорее ушел...

Наконец старик сложил газету, одним глотком допил молоко,

не спеша встал, расплатился и вышел. Это был старый, сутулый человек, похожий то ли на плотника, то ли на лакировщика.

Выйдя на улицу, он снова надел очки и пошел, читая на ходу газету и останавливаясь через каждые десять шагов.

Когда старик скрылся из виду, мальчик вошел в кафе. Он задержался в дверях, не зная, куда ему сесть. Но вот он выбрал столик и направился к нему, потом передумал, попятился, наткнулся на стул и уселся в угол.

Подошла хозяйка, протерла тряпкой стол и мягким голосом с испанским акцентом спросила:

— Что вам угодно?

Не глядя на нее, он ответил:

— стакан молока.

— Большой?

— Да, большой.

— А еще?

— Бисквиты есть?

— Нет, только ванильное печенье.

— Тогда печенье.

Когда хозяйка отвернулась, он радостно потер колени, словно продрогший человек перед тем, как глотнуть чего-нибудь горячего.

Хозяйка вернулась, поставила на стол большой стакан молока, тарелочку с печеньем и ушла к стойке.

Сначала он хотел одним глотком выпить все молоко, а потом уже съесть печенье, но удержался. Он чувствовал, что женщина наблюдает за ним. Он не решался посмотреть в ее сторону. Ему казалось, сделай он это, она сразу поймет все: его душевное состояние, постыдные намерения, и тогда ему придется встать и уйти, не съев ни куска.

Медленно взял он печенье, окунул его в стакан, положил в рот и запил молоком. Начавшееся было жжение стало затухать. И тут он понял весь ужас своего положения, сердце у него сжалось, комок подступил к горлу.

Сейчас он расплатится, зарыдает в голос. Он знал, что хозяйка смотрит на него, но не мог сдержаться. Он жадно, торопливо ел, боясь, что слезы помешают ему съесть все без остатка. Когда с молоком и печеньем было покончено, глаза у него заволокло и что-то теплое скатилось по носу и капнуло в стакан.

Он положил голову на руки и заплакал; заплакал горько, безутешно, заплакал так, как никогда еще в жизни не плакал. Вдруг чья-то рука погладила его усталую голову, и женский голос с мягким испанским акцентом произнес:

— Поплачь, сынок, поплачь...

Слезы снова хлынули из глаз, но это были уже слезы радо-

сти, он чувствовал, что они освежают его, что комок, сжимавший горло, исчезает. Ему показалось, что, пока он плакал, его жизнь и чувства очистились, омылись, как стакан под струей воды, обрели прежнюю чистоту и силу.

Наплакавшись вволю, он вытер платком глаза и лицо, поднял голову и посмотрел на хозяйку. Она глядела на улицу, куда-то вдаль, и лицо ее было грустно.

На столе перед мальчиком оказался еще один стакан молока и тарелка с печеньем. Он стал медленно есть, ни о чем не думая, будто сидел дома, а женщина за стойкой была его мать.

Он покончил с едой, когда уже стемнело и в кафе зажгли свет. Мальчик посидел еще немного, не зная, что сказать на прощание хозяйке.

Наконец он встал и сказал просто:

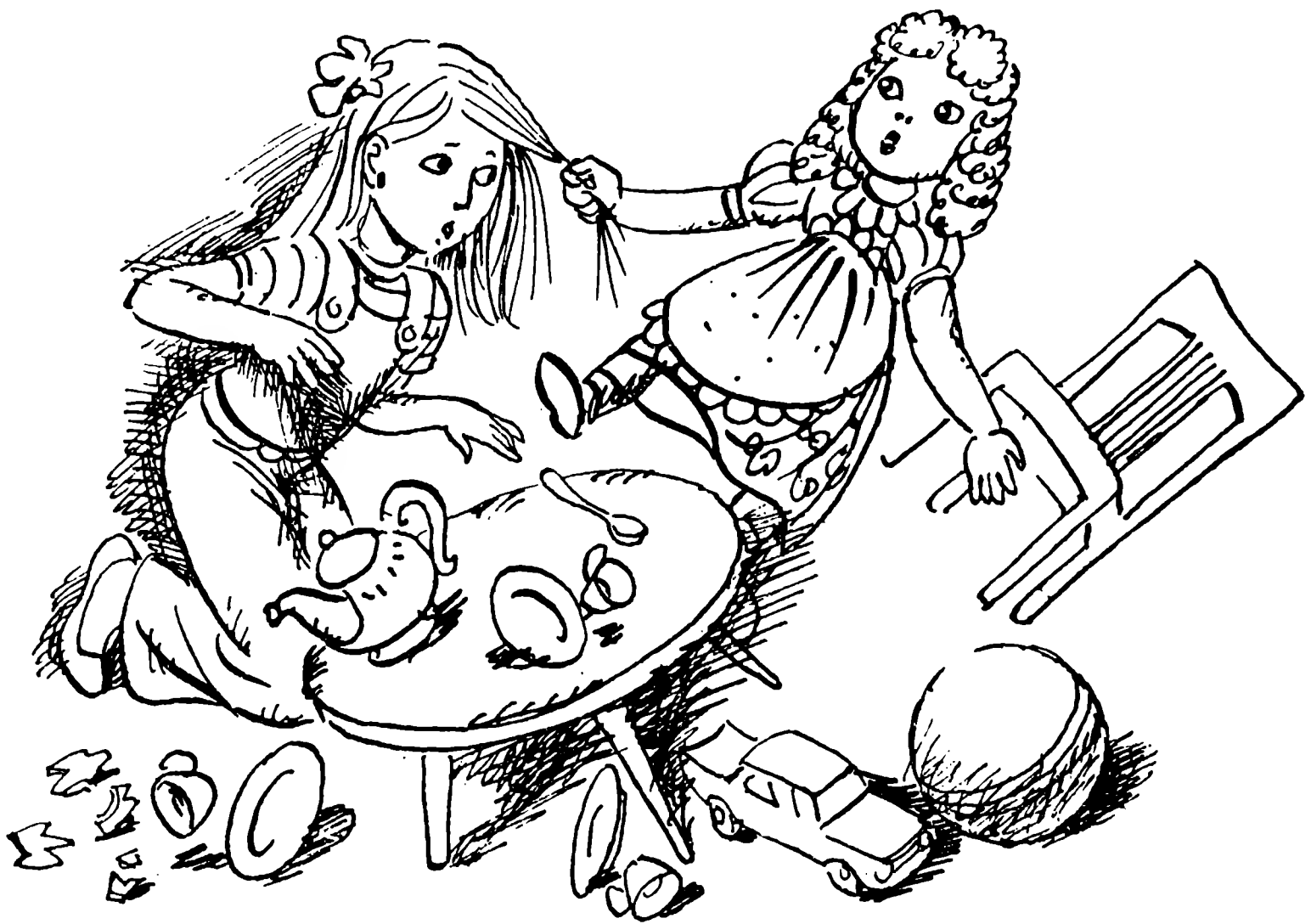
— Большое спасибо, сеньора. До свидания.

— До свидания, сынок, — ответила она ему.

Он вышел. Ветер, дующий с моря, освежил разгоряченное от слез лицо. Он пошел куда глаза глядят и вышел к пристани. Летняя ночь была прекрасна, на небе сверкали огромные звезды.

Он думал о доброй женщине, о том, как он отблагодарит ее, когда появятся деньги. Лицо его остывало, мысли рассеялись. Где-то глубоко в памяти на всю жизнь останется у него воспоминание о случившемся. Он шел уверенным шагом, напевая вполголоса, а когда вышел к морю, то почувствовал, что силы возвращаются к нему.

Огни кораблей и причала золотисто-красным потоком отражались в дрожащей воде. Он лег на спину и долго лежал, глядя в небо. Ему не хотелось ни думать, ни петь, ни говорить. Он снова жил, и этого было достаточно. Так он и заснул, повернувшись лицом к морю.



Джанни Родари

ТРАНЗИСТОРНАЯ КУКЛА

— Ну, так что же мы подарим Энрике к рождеству? — спросил синьор Фульвио у синьоры Лизы, своей жены, и у синьора Ремо, своего шурина.

— Красивый барабан, — не задумываясь, ответил синьор Ремо.

— Что?!

— Да, да, красивый барабанище. И палочки, чтобы на нем дробь выбивать. Бум, бум!

— Не выдумывай, Ремо! — сказала синьора Лиза, для которой синьор Ремо не шурин, а родной брат. — Барабан занимает слишком много места. И потом, кто знает, не разозлится ли жена нашего соседа — мясника.

— Я уверен, что Энрике очень понравится цветная керамическая пепельница в виде коня. И не одна, а в окружении других

керамических пепельниц, но уже совсем маленьких и в виде сырной головки.

— Энрика не курит. Ей всего семь лет,— сурово заметил синьор Фульвио.

— Тогда серебряный череп или жестяную коробку для ящериц. А может, черепаховый консервный нож в виде ягненка, либо фасолеопылитель в виде зонтика.

— Перестань дурачиться, Ремо,— сказала синьора Лиза.— Хоть раз будь серьезным.

— Ах, серьезным! Тогда два барабана.

— Я сама знаю, что нужно Энрике,— заключила синьора Лиза.— Красивая транзисторная кукла с приделанной к ней стиральной машиной. Кукла, которая умеет ходить, говорить, петь, слушать чужие телефонные разговоры и стереофонические пластинки и сама писать.

— Согласен,— провозгласил синьор Фульвио, твердо, как подобает главе семьи.

— Мне лично все равно,— сказал синьор Ремо.— Пойду посплю на мягкой постели и мягких подушках.

И вот несколько дней спустя наступило рождество. Продавцы в лавках вывесили над дверьми чудесные свиные окорока, а в сувенирных магазинах выставили в витринах пепельницы в виде маленького флорентийского писца. На улицах появились дудочки, умелые и неумелые, в Альпах выпал снег, долину реки По окутал густой туман.

Транзисторная кукла стояла под рождественской елкой и ждала Энрику. Дядюшка Ремо (речь идет о все том же синьоре Ремо, который для синьора Фульвио — шурин, для синьоры Лизы — брат, для консьержки — бухгалтер, для продавца газет — постоянный покупатель, для дорожного полицейского — пешеход, а для Энрики — дядя) смотрит на куклу с ухмылкой.

Никто не знает, что он тайком занимается магией. К примеру, силой одного лишь взгляда может разломить пополам пепельницу из камня травертина.

Он коснулся куклы в трех местах, переставил несколько транзисторов, снова ухмыльнулся и ушел в кафе. Минуту спустя прибежала Энрика, увидела куклу и вскрикнула от радости. Родители слушали за закрытой дверью и счастливо улыбались.

— Какая ты красивая! Сейчас я приготовлю тебе завтрак.

Лихорадочно роясь в ящике с игрушками, Энрика извлекла оттуда тарелочки, стаканчики, вазочки, бутылочки и расставила их на игрушечном столике. Она велела кукле подойти и сесть на стульчик, три раза сказать «папа» и «мама», потом повязала ей передничек и взяла ложку, чтобы ее покормить. Но едва Энрика повернулась, кукла дважды ударила ногой по столу, и вся посуда

полетела на пол. Тарелочки и вазочки разбились на мелкие куски. Стаканчики покатались по полу и с грохотом ударились о трубы парового отопления. Теперь по всей комнате валялись осколки.

Понятно, прибежала синьора Лиза, решившая, что это упала Энрика. Увидела своими глазами, какой в комнате разгром, и тут же накинулась на дочку:

— Скверная девчонка! Как раз в рождество набезобразила. Смотри, если не исправишься, отберу у тебя куклу, и ты ее больше не получишь.

Сказала и ушла в ванную.

Энрика осталась одна. Она схватила куклу, нашла ее, назвала скверной девчонкой и сказала сердито:

— Как раз в рождество набезобразила. Смотри, если не исправишься, я запру тебя навсегда в шкаф.

— За что? — спросила кукла.

— За то, что ты разбила тарелочки.

— Не люблю играть в эту дурацкую игру. Давай лучше поиграем в заводные автомобильчики.

— Я тебе покажу заводные автомобильчики! — И снова шлепнула куклу.

В ответ та дернула Энрику за волосы.

— Ой! За что ты так?

— Законная самооборона! — объявила кукла. — Ты сама научила меня драться — я раньше не умела. И начала ты первая.

— Ну, ладно, будем играть в школу, — пробормотала Энрика, не зная, что возразить. — Я буду учительницей, ты ученицей. Вот это — тетрадь. Ты наделала в диктанте тьму ошибок, и я ставлю тебе двойку.

— При чем здесь цифра два?

— При том. Так всегда поступает наша учительница. Кто хорошо написал диктант, тому ставит пятерку, кто плохо — двойку.

— Зачем?

— Чтобы плохой ученик научился писать диктанты.

— Смех, да и только!

— Что же тут смешного?

— Как что? Сама подумай. Ты умеешь кататься на велосипеде?

— Конечно! — ответила Энрика.

— Когда ты училась кататься и падала, тебе ставили двойку или же пластырь?

Энрика в растерянности молчала. А кукла упорно допытывалась.

— Вспомни. Когда ты училась ходить и падала ничком, разве мама ставила тебе двойку на попке?

— Нет.

— Но ведь ты все равно научилась ходить. А потом и говорить, петь, научилась сама есть, застегивать пуговицы и зашнуровывать ботинки, чистить зубы, мыть уши, открывать и закрывать дверь, отвечать на телефонные звонки, включать телевизор и проигрыватель, подниматься и спускаться по лестнице, бросать мячик в стенку и ловить его, отличать дядю от племянника, собаку от кошки, холодильник от пепельницы, ружье от отвертки, сыр пармезан от сыра горгонцоло, правду от вранья, воду от огня. Без всяких отметок, не так ли?

Энрика оставила без внимания вопросительный знак в конце фразы и предложила кукле:

— Тогда я помою тебе голову.

— Да ты рехнулась. В день рождества!

— Мне приятно мыть тебе голову.

— А мне нет — мыло попадает в глаза.

— Короче говоря, ты моя кукла, и я могу делать с тобой, что захочу. Ясно?

Слово «ясно» прочно вошло в словарь синьора Фульвио. Синьора Лиза порой тоже заключает свои поучения суровым: «Ясно тебе?!» И вот теперь Энрике представился случай показать свою власть.

Но кукла, похоже, не собиралась ей подчиняться. Она взобралась на елку и, пока лезла, разбила не одну цветную лампочку. А очутившись на вершине дерева, сбила другие лампочки в виде гномов и Белоснежки.

Энрика, чтобы успокоиться, подошла к окну. Во дворе одни ребятишки играли в мяч и в кегли, другие катались на трехколесных велосипедах, самокатах, состязались в стрельбе из лука.

— Почему бы тебе не поиграть во дворе с ребятишками в кегли? — спросила кукла, в знак полной независимости засунув два пальца в нос.

— Там одни мальчишки, — уныло ответила Энрика. — Они играют в свои мальчишеские игры. А девочки должны играть в куклы. Научиться быть примерными матерями и прекрасными домашними хозяйками, которые умеют расставлять тарелки и чашки, стирать белье и чистить обувь всей семье. Мама всегда чистит папе ботинки. Сверху и снизу.

— Бедняжка!

— Кто?

— Твой отец. Как видно, он безногий и безрукий...

Энрика решила, что самое время дать кукле пару пощечин. Но чтобы добраться до нее, ей пришлось карабкаться вверх по рождественской елке. Глупая елка почему-то взяла и упала на пол. Лампочки и стеклянные ангелочки разлетелись вдребезги.

Кукла очутилась под стулом и оттуда стала строить Энрике рожицы. Но потом вскочила и подбежала к Энрике — посмотреть, не ушиблась ли она.

— Тебе не больно?

— Даже и отвечать не хочу. Это ты во всем виновата, — сказала Энрика. — Ты невоспитанная кукла, и я тебя больше не люблю.

— Наконец-то! — воскликнула кукла. — Надеюсь, теперь ты станешь играть с заводными автомобильчиками.

— И не подумаю. Буду играть с моей старой, тряпичной куклой.

— Правда? — протянула транзисторная кукла. Огляделась вокруг, увидела тряпичную куклу, схватила ее и выбросила в окно.

— Тогда я буду играть с моим кожаным медвежонком, — не сдавалась Энрика.

Транзисторная кукла отыскала кожаного медвежонка и кинула его в мусорное ведро. Энрика горько разрыдалась. Ее родители услышали плач и тут же прибежали в детскую комнату. Что же они увидели? Новая кукла, завладев ножницами, резала платья всех прежних кукол Энрики.

— Да это же сущее варварство! — воскликнул синьор Фульвио.

— Как я ошиблась! — простонала синьора Лиза. — Думала, что купила куклу, а она оказалась ведьмой.

Супруги дружно подхватили маленькую Энрику, принялись ее ласкать, гладить, целовать.

— Фу! — воскликнула кукла со шкафа, на который она взобралась и сейчас остригала свои слишком длинные, на ее вкус, волосы.

— Слыхала?! — обратился синьор Фульвио к жене. — Она сказала «Фу»! Этому ее мог научить только твой братец.

В тот же миг синьор Ремо, словно его позвали, появился на пороге. Он с первого взгляда все понял. Кукла лукаво ему подмигнула левым глазом.

— Что случилось? — невинным голосом спросил синьор Ремо, так, словно с неба свалился.

— Эта чертовка не хочет быть куклой! — всхлипывая, пробормотала Энрика. — Никакого сладу с ней нету.

— Хочу поиграть во дворе в кегли, — объявила кукла, разбрасывая по комнате клочки волос. — А еще хочу барабан, луг, лес, гору и самокат. Хочу быть физиком-атомщиком, машинистом, врачом-педиатром. Или же водопроводчиком. А если у меня будет дочка, я отправлю ее в кемпинг. Ну, а если услышу от нее: «Мама, хочу быть домашней хозяйкой и чистить мужу ботинки сверху и снизу», я ее в наказание поведу в бассейн и в театр.

— Да она сошла с ума! — воскликнул синьор Фульвио. — Может, один из транзисторов испортился?

— Ремо, ты в этом разбираешься. Посмотри, что там стряслось? — сказала синьора Лиза.

Синьор Ремо не заставил себя долго просить. А с ним и кукла. Она вскочила Ремо на голову и сделала сальто-мортале.

Синьор Ремо прикоснулся к ней трижды в трех разных местах. И кукла превратилась в... микроскоп.

— Ты все напутал! — возмутилась синьора Лиза.

Ремо снова прикоснулся к кукле. И она превратилась сначала в волшебную лампу, потом в телескоп, затем в ролики и наконец в пингпонговый стол.

— Что ты делаешь? — воскликнул синьор Фульвио. — Да ты ее доломаешь! Разве кто-нибудь когда-нибудь видел куклу в форме стола?

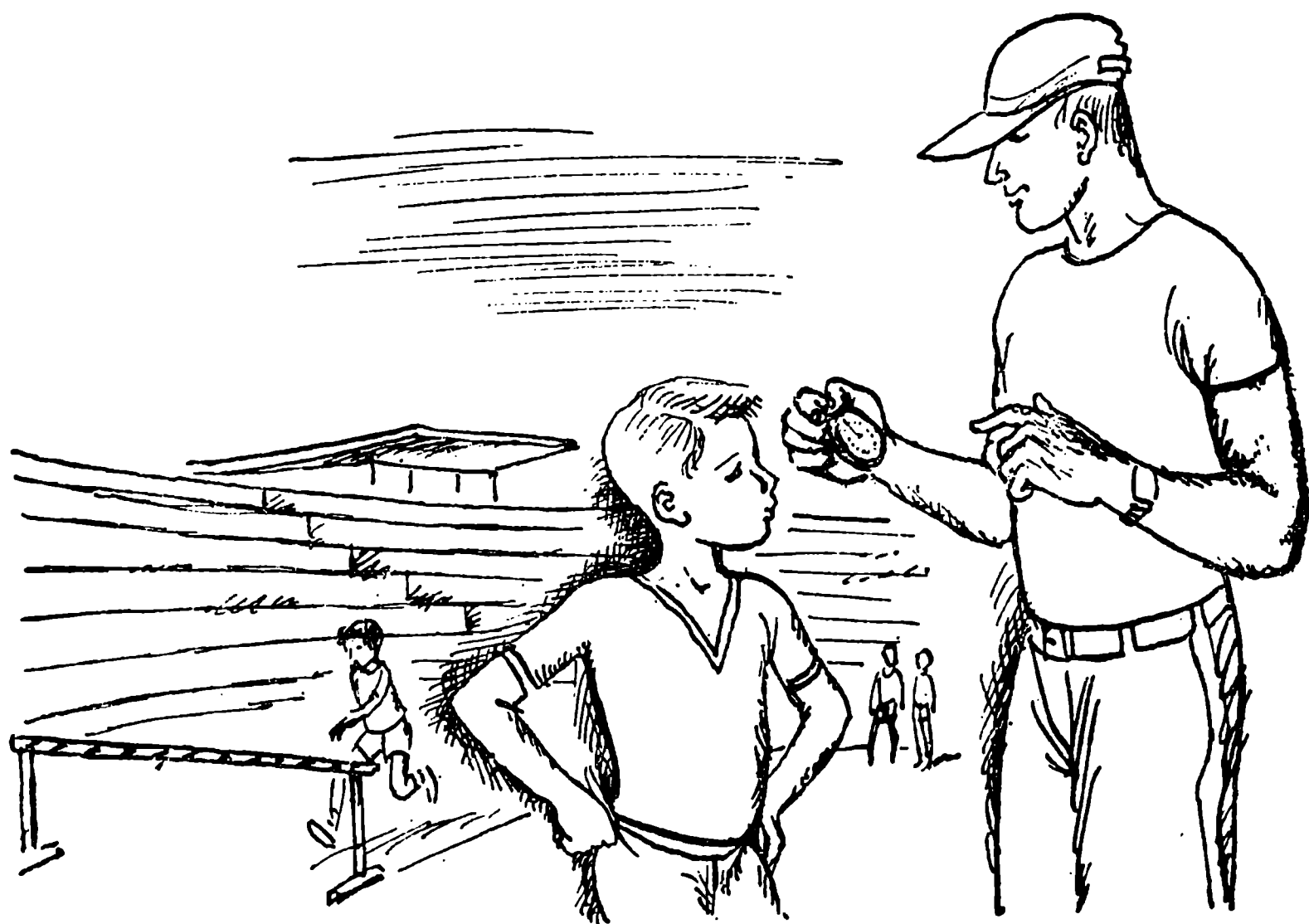
Ремо вздохнул и снова прикоснулся к транзисторной кукле. И она превратилась в нормальную куклу. С длинными волосами и с приделанной сбоку стиральной машиной.

— Мама, я хочу стирать белье, — кукольным голоском объявила она.

— Наконец-то! — обрадовалась синьора Лиза. — Вот это разумные слова. Ну, Энрика, поиграй со своей куколкой. Успеешь до обеда все белье перестирать.

Но Энрика, которая до этого лишь молча смотрела и слушала, заколебалась. Посмотрела на куклу, на дядюшку Ремо, на родителей. Потом глубоко вздохнула и сказала:

— Нет, хочу спуститься во двор и поиграть с мальчишками в кегли. А потом, может, еще сделаю и сальто-мортале.



Уильям Сароян

ДРЕВНЯЯ ИСТОРИЯ

На беговой дорожке стадиона средней школы Итаки были расставлены барьеры для забега на двести метров с препятствиями. Сейчас, ранним утром, здесь тренировались четверо мальчиков. Все они бежали хорошо, точно рассчитывая силы и делая прыжки по всем правилам. Тренер Байфильд подошел к победителю с секундомером в руках.

— Вот это уже лучше, Экли,— сказал он подростку, который был явно не из низов, однако ничем возвышенным пока не отличался. Всем своим видом он выражал сдержанную покорность судьбе, которая свойственна отпрыскам богатых семейств, десятилетиями не испытывающих нужды ни в пище, ни в одежде, ни в крове и порой даже способных посадить к себе за стол отпрысков других семейств, конечно, из тех, кому повезло не меньше.

— Тебе еще надо подучиться, — сказал тренер мальчику, — но я думаю, что сегодня ты победишь.

— Постараюсь, сэр, — ответил мальчик.

— Конечно, — сказал тренер. — Сегодня у тебя не будет соперника, но через две недели, на чемпионате Долины, их не обещься. Ступай теперь в душ и отдохни.

— Слушаю, сэр, — ответил мальчик. Он пошел, но вдруг остановился. — Извините, — сказал он, — какое у меня время?

— Приличное, — сказал тренер, — но не слишком. Я бы на твоём месте о нём не заботился. Беги, как я тебя учил, и считай, что придешь к финишу первым.

Трое других бегунов стояли в сторонке и прислушивались к разговору.

— Может, он и ведет себя как девчонка, — сказал один из них, — но всегда приходит к финишу первым. Чего ты зеваешь, Сэм?

— Чего я зеваю? — сказал Сэм. — А ты чего зеваешь? Почему бы тебе его не побить?

— Я пришел вторым.

— Что вторым, что третьим — какая разница!

— Подумать только, нас побил Хьюберт Экли Третий! — сказал Сэм. — Стыд какой!

— Правильно, — сказал другой, — но тут уж ничего не поделаешь. Он просто бежит лучше нас, вот и все.

Тренер обратился к ним уже совершенно другим тоном:

— Ладно, ребята, пошевеливайтесь. Не такие уж вы молодцы, чтобы бить баклуши и задаваться. Возвращайтесь на старт и попробуйте еще разок.

Мальчики молча вернулись на старт, тренер дал команду, и они побежали снова. Потом тренер решил, что до соревнования им стоит пробежаться еще несколько раз. Как видно, ему очень хотелось, чтобы победителем остался Хьюберт Экли Третий.

Классная комната быстро наполнялась учениками. Учительница древней истории, старенькая мисс Хикс, ожидала последнего звонка и хоть какого-нибудь подобия тишины и порядка — это на ее уроках было сигналом к очередной попытке разрешить задачу воспитания юношества, а чаще просто развлечь мальчиков и девочек Итаки, которые учились пока в средней школе, но вскоре, по крайней мере теоретически, должны были вступить в жизнь. Гомер Маколей, обуреваемый чувством, близким к обожанию, не сводил глаз с девочки по имени Элен Элиот, которая шла от двери к своей парте. Без сомнения, эта девочка была самой красивой девочкой на свете. Кроме того, она была задавалой, — Гомер

не хотел верить, что это свойство ее характера было природным или закоренелым. И однако, хотя он ее и боготворил, чванство Элен Элиот сильно омрачало его школьную жизнь. Следом за ней вошел Хьюберт Экли Третий. Когда Хьюберт нагнал Элен, они зашептались, что сильно раздосадовало Гомера. Раздался последний звонок, и учительница сказала:

— Хватит. Прошу потише. Кто отсутствует?

— Я, — откликнулся один из мальчиков. Его звали Джо Терранова, и он был классным шутком.

Четверо или пятеро проповедников веселого культа его личности, преданных ему душой и телом, сразу же оценили его грубоватую остроту. Но Элен Элиот и Хьюберт Экли кинули надменный взгляд на этих классных юродивых, на это дурно воспитанное отродье обитателей трущоб. В свою очередь, этот взгляд так разозлил Гомера, что уже после того, как все перестали смеяться, он разразился деланным «ха-ха-ха» прямо в лицо Хьюберту, которого презирал, и Элен, которую обожал. Затем он тут же накинулся на Джо:

— А ты помалкивай, когда говорит мисс Хикс.

— Ну-ка брось свои глупости, Джозеф, — сказала мисс Хикс. — И ты тоже, молодой человек, — добавила она, обращаясь к Гомеру. Сделав паузу, она оглядела класс. — Вернемся к ассирийцам и начнем с того самого места, на котором мы с ними вчера расстались. Прошу сосредоточиться, сосредоточиться полностью. Сперва мы почитаем вслух из нашего учебника древней истории. Потом обсудим вслух прочитанное.

Шут не смог отказаться от такой возможности подурачиться.

— Не надо, мисс Хикс, — предложил он, — давайте не обсуждать вслух. Давайте обсуждать про себя, чтобы я мог поспать.

Его приспешники снова разразились хохотом, а снобы отвернулись с негодованием. Мисс Хикс ответила шуту не сразу, — с одной стороны, ей доставляла удовольствие его находчивость, с другой стороны, ей было трудно сдержать его находчивость так, чтобы она быстро не иссякла. И все-таки было необходимо прибрать его к рукам. Наконец она сказала:

— Не надо придирайтесь, Джозеф, особенно когда случается, что ты прав, а я нет.

— Ладно, простите, мисс Хикс, — сказал местный комик. — Такой уж у меня характер. Обсуждать вслух! А как же на уроке обсуждать еще? Ну да ладно, простите. — Потом, словно подшучивая над собой и собственным нахальством, он покровительственно помахал ей рукой: — Можете продолжать, мисс Хикс.

— Спасибо, — сказала учительница. — А теперь не зевайте.

— Не зевать? — сказал Джо. — Да вы поглядите на них, они уже все заснули.

Старенькой учительнице хотя и нравились шутки Джо, ей все же пришлось его предупредить:

— Если ты еще раз прервешь меня, Джозеф, я попрошу тебя прогуляться в кабинет директора.

— Я-то хочу приобрести хоть какие-нибудь знания, — сказал озорник. — А вы поглядите на них. Они и правда клюют носом. — Окинув взглядом своих одноклассников, он добавил: — И все мои дружки тоже. Им бы только играть в бейсбол.

— Заткнись, Джо, — сказал Гомер приятелю. — Что ты все время кривляешься? И так все знают, что ты за словом в карман не полезешь.

— Хватит, — сказала мисс Хикс. — Замолчите оба. Откроем страницу сто семнадцатую, параграф второй. (Все полистали книгу и нашли нужное место.) Древняя история может казаться скучным и ненужным предметом. В такое время, как сейчас, когда в истории нашего общества происходит столько событий, может показаться, что ни к чему изучать и понимать другое общество, которого давно уже не существует. Но такое представление будет ошибочным. Нам очень важно знать о других временах, о других культурах, других народах, других цивилизациях. Кто хочет выйти к доске и почитать?

Подняли руки две девочки и Хьюберт Экли Третий.

Озорник Джо шепнул Гомеру:

— Ты только погляди на этого типа!

Из двух девочек, которые вызвались читать, учительница выбрала прекрасную и надменную Элен Элиот. Гомер словно зачарованный глядел, как она шла к доске. Элен постояла там — такая красивая, — а потом принялась читать самым звонким и приятным голосом на свете, и Гомеру оставалось только дивиться, каким чудом сочетаются в человеке такая красота и такой голос.

— «Ассирийцы с длинными носами, волосами и бородами, — читала Элен Элиот, — превратили Ниневию на севере в могучую державу. После многих столкновений с хеттами, египтянами и другими народами они завоевали Вавилон в царствование Тиглатпаласара Первого в одиннадцатом веке до нашей эры. Много столетий кряду Ниневия, построенная из камня, и Вавилон, построенный из кирпича, оспаривали друг у друга господство. Слова «сириец» и «ассириец» не имеют между собой ничего общего, и ассирийцы воевали против сирийцев, пока Тиглатпаласар Третий не покорил сирийцев и не изгнал десять племен Израиля».

Элен остановилась, чтобы перевести дыхание и прочесть следующий параграф, но не успела она начать, как Гомер Маколей спросил:

— А что собой представляет Хьюберт Экли Третий? Кого он завоевал или что он совершил?

Благовоспитанный мальчик поднялся со сдержанным негодованием.

— Мисс Хикс,— произнес он строго,— я не могу допустить, чтобы такое вызывающее озорство сошло с рук безнаказанно. Я вынужден просить вас предложить мистеру Маколею отправиться к директору... или,— сказал он с расстановкой,— мне придется взять это дело в собственные руки.

Гомер вскочил с места.

— Ты бы лучше заткнулся,— сказал он.— Разве тебя не зовут Хьюберт Экли Третий? Ну так чем же ты знаменит или, если говорить всерьез, чем знаменит Хьюберт Экли Второй или Хьюберт Экли Первый? — Он обратился к мисс Хикс, а затем и к Элен Элиот.— Мне кажется, что я задал разумный вопрос,— сказал он им. Потом снова спросил Хьюберта Экли: — Так чем же вы все трое знамениты?

— Знаешь,— сказал Хьюберт,— по крайней мере, ни один Экли никогда не был неотесанным,— он поискал самый уничижительный эпитет,— фанфароном!

— Фанфароном? — переспросил Гомер. Он призвал на помощь учительницу: — Что это значит, мисс Хикс? — Но так как она замешкалась, Гомер круто повернулся к Хьюберту Экли: — Послушай, ты, номер третий, не смей ругать меня словами, которых я никогда даже и не слышал.

— Фанфарон,— сказал Хьюберт,— это хулиган... хвастун. Он подыскивал другое, еще более оскорбительное слово.

— Заткнись,— сказал Гомер. Он улыбнулся Элен Элиот прославленной улыбкой Маколеев, повторяя: — Фанфарон! Это еще что за ругательство?

Затем он сел.

Элен Элиот ждала знака, что можно продолжать чтение. Но мисс Хикс знака не подавала. Наконец Гомер понял. Он поднялся и сказал Хьюберту Экли Третьему:

— Ладно, извини меня.

— Спасибо,— сказал благовоспитанный мальчик и сел.

Учительница древней истории окинула взглядом класс и сказала:

— Гомер Маколей и Хьюберт Экли останутся в классе после уроков.

— А как же будет с сегодняшними состязаниями в беге? — сказал Гомер.

— Меня не интересуют состязания в беге,— ответила учительница.— Духовное развитие не менее важно, чем телесное. А может, и важнее.

— Мисс Хикс,— произнес Хьюберт Экли,— средняя школа Итаки рассчитывает, что я буду победителем в забеге на двести

метров с препятствиями, а через две недели покажу хорошие результаты и в чемпионате Долины. Боюсь, что тренер Байфильд будет настаивать на моем участии в состязаниях.

— Не знаю, на чем будет настаивать тренер Байфильд,— сказал Гомер,— но лично я твердо намерен сегодня участвовать в беге на двести метров с препятствиями.

Хьюберт Экли посмотрел на Гомера.

— А я не знал,— сказал он,— что и ты собираешься участвовать в забеге.

— Да, собираюсь,— сказал Гомер.— Мисс Хикс, если вы нас в этот раз отпустите, даю вам слово, что никогда больше не буду плохо себя вести или вас не слушаться. И Хьюберт тоже дает слово.— Он спросил у Хьюберта: — Даешь слово?

— Даю,— сказал Хьюберт.

— Вы оба останетесь после уроков,— сказала преподавательница древней истории.— Пожалуйста, Элен, читай дальше.

— «Союзные армии халдеев с юга и мидян и персов с севера,— читала Элен,— вторглись в Ассирийское царство, и Ниневия склонилась перед их мощью. Вторым Вавилонским царством правил Навуходоносор Второй. Потом пришел со своими ордами завоевателей царь персидский Великий Кир. Но его господство было лишь временным, поскольку потомки этих завоевателей позднее сами были покорены Александром Великим».

Гомеру все опротивело; утомленный вечерней работой и убаюканный мелодичным голосом девочки, созданной, как он верил, для него одного, он уронил голову на скрещенные руки и погрузился в нечто весьма похожее на сон. Но и сквозь сон он слышал, как девочка читала:

— «Из этого плавильного котла мир получил в наследство величайшие ценности. Библейские заповеди Моисея обязаны некоторыми своими положениями законам Хаммурапи, прозванного Законодателем. Из арифметической системы того времени, в которой число, кратное двенадцати, применялось наряду с привычной нам десяткой, мы унаследовали наши шестьдесят минут в час и триста шестьдесят градусов окружности. Арабы дали нам наши числа, которые все еще называются арабскими, в отличие от римской системы исчисления. Ассирийцы изобрели солнечные часы. Современные аптечные знаки и знаки зодиака родились в Вавилоне. Недавние раскопки в Малой Азии обнаружили, что там существовала могущественная держава».

— Могущественная держава? — повторил Гомер сквозь дремоту.— Где? В Итаке? В Итаке калифорнийской? А потом, провалилась в тартарары? Не оставив ни великих людей, ни великих открытий, ни солнечных часов, ни численности, ни знаков зодиака, ни веселья — ровно ничего? Где же эта великая держава?

Он решил поднять голову и поискать ее. Но увидел только лицо Элен Элиот, может быть, величайшее царство всех времен и народов, и услышал ее удивительный голос, быть может, величайший дар обездоленного человечества.

— «Хетты,— читала она,— двинулись вниз, вдоль побережья, в Египет. Их кровь смешалась с кровью иудейских племен и дала иудеям хеттский нос».— Элен замолчала.— Это конец главы, мисс Хикс,— сказала она учительнице древней истории.

— Очень хорошо, Элен,— похвалила ее мисс Хикс.— Спасибо, ты отлично читала. Садись.

Речь, посвященная человеческим носам

Мисс Хикс подождала, пока Элен села на место, затем окинула взглядом лица своих учеников.

— Ну-с,— сказала она,— что же мы усвоили?

— Люди во всем мире имеют носы,— сказал Гомер.

Такой ответ нисколько не задел мисс Хикс, она приняла его как должное.

— А что еще? — спросила она.

— Носы,— продолжал Гомер,— существуют не только для того, чтобы сморкаться и получать насморк, но и для правильного понимания древней истории.

Мисс Хикс отвернулась от Гомера к другим ученикам:

— Пожалуйста, пусть ответит еще кто-нибудь. Кажется, Гомер слишком увлекся носами.

— А разве о них не написано в книге? — спросил Гомер.— Зачем же тогда о них пишут? Значит, это важно.

— Мистер Маколей,— предложила мисс Хикс,— может, вы желаете произнести экспромтом речь о носах?

— Ну что ж,— сказал Гомер,— правда, «речь» для того, что я скажу, слишком громкое слово, но древняя история нас все-таки кое-чему научила.— Он продолжал с расстановкой и с подчеркнутым пафосом: — У людей всегда были носы. В доказательство моего утверждения стоит лишь поглядеть на всех сидящих здесь в классе.— Он оглядел своих соучеников.— Носы,— изрек он,— кругом одни носы! — На секунду он умолк, раздумывая, что бы ему еще сказать на эту тему.— Нос,— решил он наконец,— быть может, самая забавная часть лица. Он всегда смущал человечество, а хетты, наверно, потому и дрались со всеми на свете, что носы у них были такие длинные и кривые. Не все ли равно, кто изобрел солнечные часы,— рано или поздно изобретут часы настоящие. Самое главное: у кого есть носы?

Затейник Джо слушал эту речь с глубочайшим интересом, восхищением и даже завистью. Гомер продолжал:

— Некоторые люди говорят в нос. Многие храпят носом, а избранные свистят или поют в нос. Кое-кого водят за нос, другие суют нос, куда не следует. Носы откусывали бешеные собаки и киноактеры в душераздирающие минуты любовной страсти. Под самым носом захлопывались двери, и порой носы попадали в машинку для сбивания яиц и даже в радиолу. Нос неподвижен, как зуб, но, находясь на подвижном предмете — голове, вынужден терпеть всяческие злоключения, поскольку его таскают повсюду, где он только мешает. Задача носа — понюхать, не пахнет ли жареным, но люди порой воротят нос от чужих мыслей, поведения или внешности.

Он посмотрел на Хьюберта Экли и Элен Элиот — ее нос вместо того чтобы задраться кверху, почему-то слегка повис книзу.

— Такие люди, — продолжал Гомер, — обычно задирают нос до небес, словно рассчитывают попасть в царствие небесное. Большинство зверей имеет ноздри, но лишь немногие из них имеют нос в подлинном смысле этого слова. И все же чувство обоняния сильнее развито у зверей, чем у человека, хотя у человека нос что надо. — Гомер Маколей глубоко вздохнул и решил закругляться. — Главное свойство носа заключается в том, что он вызывает ссоры, войны, кладет конец испытанной дружбе и счастливым бракам. Ну, а теперь смогу я пойти на стадион, мисс Хикс?

Хотя старенькая учительница древней истории и осталась довольна столь изобретательной речью на такую пустяковую тему, она не могла допустить, чтобы ораторское искусство помешало ее усилиям навести порядок в классе.

— Вы останетесь после уроков, мистер Маколей, — сказала она, — и вы тоже, мистер Экли. Теперь, когда мы покончили с вопросом о носах, я попрошу кого-нибудь высказаться о том, что было сегодня прочитано.

Желающих высказаться не нашлось.

— Давайте, давайте, — настаивала мисс Хикс. — Пусть кто-нибудь выскажется. Кто хочет?

На ее призыв откликнулся только озорник Джо.

— Носы бывают алые, — сказал он. — Фиалки же лиловые. А класс у нас убийственный. Как и мы с тобой...

— Еще кто-нибудь? — предложила мисс Хикс.

— У мореплавателей и путешественников обычно бывают длинные носы, — заявила одна из девочек.

— Все дети о двух головах имеют по два носа, — добавил Джо.

— Нос никогда не растет на затылке, — пояснил один из почитателей Джо.

— Еще кто-нибудь,— сказала мисс Хикс. Она обратилась к одному из мальчиков: — Ты, Генри?

— Я ровно ничего не знаю о носах,— сказал Генри.

Джо спросил Генри:

— А кто был царь Минос?

— Минос был в Древней Греции,— сказал Генри.

— Был у Миноса нос? — спросил Джо.

— Конечно, был.

— Ну, а почему бы тебе не сказать: «У Миноса был вó какой нос!» У нас же урок древней истории. Почему бы тебе ее и не выучить хоть раз в кои-то веки? Минос — нос — древняя — история. Постиг?

Генри старался постичь.

— «Минос — нос»,— повторил он.— Нет, погоди, не так. Нос у Миноса был велик во весь лик.

— Эх, ты! — сказал Джо.— Ничему ты никогда не научишься и на старости лет помрешь в богадельне. Почему бы тебе не сказать: «Даже Минос и тот имел нос». Понимать надо. Ты за собой последи.

— Довольно,— сказала мисс Хикс.— Еще кто-нибудь?

— Рука проворнее глаз. Но течет только из носа,— сказал Джо.

— Мисс Хикс,— вставил Гомер,— позвольте мне участвовать в беге на двести метров с препятствиями!

— Меня совершенно не интересуют никакие препятствия,— сказала мисс Хикс.— Еще кто-нибудь?

— Послушайте,— сказал Гомер,— разве я не вдохнул жизнь в ваш сонный класс? Разве я не заставил их всех говорить о носах?

— Это не имеет отношения к делу,— сказала учительница древней истории.— Еще кто-нибудь?

Но было уже поздно. Прозвучал звонок. Все поднялись и направились на стадион, за исключением Гомера Маколея и Хьюберта Экли Третьего.



Януш Корчак

ПЕРВЫЙ СНЕГ

Ночью выпал снег.

Белым-бело.

Сколько лет я не видел снега. После долгих, долгих лет я снова радуюсь снегу, тому, что все вокруг бело.

И взрослые любят хорошую погоду, но они думают, рассуждают, а мы словно пьем ее! И взрослые любят ясное утро, а нас оно пьянит!

Когда я был взрослым, то, увидев снег, я уже думал о том, что будет слякоть, чувствовал на ногах мокрую обувь. «А хватит ли на зиму угля?» Ну и радость — она тоже была, но словно присыпанная пеплом, загрязненная, серая. Теперь я чувствую одну только прозрачную, белую, ослепительную радость. Почему? Да просто — снег!

Я иду медленно, осторожно. Мне жалко топтать эту радость. Все кругом искрится, сверкает, сияет, переливается, играет, живет! И во мне тысяча искорок. словно кто рассыпал по земле и в душе моей алмазный порошок. Посеял — и вырастут алмазные деревья. Родится сверкающая сказка.

На руку падает белая звездочка. Хорошая, маленькая, родная. Жалко, что она исчезает, словно ее испугнули. Жалко! Или дуну — и радуюсь, что ее нет, потому что уже села другая. Открываю рот и ловлю их губами. Чувствую хрустальный холодок снега, чистую холодную белизну.

А когда начнет таять, будут ледяные сосульки. Их можно сбивать рукой. Можно подставить рот и ловить падающие капли. Широким взмахом руки сгребаете сосульки из-под карниза — они падают и разбиваются с холодным прозрачным звоном.

Настоящая зима и настоящая весна!

Это не снег, а волшебное царство радужных мыльных пузырей.

Ну, и снежки... Снежки, снежные шарики — озорство, неожиданность... Мячиков — сколько душе угодно! Не покупаешь, не берешь поиграть, не просишь. Они твои. Бросаешь — снежок мягко ударяет и рассыпается. Ничего, сейчас будет новый. В спину, в рукав, в шапку!.. Ты — в него, он — в тебя. Смех... И стучит сердце...

Падаешь, отряхиваешься... За шиворот! Бр-р-р, холодно... Хорошо!

Катишь ком. Он облипает снегом, растет. Выбираешь места получше, толкаешь. Ком все больше, больше. Уже не ладонью, а обеими руками, уже чувствуешь: тяжелеет. Поскользнулся — значит, медленней, осторожней. Чей больше? А теперь что, лепить снежную бабу или вскочить на него с разбегу?

Дворники сгребают снег с тротуаров. Скорее на мостовую, где нетронутый снег, и бредешь по колено в белом пуху...

Боже, как нужны доски и гвозди! Самая необходимая, единственно важная вещь на свете — кроме нее, ничего не существует — это собственные салазки, обитые железом. Что бы такое разбить, разобрать, разыскать, выпросить, как бы добыть доски? И коньки — если нельзя два, то хотя бы один! Сиротой себя чувствует человек без конька и салазок!..

Вот они, наши белые заботы, белые желания.

Жаль мне вас, взрослые, — вы так бедны радостью снега, которого вчера еще не было!

Ветер смел с карнизов, со ставен, с водосточных труб обломки звездочек и швырнул белой пудрой в улицу. Белый холодный туман. Вверх, вниз, в зажмуренные глаза, в занавеску белых ресниц.

Улица. Не лес, не поле, а белая улица. Удалой, молодой возглас радости. На крышах домов будут стоять маленькие человечки, сбрасывать лопатами снег на огороженные тротуары. А ты завидуешь, что высоко, что могут упасть, а не падают, что работа легкая, и приятная, и красивая — швырять снег с высоты, что прохожие сторонятся и смотрят вверх.

Будь я королем, я приказал бы в первый день зимы вместо тысячи школьных звонков дать с крепости двенадцать пушечных залпов, возвещающих, что занятий не будет.

В подвалах и на чердаках каждой школы есть ящики, сломанные парты, доски.

Праздник первого санного пути.

Останавливаются трамваи, ездить на колесах запрещено. Наши санки, наши колокольчики вступают во владение городом: всеми улицами, площадями, скверами, садами. Белый праздник школьников — День Первого Снега.

Вот как я шел в школу.

А теперь школа. Школа, и больше ничего. Я знаю, что это не ее вина, но все равно обидно. Ну разве не обидно? Пять часов сидеть за партой: читать, решать задачи...

— Госпожа учительница, снег...

— Снег, госпожа учительница!..

Учительница останавливает, сперва мягко, потом все строже. Она раздражена, но отрицать не может, она знает, что мы правы. Ведь и в самом деле снег!

— Госпожа учительница!..

— Тише!..

Потом пойдет:

— Кто только рот откроет...

— Кто только скажет одно слово...

— Я вам в последний раз говорю...

Начнутся угрозы.

Значит, опять мы виноваты? Значит, виноват не снег, а, как всегда, мы...

Мы спали ночью и даже не знали — можем принести записку от родителей, — он выпал сам, с неба. А если об этом нельзя говорить, если надо притворяться, что мы ничего не видели, ничего не замечаем, если это нехорошо, некрасиво, что мы знаем и даже радуемся, — ну, тогда ничего не поделаешь. Пусть так.

В углу пока стоит только один.

Вместе со всеми примолк и я. Несколько беспокойных взглядов в окно и последний, полный надежды взгляд — на учительницу: может быть... И уже тишина. И уже только урок.

Нет двенадцати залпов белого веселья для детей.



Карел Чапек

ДАШЕНЬКА, ИЛИ ИСТОРИЯ ЩЕНЯЧЬЕЙ ЖИЗНИ

1

Когда она родилась, была это просто-напросто беленькая чепуховинка, умещавшаяся на ладошке, но, поскольку у нее имелась пара черненьких ушек, а сзади хвостик, мы признали ее собачкой, и так как мы обязательно хотели щенка-девочку, то и дали ей имя Дашенька.

Но пока она так и оставалась беленькой чепуховинкой, даже без глаз, а что касается ног — ну что ж, виднелись там две пары чего-то; при желании это можно было назвать ножками.

Так как желание имелось, были, стало быть, и ножки, хотя пользы от них пока что было немного, что там говорить! Стоять на них Дашенька не могла — такие они были шаткие и слабенькие, а насчет ходьбы вообще думать не приходилось.

Когда Дашенька взяла, как говорится, ноги в руки (по правде сказать, конечно, ног в руки она не брала, а только засучила ру-

кава, вернее, она и рукавов не засучивала, а просто, как говорят, поплевала на ладони, — поймите меня правильно: она и на ладони не плевала, во-первых, потому, что еще не умела плевать, а во-вторых, ладошки у нее были такие малюсенькие, что ей ни за что бы в них не попасть), — словом, когда Дашенька как следует взялась за это дело, сумела она за полдня дотащить от маминой задней ноги к маминой передней ноге; при этом она по дороге три раза поела и два раза поспала.

Спать и есть она умела сразу, как родилась, этому ее учить не приходилось. Зато и занималась она этим удивительно старательно — с утра до ночи. Я даже думаю, что и ночью, когда никто за ней не наблюдал, она спала так же добросовестно, как и днем, такой это был прилежный щенок.

Кроме того, она умела пищать, но, как щенок пищит, этого я вам нарисовать не сумею, не сумею и изобразить, потому что у меня недостаточно тонкий голос. Еще умела Дашенька с самого рождения чмокать, когда она сосала молочко у мамы. А больше ничего.

Как видите, не так-то много она умела. Но ее маме (зовут ее Ирис, она жесткошерстный фокстерьер) и того было довольно: весь день напролет она все нянчилась со своей дорогой Дашенькой и находила о чем с ней беседовать, причесывала ее и гладила, утешала и кормила, ласкала и охраняла и подкладывала ей вместо перины собственное мохнатое тело; то-то славно там, милые, Дашеньке спалось!

К вашему сведению, это и называется материнской любовью. И у человеческих мам все бывает так же — сами, конечно, знаете.

Одна разница: человеческая мама хорошо понимает, что и почему она делает, а собачья мама не понимает, а только чувствует — ей все природа подсказывает.

«Эй, Ирис, — приказывает ей голос природы, — внимание! Пока ваш малыш слепой и беспомощный, пока он не умеет сам ни защищаться, ни прятаться, ни позвать на помощь, не смейте от него ни на секунду отлучаться, я вам это говорю! Охраняйте его, прикрывайте своим телом, а если приближается кто-то подозрительный, тогда «ррр» на него и загрызьте!»

Ирис все это выполняла страшно пунктуально. Когда приблизился к ее Дашеньке один подозрительный адвокат, она кинулась, чтобы его загрызть, и разорвала ему брюки; когда подошел один писатель (помнится, Йозеф Копта), хотела его тоже задушить и укусила его за ногу; а одной даме изорвала все платье.

Более того, кидалась она и на официальных лиц при исполнении ими служебных обязанностей, как-то: на почтальона, трубочиста, электромонтера и газопроводчика. Сверх того, покушалась

она и на общественных деятелей — бросилась на одного депутата, было у нее недоразумение даже с полицейским; словом, благодаря своей бдительности и неустрашимости она сохранила свое единственное чадушко от всех врагов, бед и напастей.

У собачьей мамы, дорогие мои, жизнь нелегкая: людей на свете много и всех не перекусаешь.

В тот день, когда Дашенька отпраздновала десятидневную годовщину своей жизни, ожидало ее первое большое приключение: проснувшись поутру, она, к своему удивлению, обнаружила, что видит; правда, пока только одним глазом, но и один глаз — это тоже, я бы так выразился, выход в свет.

Дашенька была этим так поражена, что завизжала, и этот визг был началом собачьей речи, которую называют лаем. Теперь Дашенька умеет не только говорить, но и ворчать и браниться, но тогда она только взвизгнула, и это прозвучало так, словно нож скользнул по тарелке.

Главным событием был, впрочем, конечно, глаз. До сих пор Дашеньке приходилось искать прямо мордашкой, где у мамы те славные пуговицы, из которых брызжет молочко; а когда она пробовала ползать, приходилось ей сначала совать свой черный и блестящий нос, чтобы пощупать, что там, впереди... Да, братцы, глаз — хоть бы и один — замечательная штука. Только мигнешь им — и видишь: ага, тут стена, тут какая-то пропасть, а вот это белое — это мама! А когда захочешь спать, глазок закрывается — и спокойной ночи, не поминайте лихом!

А что, если опять проснуться?

Открывается один глаз — и, глядите-ка, открывается и второй, немного щурится, а потом выглядывает целиком. И с этой минуты Дашенька смотрит и спит двумя глазами сразу, так что она скорее успевает выспаться и может больше времени тратить на обучение ходьбе, сидению и другим разным разностям, необходимым в жизни. Да, что ни говори, это большой прогресс!

Как раз в этот момент вновь послышался голос природы:

«Ну, Дашенька, раз у тебя теперь есть глазки, смотри в оба и попробуй ходить!»

Дашенька подняла ушко в знак того, что слышит и понимает, и стала пробовать ходить. Сначала она высунула вперед правую переднюю ножку... А теперь как же?

«Теперь левую заднюю», — подсказывал ей голос природы. Ура, и это вышло!

«А теперь давай вторую заднюю, — посоветовал голос природы, — да заднюю, говорят тебе, заднюю, а не переднюю! Ах ты, глупая Дашенька, ты же одну ножку сзади оставила! Постой, дальше идти нельзя, пока ты ее не подтянешь. Да, говорю тебе,

подтяни ты правую заднюю под себя!.. Да нет, это хвостик, на хвостике далеко не уйдешь! Запомни, Дашенька: о хвостике можешь не беспокоиться, он сам собой пойдет за ножками... Ну что, все лапки собрала? Отлично! А теперь сначала: выдвигай правую переднюю, так, голову немного повыше, чтобы оставить место для ножек... так, хорошо; теперь левую заднюю, а теперь правую заднюю (только не так далеко в сторону, Дашенька); двигай ее под себя, чтобы животик не волочился по земле... вот так. А теперь шагай левой передней... Прекрасно! Вот видишь, как хорошо дело идет!.. Теперь минутку отдохни и начинай сначала: одна — две — три — четыре; голову выше; одна — две — три — четыре!»

2

Как видите, ребята, работы тут немало, а голос природы — учитель ой-ой-ой какой строгий, он ничего не спускает щенку-ученику.

Хорошо еще, что порой он бывает занят, — скажем, учит молодого воробья летать или показывает гусенице, какие листья можно есть, а какие не надо трогать. Тогда он задает Дашеньке только уроки, домашние задания (например, пересечь по диагонали, от угла к углу, всю собачью конуру) и исчезает. Справляйся, бедняжка, сама как хочешь!

Дашенька ужасно старается, от напряжения у нее даже язычок высовывается: правой передней, теперь левой задней («Батюшки мои, да какая же тут левая, какая правая — эта или эта?») и другой задней («Да где ж она у меня?»)... А теперь что?

«Плохо! — кричит голос природы, весь запыхавшийся, — ведь он учил воробьев летать! — Шаги поменьше, Дашенька, голову выше, а лапки хорошенько подбирай под себя. Повторить упражнение!»

Голосу природы — ему, конечно, хорошо командовать, а когда у тебя ножки мягкие, словно из ваты, и трясутся, как студень, попробуй-ка сладь с ними! Да еще животик у нас так набит, а голова такая большая — мука, да и только!

Измученная Дашенька усаживается посередине конуры и начинает хныкать.

Но мама Ирис тут как тут: она утешает свою дочурку, кормит ее, и обе засыпают.

Вскоре, однако, Дашенька просыпается, вспоминает, что не выполнила домашнее задание, и лезет прямо по маминой спине в противоположный угол конуры.

«Молодчина, Дашенька! — хвалит ее голос природы. —

Если будешь так прилежно учиться, станешь бегать быстрее ветра».

Вы не поверите, сколько у такого щенка дела: когда он не учится ходить — спит; когда не спит — учится сидеть (а это, друзья, тоже не пустяк), и тут голос природы прикрикивает:

«Сиди прямо, Дашенька, голову выше, и не гни так спину. Эй, берегись: сидишь на спине! А теперь сидишь на ножках. А где у тебя хвостик? На хвосте сидеть тоже не полагается — ведь ты им тогда не сумеешь вилять».

И так далее, нотации без конца!

Даже когда щенок спит или сосет, он тоже выполняет задание — расти. Изо дня в день ножки должны становиться немного больше и крепче, шейка — длиннее, мордочка — любопытнее. Представляете, сколько это хлопот, когда растут сразу четыре ноги? Нельзя забывать и о хвостике — он тоже должен подрастать. Нельзя же, чтобы у фокса был крысиный хвостик! У фокстерьера хвост должен быть крепким, как палка, и так вилять, чтобы свист стоял. И надо уметь настораживать ушки, вертеть хвостом, громко скулить и мало ли что еще... И всему этому Дашенька должна учиться.

Вот она уже умеет как следует ходить. Правда, иногда какая-нибудь ножка теряется. Тогда приходится сесть, чтобы поскорее разыскать беглянку и собрать все четыре ноги вместе. Иногда Даша просто катится, словно маленький чурбачок.

Но щенячья жизнь страшно сложна: тут начинают расти зубы.

Сначала это просто крошки, но как-то незаметно начинают заостряться, и чем острее они становятся, тем сильнее пробуждается у Дашеньки желание кусать.

К счастью, на свете есть масса вещей, необыкновенно подходящих для этого занятия. Например, мамины уши или человеческие пальцы. Реже попадается Дашеньке кончик человеческого носа или ушная мочка, зато если она до них доберется, то грызет их с особым наслаждением.

Больше всего достается маме Ирис. Живот у нее до крови искусан Дашенькиными зубками и изодран ее коготками; она, правда, терпеливо кормит эту маленькую кус... (Кусыню, кусицу?.. Да как же будет существительное женского рода от «кусаться»? Ах да, кусаку!), но при этом жмурится от боли. Ничего не попишешь, Дашенька, с кормлением у мамы придется кончать; надо тебе учиться еще одному искусству — лакать из миски.

Пойди сюда, маленькая, вот тебе миска с молоком. Что ж ты, не знаешь, что с этим делать? Ну, сунь туда мордочку, высунь язык, обмакни его в это белое и живо втяни обратно, только чтобы на нем осталась капелька этого белого; и так поступай снова, бис,

репете, *da saro*¹, пока миска не опустеет. Да не иди ты с таким глупым видом, Дашенька, ничего страшного тут нет. Ну, давай принимайся, начинай!

Дашенька ни с места, только хлопает глазами и трясет хвостиком.

Эх ты, дурашка! Что ж, раз иначе не выходит, придется сунуть в молочко твой бестолковый нос, хочешь не хочешь. Вот так!

Дашенька возмущена совершенным над ней насилием: нос и усы у нее смочены молоком. Надо их облизнуть язычком... Ах ты батюшки, до чего же это вкусно!

А теперь она уже не боится — сама лезет в это вкусное белое прямо с ножками, разливает его по полу; все ее четыре ноги, и уши, и хвостик в молоке. Мама приходит на выручку и облизывает ее.

Но начало положено: через день-другой будет Дашенька вылизывать миску в два счета и при этом будет расти как на дрожжах... что я говорю! — как на молоке!

Вот и вы, ребята, берите с нее пример и ешьте как следует, чтобы расти и становиться большими, как этот славный щеночек, который с честью носит имя Дашенька.

3

Много воды утекло, и, в частности, много натекло лужиц.

Дашенька — уже не беспомощный комочек с трясущимся хвостиком, а совершенно самостоятельное, лохматое и озорное, зубастое и непоседливое, прожорливое и все уничтожающее существо.

Выражаясь по-научному, выросло из нее позвоночное (потому что у нее голос, как звоночек) из отряда плутоватых собакообразных, подотряд непосед, род озорников, вид безобразников, порода «сорванец черноухий».

Носится она где пожелает: весь дом, весь сад, вся вселенная до самого забора — все это ее владения.

В этой вселенной полным-полно вещей, которые необходимо раскусить, то есть исследовать по части их кусабельности, а также, возможно, сожрабельности; полным-полно таинственных мест, где можно производить занимательные опыты для выяснения вопроса о том, где лучше всего делать лужицы.

(В основном Дашенька избрала для этих целей мой кабинет с его окрестностями, но по временам предпочитает столовую.)

¹ Еще раз (*итал.*).

Далее необходимо уточнить, где лучше спится (в частности, на половых тряпках, на руках у людей, среди клумбы с цветами, на венике, на свежесглаженном белье, в корзинке, в сумке для покупок, на козьей шкуре, в ботинке, на парниковой раме, на лопатке, на дорожке у двери или даже на голой земле).

Есть вещи, которые служат для развлечения, например лестница, с которой так хорошо скатываться кувырком. («Вот веселото!» — думает Дашенька, летя через голову по ступенькам.) Есть вещи опасные и коварные — скажем, двери, которые стучат по головке или прищемляют лапку или хвост, как раз когда этого меньше всего ожидаешь. В таких случаях Дашенька визжит, как будто ее режут, и ее берут на руки. Там она еще минутку поскулит, получит в утешение что-нибудь вкусное и снова бежит скатываться с лестницы.

Несмотря на некоторый горький опыт, Дашенька твердо убеждена, что с ней ничего худого не может случиться и над ее собачьей головкой не собирается никаких туч.

Она не обходит половую щетку, а доверчиво ожидает, что щетка обойдет ее; обычно щетка так и поступает. Вообще у Дашеньки родственная склонность ко всему волосатому, будь то щетка, или конский волос (который она таскает из дивана), или человеческие волосы; ко всему этому она питает слабость.

Не уступает она дороги и человеку. В конце концов, пусть человек сам заботится, как бы не наступить на щенка! Это его дело, верно?

Все, кто живет в доме, вынуждены или парить в воздухе, или ступать осторожно, словно по тонкому льду. Ведь никогда не знаешь, когда у тебя под ногой раздастся отчаянный визг.

Вы, друзья, не поверите, как такой маленький щенок может заполнить собой весь дом!

Дашенька не желает принимать в расчет козни и злобу мира сего; три раза она вбегала прямехонько в садовый прудик, твердо уверенная, что и по воде можно чудесно побегать.

После этого ее тепло укутывали, и в утешение ей доставался кончик хозяйского носа, чтобы она скорее забыла пережитый ужас, кусая самую соблазнительную вещь на свете.

4

Но будем рассказывать по порядку.

1. Бег и прыжки — первое и главное дело для Дашеньки.

Теперь уже это, милые, не шаткие, мучительно трудные первые шаги — нет! Это уже настоящий спорт, как-то: рысь, галоп, спринт, спурт на десять ярдов, бег на длинные дистанции; прыжки

в длину, прыжки в высоту, полет, ползание по-пластунски; различные броски, как, например, бросок на нос, бросок на голову, падение на спину, сальто-мортале на бегу с одним или несколькими переворотами; бег по сильно пересеченной местности, бег с препятствиями (например, с половой тряпкой во рту); разные виды валяния и катания — через голову, на боку и т. д.; гонка, преследование, повороты и перевороты, — словом, все виды собачьей легкой атлетики.

Уроки в этой области дает самоотверженная мама. Она мчится по саду — конечно, прямо через клумбы и другие препятствия, — она летит, как лохматая стрела, и Дашенька мчится следом. Мама отскакивает в сторону, а так как маленькая этого еще не умеет, то она делает двойное сальто — иначе остановиться она не может.

Или мама носится по кругу, а Дашенька за ней. Но так как она еще не знает, что такое центробежная сила (физику у собак проходят несколько позже), то центробежная сила подбрасывает ее, и Дашенька описывает в воздухе красивую дугу. После каждого такого физического опыта Дашенька очень удивляется и садится отдохнуть.

Сказать вам по правде, координация движений у этого щенка еще далека от совершенства. Дашенька не знает меры. Она хочет сделать шаг — и вместо этого летит, как камень из пращи; хочет прыгнуть — и рассекает воздух, как пушечный снаряд. Сами знаете, молодость любит немного преувеличивать. Дашенька, собственно говоря, не бежит — ее просто несет куда-то; она не прыгает — ее швыряет!

Она побивает все рекорды скорости: в три секунды ухитряется перебить гору цветочных горшков, ввалиться кувырком в парник на саженцы кактусов и при этом еще шестьдесят три раза вильнуть хвостом.

Попробуйте-ка вы так!

2. Кусание — это тоже любимый спорт Дашеньки. Она кусает и грызет просто-напросто все, что встречает на своем пути, а именно: плетеную мебель, метелки, ковры, антенну, домашние туфли, кисточку для бритья, фотопринадлежности, спичечные коробки, нитки, цветы, мыло, одежду и, в частности, пуговицы. Если же у нее ничего такого под руками нет, то она вгрызается в свою собственную ногу и хвост столь основательно, что вскоре начинает скулить.

В этом деле она проявляет необыкновенную выдержку и упорство: она изгрызла целый угол ковра и всю бахрому у покрывала на кровати. Нельзя не признать, что для такой малышки это серьезное достижение. За время своей недолгой деятельности она с успехом изгрызла:

1 гарнитур плетеной мебели	360	чешских крон
1 диванную обивку . . .	536	»
1 ковер (не новый) . . .	700	»
1 дорожку (почти новую) .	940	»
1 садовый шланг	136	»
1 щетку	16	»
1 пару сандалий	19	»
1 пару домашних туфель .	29	»
Разное	263	»

И т о г о: 2999 чешских крон

(Прошу проверить!)

Отсюда вытекает, что такой чистокровный жесткошерстный фокстерьер обходится 2999 крон штука. Хотел бы я знать, во сколько тогда обойдется чистокровный щенок, скажем, берберийского льва?

Иногда в доме вдруг наступает странная тишина. Дашенька сидит тихо, как мышка, где-то в углу. «Слава тебе господи,— вздыхает хозяин,— наконец-то проклятая псина уснула, хоть минутку можно спокойно посидеть!» Вскоре эта тишина, однако, начинает казаться подозрительной; хозяин встает и идет взглянуть, почему это Дашенька так долго сидит смирно.

Дашенька с победоносным видом поднимается и вертит хвостом: под ней лежат какие-то клочки и лохмотья; что это было, распознать уже нельзя.

По-моему, это когда-то было щеткой.

3. Перетягивание на канате — не менее важный вид спорта. Тут, как правило, должна помогать мама Ирис. А так как у собак специального каната нет, за него сходит все, что попадется: шляпа, чулок, шнурки для ботинок и другие предметы обихода.

Мама, само собой разумеется, перетягивает Дашеньку и тащит ее за собой по всему саду, но Дашенька не уступает: она стискивает зубы, выкатывает глаза и позволяет таскать себя до тех пор, пока импровизированный канат не разорвется. Если мама далеко, Дашенька обходится и без нее — можно ведь играть в перетягивание и с развешенным для сушки бельем, с фотоаппаратом, с цветами, с телефонной трубкой, с занавесками или с антенной. В человеческой конуре всегда найдется что-нибудь, на чем можно испробовать свои зубки и мускулы, упорство и спортивный дух.

4. Классическая борьба — еще один и, что касается Дашеньки, особенно любимый ею вид тяжелой атлетики.

Обычно Дашенька, проявляя беспримерный боевой дух, кидается на маму и впивается ей в нос, в ухо или в хвост. Мама стряхивает противника и хватает его за шиворот. Наступает так называемый инфайнтинг, или ближний бой, то есть оба борца катаются по рингу (обычно по газону), и зритель не видит ничего, кроме великого множества передних и задних ног, высовывающихся из какого-то лохматого клубка. В клубке этом что-то порой взвизгнет, порой из него высунется победоносно виляющий хвост; оба противника яростно рычат и наскакивают друг на друга всеми четырьмя ногами. Потом Ирис вырывается и трижды обегает вокруг сада, преследуемая по пятам воинственной Дашенькой. А потом все начинается сначала.

Понятно, мама проводит только показательный бой, она не кусается по-настоящему, зато Дашенька в пылу сражения рвет, терзает и кусает маму изо всех сил. В каждом таком матче бедная Ирис теряет немалую толику шерсти. Чем больше растет Дашенька, чем она становится сильнее и мохнатее, тем более растерзанной и ободранной выглядит мама.

Да, дети — сущее наказание, вам это и ваши мамы подтвердят!

Зачастую мама хочет отдохнуть и где-нибудь спрячется от своей подающей надежды дочурки. Тогда Дашенька сражается с метелкой, ведет ожесточенный бой с какой-нибудь тряпкой или предпринимает отважные атаки на человеческие ноги.

Вошел гость, и вот Дашенька молниеносно атакует его брюки и рвет их.

Гость насильственно улыбается, думает про себя: «Чтоб ты сдохла!» — и уверяет, что он «обожает собак», особенно когда они вцепляются ему в брюки.

Или же Дашенька нападает на ботинки гостя и тащит его за шнурки. Она успевает порвать либо развязать их прежде, чем тот сосчитает до трех (например, «будь ты трижды неладна!»), и получает при этом огромное удовольствие (не гость, а Дашенька).

5. Кроме того, Дашенька с большой охотой занимается ритмическими и вольными упражнениями, например почесыванием задней ногой за ухом или под подбородком, а также ловлей мнимых блох в собственной шкуре. Последнее упражнение особенно развивает грацию, гибкость, а также способствует овладению партерной акробатикой.

Или — обычно где-нибудь на цветочной клумбе — она тренируется в саперном деле. Так как Даша принадлежит к породе терьеров, или мышеловов, она учится выкапывать мышей из зем-

ли. Мне приходилось не раз вытягивать ее из ямы за хвост. Ей это явно доставляло большое удовольствие, мне — несколько меньшее; когда вам с клумбы кивает вместо цветущих лилий только собачий хвост, это, с вашего разрешения, немного нервирует.

Дашенька, Дашенька, кажется мне, что так дальше у нас с тобой не пойдет. Ничего не попишешь, пора нам расставаться!

«Да, да,— говорят умные глаза Ирис, мамы,— так дальше продолжаться не может, девчонка портится! Посмотри, хозяин, как я выгляжу: вся ободранная и истерзанная, пора уже мне отрастить себе новый наряд. И потом, подумай, я служу тут уже пять лет — каково же терпеть, что все носятся с этой безобразницей, а на меня ноль внимания! И, к твоему сведению, я даже не ем досыта — она мигом съедает свою порцию, а потом лезет в мою миску. Вот и вся благодарность, хозяин... Нет, нет, самое время отдать девчонку в люди!»

* * *

И вот наступил день, когда чужие люди забрали Дашеньку и унесли ее в портфеле, сопровождаемые нашими горячими и благожелательными уверениями в том, что это чудесная, славная собачка (в этот день она успела разбить стекла парниковой рамы и выкопать целый куст тигровых лилий) и вообще она необыкновенно мила, послушна и т. д. Второго такого щенка не найдешь!

«Ну, отправляйся, Дашенька, и будь молодцом!»

В доме — благодатная тишина. Слава богу, уже не нужно все время дрожать, как бы эта проклятая псина не натворила новой пакости. Наконец-то мы от нее избавились!

Но почему же в доме так тихо, как на кладбище? В чем дело? Люди стараются не глядеть друг другу в глаза. Заглядываешь во все углы — и нигде ничего нет, даже лужицы...

А в конуре молча, одними глазами, плачет ободранная и истерзанная мама Ирис.

КАК ФОТОГРАФИРОВАТЬ ЩЕНКА

Скажу откровенно: трудно! Здесь требуется крайнее терпение и от щенка и от фотографа.

Предположим, солнце удачно освещает трогательную сцену: щенок лопает из миски. Хозяин щенка галопом мчится за фотоаппаратом, чтобы увековечить этот знаменательный момент из щенячьей жизни. Прежде чем он возвращается с аппаратом, миска, увы, совершенно пуста.

— Живее налейте Дашеньке еще миску молока! — командует фотограф.

Он с подобающей профессиональной ловкостью устанавливает экспозицию и наводит объектив на резкость, пока Дашенька героически расправляется со второй миской.

— Так, вот теперь отлично, — задыхается фотограф и в этот момент замечает, что забыл зарядить аппарат.

Пока он вставляет кассету, Дашенька приканчивает и вторую миску.

— Дайте ей еще одну! — говорит фотограф и быстро наводит аппарат.

Однако Дашенька вбила себе в голову, что больше ни под каким видом есть не будет. Ни капельки. Все уговоры бесполезны. Напрасно тыкать ее носом в молоко — не желает, и конец.

Со вздохом фотограф уносит аппарат домой, а Дашенька, в сознании своей победы, принимается за третью порцию молока.

Ладно, в другой раз хозяин щенка подготовился лучше, и заряженный аппарат у него под рукой. Ура, вот Дашенька после долгой беготни на минутку присаживается. Живее наводи на фокус!.. Но в тот момент, когда ты щелкаешь затвором, щенок срывается с места — и поминай как звали. Каждый раз, когда щелкает затвор, повторяется то же самое: щенок вскакивает и исчезает со скоростью ста метров в секунду.

Стало быть, так ничего не выйдет, надо придумать что-нибудь другое.

Пока фотограф наводит аппарат, двое его родственников становятся возле Дашеньки и рассказывают ей сказку, чтобы она посидела хоть секунду.

Но Дашенька как раз не расположена слушать сказки, ей хочется гоняться за мамой.

Или ей жарко на солнышке, и она начинает скулить.

Или в решающий момент она быстро поворачивает голову, и на пластинке вместо белого щенка видна только белая клякса. Испортив таким образом пластинку, Дашенька успокаивается и сидит как пень.

Мы пробовали принудить ее посидеть пять секунд тихо, слегка наказав ее, — она в знак протеста начала носиться как шальная.

Пробовали подкупить ее кусочком мяса — она проглатывала его и с такой энергией устремлялась на поиски второго кусочка, что опять ничего не выходило.

Вообще ничего не выходило. Никак.

Поверьте мне, намного легче заснять падение в пропасть или молнию на небе, чем сцену из жизни щенка!

Мне просто посчастливилось — и не меньше, чем тому, кто найдет в ведерке с углем алмаз с кулак величиной. Я, правда, еще ни разу таких алмазов не находил, но думаю, что это должен быть приятный сюрприз.

Самое занятное во всей этой фотомороке — тот момент, когда собачонка проявляется (я хочу сказать, в лаборатории, в проявителе). Тут первым делом вылезает на свет черный носик, затем заблестят черные глаза и, наконец, черные ушки. Нос, как и полагается у собачонки, всегда высовывается первым.

Словом, если у вас есть фотоаппарат — приобретите в дополнение щенка; если есть щенок — раздобудьте фотоаппарат и попытайтесь счастья.

Это весьма захватывающее занятие, более напряженное, чем охота на зебру или на бенгальского тигра.

Больше ничего вам не скажу — убедитесь сами!

Сказки для Дашеньки, чтобы сидела смирно

СКАЗКА ПРО СОБАЧИЙ ХВОСТ

Ну, слушай, Даша, если минутку посидишь спокойно, я тебе расскажу сказку... О чем, спрашиваешь?

Ну, хотя бы сказку про собачий хвост.

Так вот, жил-был один песик, звали его Фоксик. Знаешь, как он выглядел?

Он был весь беленький, только ушки у него были черные, как агат, а нос черный, как антрацит. А в знак того, что он настоящий, чистокровный терьер, во рту, на самом нёбе, было у него черное пятно — точь-в-точь как у тебя. Хотя ты-то, видишь ли, об этом пятне и не знаешь, ну, я как-нибудь тебе покажу, когда будешь перед зеркалом зевать и разинешь рот до ушей.

Хвост у Фоксика был, скажу я тебе, ужасно длинный, почти такой же длинный, как его родословная, и вилял он этим хвостом так здорово, что мог им тюльпаны сшибать. Этого он себе, конечно, не позволял, Дашенька, но хвост у него был просто замечательный!

Был этот песик Фоксик великий герой и никого на свете не боялся. Хороших людей он не кусал, и гостей тоже, потому что этого делать не полагается; но если он услышит о каком-нибудь недобром человеке, например хоть о разбойнике, — сразу кинется на него и загрызет. Так прямо и схватит за горло и начнет его трепать; тому и конец.

Услышал он однажды, что где-то в горах, в пещере — то есть в большой каменной конуре, — живет страшный-престрашный дракон.

Знаешь, что такое дракон? Это такой злой и противный семиглавый пес, который пожирает животных, и людей, и даже собак, можешь себе это представить? Представь себе только, сколько всего дракон может слопать, ведь у него семь голов!

И вот наш Фоксик отправился в горы, чтобы этого дракона победить.

И как ты думаешь, одолел он его?

Конечно же, одолел: он прыгнул и вцепился дракону в ухо, как ты своей маме. Дракон завизжал и убежал. Вот какой герой был этот Фоксик! В другой раз отправился он на бой со страшным великаном, который жил далеко-далеко, где-то возле Панкраца. Был тот великан знаменитым людоедом и собакоедом, и знали его под грозным именем Кошкодав. Но Фоксик его ни капельки не боялся, потому что был у него на шее ошейник с собачьим жетоном (это волшебный талисман, он придает собакам огромную силу, потому-то каждый порядочный песик носит такой жетон).

Как по-твоему, победил его Фокс? Победил! Он вцепился великану в ногу и разорвал на нем штаны, и когда великан Кошкодав увидел, что у Фоксика есть на шее волшебный собачий жетон, то выругался так страшно, что даже серой запахло, и убежал.

Ты довольна, правда?

Ну, так как бог троицу любит, отправился отважный Фокс в поход против самого грозного татарского хана Пеликана, что жил где-то там, возле Стражниц.

Первым делом он на этого татарина храбро кинулся с лаем. Хан Пеликан так испугался, что у него душа ушла в пятки, и так задрожал, что даже очки свои найти не мог. А так как без очков он видел плохо, а Фоксик бесстрашно махал хвостиком, хан подумал, что он машет какой-то саблей или палахом. И он схватил свой кровавый меч и начал им размахивать, и, представь себе, негодяй этаким, отрубил Фоксику кончик хвоста!

Тут Фоксик, само собой, рассвирепел, забыл и про хвостик, весь ошетинился и вцепился татарскому хану в пятку.

Но ведь у хана душа была в пятках, так что богатырь Фоксик выпустил душу злого татарина, и тот упал замертво и больше в наших краях не показывался.

И вот, чтобы вечно жила память об этой славной победе над кровожадным татарским ханом, все прямые и чистокровные потомки героического Фоксика, так называемые жесткошерстные фокстерьеры, дают себе отрубить кончик хвоста.

И тебе, Дашенька, тоже его отрубят, когда придет время. Это немножко больно, что правда, то правда, но не беда — надо только это аккуратненько сделать...

Но вот и готово. Спасибо за сеанс!

ПОЧЕМУ ТЕРЬЕРЫ РОЮТСЯ В ЗЕМЛЕ

Сиди как следует, Дашенька, не ерзай так. Я только наведу аппарат и щелкну, все будет моментально готово. А тем временем ты слушаешь сказку. Например, о том, почему терьеры роют землю. Люди говорят: они, мол, мышей там ищут. Надо же придумать — мышей! Ты же еще мышки сроду не видела, а все равно ты, бесстыдница,рываешь мои клумбы.

А знаешь ты, почему ты так делаешь? Не знаешь? Ну так я тебе об этом расскажу.

Я уже тебе рассказывал сказку о том, как богатырь Фоксик, великий предок всех настоящих фокстерьеров, лишился хвоста в бою со злым татариним. И вот когда он расправился с тем свирепым ханом, он нашел на земле отрубленный кончик своего славного и геройского хвоста, и, так как он не хотел, чтобы его бывший хвост достался, чего доброго, кошкам на игрушки, он закопал его глубоко в землю... Да сиди ты спокойно, непоседа!

С того времени все истые фокстерьеры гордились геройскими подвигами своего великого предка и в память о нем носили обрубленные хвосты.

Но таксы, у которых принято носить длинные хвосты, стали завидовать их славе и начали злонамеренно утверждать и брехать, что, мол, это все неправда, что, согласно современным историческим данным, не было никакой битвы с татарским ханом и что вообще, вероятно, ни богатыря Фоксика, ни хана Пеликана никогда не существовало, а все это, как говорится, чистый вымысел, лишенный исторической основы.

Ясное дело, жесткошерстным фокстерьерам это не понравилось, и они стали отбрехиваться, утверждая, что сказка о Фоксике — чистейшая правда, доказательством чего служат их обрубленные хвосты.

Но таксы народ упрямый и хитрый: они утверждали, что, мол, хвост себе каждый может дать отрубить, что на Малой Стране есть даже один кот с обрубленным хвостом, и, короче говоря, ничему они не поверят, пока не увидят своими глазами обрубок хвоста богатыря Фоксика Великого. Пусть-ка фокстерьеры найдут эти священные останки своего славного предка и докажут тем свое высокое происхождение!

Вот с тех-то пор, Дашенька, фокстерьеры и разыскивают

хвостик своего праотца, схороненный где-то глубоко под землей. Всегда, вспомнив, как их высмеивают таксы, они начинают рьяно копать землю и рыться в ней мордочкой, чтобы унюхать, не тут ли закопан хвостик их прадеда. Пока они его еще не нашли, но когда-нибудь до него докопаются. Тогда они соорудят большой мраморный мавзолей с надписью золотыми буквами:

CAUDA FOXLII

что означает: «Хвост Фоксика».

И знаешь что, Дашенька? Мы, люди, подглядели это у фокстерьеров и тоже постоянно роемся в земле. Мы ищем там урны с пеплом и кости древних людей и храним их в музеях...

Нет, Даша, эти кости нельзя грызть, на них можно только смотреть.

Готово!

ПРО ФОКСА

Посиди минуточку смирно, Дашенька, а я расскажу тебе сказку про Фокса.

Фоксик был самым великим фокстерьером в мировой истории, но он был не первым фокстерьером на свете. Самого первого фокстерьера звали Фоксом, и был тот Фокс чисто белый, без единого пятнышка. Да и как же он мог не быть белым, словно голубок, раз он был создан для того, чтобы жить в раю и веселиться с ангелами? Спрашиваешь, что он в раю ел? Ну, сметану, сырники... Мяса он, конечно, не видел — ведь ангелы все вегетарианцы.

А Фокс был игрун и непоседа, как и все фокстерьеры, и когда он выходил из рая... Ну как тебе не стыдно! В раю ведь он не мог лужицы делать, это не годится. В комнате этого тоже делать нельзя — заруби-ка себе на носу и бери пример с Фокса, который всегда царапался в райские ворота, когда ему нужно было выйти по делам... Погоди-ка, на чем бишь я остановился?.. Ага, на том, как Фокс несколько раз в день выходил из рая.

И вот за дверями рая он, по своему легкомыслию, играл с чертями. Скорее всего, он думал, что это какие-нибудь собачки; ведь у них тоже есть хвосты, а у ангелов — только крылья. Как он с ними играл? Бегал с ними наперегонки по лужайке, кусал их за хвосты, кувыркался с ними на земле и тому подобное. И когда он снова залаял у райских врат, чтобы его впустили обратно, на нем уже были бурые земляные пятна и черные пятна на тех местах, где он прикасался к чертям. С тех пор у всех фокстерьеров есть бурые и черные пятна, понятно?

Однажды сказал Фоксу один из его друзей-чертей, такой малюсенький чертик, карлик-чертик, чертенок:

— Слушай, Фокс, мне бы хотелось хоть на минуту заглянуть в рай, поглядеть, как там и что. Возьми-ка меня с собой!

— Ничего не выйдет,— отвечал Фокс.— Тебя туда не впустят.

— Так знаешь что,— сказал черт,— возьми меня в пасть и пронеси! Туда ведь тебе никто заглядывать не станет.

Фокс по своей доброте в конце концов согласился, взял этого чертенка в пасть и пробрался с ним в рай; и чтобы никто ни о чем не догадался, весело вертел хвостом. Но от создателя, понятное дело, ничего не утаишь.

— Дети, дети,— сказал он,— сдается мне, что в ком-то из вас черт сидит.

— Не во мне, не во мне! — закричали ангелы.

Один только Фокс ничего не сказал, чтобы у него черт изо рта не выскочил. Он только выпалил от неожиданности «гав!» и поскорее опять закрыл рот.

— Все напрасно, Фокс,— сказал создатель.— Раз в тебе черт сидит, ты не можешь жить с ангелами. Отправляйся на землю и служи человеку!

С того случая, Дашенька, во всех фокстерьерах сидит чертик, а во рту, на нёбе, у них есть черное пятнышко.

Так-то! Можешь бежать по своим делам.

ПРО АЛИКА

Погоди-ка, Дашенька, сегодня я хочу снять, как ты чинно и прилично сидишь на пороге.

Был, значит, один фокстерьер, по имени Алик, красивый и белый. Ушки у него были каштановые, а на спине чудесное черное пятно вроде попонки. Этот Алик жил в чудесном саду, полном цветов, бабочек и мышей. И был в том саду пруд с белыми и красными водяными лилиями, но только Алик туда никогда не падал, потому что он не был таким разиней и дурачком, как кое-кто здесь присутствующий... Однажды в жаркий день собиралась гроза с дождем. Как мы знаем, перед дождем собаки едят траву, вот и Алик стал жевать травку.

И что же случилось?

Ему попался один стебелек волшебной травы, которая латыни называется *Miraculosa magica*, а наш Алик, ничего об этом не зная, разгрыз его и съел. В тот же миг Алик превратился в прекрасного белого принца с каштановыми кудрями и чудесной черной родинкой на спине.

Сначала Алик не мог понять, что он уже не песик, а принц, и хотел еще почесать у себя задней ногой за ухом. Тут только он заметил, что на ногах у него золотые туфли...

Да погоди ж ты, Даша!

(Тут, на самом интересном месте, Дашенька перестала слушать и помчалась за воробьем. Ввиду этого сказку про Алика не удалось досказать, и конца у нее нет.)

ПРО ДОБЕРМАНОВ

Правда, и другим собакам тоже рубят хвосты, например доберманам,— ты ведь знаешь, как выглядит доберман, правда? Это такой черный или коричневый долговязый пес — одни ноги, и все тут, а хвост у него почти совсем оттяпан.

Но это не в память о Фоксике, нет, нет! Посиди как следует, а я тебе расскажу, почему доберманам рубят хвосты.

Жил да был один доберман, и назывался он как-то по-дурацки: Астор или Феликс. И этот Астор или Феликс был такой глупый, что не умел иначе играть, как только вертеться и ловить свой собственный хвост.

— Погоди минутку,— рычал он,— дай-ка я тебя немножко кусну!

— Не подожду! — смеялся хвост.

— Ах, не будешь ждать? — пригрозил доберман.— Тогда я тебя слопаю!

— Спорим, не слопаешь! — закричал хвост.

Тут доберман разъярился, прыгнул на свой хвост, вцепился в него зубами и... слопа! его. Может быть, он бы и себя самого целиком сожрал, если бы не сбежались люди и не привели его в чувство метлой.

С этих пор люди обрубают доберманам хвосты, чтобы доберманы своих хвостов не ели.

Готово. Сегодня быстро, правда?

ПРО БОРЗЫХ И ДРУГИХ СОБАК

Нет-нет, борзых творец не создавал, это заблуждение. Борзых сотворил заяц.

Творец первым делом создал всех зверей, а собак, как самых лучших из них, оставил напоследок. А чтобы дело у него живее шло, он разложил материал на три кучи — кучу костей, кучу мяса и кучу шерсти — и из этих трех кучек стал делать собак.

Сперва он создал фокстерьеров и пинчеров, поэтому они такие

умные; а когда он собрался делать остальных, позвонили к обеду.

— Ну ладно,— сказал творец,— раз обед, отложим это дело. Через часик опять начну.

И пошел отдохнуть.

А в этот самый миг пробежал мимо кучи костей заяц. Кости встрепенулись, вскочили, залаяли и помчались вдогонку за зайцем.

Так и появилась на свете борзая собака. Поэтому-то борзая — одни кости, ни грамма мяса в ней нет.

А куча мяса тем временем проголодалась. Стала она вертеться, фыркать и превратилась в бульдога, или боксера, который пошел сразу же искать еду. Потому-то бульдоги сделаны из одного мяса.

А когда это увидела куча шерсти, она почесалась и тоже пошла подкрепиться. Так произошел сенбернар, который весь состоит из одной шерсти. А из остатков этой шерсти сделался пудель, который тоже весь из одних лохмушек. Оставалась там еще маленькая кучка шерсти, так из нее получилась так называемая «японка», или пекинская собачка.

Когда через час вернулся творец к своим трем кучкам материала, там уже почти ничего не оставалось. Остался там, правда, один длинный хвостик, пара ушей от гонимой, четыре коротенькие ножки и длинное, как у гусеницы, тело.

Что тут было делать?

Творец взял и сделал из всего этого таксу или, как иногда говорят, такса.

Запомни это, Дашенька, и не связывайся ни с борзыми, ни с бульдогами, ни с пуделями, ни с сенбернарами — это для тебя компания не подходящая.

Вот и все!

О СОБАЧЬИХ ОБЫЧАЯХ

То, что я тебе, Дашенька, сегодня расскажу, это не сказка, а сущая правда. Надеюсь, что ты хочешь стать образованной собачкой и будешь слушать внимательно.

Много сотен и тысяч лет назад собака еще не служила человеку. В ту пору ведь человек был еще дикий и ужиться с ним было трудновато, и потому собаки жили стаями, но не в лесу, как олени, а на огромных лугах, которые называют прериями или степями. Вот почему псы до сих пор так любят луга и носятся по ним так, что только уши болтаются.

Знаешь ли ты, кстати, Дашенька, почему каждый пес три раза перевернется вокруг себя, перед тем как лечь спать? Это потому,

что, когда собаки жили в степи, им надо было сперва примять высокую траву, чтобы устроить себе уютную постельку. Так они делают и до сих пор, даже если спят в кресле, как, например, ты.

А знаешь, почему собаки ночью лают и перекликаются? Это потому, что в степи им нужно было подавать голос, чтобы не потерять ночью свою стаю.

А знаешь, почему собаки поднимают ножку перед каждым камнем, пнем или столбиком и поливают его? Так они делали в прериях, чтобы каждый пес из их стаи мог понюхать и узнать — «Ага, тут был наш коллега, он здесь, на камне, оставил свою подпись».

А знаешь еще, почему вы, собаки, зарываете корки хлеба и кости в землю? Так вы делали тысячи лет назад, чтобы сберечь кусок на голодный, черный день. Вот видишь, какие вы уже тогда были умные!

А знаешь, почему собака стала жить вместе с человеком?

Было это так.

Когда человек увидел, что собаки живут стаями, он тоже начал жить стаями. И так как такая человеческая стая убивала много-много зверей, вокруг ее стойбища всегда было множество костей.

Увидели это собаки и сказали себе:

— Зачем мы будем охотиться на зверей, когда возле людей костей хоть завались!

И с тех пор начали собаки сопровождать людские кочевья, и так получилось, что люди и собаки живут вместе.

Теперь уже собака принадлежит не к собачьей стае, а к человеческой стае. Те люди, с которыми она живет, — это ее стая; потому-то она и любит их, как родных.

Вот, а теперь ступай, побегай по лужайке — это твои прерии!

О ЛЮДЯХ

Ничего не поделаешь, Дашенька, уже скоро будешь ты жить у других людей. Вот и хочу я тебе кое-что рассказать о людях.

Многие звери говорят, что человек зол, да и многие люди говорят то же, но ты этому не верь. Если бы человек был злым и бесчувственным, вы бы, собаки, не стали друзьями человека, были бы до сего времени дикими и жили в степях. Но раз вы с ним дружите, значит, он и тысячи лет назад гладил вас, и чесал вам за ухом, и кормил вас.

Есть разные виды людей.

Одни — большие, лают низким голосом, как гончие, и обычно у них есть борода. Их называют папами. Ты с ними водись — они

вожаки среди людей и потому иногда могут на тебя прикрикнуть, но, если ты будешь вести себя хорошо, они тебя ничем не обидят, а, наоборот, будут тебе чесать за ухом. Ты ведь это любишь, а?

Другой вид людей немного поменьше; лают они тонким голосом, и мордочка у них гладкая и безволосая. Это мамы, и к ним ты, Дашенька, держись поближе, потому что они тебя и накормят, и шерстку тебе расчешут, и вообще будут о тебе заботиться, гладить и не дадут тебя в обиду. Их передние лапки — это сама доброта.

Третий вид людей — совсем маленькие, чуть побольше тебя, и пищат и визжат, как щенята. Это дети, и ты с ними тоже водись. Дети для того и предназначены, чтобы играть с тобой, и дергать тебя за хвост, и гоняться за тобой, и вообще устраивать всякие веселые безобразия. Как видишь, в человеческой стае все очень хорошо устроено.

Иногда будешь ты играть на улице с собаками, и будет тебе с ними хорошо и весело. Но как дома, Даша, как дома будешь ты себя чувствовать только среди людей. С людьми свяжет тебя что-то более чудесное и нежное, чем кровные узы. Это «что-то» называется доверием и любовью.

Ну, все. Беги!

Комментарии

ЙОЗЕФ ВЕРОМИР ПЛЕВА (р. 1899)

Чешский писатель Йозеф Плева родился в маленьком городке Ново Место на Мораве. Отец его был железнодорожным рабочим. Семья большая, а денег на то, чтобы дать хорошее образование детям, не хватало. Будущему писателю пришлось работать пастухом, переплетчиком, выполнять разные мелкие поручения отца. Но тяга к чтению, желание учиться не покидали мальчика. Он даже пытался переписывать книги, которые не мог купить. Так, полюбившегося ему «Робинзона» он переписал от руки. Он самостоятельно подготовился, чтобы сдать экзамены за курс гимназии, а потом окончил педагогический институт и стал учителем.

Тесное общение с детьми, любовь к ним, знание их интересов послужило импульсом для Й. Племы, чтобы написать книгу для детей. Плева не был к тому времени новичком в литературе. В 1929 году вышла его повесть «Эскорт» о 1-й мировой войне, участником которой он был. В 1930 — сборник стихов «Пять». В 1931 году появилась в печати повесть «Маленький Бобеш», хорошо знакомая и нашему советскому читателю (М.: Детгиз, 1959).

С тех пор Й. Плева написал множество книг для детей. Приключенческий сюжет, к которому тяготеют подростки, характерен для таких повестей, как «Мальчишки с динамитом» (1934) и «Будильник» (1948), в 1935 году вышла в свет повесть «Капля воды», где научные сведения переплетались с фантастическими приключениями.

После победы социалистической революции в Чехословакии Й. Плева издал много книг для взрослого читателя, но все же славу ему принесли книги для детей.

Старый коммунист (он вступил в Коммунистическую партию Чехословакии еще во времена буржуазной республики), Й. Плева удостоен многих наград, звания заслуженного писателя ЧССР, многих литературных премий. Повесть «Будильник», публикуемая в данном томе, печатается в русском переводе впервые.

ДРАГУТИН ЭМО МАЛОВИЧ (р. 1924)

Современный югославский писатель Д. Малович известен как автор романов для взрослого читателя, поэт и создатель книг для детей. Малович пишет на сербскохорватском языке.

Хороший бытописатель, он прекрасно знает не только историю своей страны, но и жизнь народа, нравы, обычаи, фольклор, — так ярко выписаны все детали, так сочен разговорный язык, так характерен здоровый народный юмор, помогающий пережить многие невзгоды трудовому люду.

В повести «Рыжий кот» писатель обращается к прошлому, когда Югославия, получив самостоятельность после 1-й мировой войны, стала буржуазно-монархическим государством.

События, описанные в книге, относятся к 30-м — началу 40-х годов. В стране экономический кризис, безработица, преследуются коммунисты. Повесть Д. Маловича интересна тем, что в ней не только воплощается живая история народа, но изнутри раскрывается психология людей разных слоев населения, даны живые и яркие характеры.

Повесть эта издавалась отдельной книгой на русском языке (М.: Дет. лит., 1970) и получила признание читателей и критики.

Д Ж Е Й М С К Р Ю С (р. 1926)

Немецкий писатель Джеймс Крюс (ФРГ) родился на острове Гельголанд. К моменту окончания 2-й мировой войны ему исполнилось 19 лет. Крюс ненавидел войну и хотел стать учителем, чтобы воспитывать молодое поколение в духе ненависти к фашизму. Однако Крюс не стал учителем, а свою мечту осуществил, став писателем для детей.

Человек, обладающий неисчерпаемой фантазией, Крюс, рассказывая своему читателю забавные или веселые истории, стремится не просто развлечь его. В книгах, особенно для подростков, писатель обсуждает очень серьезные нравственные и социальные вопросы: что такое героизм, что такое счастье, что дает силы пережить невзгоды?.. Словом, речь идет о общечеловеческих ценностях, которые не могут оставить равнодушными ни взрослого, ни вступающего в жизнь юношу, подростка, ребенка. Таковы повести «Мой прадедушка и я», «Мой прадедушка, герои и я», «Тим Талер, или Проданный смех», «В доме тетушки Юлии», «Маяк на омаровых рифах» и др.

Перу Крюса принадлежит также множество статей о детской литературе, переводов из мировой поэзии, им составлена антология стихов немецких поэтов всех веков «Сколько дней в году», куда вошло 365 стихотворений.

В 1968 году Джеймсу Крюсу была присуждена высшая награда за творчество для детей — Международная премия Г.-Х. Андерсена.

Первая публикация на русском языке — повесть «Тим Талер, или Проданный смех» (М.: Дет. лит., 1966). Кроме того, русскому читателю известны «Говорящая машина» (М.: Дет. лит., 1969), «Мой прадедушка, герои и я» (М.: Дет. лит., 1972) и стихи в сборнике «Спящее яблоко» (М.: Дет. лит., 1968).

Я Н А Н Т О Н И Й Г Р А Б О В С К И Й (1882 — 1950)

Ян Грабовский — известный польский детский писатель. Он был человеком разносторонних интересов. Инженер-химик по образованию, Грабовский одновременно занимался этнографией, математикой, историей искусств, биологией. Наряду с талантливыми повестями и рассказами, Грабовский написал и немало научно-познавательных книг для детей разного возраста: «Занимательная математика», «Театр в школе» и др., стремился привить читателям любовь к родной природе. Известен его необычайно поэтичный «Путеводитель по Мазурскому краю».

Первый рассказ о животных для детей был им написан в начале 20-х годов. С тех пор Грабовский не оставляет своей любимой темы. С 1936 года он целиком посвящает себя литературе, становится профессиональным писателем.

Любовь Грабовского к животному миру была связана с личным опытом и основывалась не только на чувстве, но и на глубоких знаниях и наблюдениях.

Его перу принадлежат сборники: «Крылатое братство», «Любимый зверинец» и другие. На русском языке издавались сборники его рассказов «Рекся и Пуцек» (М.: Дет. лит., 1976), «Муха с капризами» (М.: Дет. лит., 1968), которые хорошо известны нашему читателю.

БЕННО ПЛУДРА (р. 1925)

С именем Бенно Плудры советский читатель впервые познакомился в 1954 году, когда в сборнике «Вот она, весна!» появился его рассказ «Одна девушка, пять юношей и шесть тракторов».

Б. Плудру привлекает внутренний мир юного человека, он вживается в своего героя, психологически перестраивается и понимает мотивы поведения детей и подростков, их способ мышления, их реакцию на поведение взрослых.

За свою жизнь Б. Плудра написал много книг для детей. Бывший моряк торгового флота, он часто пишет о море и о людях моря.

В последней книге — «Остров лебедей» — ярко проявилось стремление Б. Плудры обновить свою творческую палитру, расширить и углубить диапазон художественного исследования жизни современных подростков. Из небольшой стоящей на реке деревушки автор переселяет юного героя в новый жилой массив Берлина и тонко анализирует нелегкий процесс его душевного вживания в неблизкую ему городскую среду. За это произведение, а также по совокупности за все творчество Б. Плудра был вторично удостоен Национальной премии ГДР.

На русский язык переведены повести Б. Плудры: «Боцман на льдине», «Путешествие на Зюндевит», «Лют Матен и Белая ракушка» (Сборник «Боцман на льдине», М.: Дет. лит., 1969), «Тамбари» (М.: Дет. лит., 1973).

КРИСТИНЕ НЁСТЛИНГЕР (р. 1936)

Австрийская писательница К. Нёстлингер родилась в Вене, в рабочем квартале, на самой окраине города. Одаренная девочка, окончив школу, поступила в Академию прикладных искусств на отделение художественно-производственной графики. Сначала Нёстлингер работала художницей. Но по-настоящему ее привлекала литература. В ее сознании необычайно сильны были впечатления детства, и вскоре Нёстлингер издает свою первую книгу для детей «Огненно-рыжая Фредерике». Эта книга определила все будущее писательницы. За одно десятилетие, с 1970 по 1980 год, Нёстлингер написала около тридцати книг. В том числе: «Шедевр мистера Батса», «Черный человек и большая собака», «Школьное расписание» и др.

Нёстлингер хорошо знает мир современной молодежи самых разных слоев населения, и ее фантазия преобразует этот мир так, что он становится необычайно интересным, а отнюдь не будничным, хотя повседневная жизнь рядовой семьи всегда присутствует в ее книгах.

Творчество Кристине Нёстлингер неоднократно было отмечено литературными премиями, среди которых Австрийская премия за лучшую детскую книгу и Немецкая премия в области литературы для детей и юношества.

Русский читатель впервые познакомился с ее творчеством в 1976 году, когда вышла повесть «Долой огуречного короля» (М.: Дет. лит.). Затем вышли в свет книги «Лолипоп» (М.: Дет. лит., 1979) и «Ильза Янда, лет — четырнадцать» (М.: Прогресс, 1980).

ДЖЕЙМС ОЛДРИДЖ (р. 1918)

Джеймс Олдридж — современный английский писатель, автор широко известных романов: «Герои пустынных горизонтов», «Дипломат», «Морской орел» и многих других. Родился Олдридж в Австралии.

Учился в Англии, в Оксфордском университете. Там же начал заниматься литературным творчеством. Во время 2-й мировой войны работал корреспондентом английских и американских газет, благодаря чему объездил почти весь мир.

Много раз Олдридж посещал Советский Союз, в ряде его романов герои — советские люди.

Олдридж относится к тем писателям, которые в своих произведениях рассказывают о жизни людей в разных странах — в Австралии, Англии, Америке, на Дальнем и Ближнем Востоке, в Африке.

Для детей Дж. Олдридж написал несколько повестей, в которых знакомит своего читателя тоже с жизнью разных стран.

Дж. Олдридж — лауреат международной Ленинской премии «За укрепление мира между народами» (1973).

На русском языке для детей издан сборник повестей под общим заглавием «Последний дюйм» (М.: Дет. лит., 1971) и повесть «Спортивное предложение» (М.: Дет. лит., 1975).

В нашу книгу включена повесть «Последний дюйм», которая принесла большой успех автору, была экранизирована и неоднократно издавалась в разных странах.

ШАНДОР ТАТАИ (р. 1910)

Шандор Татаи — известный венгерский писатель, представитель старшего поколения, вошедшего в литературу еще в период буржуазной республики. Первые его книги были написаны в 30-е годы.

В конце 50-х годов издаются два больших социальных романа Татаи — «Дом Симеонов» и «Белая карета». Эти романы заслужили одобрение критики. Кроме того, Татаи автор нескольких сценариев и большого количества новелл.

Мастер острого сюжета, Татаи часто обращается в своем творчестве к истории. Для детей им написаны повести и рассказы. Повесть «Витязь с двумя мечами» (М.: Дет. лит., 1975) посвящена славным страницам истории средневековой Венгрии. В повести «Ружья и голуби» (М.: Дет. лит., 1969) изображены события венгерской революции 1919 года. В ней рассказывается о жизни маленького городка, о нелегком детстве в буржуазной Венгрии, об участии детей в революционных событиях. Обе эти повести переведены на русский язык.

В последние два десятилетия Шандор Татаи пишет рассказы и повести о жизни современной молодежи. Рассказы эти одновременно и событийны и психологичны. Один из них — «Мишка находит свою дорогу» — представлен в данном томе.

МОРЛИ КАЛЛАГЭН (р. 1903)

Канадский писатель Морли Каллагэн родился в семье ирландцев, переселившихся в Канаду. На долю его семьи выпала нелегкая участь. Каллагэн еще мальчиком перепробовал десятки профессий и великолепно узнал жизнь простых канадцев совсем не с той стороны, с которой ее воспевала буржуазная литература. Никакой идиллии, счастливого существования Каллагэн не обнаружил, но яростно возненавидел буржуазный образ жизни и мышления, когда все подчиняется одной идее наживы.

После многих лет скитаний Каллагэн занялся журналистикой. Работая в одной из газет города Торонто, он встретил знаменитого американского писателя Эрнеста Хемингуэя, который заметил писательский талант Каллагэна. Хемингуэй посоветовал ему писать романы и помог публиковаться. Одну из своих книг Каллагэн посвятил Хемингуэю.

Каллагэн теперь известный писатель, автор многих романов и рассказов. Немалое место в них занимают проблемы молодого поколения, поиски юными

своего места в жизни. Его герои мужественно противостоят общепринятому стандарту мышления и образу жизни. Один из таких рассказов «Деловое предложение» и предлагается вниманию читателей данной книги.

ШАРЛЬ ВИЛЬДРАК (1882 — 1971)

Шарль Вильдрак — псевдоним писателя. Подлинное имя его Шарль Мессаже. Вильдрак рос в семье с революционными традициями — его отец был участником Парижской коммуны. Одаренный поэт, прозаик и драматург, Шарль Вильдрак начал печататься с девятнадцати лет. Во время 1-й мировой войны он вместе с Роменом Ролланом, Анри Барбюсом и другими прогрессивными писателями выступает против империалистических войн. В 1929 году посещает Советский Союз и навсегда становится другом нашей страны. В годы 2-й мировой войны Вильдрак — участник движения Сопротивления.

Книги для детей составляют значительную часть большого литературного наследия писателя. В 20—30-е годы им написаны романы для детей «Розовый остров» (1929) и «Колония» (1930), сборник сказок «Львиные очки» (1932) и другие произведения. В 30-е годы, после возвращения из СССР, писатель издает очерки «Новая Россия» (1937) и статьи о М. Горьком, с которым он познакомился во время поездки в Москву.

У себя на родине, во Франции, Шарль Вильдрак известен также как поэт и публицист, страстный борец за мир. Он всегда был тесно связан с прогрессивными детскими писателями, как французскими, так и зарубежными, и считал детскую литературу воспитателем будущего мира.

На русском языке издана повесть Вильдрака «Мило» (М.: Дет. лит., 1970) и рассказ «Враг» (Сборник «Первая получка». М.: Детгиз, 1957), вошедший в этот том.

ГЕРХАРД ХОЛЬЦ-БАУМЕРТ (р. 1927)

Немецкий писатель Герхард Хольц-Баумерт (ГДР) — автор книг для детей и для взрослых, переводчик с русского, общественный деятель. Родился он в Берлине, в семье рабочего. Окончил педагогический, а затем литературный институт. Был редактором журналов для детей и много внимания уделял развитию новой литературы социалистической Германии. Писать для детей начал в 50-е годы.

Большинство его произведений пронизано юмором. «У меня такой принцип, — пишет автор, — мне всегда приятно со смехом говорить правду... Шутка, весело изображенные события — это своеобразная помощь в преодолении сложностей мира, в котором живет современный человек». Такова, например, повесть «Злоключения озорника». Кроме этого, он автор книг: «Четыре лошади уходят прочь», «Три женщины и я», «Автостопом на Север» и др.

Для школьников Г. Хольц-Баумерт составил и прокомментировал большой сборник советских писателей, куда вошли произведения М. Шолохова, К. Паустовского, М. Пришвина, А. Гайдара, Л. Пантелеева и многих других. Г. Хольц-Баумерт — лауреат Национальной премии ГДР.

На русский язык переведены: рассказ «Маленький трубач», (Сборник «Соломенные пираты», М.: Дет. лит., 1970), повести «Автостопом на Север» (М.: Дет. лит., 1979) и «Злоключения озорника» (М.: Детгиз, 1963), книга, построенная в виде новелл, объединенных одним героем. Новелла «За что меня прозвали «Альфонс — ложная тревога», взятая из этой книги, вошла в данный том.

МАЙ НГЫ (р. 1930)

Май Нгы — популярный вьетнамский писатель, автор многих романов для взрослых читателей: «Вперед и выше», «Река впереди» и других. Основная тематика его книг — борьба вьетнамского народа за воссоединение южной и северной части страны на социалистической основе.

Для детей Май Нгы пишет в основном рассказы. Во Вьетнаме издано несколько сборников его рассказов для детей. Талантливый писатель, он хорошо знает мир юных патриотов, в своих произведениях рассказывает о сложностях жизни подростка, о его знакомстве с миром взрослых. Один из рассказов Май Нгы, взятый из сборника «Смелые друзья» (Рассказы современных вьетнамских писателей. М.: Дет. лит., 1970), так и называется «Взрослый». Этот рассказ представлен в данном томе.

ПЕТР НЕЗНАКОМОВ (р. 1920)

Петр Незнакомов — псевдоним писателя. Подлинное его имя — Петр Дмитриев. Болгарский писатель — сатирик и юморист, он хорошо известен у себя на родине журнальными публикациями и книгами для взрослого читателя. Незнакомов долгие годы работал редактором газеты и, по его словам, очень любит эту работу. Она дает писателю ощущение живого общения с людьми — через письма читателей, через общение с корреспондентами, которые всегда знают все, что делается в стране.

Первую книгу для детей — «Маргаритка и я» — П. Незнакомов написал, когда у него подрастала дочь, и ему захотелось рассказать о тех проблемах, с которыми он встретился в процессе воспитания девочки. Главным образом о взаимоотношениях родителей и детей.

Один из рассказов сборника «Маргаритка и я» (М.: Дет. лит., 1975) публикуется в данном томе.

РОЗА ЛАГЕРКРАНЦ (р. 1947)

Книги молодой шведской писательницы Розы Лагеркранц хорошо известны в Швеции и других скандинавских странах. Она лауреат одной из национальных премий. Популярность ее книг объясняется не только тем, что она талантливый рассказчик, но и тем, что в своих книгах затрагивает животрепещущие проблемы молодого поколения на Западе.

Первая ее книга появилась в 1973 году. С тех пор Р. Лагеркранц написала около десяти детских книг, пьес и радиосценариев. Лучшие из них переведены на многие европейские языки. Она хорошо знает жизнь современных школьников. В повестях «Четверг», «Спасительница», «Апрель! Апрель!» речь идет о повседневной жизни шведских детей и подростков, о жажде необычного, о стремлении понять самого себя и окружающих. Одна из лучших повестей писательницы «Утешить Пейтера» — о сложности человеческих чувств и взаимоотношениях детей и взрослых.

В 1980 году Р. Лагеркранц посетила Советский Союз. На русский язык переведены три ее повести: «Четверг», «Утешить Пейтера» и «Апрель! Апрель!» (М.: Дет. лит., 1983). Рассказ «Последний день» взят из книги «Апрель! Апрель!».

ПРЕМЧАНД (1880 — 1936)

Премчанд — псевдоним индийского писателя Дханпатрая Шривастава. Премчанд относится к плеяде писателей-классиков, таких, как Р. Тагор, М. Р. Ананд и другие. Писал он на двух языках: хинди и урду. Выходец из бедной семьи почтового служащего, Премчанд с трудом получил образование. Долгие годы Премчанд работал учителем, хорошо знал сложные отношения между разными слоями общества, разделенного на касты, знал жизнь своих учеников и их семей.

В 20-е годы писатель принимает участие в борьбе прогрессивных сил против бесправия бедноты. Автор многих произведений для взрослого читателя, Премчанд написал ряд книг для детей, в которых он также затрагивает острые социальные проблемы.

Наряду с современными сюжетами, писатель пересказывает для детей народные сказки и знаменитые «Сказания о Раме», на которых тысячелетиями воспитывались индийские дети.

На русский язык переведены многие его произведения, в том числе сборник рассказов «Змеинный камень» (М.: Детгиз, 1957), ряд рассказов, помещенных в различных сборниках: «Древо воды» (М.: Детгиз, 1955), «Дети Индии» (М.: Детгиз, 1959).

Рассказ «Игра в чижик» взят из сборника «Древо воды» и относится к серии автобиографических рассказов Премчанда.

ЭРСКИН КОЛДУЭЛЛ (р. 1903)

Современный писатель США Эрскин Колдуэлл родился в южном штате Джорджия. С детских лет он рос в атмосфере, характерной для Юга США, где расовая дискриминация негров была особенно жестокой. До того, как стать писателем, Э. Колдуэлл работал сборщиком хлопка, каменщиком, матросом, официантом, поваром. Жизненный опыт его был богат. Первая книга была издана в 1931 году — это сборник рассказов «Американская земля». Уже в ней проявилась позиция писателя, который посвящает свое творчество обездоленным.

Во многих его произведениях поднимается вопрос о положении негров в Америке.

В 1941 году Э. Колдуэлл был военным корреспондентом в СССР.

В книге «Мальчик из Джорджии» (1943) писатель возвращается к воспоминаниям детства. Книга состоит из отдельных рассказов, объединенных одним героем-подростком. Многие драматические события преподносятся автором в комическом аспекте, читатель без труда видит подлинное отношение автора к Америке его детства, так же как и к Америке сегодняшнего дня, а комическое дает Колдуэллу возможность своеобразного освещения драматических судеб героев. Таков и рассказ «Как мой старик обзавелся упаковочным прессом», взятый из книги «Мальчик из Джорджии» (М.: Гослитиздат, 1945).

ЛОДОНГИЙН ТУДЭВ (р. 1936)

Л. Тудэв — известный монгольский писатель и общественный деятель, лауреат Государственной премии, автор многих книг для детей, исследователь проблем детской литературы.

Тудэв написал много рассказов о детстве. Детство он воспринимает как такую пору жизни человека, когда начинается познание мира. «Мое знакомство с окружающим миром, — пишет он, — началось с той поры, как я только появился на свет. Мы очутились с ним один на один: я — жалкое, беспомощное существо

и мир — могущественный и многообразный; я — совсем маленький и нагой, на мне даже рубашки не было, и он, мир, великий и сказочно богатый. Мир — это тайна, мир — это сила», — пишет Тудэв в предисловии к русскому изданию своих рассказов, герои которых хотят раскрыть эти тайны, познать мир во всей его сложности.

Большое место в рассказах занимает мотив творчества: «Музыка», «Рисунок», «Театр», «Творчество». Причем творчество писатель понимает широко — творчество в любом деле, которым занимается человек.

Большинство его рассказов написано от первого лица, но далеко не все они автобиографичны. Такая форма позволяет писателю взглянуть на окружающее глазами ребенка, подростка и увидеть то, мимо чего порой проходят взрослые. Рассказы Тудэва лиричны, в них много юмора, они свидетельствуют об острой наблюдательности писателя.

На русский язык переведены сборники рассказов: «Лесной пожар» (М.: Дет. лит., 1965) и «Открывая мир» (М.: Дет. лит., 1974). Рассказ «Первый конь» взят из сборника «Открывая мир».

ЭДУАРД ВЭНС ПАЛМЕР (1885 — 1969)

Э. В. Палмер — крупнейший австралийский писатель, автор романов, рассказов, стихов, пьес и литературоведческих книг. Страстный борец за равноправие аборигенов, Палмер считал, что литература должна изображать жизнь правдиво, вскрывать все болезненные вопросы, которые существуют в обществе.

Герои его книг — фермеры, рабочие, мелкие служащие небольших городов и поселков, дети, рыбаки... Писатель показывает богатство внутреннего мира этих людей, их гуманность и суровые условия жизни.

Палмер начал писать в 1915 году, когда были опубликованы первые книги стихов и рассказов. В 30-е годы Палмер издает несколько романов: «Переправа», «Рассвет», «Легенда о Сандерсоне» и другие. В 50-е годы Палмер, уже известный писатель, обращается к истории литературы, одновременно пишет литературоведческую книгу и новеллы, поражающие большой психологической глубиной. В этих новеллах часто героями являются дети и подростки, которые хотят утвердить справедливость в отношениях между людьми, осуществить свои идеалы, стать мужественными, чтобы суметь отстоять правду. Таков сборник «Отпустите птиц на волю».

На русский язык переведены несколько его романов и сборник рассказов «Серебристый дуб», откуда и взят рассказ «Улов».

РУДО МОРИЦ (р. 1921)

Рудо Мориц — известный словацкий детский писатель, общественный деятель. Окончил Братиславский педагогический институт. Во время 2-й мировой войны принимал участие в партизанском движении и в Словацком народном восстании. После войны Рудо Мориц работал учителем. В течение многих лет Рудо Мориц не только автор разнообразных книг для детей, но и директор детского издательства «Младе лета» в Братиславе.

Первая книга, опубликованная Р. Морицем, «Лыжник Мартин» вышла вскоре после войны. С тех пор он написал более 30 книг для детей, среди них романы, повести, рассказы.

Р. Мориц один из авторов учебника по словацкой детской литературе и книги «О научно-фантастической литературе».

На русский язык переведен сборник повестей и рассказов Р. Морица «Его большой день» (М.: Дет. лит., 1976). Рассказ «Случай на болоте» взят из этого сборника.

ПИТЕР ГЕНРИ АБРАХАМС (р. 1919)

Абиссинец по происхождению, Абрахамс — писатель Южно-Африканской Республики. Детство его было трудным, цветному мальчику было нелегко в условиях расовой дискриминации получить образование. Всего он добивался сам, приложил немало усилий для того, чтобы овладеть английским языком, научиться читать и писать, а затем и освоить достижения мировой культуры. О детстве и юности Абрахамс написал автобиографическую повесть «Расскажи о свободе».

Питер Абрахамс автор многих романов: «Шахтер», «Тропою грома», «Венец для Удомо» и др. В своих романах писатель правдиво рассказывает о трудностях жизни в его стране, особенно для цветного населения — негров, кафров, мулатов. По сюжету романа «Тропою грома», который переведен на русский язык, советский композитор К. Кара-Караев написал балет.

Расовая дискриминация, тяжелые условия труда, бесправие, стремление цветного населения получить образование, работу и человеческие условия жизни — вот круг вопросов, которые отражает Абрахамс в своем творчестве.

Рассказ «Отрочество» взят из сборника южноафриканских писателей «Пароль: «Свобода!» (М.: Дет. лит., 1977) и является частью автобиографической повести П. Абрахамса «Расскажи о свободе».

СТАНИСЛАВ СТРАТИЕВ (р. 1941)

Станислав Стратиев — болгарский писатель, автор многих рассказов и повестей, адресованных юному читателю. С. Стратиев хорошо помнит собственное детство и рассказы матери о прошлом Болгарии. Некоторые рассказы носят автобиографический характер. Чаще всего С. Стратиев избирает форму повествования от первого лица, что придает особую достоверность его рассказам. Он представитель молодого поколения болгарских прозаиков, которые особое внимание уделяют внутреннему миру человека, утверждают добро и гуманизм.

Многие его произведения обращены к прошлому Болгарии. Стратиев хороший рассказчик, обладает богатой фантазией и даже самый простой сюжет умеет развить с подлинной занимательностью.

Кроме рассказа «Одинокие ветряные мельницы», на русский язык переведены и другие: «Черешня с алыми сердцами», «Зеленый пудель», «Полметра мечты», «Темные и алые черешни» (Сборник «Играют на улице дети...». М.: Дет. лит., 1973).

АЛЬВАРО ЮНКЕ (1889 — 1982)

Альваро Юнке — псевдоним аргентинского писателя-коммуниста Аристидеса Гандольфи Эрреро. В Латинской Америке А. Юнке называют отцом аргентинской детской литературы. Герои его произведений — дети, выходцы из бедных семей. В книгах «Бумажные кораблики», «Пончо» и других Юнке рассказывает о детях предместий Буэнос-Айреса, об их заботах, радостях, об отношениях со взрослыми, помогая читателю разобраться в мире социальных отношений, найти нравственные ценности.

Книги Альваро Юнке неоднократно переводились на русский язык, его рассказы входят во многие сборники, где собраны произведения зарубежных писателей. На русский язык переведены его произведения: «Мужчины двенадцати лет» (М.: Дет. лит., 1965), повесть «Футбольный клуб «Парни Юга» (М.: Детгиз, 1960) и др.

ТОМИКО ИНУИ (р. 1924)

Томико Инуи — японская писательница, лауреат многих национальных и международных премий, обладательница почетного диплома Г.-Х. Андерсена.

Томико Инуи училась в японском женском университете на факультете японской литературы, а затем в институте, готовящем воспитателей детских садов. Писать начала в 40-х годах, одновременно работая в детском саду. С этого времени Т. Инуи отдает много времени литературному творчеству. Ею написаны сказки, повести, рассказы для детей разных возрастов. Трагедия Хиросимы, защита окружающей среды — важные темы ее творчества. Лучшие книги Инуи Томико переведены на европейские языки. Она активный пропагандист японской детской литературы в других странах и советской детской литературы в Японии.

В 1963 году Т. Инуи посетила Советский Союз, где познакомилась с известными детскими писателями Корнеем Чуковским и Николаем Носовым. В 1965 году по примеру К. Чуковского она открыла в Токио библиотеку для детей, недалеко от своего дома, где постоянно встречалась с читателями.

На русский язык переведены: повесть «Песнь о чайках» (М.: Дет. лит., 1968), рассказы «Сабу» (М.: Дет. лит., 1974), «Река и Норио» в сборнике «Лети, журавлик» (М.: Дет. лит., 1960). Рассказ «Дрозды» взят из сборника «Дети мира», в котором публикуются лучшие рассказы писателей разных стран.

АНИСИА МИРАНДА (р. 1932)

Анисиа Миранда — кубинская писательница, автор многих книг для детей. Она рассказывает о тех изменениях, которые произошли на Кубе после народной революции. Известен цикл ее рассказов о школьниках. До революции на Кубе большинство трудового населения было неграмотно. Теперь на Кубе образование бесплатное, организованы школы для всех, а в некоторых дети находятся на полном обеспечении государства. Книга «Школьники» получила национальную премию. В этой книге А. Миранда рассказывает о новых отношениях между людьми, о принципах воспитания в обстановке подлинной дружбы, братства и внимания друг к другу. Рассказ «Печаль», публикуемый в данном томе, взят из этого сборника.

Кроме того, Анисиа Миранда написала книги: «Сказки дядюшки Сверчка», «Вьетнам и ты» и др. Она хорошо знает русский язык и переводит для кубинских детей произведения советских писателей.

На русском языке рассказы А. Миранды опубликованы в сборнике произведений кубинских авторов «Меня зовут Коадовальдо Эрера» (М.: Дет. лит., 1976).

ОКТАВ ПАНКУ-ЯШ (1929 — 1975)

Октав Панку-Яш — известный румынский писатель, автор многочисленных книг для детей разных возрастов. Сказки и повести, забавные юмористические рассказы этого писателя переведены на языки народов СССР — русский, украинский, армянский, грузинский, латышский.

Панку-Яш обладал особым даром видеть вещи со смешной стороны. Его рассказы о самых обыденных событиях в жизни школьников, о поступках и проделках подростков в большинстве случаев приобретали юмористическую окраску. А сказки для малышей всегда обращены к действительности.

Панку-Яш начал писать в 50-е годы. Одна из первых его книг — «Великая битва у малого пруда» — сразу же была переведена на русский язык. В СССР издано большинство его произведений: «Не убегай, мой славный денек!» (М.: Дет. лит., 1973), «Большая новость о маленьком мальчике» (М.: Дет. лит.,

1965), «Кладовая снега» (М.: Детгиз, 1961); сказки: «Все в лесу хорошо, только портные плохие» (М.: Детгиз, 1959), «Срочно ищу костюм водолаза» (М.: Дет. лит., 1970), а также отдельные рассказы в сборниках произведений румынских писателей (Сборники «Разговор красок». М.: Детгиз, 1963, «Воскресенья всегда разные». М.: Дет. лит., 1976) и др.

Рассказ «Желаю вам не болеть!» взят из сборника «Не убегай, мой славный денек!».

МАНУЭЛЬ РОХАС (1896 — 1973)

Чилийский писатель-реалист Мануэль Рохас известен не только у себя на родине, но и во всех странах Латинской Америки. Автор романов для взрослых М. Рохас показывает жизнь городских низов. Прославился он и как блестящий новеллист. Его рассказы увлекают не столько сюжетом, сколько тонкими психологическими зарисовками.

М. Рохас — прогрессивный писатель, стремившийся обратить внимание общественности на отчаянное положение беднейшей части населения Чили — безработных, жителей окраин, детей и подростков из бедных семей.

Рассказ «Стакан молока» — один из типичных для творчества М. Рохаса. Он опубликован в сборнике рассказов латиноамериканских писателей «Дети из квартала «Рядом-с-небом» (М.: Дет. лит., 1973), изданном на русском языке.

ДЖАННИ (ДЖОВАННИ) РОДАРИ (1920 — 1980)

Джанни Родари — всемирно известный итальянский детский писатель. Он удостоен многих национальных и международных премий, в том числе высшей награды за творчество для детей — Международной премии Г.-Х. Андерсена.

Родари сын булочника. «Я вырос среди мешков с мукой и углем», — писал он впоследствии. Любовь и внимание к судьбам «маленького человека» пронизывает все его творчество.

Окончив педагогический факультет, Родари работал учителем, и с тех пор дети стали частью его судьбы.

Родари всегда стремился рассказать правду о том обществе, в котором живут итальянские дети. Для его поэзии характерны социальные мотивы. Многие стихи носят антивоенный характер. Социальное, политическое содержание вкладывает Родари и в свои сказки.

На русский язык переведены сборники стихов: «Здравствуйте, дети!» (М.: Дет. лит., 1978), «Поезд стихов» (М.: Дет. лит., 1963) и др.; сказки: «Приключения Чиполлино» (М.: Дет. лит., 1977), «Путешествие Голубой стрелы» (М.: Сов. Россия, 1972), «Джельсомино в стране лжецов» (М.: Мол. гвардия, 1960) и др.

УИЛЬЯМ САРОЯН (1908 — 1981)

Американский писатель Уильям Сароян — сын армянских эмигрантов, в детстве испытал нужду и лишения. С тринадцати лет Сароян работал рассыльным на телеграфе, батраком на фермах, чернорабочим, почтальоном, наконец, репортером. Первое произведение, которое сразу сделало известным его имя, он опубликовал, когда ему исполнилось 25 лет, — это был рассказ «Молодой смельчак на летающей трапеции» (1933), а в 1934 году вышел сборник рассказов под этим же названием. С тех пор Сароян стал профессиональным писателем.

Своеобразие творчества Сарояна заключается в том, что он вобрал в себя культурное наследие американского и армянского народов. Многие его герои —

члены армянской колонии США, мечтатели, чудаки, философы, и живут они не по принципам американского общества. Но и американцы в произведениях Сарояна в большинстве своем представители трудовой части населения. Автор наделяет их лучшими человеческими качествами: умением сочувствовать чужому горю, помогать в трудных обстоятельствах, любить людей.

Сароян ненавидел войну, бедность, унижение человека. Особое место в его творчестве занимают дети.

Русский читатель впервые познакомился с произведениями Сарояна еще в 30-е годы, а в 50-е годы выходят в русском переводе два его романа — «Человеческая комедия», «Приключения Весли Джексона», первый сборник рассказов для детей «60 миль в час» (М.: Детгиз, 1958), а позже многие другие повести, пьесы и рассказы.

Рассказ «Древняя история» взят из книги «Человеческая комедия».

ЯНУШ КОРЧАК (1878 — 1942)

Януш Корчак — псевдоним знаменитого польского писателя Генриха Гольдшмидта. Врач, педагог, писатель, Корчак — автор многих художественных и научных книг. Им написаны статьи и книги по вопросам воспитания, сказки и повести для детей.

Литературную деятельность Корчак начал еще до первой мировой войны. Врач-педиатр по профессии, Корчак много сделал для неимущих детей. Он организовал два дома для сирот, в которых был и врачом и директором. Главным принципом воспитания детей было уважение к ребенку, знание законов его физического и духовного развития.

Корчак автор серии передач по радио «Беседы старого доктора», в которых делился своими знаниями и опытом с родителями и воспитателями. Он написал ряд книг о детях и для детей, редактировал детский журнал «Малое обозрение».

Работу писателя Я. Корчак всегда сочетал с практической деятельностью.

Имя Корчака — педагога, врача и писателя — стало известно во всем мире. Корчак всегда разделял все невзгоды и радости детей. Разделил он их судьбу и во время второй мировой войны. Когда гитлеровцы отправили сирот из детского дома в концлагерь, Корчак не захотел спастись, хотя ему предлагали свободу. Он сказал, что не может предать детей, что все его принципы не стоили бы ломаного гроша, если бы он оставил своих воспитанников в беде одних. Корчак погиб вместе с детьми в 1942 году в концлагере Трешлинка.

Одна из важнейших книг Корчака, адресованная взрослому читателю, называлась «Как любить детей». Значительная часть его произведений переведена на русский язык: «Как любить детей», сборник повестей «Когда я снова стану маленьким» (М.: Дет. лит., 1964), повесть «Король Матиуш Первый» (М.: Дет. лит., 1978) и другие.

Новелла «Первый снег» взята из книги «Когда я снова стану маленьким».

КАРЕЛ ЧАПЕК (1890 — 1938)

Карел Чапек — всемирно известный чешский писатель, автор ряда фантастических романов, пьес, рассказов, сказок, репортажей, теоретических статей о литературе.

Чапек родился в семье сельского врача и с детства полюбил пациентов своего отца — крестьян, мелких служащих, городскую бедноту. Позже они стали героями его произведений. Чапек начал печататься, когда еще учился в гимназии, в 1904 году он опубликовал свой первый рассказ. Блестяще окончив философский факультет Карлова университета в Праге, он неожиданно для всех отказался от научной карьеры и пошел работать репортером в газету. Став уже знаменитым

писателем, Чапек говорил, что именно работа в газете дала ему огромный материал для будущих произведений.

Чапек много путешествовал, работал библиотекарем, воспитателем, режиссером в театре. Он был прекрасным знатоком человеческой психологии, острым наблюдателем, хорошо знавшим самые разнообразные стороны человеческой деятельности. Он очень любил животных и был прекрасным садоводом. Самые обычные жизненные факты давали пищу его фантазии.

Романы Чапека «Война с саламандрами», «Фабрика абсолюта» и другие принесли ему мировую известность.

Знаменитые антифашистские пьесы Чапека «Мать» и «Белая болезнь» ставятся на многих сценах мира.

Для детей К. Чапек написал «Девять сказок» и лирико-юмористический рассказ «Дашенька, или История щенячьей жизни». Эти произведения вошли в сборник «Сказки и веселые истории» (М.: Детгиз, 1963).

Н. Банникова

СОДЕРЖАНИЕ

<i>И. Чернявская. Правда искусства</i>	3
--	---

ПОВЕСТИ

<i>Йозеф Плева (Чехословакия). Будильник*. Перевод с чешского И. Чернявской</i>	19
<i>Драгутин Малович (Югославия). Рыжий кот. Перевод с сербско-хорватского И. Макаровской</i>	82
<i>Джеймс Крюс (ФРГ). Тим Талер, или Проданный смех. Перевод с немецкого А. Исаевой</i>	165
<i>Ян Грабовский (Польша). Европа. Перевод с польского Б. Заходера</i>	334
<i>Бенно Плудра (ГДР). Лют Матен и Белая ракушка. Перевод с немецкого Вс. Розанова</i>	352
<i>Кристине Нёстлингер (Австрия). Долой огуречного короля! Перевод с немецкого П. Френкеля</i>	387
<i>Джеймс Олдридж (Англия). Последний дюйм. Перевод с английского Е. Голышевой и Б. Изакова</i>	456

РАССКАЗЫ

<i>Шандор Татаи (Венгрия). Мишка находит свою дорогу. Перевод с венгерского О. Громова</i>	481
<i>Морли Каллагэн (Канада). Деловое предложение. Перевод с английского Ю. Дроздова</i>	494
<i>Шарль Вильдрак (Франция). Враг. Перевод с французского А. Ладинского</i>	506
<i>Герхард Хольц-Баумерт (ГДР). За что меня прозвали «Альффонс — ложная тревога». Перевод с немецкого Вс. Розанова</i>	516
<i>Май Нгы (Вьетнам). Взрослый. Перевод с вьетнамского И. Зимониной</i>	521
<i>Петр Незнакомов (Болгария). Неожиданная встреча. Перевод с болгарского А. Собковича</i>	528
<i>Роза Лагеркранц (Швеция). Последний день. Перевод со шведского Л. Жданова</i>	532
<i>Премчанд (Индия). Игра в чижик. Перевод с хинди М. Антонова</i>	537
<i>Эрскин Колдуэлл (США). Как мой старик обзавелся упаковочным прессом. Перевод с английского Н. Волжиной</i>	545
<i>Лодонгийн Тудэв (Монголия). Первый конь. Перевод с монгольского Г. Матвеевой</i>	552

<i>Вэнс Палмер</i> (Австралия). Улов. Перевод с английского <i>В. Маянц</i>	555
<i>Рудо Мориц</i> (Чехословакия). Случай на болоте. Перевод со словацкого <i>О. Сакун</i>	563
<i>Питер Абрахамс</i> (ЮАР). Отрочество. Перевод с английского <i>А. Клышко</i>	569
<i>Станислав Стратиев</i> (Болгария). Одиноким ветряные мельницы. Перевод с болгарского <i>Т. Елисеевой</i>	579
<i>Альваро Юнке</i> (Аргентина). Мартин ничего не украл! Перевод с испанского <i>И. Тыняновой</i>	584
<i>Томико Инуи</i> (Япония). Дрозды. Перевод с японского под ред. <i>Г. Ронской</i>	591
<i>Анисия Миранда</i> (Куба). Печаль. Перевод с испанского <i>Т. Камин- ской</i>	601
<i>Октав Панку-Яш</i> (Румыния). Желаю вам не болеть! Перевод с румынского <i>С. Кульмановой</i>	605
<i>Мануэль Рохас</i> (Чили). стакан молока. Перевод с испанского <i>Т. Каминской</i>	610
<i>Джанни Родари</i> (Италия). Транзисторная кукла*. Перевод с итальян- янского <i>Л. Вершинина</i>	616
<i>Уильям Сароян</i> (США). Древняя история. Перевод с английского <i>Е. Голышевой и Б. Изакова</i>	622
<i>Януш Корчак</i> (Польша). Первый снег. Перевод с польского <i>К. Сен- кевич</i>	631
<i>Карел Чапек</i> (Чехословакия). Дашенька, или История щенячьей жизни. Перевод с чешского <i>Б. Заходера</i>	634
<i>Комментарии</i>	655

БИБЛИОТЕКА МИРОВОЙ ЛИТЕРАТУРЫ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
(Т о м 49)

ПОВЕСТИ И РАССКАЗЫ
СОВРЕМЕННЫХ
ЗАРУБЕЖНЫХ ПИСАТЕЛЕЙ

*

Составитель
Ирина Сергеевна Чернявская

ИБ № 6088

Ответственный редактор

Г. В. Я з ы к о в а

Художественный редактор

С. И. Н и ж н я я

Технический редактор

В. К. Е г о р о в а

Корректоры

Л. М. П и с ь м а н и Н. Г. Х у д я к о в а

Сдано в набор 10.05.83. Подписано к печати 16.09.83. Формат 60×90¹/₁₆. Бум. типогр. № 1. Шрифт академический. Печать высокая. Усл. печ. л. 43,13. Усл. кр.-отт. 46,81. Уч.-изд. л. 43,92+9 вкл.=44,48. Тираж 407 000 экз. (1-й завод 1—200 000 экз.) Заказ № 3050. Цена 2 р. 30 к. Ордена Трудового Красного Знамени издательство «Детская литература» Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. 103720, Москва, Центр, М. Черкасский пер., 1. Ордена Трудового Красного Знамени фабрика «Детская книга» № 1 Росглавполиграфпрома Государственного комитета РСФСР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Москва, Сушевский вал, 49.

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»

П42 Повести и рассказы современных зарубежных писателей/Сост. и вступит. ст. И. С. Чернявской; Коммент. Н. П. Банниковой: Оформл. тома и ил. В. Трубковича.— М.: Дет. лит., 1983.— 671 с., ил., 9 л. ил.— (Б-ка мировой лит-ры для детей, т. 49).

В пер.: 2 р. 30 к.

В том вошли произведения крупнейших современных писателей пяти континентов.

П 4803020000—504 Подп. изд.
М101(03)83

С63





2 р. 30 к.

ИЗДАТЕЛЬСТВО «ДЕТСКАЯ ЛИТЕРАТУРА»